



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

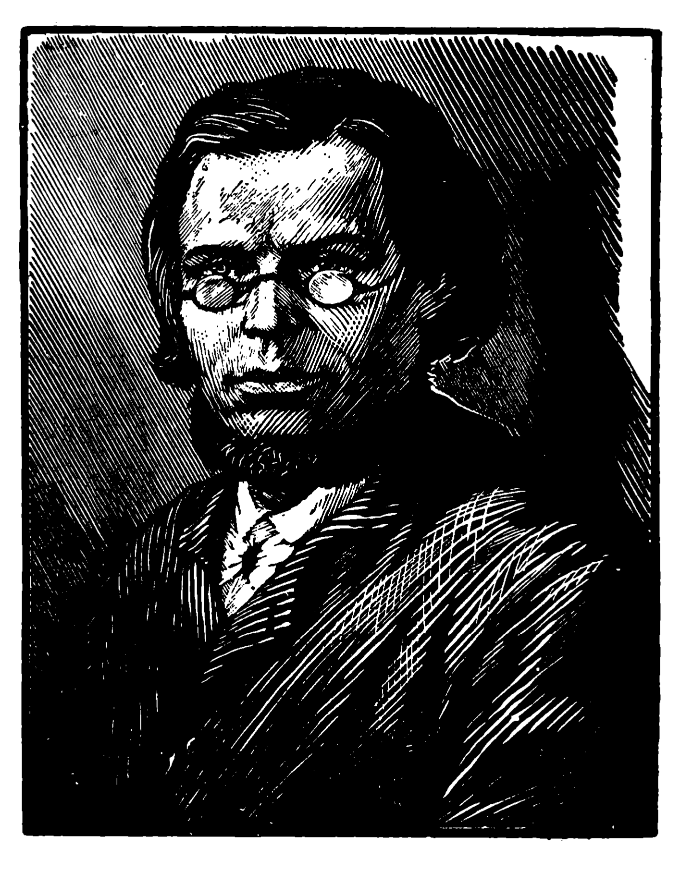
ТОМ
1



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Вступительная статья
и примечания
Н. И. СОКОЛОВА

Иллюстрации
Г. Н. ВЕСЕЛОВА



Ф. М. РЕШЕТНИКОВ

С гравюры художника
Ю. Ростовцева

ТВОРЧЕСТВО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

А. М. Горький в рассказе «Коновалов» передает, как ему однажды довелось вслух прочесть книгу простому, неграмотному пекарю и какое огромное впечатление произвела эта книга на слушателя. «Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он. — На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи». Прослушав не отрываясь все повествование, пекарь спросил: «Кто же это сочинил?.. Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо».

Книга, которую читал молодой Горький своему товарищу по работе, называлась «Подлиповцы», автором ее был Федор Михайлович Решетников.

Непродолжительная, но глубоко плодотворная и разносторонняя писательская деятельность Решетникова целиком приходится на 60-е годы прошлого столетия. После Крымской войны, вскрывшей полную несостоятельность феодально-крепостнических порядков в обстановке массовых выступлений крестьян против гнета помещиков и царских чиновников происходит подготовка к реформе 1861 года. Развернувшаяся обостренная классовая борьба за радикальное разрешение крестьянского вопроса знаменовала собою наступление нового периода в освободительном движении России. Главными активными деятелями этой новой поры в жизни русского общества выступили разночинцы. «Падение крепостного права, — писал В. И. Ленин, — вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности». [1]

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 224.

Передовым отрядом разночинцев явились революционные демократы, выразители интересов трудовых крестьянских масс. Вожди революционной демократии Чернышевский и Добролюбов в условиях развернувшейся борьбы ставили новые задачи и перед литературой. В трудах по эстетике, в боевых критических статьях они дали разностороннюю программу деятельности для писателей демократического лагеря. Одной из насущных и неотложных задач, стоявших перед литературой, было изучение и правдивое изображение жизни народа.

Революционная ситуация 1859—1861 годов не привела к революции. Правящим классам удалось сохранить свое господствующее положение и отделаться пресловутой реформой, обманувшей ожидания народных масс. Революционное движение было временно сломлено, многие деятели его, в их числе Чернышевский, посажены в тюрьмы, сосланы. Однако огромная работа, проделанная революционной демократией, не пропала даром. В области художественного слова это сказалось прежде всего в том, что в литературу пришла целая плеяда писателей-разночинцев, которые своим творчеством стремились на практике осуществить принципы, выдвинутые эстетикой Чернышевского и Добролюбова. В произведениях писателей-демократов была дана не виданная до той поры, по своей широте и правдивости, картина жизни городских низов, ремесленников, рабочих, дореформенного и пореформенного крестьянства.

Многообразна и богата талантами эта замечательная плеяда демократов-шестидесятников. Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» приветствовал появление правдивых рассказов Н. Успенского. В самом начале 60-х годов бурно развертывается литературная деятельность Помяловского. Тогда же появляются очерки из народной жизни Слепцова, звучит горячая, взволнованная речь Левитова, начинает свой писательский путь Глеб Успенский. В ряду этих выдающихся представителей демократической литературы 60-х годов с самобытным словом, со своими темами и образами, с индивидуальной творческой манерой воспроизведения действительности выступил Ф. М. Решетников.

1

Жизненный путь Решетникова — это путь, типичный для писателей-разночинцев. Горький говорил, что история демократической литературы 60-х годов — это «мартиролог», то есть перечень мучеников». «Редкий из литераторов-разночинцев доживал до сорока

лет, и почти все испытали голодную, трущобную, кабацкую жизнь». В перечне «мучеников» Горький отводит место и Решетникову.

Решетников родился 5 сентября 1841 года в Екатеринбурге. О родителях писателя сохранилось мало сведений. Мать его скончалась, когда мальчику не было еще и года. Отец, Михаил Васильевич, долгое время служил почтальоном. Есть основания предполагать, что именно участь отца отражена писателем в очерке «Макся». С отцом мальчик почти не виделся и воспитывался в семье дяди, Василия Васильевича Решетникова, тоже почтового работника. Смерть отца, последовавшая 3 января 1853 года, тяжело была пережита одиннадцатилетним Решетниковым. «Когда я узнал об его смерти, — рассказывал он впоследствии на страницах автобиографической повести «Между людьми», — я долго плакал об нем. Горячи и ядовиты были мои слезы, и плакал я, как помню, потому, что теперь я остался без отца и без матери».

Дядя и тетка будущего писателя были добрые, но весьма недалекие люди. По-своему любя племянника, они немало, при своем скромном достатке, затратили средств на его обучение, но взамен требовали полной покорности и послушания. Их идеалом было: вывести племянника «в люди», сделать из него такого же чиновника, как «сам» дядя. Более широкие умственные и нравственные запросы Решетникова были непонятны и чужды его строгим воспитателям.

Годы детства и учения Решетникова прошли в Перми. Сам город, река Кама, на которой любил бывать мальчик, множество разнообразных людей, которых приходилось ему встречать, дали первую пищу его любознательности. Виденное и слышанное на стороне запоминалось и усваивалось лучше того, чему учили его в домашнем кругу. «Меня учили молитвам, — рассказывал писатель, — учили молиться утром, вечером, перед обедом и ужином и после них; учили уважать и почитать старших, любить тетку и дядю, называть их родителями... Но молитвы я знал плохо, а знал больше песен и сказок; тетку и дядю я уважал, боялся».

Добрые, теплые воспоминания до конца дней сохранил писатель о родной Каме. «Я любил на ней плавать, — вспоминал Решетников, — и когда рыбачил в детстве, подолгу задумывался над природой; мне чего-то хотелось, куда-то меня тянуло... На ней я провел горькую пору моей жизни, на ней узнал себя, сличал людей».

В 1851 году Решетников после обучения в начальной школе был отдан в Пермское уездное училище, в котором он проучился с перерывом до 1859 года. Это было типичное рутинное казенное учеб-

ное заведение. Сам писатель впоследствии вспоминал: «Об умственном развитии учителя не заботились, а учили нас на зубрежку и ничего не объясняли; хорошие же ученики друг другу не показывали. Учителя считали за наслаждение драть нас. Здесь бегали от классов по крайней мере две трети учеников... Я уже не бегал, потому что привык к розгам». Даже если допустить известную степень преувеличения в этой картине, обстановка представляется достаточно мрачной. Все же в годы пребывания в училище у Решетникова пробудилась любовь к чтению, к художественной литературе. К этому же периоду относится и увлечение его театром. «Два года я ходил в театр, — рассказывает Решетников, — знал много сцен и песен и даже раз просил дядю, чтобы он отпустил меня в актеры, но он обругал меня и не стал отпускать больше в театр». Последствием увлечения театром были первые писательские опыты Решетникова, относившиеся к области драматургии.

Но не только в стенах училища продолжалось развитие юного Решетникова. Он попрежнему бывает на Каме, встречается с различными людьми, слушает, наблюдает. Даже на службе дяди, на почте, он не упускает случая ближе знакомиться с народом. Здесь он сочиняет письма для крестьян и многое узнает о их трудовой тяжелой жизни.

В 1855 году четырнадцатилетний Решетников за таскание с почты пакетов, газет и журналов был отдан под суд. Следствие тянулось долго, решение неоднократно пересматривалось, из училища Решетникова исключили. О самом проступке Г. И. Успенский (знавший Решетникова лично и создавший затем первую ценнейшую биографию писателя) сообщает: «Причины этого таскания, по объяснению самого Федора Михайловича, лежали в его впечатлительности к хорошему. «Мне нравились, — говорил он, — форма конверта, гладенькая бумажка, хороший почерк на конверте». Дело закончилось тем, что Решетникова, по малолетству, решили подвергнуть заключению в Соликамский монастырь на три месяца. Для будущего писателя эпизод пребывания в монастыре имел большое значение. Здесь он близко узнал быт и нравы провинциального духовенства.

Лишь в апреле 1857 года, по возвращении из монастыря, Решетников смог возобновить обучение в Пермском уездном училище. «Я учился опять в том же училище, — рассказывает он сам, — и учился уже хорошо. Меня ставили в пример». Этому способствовало и то, что в период общественного подъема конца 50-х годов новые веяния, наконец, затронули и уездное училище в Перми. Решетни-

ков много читает, к этим годам относятся и первые литературные опыты.

В 1859 году, окончив училище, Решетников уезжает в Екатеринбург, куда несколько раньше был переведен по службе дядя. В октябре того же года Решетников поступает чиновником в Екатеринбургский уездный суд в звании канцелярского служителя 3-го разряда. Жалованья платили три рубля серебром в месяц. Здесь Решетников хорошо узнал судебное волокитство, взяточничество, неприглядный серенький быт чиновников. Через год Решетников становится столоначальником горнозаводского отдела. Ознакомление с делами горных заводов на Урале дало писателю обильный материал для создания произведений из рабочей жизни.

Однако чиновничья служба в Екатеринбурге все меньше занимает Решетникова. Весь досуг он посвящает чтению, ведет дневник, работает над первыми своими произведениями. Эти ранние сочинения Решетникова не сохранились, но о них имеются ценные свидетельства самого Решетникова и его современников. К числу ранних опытов молодого автора относились ряд стихотворений, поэма «Приговор», драмы «Панич», «Черное озеро», «Деловые люди». Последняя пьеса, посвященная изображению чиновничье-судебных нравов на Урале, впоследствии стала известна под заглавием «Заседатель». Ранние произведения Решетникова еще далеки по мастерству от его зрелых произведений.

Как бы то ни было, уже в екатеринбургский период отчетливо определилось стремление Решетникова к литературному творчеству, стремление рассказать о том, что он видел и пережил. В сознании писателя, как указывает первый его биограф, «начинает понемногу выступать ясная цель и потребность — приносить ближнему *пользу* помощью другой, не менее сильной и настоятельной потребности — литературной деятельности».

В 1861 году Решетникову удается переехать в Пермь и поступить на службу в губернскую казенную палату. В Перми связи Решетникова расширяются, здесь он нашел и первых литературных советчиков. Один из сослуживцев по палате сочувственно отнесся к творчеству Решетникова, но посоветовал ему оставить драмы и стихи и обратиться к рассказу, к изображению жизни «простого человека». Совет этот был благотворен.

Благодаря наличию в казенной палате библиотеки, созданной на средства чиновников, расширяется и круг чтения Решетникова. Положение облегчается тем, что сам он вскоре становится помощником библиотекаря. Именно сейчас молодой писатель широко знакомится с передовыми русскими журналами того времени —

с «Современником», «Русским словом», читает статьи Чернышевского и Добролюбова, стихи Некрасова.

К 1861 году относится первое выступление Решетникова в печати: в «Пермских губернских ведомостях» появляется его статья «Библиотека чиновников Пермской казенной палаты». Однако писателя занимают более широкие замыслы. Он создает ряд произведений, свидетельствующих о несомненном росте их автора. В рассказе «Скрипач» и драме «Раскольник» уже отразилось основательное знание писателем уральской жизни. О драме «Раскольник» Глеб Успенский, отмечая ряд недостатков в осмыслении действительности и указывая на некоторую искусственность приемов изображения, писал, что здесь Решетников «в первый раз является тем, что он есть. Заводские нравы, которым отдано в драме две трети места, изображены ярко, правдиво. В побуждениях, руководящих этим народом в побегах с завода в лес к раскольнику, все реально, просто, без малейшей примеси чего-нибудь из области сверхъестественного». Что касается рассказа «Скрипач», то уже в этом раннем произведении Решетникова мы находим многие мотивы его будущих произведений из горнозаводского быта.

«Раскольник» и «Скрипач» были посланы в журнал Достоевского «Время», но приняты к печати не были. Это не обескуражило молодого автора. В его сознании теснятся новые творческие замыслы, все отчетливей становится для него и смысл писательской деятельности. В «Дневнике» 5 сентября 1861 года по случаю своего двадцатилетия Решетников записывает: «Дай бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них дельному, не для себя только, но и для пользы нашего русского народа». А в 1862 году в том же «Дневнике» говорится: «Мне надо свободу! Мне надо запереться для сочинений... Материала у нас много. Наш край обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет в особицу — чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин... А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру? Отчего это до сих пор никто не описал их?»

В 1862 году Пермскую казенную палату приехал ревизовать чиновник из Петербурга. Решетникову удалось с ним договориться о переезде на службу в столицу. С трудом набрав денег на дорогу, простившись с родственниками, которые отрицательно относились к переезду, Решетников отправился в дальнюю дорогу и 3 сентября 1863 года прибыл в Петербург.

Решетников к этому времени был уже вполне сложившимся человеком. Он привез с собой богатый запас жизненных наблюдений и имел твердо намеченную цель — служить словом правды своему

народу. К писательской деятельности Решетникова готовила вся его прошлая жизнь, знание положения народа, к этому его готовила и передовая русская литература. Белинский, Добролюбов, Некрасов для Решетникова — родные, близкие имена. А. Я. Панаева, хорошо знавшая писателя в годы его сотрудничества в «Современнике», передает следующие слова Решетникова о Белинском: «Я, как приехал в Петербург, тотчас же пошел на его могилу, долго просидел там. Он и Добролюбов — это мои нравственные учителя... Без них я так бы и погряз в омуте». О Некрасове Решетников говорил: «Я почти все стихотворения Некрасова наизусть знаю».

Жизнь в столице, однако, сложилась не так, как мечталось молодому писателю-разночинцу. Служба в судебном департаменте приносила ничтожный заработок и не давала никакого морального удовлетворения. Правда, Решетников вскоре начинает печататься в газете «Северная пчела», но это был не тот орган, в котором хотел бы видеть свои произведения писатель. Сам он окрестил эту газетку прозвищем «Насекомое». Сотрудничество в газете не улучшило и материального положения писателя.

Но положение все же скоро меняется. В департаменте Решетников знакомится с братом Н. Г. Помяловского, и это открывает, наконец, Решетникову дверь в «Современник», куда он сам сразу не посмел обратиться. Произведение, с которым пришел Решетников к редактору «Современника», была повесть «Подлиповцы». Повесть встретила горячее одобрение и была напечатана. Имя Решетникова сразу получило широкую известность. Некрасов помог писателю и материально; это позволило Решетникову бросить чиновничью службу и целиком отдаться литературной деятельности.

Дальнейший путь Решетникова целиком связан с литературной и журнальной жизнью 60-х годов. В своем творчестве Решетников стремится практически воплотить те высокие принципы литературы, которые сформулированы в эстетике революционных демократов.

Личная жизнь писателя не богата событиями. В 1864 году Решетников женился на С. С. Каргополовой, приехавшей в Петербург учиться акушерскому делу. Ее трудный путь независимости и обретению равноправного места в жизни будет затем в какой-то мере отображен в романе Решетникова «Свой хлеб».

Творческие успехи не вскружили голову писателю-демократу: он попрежнему пристально изучает жизнь, глубже знакомится с литературой. Решетников сожалеет, что не смог получить основательного образования. «Хуже всего то, — записывает он в «Дневнике», —

я не образовал себя так, как образованы наши литераторы, у меня нет свободы, денег. . . Я года через два образую себя: стану читать, еще больше буду всматриваться в нашу жизнь, всосусь в ее кости и кровь».

Хотя с опубликованием «Подлиповцев» и других произведений материальное положение Решетникова упрочилось, но это не означало устранения трудностей как творческого, так и житейского порядка. Литературный заработок не был достаточно велик, семейная жизнь увеличила материальные затруднения. Были и литературные неудачи. Так, в 1865 году Некрасов весьма сурово отнесся к очерку «Горнорабочие» и отказался его печатать. Решетников понимал всю справедливость указаний доброжелательного, но принципиального и требовательного редактора. Летом того же года писатель едет на Урал, чтобы освежить и пополнить свои наблюдения над горнозаводской жизнью.

По возвращении из поездки Решетников интенсивно работает над романом «Горнорабочие» и другими произведениями. Литературные связи писателя расширяются. Еще в 1864 году в «Русском слове» начала печататься его автобиографическая повесть «Между людьми», в 1865 году появляются очерки в «Искре», позднее — в «Будильнике», «Деле».

В 1866 году в связи с обострившейся политической реакцией усилились гонения на передовую литературу. Правительство закрыло журналы «Современник» и «Русское слово». «Мы переживаем теперь, — записывал Решетников в «Дневнике», — тяжелое время, тяжелое потому, что говорить дело нельзя, а ложь, фантазию писать не хочется». Закрытие журналов, в которых Решетников сотрудничал, тяжело отозвалось и на его материальном положении.

После романа «Горнорабочие», так в полном виде и не увидевшего света, Решетников работает над романом «Глумовы», публиковавшемся в журнале «Дело» в 1866—1867 годах. Одновременно создается ряд очерков («Кумушка Мирониха», «Очерки обозной жизни», «На Никольском рынке» и др.).

В конце 1866 года жена Решетникова получает назначение акушеркой в брестлитовский военный госпиталь. Решетников едет вместе с семьей и некоторое время живет в Брест-Литовске. Здесь, а затем в Петербурге Решетников напряженно трудится над романом «Где лучше?», в котором решил выразить все, что не удалось сказать в предыдущих романах, и одновременно дополнить изображение уральской жизни петербургскими наблюдениями. Для

изучения рабочих столицы писатель поселяется на Обводном канале, знакомится с рабочими, с их жизнью, трудом, бытом. Роман «Где лучше?» печатается в 1868 году на страницах «Отечественных записок», перешедших к тому времени в руки Некрасова и Щедрина.

В 1869 году выходит двухтомное собрание сочинений Решетникова, в которое, однако, были включены писателем далеко не все его произведения. Роман «Где лучше?» появился отдельным изданием в том же году; еще раньше, в 1867 году, отдельной книжкой вышли «Подлиповцы». В последние годы жизни писатель работал над романом «Свой хлеб», продолжением которого должен был явиться роман «Чужой хлеб». Замысел последнего осуществить уже не удалось.

Несмотря на напряженную литературную работу, жизнь писателя-разночинца продолжала оставаться тяжелой. Необеспеченность семьи тревожила Решетникова, заставляла его работать сверх сил. Непрерывный труд и прошлые лишения привели к туберкулезу.

Яркий портрет Решетникова последних лет жизни дал Успенский: «Он был угрюм, неразговорчив, необщителен, порой груб. От всех он сторонился, смотрел волком, ко всему и всем был подозрителен, редко-редко добродушная улыбка осветит это угрюмое лицо». Успенский разъясняет, что таким сделала Решетникова окружающая действительность: «Жизнь посбила много дорогих цветов с его сильного таланта, ничем никогда не помогла ему развиться, хотя и дала взамен многого, понапрасну утраченного, полное знание народной жизни, уменье понимать ее глубоко и правдиво».

В начале марта 1871 года болезнь Решетникова резко обострилась, и 9 марта писателя не стало. Один из участников похорон вспоминал: «В тепленький, но пасмурный мартовский день тянулись по Лиговке к Волкову простенькие дроги... На дрогах возвышался ординарный гроб из самых дешевых. За гробом шла вдова в глубоком трауре, вся в слезах, и двое маленьких ребятишек... Далее шли врассыпную человек десять—пятнадцать братьев-писателей и близких знакомых... Ни депутаций с венками, ни прочувствованных речей на могиле».

В апрельском номере «Отечественных записок» появился некролог, написанный Глебом Успенским. Заканчивая биографию Решетникова, он сказал слова, которые выразили горячее чувство любви трудовых масс к своему писателю: «Вечная память ему и вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском человеке!»

Основной темой творчества Решетникова является жизнь народная, положение крестьянских и рабочих масс в предреформенной и пореформенной России. Главная особенность воспроизведения народной жизни в произведениях Решетникова — это суровая, «трезвая правда» (по выражению Тургенева), правда «без всяких прикрас», которой требовали от литературы революционные демократы.

В 1863 году Салтыков-Щедрин, отмечая в литературе благотворные перемены в части изучения и изображения народной жизни, писал: «Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство». Словно бы в подтверждение этого заключения в следующем году на страницах «Современника» появляется первое крупное произведение Решетникова — «Подлиповцы», с подзаголовком «Этнографический очерк».

Изображение жизни бурлаков — непосредственная тема «Подлиповцев» — не было абсолютной новостью. И до произведения Решетникова о бурлачестве немало писалось в демократической публицистике 50—60-х годов. По-своему, давая искаженное, клеветническое изображение народной жизни, касалась этой темы и реакционная печать. Для Решетникова было особенно важно то освещение темы бурлачества, которое давали ей писатели революционной демократии. Известно, что с жизнью бурлаков связывает биографию Рахметова в «Что делать?» Чернышевский. Еще ранее, в 1861 году, с огромной силой на всю Россию прозвучали строки о бурлаках в стихотворении Некрасова «На Волге».

Решетникову, конечно, были знакомы и роман Чернышевского и стихотворение Некрасова. Свое отношение к Чернышевскому Решетников был лишен возможности высказать, зато чувство глубокого уважения к любимому поэту писатель выразил сразу и притом на страницах «Подлиповцев»: произведение это было посвящено Николаю Алексеевичу Некрасову. Связь картин и образов «Подлиповцев» с картинами и образами из народной жизни в произведениях писателей революционной демократии не подлежит сомнению.

Содержание «Подлиповцев» выходит за рамки изображения только бурлацкой жизни. В участи крестьян деревни Подлипной читатель с полным основанием видел обобщенную картину жизни крестьян в первые годы после реформы. Реформа, проведенная

крепостниками, как известно, не принесла облегчения крестьянству. «Пресловутое «освобождение», — указывал В. И. Ленин, — было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними».[1] Рост кулачества в связи с усилившимся развитием капитализма в стране принес новую кабалу и разорение «освобожденной» деревне. Обнищание крестьянских масс, бегство большой части их в город, скитания этих новых пролетариев в поисках заработка, куска хлеба, жилья — таковы типичные картины положения трудовых масс России в пореформенную эпоху. Решетников в своих «Подлиповцах» одним из первых русских писателей запечатлел эти картины.

К изображению жизни бурлаков и в их лице широких трудовых масс Решетников был хорошо подготовлен. Мы знаем, как интересовался он жизнью народа, будучи и в Перми и в Екатеринбурге. В повести «Между людьми» Решетников рассказал историю своего знакомства с бурлаками, с их трудом и жизнью: «...когда мне привелось проплыть с ними триста верст, тогда я заглянул в бурлацкое нутро и узнал их! И мало есть таких людей, которые бы поняли настоящую бедность и причины этой бедности». Сам Решетников принадлежал к этим людям.

Рассказывая о фактической основе своего произведения и определяя его цель, писатель сообщал Некрасову: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время еще очень много не только в Чердынском уезде Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я жил в Чердынском уезде, провел двадцать лет на берегах реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам».

Картины жизни, изображенные Решетниковым в «Подлиповцах», поражают своей суровостью, тяжелым, гнетущим настроением. И вместе с тем книга с непреложностью убеждает, что каждое слово, каждое лицо, каждый факт в ней — неотразимая правда, от которой некуда уйти, которую нельзя забыть.

Решетников строго фактичен в своем повествовании. Это подчеркивает и подзаголовок повести: «Этнографический очерк». Исследователи не раз подтверждали, насколько Решетников точен в воспроизведении языка, быта, верований изображаемых им коми-пермяков. Этнографизм «Подлиповцев» перекликается с теми этно-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 94—95.

графическими очерками, которые помещались в 50—60-х годах на страницах «Современника».

Но было бы неверным на этом основании отказывать произведению Решетникова в обобщении, а его образам — в типичности. Подобные толкования «Подлиповцев» были распространенными в реакционной критике, а затем и в буржуазном литературоведении. Уже приведенное письмо Решетникова к Некрасову в какой-то мере рассказывает, насколько далек был писатель от узкого этнографизма и натуралистических зарисовок. В самом произведении типичность участи крестьян деревни Подлипной подчеркивается неоднократно. Изображая спутников Пилы и Сысойки, отправившихся бурлачить, писатель заявляет: «Все эти люди так же бедны, как и подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как шли подлиповцы и их товарищи».

Нет ничего исключительного и в самой трагической участи, постигшей Пилу и Сысойку. Уже вскоре после отплытия барки сообщается, что «потонуло два бурлака», затем еще «два бурлака умерли»; о лоцмане, который отвез разбившихся Пилу и Сысойку в деревню, говорится, что он «привык уже к подобным сценам». Картина, зарисованная Решетниковым, передовой демократической критикой справедливо рассматривалась как типическая картина русской народной жизни того времени.

Рассказ о жизни бурлаков в «Подлиповцах» превосходит по полноте все написанное на эту тему до Решетникова. Решетников дал не только зарисовки труда и быта бурлаков, но и широкую картину того, как эти бурлаки появляются, откуда они рекрутируются. Разорение пореформенного крестьянства изображено писателем с большой социальной зоркостью. С глубоким проникновением в психологию разоренного крестьянина Решетников показывает, как закономерно возникает в сознании труженика мысль о бегстве из деревни, об уходе в бурлаки. И каким легким и заманчивым представляется это бурлачество новичкам: «Хорошее занятие — бурлачество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди все разные, местности хорошие». Лишь суровый опыт убеждает подлиповцев, как иллюзорна их мечта о хорошем заработке, о легком труде, о сытой жизни. Сцены каторжного труда бурлаков, зарисованные Решетниковым, по силе производимого впечатления — в одном ряду со стихами Некрасова, с народными песнями, с образами знаменитой картины Репина.

Не только в бурлаки, но и на многие другие работы шли выгнанные из деревни труженики. В тех же «Подлиповцах» Решетни-

ков показал, как тяжело приходилось рабочему человеку на соляных варницах. Судьба Матрены, жены Пилы, не менее трагична, чем участь бурлаков.

Центральными персонажами повести являются Пила и Сысойка; именно их участь прослеживается во всех подробностях, черты их образов, внутренние и внешние, даны художником с наибольшими подробностями. Прост и человечен их облик; они — типичные представители окружающей их среды. Неурожаи, голод, поборы властей и церковников — вот чем полна жизнь Пилы и Сысойки, отчего вымирают, разоряются, уходят «на сторону» жители деревни Подлипной. Социальный и экономический гнет, усиленный для коми-пермяков еще гнетом национальным, бесправное положение, отсутствие грамотности — все это не могло не сказаться на духовном и даже физическом облике простых тружеников.

Решетников, стремясь как можно правдивее и естественнее показать своих героев, искусно воспроизводит весь строй их речи, мышления. В диалогах персонажей повести мы встретим такие местные слова, как «тамока», «мастюжь», «баско», «лиже», «вре», «почесь», «тожно», «толды» и т. п. Решетников хорошо слышит диалектную речь персонажей повести. Например, вятский говор метко схвачен шуточными словами одного из бурлаков: «Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча». Точное воспроизведение речи своих героев Решетникову нужно для того, чтобы показать их вековую темноту, забитость и изолированность от культурного развития страны. Язык героев повести местами поражает даже своею грубостью.

Но рисуя образы Пилы и Сысойки, Решетников сумел за их внешней грубоватостью показать ряд глубоко трогательных человечных качеств. В Пиле подчеркнуты его энергичность, предприимчивость, забота не только о своей семье, но и своих однодеревенцах. Индивидуальность облика Пилы оттенена и теми недостатками, которые подмечены в нем автором: привычка прихвастнуть, представиться более значительным, чем он есть, стремление подладиться к «начальству».

Пила и Сысойка — образы большого обобщающего значения, свидетельствующие о выдающемся мастерстве писателя, о глубоком проникновении его в явления действительности. На типическую выразительность образа Сысойки указал В. И. Ленин в статье «По поводу одной газетной заметки».[1]

---

[1] См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 2. стр. 294—295.

Наряду с жизненной судьбой Пилы и Сысойки в «Подлиповцах» прослеживается, хотя и не столь подробно, история детей Пилы — Ивана и Павла. Эта линия повествования имеет существенное значение для осмысления общей картины народной жизни, зарисованной Решетниковым. Именно на судьбе детей Пилы Решетников показывает, что, несмотря на весь трагизм процесса обнищания и разорения деревенских масс, пролетаризация крестьянства имеет и свой положительный смысл. Иван и Павел становятся пролетариями, они отчетливо видят, что их участь значительно лучше той, которая ждала бы их в Подлипной. Там они были бы обречены на полную темноту, забитость, вымирание. Благодаря ранним скитаниям в поисках работы и хлеба умственный горизонт Ивана и Павла стал шире горизонта их отца, их не удивляет уже многое из того, чему наивно поражались Пила и Сысойка. Иван и Павел с трудом, случайно, через помощника повара на пароходе, но научились грамоте. Все это — важные черты в облике сыновей погибшего бурлака. Повесть кончается многозначительным вопросом, который задает один из братьев: «А пошто же не все богаты?»

Повествование в «Подлиповцах» согрето глубоко сочувственным отношением автора к своим героям, к их горестной жизни. Это находит отражение и в художественных особенностях произведения. Авторский язык предельно прост, чужд какой-либо украшенности, рассказчик стремится и в своем языке быть как можно ближе к своим героям, стремится видеть мир их же глазами. Вот почему в речи автора порой появляются слова, которые уместны лишь в устах персонажей книги («охобачивать», «оплетать», «баско», «поблазнил»).

В ряде случаев автор вступает в повествование с прямыми высказываниями, чтобы взять под защиту своих героев. Глубокой скорбью, душевной теплотой, сердечностью и щемящим горьким лиризмом проникнуты заключительные слова сурового сказания о жизни Пилы и Сысойки: «Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее... Вот каково бурлачество и каковы люди бурлаки». О своем отношении к героям «Подлиповцев» Решетников сообщал в письме Некрасову: «Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мною очерчивался образ Пилы во время его мучений». Убежденный в правильности своей творческой позиции, писатель в этом же письме заявлял: «По-моему, написать все это иначе — значит говорить против совести, написать ложь... Наша литература должна говорить правду».

«Подлиповцы» — выдающееся произведение демократической ли-

тературы 60-х годов. Оно вызвало многочисленные отклики современников. И если реакционная критика злобно охаивала его, то передовая критика по достоинству оценила силу и самобытность таланта Решетникова. В связи с отдельным изданием «Подлиповцев» рецензент «Отечественных записок» писал о Решетникове и изображении им народа: «Рассказывая с необыкновенной простотою и правдивостью обыденную жизнь своих героев, он нисколько их не идеализирует, не выставляет слащавыми мужичками или сахарными пейзанами, не навязывает им тех достоинств и совершенств, которых у них не может быть по самому их положению». Как характерную особенность самих приемов изображения рецензент отмечал: «Никаких преднамеренных эффектов, никакой драматической подтасовки, одно простое и последовательное изложение обычного хода трудовой жизни». Салтыков-Щедрин, вспоминая о появлении повести, писал, что она «тогда же обратила на себя внимание публики новостью обстановки, своеобразностью языка и оригинальностью идеи, лежавшей в ее основании».

Именно с «Подлиповцами» прежде всего связано имя Решетникова, когда идет речь о месте его в истории русской литературы.

3

Как уже указывалось, «Подлиповцы» были не первым произведением Решетникова. Повести предшествовал ряд очерков и рассказов; этим жанрам писатель уделял немало времени и внимания на протяжении всего творческого пути.

При подготовке своего единственного прижизненного собрания сочинений в 1869 году строгий к себе писатель отобрал далеко не все очерки и рассказы для переиздания, а отобранное подверг существенной художественной доработке. Ряд этих очерков и рассказов Решетников объединил в особые циклы, подчеркнув таким образом их идейную и художественную общность. Соединение очерков в циклы, серии, тематические сборники — явление, характерное для очерковой литературы 60-х годов и последующих десятилетий (таковы, например, сборники Левитова и Воронова, очерки Слепцова, многие циклы Глеба Успенского и др.).

Первый цикл, состоящий из трех произведений («Никола Знаменский», «Кумушка Мирониха», «Тетушка Опарина»), назван Решетниковым «Добрые люди». «Добрыми» писатель считает людей, которые думают о других, в какой-то мере помогают тем, кто нуждается в помощи. Отсюда характерная черта «добрых лю-

дей» — их демократизм, связь с обездоленной массой, из которой они сами вышли. Так близок к своим прихожанам весьма малообразованный, даже невежественный священник Никола Знаменский. Сам не имея большого материального достатка, он, однако, помогает крестьянам, выручает их тогда, «когда с них требовали подати».Тетушка Опарина, умеющая неплохо устраивать и свои дела, заступается за своих односельчанок, когда тем угрожает телесное наказание.

О рассказе «Никола Знаменский» писатель сообщает, что это его «первая попытка писать в прозе», что он «предполагал писать роман из духовного быта». Быт провинциального духовенства — безграмотного, невежественного, непрерывно пьянствующего — действительно изображен в рассказе с большой обличительной силой. С не меньшей силой изображено и равнодушие масс крестьянства к религии, церковным обрядам. Недаром реакционная, в том числе церковная критика с возмущением отзывалась о рассказе после появления его в «Современнике». Весьма неодобрительно отозвалась о рассказе и царская цензура.

Упомянутый в связи с рассказом «Никола Знаменский» замысел «романа из духовного быта» Решетников в какой-то мере осуществил в повести «Ставленник» (1864). В повести изображается быт знакомой Решетникову Пермской духовной семинарии периода 1859—1861 годов и служебная карьера одного из семинаристов. Несмотря на замкнутый и весьма затхлый быт семинарии, «новые веяния» проникают и сюда: «Стали семинаристы доставать секретно сочинения Белинского и Добролюбова, подписывались по двадцати человек на один билет в библиотеку и доставали серьезные книги, один читал, все слушали, разбирали, критиковали по своему. . .» Героя повести, Егора Ивановича Попова, эти веяния почти не затрагивают; он поглощен предстоящей духовной карьерой, выгодной женитьбой и т. д. Изображение косного, тупого, сонного быта провинциального духовенства, его корыстолюбия, бескультурья, продажности и является главной темой повести. В этом ее обличительная ценность. Однако повесть страдает растянутостью, излишними подробностями быта, некоторым фотографизмом изображения.

В цикле «Из путевых воспоминаний» особенно интересны очерки, посвященные уральской поездке писателя в 1865 году. В очерке «Глухие места» приводятся весьма горькие слова крестьянина о проведенной реформе: «Преж за землю ничего не брали, а теперь старую-то взяли, другую дали — болото, и деньги требуют». Немудрено, что проведение реформы наталкивалось на сопротивление крестьян. О фактах недовольства крестьян реформой Решетников сообщал в

письме к Благовещенскому: «Завтра утром еду с протяжными в Екатеринбург. Поездка туда имеет для меня большое значение. Новый губернатор уехал разбирать дело временнообязанных крестьян, которые недавно бунтовали и в которых стрелял целый полк. В Пермской губернии большею частью таким манером уничтожают крепостное право. Стреляют в народ, потому что помещики насчитали много недоимок и дали народу такую землю, на которой разве при хорошей обработке через десять лет вырастет хорошая трава для корму лошадям». Но подобные факты писатель, разумеется, не мог включить в свои очерки.

Произведения большой идейной и художественной силы вошли в цикл «Забытые люди» («Макся», «Ильич», «Шилохвостов», «Яшка»). Это очерки о забитых и униженных маленьких людях, вся жизнь которых — непрерывные лишения, тяжелый труд, отсутствие малейшей радости и как единственное забвение от горя — кабак, водка. Все герои названных очерков кончают трагически: спивается Макся, до потери человеческого облика доведен сосланный чиновник Ильич, самоубийством кончает сошедший с ума Шилохвостов, в острог попадает Яшка.

Высокую оценку этим очеркам Решетникова дал Шелгунов. «Очерки Решетникова, — писал он, — правдивая психологическая история нравственного развития человека с его детского возраста под влиянием подавляющей среды... Метко двумя-тремя словами Решетников обрисует вам маленького Яшку, и вы видите его, точно живого, с оторопелым взглядом, загнанного, забитого, но твердого и непреклонного».

Решетникову принадлежит большое количество очерков и рассказов и не входивших в какие-либо цикловые объединения, но все они также тесно связаны с главнейшими темами творчества писателя.

Из числа очерков, напечатанных в «Северной пчеле», значительный интерес представляет очерк «Горнозаводские люди», с подзаголовком «Рассказ полесовщика» (1863). По подробностям быта, языку, образам это, несомненно, одно из первых и значительных достижений писателя в изображении условий жизни и труда рабочих Урала. В очерке дается широкая картина сложных социальных взаимоотношений на уральских горных заводах, приводятся цифровые данные о заработке, говорится о тяжелом труде на шахтах, о произволе заводских властей. Все горе рабочих старый полесовщик видит в том, что «пристать за народ некому». Очерк, посвященный в основном дореформенным порядкам на уральских заводах,

существенно дополняет картины пореформенной жизни, которые создал Решетников в своих романах.

Очерк отличается большим языковым мастерством. Рассказ ведется от имени полесовщика, и в речи его хорошо передан весь склад мысли рассказчика, его характер, его внутренний духовный облик. Само повествование ведется в сказовом стиле, с частыми обращениями к слушателю, с вводными словами и т. д. («Скажу я тебе, хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди такие. Вот, слушай-ко»). Часты в сказе пословицы, поговорки: «Побывает деготь в посудине, уж не выведешь его», «Нашел — молчи, потерял — молчи, шито да крыто», «Шила в мешке не утаишь» и др.

В своих очерках и рассказах Решетников не ограничивается уральской тематикой. В упоминавшемся очерке «Яшка» даны острые зарисовки социальных картин, увиденных писателем в Петербурге. Собственный опыт столичной жизни, служба в департаменте, скитания по «углам», нужда разночинца-пролетария — все это нашло отражение в очерках «Сутки в казенной квартире», «Дом в пять этажей», «Квартира № 25» и др.

Особо волнует писателя положение в столице рабочих масс, нахлынувших из разоренной деревни. В очерках «На заработки», «На Никольском рынке», «В деревню!» и др. даны весьма характерные картины из жизни рабочих-сезонников, описаны их скитания по ночлежным домам, поиски работы, их тяжелый, неприглядный быт. Писатель возмущен тем бесправным положением, в котором находится рабочий, «мастеровой» в столице. Об этом Решетников ярко рассказал в автобиографическом очерке «Филармонический концерт». Происшедший с писателем случай В. И. Ленин (пользуясь биографией Решетникова, написанной Успенским) приводил как типичный факт «полного самовластия полиции и полной бесправности народа». «Лет тридцать пять тому назад, — пишет В. И. Ленин в статье «Случайные заметки» (1901), — с одним известным русским писателем, Ф. М. Решетниковым, случилась неприятная история. Отправился он в С.-Петербурге в дворянское собрание, ошибочно воображая, что там дают концерт. Городовые не пустили его и прикрикнули: «Куда ты лезешь? кто ты такой?» — «Мастеровой!» — грубо отвечал рассердившийся Ф. М. Решетников. Результатом такого ответа — рассказывает Гл. Успенский — было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый, без денег и кольца. «Довожу об этом до сведения вашего превосходительства, — писал Решетников в прошении с.-петербургскому оберполицмейстеру. — Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и горо-

довые *не били народ*... Этому народу и так придется много получить всякой всячины».[1] Характерно, что очерк Решетникова был опубликован лишь много лет спустя после смерти писателя и притом лишь в провинциальной печати.

Очерки и рассказы Решетникова, затрагивая актуальные вопросы современности, занимают заметное место в обширном потоке очерковой литературы 60-х годов, созданной усилиями писателей-демократов.

4

Значительнейшую часть художественного наследия Решетникова составляют его романы. Писатель постоянно стремился к созданию широких полотен народной жизни, к прослеживанию судеб своих героев во всей сложности взаимосвязей их с окружающей действительностью. Почти вся вторая половина его творческого пути поглощена работой над серией романов из рабочей жизни. При единичности попыток обращения в литературе к этой малоизведанной тогда теме русской жизни творческий подвиг Решетникова трудно переоценить.

Решетникову принадлежат три романа из жизни рабочих — «Горнорабочие», «Глумовы» и «Где лучше?». Вместе с очерками и рассказами из горнозаводской жизни («Скрипач», «Осиновцы», «Горнозаводские люди» и др.) эти романы составляют обширную эпопею народной нужды и горя в предреформенные и пореформенные годы.

Горнозаводский Урал, который по преимуществу изображал Решетников в своих произведениях на рабочую тему, являлся тем промышленным районом старой России, где крепостные порядки были наиболее устойчивыми, где пережитки их сказывались даже десятилетия спустя после реформы. Характеризуя промышленный Урал пореформенного периода, В. И. Ленин писал: «...самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени — такова общая картина Урала».[2]

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 376.
[2] Там же, т. 3, стр. 427.

Романы Решетникова основаны на тщательном изучении действительности, на личном знакомстве писателя с условиями труда, жизни и быта рабочих Урала, а затем и Петербурга. Из биографии писателя известно, как любил он в Перми посещать Мотовилиху, «в которой, — по свидетельству Г. Успенского, — узнал всю подноготную жизни заводского рабочего». Во время поездки на Урал в 1865 году Решетников вновь углубляется в изучение заводской жизни. «Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии, — сообщает писатель. — Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно ночью, в крестьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты. Смеху надо мною было много».

Творческий замысел романов из рабочей жизни раскрыт Решетниковым в его письме к Некрасову от 2 сентября 1865 года, когда первое произведение было уже начато: «Я написал первую часть романа «Горнорабочие»... По моему мнению, этот роман, задуманный еще в Екатеринбурге в 1861 году, будет лучше «Подлиповцев», потому что я проверил ныне сам себя на заводах. В первой части заключаются крепостные горнозаводские и завязка романа; во второй — казенные, в последней — вольные».

Единая основа этих трех романов Решетникова вскрывается не только творческой их историей и совпадением деталей судеб героев. Еще более их объединяет общая картина народной рабочей жизни определенного периода. Эта картина была настолько исторически конкретна и настолько верно схвачена, что современники увидели в ней обобщающую типическую картину жизни трудовых масс всей России. П. Н. Ткачев в статье, посвященной заводским романам Решетникова, писал: «Характеры, выводимые в романах г. Решетникова... семейные и общественные отношения, изображаемые им, имеют совсем не местный, частный, а общенародный интерес; они типичны не только для Осиновских, Таракановских и им подобных заводов, они типичны для всего нашего края, для всей нашей обширной земли».

Во время работы над романом «Глумовы» Решетников записывает в «Дневнике» об одном из героев своего произведения: «Да, много есть страданий у человека. В страдании Сысойки и Пилы («Подлиповцы») я страдал; теперь я страдаю в Корчагине. Но все эти люди живые. Подите вы на Каму, в Пермь теперь, подите в любой горный завод — стонет бедный народ и стонет от начальников: приказчиков, мастеров, штейгеров. То же и здесь (в Петербурге. — *Н С.)* с фабричными и другими людьми». Эта запись чрезвычайно многозначительна для понимания романов Решетникова. Она пока-

зывает, насколько обобщающее значение придавал сам писатель своим произведениям, насколько документально в своей основе его творчество, она показывает также, с каким глубоким сочувствием относился Решетников к своим героям из народа.

В романах Решетникова чрезвычайно большое место занимает изображение общего уклада жизни, обстоятельств, обстановки, в которых развертывается действие и от которых целиком зависят судьбы отдельных героев. Решетникову в романах, как и в «Подлиповцах», важно было показать, что тяжкая жизнь людей из народа, черты их облика и характеров не есть что-то необычное, редкое, исключительное и потому легко поправимое. В своих произведениях Решетников доказывает, что жизнь народа и не может быть иной при существующих социальных условиях, что улучшение положения масс невозможно без коренных изменений всего существующего строя. Важнейшей особенностью романов Решетникова и является то, что в них большое место отводится показу среды, обстоятельств, в которых действуют герои и которые обусловливают их поступки, их характер.

Салтыков-Щедрин в рецензии на роман «Где лучше?» писал: «Новая характеристическая черта народного романа — та черта, что в нем главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда». Указывая, что в мире народной жизни «никакая личная драма не может иметь места иначе, как в связи с драмою общею», Салтыков-Щедрин заявляет: «Вот эту-то неразрывную связь г. Решетников и дает нам чувствовать на каждой странице своего романа».

Поистине страшна общая драма народной жизни; во всей суровости, со всею правдивостью и рисует ее Решетников. В романе «Горнорабочие», где изображаются еще крепостные порядки горнозаводского Урала, говорится о семье рядового рабочего Гаврилы Ивановича Токменцова. Одного из сыновей Токменцова засекли на руднике до смерти, другого, тринадцатилетнего подростка, тяжело наказали, дочь рабочего подверглась гнусному насилию заводского полицейского. И некуда и не к кому пойти жаловаться — бесполезно. В конце концов и сам Токменцов был замучен на работе. Решетников не раз на страницах романов показывает самый процесс труда, стремясь со всей правдивостью обрисовать все то, из чего складывается жизнь трудящегося человека.

Во всех романах Решетникова отчетливо вскрывается социальная рознь между рабочими и «господами», хозяевами, их приказчиками. О ненависти рабочих к «начальству» в «Горнорабочих» говорится: «Все они, от пятилетнего ребенка до последней минуты

жизни, ненавидели всякого начальника и ни о ком не отзывались, что это хороший, добрый человек». Очень ярко эта ненависть показана и в романе «Глумовы», в котором рассказывается об отношении рабочих к объявленной «воле». Решетников был лишен возможности по цензурным причинам рассказать всю правду о проведении реформы на Урале, о надувательстве, которому подверглись широчайшие массы, но и те немногие картины, которые ввел Решетников, ясно свидетельствуют, насколько далеки были рабочие от удовлетворения царской «свободой».

Общая драма народной жизни, запечатленная в романах, раскрывается писателем на конкретных жизненных судьбах, на конкретных человеческих характерах. Уже в романе «Горнорабочие» убедительно обрисована участь членов семьи рабочего Токменцова, даны выразительные портреты представителей правящего лагеря. Более подробно судьбы отдельных людей из народной массы прослежены в романе «Глумовы». Особенно примечателен здесь образ Прасковьи Игнатьевны, прошедшей трудный, суровый путь жизненных испытаний: смерть отца, сумасшествие матери, рождение мертвого ребенка, смерть мужа, непрерывный тяжелый труд из-за куска хлеба. Как бы предваряя трудовую биографию Прасковьи Игнатьевны, звучат слова писателя о русской женщине-труженице: «На долю русской простой женщины приходится очень много труда. Вся ее жизнь, до самой старости. . . заключается в том, чтобы работать».

Итоговым и самым значительным произведением Решетникова на рабочую тему является роман «Где лучше?». Появление его было по справедливости расценено в критике как выдающееся достижение демократической литературы 60-х годов. В рецензии на роман Салтыков-Щедрин писал о Решетникове: «Сущность таланта этого автора» выразилась «в романе «Где лучше?» едва ли не ярче, нежели в прежних его сочинениях».

Уже само заглавие романа полно глубокого значения. Программный характер этого заглавия подчеркнут в известном суждении Горького об основных устремлениях передовой русской литературы: «Русская литература особенно поучительна, особенно ценна широтою своей — нет вопроса, который она не ставила бы и не пыталась разрешить. Это по преимуществу литература вопросов: Что делать? Где лучше? Кто виноват? — спрашивает она».

И по содержанию и по своему построению роман «Где лучше?» имеет немало сходного с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Семь мужиков из поэмы Некрасова, сойдясь «на столбовой дороженьке», пошли затем по Руси искать счастливого. Пятерых путников, героев романа Решетникова, мы тоже встречаем в

дороге. «Куда бог несет?» — спрашивает повстречавшийся полесовщик Терентия Горюнова и его сотоварищей. «Туда, где лучше». — «Где же это такое место?» — «Искать будем», — отвечают странники-пролетарии. Как вопрос «кому на Руси жить хорошо?» неоднократно задается на страницах поэмы, так и слова «где лучше?» не раз повторяются героями повествования Решетникова. Роднят роман с поэмой Некрасова и те картины народной жизни, которые нарисованы писателем-демократом при изображении судеб его героев.

Уже в первых двух романах Решетников показал, насколько каторжно тяжела участь рабочего на уральских заводах с их крепостными порядками. Немудрено, что после объявления «воли» многие из рабочих Урала распрощались с обжитыми местами и тронулись в другие края, в поисках иной работы, лучшей участи. Это было типичным явлением для пореформенного Урала. Решетников верен исторической правде. Более того, кочевание рабочих масс с места на место — явление, характерное для всей пореформенной России. В. И. Ленин писал: «Рабочие уходят... не только потому, что не находят «местных занятий под руками», но и потому, что они стремятся туда, где лучше». [1]

Герои Решетникова, отправившись на поиски лучшей доли, прошли от Урала до Петербурга, работали на соляных варницах, добывали золото, строили железную дорогу, испытали заводские порядки в столице — и всюду их ждало одно и то же: тяжелый труд, бесправное положение, полуголодное существование. И то с печалью, то с горькой иронией звучат ответы искателей счастья на вопрос, поставленный в заглавии романа: «хорошо, видно, там, где нас нет», «едва ли есть где на земле уголок, где бы хорошо и весело жилось», «в кабаке лучше», «на том свете, должно быть, лучше».

Но если мрачные выводы, окрашивающие соответствующим настроением повествование, не новы в творчестве Решетникова (вспомним «Подлиповцев»), то вместе с тем на страницах романа «Где лучше?» появляются герои из той же рабочей среды, которые доходят и до правильного ответа на поставленный вопрос: «Богатому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо». Рабочий начинает думать о несправедливости подобного порядка. Еще в повести «Подлиповцы» Решетников подметил, что «заводской человек», рабочий «толковее и злее крестьянина». В своих романах писатель не раз говорит о проявлениях недовольства рабочих своим

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 483.

положением. Таково, например, выступление золотоискателей против наглого надувательства и произвола, царившего на золотых приисках, таковы отдельные выступления рабочих на петербургских заводах. Особенно примечателен в этом отношении образ пролетария Петрова. Но отмечая зачатки борьбы рабочих за улучшение своего положения, Решетников, верный исторической правде, показывает и недостатки в их движении: стихийность, отсутствие спайки, солидарности.

В романе «Где лучше?» Решетникову удалось создать ряд убедительных художественных образов. Особенно ярко и полно обрисован образ женщины-работницы Пелагеи Прохоровны. Имея немало общего с судьбой Прасковьи Игнатьевны из «Горнорабочих», Пелагея Прохоровна также проходит весь горестный путь поисков самостоятельного, хотя бы мало-мальски обеспеченного существования. Глубоко человечен, полон теплоты и авторского сочувствия этот центральный образ романа Решетникова. Трудолюбие, честность, нравственная чистота, сочувственное отношение к близким по труду и жизни людям, упорство в достижении поставленной цели — таковы черты этой «прелестнейшей русской женщины», по определению Салтыкова-Щедрина.

Роман «Где лучше?» посвящен в основном изображению жизни рабочих в пореформенную эпоху, но среди искателей лучшей участи были, конечно, не только рабочие, бежавшие с Урала, но и деревенские пролетарии, выброшенные нуждой и голодом из своих деревень. На соляных варницах, о которых говорится в произведении, герои романа могли встретить Матрену из деревни Подлипной. Недаром уже в 80-е годы Салтыков-Щедрин, говоря о разорении пореформенной деревни, вспомнил о романе Решетникова. «Оставленные наделы, покинутые и заколоченные избы, — говорит сатирик в «Мелочах жизни», — достаточно свидетельствуют о сладостях деревенской жизни. Куда девались обитатели этих изб? Увы! Скоро самая память об них исчезнет в деревне. Они получили паспорта и «ушли» — вот все, что известно; а удастся ли им, вне родного гнезда, разрешить поставленный Решетниковым вопрос: «Где лучше?» — на это все прошлое достаточно ясно отвечает: нет не удастся».

В романе «Где лучше?» наиболее явственно сказались сильные стороны Решетникова-романиста. По широте охвата действительности, по подробностям жизни и быта рабочих масс, по живости очерченных образов роман явился крупным достижением писателя. Однако не лишен роман и художественных недостатков. Слишком подробные описания труда и быта, введение ряда побочных само-

стоятельных линий несколько растягивают роман, дробят его композицию.

Салтыков-Щедрин, высоко ценивший роман «Где лучше?», не скрывал недостатков художественного мастерства Решетникова. «Эти недостатки, — писал он, — общи и прежним его произведениям, а именно: большая неловкость в построении романа, неумение распорядиться материалом и великое изобилие длиннот, которые делают чтение романа весьма утомительным». Но Салтыков-Щедрин отмечал и огромную заслугу Решетникова-романиста. «Решетников, — писал он, — первый показал, что русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа, тогда как прочие наши беллетристы, затрогивавшие этот предмет, никак не могли выбиться далее... рассказов». Именно на материале произведений Решетникова Салтыков-Щедрин отмечает ту особенность «народного романа», «что в нем главным действующим лицом и главным типом является целая народная среда». О творчестве Решетникова в целом Щедрин заявлял: «Он чувствует правду, он пишет правду, и из этой правды до того естественно вытекает трагическая истина русской жизни, что она становится понятною даже и без особенных усилий со стороны автора».

После создания романа «Где лучше?» Решетников в последние годы работал над новыми крупными произведениями «Свой хлеб» (1870) и его продолжением — «Чужой хлеб». В них Решетников намеревался показать судьбу русской женщины, решившейся порвать с нетрудовой жизнью своей среды и найти себе самостоятельное, независимое место в жизни, занявшись трудом, полезным для общества. Эта проблема женской самостоятельности, поставленная и в рабочих романах Решетникова, как известно, широко освещалась в русской литературе 60-х годов. Ряд деталей биографии Дарьи Андреевны, героини романа «Свой хлеб», перекликается с фактами жизни Веры Павловны из знаменитого романа Чернышевского.

Наибольшее значение из романов Решетникова имеют, однако, его романы из рабочей жизни. Роль их должна быть отмечена и в том отношении, что их проблематика находится в тесной связи с уральской темой в русской литературе. Вместе с Решетниковым и вслед за ним развернулась деятельность бытописательницы старого Урала А. А. Кирпищиковой, в 80-х годах начинает свой творческий путь Д. Н. Мамин-Сибиряк. В советское время в числе замечательных наследников демократических традиций русской литературы в изображении рабочего Урала выступили П. П. Бажов и А. П. Бондин.

Глубоко знаменательно отношение к Решетникову русской критики и литературоведения. Это отношение ярко характеризует борьбу русской передовой общественной мысли за утверждение реалистической, правдивой и подлинно народной литературы, сама эта борьба, в свою очередь, многое дает для понимания творчества писателя-демократа.

Откровенно реакционная и буржуазно-либеральная критика после появления «Подлиповцев» и затем при каждом значительном произведении Решетникова всячески принижала значение его глубоко демократического творчества, обвиняла в искаженном изображении народа, особенно изощряясь по поводу художественных недостатков произведений писателя-разночинца. Один из представителей литературной реакции на страницах катковского «Русского вестника», говоря о Решетникове, утверждал: «Про этого писателя можно сказать, что он целиком выдуман журналистикой и навязан ею публике». С этой оценкой фактически сомкнулся впоследствии Венгеров, утверждавший, что вся известность Решетникова «в значительной степени основана на простом недоразумении» и что «читать Решетникова невыносимо скучно».

Принципиально иным, диаметрально противоположным было отношение к творчеству Решетникова представителей революционно-демократической мысли в России, выдающихся русских писателей и критиков.

Внимательно, благожелательно, но строго и требовательно отнесся к творчеству Решетникова Некрасов. Глубоко сочувственными и содержательными суждениями о произведениях Решетникова откликнулись Писарев, Салтыков-Щедрин, Ткачев, Глеб Успенский, Шелгунов.

Особое значение для понимания места и роли Решетникова в истории русской литературы имеют, безусловно, оценки, высказанные Салтыковым-Щедриным. Выступая наследником революционно-демократических традиций Белинского, Чернышевского и Добролюбова, он в своих критических выступлениях много внимания уделял вопросам изучения и отображения в литературе народной жизни. Он приветствовал то слово правды о народе, которое раздавалось со страниц произведений беллетристов-демократов 60-х годов. Отмечая достижения литературы на этом пути, Салтыков-Щедрин писал: «С особенным основанием мы можем указать в этом смысле на г. Решетникова». С произведениями Решетникова Щедрин связывает «плодотворный поворот нашей беллетристики» к углубленному,

правдивому и всестороннему изображению народа в литературе. Отметив заслугу Решетникова в создании романа из народной жизни и указав на метод Решетникова (изображение личных судеб людей в связи с «общею драмою»), Щедрин считал, что в рассматриваемый период «эта точка зрения на художественное воспроизведение народной жизни есть единственно верная». Как отмечалось выше, Салтыков-Щедрин указывал и на недостатки произведений Решетникова, однако в целом можно с полным основанием сказать, что в конце 60-х годов Салтыков-Щедрин придавал творчеству Решетникова такое же программное значение, какое Чернышевский в начале 60-х годов придавал рассказам Н. Успенского с их правдивым, неприкрашенным изображением народной жизни.

Принципиальную и новаторскую роль творчества Решетникова отмечал и такой представитель революционно-демократической критики, как Шелгунов. Его программная статья о Решетникове «Народный реализм в литературе» (1871) во многом перекликается с высказываниями Салтыкова-Щедрина. Говоря об исключительном впечатлении, которое производили произведения Решетникова на читателей, Шелгунов писал: «В Решетникове нет ничего, что бы напоминало русскую литературу предшествующего периода. В сочинениях Решетникова все иное, все не так: не тот мир, не те люди, не тот язык, не та жизнь, не те радости, даже не то горе и не те интересы». Шелгунов отмечал в произведениях Решетникова органическое сочетание правдивого изображения народа с глубоко сочувственным к нему отношением. В Решетникове критик видел представителя самой народной массы, выразителя ее дум и чаяний. «Преждевременная смерть Решетникова, — заявлял он, — большая потеря для русской народной мысли и для выяснения русской народной жизни». Соответственно определяя роль Решетникова в развитии русской литературы, Шелгунов писал: «Те, кто явятся после, — пойдут за ним, дополнят материал, собранный первым исследователем, — может быть, лучше рассортируют его, дадут в более строгой системе, но не сойдут с пути, на который поставил вопрос Решетников».

Суждения Салтыкова-Щедрина, Шелгунова, Гл. Успенского и других представителей передовой русской критической мысли были подлинным голосом широкого демократического читателя о произведениях Решетникова, они начисто опровергали реакционную и либеральную ложь о писателе. Немудрено, что буржуазно-либеральное литературоведение постаралось «забыть» высказывания революционных демократов.

Лишь великий Горький в своих неустанных изучениях родной литературы обратился к бытописателям народной жизни с тем вниманием и уважением, какого они заслуживают. В новых исторических условиях, опираясь уже на опыт пролетарского освободительного движения, Горький не раз говорил о заслугах писателей-шестидесятников. Называя «мрачного Решетникова» в числе тех, кто выступал с правдивым словом о народе (Н. Успенский, Левитов, Воронов, Наумов, Нефедов, Помяловский), Горький о всей группе писателей-демократов в целом говорил: «Я чувствовал, что эти разнообразно и размашисто талантливые люди, сурово и поспешно рассказывая тяжелую правду жизни, предъявляют мне какое-то неясное для меня требование». Это «требование», как известно, побудило в свое время Горького настойчивее изучать окружающую действительность, жизнь народную. Творчество зачинателя литературы социалистического реализма еще более подчеркнуло исторические заслуги его славных предшественников.

Произведения Решетникова сохраняют свою ценность и в наше время. Картины народной жизни, запечатленные в его произведениях со всей исторической конкретностью и правдивостью, полны непреходящего познавательного значения. Как художник слова Решетников привлекает предельной простотой рассказа, искусством несложными средствами воспроизводить внутренний мир, переживания, речь своих героев, уменьем обрисовать многосложные обстоятельства жизни целых социальных групп. Дорог Решетников современному читателю и своей истинной, сердечной любовью к простому народу, желанием ему пользы, добра; эти глубокие благородные чувства воодушевляли писателя во всем его творчестве. Горячей любовью и признательностью платили Решетникову за его правдивые произведения самые передовые люди его времени. С горячей любовью и признательностью относятся ныне к творческому наследию писателя-демократа широчайшие круги советских читателей.

Н. Соколов

Посвящается
Николаю Алексеевичу
Некрасову

ПОДЛИПОВЦЫ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(ИЗ ЖИЗНИ БУРЛАКОВ)

В ДВУХ ЧАСТЯХ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИЛА И СЫСОЙКО

I

Деревня Подлипная очень непривлекательна на вид. Она состоит из шести домиков, построенных по левую сторону дороги, идущей от других деревень, и разбросанных по неровной местности так, что один домик стоит выше другого, другой около дороги, а третий и прочие пятятся к лесу. Домики эти, четыре с крышами, два без крыш — с соломою на потолке, с слюдою в оконных рамах, с стайками и плетушками, огорожены так: вколотили в землю несколько тонких березовых кольев, да и связали за них, параллельно к земле, где по две, где по три березки и назвали плетнем. Ворот в Подлипной вовсе нет. Добро бы лесу не было, а то кругом деревни лес высокий и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какие дома построить и заплоты дощаные с воротами сделать... «А пошто? — спросит подлиповец, не понимая. — А и так тожно баско!» За дворами не видится риг или зародов сена, нет огородов с овощами. Только направо заметны гряды с капустой, морковью и преимущественно картофелем.

Самая местность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть летом. Против домиков, через дорогу, за грядами, большое поле, ничем не огороженное, потом лес, а в левой стороне тоже поле, а за полем тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели или липы. Летом досадно становится, как посмотришь

на поля: земля кое-как вспахана, кое-где на засохших кочках видится травка, да разве две-три лошади шатаются по полю, да и то недолго: они идут в лес, там больше травы. «Пробовали, — сказывают подлиповцы: — уж как вспахивали землю: и поздно и рано, да проку нет. Вспахаешь, — стужа настанет либо дождь, потом жара: все окоченеет, а там дождь, иней, снег... Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб, — баско! вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь...» Зимой частые ветры да вьюги по полю, снега большие до пол-окон заметают домики, а которые ниже, то и до крыш, а дороги и след простыл.

Мало в этой деревне видится жизни. Летом еще можно увидать мужчину или женщину, или ребят на поле или около домиков, но зато не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. На что дети — и те резвятся както словно нехотя: побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только девять куриц да два петуха бегают скоро, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки, единственного деревенского сторожа, уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят да чириканьем коростелей в болоте... Зимой еще хуже. Тогда все дома точно погребены снегом, на дороге целую неделю не видать следов человеческих, все как будто спряталось, только кой-где корова промычит, да рыщет по полю собака. Так вот и кажется, что люди вымерли или напала на них спячка.

В самых домах тоже не лучше. Самое худое время — это зима. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всем им жизнь опротивела, все чем-то мучатся, всем постыл свет божий... А есть между ними и молодые ребята и молодые девушки; правда, нет красивых, но все-таки и у них есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая...

Живут в этой деревне государственные крестьяне Чудиновской волости, Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной части этого уезда, но еще беднее прочих крестьян. У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь промышленность, природа дает им что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудом. Уж как они ни возделывали землю, как ни молились своим пермякским богам, чтобы хлебушко свой был, — нет ничего. Просили они и попа сельского помолиться его богу, — и тут не помогло. Так и бросили поле, и вот уже второй год, как поле стоит нетронутым и дает только небольшую травку животным. Купить хлеба подлиповцам не на что. Положим, они нарубят леса, но куда везти? город от них в ста верстах. Положим, скосят в лесу траву, и можно будет излишек продать; опять-таки город далеко, а в других деревнях и селах свое сено, свои дрова и свой лес — каждый бы сам продал. Вот они, сделав кадки, наберухи, лапти, везут это на продажу в город, но там и без них много таких горемык, как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок, лишь бы хлебушка купить. Занимаются они и стрелянием рябков, ходят на медведей, но на порох надо деньги, а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало. Сбыта очень мало, и редкий много-много получит в лето или зиму рубля три. От этого у них явилась апатия, все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из его избы...

Каждый мужчина взрослый и женщина или девушка носят по одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, телячьей и собачьей шкур, мужчины надевают на голову такие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое главное — пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год, остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут. Надо заметить, что и в Чердыни хлеб слишком дорог, потому что его привозят туда только зимой из других городов или доставляют на судах бечевники летом из Вятской губернии — из Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, свыклись и с своими болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже самые люди против них. Все они, жители своей деревни, родня друг другу — отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у них много и в других деревнях, но те не любят их, не знаются с ними, потому что и сами-то они голые и от подлиповцев нечего взять. С своей стороны и подлиповцы не любят их и не ходят к ним. Подлиповцев не любят жители других деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых, самых бедных, и их называют колдунами: захочет подлиповец посадить килу (грыжу) — посадит, захочет, чтобы такой-то умер, — умрет.

Зачем же подлиповцы живут тут? спросит читатель. Подлиповцам не растолкуешь этого, они сами не знают, откуда они взялись. Известно только некоторым из других деревень крестьянам, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился один крестьянин-зверолов из какой-то соседней деревни. Ему хотелось жить одному с своим семейством, так как он перессорился с своими однодеревенцами. Он построил дом и жил с женой и детьми несколько лет, не сообщаясь с прочими крестьянами. После его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замуж в другую деревню. Таким образом люди расплодились до тридцати человек и живут теперь в шести домах. Сначала они находились под управлением старших лиц в семействе, и к ним не заглядывало никакое начальство. Понятия их были такие: есть какой-то бог, а какой, и сами не знали, и только по преданиям своих отцов справляли свои праздники, молились чучелам. О существовании земли они знали только то, что земля дает пищу да в землю покойников зарывают. Увидят они, что солнце ярко светит, и думают: это бог, молятся ему; светит ли ночью луна — тоже бог; и дождь, и снег, и молния — все бог. Знали они, что есть город Чердынь, только потому, что бывали там, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь — дело темное. В городе они видели разных людей, но никак не могли понять, что это за люди; этих людей они боялись, не верили им и только ездили туда затем, чтобы сбыть необходимое для обмена на пищу. Но вот начальство заглянуло к ним: деревню их назвали Под-

липною, обложили всех их податью, стали брать по одному в рекрута, приехал к ним священник и стал уговаривать принять православную веру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотели разбежаться, но струсили: приехал становой пристав, обласкал всех; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что от них требовали, и с тех пор так боятся станового и попа (название, данное подлиповцами священнику), что при появлении того и другого прячутся в домиках и запирают двери. Сколько священник ни толковал им о боге, они не хотели понимать; хотя имели образа, но прятали их под лавки и вынимали, когда являлся священник; окрестившись, они, из боязни, стали отдавать крестить детей; венчались сначала по-своему, потом ехали в село к попу, везли к нему покойников... Ничего бы этого они не делали, да священник становым их пугал, а подлиповцы помнят станового, как он, когда в Подлипной умерло с голоду шесть человек, обласкал не только мужчин, но и женщин, сам не зная за что; а отрывши в лесу мертвое тело, увез трех главных стариков в село, потом в город, и с тех пор подлиповцы не видели своих стариков. Причта они еще и потому боятся: хотя он живет в селе, за пятьдесят верст, но как приедет в Подлипную, то дьячок непременно уведет самую лучшую корову или лошадь и продаст, а подлиповцы молчат, думают, так и надо, хотя и горько им и обидно; а не дашь, становой приедет.

При своей бедности подлиповцы постоянно в долгу: с них требуют подати, но им негде взять денег, и на них растут недоимки с каждым годом.

Неужели они не умеют работать? Подлиповец, родившийся в Подлипной, проживший в своей деревне детство и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили его отец и родня: он умеет дом построить; но заставьте его, читатель, построить дом в городе, он вам построит так, что вы и посмеетесь над ним и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповец строил для себя дом по своему умению, собственно, с тою целью, чтобы ему была защита от холода, дождя. Понятно, ему никаких удобств не надо. А вы любите, чтобы дом ваш был теплый и существовал долго, чего подлиповец не сумеет сделать. Заставьте вы подлиповца печь скласть, он вам

складет по-своему. У себя дома он сложит печь, как ему отец передал: «Эй ты, цуцело, подь тамока... Где каменья увидишь — волоки». Сын притащил каменья. Достали из ручейка воды, вскипятили, разварили с глиной... «Мастюжь!» — кричит отец и сам работает. Через два дня печь готова, а через год она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этим людям как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера. В этом я ручаюсь. Есть в Перми один печник. Он кладет печки дешево; но если склал, так печь и тепла всегда, и угара нет, и крепка. Его призывает только бедный класс, но богачи, само собой разумеется, надеются на архитектора — и поправляют печки через пять лет, а некоторые и раньше. Господин этот из Подлипной, только подлиповцы думают, что он без вести пропал или его медведи заели. Он был работником у одного печника шесть лет, теперь семнадцатый год работает сам, без работников, и имеет в Мотовилихинском заводе свой дом.

Подлиповцев нельзя винить ни в чем: они глупы, необразованы, но кто их вразумит, куда они пойдут?.. «Уж помру тожно, а тамока где уж!» Под этими словами можно понимать, что подлиповцам нравится своя деревня, а дальше — кто знает, что такое творится. «Уйти из Подлипной? куда пойдешь? Вон ушел из Подлипной Митюк Ковычка, еще молодой, и жену с двумя детями оставил, да так и пропал. Поди тамока, и тю-тю!.. Пошел Терешка Вятка куда-то лес сплавлять и утонул, сказывают. Мишка Гайва ушел в город какой-то, да так и пропал...» Все это напугало подлиповцев до того, что они замкнулись в своей деревне и живут по-своему, как живется: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы... Знают подлиповцы, что без жены неловко, надо бабу — и живут с бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знают, у них своя любовь: играли вместе, вместе росли, вместе и жить надо. Так и делается в Подлипной. Умрет тот или другой, они хотя и думают, что так и надо умереть, но им обидно, досадно, что умер такой-то, что опять надо к попу ехать венчаться. О любви подлиповцев я расскажу в следующей главе. Досадно им: зачем дети родятся от них, и с маленькими детьми обращаются как люди с котятами; одни только матери

немножко присматривают за детьми. С пятилетнего возраста дети растут на произвол судьбы...

Подлиповцы говорят по-пермякски. Плохо понимая наши слова, они хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на выговор крестьян Вятской и Вологодской губерний.

II

Ноябрь месяц в начале. Зима свирепствует немилосердно, как будто все зло свое хочет выместить над Подлипной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать градусов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и дело с шумом пошатывает направо и налево, и впрямь и вкось. Ветер рыщет по полю и гонит снег как на зло к самым домам, до половины уже занесенным снегом. Дороги вовсе не видать — она сровнялась с полем. Больше всего достается крайнему домику, без крыши, с одним окном, со слюдою в рамах, до половины заваленному снегом. Ветер так и рвет с домика, что ему под силу: вон доску, высунувшуюся с потолка, оторвало; вон посыпались высунувшиеся из-под снега каменья, составляющие трубу; вон четверть крыши со стайки оторвало; вон и слюда треснула в одной раме — пошел ветер гулять по избе... Ни одного человека не видно; не видно и животных, даже собака куда-то спряталась... Но вот вышел из одного дома крестьянин, в полушубке из овечьей и телячьей шкур, в шапке из такой же шерсти, с длинными ушами, в огромнейших собачьих рукавицах, в синих нанковых штанах и в лаптях. Он уже не молод: ему годов сорок.

— Эко диво! — сказал он, сторонясь от ветра. Ветер и стужа его злили. — Как пойдешь? Гли, што диется... — Он начал шагать и тонул в снегу. — Эк испугались! Врешь!.. Ишь ты, цуцело, околить бы те!.. — Он плюнул. — Да будь ты проклят, черт!.. — Крестьянин дошел до крайней избушки и вошел в нее. В избе холод страшный, ветер так и дует в окно сквозь раму; против окна снег на полу, на столе и на лавке. Изба очень бедна; кроме стен, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющегося среди пола, и небольшого корыта

с корой и двумя большими ложками, в ней ничего не видно... Только на полатях да на печке кто-то стонет.

— Эй вы, цуцелы! Померли али нет?..

С полатей раздался стон.

— Ошшо живы! — сказал он весело.

— Пила, поди сюда!.. — сказал с полатей мужской голос.

Вошедший, бросив на пол рукавицы, не торопясь полез на печь. На печке лежала старуха.

— Скоро помрешь? — спросил он ее с участием.

Старуха стонала. На полатях лежал Сысой Степаныч Сысоев, прозванный по-подлиповски Сысойком. Ему двадцатый год, но он худ и бледен. Он лежал в полушубке, в шапке, в лаптях и дрожал.

— Печку бы... пали, братан... А? Ишь, стужа, витер! — говорил Сысойко.

— Ну уж и времена!.. На́ картошки! — сказал Пила и подал Сысойке четыре печеных картофелины.

— Я тожно — беда. Наутро... — Сысойко хотел объяснить свою болезнь и разжалобить Пилу, но не умел. Вдруг он спросил Пилу: — а Апроська?

— Апроська помират.

— А может, представляется?.. Не помрет?

— Кто ее знает. А канючит больно: подь, бает, к Сысойке, снеси картошки, да пусть, бает, придет молочка потрескать.

— Ох, не говори, — не могу, моченьки нет... — стонет Сысойко.

Пила молчал. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слепая и сумасшедшая.

— Истопить уж печь-ту! А где ребята-те?.. — Пила слез с печки.

— В печке, — сказал Сысойко.

Пила подошел к окну, стал сгребать рукой снег с полу; постоял у окна, ветер дует; надо бы заткнуть, а чем? ничего нет такого. Он взял с полу лапоть, приладил его в раму, а ветер все дует.

— Нет ли чего затыкать-то?

— Нету, братанко, — сказал Сысойко.

— Да хоть рукавиц, што ли, дай; жалко!.. Черт!! успеешь околеть-то... Боров! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросил с полатей рукавицы и шапку. Пила

затыкал ими раму; ветер перестал дуть, зато в избе темно сделалось.

Пила пошел на улицу; ветер все дул. Пила отскреб немного снегу от окна рукавицами и пошел искать дров около стайки, в которой лежала лошадь, не евшая ничего два дня. Пила долго удивлялся ветру: «Экой какой, сила какая!.. Эвон что разворочал». Он достал с потолка стайки сена и соломы, снес их лошади.

— Ужо я овсеца тебе принесу... Скотинка ты, скотинка экая! — жалобно говорил Пила, смотря на лошадь, как она принялась охобачивать сено и солому.

Гаврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски Пила, был человек добрый, пробойный и работящий. Он один из подлиповцев понял, что ничего не делая жить нельзя; он как-нибудь старался приискать себе работу, сбыть ее, а главное, услужить своим подлиповцам. Назад тому год Пила постоянно стрелял дичь и сбывал ее в городе, хлеб у него водился; но как-то раз утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправился за больных продавать в селе и городе. У Пилы в городе был знакомый хозяин постоялого двора, а он через посредство его находил себе покупателей. Он и раньше возил вещи, но теперь постоянно стал заставлять подлиповцев работать, и для него ничего не значило съездить за сто верст: он одну половину денег отдавал крестьянам или покупал муки, а другую брал себе и покупал для себя пищи. Если в городе ничего не покупали, Пила шел собирать ради христа и потом делился с подлиповцами. Своим подлиповцам он помогал чем только мог. Бывало, скажет подлиповцам: «Чего сидите, робь; я буду робить», — и подлиповцы работают с Пилой; нет Пилы — подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри, траву надо косить», — здоровые идут косить, а не скажи Пила, что траву надо косить, подлиповцы не догадаются. Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его совета или просил полечить, так как Пила лечил больных травами, хотя сам не понимал никакого толку в травах. Мысль лечить травами пришла ему в голову тогда, как

он увидел в городе крестьянина с травами. Пила не понимал, для чего крестьянин травы продает. «Это што?» — спросил Пила крестьянина. «Это лекарствие». Слово «лекарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское. «А как это делают?» — спросил он крестьянина. «Да так. Коли кто захворает, ну и пьет траву, коя идет на такую болесть. Тут всякие есть: затрясет тебя, лихоманка забьет, брюхо заболит, ну и лечатся такой травой». — «Лиже ты! А где они растут?» — «В лесу да в болотах. . .» Вот Пила и стал собирать летом в лесу да в болоте разные травы с цветочками, вырывал с кореньями и лечил подлиповцев. «Ну-ка, съешь эту травку, хворать не станешь», — говорил Пила больному. Больной ел, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки все просили у Пилы травы. Пила давал, не требуя за это ничего. Священник требовал, чтобы крестьяне непременно крестили детей, везли в село умерших, венчались; первое подлиповцы не исполняли до тех пор, пока священник не приезжал сам за сбором; за умерших они боялись и везли все покойника в село; свадьбы венчались редко: подлиповцы жили до тех пор, пока опять не приедет священник за сбором; а как приехал, — беда. «Возит с собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай считать да пугать — беда!» — говорят подлиповцы и едут венчаться в село, но только с Пилой. Причт просит денег либо масла за свадьбу, и Пила пойдет сбирать ради христа, жениху и невесте велит то же сделать, и, насобирав чего-нибудь, идут к причту. Все подлиповцы удивлялись Пиле: как это он всегда успевает, все умеет сделать, всегда весел и редко хворает, даже и с семьей его ничего не делается. Поэтому его прозвали колдуном и боялись. Пила никогда не был колдуном, но слово это его забавляло.

Пила уж третью неделю не выезжал из деревни. Все подлиповцы сделались больны от мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его Матрена и парень Иван третьи сутки не встают. Пила не знает, что и делать, кому и как помочь, — травы его не действуют; надо бы купить муки да уехать. Пила боится: как да все без него помрут? Наконец и у Пилы не стало муки, и он принялся мешать в мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть

да корова дает немного молока: для себя достает, а если другим уделишь — у самого ничего не будет. «Экая беда! — думает Пила: — что теперь делать — не знаю. Уедь я — все помрут, и Апроська и Сысойко. . .»

Жена Пилы, Матрена, была такая же, как и прочие подлиповские женщины, часто хворающая, но несколько крепче прочих: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кроме того, что она доила корову. Она спала и во всем надеялась на мужа. Пила на нее смотрел как на какую-то потребность, часто возил он ее с собой в лес и в город, приучал к какой-нибудь работе, но Матрена ничего не хотела делать, за что Пила бил ее во время своей злости как лошадь, чем попало.

Все дети их, Апроська девятнадцати лет, Иван шестнадцати, Павел четырнадцати и Тюнька трех лет, росли на произвол судьбы. Апроська была некрасивая девушка, худая, часто хворающая, ничего не делающая, как и мать. Отец бил ее, Ивана и Павла, как и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любил как будто даже более, нежели дочь.

У Апроськи на семнадцатом году был ребенок, но ребенок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу. Теперь отец знал, что Апроська опять скоро родит, и знал, что ребенок будет от Сысойки. . .

На Ивана и Павла Пила смотрел как на работников, не позволял им сидеть даром, не верил их болезням. «Какая хворость вам, эким парням? Я вон прежде не хварывал», — говорил Пила, когда парни лежали. Жалость к детям у Пилы была тогда, когда они уже ревели от боли. Пиле казалось неприятно это, жалко было ребят, потому что он бы мог замениться ими, и в то время он кормил их больше, насильно заставлял есть травы. Павел и Иван были забитые парни; умели нарубить дров, знали дорогу в село, но в городе никогда не бывали. Брат с братом жил так дружно, что никогда не расставались, работали вместе и старались отличиться друг перед другом. Начнет Иван плести лапоть, Павел тоже плетет лапоть и дразнит брата: «Уж тебе где смастюжить! то ли я! Смотри, как?» — «Эй, Пашка, не дразни! Ты смотри, как я делаю». Часто Пила посылал парней понаведаться к какому-нибудь подлиповцу; братья

ходили вместе и проводили весь день в гостях. Если кто-нибудь работал, братья высматривали работу и дома старались сделать так же; если работы были обыкновенные у всех, они делали тут же, передразнивая и смеясь над девками и мужиками. С молодыми девками они обращались запросто, как с своей сестрой: передразнивали, щипали их за бока, ругали. Это была их любовь. Пила поговаривал женить Ивана и сговорил ему одну девку, Агашку. Иван стал ходить к отцу Агашки, по научению Пилы, которое заключалось в следующих словах: «Дубина ты, как я погляжу, не знаешь, што баско... Пора тебе с бабой жить...»

— А пошто?

— Дурень ты! говорят, будет баско. — Ивану казалось смешно, он чего-то пугался, однако скоро уже постоянно ходил к Агашке. Эта любовь продолжалась полгода. Павел узнал от брата, что с девкой жить хорошо, тоже нашел себе девку.

Сысойко живет рядом с Пилой, и дома их не отделены друг от друга даже плетнем. Сысойко был самый бедный в деревне и редко бывал здоровым. Отец его ходил на медведей с чугунным ломом и брал его с собой. Но медведей было мало, так что в год они убивали много медведя три. Мясо медвежье они ели, а шкуру продавали в село за дешевую цену. Тогда, при отце, можно было жить, но вот уже два года, как отца загрыз медведь, а Сысойко, бывший с отцом, хотя и убил этого медведя, но медведь исцарапал ему плечо. Сысойко едва-едва дошел до своей деревни, сказал о беде Пиле и вместе с ним повез отца в село, захвативши с собой и убитого медведя. Священник не стал хоронить отца Сысойки, а почему-то призвал станового пристава. Становой привязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не медведь загрыз отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медведя. Становому хотелось взять себе убитого медведя, и он взял-таки его и попросил священника отпеть покойника... С той поры Сысойко живет очень бедно: в лес бить медведей не ходит, стрелять дичь — пороху нет, продавать кадки и прочее не стоит, да и Сысойко умел только лапти плести. И вот Сысойко помогал в чем-нибудь Пиле, то есть вместе с ним искал лекарственную траву, ездил по нужде в село и в город, за что и пользо-

вался от Пилы подачками хлебом и мясом; но так как он часто хворал, то и не мог всегда бывать с Пилой, и Пила навещал его. Пила и Сысойко так привыкли друг к другу, что по целым дням проводили вместе, ничего не делая, а лежа; если Пила хворал, да Сысойко был здоров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. Пила и Сысойко в болезнях всячески старались угодить друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю жил у Пилы и спал на полатях с Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вместе, но тогда у них были только детские отношения; такие же отношения были и тогда, когда Сысойке было восемнадцать лет, а Апроське шестнадцать, но скоро они уже изменились. С первого же времени молодые люди привязались друг к другу — обоим им было скучно, когда они не видели друг друга по неделям, а потому часто наведывались друг о дружке у Пилы и сходились — или Сысойко в доме Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страшно опротивела жизнь в своем дому: каждый день и даже ночь ревели его маленькие брат Петр четырех лет и сестра Пашка двух лет, которые мерзли с холоду и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не умеющие еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сшитых наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни Сысойком, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала. Куда Сысойко ни посадит детей, там они и сидят, там и ползают. А если Сысойко садил их на полати, что случалось очень редко, то ребята то и дело получали колотушки... Он даже нарочно садил их на голый пол, для того чтобы они скорее умерли, нарочно не давал есть, думая, что они помрут; но ребята кричали с каждым днем хуже, — Сысойко злился, хотел их пришибить чем-нибудь, но ему было жалко, он чего-то боялся... Пила жалел детей и всегда приносил им что-нибудь; при появлении Пилы дети начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывал здоров, по неделе не заглядывал в свою избу, а терся у Пилы или где-нибудь с Пилой; об сестре и брате и, наконец, о своей матери он не думал в это время; он рад был, что наконец-то нет их, не слышатся крики, не ворчит и не охает старуха.

Хотелось Сысойке жить у Пилы; да Пила говорил: «Нет, брат, изба моя махонькая, куды же я тебя пущу с ребятами и матерью?»

— Да я один... — напрашивался Сысойко.

— Уж не говори. Те ребята-то все же брат да сестра... Ну да хоть помрут, не жалко, а мать-то? Она, брат, родила тебя.

— А ты лучше живи там, да сюда ходи, — заметила Матрена.

Сысойке еще хотелось жить одному с Апроськой да с Пилой. «С Апроськой баско. Пила хлеб носит», — думал Сысойко. Но где жить? В своем доме нельзя — мать и ребята; Пила не пускал, да у него и жена и дети. Долго Сысойко ломал голову на этот счет, да ничего не выдумал. Пила тоже думал: как бы устроить, чтобы Сысойке было лучше. Хоть и жаль Апроськи и надо же ей жить с Сысойком, потому что поп так *велит,*[1] да и от Апроськи будут дети рождаться: но где жить? Жить в его доме нельзя, потому что у него свое семейство, парни, того и гляди, приведут в дом по девке, а как поп велит им жениться, то и самому тесно будет. Отдать Апроську Сысойке, чтобы они жили в Сысойковом доме, — там мать сумасшедшая, ребята ревут маленькие... Но до того, чтобы выстроить Сысойке избушку, Пила не додумался. Он на том и решил: уж пусть живут так, как теперь; а как помрет старуха Сысойкова да маленькие ребята, тогда и можно Апроську Сысойке отдать. А поп приедет, ну и венчать можно. И ребята пойдут от Апроськи, все же лучше, опять к попу можно съездить. «Только те не помирают. Уж померли бы скорее, пользы-то от них нет — только мука одна», — думал про себя Пила и сообщал об этом Апроське и Сысойке, которые, с своей стороны, тоже соглашались в этом мнении с Пилой и стали ждать да ждать, чтобы те умерли...

III

Пила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив их на пол около печи, он заглянул в печку. Там лежали мальчик и девочка нагие.

---

[1] То есть велит венчаться. (*Прим. автора.*)

— Эй вы, лешие! Вылезайте!.. спалю тожно... — кричал Пила.

Из печки не слышно было ни голоса, ни движения.

Пила потащил из печки за ногу мальчика. Мальчик был мертвый.

— Ишь ты! — сказал Пила и стал щупать мальчика. — Помер.

— Кто? — спросил Сысойко.

— Парень.

— Ну и ладно... А девка-то? — спросил Сысойко и высунул голову с полатей.

Пила вытащил за ногу и девушку. Она была мертвая. Левый висок ее был чем-то проломлен; лица ее незаметно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох мусор от печки.

— Сысойко, гли! (смотри).

Сысойко плохо видел с полатей.

— А што, померла?

— Слеп ты, што ли? Гляди, убита!..

— Вре?!

Пила положил мальчика и девушку на лавку и долго смотрел на них жалобно.

— Слышь, Сысойко? Ты убил девку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медведь, што ли, эк ты! — Сысойко не стал и говорить больше, а спрятал голову в полушубок.

Пила нащепал березовой лучины, достал на трут кремнем огня, зажег лучину и стал смотреть в печку. В ней лежал большой камень, отвалившийся с неба печки. Теперь Пила понял, что не Сысойко убил девку, а этот камень сам отвалился. Только как же на парня камень не упал, а на одну девку?

— Смотри-кась, экой камень-то! — сказал Пила Сысойке, показывая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но ничего не сказал.

Пила склал в печку дрова, зажег. В избе сделалось светлее.

Пила опять подошел к ребятам. Жалко ему стало ребят. «Эх, голова-то как раскроена... Мальчонки,

мальчонки! Жить бы вам долго, да што жить-то? Лучше, как померли. Вот, Сысойко, и померли ребята!..»

— Померли. Теперь я к тебе пойду.

— А мать?

— Помрет.

В это время простонала на печке старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила, ни Сысойко не обратили внимания.

Пила стал рассуждать, что делать с ребятами. Зарыть их так — поп узнает, и тогда беда; ехать к попу — будет денег просить... Пиле хотелось ехать в село; у него не было хлеба, и он ждал только удобного случая ехать туда. Случай этот выпал — везти хоронить детей.

— Ну пошто ребят туда везти? Зарыть бы здесь в лесу, так нет ишшо, деньги давай, — сердился Пила.

— Ты не вози, — сказал Сысойко.

— Ишь ты! Как наедет — лучше будет? Нет уж, свезу.

В избу прибежал Павел.

— Апроська зовет! ись, бает, хочу.

— А ты што? нету, што ли, картошки-то?

— Молока просит.

— Поди подой корову-то.

— Я доил, да нету молока-то.

Пила ушел в свой двор. Стал доить корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочет, — сказал про себя Пила.

Пила ушел в свою избу. В его избе было немного чище и светлее. Отсутствие одежды и других вещей здесь было такое же, как и у Сысойки. На печке лежала Апроська, некрасивая худая девушка. На полатях сидели: Матрена, Иван и Тюнька. Все они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушел и утонул; дома хоть помирай... — ворчала Матрена.

— Чего помирай! Вон ребята Сысойковы померли. Сысойко, гляди, помрет, а старуха уж, поди, теперь померла.

— А Сысойко? хворат? — спросила Апроська.

— Сказано, помират.

— А молока принес?

— Где возьму? Вон корова-то родить тожно хочет, нету молока-то.

Матрена заворчала:

— Уж у тебя все так. Когда я дою, всегда молоко есть... Уж изленился ты совсем.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепаю!

Пила ушел из избы рассерженный. Он пошел в третью избу, к соседу Морошке. Морошка был нездоров, нездоровы и дети. Жена его плела лапти.

— Нет ли продать чего? — спросил Пила жену Морошки.

— А ты в город?

— В город. Вон у Сысойки ребята померли; надо к попу везти.

— Ладно. Вон тамо лапти складены, возьми.

Пила взял две пары лаптей и пошел домой.

— Нет ли у те травки? — просила жена Морошки.

— Как нету!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю... А Агашка как?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вон с Пашкой ничего не делается...

Иван был жених Агашки.

На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два маленькие трупа, завернутые в мешки, заколотил ящик досками и повез на дровнях в село, вместе с двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками от Морошки.

IV

В село Пила приехал ночью. Переночевав у знакомого крестьянина, он утром отправился к священнику. Известно, что в сельских церквах служат только по воскресеньям и в большие праздники. Так и теперь церковь была заперта, и к ней не было даже дороги проложено, то есть не заметно было следов человеческих с дороги. Священник долго не соглашался хоронить детей. Пила несколько раз ездил к нему, и вот уже в пятый раз приехал к нему и ничего не дает. Священника это просто до слез проняло.

Он стал надевать худенькую, с заплатами, рясу.

— Вот что, Пила: ты в пятый раз ко мне приехал, а ничего не привез. Смотри, у меня на ногах-то лапти! — Священник был в лаптях. Пила в этом не видел ничего удивительного; ему смешно показалось.

— Тебе смешно, а мне плакать хочется. Вот уж шестой год живу здесь, а ничего не приобрел. Просил, чтобы перевели, да выговор получил.

Пила плохо понял.

— Так мне надоело житье с вами! Уеду я-таки от вас.

— А ты уедь, право! — сказал Пила.

— И уеду.

— А ты теперь уедь.

— Не пускают. Да и что толку в том, что я уеду! Пошлют другого на мое место, и тогда вам хуже будет.

— Ишь ты. А ты не поедешь?

— Не пускают.

Священник кликнул дьячка и послал его с Пилой в церковь.

— Пила, дай корову? —сказал Пиле дьячок.

— Ишь ты! А я-то как?

— Ты купишь.

Пила захохотал.

— А если не дашь, и отпевать не будем.

— А я сам зарою.

— Право отдай... Были бы деньги, не стал бы просить. Вот у нас сынишко подрос, надо в училище везти да дать там смотрителю; а что я дам? — говорил дьячок, чуть не плача. Пиле сделалось жалко.

— Ты, Пила, не чувствуешь этого... Ты не поверишь: детей обучить надо, а детей-то шестеро да жена... — Дьячок плакал.

— Не ты один такой, ты на нас погляди: мы-то как живем!

Дьячок только рукой махнул.

— Ну-ко, Пила, открой гроб!

— А пошто?

— Так нельзя.

— Да ты уж совсем зарой, а то земля-то в глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебе говорят, нельзя так... Кто тебя знает, что ты привез тут.

Пиле обидно стало.

— Цуцело ты, как я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, станового призову?

Пила струсил и открыл топором одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячок раскрыл один мешок. Мальчик лежал лицом кверху; дьячок осмотрел его всего — мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрыл другой мешок. Девушка лежала на животе. Стал и девушку осматривать дьячок и, как взглянул на лицо, с ужасом отступил.

— А, так ты так-то хочешь нас провести! Что это такое?

Пила испугался.

— Батшко, не я!

— Врешь! Кайся, разбойник!

— Ты не кричи, — эк испугались! Медведей бивал!

— Так ты еще запираешься? Сейчас станового призову.

Пила повалился в ноги.

— Батшко, не губи!.. Камнем девку-то пришибло в печке! Што хошь возьми... не губи...

— Рассказывай, как было!

Пила рассказал все. Дьячок верил и не верил. Он стал еще смотреть на лицо девушки: кажется, и камнем из печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убил. Он затруднялся: поверить Пиле или нет?

— Не верю я тебе; я пойду к становому.

— Батшко, не губи! Я те все сказал... Што я, зверь, што ли?.. Сысойко хворат, старуха тоже... А эти в печке дрыхнули... Я так и увидел камень на лице-то.

— Целуй крест!

Пила поцеловал.

— Клянись, что не ты убил.

— Эх ты! Я вон и Сысойку спрашивал, он заревел только, жалко стало. А ты говоришь: убил, убил!.. Эх ты!.. Я вон только восемь медведев убил...

Дьячок опешил. К подобным выходкам он уже привык.

— Давай корову!

Пила опять повалился в ноги. Жалко ему было коровы, а как он да к становому пойдет?

— Не погуби, батшко!

— Так не даешь коровы?

— Не дам.

— Ну и не давай. — Дьячок пошел из церкви и, увидев постороннего крестьянина, позвал его. — Ступай, Семен, за крестьянами да позови станового.

— Батшко, не зови! Дам корову!.. — кричал Пила.

— А не дашь?

— А дам, только станового не зови...

Дьячок сказал Семену, что станового и людей не нужно.

— Ну, теперь, Пила, ступай за коровой, а схороним после.

— Ты теперь зарой.

— Сказано, приведи корову.

— Варнак ты, варнак!..

В это время подошел пономарь с ружьем.

— Ну и погодка анафемская, — сказал он: — шелшел и воротился. Порох забыл... Ах, будь ты проклят!..

— Вот что, Гаврилыч. Поедем-ка в Подлипную за сбором.

— Ну уж, черта два получишь!

— Ты посмотри вот на ребенка, что они делают.

Пономарь посмотрел на лицо ребенка.

— Ах ты, разбойник! Ах ты, мерзкая душонка! Сходить за становым?

— Нет, он корову хотел дать.

— Обманет, стерво!

— Обманет, тогда к становому уведем.

— Ну, Пила, молодец! Дьячку ты даешь корову, а мне дай лошадь!?

— Я те дам лошадь.

— Что? — Пономарь схватил Пилу за бороду. Пила толкнул его так, что он упал на пол. Пиле смешно стало.

— Што? Я, бат, восемь медведев убил.

— Собирайся, Гаврилыч.

— Чай, надоть отцу Петру про дело-то рассказать?

— Скажем и ему.

Через два часа Пила вез в Подлипную на своей и поповской лошадях, запряженных в поповские сани, попа и дьячка.

V

Дорогой в Подлипную Пила долго ругался. Ругал он и священника и дьячка. Вины за собой он никакой не знал: ребята не его, за что же корову-то с него просят? Уж лучше бы самому зарыть ребят в лесу... А корова-то какая славная; теленка скоро родит; можно будет продать теленка-то да хлебушка купить... Говорила жена: не езди, не бери ребят. Так нет... Священник с дьячком рассуждали: как поступить с подлиповцами; все они ничего не дают, никакие страхи их не берут и веровать-то они по-христиански не хотят...

Наконец приехали в Подлипную. Священник и дьячок вошли в избу Пилы и влезли на полати, потому что в избе было холодно, да к тому же они хорошо прозябли. У дьячка был в запасе бурак с водкой. Семейство Пилы осталось на печке. Апроське было немного легче, но она все лежала. Иван все хворал. Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай нам закусить, — просил священник.

— Да что я тебе дам-то? Хлебушка нет, молока нет. Кору нынче едим...

— Поди, посбирай в деревне.

— Где уж, там ни у кого нет хлебушка. Вон Пила не привез ли... — Пила действительно привез две ковриги хлеба и несколько фунтов муки. Пила распрягал лошадей, ругая дьячка. Павла он послал к подлиповцам: «Беги ко всем, скажи: поп, мол, наехал, тащи, мол, образа в угол...» Павел ушел и сделал так, как велел Пила. У подлиповцев до сей поры все образа были где-то на полатях; теперь Павел поставил их на полки в передних углах.

Пила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей и роздал священнику, дьячку и своему семейству. В несколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятька, снеси Сысойке-то! — просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила, хошь водки? — кричал с полатей дьячок, уже опьяневший.

— Давай.

Пила хлебнул из бурака.

— Смотри, не обмани... Обманешь, трех дней не проживешь, — продолжал кричать дьячок.

— Молчи, оттаскаю за волосы-те! — ворчал Пила. Дьячок соскочил с полатей, хватил было Пилу за бороду, да Пила его на пол бросил.

— Ты знай, у меня сила, а у те що! — бахвалился Пила.

— Ну пойдем к подлиповцам, — сказал священник, слезая с полатей. — А ты, девка, все еще не замужем? — спросил он Апроську.

— Нет, батшко.

— То-то смотри. Найду ребят, беда тебе будет!

— Ужо тепло будет, повезу ее, — сказал Пила.

— Ты давно мне говоришь. С кем ты ее хочешь свенчать?

— А с Сысойком.

— То-то. Ну, пойдем.

Пила повел священника и дьячка к Сысойке. С собой он захватил полковриги хлеба. Сысойке было легче, но он все еще лежал. В избе холодно и темно.

— Зажигай лучину! — командовал дьячок.

Лучину зажгли.

Священник стал смотреть в передний угол: есть ли икона.

Икона была.

— Эй вы, черти! Отчего никого нет? — кричал дьячок.

— Да больны они, больно больны, — сказал Пила. Сысойко спрятался в угол на полатях и молчал. Мать его попрежнему стонала.

. . . .

Переночевав у Пилы, священник и дьячок поехали в село. Пила ехал за ними на дровнях; за дровнями шла Пилина корова с веревкой на шее.

Как ни горько было Пиле вести корову в село, но он, из боязни, чтобы не погубил его становой, решился-таки отдать ее. «Ужо, как помрет Пантелей, возьму его корову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку», — думал Пила.

Матрена, как Пила стал привязывать корову к дровням, поленом ударила Пилу, дьячка обругала как только могла и, может быть, убила бы Пилу за корову, да у нее силы не было: Пила и дьячок до того избили ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего в своей жизни любила корову. Корова для нее была больше, нежели дети: дети ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молоком и летом не просила есть, а питалась в лесу, сама находила пищу для себя; только зимой Матрена наваливала ей сена каждое утро. А теперь как она будет жить без коровы?..

VI

Пила приехал в село вечером. Заплакал Пила, как заперли его корову в чужую стайку. Хотел он увести корову ночью, да двери стайки были на замок заперты. На другой день отпели умерших, а Пила с церковным сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом. После этого Пила пошел к дьячку просить денег. Дьячок сжалился над Пилой, дал ему пятнадцать копеек серебром. Пила был очень доволен этими деньгами и даже повалился в ноги.

Выйдя из двора дьяческого, Пила долго стоял у своей лошади. Его сильно давило горе. Он лишился коровы, которая кормила его. Как он теперь без коровы будет жить? Как семья его пробьется до лета? Не корова бы, что бы было с ними? Пиле все теперь опротивело; проклял он свою жизнь, долго бил свою лошадь, сам не зная за что, сел на дровни, стегнул лошадь, лошадь пошла по улице. Пила не знал, куда ехать, и пустил лошадь на произвол. Лошадь дошла до лесу. Дорога вела в деревню. Пила не поехал в деревню, а поехал в город.

В городе Пила шатался две недели. Жил он подаянием добрых людей. Придет в дом, попросит ради христа, ему дают, кто ломтик хлеба, кто грошик. Ломтей у Пилы накопилось много; деньги шли на водку. Хотел он купить на рынке корову, да просили десять рублей. Видел он дьячка своего сельского, тот сказал ему, что корову он подарил по начальству. Узнавши, где корова,

Пила две ночи сряду ходил к воротам нового ее хозяина, да всё ворота заперты; перелез он через заплот, да и там не нашел коровы, а, зарубив топором двух свиней и перебросив их через заплот, увез в лес и там зарыл в снегу.

Пила собрался ехать, как увидел около питейной лавочки толпу мужиков: зырян, вотяков, пермяков и крестьян Вологодской и Архангельской губернии. Пилу любопытство взяло, и он спросил одного из толпы:

— Што, ребя?

— Ништо, — сказал один крестьянин.

— Ты откедова? — спросил Пилу другой крестьянин.

— А подлиповеч! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А поштё?

— Бают: баско, богачество, бают...

Пила задумался. Каждую зиму он видел около этого кабака толпу мужиков, каждую зиму он слышит, что они идут бурлачить, богачество, бают, от бурлачества получают. Прежде Пила не верил мужикам, говорящим про богачество, и не спрашивал, что такое бурлачество; теперь ему опротивела жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить? спросил сам себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська? Ну их к лешим и с бурлачеством!..» Апроська показалась Пиле милее бурлачества... «Уйди там, а куда... Ну, уйди — и тю-тю...» — думал Пила. Однако он снова подошел к бурлакам.

— А вас много?

— Не все ошшо. — Их было человек тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро идти-то?

— Скоро.

Пила ушел от бурлаков и поехал в Подлипную. Дорогой он думал: «Идти в бурлаки или нет? Бурлачество, бают, — хлеба много... А в деревне што! тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо, да поп еще привяжется. Эх!.. Надоела эта жизнь!.. Дай, пойду в бурлаки... Надоели подлиповцы; пусть помирают, мне не пособить. Только выздоровеет Сысойко и Апроська, возьму их с собой...» Пиле эта мысль хорошею показа-

лась, он захохотал и решился во что бы то ни стало уйти с Апроськой и Сысойкой бурлачить, сам не зная, что это за дело такое, веря в слово богачество и в надежду иметь всегда много хлебушка... «Уйду же я, уйду! Уж не поклонюсь боле никому, не дам коровы. Что я без коровы-то? Вон везу две свиньи, да что толку — не живые. И станового теперь не боюсь...» При мысли о том, что он будет бурлачить, Пила чувствовал какую-то легкость, свободу, удовольствие и никого не боялся...

До Подлипной Пила ехал четыре дня. Ночи он спал в деревнях. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и всеми подлиповцами. Сердится Пила: зачем это прочие подлиповцы идут, зачем и Матрена тут? и старуха Сысойкова тут?.. Идут они долго-долго, все гора, и конца нет. Вот один свалился с горы, за ним другой и прочие, и Пила в страхе кричит и пробуждается. «Не дошли...» — ворчит Пила и силится заснуть, чтобы увидать что-нибудь получше — хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется, опять он с своим семейством и подлиповцами на поле, и все рубят дрова. Рубят-рубят, а дров нет. Где же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пиле, стал он искать их, нашел: лежат в подлиповском болоте мертвые — медведем изгрызены... Заплакал Пила, заревел... Проснулся, на глазах слезы... Живы ли Сысойко и Апроська?.. Сердце дрогнуло у Пилы: «А что, если померли?..» Пила не мог придумать, что будет с ним, если помрут Апроська и Сысойко. Он только и придумал: «А пошто я-то не помру? Я-то на што живу?..» В первый раз в жизни Пила почувствовал сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойке и Апроське всю дорогу мучила Пилу; всю дорогу он не находил покоя. Зол сделался Пила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто медведей засели...

VII

Приехав в деревню, Пила прямо отправился к Сысойке. Домой он побоялся прийти. В избе было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли? — сказал Пила.

Пила не получил ответа. Хотелось ему удостовериться, залезши на полати, да боялся Пила. В первый раз в жизни Пила побоялся покойников. Однако Пила залез на печку. Там лежала мать Сысойки. Пила заглянул на полати, никого нет. Полегче сделалось Пиле. «Таперь Сысойко у меня... мать, верно, померла», — сказал он весело. Стал он щупать старуху: старуха холодная, не дышит, лицо зелено-красное, глаза открыты, так строго смотрят... Пила струсил старухи, соскочил с полатей, плюнул на печку и убежал на улицу... «Ишшо загрызет, стерва!» — ворчал Пила.

В свою избу Пила вошел весело. Как только он вошел, на него закричала Матрена:

— Што, дьявол!.. Всех нас уморить, што ли, захотел?.. Вон Апроська-то померла!..

Пилу как обухом кто ударил по голове, он рот разинул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, бледный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околел ты, черт!.. Другие мрут, а ему и смерти нет!

Пиле горько сделалось. Ударил он жену и полез на печку. На полатях лежала Апроська. Она была такая же, как и две недели тому назад, только не дышала. Пила не верил, что она умерла, стал он ее толкать, она не шевелится... Взвыл Пила, убежал на улицу, забрался в стайку и долго там плакал... В стайке спали Павел и Иван. «Помру ли я?» — спросил сам себя Пила. «Уйду отсель! уйду!..» — закричал он и вышел из стайки. Пила хотел ехать, но ему жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой? Везти надо ее, опять надо к попу ехать.

Пила вошел в свою избу. Матрена выла на печке. Сысойко дико смотрел на Апроську. Он не плакал, а видно было, что его страшно мучило горе. Он любил Апроську сильно, хотел с ней всегда жить, вот умерли ребята его матери, умерла и мать. Зачем же Апроська померла? Он-то зачем не помер? Дик и зол сделался Сысойко, теперь он походил на собаку, лишившуюся своего детища, он готов был бог знает что сделать, только бы Апроська была жива, готов был помереть, но не знал, как помереть...

Пила так же мучился, как и Сысойко. Он сел с Сысойком на полати и долго смотрел на Апроську, потом

вскричал: «Апроська!..» Апроська не двигалась, Пила заревел, заплакал и Сысойко. Долго плакал Пила, да не помог слезами горю. Он опять вышел на улицу, сел на крылечко и стал думать... Сначала ничего он не придумал, все Апроська мучила его; потом ему опротивела своя изба, вся деревня. Пила вскочил как бешеный и сказал сам себе: «Что я за чучело? Что мне жить-то? пойду из Подлипной, наплюю на их всех... Без Апроськи что за жизнь?» Он вошел в избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдем бурлачить!

— Не пойду. — Сысойко еще не верил тому, что Апроська умерла. «А может, она так...» — думал он.

— Э, дура голова! Пойдем! бурлачество — баская штука, богачество получим, а хлебушка эво! ужасти!..

Сысойке не хотелось идти. Пила стал уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околевай, черт! Я один пойду, ребят с собой возьму.

Пила стал думать, что теперь делать с Апроськой. Матрена ругается за корову, говорит: вези опять, отдай лошадь... «Ну уж теперь с меня он шиш возьмет!» Однако он все-таки решил везти Апроську и мать Сысойки к попу... «Коли просить чего станет, я и к набольшему его пойду... Бает, у меня начальство есть».

На другой день по приезде в Подлипную он принялся делать гроб с Сысойком, Иваном и Павлом. На третий день они уложили в гроб мать Сысойки и Апроську в такой одежде, в какой они умерли. На обеих их были худенькие полушубки, худые лапти. Сысойко надел на руки Апроськи свои рукавицы и положил ей на грудь ковригу хлеба. В этот же день Пила с женой, детьми и Сысойком, положив гроб на Пилины дровни, отправились в село. Гроб был прикрыт досками и обвязан веревкой. На нем сидели Пила и Сысойко. На Сысойкиных дровнях, запряженных в Сысойкову лошадь, ехали Матрена, Павел, Иван и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривал Сысойку идти бурлачить. Сысойко ругался и, наконец, поняв, что в деревне ему тошно жить, согласился идти с Пилой туда, где хлеба много. Только как же без Апроськи?

— Уж не воротишь. Жалко, а нешто́ делать, — говорил Пила, вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... леший!.. — вскричал со злостию Сысойко. Ему слишком было обидно, что Апроська померла.

Дьячок удивился, когда увидал перед своим домом подлиповцев.

Этот день был теплый, каких в этом краю мало бывает зимой. Солнце грело, с крыши капало, ветру не было. Пила подумал, что лето скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорил Пила, весело указывая на солнце. — Лето тожно скоро... Ишь, как баско.

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Он все думал об Апроське.

— А пошто она издохла?.. Пошто? — вскричал Сысойко.

— Пошто? — спросил и Пила, и ему тоже обидно сделалось.

Вышел дьячок:

— Ну, что, братцы?

— Што! Знамо — што... — сказал Пила с сердцем. Он и Сысойко теперь походили на зверей; вокруг них собралось много крестьян, которым Матрена и Павел толковали, как померла Апроська, и которые жалели и умерших и Матрену.

— Кто опять умер? — спросил дьячок.

— Кто? Как бы не ты, жива бы Апроська-то была...— ворчал Пила.

— Ну, полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. Оттого и померла...

Крестьяне между тем с участием расспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Он у меня корову взял! — сказал Пила, указывая на дьячка.

— Вре?!

— Врать, што ли, стану!

— Это не твою ли он как-тось в город спровадил?

— А чью не то... Взял да и тю-тю, к набольшему уволок.

Дьячку стыдно сделалось. Он знал, что в подобных случаях крестьяне пристанут за своего брата, изобьют его, да еще жалобу напишут.

— Братцы, я купил у него корову!

Пила обругал дьячка.

— Купил ты! купил?

— Врет!.. увел!.. — голосили Матрена, Сысойко и Павел.

Крестьяне отошли от Пилы, собрались невдалеке в одну кучку и стали толковать между собой.

— А што, дядя? Дьячок-то вор!..

— Айда к становому!

Крестьяне ушли к становому, Пила и Сысойко с ними же. Дьячок воротился домой; Матрена с детьми осталась на улице.

Крестьяне с полчаса стояли у дома, где жил становой пристав. В это время дьячок послал своего сына с запиской, что крестьяне из Подлиповки — Пила и Сысойко взбунтовали крестьян и хотели избить его. Становой рассвирепел. Вместо того чтобы разобрать дело, он раскричался на мужиков.

— Так-то вы?.. Буянить!.. Да я вас всех перепорю.

— Да мы ништо...

— Молчать! пошли по домам!

Надо заметить, что Пила при появлении станового спрятался за крестьян, Сысойко спрятался за Пилу.

— Кто Пила! Кто Сысойко! — закричал становой.

Все струсили. Крестьяне показали на них.

— В чижовку! я вас!.. Я вам задам лупку!

От чижовки и от лупки наших подлиповцев спас священник, шедший в это время к становому.

— Что! жаловаться? — спросил он сердито подлиповцев.

— Батшко, не губи!.. — молился Пила. Он думал, что его уведут куда-нибудь на съедение зверям.

— Василий Иваныч, простите его, — сказал священник становому приставу.

— Не для чего эдаких скотов прощать... Ну, да пусть идут.

— Ступайте в церковь, я сейчас буду. — Священник ушел к становому, крестьяне по своим домам, а Пила и Сысойко поехали к церкви. Церковь была отперта сторожем. Поставивши гроб среди церкви, Пила и Сысойко с Павлом и Иваном отправились на кладбище.

— Неужели тут всё люди?.. — спросил Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, где отец-то твой лежит?

— Кто его знает!

— А вон на той стороне, — туда и пойдем копать; а вон тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снег, потом топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась с час, до тех пор, пока за ними не прибежал сторож.

В церкви священник и дьячок начинали уже отпевание. Дьячок стоял около священника, на котором была надета ветхая риза. В руках у священника было кадило. В церкви теплилась одна лампада и горели две свечки. Гроб был открыт. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрели на Апроську. Они не молились, а думали; жалко им было и досадно, что Апроська умерла, что ее в землю скоро зароют; а как да старуха-то съест ее?..

— Надо бы другой гроб-то! — сказал Сысойко.

— Поздно уж.

Пилу и прежде и теперь одно занимало: зачем это священник какой-то штукой с дымом таким баским машет? Это занимало и детей его и Сысойку.

— Батшко, ты не хлесни Апроську-то, — сказал Пила.

Священник молчал.

— Право, брось! Ишшо вырвется...

Священник стал убеждать Пилу, что он делает нехорошо, что это так законом установлено. Наконец священник кончил отпеванье, посыпал трупы землей и велел подлиповцам нести гроб.

С полчаса Пила возился с Сысойком. Сысойко просил еще посмотреть на Апроську, а Пила хочет закрыть гроб и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не нагляделся!

— Пила, я Апроське нос откушу!..

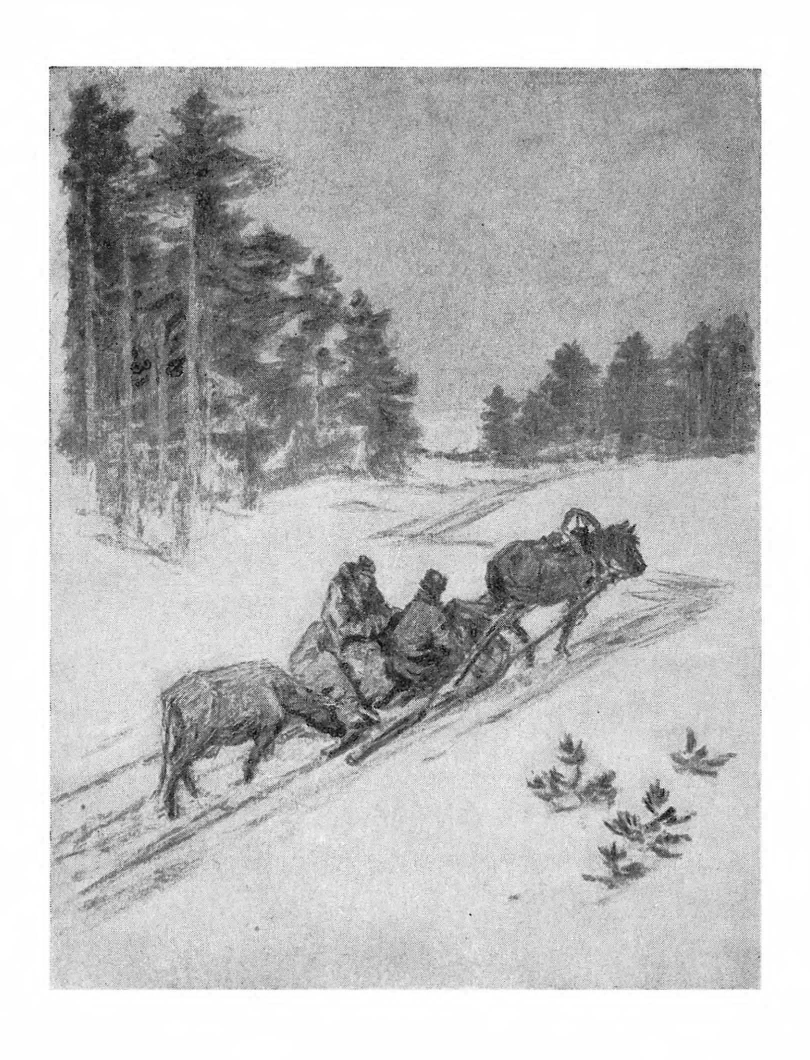
— А это вишь! — Пила показал Сысойке кулак.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко расцапался с Пилой. Дьячок и сторож выпроводили подлиповцев из церкви и с двумя крестьянами вытащили гроб на улицу.



На кладбище Пила увязал гроб веревкой, покопал еще яму и с Сысойком и ребятами опустил гроб в яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну уж, развязывать не стану.

— Я завяжу!

Пила толкнул Сысойку и стал засыпать гроб землей. Засыпав землей и снегом яму, Пила и Сысойко воткнули в курган два топора.

— На, Апроська! .. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дети Пилы ушли к матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко с полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрели на топоры; жалко им топоры-то, а может Апроське понадобятся они. Надо бы с ней положить... «Ведь вот Апроська-то жила-жила, а теперь вот тут...» — говорил Пила и плакал.

— Как бы ее старуха не съела. Пошто же это в землю-то зарыли? — говорил Сысойко.

— Пошто! што с ней, мертвой-то?

— А мы возьмем, уволокем!

— Ну-ко возьми! Уж теперь их нет тута.

— Вре?!

— Поп бает, улетели!

— Ах, ватаракша! да мы зарыли-то, не поп?

— Ну, бает, как зароем — и тю-тю...

Вдруг Сысойке послышался стон из земли, он пустился бежать и, запнувшись о пень, упал.

— Эк те бросило! — захохотал Пила.

— Пишшит!.. Ай, пишшит!! — кричал Сысойко.

Пила струсил.

— Кто пишшит? — крикнул он.

Пила услыхал из могилы стон и стук... Пилу морозом обдало, он не мог двинуться с места... Из могилы раздался еще глухой, протяжный стон, похожий на визг. Пила побежал. Добежав до ворот, он закричал: «Сысойко! беда!» Сысойко лежал на своем месте, боясь встать... Ему слышался еще стон. Пила тоже не шел к Сысойке. Оправившись от испуга, он сжал кулаки и стал ворчать: «Попишши ты у меня! Я те ужо... Эк те взяло! .. Сысойко!»

Сысойко опять пустился бежать и, прибежав к Пиле, кричал:

— Ай, беда! пишшит! все пишшит...

— И теперь?

— Теперь... — Сысойке и теперь казалось, что пишшит. Пила уже не слышал стона.

— Кто же пишшит-то! Витер? — спрашивал Пила.

— Апроська.

— Уж молчал бы... Знаешь ты черну немочь.

— Апроська!

— Ну нет, Апроська улетеля... Вот так штука!..

Обоих их любопытство брало, что это за штука такая? Идти разве послушать, да боялись они, их трясло.

— Уж не Апроська ли?.. — сказал вдруг Пила.

— Я те баял...

— Подти туда!

Сысойко побежал за ограду. Пила пошел за ним.

— Леший! право... черт! пойдем, поглядим тамока, — уговаривал Сысойку Пила.

Сысойко не шел.

Пила и Сысойко сказали об этом Матрене и ребятам, и те испугались. Сказали они и крестьянам, те сначала не поверили, потом пошли на кладбище, но так как там ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предмет любви Пилы и Сысойки — Апроська — была живая похоронена. Интересно было бы знать, что бы стало с ними тогда, когда бы она пробудилась от летаргии в то время, как Пила ладил веревку обвязывать гроб. Вероятно, они разбежались бы, а может быть, и убили бы ее.

VIII

После зарытия Апроськи в землю и после слышанного Пилой и Сысойкой стона из могилы горе обоих усилилось. Они ходили как полоумные, взбешенные, и как ни были глупы оба, но у обоих явилось в их мозгах сомнение насчет смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську. — Апроська, может, и не померла. Зачем же она целую неделю не шевелилась? Ведь Сысойко безвыходно был у Пилы, сидел около Апроськи, лил слезы горькие, лежал с ней и ругался... Апроська не двигалась, даже глазом не моргнула. Кто же ревел-то? Поблазнил... Стой! Обоих стало мучить то, как же от мертвых запах скверный, лица гадкие; вон мать Сысойки

к примеру: лицо зелено-красное, вонь, хоть рот и нос рукавицей затыкай; вон Сысойковы ребята померли тоже запах, и лица другие; а Апроська не переменилась: лицо как у живой, да еще теплое, точно спала, и запаху нет. Что бы это значило? А как она да не померла?

— Слышь, Пила, пойдем туда, уволокем Апроську.

Пила молчал. Ему тоже хотелось сходить на кладбище, но он боялся.

— Пойдем! — уговаривал его Сысойко.

Пила и Сысойко решились ночью идти на кладбище.

Наступила ночь. Луна. Морозит. Пила и Сысойко перелезли через кладбищенский плетень, взяли лежащие у церковного крыльца две железные лопаты и пошли к могиле, где лежала Апроська. Они шли молча; молча взяли с кургана топоры и стали отгребать землю. Обоих их трясло, но они, из любви к Апроське, работали что было сил, до того, что их брал пот. Вот и гроб... Пила и Сысойко молчат и молча идут от могилы в сторону... Но Сысойко оказывается храбрее Пилы; он берет топор, рассекает веревку, берет крышку с гроба... Пила в это время спускается к нему, — ему завидно, что Сысойко один с Апроськой.

— Давай потащим Апроську? — говорит Пила, а сам дрожит.

— Давай. — Пила и Сысойко один за голову, другой за ноги подняли Апроську. Апроська молчит.

— Ишь, стерво!.. — кричал Пила. — Поднимай! — Подняли. Смотрят. Лицо затекло кровью, руки искусаны...

Дрогнули сердца у Пилы и Сысойки; морозом их обдало.

— Померла! — вскричал Сысойко и опустил ноги Апроськи; у Пилы тоже опустились руки. Апроська грохнулась на гроб, около ног Пилы и Сысойки... Они струсили и убежали из ямы.

— Эк ее бросило! — сказал Пила.

Сысойко молчал. Он опять вошел в яму. Пила подошел к яме и смотрел, что делает Сысойко.

Сысойко схватил Апроську за голову и стал смотреть.

— Апроська?! — закричал он. Апроська молчала. Пила сел на наваленную от могилы землю и свесил ноги.

— Запишши, Апроська!.. — кричал Сысойко. Апроська молчала.

— Убью! — закричал опять Сысойко.

Наконец Пила и Сысойко уверились в том, что Апроська умерла. Им сделалось легче. Они попрежнему зарыли гроб, взяли топоры и ушли с кладбища так же, как и прежде, молча... «Апроська умерла, убилась, задохлась. А я-то пошто живу!» — думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня, — сказал Сысойко.

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоим им казалось страшно умереть, обоим хотелось еще пожить...

— Поедем, Сысойко!.. Поедем, — говорил Пила.

— Куда к лешим?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество там... Ну, что в деревне? Апроськи нет. Эх, горе! — Пила заплакал.

Сысойко изругался; в ругани он хотел излить все зло на эту жизнь, — на все, чего он не понимал...

— Пойди ты в Подлипную... Ну, что там? — помрем.

— Пойдем, Пила, пойдем, братан... Эх, Пила!!

Горе обоих велико было. Для обоих мир этот казался тяжелым, невыносимым. У них не было отрады. При всей бедности, без Апроськи они думали: как жить теперь?

— Пойдем вместе, — сказал Сысойко. — Веди, а в Подлипную шабаш!

— Уж ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты — беда мне...

— Мне тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они уснули, то им померещилась Апроська с искусанными руками, и они слышали откуда-то стон. Они спали недолго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана в город.

IX

Когда была жива Апроська, Матрене было все равно, что есть у нее дочь; не будь дочери, Матрене было бы тоже все равно; есть человек — ладно, а впрочем, пожалуй, и не надо бы: хлеб лишний идет; только ровно весе-

лее с девкой-то, да и грудью ее Матрена кормила, как кормила и прочих детей. Только в этом и заключалась любовь матери к дочери. Когда умерла Апроська, Матрене жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидит уже Апроськи, не будет говорить с ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ах, пошто ты померла? Пожила бы ты ошшо чуточку, поглядела бы я ошшо на красно солнышко...» Слова эти были заимствованы Матреной у других женщин, плакавших и причитавших по усопшим, и все-таки они были искренние, задушевные; больше этих слов Матрена ничего не придумала хорошего. Матрене жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотелось ехать в деревню. Без Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена об этом при жизни Апроськи, представь себе то, что Апроська, как и все, может умереть, теперь бы ей не так жалко было Апроськи. Но Матрена никак об этом не думала; она хотя и видела умерших женщин, но никак не могла представить себе того, что Апроська может умереть; она не могла до сих пор понять: что это такое делается с людьми, когда умирают, и зачем их зарывают в землю? Матрена даже не верила, что и она может умереть, а если говорила о своей смерти, так только так себе, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: и ты, Матрена, тоже помрешь, и тебя в землю зароют, Матрена тому бы в лицо плюнула и обругала бы...

Когда Пила стал звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить — баско, и согласилась.

Итак, подлиповцы — Пила с женой и детьми и Сысойко — отправились бурлачить.

X

Подлиповцы приехали в город часу в пятом вечера. Они остановились у содержателя постоялого двора Терентьича. Терентьич знал Пилу, который часто прислуживал ему, и потому пустил подлиповцев даром. Кроме подлиповских лошадей, во дворе была только одна лошадь. Пила достал хозяйского сена, утащил из

незапертой стайки овса и стал кормить лошадей. Подлиповцы отправились в избу. В ней было до двадцати мужиков: пермяков, черемисов и вотяков. Половина из них лежали на печке, на полатях и на лавках, половина сидели за большим столом и хлебали что-то вроде щей. В избе не было огня, хотя было очень темно.

— Бог нá-помочь! — сказал Пила.

— Ладно. Ты откедова? — спросили его сидящие за столом.

— Подлипную знаешь?

— Кто те знает? Вячкой или чердынский?

— Чердынский.

— Колдун, ребя!

Пила подумал: «Сделаю я с вами штуку».

— Эк вас сколь! Бурлачить?

— Э!

— А это баба-то тоже?

— Тоже.

— Баб, бают, не берут.

— Ее возьмут... Она килы садит.

Сидевшие за столом вытаращили глаза на Матрену.

— Верьте вы ему, ватаракше... Он вон Апроську уморил! — ворчала Матрена.

— Слышь, беда!.. чурайся! наше место свято!.. — шептались мужики.

Пилу манил запах щей, и он подошел к столу.

— Экую ты гомзулю-то взял!.. Смотри, обтрескаешься! — сказал Пила одному мужику, оплетавшему большой ломоть хлеба. Мужик спрятал кусок за пазуху. Четыре мужика вылезли из-за стола, за ними вышли и прочие.

— Экой лешой, и ись-то не дает!

— Шаркни его по башке-то.

— Топором ево! — кричали мужики.

— Садись, Сысойко. — За стол уселись все подлиповцы — Пила, Сысойко, Матрена с Тюнькой, Павел и Иван.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно наслышались, что все чердынские крестьяне колдуны, а колдун, по их понятиям, опасный человек, да и не человек, а черт не черт, а что-то особенное: и человеком ходит, и невидимкой делается, с нечистой силой знается, медведем

бегает, сорокой летает и проч. и проч... Неспавшие мужики стали смотреть на Пилу и Матрену, сидевшие за столом и вышедшие из-за него стояли у печки и у порога, доедая куски хлеба, и молча смотрели на подлиповцев, ожидая какого-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись доедать лежащий на столе хлеб и налитые в большую чашку скоромные щи.

— А ты наперед заплати деньги, тогда и распоряжайся, — сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплачу, — сказал Пила.

— Заплатишь ты! Сколько ел, а все не платил.

— А ты погляди, кто у те в чашке-то сидит?..

— Кто сидит?.. — спросила хозяйка.

— Дай сюды, покажу! — Пила подошел к хозяйке.

— Что ты врешь?

— Ослепла! Гляди, мышь!

— Ах вы, погань экая!.. — сказала хозяйка. — Вы хлеб-то весь испоганите. — Она хотела взять хлеб, но Пила сказал ей, что в ковриге лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась к печке и стала смотреть на подлиповцев, как они охобачивали хлеб. Щей уж не было. Мужики дивились.

— Ишь, якуня-ваня, што диётся!

— Подем!

— Ты учись, научит...

Так толковали мужики.

— А я ишшо не то сделаю, — бахвалился Пила.

— Ой!

— Пойдем, ребя!

— Айда. — Стоявшие мужики ушли.

Хозяйка верила всем предрассудкам и страшно боялась колдунов. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что он хитрил над мужиками и возил с собой какие-то травы, которые и ей давал. Увидев теперь, что его испугались мужики, она тоже струсила. Хотела скликать мужа-хозяина, но в то же время ей хотелось выслужиться и Пиле.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебе, што ли, надо?

— Не мне, а Терентьихе. Проходу мне нет от нее; все говорит: уж какова́ ни будь, да буду я тебе!..

— А много ли дашь?
— Да денег-то нет...
— Кормить станешь?
— Ладно, только сделай килу.
— Уж сделаю!

Мужики с печки, полатей и лежащие на лавках слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наелись подлиповцы. Целую ковригу съели.

— Што, Сысойко, наелся?
— Баско! Ошшо бы...
— Нету боле, — сказала хозяйка.
— Ну, таперь спать. — Пила полез на полати.
— Убью! Не ходи... — закричал один мужик.
— А ты гляди: кила у тебя на роже-то! — сказал Пила. Мужик испугался и ушел с полатей, за ним ушли и прочие. Они улеглись на пол. Подлиповцы залезли на полати и расположились спать, не раздеваясь, так же, как и прочие мужики.

— Учись, Сысойко! всему научу, — хвастался Пила.
— Ты врешь все.
— Хошь килу?
— Нет.
— То-то... Уж я, брат, што захочу, все сделаю.
— А зачем Апроська померла?..
— Так ты колдун? — спросил один мужик с печи.
— Колдун.
— Глиже! У нас тоже есть колдун: што захочет, так и будет. Баба есть такая, в трубу вылетает.
— А вот эта баба-то — беда! — сказал Пила про Матрену.
— Ой ли?
— Верь ты ему, варнаку! — отплюнулась Матрена.
— А ты молчи! — крикнул на нее Пила.
— Што молчать-то!.. — Матрена знала, что Пила не колдун; а впрочем, кто его знает. Пила слишком заврался.
— Ребя, бабы-то нет уж!
— Ой!
— Улетела! А ты молчи! — шепнул Пила Матрене, которая лежала у стены.

Мужики струсили.

— Как улетела? — спросили они, а заглянуть на полати боялись.

— Да она откедова?

— Кто ее знает. Села ко мне на лошадь: вези, говорит...

— А ты бы ее топором, топором, так бы и хлестал.

— Бил — не берет...

— Куды же она улетела?

— А кто ее знат. Она вон к ейной бабе улетела.

— Это к Терентьихе? — спросила хозяйка, дрожащая от страха.

— К ей.

— Слава те господи!

— А ты зачурайся, — сказал хозяйке один мужик, лежащий на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатях было так тепло, что подлиповцы ни за что бы не сошли и спали бы долго, долго. Они уснули скоро. Во сне им мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: «Апроська! пишшит!» Мужики, бывшие в избе, долго еще толковали насчет Пилы и рассказывали разные случаи об колдунах, слышанные ими от людей.

— Недавно, — говорил один, — у нас, значит, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вот и появись колдунья, и запела по-куричьи: съем, бает... Беда! Так и бегает за бабами! Ну, и драло все, а кто на печку залез да кринки на голову и посдевал... Она, будь проклята, и давай кринки на пол кидать, кою бросит, и разобьется... Ужасти!

Мужики крестились и охали.

— Это што, — говорил другой. — Вячки — те лучше ваших чердынских. У нас, братчи, колдун издох. Как ноць, и перевернетца, и побежит, и побежит!.. Привезли его в черковь, черковный пеун и давай отцытывать, а поп и давай махальничей махать. Махал, махал долго, а колдун и давай зубами цакать... Пеун побег, а поп и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдун и помер...

— У вас што в Вятке-то. У нас лучше есть...

Лежавшим на печке не спалось. Один из них достал огня на лучину; все четверо, лежавшие на печке, заглянули на полати: там все подлиповцы храпят, и Пила тут, и Матрена тут.

— А баба-то прилетела!
— Хлобысни бабу-то!
— Ты хлобысни...

Пила в это время проснулся, взглянул... Мужики испугались и слезли с печки... Пила влез на печку и уснул на ней один. Он спал лучше всех.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотелось им еще поспать, да хозяин сказал, что у них одной лошади нет. Пила и Сысойко соскочили, один с печки, другой с полатей, вышли во двор; действительно, не было лошади Пилы с дровнями и двумя топорами.

Пила выругал хозяина, говоря: ты украл мою лошадь. Хозяин тоже выругал Пилу, говоря, что лошадь украл не он, а, наверное, мужики, ушедшие из избы вечером. Пила пошел с Сысойком по городу отыскивать свою лошадь. Но город не Подлипная; в городе скорее заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошел в соседний с постоялым двором двор, там кучер выругал его и пригрозил отправить в полицию; в третьем он натолкнулся на какого-то барина, барин прикрикнул на него... Пила постоял на улице, подумал, куда идти искать? «Пропала лошадь, не найдешь. Вот если бы я колдун был, уж не украли бы лошадь», — ворчал Пила. Горе его велико было, лошадь — товарищ крестьянина. Куда он теперь денется без лошади, пожалуй и бурлачить нельзя. «Оказия! Ах, воры?.. И смерти-то на вас нет...» Изругался Пила сильно; долго ругался, ругал и Матрену, и Сысойку, и мужиков, и Апроську выругал, а лошади не отыскал.

По дороге шли вчерашние мужики.

— Вот он, колдун-то! — сказали несколько мужиков.

Пила выругал их.

— Ишь он, черт-то! Видно, мяконьких наклали.

Пила опять выругал их. «Лошадь украли!» — крикнул он.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиков как медведь; одного сшиб с ног, другого повалил на снег, третьему нос разбил... Мужики разбежались от него.

— Смешно, лешие?.. Лошадь украли, дьяволы!.. — ругался Пила.

Пошел он опять на постоялый двор. Там было шесть мужиков. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки. . . Тебе на што лошадь-то? В бурлаки с лошадями не берут, — не нужно. А ты вот продай эту. — Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь. — Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди издохнет. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай, — ворчит Пила.

— Были они, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, пристал: продай да продай!

— А посмотри, завтра и этой не будет.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, што лошадь не надо? — спросил Пила, поняв, что им нечем будет кормить лошадь.

— Што врать-то, дело говорю. Рубля три дадут. . .

— Экой прыткой. . . Пять давай! — Пила больше пяти рублей не знал и счету: для него пять рублей уже богачество было.

— Не продам! — сказал Сысойко.

— А оно гоже, Сысойко, толкуют! Лошадь-то того и гляди издохнет: уж моя ходила чуть-чуть, а эта — ишь какая пигалица, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко решили продать лошадь и тут же продали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поехали с крестьянином в питейную лавочку. У питейной лавочки стояло с пятнадцать мужиков.

— Эй, ты, лешой! Где баба-то? — спросил Пилу мужик, спавший в постоялой избе.

— Што баба? . . Вот лошадь украли.

— А я, бает, колдун.

— Поговори ты у меня, шароглазый пес.

Мужики осмеяли Пилу. Пила обругал их.

В питейной лавочке пили водку три мужика. Крестьянин, купивший Сысойкину лошадь, поставил полштофа водки и стал потчевать подлиповцев. Сысойко никогда не пивал еще водки, со стакана его разобрало. В лавочку вошло еще человек шесть. Попойка продолжалась с час; Пила, захмелев, пропоил еще рубль. Мужики стали петь и плясать и кричали до ночи, когда их вытолкали на улицу. Мужики орали песни или рассуждали о бурлачестве.

— Баско бурлачить! — заметил Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался вперед и назад, направо и налево.

— Баско, — ответил один мужик.

— А што делать-то? — спросил Пила.

— Плыть. Реки эво какие! Большущие, пребольшущие.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будет Соликамско-город, потом Усолье-город, Дедюхино...

— Вре!

— Пра. Там Чусова-река, Кама-матушка... Вот дак река! А там, бают, Волга, супротив той Кама што! А идет она с того свету, и конца ей нету...

— На ней, бают, атаман Ермак, — силища у него у! какая была! он, бают, города брал; никто ему не смог перечить...

— А там люди-то есть же? — спросил Пила.

— Есть, да иные, бают.

— Вот, Сысойко, куда мы подем! — Ты мне должен спасибо сказывать, каракуля ты экая... — говорил Пила.

Пила и Сысойко отстали от мужиков, шли кое-как; Пила хвалился тем, что он сила и колдун. Сысойко почти спал и только нукал да зевал. Шаг за шагом ноги обоим изменяли, и они, рассудив, что лучше тут уснуть, улеглись середи дороги и, в первый раз в жизни, забыв о житейских дрязгах, о своем горе, уснули в обнимку. Зато утром они проснулись в месте грязном, месте прохладном и душном, среди незнакомых лиц, мужиков и каких-то, «кто их знает каких», людей...

Благодетельная полиция сжалилась над подлиповцами, спавшими середи улицы на дороге, и стащила их в чижовку.

XI

Пила и Сысойко никак не могли понять, где они и что это за люди такие. Помнят они, что были в кабаке, а как сюда забрались? Они даже струсили: уж не на тот ли свет они забрались, уж не бурлачество ли это? Пошел Пила к дверям, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такие слова, что Пиле

смешно стало. Спросил он их: — а што, бурлачество это? Те осмеяли его. Пила их выругал и улегся опять на пол около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то всё какие-то востроглазые. — Пила и Сысойко уснули. Однако им не позволили долго нежиться. Пришел в чижовку квартальный с казаками и растолкал их ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такие? — крикнул на них квартальный. Пила струсил.

— Мы-те? — спросил он.

— Да что ты, скотина, не отвечаешь?

— А ты знаешь Подлипную?

— Что?

— А ты не кричи! Эк, испугались! .. — сказал Пила и пошел к дверям. Квартальный ударил Пилу по лицу. Пила стал ругаться и полез в драку...

— В острог его, каналью! В кандалы заковать! — свирепел квартальный.

— Эк, испугались! Туды тоже и с лапищами лезет! .. Я, бат, восемь медведев убил.

Долго возились с Пилой и Сысойком солдаты; хочется солдатам кандалы надеть на ноги подлиповцев, а они ругаются; одному солдату такую затрещину дал Пила, что тот и свету божьего не взвидел. Солдаты связали им руки, но и тут Сысойко укусил одному солдату руку. Подлиповцев вытолкали из полиции, и два дюжих солдата повели их в острог.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантов, не знали, что за острог, не понимали, что такое делается с ними. Впрочем они струсили. Уж не на смерть ли их ведут? Пила боялся солдат.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы? — спросил Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, в острог.

— А это што?

— Не бывал коли, — увидишь. Заворовались, сволочи!

— Поругайся ты, востроглазый!

— Видно плута.

— Право не ругайся, всего изобью. — Пила рванул было руки, да руки крепко связаны назад. Пила

чувствовал, что он ровно без рук сделался. Он пошел в сторону, за ним пошел и Сысойко.

— Куда! куда! — закричали солдаты.

Пила и Сысойко пустились бежать. Солдаты их догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругали друг друга.

— Баял я те, не пойду! — ворчал Сысойко.

— Молчи, пучеглазый! не ты бы, дак не пошел бы я.

— А ошшо бает: я колдун! — Сысойко выругал Пилу. Пила плюнул в лицо Сысойки, Сысойко тоже плюнул в лицо Пилы.

— Смирно вы, дьяволы! — закричал на них один солдат.

Пила и в солдата плюнул... Солдат опять избил Пилу. Кое-как солдаты довели подлиповцев до острога и сдали офицеру. Смотритель втолкнул их в большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, с удушливым запахом махорки. Руки им развязали.

— Ишь, черт, куда попали! — ворчал Сысойко.

— Молчи, собака, зверь ты эндовой, мохнорылый пес!..

— Издохнешь, пигалица!..

— Тьфу... мохнорылый пес! — Пила плюнул в лицо Сысойки, тот тоже плюнул. Завязалась драка. Их оглушили хохотом тридцать человек арестантов с кандалами, лежащих на нарах и под нарами. Двадцать арестантов окружили подлиповцев и розняли их.

— Я восемь медведев убил, а ты што? — ругался Пила.

— Сам я одново убил... Экой прыткой!

— Ай да молодцы! Ну-ко, ишшо? — кричали арестанты.

— Што ишшо? — Подойди, пес! — кричал Пила одному арестанту.

— Ты много ли душ-то сгубил?

— За убийство, знамо, попался!

Пила схватил попавшийся под руки ушат и поднял его в порыве ярости, его облило чем-то вонючим. Все хохотали, даже Сысойко смеялся. Пила бросился на арестантов, Сысойко тоже бросился, но арестанты избили их.

— Не хочу я знаться с вам! — сказал Пила. — Айда, Сысойко.

Пила пошел к двери: двери были заперты. Пила стал стучать в двери и услышал: «Что стучишь, сволочь? сиди!»

— Я те дам, сиди! — Пила и Сысойко, что есть мочи, стучали в двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храбер! — кричали арестанты.

— Ты, Сысойко, за меня держись... Как отопрут, мы и выскочим, а то съедят здесь. Ишь, какие рожи-то... — Сысойко взял в обе руки полы полушубка Пилы. Загремел замок, двери отворились. Пила и Сысойко выскочили. Но их поймали. Смотритель их жестоко отпорол розгами и втолкнул в какую-то темную конурку. Пиле и Сысойке так обидно сделалось от боли и от всего, что было с ними, что каждый из них хотел что-нибудь сделать этим злым людям. Оба они лежали вместе на животах; руки были завязаны на спине. Они не могли даже повернуться; так их избили и истерзали!..

— Сысойко!.. — стонал Пила.

— Пила!.. Ох, больно!..

— Ну, теперь помрем... — Пила начал ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

XII

На другой день подлиповцев повели в полицию. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая от боли. Лица их были избиты; от ран на них запеклась кровь.

— Эк тебя избили, — сказал жалобно Пила Сысойке.

— И тебя, бат, тоже: глаза-те у тебя эво какие! а нос-то — беда!.. — стонал Сысойко.

Несмотря на боль, обоих забавляли ружья солдатские.

— Што ж это торцыт, Сысойко? Вострое — нож не нож?

— А ты спроси!

— Нет, ты спроси.

— Боюсь, изобьют; ошшо пырнет востреем-то...

Пила не утерпел, спросил-таки солдата:

— А это, поштенный, что у те?

— Што — што?

— А на ружье-то торцыт?

— Это ружье, а то штык.

— Эво, не знают, што ли, ружья-то! Медведев вон ломом бил, а рябков ружьем стрелял, знаю.

Солдаты хохотали: «Будет вам жару и пару!»

— Ошшо?

— И как еще вздерут-то.

— А пошто?

— А зá-то, не ходи пузато. Не делай убийства.

Пила и Сысойко молчали.

В полиции были городничий и судебный следователь.

В присутствие ввели Пилу одного.

Судебному следователю жалко стало Пилу при виде его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важных преступника, которые бежали от стражи и были пойманы. Обстоятельство дела началось с донесения квартального, который писал, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улице, были приведены в полицию и там произвели буйство.

— Кто ты такой? — спросил судебный следователь Пилу.

Пила повалился в ноги судебному следователю.

— Не губи, батшко! Вон корову увели, лошадь украли... Апроська померла... Всего избили... Смерть тожно скоро...

Городничий улыбнулся. «Притворяется, каналья!»

— Встань! — сказал следователь. Когда Пила встал, следователь велел развязать Пиле руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынской.

— Крестьянин?

— Хресьянин.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, обчество Чудиново.

— Чем занимаешься?

— А што делать-то?.. Хлебушка нет, кору едим... Вон Сысойковы ребята померли, корову за них увели... А там Апроська померла, Сысойкова мать померла, я и пошел бурлачить... Вон Матренка с ребятами у Терентьича на постоялом живет... Пусти, батшко, бурлачить-то!.. Ослободи!..

— А как зовут тебя?

— Зовут меня Пила.

— Имя и отчество?

— Туто все! Пила родился, Пилой помру... Зовут еще Гаврилком, да это только дразнятся, а Пила настоящее; все так зовут: и поп и Терентьич здешний.

— Зачем ты драться лез?

— Где-ка?

— А как тебя пьяного сюда привели и как потом квартальный стал тебя спрашивать.

— Кто его знает, кто он. Я с Сысойком лежал, а он с архаровцами пришел и давай пинать меня, потом и хлеснул... А я, бат, сам восемь медведев убил, никому не спущу... Больно прыток!.. Ишшо не то ему сделаю... Ишшо вот железки, собака, надел...

— Ты не ругайся, а говори дело.

— Уж как умею... А уж не спущу... Вон архаровцы всего избили, а там еще хлестать стали... Беда! — Пила плакал,

— Он, кажется, не виноват! — сказал следователь городничему.

— Притворяется, собака.

Позвали квартального. Как только вошел квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вот он, ватаракша! Ну-ко, подойди ко мне! Подойди.

— Молчать! — сказал городничий.

Пила присмирел.

— Вы его привели в полицию ночью? — спросил следователь квартального.

— Казаки.

— Он говорит, вы его били.

— Ах он, каналья! Он спал пьяный, я стал будить его и другого, они ругаются. Стал спрашивать, кто они такие, этот разбойник и полез на меня. Я и велел заковать в кандалы и отвести в острог.

— Зачем?

— Да помилуйте, он всех перережет!

— Ах ты, востроглазый черт!.. Я те дам!!! Ты меня бить-то стал, а уж тебе где со мной орудовать. На тебе и надето-то што!.. Пигалица, право!

— Он вот и теперь ругается. Да он, может быть, беглый какой-нибудь.

— Есть у тебя паспорт? — спросил следователь Пилу.
Пила не понимал.

— Это как?

— Получал ты когда-нибудь паспорт из волостного правления?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми наперед.

— Знаешь ты, что такое паспорт?

— А пошто?

— Тебе не давали никакой бумаги?

— Нету!

Следователь показал Пиле лежащий на столе паспорт.

— Баско! — осклабился Пила. — А ты дай мне! — Пиле понравился кружок с орлом на паспорте: — а это какая птича-то?

— Есть у тебя квитанция в платеже податей?

Пила не понимал этих слов:

— Это опять как? — спросил он.

— Платил ты подати?

— Сам бы взял ошшо, да не дают, вон христа ради пособираешь да купишь хлебушка. Эк, ты!..

Пила сделался развязнее. Следователь понравился ему.

— Вот што, поштенный, дай мне хлебушка, христа ради!.. Вот у меня Сысойко того и гляди помрет; а Матрена с ребятишками померла уж поди.

— На что же ты пьянствовал?

— А я лошадь Сысойкову продал хресьянину; хресьянин и повел нас, меня да Сысойку, в кабак; хресьяна чужие пришли, ну и пили... За лошадь два рубля получил, а как хватился в том месте, где меня впервые избили, и тю-тю денег... Обокрали...

Следователь был человек молодой и понимал дело. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебе лет? — спросил он Пилу.

— Да вот, поди, лето скоро будет... Летом-то баско...

— Неужели ты не знаешь себе лет?

— Прокурат ты, как я погляжу! Помер бы я, да не могу... Вчера вот думал, совсем помру, а нет... Вон Апроська сперва померла... Ах, девка, девка!.. — Пила вспомнил, как он видел ее в могиле.

— Кто она тебе?

— Девка, Матрена родила.

Следователю не раз приводилось иметь дело с подобными крестьянами. По своей глупости они ни за что ни про что попадали в беду. Назад тому год, до него, подобных крестьян обвиняли в разных разностях, приговаривали к каторге, и они, терпя наказание и разные муки, шли в далекие страны, сами не зная, что с ними делается, и гибли, как гибнут измученные животные. Прежним следователям никакого не было дела до участи этих бедных крестьян, им только нужно было скорее сдать дело в суд, который решал по тем данным, какие были в деле. Счастье Пилы, что его стал спрашивать не становой и не городничий, а такой следователь, каких у нас еще очень немного.

— Если ты окажешься прав, мы отпустим тебя, — сказал Пиле следователь.

Пила повалился в ноги следователю... «Батшко! пусти скоре! .. Куды я без Сысойки денусь, и его пусти, ведь вон там парни ошшо». Пилу вывели в прихожую.

Позвали Сысойку. Сысойко оказался еще глупее Пилы, говорил то же, что и Пила. Он даже не знал своего настоящего имени, а говорил: «Сысойко, и все тут».

Позвали Матрену и ребят Пилы. Те рассказали все, что умели и знали, а Матрена выла об Апроське. Хозяин постоялого двора сказал, что он знает Пилу несколько лет, что он вреда не делает, а больно беден. Спросил следователь и арестованных при полиции, те показали, что квартальный первый ударил Пилу. Служащие полиции показали, что квартальный в тот день был пьян. Пилу и Сысойку расковали и оставили при полиции под арестом до тех пор, пока не получат донесения от станового пристава, заведывающего Чудиновской волостью, о том, есть ли там Пила и Сысойко и какие настоящие их имена.

XIII

В полиции Пила и Сысойко жили с месяц. Жили они в небольшой комнате, называемой чижовкой, грязной, с тремя лавками, двумя небольшими окнами, с решетками и с разбитыми стеклами в рамах, заклеенными в нескольких местах бумагою. Клопов, блох и вшей в ней

находилось бесчисленное множество, и эти насекомые то и дело что насыщались кровью своих жертв — нескольких человек, постоянно находящихся в чижовке. Иногда в чижовке было человек десять, иногда и пять. Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицах полициею, люди, нанесшие обиды разным подобным же им людям, не платящие долгов, уличенные в воровстве и разных преступлениях, которые сидели тут по неделям, а потом или препровождались в острог, или выпускались.

Пиле и Сысойке весело было с этими людьми, но они все-таки им не нравились. Они поняли, что чижовка такое место, куда садят только «негожих людей, да и люди эти всё ругаются да говорят такие слова, что ужасти». Первую неделю Пила привыкал к этой праздной жизни и удивлялся, какой это добрый человек носит им хлеб, хоть и не свежий, а все же настоящий, и воду носит. Но когда он узнал от солдат, что он под судом и хлеб дается ему казенный или царский, и когда товарищи его надоели ему, он не залюбил эту чижовку и всех людей, которые в ней жили, и постоянно ругался с ними. Первым делом его храбрости в чижовке было то, что он согнал с одной лавки двух женщин и расположился с Сысойком на место их. Это было на второй неделе их заключения. Все они спали на полу, в своей одежде, на своих кулаках, так как постлать и положить под голову нечего было; но привыкши спать на полатях и поняв, что спать на лавке лучше, чем на полу, где постоянно ходят и наступают на них, Пила во что бы то ни стало задумал отнять одну лавку. Как он ни приступал, его не пускали на лавки и даже гнали, когда он садился. Но вот одна лавка опросталась: лежавшие на ней арестованные были выпущены, и на их месте расположились две молодые женщины, обвинявшиеся в воровстве. Пила узнал, кто эти женщины, и не залюбил их. Когда на другой день потребовали их к допросу, Пила и Сысойко тотчас заняли их место. Заметивши это, другие арестованные, перебивающиеся так же, как и подлиповцы, обиделись.

— Вы, сволочи, зачем легли?

— А што?

— Тут занято, почище вас есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, брат, раньше тебя живем.

Как их ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались, а с места не шли.

Пришли женщины и, увидев, что им, кроме пола, лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойку. Те притворялись спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударил одну из них так, что та упала на пол.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко, подойди ошшо? Подойди!..

— Ты наше место занял.

— Я те дам «занял»! Прытка больно!..

В чижовке все хохотали.

— Да пустите, черти! — просили женщины.

Пила лег лицом к стене и ворчал: «Я те пушшу, ватаракшу. Ты то пойми: за что мы-то сидим?» Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хороший! — говорила одна.

— Я те — «хороший»... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу.

Пила опять ударил ее.

— Сказано, не тронь! и все тут! А с тобой уж не лягу, у меня вон Апроська была, а ты чужая...

. . . .

Подлиповцы каждый день топили печки в полиции и у городничего; случалось, проводили по целому дню в кухне городничего, что-нибудь работая. Дни эти были блаженные для них: они были несколько свободны, их кормили щами, жарким и даже кашей. Сам городничий понял положение Пилы, тем более что жена его, Матрена, просила городничего пустить ее в чижовку жить с ребятами. Они теперь жили у одной нищей за пятнадцать копеек в месяц и собирали христа ради. Однако городничий не дозволил Матрене жить в каталажке, а погрозил отправить в Подлипную.

Казаков и солдат подлиповцы не любили, но боялись их; те, зная о подлиповцах, обращались с ними добрее, чем с прочими арестованными, и часто шутили. По мнению солдат и казаков, подлиповцы были очень глупы и дики; раздразнить их ничего не стоило: осердившись, подлиповцы лезли драться на того, кто сердил; но не

все из солдат были такие: один из них часто отговаривал подлиповцев от ругани и драки. От этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому как говорить, кому кланяться, кому нет. Подлиповцы узнали также, что их становой и сельский поп еще не большие лица, а в городе есть выше их: исправник, городничий, судья, а над попом благочинный, и что над этими лицами еще есть старше, они живут в губернском городе, и над теми тоже есть старшие... Подлиповцы только дивились этому и плохо верили. Говорили им также, что этот город не один и земля велика; подлиповцы только смеялись.

В продолжение месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени; например они узнали, что есть места лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такие, которых ни за что обижают и делают с ними не силой, а чем-то иным все, что только захотят, как это было и с ними: в Подлипной они боялись только попа и станового, а здесь многие их обидели — избили и отодрали и теперь никуда не пускают. Узнали, что такое паспорты; узнали также, что так жить, как жили они, нельзя, а нужно идти в другое место. Пиле и Сысойке опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же идти бурлачить и вести себя скромнее.

Наконец Пилу и Сысойку выпустили из полиции.

— Куда теперь? — спросил Сысойко Пилу.

— Знамо, бурлачить.

— Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмем?

— Возьмем.

— И Матрену?

— А не то как? Ну, и времечко! и городок!.. Сколько бед-то.

— Одно к одному и идет. Апроськи нет, пишшит, поди, стерво. Лошади — тю-тю...

— А там, бают, лучше.

— Опять бы беды не было?

Насобирав на дорогу хлеба, купив на собранные деньги два мешка и по две пары лаптей, подлиповцы с Матреной и детьми ее отправились бурлачить. К ним пристали еще четыре крестьянина Чердынского уезда, отправляющиеся бурлачить в третий раз.

XIV

Подлиповцы и прочие крестьяне очень бедно одеты; но последние, по одежде, все-таки несколько богаче первых. На них надеты овчинные полушубки, во многих местах изодранные, зашитые серыми нитками или дратвой, с заплатами кожи, холста и синей нанки; под полушубком видится поддевка из толстой сермяги, также, вероятно, с заплатами, на головах большие шапки из бараньей шкуры, тоже с заплатами; на ногах новые лапти; мочальными бечевочками обвязаны серые с синими из нанки заплатами штаны, по колени не закрытые ничем; на руках — или небольшие кожаные рукавицы, тоже с заплатами, но они не одни надеты на руки: под ними есть варежки, когда-то связанные из шерсти, а теперь обшитые холстом, — или большие собачьи рукавицы, то есть сшитые из белых собачьих шкур с шерстью. Но Пила и Сысойко одеты еще хуже: на них полушубки из овечьей и телячьей шкур, чуть-чуть прикрывающие колени. Полушубки эти распластаны во многих местах, дыры ничем не зашиты, сквозь них видятся серые изгребные рубахи и грудь, так как у горла нет ни пуговиц, ни крючков, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. От полушубков болтаются о колени клочки кожи. Шапки у них из телячьих шкур, тоже с дырами, ничем не зашитыми; синие штаны, обвязанные по колени веревками от худых лаптей, тоже с дырами, и сквозь дыр видно тело; лапти худые, из носков выглядывают онучи; рукавиц не было ни у Пилы, ни у Сысойки: их украли в полиции. Матрена была одета в такой же полушубок, как и подлиповцы, и такие же лапти, с тою только разницею, что колени ее прикрывала синяя изгребная рубаха, а на голове худенький платок, подаренный ей в городе. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька. На руках Матрены были варежки, такие же, как и у крестьян, шедших с ними. На Павле и Иване не было вовсе шерсти, а сверх худых рубах надеты серые поддевки, ноги и колена прикрывали тряпки, завязанные бечевками от худых лаптей; на руках большие кожаные рукавицы с дырами; на головах шапки из крепкого войлока. У каждого из наших путешественников болтается на спине по котомке с хлебом,

по паре или по две пары лаптей; у Пилы, кроме этого, болтается еще вместе с лаптями худой сапог, найденный им в городе где-то среди дороги, вероятно брошенный по негодности. Для чего взял Пила этот сапог, он и сам не знал, а понравилось. «Баская штука-то! ужо продам!» — говорил он, и действительно продавал в городе этот сапог, только никто его не взял.

Идут наши подлиповцы по большой дороге, ухабистой и частью занесенной снегом; идут по сугробам и ругаются. Мороз как назло щиплет им и щеки, и колени, и пальцы ног и рук, и уши; хорошо еще, что по обеим сторонам лес густой и высокий. Подлиповцы привыкли к холоду, и их только злят проезжие в повозках и с дровами: нужно сворачивать в сторону; а как своротил, так и увяз в снегу по колени, а где и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они в первый раз в жизни шли куда-то далеко; прежде они ездили на лошади, и хоть холодно им было, но все же не вязли в снегу. «Зачем это тятька и Сысойко коней продали? — рассуждали они: — ехали бы мы, ехали баско; а то иди, иди, конца нет. . .» Они шли два часа, и им показалось это долго, они устали; им щипало пальцы ног и рук, носы забелелись, уши тоже.

— Тятька, помру! — кричал Павел.

— Тятька, не пойду! — кричал Иван.

— Я вам дам! — сказал Пила и обернулся назад. Жалко ему стало ребят.

— Што, щиплет?

— Аяй!

— Три нос-то да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те! — кричал один крестьянин, а другой стал тереть Ивану щеки, нос и уши.

— Ой, ноги щиплет! — кричали Иван и Павел.

— Беги! вперед беги, прыгай, тепло будет!— Ребята пустились бежать и стали скакать.

— Ай, мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што им в деревне-то делать; помрут!

— Так оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околиют.

Но и тут Пила отобрал от Павла рукавицы, и поэтому Павел отнимал у Ивана рукавицы, Иван отнимал

их в свою очередь у Павла, — так что эта борьба смешила наших путешественников.

Лучше всего было Тюньке. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то он плакал и кричал, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи их шли большею частью молча. У всех была какая-то тяжелая, неопределенная дума, какая-то тоска и радость: всех тяготила мысль о прошедшем, радовало будущее, хотелось скорее получить богачество. Пила и Сысойко думали о прошедшем, об своих горестях и о том, что-то будет в бурлачестве. Сколько проехало мимо них повозок с теплыми шубами! Подлиповцы им кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колокольчиков, и долго стояли на одном месте, глядя на удаляющуюся повозку. Сидевшие в повозке не только не кланялись им, но и не глядели на них, а если и глядели, то как-то с презрением. Эти господа едва ли трудились думать о бедняках. Они не знали, сколько потерпели горя Пила и Сысойко, не знали, что вся их жизнь была одни лишения, несчастия, горькие слезы; что они не могли оставаться в своей деревне; что им надоела своя родина, и вот они бегут от нужды, идут в мороз куда-то в хорошее место, где будет им лучше, где будет много хлеба, где они будут свободны. Далеко ли им идти, они не знают, а уж коли пошли, пойдут, таки авось будет хорошо, а назад незачем. Будь хоть там богачество, — они назад не пойдут: там они лишились Апроськи, коровы, лошадей, там их избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойки, уже не молодые люди, также ругались и также сетовали на свою горькую, безотрадную жизнь; им также опротивела своя деревня, и они вот уже третью зиму оставляют свои семейства на произвол судьбы. Понятия их были не лучше, чем у подлиповцев. Они разнились от подлиповцев только тем, что были люди уже бывалые, видели города, испытали бурлацкую жизнь, — словом, были люди тертые. Как ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она им казалась лучше, чем в своей деревне, где они жили только два месяца в году и скучали о бурлачестве. Теперь они решились не ходить в свои деревни, а жить в городах на время зимы. Только жалко им было своих семейств, но что же делать: баб бурлачить не берут,

а сыновья еще маленькие. «Пусть сами идут добывать хлеб», — говорили они. Пила их ругал за это, но крестьяне были своего убеждения; они уже обурлачились, стали отвыкать от баб и разных удовольствий...

Вот что рассказывали подлиповцам эти крестьяне.

— Спервоначалу баско. Турнут тебя на барку и заставят грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, в рубахе гребешь... спотиешь, а барку несет по воде чуть-чуть, потому, значит, железа в ней много. Почнет витер, так барку-то и давай качать туды да сюды... А на Чусовой так наша барка летось о камень хлобыснулась и потонула; один бурлак, молодой парнюга, дай бог ему на том свете баскую жизнь, потонул, родной, так и не искали; бают, после вынырнул, да уж мертвый... Нас было много; робить заставили, значит, вытаскивать железо да барку, как воды меньше стало. Опосля уж на другую барку сели... Плыли долго... Городов много видели... Чудеса. А какие там махины бегают по воде-то, с колесами, да с печкой, трубища в сажень, а где и больше... Пра! А как сцапает две либо три огромнеющие махины, только без колес, и волокет так прытко и к верху и к низу. Баско... Только трудновато на барке-то, а все же ровно лучше. А теперь хлеб там какой есть: белый, — чарский, бают. Все бы ел, да ел, дорого только... Какие тамо яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко там!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всем верили товарищам и от души полюбили их.

— А вы нас туда и ведите!.. На самое такое место... — говорил Пила.

— Уж приведем, спасибо скажешь... А назад уж мы не подем, шабаш!

— И мы не подем.

Наконец попалась им деревня. Все они разбрелись по домам. Добрые хозяева, расспросив их, куда они идут, пустили их на печки. Подлиповцы и товарищи их, отогревшись на печках, закусив тем, что дали им хозяева, которые были немного позажиточнее подлиповцев, отправились опять в путь.

Подлиповцы и их товарищи пять дней шли, пять ночей спали в деревнях, пять дней мерзли на холоде, оттирали свои щеки рукавицами и бегали по дороге, отогре-

вая ноги, ругали холод, ветры и вьюгу, пять ночей отогревались на печках, а конца все нет. Пилу и Сысойку брало сомнение: куды это они нас ведут? Часто спрашивали крестьян: а скоро придем?

— Да теперь скоро Усолье, там и возьмут нас, — отвечали им крестьяне.

Пила и Сысойко после этого терпеливо стали ждать конца и шли веселее. Деревни здесь попадались чаще, с виду они были лучше чердынских, и людей в них больше на улице, и все что-нибудь да делают: то бревна распиливают, то избу строят, то дрова куда-то да сено везут.

— Вот здесь баско! .. — говорил Пила.

— И хлеб-то здесь баскяе, — говорил Сысойко.

Иван и Павел часто мерзли от холода; крепко их пробивало ветром: часто они плакали, садились на дорогу; но Пила колотил их и заставлял идти. Ребята шли и плакали... На шестой день они пришли в Усолье.

XV

Усолье большое село, расположенное на берегу реки Камы. Оно очень красиво на вид: соляные варницы его рисуются на берегу реки Камы; зимою строятся барки и баржи, весною река оживает; всюду, с отплытием льда, снуют бедные мужики и спешат куда-то; сплавляются барки вниз, пароходы, зимовавшие на Каме, оживают от своего сна, бегут к низу одни или потащат за собою баржи. Цель этих пароходов — дать пищу жителям. По мелководью Камы выше Усолья и большею частью по ненахождению хороших лоцманов, знающих Каму от Усолья до Чердыни, буксирные пароходы ходят от Перми только до Усолья, и то весной и до половины лета. От Перми до Усолья только два пассажирских парохода. Сбыт Усолья — соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, в которые помещаются десятки тысяч пудов соли и которые большею частию действуют лошадьми. Усолье богатое село; в нем живут зажиточные купцы; остальной люд большею частию пробивается около варниц усольских и дедюхинских, завода, находящегося вблизи от Усолья. Несмотря на то, что

и в Соликамске есть варницы и в двенадцати верстах от него стеклянный Ивановский завод, город этот, как и Чердынь, беднее Усолья, потому что сбыт всех материалов из него шлется в Усолье, оттуда идет в Пермь и дальше, большею частию по реке. Соликамские жители всегда закупают в Усолье хлеб и другие необходимые вещи.

Наши подлиповцы рот разинули при виде хороших домиков и особенно варниц: все какие-то столбы стоят, а промеж их, наверху, перекладины; дома большие, с большими лестницами до самой крыши; мужчины и женщины по лестницам какие-то мешки таскают. Везде народ что-нибудь делает: кто дрова, доски, бревна везет; бабы или ругают мужчин, или поют звонкие песни, мужчины щиплют их, они визжат и колотят их кулаками или мешками. Всюду оживление, суетня, — иная жизнь, неизвестная доселе нашим подлиповцам... «Эко диво! Вот бы поробить!.. А это што? Ишь, домина-то какая, не широкая, да высокая, а вверху штука какая-то: то поднимется, то унырнет...»

— Это, братцы, соль добывают. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнет, — это насос, а столбы-те эти с перекладинами тоже штучка... вишь перекладину-то: это желоб. Соль идет в варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы едим, а черная: в варнице, — вишь, где из трубы дым-то идет, — там она варится и делается белой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ах, цуцело! Это соль-то, што на хлеб сыплем! — удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты сам погляди.

Товарищи повели подлиповцев в насос. Там четыре лошади, погоняемые одним мальчуганом, шли кругом столба с колесами. Колеса двигались, и их много, большие и маленькие. Подлиповцы ничего не понимали, не понимали и товарищи их, как соль добывается. «Лихо, бат, колеса-те ворочаются, смотри, какие большие. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнет какая-то штучка, а здесь вишь ты!..» — рассуждали товарищи

подлиповцев. Мальчуган погонял лошадей. «Эй вы, черти! Пссю! Я вас!» — и он бил их палкой. Как, должно быть, скучно его занятие погонять лошадей вокруг столба целый день, а может быть и неделю? .. Павла и Ивана задор взял: им завидно стало. Обоим хотелось так же погонять лошадей, как погонял этот мальчуган. Они пристали к нему, попросту, как к обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуган обругал их. Подлиповцы вышли. Этот мальчуган был тертый калач, испытавший нужду и горе с детства, человек заводский; а наш заводский мальчик не уступит взрослому заводскому человеку, который толковее и злее крестьянина.

Заводский человек больше зол на свою судьбу, чем крестьянин. Крестьянин (я беру государственного) работает на себя сколько ему хочется; с него требуют только подати, спрашивают рекрута, да он должен понравиться, то есть удовлетворить станового. Заводский человек не то. Нанялся он в рабочие (я беру не то время, когда эти люди были крепостными и когда с ними делали что хотели), назначили ему в месяц, понедельно или поденно плату и говорят: вот тебе работа, — непременно чтобы она была кончена. Не кончил работник к сроку работу или прогулял несколько дней, то есть почему-нибудь не пришел на работу, ему не дадут жалованья. Если рабочий делает не так и мастера замечают, что он ленится, его прогоняют, не заплатив платы. И так часто заводскому человеку приходится искать работы долго и голодать, потому что он идти в старое место боится; но куда пойдешь? как оставишь свое семейство, которое живет только им одним? И вот он за какую бы то ни было плату готов опять работать на том же заводе: «Пусть делают что хотят, а я буду робить. . .» Он работает день, на ночь уходит домой в надежде, что получит деньги утром; не утром, а в первом часу приказчик, явившийся посмотреть, работают ли люди, гонит от себя рабочих: приказчик человек богатый, он чувствует, что он сила, что он все, что он имеет рабов. . . а этим рабам есть нечего, убиваются их жены, голодают дети! . .

Вот почему рабочий человек ко всему относится с ненавистью. Ни работа его не радует, ни свое семейство; он всю жизнь свою мучится: он еще в детстве знает, что

он за человек, в детстве начинает привыкать к работе и, наконец, поступив в рабочие, видит угнетение, его бьют... Ушел бы, да боится: он только и умеет дрова рубить, да сено косить, да соль варить — или что-нибудь подобное, к чему он приучился еще с восьми лет.

Все заводские мальчики смышленнее крестьянских мальчиков: мальчик шести лет уже бегает по заводским улицам с другими мальчиками, с товарищами, не боится старших; видя то, что делают старшие и что особенно его забавляет и нравится ему, он делает то же самое, один или с товарищами; он так же ругается, как и взрослый, и кого ненавидят старшие, того ненавидит и он.

Товарищи Пилы повели подлиповцев в варницы. В варнице печь огромная; пламя в ней так и разливается; жара нестерпимая, а мужики то и дело бросают в нее большущие поленья... «Диво! Откуда и лесу-то столь добыто? Вот бы тут остаться... тепло было бы, да вон и семь мужиков, сидя в углу на земле, каждый оплетает большие гомзули хлеба, да что-то из большого котла хлебают...»

— Это што? — спросил Пила одного работника, показывая рукой в печь.

— Слеп, што ли?.. Ишь, печь!

— Знамо; ровно печь...

— Ну, и не спрашивай... Ково вам надо?

— Да мы так, поглядеть, — сказал один товарищ подлиповцев.

— Эка невидаль! Заставить бы вас поробить, так покаялись бы.

Пила не понимал: что тут трудного? Уж не горят ли тут люди? «Вон поп баял, как помрешь, так в огонь, бает, турнут... и никогда, бает, не сгоришь. Вот этот огонь-то и есть...» Ему страшно сделалось.

— Подем, ребя! Ошшо спалят! — говорит Пила товарищам. Товарищи разговаривали с рабочими.

— Уж как трудновато. Не знаем — дрова в кучу складывать, не знаем — бросать в печь, — говорил один из работников.

— Эй вы, черти! что встали? Помогай дрова таскать! — кричал один мужик, бросая в варницу дрова, привезенные на семи лошадях. Подлиповцы с товарищами стали бросать к печке дрова. Подлиповцы охотно

работали, их пробирал пот, им хорошо показалось носить дрова и бросать их в кучу.

— Баско, Сысойко! .. — говорил Пила осклабляясь.

— Баско...

— Ты говори спасибо: не я, так съели бы тебя тамока...

— Ну их к цорту на кулицки. А мы не пойдем отселева? ..

— Коли бурлачество — баско... только лиже печь-то, огнища-то — эво! Спалят ошшо...

— Нет уж, в друго место подем.

— А вы откелева? — спрашивали между тем работники товарищей подлиповцев.

— А Чердынские. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нет.

— А вы здешние?

— Мы дедюхинские; преж казенные были, теперь вольные стали.

— И подать не платите?

— Кои года выслужили, не платят. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказывают, ныне не то, что прежде. Пароходов много развелось. Вон прежде у нас и заведения такого не слыхали, а нынче пароходов много ходит, а там, в губернском, пропасть их.

Товарищи подлиповцев повели их в самую варницу. Там, в огромном котле, на подобие ящика в несколько сажен длины и ширины, что-то варилось, только виделась седая пена, которую изредка мешали рабочие; над котлом разные перекладины поделаны да доски; на них не то снег, не то что-то серое, и что-то каплет в котел с досок. В одном месте рабочие бросали лопатками пену на эти доски. В правом углу, при входе, из стены что-то черное уставилось, и от него желобок к котлу сделан. Сысойко дернул за кран: потекло черное, густое, не баско пахнет...

— Што же это? — дивился Сысойко.

— Это рассол...

— Не замай! Што трогаешь! — закричали на Сысойку работники и, оттолкнувши его, завернули кран. Пила и Сысойко пристали к рабочим.

— Это что же?

— А вы куда? Сюды нанимаетесь?

— Нет. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука? — спрашивал Пила, указывая на котел.

— Это котел. Вот оттудова, где кран-то, что черное-то бежит, рассол сюда пускаем, он переваривается в котле-то, потому, значит, под котлом-то печь... А это, вверху-то, полати, тут соль делается. Опосля она в амбары сыплется.

— Так это соль-то и есть?

— Она и есть. — Один работник достал с полатей на лопату соли и показал подлиповцам: — вишь, какая!

— А ты дай нам соли-то?

Работник дал. Пила склал ее в мешок, в котором был хлеб.

— Да ты заверни чем-нибудь соль-то, она хлеб испортит.

— А пошто?

— Сырой сделается.

Пила не знал, что делать: неловко, как хлеб испортится; «выбросить разве соль-ту», — да жалко соли-то попуститься. «Дай лучше съедим». Подлиповцы расположились есть хлеб, посолив его круто солью, до того, что есть вовсе нельзя было. Однако они соль эту ссыпали на другой кусок. Наевшись, подлиповцы еще попросили соли и завязали, каждый по равной части, в концы пол своих полушубков, спросив предварительно: а ничего, не съест соль-та?..

Всему дивились подлиповцы в варнице, все их забавляло, хотелось им остаться тут, да товарищи торопили их к реке. Они пошли. На берегу реки и на льду ее работались барки, полубарки и баржи крестьянами. Подлиповцы в первый раз видели все это.

— Видишь ли эти штуки? — спросил один товарищ Пилу.

Пила посмотрел: домины не домины, а с окнами, трубищи огромные, посередине ровно колеса.

В реке стояли три парохода.

— Это вот барки; на них мы и поплывем. А эти вот, с колесами-те, то и есть, што мы баяли: больно прытко бегает и волокет за собой много... много...

— Э, да ты прокурат! Ну как на колесах по воде бегать-то? Поди-ко, не знают!..

— А так.

— Ну, не морочь. Вон я сколько раз был на реке Каме, так там колес-то нету, а вон эдакие устроены, — говорил Пила, показывая на одну лодку.

Все подошли к пароходу. Пила и Сысойко сначала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнет! — говорил Пила Сысойке.

— А ты подойди!

— Я подойду. — А сам ни с места. Однако, видя, что товарищи их, Павел и Иван подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укусит... — Пила и Сысойко подошли.

— Он, братцы, железный, — говорил один товарищ.

— Вре?

— Пра! И как бежит — свистит... ужасти!

— Ах, черт! — дивились Пила и Сысойко. — Как же он с колесами? Да и колеса-то какие-то другие, а не наши... Там, поди, лошадь где-нибудь спрятана...

— Это, вишь ты, для виду колесо, а выходит, поздешнему, перья. Как пустят его, он и почнет загребать и почнет... да так скоро, мигнуть не успеешь.

— А пошто он теперь стоит?

— Потó: река замерзла. А как пройдет лед, он и побежит.

— А скоро?

— Когда тепло будет.

— А теперь побежит?

— Теперь нельзя, ишь, привязан. — Подлиповцы посмотрели на канат: толстая штука; им в первый раз приводилось видеть подобную вещь. Они захохотали.

— Силен, собака. Ишь, какую веревку-то на него надели... А как он да перегрызет?

— Летом убежит... Летом, бают, он на цепи стоит: якорь такой с цепью бросают в воду.

— Ах, черт! ах, леший!

Долго дивились подлиповцы над пароходом и плохо поняли, что это за штука такая. Потом они пошли к баракам.

— Это што? — спросил Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рекой.

— Это река Кама.

— Вре! Да Кама и у нас есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая пуцело!..

— Куда бог несет? — спросили их рабочие.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какие?

— Чердынские.

— Так оно. У нас есть чердынские.

— Кто?

— Да с Прокопьевской волости двое, да из Чудиновской семеро.

— Ишь, черти! А у вас нет ли чего робить?

— Теперь нету. А вы на базар ступайте, там много бурлаков. Бают, приказчик какой-то скоро будет нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почем робите?

— Да рядились по пяти рублев, только опаска есть, как бы не обмишурились. Вон в прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальчонки-то с вам?

— С нам.

— Ой, не возьмут?

— Спехаю, — говорил Пила про своих детей. Подлиповцы с товарищами пошли на рынок.

XVI

На рынке они увидели до шестидесяти человек крестьян, одетых очень бедно, с котомками на плечах. Все они ходили по рынку, глазели, очень мало покупали, потому что у многих не было вовсе денег; многих из них занимали безделицы, удивляло то, что для сельского жителя нисколько не удивительно. По выговору их, по одежде, по обращению заметно, что они не здешние, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищут или куда-то

идут еще дальше. Над ними смеялись торговки, смеялись над их выговором и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Все эти люди так же бедны, как и подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как шли подлиповцы и их товарищи. Каждому, как видно, опротивела родная сторона, хочется чего-то хорошего, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поесть, хорошо поспать... Здесь были крестьяне северо-восточной части Вологодской и восточной части Вятской губерний, смежной с Пермскою; там при всевозможных усилиях, как и в Подлипной, от холода не добывается хлеба, а сбыта материалов очень мало. И вот они, наслышавшись от других крестьян, что есть хорошее занятие — бурлачество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди все разные, местности хорошие, — пустились наудалую в путь, бурлачить по Каме, как ближайшей реке от их родины, на которой с давних пор бурлачило несколько десятков тысяч крестьян каждое лето...

После вопросов, куда и откуда, подлиповцы и товарищи их пристали к толпе. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, вместе с прочими крестьянами, ходили по селу, дивились над хорошими домами, ходили в варницы, на реку, помогали даром работникам, плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали в постоялых избах и в избах бедных сельских жителей. На третий день у подлиповцев не было хлеба. Они насобирали хлеба и по нескольку копеек денег у сельских жителей; им начала надоедать эта праздная жизнь; им хотелось скорее дойти до бурлачества. Но вот уже четвертый и пятый день прошел, а они все ходят по селу; крестьян прибывает все более и более... Все эти крестьяне — жители разных деревень и знакомятся друг с другом очень просто: спросили, куда и откуда, — и конец. В друг друге они видят подобного себе человека, знают, кто, куда и зачем идет, знают, что цель у всех одинакова; говорят они друг другу об своих нуждах; сообщают свои понятия о том, что их интересует; едят вместе в домах, где их квартиры; делят пополам хлеб и вместе спят, где придется, не разбирая и того,

что товарищ не их деревни и кто его знает, хороший он или худой человек. По имени друг друга редко называют. Они знают товарища по лицу, а в имени — что толку: он ему не брат, не родня, а так сошлись, веселее вместе. Обругать и осмеять друг друга тоже ничего не значит; и подерется кто — все как-то веселее, словно шутя: никто не сердится, а напротив, других это забавит. Если у бедного и больного человека нет хлеба, другой товарищ сжалится над ним, отдаст ему излишек, надеясь сам добыть хлеба хоть милостинкой, да и товарищу хорошо от этого: ведь и он может быть без хлеба, и ему при случае поможет его товарищ. Если у кого есть деньги и он привык употреблять их на водку, то он один не выпьет, а позовет товарищей, которые ему особенно нравятся или с которыми он живет на квартире. Так у всех этих крестьян были по два и по три хороших товарища, и все они, сойдясь на рынке, были как старые знакомые, — конечно, не снимали шапок и не жали руки, а начинали разговор прямо.

— А ты, поштенный, што рот-то разинул!

— Э! ништо.

— Гли, баба-то как стерелешиват! [1]

— Эк ее разобрало. — Все хохочут.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

— А што, ребя, сдюжит ли он, как запречь его вон дрова в варничи возить?

— А пошто?

— А не сдюжит. Ишь, кака штука-то запрежена, легонькая, махонькая, пигалича...

— Не сдюжит. — Все хохочут.

И все в таком роде.

Пила и Сысойко так свыклись с своими товарищами, что постоянно ходили с ними, ели и спали на одной квартире. С своей стороны и те не отставали от них, и если у кого-нибудь не было хлеба, то другой товарищ уделял свой излишек бедному.

Но никто так не жил дружно, как Пила с Сысойком, Павел с Иваном. Об отношениях Пилы к Сысойке и наоборот мы знаем. Надо сказать и об детях Пилы. Раз-

[1] Бежит. *(Прим. автора.)*

витие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне ихнему уму не предстояло развития впереди; они бы выросли так же, как и Пила и Сысойко; в городе они увидели других людей, узнали, что там живут разные люди; они видели, как ихнего отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнав от людей, что это делается только в таких случаях, когда люди убивают и грабят, они поняли, что их отец — плохой человек, что как он ни бахвалится, а есть люди лучше его. С этих пор отец стал казаться им как обыкновенный человек; он и Сысойко казались им даже смешными, и если они шли за ними, так только из привязанности к Пиле и Сысойке, да и куда денешься без них? К тому же они шли куда-то в хорошее место, а что им оставаться здесь или в Подлипной? Видя городских девушек, красивее и опрятнее подлиповских, ребята подумали, что подлиповские девушки хуже, вот бы с этой жить... Чем дальше шли ребята, тем больше работали их головы. Они бывали во многих деревнях; деревни были лучше Подлипной, в избах тоже лучше, и девки лучше. В селе их интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? почему здесь так, а в Подлипной и в другом месте иначе? Но что они могли понять, когда и отец и товарищи отца сами не знали, почему это и зачем так. Вот они стали спрашивать сельских жителей, большею частью рабочих; те хотя с бранью, но растолковывали им. После этого ребята долго толковали между собой и кое-как понимали. Например, они поняли, что рассол добывается посредством лошадей, что у лошадей больше силы, чем у людей, и человеку-мужику без лошадей плохо. Это они узнали так. Встали они против насоса. Насос был в бездействии. Подошли к дверям, — лошадей не было. Они попробовали вернуть колесо, но не повернули. В другом месте лошади были в действии, и насос был в действии. Короче сказать, они более понимали, чем их отец, Сысойко и Матрена, которая решительно ничего не понимала, а только охала. Поняв что-нибудь из слов сельских жителей, они сообщали отцу, который не верил им, и ребята, — после того как он раз выругал их, когда они сказали ему: тятька! робь лучше здесь, а бурлачить, бают, трудно, — не стали больше говорить ни ему, ни Сысойке, ни Матрене

того, что им казалось хорошо и что было бы хорошо и тем. Бурлачество их не манило почему-то, им лучше нравилось жить в селе, но как отстать от отца? «Уж пойдем, там, бают, город баской есть, там останемся...»

Теперь жизнь им казалась лучше, их тянуло на улицу: они поняли, что прежде они хворали от коры, теперь едят хлеб и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо, ноги устают. Братья постоянно были вместе, часто ходили по селу одни, говорили без умолку, спорили, дрались между собой и с сельскими ребятишками, которые их очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые им весьма не нравились.

— Уж мы туда не подем! — говорил Иван Павлу, показывая рукой в ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятька идет, а мы нет.

— А Агашки не жалко? — спросил Павел Ивана.

— Ну ее к чертям! Здесь, смотри, девки-то.

— Баские, а там што...

— А ты, Пашка, не отставай от меня.

— Ты не отставай. Вместе лучше.

— Мы с тятькой не подем... и с мамкой не подем.

— Куды подем?.. подем ошшо...

Часто им доставались колотушки от бурлаков за любопытство и за то, что они не давали насобираемого хлеба, которого у них было всегда больше, потому что им меньше отказывали. Они вывертывались от бурлаков и ругали их так же, как и большие. На ругань не обращалось внимания ни отцом, ни прочими бурлаками, так как бранное непечатное словцо было для всех обыкновенным как в дружеской беседе, так и при удивлении и как ласка; им выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящие бурлаки.

Своего отца Павел и Иван не боялись и не слушались. Скажет он им: «Подите хлеб собирать!» — один из них и говорит: «Поди сам собирай!» Он их обругает, а они ему язык кажут. Он их бить, а они барахтаются.

— Ах, черти! — ворчит Пила. — В меня вы, стервы, уродились, сильные будете... — Пила даже радовался, что ребята его умеют драться, и всегда отнимал

у них хлеб с бою, причем, конечно, ребятам больно доставалось.

О Матрене нечего сказать. Она постоянно сидела или лежала на полатях да говорила с хозяйкой, большею частию о подлиповцах и Апроське.

XVII

На пятый день Пила увидел в толпе прибывших вновь крестьян своих однодеревенцев Елкина и Морошина, прозванных по-подлиповски Елкой и Морошкой. Пила обрадовался. До сих пор он редко вспоминал подлиповцев, даже стал забывать Апроську.

— Вот они! — весело вскричал Пила Сысойке. — Ах вы, лешие! бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нет, што за жизнь, — говорил Морошка.

— А ребята как?

— Баба в городе осталась, и ребята с ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Украл?

— Украл.

— Ах, леший, леший! А со мной-ту что было, ужасти! — Пила начал рассказывать, как его избили, и повел своих однодеревенцев в питейную лавочку.

— Уж мы все знаем, — говорили прибывшие подлиповцы.

— Ну, ошшо не все померли? — спросил Пила Морошку. — А Агашка жива?

— После твоей Апроськи парень да девка Тычинки померли... Агашка ушла с бабкой, — куды-то в дом робить взяли.

— Ишь ты... А поп?

— Што с ним... Да я почесь и не видел его.

— А как... сам зарыл?

— Сам.

— Ну, теперь кто там у те?

— Да жена.

— А околиет?

— Пусь.

— Ах, чучело!.. жалости в тебе нет.

— Та таперь кто там? Корчага да Кочеражка? — спросил Сысойко.

— Идти тожно хочут совсем: уйдут, тоже и моя баба с ними.

— А ты бы и взял их! Ну уж и край! Кто же в Подлипной-то останется.

— А собака!..

— Эво! И собаку с собой надо. А дома-то как?

— Дома! Эко диво! што с домами-то?.. Помрут?

Подлиповцы стали ходить вместе с товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребя, тожно все пойдем. Смотри, не отставать, а што бог даст, все пополам, — усовещивал Пила своих однодеревенцев.

— Уж не бай; ты голова, не нам чета.

Наконец приехал приказчик из Шайтанского завода за наймом бурлаков. Около Шайтанского и прочих заводов хотя и есть крестьяне, но они считают за лучшее остаться дома, а крестьяне других, северных уездов губернии рады за небольшую плату наняться в бурлаки. Бурлакам платят от восьми до пятнадцати рублей за сплав барки от завода до Елабуги и других городов выше Нижнего, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числом около ста, собрались на рынке. Пришел приказчик. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта!

Паспорта были у двадцати человек, преимущественно крестьян Соликамского и Чердынского уездов.

— А у вас есть паспорта? — спросил приказчик остальных.

— Батшко, не губи!.. Каки тут еще паспорта?.. — вопили крестьяне.

— Беспаспортных мне не надо.

Крестьяне в ноги ему поклонились.

Долго возился с крестьянами приказчик. Не понимают они его. Ему каждый год приводилось возиться с ними, и он все-таки обделывал дело: сам ездил в воло-

сти, выправлял паспорта бурлакам и вносил за них деньги. Теперь он заключил со всеми крестьянами контракт; отобрал паспорта, у кого они были, дал паспортным по рублю, а беспаспортным по полтиннику; велел дождаться его, а сам отправился в их волости.

После отъезда приказчика все крестьяне загуляли. Загуляли и Павел с Иваном, которые хотя и были всех моложе, но тоже попали в бурлаки и получили по тридцать копеек денег. Целую неделю кутили бурлаки до тех пор, пока не издержали все деньги. Да и промысловые рабочие то и дело подговаривали простаков на выпивки и угощались на их счет сами. Но когда у бурлаков не стало денег, рабочие два вечера сряду угощали их на свой счет, — за что промысловые рабочие очень понравились бурлакам. Павел и Иван купили себе лапти и валенки, а остальные деньги проели на булках. Одна только Матрена скучала, ее не приняли в бурлаки. Она поступила работницей на варницу и содержала Пилу, Сысойку и детей.

Три с половиной недели бурлаки ждали приказчика. В это время они хотели уйти, но их отговаривали промысловые рабочие тем, что теперь уже нельзя, так как получены ими задатки. Большая часть их работала на пристанях, у барок и у варниц, и только небольшими заработками они пробивались в селе.

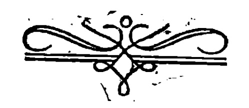
Наконец приехал приказчик. Он пересчитал всех крестьян, записал их снова, показал им паспорта, взятые на полгода, выбрал из них четверых в лоцманы, дал всем, кроме лоцманов, по рублю денег, а лоцманам по три рубля, велел идти в завод. Уладивши все с крестьянами, приказчик уехал.

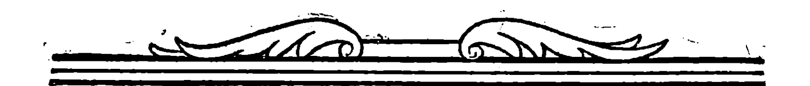
Приказчиком было нанято еще более ста человек, только на самых местах, в селах и деревнях Вятской губернии.

Все крестьяне, накупив по две пары лаптей, по три ковриги хлеба, соли, наелись на ночь сытных щей, крепко уснули, а утром, вставши до свету, закусили крепко на дорогу, увязали плотнее свои котомки, собрались за селом и тронулись в путь.

Матрена долго следила за подлиповцами. Идут они, идут в большой толпе... вон Ванька да Пашка оглядываются и утирают слезы... Не взяли Матрену! заплакала

она и ушла в варницу... Один только Тюнька не знает теперь горя: он рано встает с маленькими хозяйскими детьми, и как только встает он да хозяйские дети, и начинается у них беготня да игры. Хорошо еще, что хозяйка, мастерская жена, добрая и есть с кем Тюньке порезвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни детей ее, что бы сталось с Тюнькой и Матреной? Как бы она стала работать с ребенком? А работа ее такая: дрова она в варницу таскает да из варниц в амбары соль на плечах по длинной лестнице носит. Трудная работа досталась Матрене.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БУРЛАКИ

I

Итак, наши подлиповцы отправились бурлачить с товарищами.

Всех шло сто тридцать один человек. На подлиповцах такая же одежда, в какой они были в Чердыни и в Усолье. На прочих товарищах или такая же одежда, как и у подлиповцев, или разнообразная: тут были полушубки из разных шкур, большею частью распластанные, в лохмотьях, без заплат, или просто изорванные сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всех разнообразные шапки, хотя повсюду и одинаковые, большие, из шкур или войлочные, наподобие горшка; на руках у каждого рукавицы, или кожаные, или из шкур, или шерстяные; на ногах у каждого лапти. У каждого на спине висит котомка с хлебом, кое у кого с разным тряпьем. Ниже котомки болтаются по паре или по две пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанял их бурлачить: он не поскупился дать каждому задаток; не дай он денег крестьянам, как бы они пошли в дальний путь без хлеба и лаптей?

Все они шли до сборного места, то есть до завода, целых три недели, и шли, как некогда шли евреи по пустыне Аравийской, с тою только разницей, что это были русские крестьяне, бежавшие от своих семейств,

Шли они врассыпную по большим и проселочным дорогам, узким тропкам; плутали по целым дням в незнакомых местностях; ругались, мерзли, дрались и даже раскаивались, что пошли.

Их взялись вести четыре лоцмана, уже несколько лет занимавшиеся бурлачеством и знавшие все станции-пристани от Чердыни до Нижнего и от Билимбаевского завода до Перми; но у этих лоцманов не было согласия в выборе дорог: каждый из них жил в разных местах зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедшись вместе, каждый хотел идти по своей дороге.

Вот, наконец, они согласились; все крестьяне идут за ними. Идут они два часа, едва-едва переступая ногами, не торопясь, разговаривают, поют песни грустные, долгие и тяжелые, а больше молчат. Проезжающие заставляют их сторониться, и кто из ста человек не успел своротить с дороги, того ямщик хлещет витнем. Крестьяне ругаются, хохочут и лезут драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось от них за витень, и крестьяне убили бы его, если бы не вступился почтальон и не разогнал их саблей. Всех забавит звон колокольчиков и шубы проезжающих бар. Они сначала дивятся, потом хохочут. Всем как-то весело, и кто поотстанет от толпы, догоняет ее. Подлиповцы идут особой кучкой. Они увлекаются разговорами товарищей, их хохотом, тешатся над выговором татар и черемисов; собственные несчастия они начинали уже забывать.

Но вот дорога делится надвое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда теперь? — спрашивал один лоцман.

— Нет, не сюда, а сюда, — говорит другой лоцман.

— На-кося! Таперь по этой, по левой, надо: тут село будет, — говорит третий.

— Эво! Што у те шары-те чем заволокло? Вот как подем по этой, по правой, — тут и будет деревня, три версты и всего-то! — говорит второй лоцман.

— Молчи! Тебе бают — село, а ты баешь — деревня...

— Медведь ты раменской!.. Тебе говорят — деревня... как войдем в нее, и сворачивай налево, — говорит четвертый лоцман.

— Да будьте вы прокляты, лешие! Привычки у вас

нет, обычаю... Мы десять годов по эвтой дороге хаживали. Черти вы дьявольские! — ругается второй лоцман.

Остальные лоцманы задумались: «А что, если он правду говорит?»

— Смотри, не обмишурься... Право, знать, эта дорога-то? — говорит первый лоцман.

Часть бурлаков (бывалые) пристает ко второму лоцману и говорит: «А, бат, дорога-то налево. Веди!» К ним пристает еще человек тридцать. Пристают и остальные. Начинается брань беспощадная, крик...

— Что, братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете, — пошли... Мы восьмой год ходим, знаем...

— И я восьмой! И я шестой!.. — кричат остальные путеводители.

— Ты веди толком! — кричит Пила.

— А я уйду тожно! — кричит первый лоцман.

— Ну, и иди, черт! што пристал? — кричат бурлаки.

— Ребя! валяй его!.. бей!..

Первого путеводителя окружает человек сорок. Он старается всех урезонить. Бурлаки не верят. Остальные лоцманы-путеводители идут по левой дороге. За ними идут и прочие. Попадается им крестьянин с дровами. Он знает, кто эти люди.

— Эй, братан! эта дорога на Чусовую? — спрашивает крестьянина один из лоцманов.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, там и будет река Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— Послезавтра будет.

— Ах ты (следует непечатная брань), да ведь Яйва в Каму бежит?

— А куды не то?.. Кама-то эво што... Вы бы и шли по Каме.

— А ништо, подем по Каме! — говорит один лоцман.

— Ступай. Эдак мы скоре придем; там еще будет Косьва да Усьва, а потом Чусова.

— Ну, и подем.

Тронулись по левой дороге. Пришли в деревню. Ночевали. Утром тронулись в путь по правой дороге. К вечеру пришли в эту же деревню... Ночевали. Утром пошли по левой дороге.

— Ишь ты, леший! — ворчат бурлаки. — Да ведь мы были тутотка?

— Где, в деревне-то?

— Ну!

— Слеп! Деревня-то совсем другая: в той семь домов, а в этой восемь, — говорит один лоцман. Бурлаки верят и не верят. Лоцмана спорят, и все-таки идут вместе все. Наконец пришли и к Яйве. Река не широкая, покрытая льдом, занесенным снегом.

— А это што? — спрашивает Пила, указывая на пространство, занимаемое рекой.

— Это река, бают, — отвечают ему бурлаки.

— Кама? — спрашивает Пила.

— Нету. Кама вон де, — указывая рукой на север, говорит бурлак. Пила дивится.

Все стоят на берегу реки и спорят, как идти: направо по речке или налево.

— Мы таперича, как подем налево, и Чусова будет, — говорит один лоцман: — олонись я не был здеся, — добавляет он.

— Ну, это ошшо тово оно... — говорит другой лоцман.

— Вот если бы таперича вскрылась река да барки бы если пошли, ну и узнал бы, в кою сторону путь держать, — говорит первый лоцман. Холодно. Все спускаются на лед; всех продувает ветер. Идут кто направо, кто налево, кто за реку. Все тонут в снегу и ворчат.

— Да вы ладом ведите! По Яйве-то никто не бурлачит, и мы в Яйве-то ни разу не шли, а переходили только, — ворчит один бурлак. Лоцмана ведут всех узенькой дорожкой, попавшейся за рекой. Бурлаки радуются. Пришли в деревню к вечеру. Поели, выспались, утром тронулись в путь. День шли хорошо, пели песни или молчали. К ним пристало несколько зырян.

Увидев кучу бурлаков, зыряне спросили:

— Кыдче мунан? [1]

— Бурлачить! — было ответом. Зыряне пристали.

В толпе были тоже зыряне, и между ними завязался разговор.

---

[1] Куда пошли? (*Прим. автора.*)

— Илыся лок тысь?[1]

— А Ежва, кырныш.[2]

Опять попалась река. Бурлаки обрадовались.

— Вот она, Чусова-то!

— Вре! Экая махонькая?

— Эта, братцы, не Чусова, а Косьва. Там еще будет Усьва, вот по той мы и пойдем в Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли реку и тихим шагом пошли за своими путеводителями. На третий день после перехода Косьвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дороге: ладно. Вдруг дорога разделилась на три части. По которой идти? Лоцманы забыли.

Все стоят.

— По этой?

— Нет, по этой.

— Знаешь ты черную немочь! По этой...

Лоцмана дерутся. Их окружают бурлаки.

— Бей ево!.. Вот так!.. ну-ко, ошшо! — слышится со всех сторон.

Один лоцман убежал по левой дорожке. Его пошел догонять другой лоцман. Половина бурлаков идут за этими лоцманами. Два оставшиеся лоцмана уговаривают остальных бурлаков идти за ними.

— Пусть они идут по той! Уж как-то ли заблудятся, эво как! — говорит один лоцман.

— Ну, а ты и веди, коли мастер, а я пойду с ним... — говорит другой лоцман.

— И черт тебя бей! А мы как раз дойдем и по своей...

Бурлаки советуются, как им идти.

— Те, поди, ладно идут, а мы-то как?

— Подем тожно с ним.

Однако лоцманы ведут своих товарищей по той дороге, по которой ушла недавно половина бурлаков. Прошли с версту, а тех бурлаков не видать. Прошли они две дороги, наконец на третью свернули и пошли.

— Куды же те-то побегли?

---

[1] Издалека шли? *(Прим. автора.)*

[2] Река Вычегда, называемая зырянами Ежвой. Кырныш — ругань. *(Прим. автора.)*

— Черти... — ворчат лоцманы.

— Надо бы нам поворотить по той дороге, что впервые попали.

— Кто ево знат... И места всё другие, ни разу не был здеся.

— И я тоже.

Вот подошли они к большому полю. Дорогу занесло снегом; ветер сильный, резкий. Бурлаки ругаются и идут по полю, оставляя за собой следы большими зигзагами. Идут они час, все нет конца. «Что за черт?» — ворчат бурлаки. Их обуяла лень... Идти не хочется, а хочется поспать. Останавливается один бурлак, за ним останавливаются все. Садится один на снег, все садятся. Развязывает котомку один, все развязывают свои котомки.

— Подем назад! — кричит один.

— Айда! — кричат двадцать человек.

— Баял, не ходи с ним!.. — ворчит Пила. — А пошто назад-то?

— А пошто? А подем... — было ответом.

— Братцы, пойдемте! ночь, поди, скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты веди, пес! — кричит Пила. — Куда ты завел в эку чучу!

— Пырни ево! пырни! — кричат бурлаки на лоцмана.

— Пойдемте! право, скоро конец, за этим полем и конец.

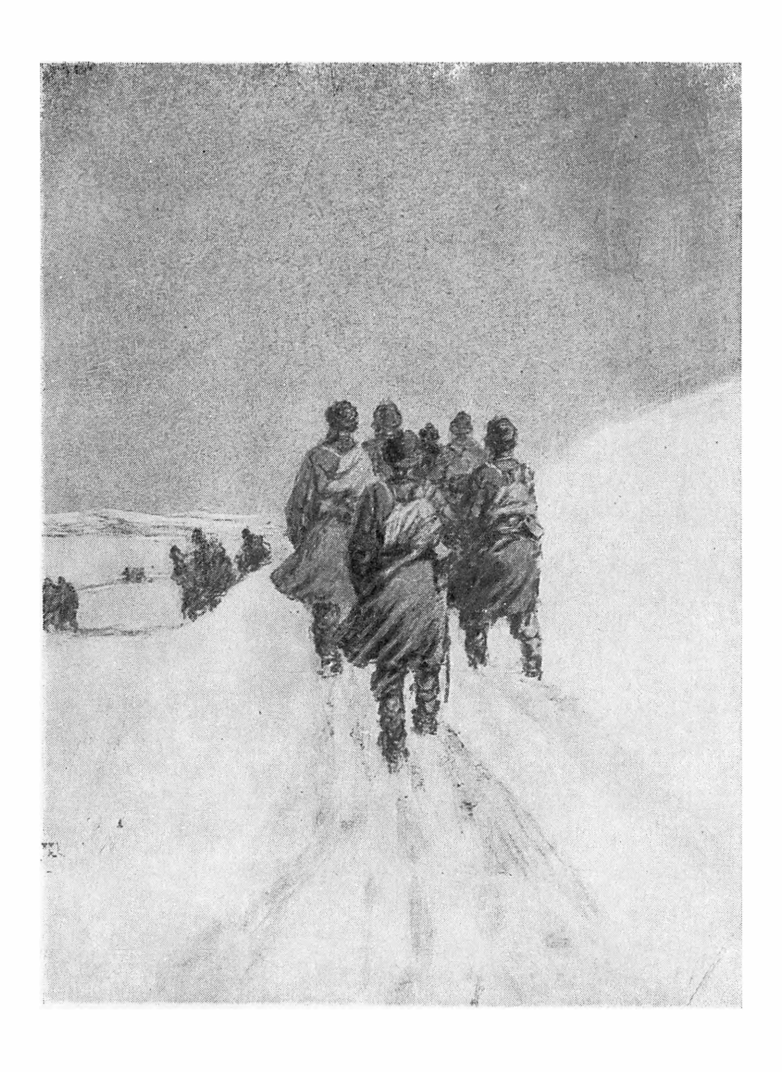
— Помрем! — говорит Пила.

— Не помрем, а река будет. А назад подете, заблудитесь.

— Ну, и подем. Уж много шли, ишшо подем, — говорит Пила. Все идут. Посыпал снег, ветер стих. Снег залепляет глаза, только и видно, что снег да товарищей, а что кругом товарищей — бог весть. Бурлаки злятся, смотрят на свою одежду, она в снегу, словно в муке купались. Все устали.

— Ребя, вон лес! — кричит один из толпы. Все повеселели. Бродят около лесу и блуждают. Отыскали дорогу к ночи, спустились под гору и под горой уснули. Закусивши утром, опять идут, дорога опять делится на две дороги. Просто черт знает что такое.

— Ну уж и времечко. Преж, как подешь, и конец скоро, а теперь сколь исходили... — говорит один лоцман.



— Оттово все, што не так пошли. Говорил, надо трактом идти, а то мало ли дорог-ту! — ворчит другой лоцман.

— Экие лешие, куды завели. Все леса да леса да горы какие-то. Эвон гора-то, чучела какая! — ворчат бурлаки.

— А мы подем на гору-то? Там, поди, баско! — говорит Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Там таперь видимо-невидимо медведев засело, — замечает Пила.

— Што медведи, волки, поди, стерелешивают...[1] Ужасти! — замечает бурлак.

— А што, бат, здесь, поди, много медведев?

— Столько — беда!

— Вре?

— Видал ономеднись. Стадо целое.

— Вре? И не съели?

Бурлак-хвастун, не бывший никогда в этих местах, улыбается и того больше врет.

— Как хватил колом, вон эдаким, одного — и издох, другого хватил — побежал, и те побежали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговор идет о медведях, кто сколько на своем веку медведей убил. Всякий старается перебить товарища рассказом, кто врет, кто говорит правду. Больше всех врал Пила.

— Ты вот по-моему сделай, — говорил он. — Одново раза летом иду, знашь, лесом; а лес-то — эво! не здешний, иное дерево и не охватишь, выше этова, густо... А со мной, знашь, лом был! Ну, иду да собираю грибы... Собирал так-ту, много набрал. Баско! и нашел на медведя, спит... А медведь-то — эво какой! Таких впервой увидел. Вот я, знашь, на цыпочках и побег к нему, и хлоп его по башке... и хлоп!.. И пику не дал!..

— Да он, поди, издохлой какой?

— Издохлой!.. Как бы не так! А пошто я ево хлеснул?..

— Значит, ты слеп был, или другое что... может, спугался?

— Ну уж, кто другой спугатся, а я — шабаш!

— Да он, поди, медведь-то, мухомора обтрескался!

[1] Бегают. (*Прим. автора.*)

— Сказано — убил! — кричит Пила, сердясь.
— Знамо, издохлова.
— Поговори ты, собака!
Бурлаки хохочут и дразнят Пилу: «Знамо, издохлова медведя убил».
— А што, если таперь медведи прибегут?
— Сюды-то?
— Ну... съедят нас али нет?
— Ну, таперь шабаш. Нас-то эво сколь. Как закричим и прогоним, и черт его не догонит...
— И топоров-то ни у кого нет...
— А мы закричим. Побежит...
Пришли они в деревню. В деревне сказали им, что они не в ту сторону идут к Чусовой. Пошли опять бурлаки назад отыскивать настоящий путь. Опять сбились с дороги. На другой день встретились с толпой других бурлаков.
— Вот они, лешие! — сказали обрадованные наши бурлаки.
— Это не те, другие.
— И то.
— А вы откедова?
— Вячки.
— Вячки ребята хвачки, семеро одново не бояча! — сострил один молодой бывалый бурлак.
Эти бурлаки знали дорогу лучше наших бурлаков, и все скоро добрались до Чусовой.

II

Река Чусовая была уже оживлена в это время. В нескольких местах, на льду и на низких берегах ее, на полях, строились барки и полубарки; воздух оглашался стуком топоров, криком крестьян. Подлиповцы с товарищами пошли берегом. Здесь идти им было весело: везде народ, есть с кем и слово перемолвить, есть кого и спросить, куда идти и далеко ли еще, и народ такой добрый. Река в этом месте узка; по обеим сторонам ее или высокие крутые берега, с нависшими деревьями и скалами, или с одной стороны крутой берег — гора, а с другой — низина, поле. В местах, где крутые берега с обеих сторон,

было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки рассказывали разные ужасы и страхи.

— Вишь, эта гора-то какая, матушка! А бед от нее много бывает... Вот она теперь ровно впереди, а как подем, она углом будет, ровно кто топором обрубил... Тут беда баркам. Как поплывет это барка и хлобыснется о гору, так ее и шарахнет, а место — беда, бают, дна нету...

— Бают, тут сидит кто-то. Черт не черт, а уж больно сердится. Бают, у него в лапах-то стресоглазка.

— Что сидит! Коли сидел бы — словили; нынче, бают, начальство строго. Вот таперича штуки поделали, штобы нам ловко было плыть. А без эвтих штук беда была, потому река уж такая бурливая да камней в ней много, — говорил один лоцман.

— Экая гора-то! Ах ты, какая высь! — дивятся бурлаки.

— Вот где мы идем! — говорит весело Пила. — Эк, баско! А там, поди, ишшо лучше.

В этих местах им приходилось идти даже ночью, потому что не было не только что деревень, даже людей, кроме их, и ни одной барки. Здесь им казалось страшно: они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, позади, — кругом все горы, а вверху небо черное, и звезд не видать.

— Ребята, тихонько иди! Смотри, полонья, — говорил кто-нибудь.

— Да мы бы спать.

— Ну, нет. Смотри, какие богародни стоят вон там. Коева дни такие же были...

В левой стороне видится что-то белое, большое такое. Немного выше — не то церковь, не то кто его знает, что такое. И таких видов много. Бурлаки боятся подойти. «Убьет!» — говорят они и делают от таких мест большие круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а преже, бают, ужасти бывали. Вон, сказывают, жил здесь Ермак, атаман-разбойник, людей убивал, беда!.. Он, сказывают, Сибирь в полон взял, — рассказывал лоцман.

— Все один?

— У него сила была огромнеющая. Люду сколь было, всё разбойники...

— А он таперь где?

— Помер, сказывают... Сказывают, утонул.

— Вре! А он, поди, спрятался там на горе-то?

— Сказывают, потонул! У него, слышь, зипуна-то не было, а он железо носил.

— Пра?! Вот дак сила!.. Как хлобыснет, и помрешь?

— Ну уж, он сидит, поди, таперь, смотрит шарами-то. Это, смотри, не он ли — экой высокой да белой, ишь как усгорился!..[1]

— Это дерево, а то вон камень выдался.

— Ну уж, не ври, это он... Подем, поглядим?

— Ну-ко, поди, он те задаст! Как пырнет камнем-то... — Бурлаки дали круг. И долго толковали бурлаки об Ермаке, не зная его, а только наслышавшись о нем от бурлаков же.

Наконец кончился их путь. Они пришли к заводу.

III

На берегу было множество крестьян: кто пилил бревна, кто рубил, кто строгал, кто гвозди и скобки вбивал; достраивались барки, коломенки и полубарки. Подлиповцев и прочих бурлаков сосчитали, поверили и выдали им по десяти копеек денег. Купили они хлеба, надели новые лапти, взяли господские топоры, железные лопаты и прочие необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипела. Каждый человек что-нибудь да делал, и если кто не умел топором, то гвозди вколачивал, снег отскребал или доски таскал. Кажется, барку нехитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною казалась эта штука. Они не могли надивиться, как это такая штука состроена? С которой стороны ни подойди, везде гладко, только железки какие-то вбиты, и вся из досок сделана да бревен. «Вон у нас избенки-те не так делаютча, как хошь, так и перевернешь бревно и приладишь, а тут все инако. И куда экая чучела? дом не дом, а кто ее знает, куда она годна?.. Дай мне — не возьму. Пра, не возьму!..»

На бурлаков кричали мастера:

---

[1] Долго и строго смотрит на один предмет.

— Что стоишь: робь! Деньги только даром берете, разбойники!

Бурлак почешет один бок, спину и пойдет с топором к барке. Что ему делать? Вот он видит, лежит доска. Баская доска-то, да, верно, робить велят, и бурлак начинает рубить доску без цели, а так, думая, что и он робит.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебе! .. — кричит на бурлака мастер или работник.

Бурлак отходит от доски и глядит на прочих.

— Что, стал? робь!

— Да што робить-то?

— Што! Подь обтеши бревно... У, лентяи! скоты! — и т. д. И пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова годится.

— Ах вы, бестолочь! Я вас! .. Поди, притяни доску.

Один бурлак не совладает, — он и взять не умеет доску, с которого конца ее приложить; вот и возьмутся человек шесть-семь держать доску.

— Ладь, ладь! Што стали!

Бурлаки прилаживают.

— Не так! .. Сюды!!

Бурлаки смотрят на доску. Доску берут еще человек пять. Доску приладили.

— Напри брюхом!

Наперли все разом — и так сильно, что пот их пробирает, и им баско кажется.

Так и кипит работа. Все бьются до поту и не могут понять, что они такое робят и к чему эдакая работа, больно уж баская да чудная.

Работают они каждый день, бахвалятся, что и они робить мастера, а не понимают своей работы. Чувствовать им нечего: им или баско, или худо; об своих деревнях они забыли, с людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда: то рубить, то скоблить, то колотить... Встал рано, есть хочется — чувство, поробил, есть хочется — чувство, спать хочется — чувство...

О Пиле и Сысойке сказать особенного нечего. Они точно такие же были, а пожалуй, и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленьких подлиповцев, Павла и Ивана, было больше способностей, чем у старших. Они, конечно, не могли сделать больше взрослого, окрепшего мужчины, но понимали, как и к чему такая-то вещь

следует и как, что и для чего делается. Занятие их было обделывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа им так казалась хорошей, что они, если ее не было в одном месте, шли в другое и там отгоняли рабочих от не своего дела.

Теперь отец для Павла и Ивана был все равно что и прочие бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старших у них не было.

— Пашка! Они все свиньи, — говорил Иван.

— Все. Они робить не умеют.

— И тятька свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?.. А пошто?

Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или нет; кажется, свиньи, а ровно и нет. «Свиньи-то эво какие! А мы воно какие».

Откуда забралась в их головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчик ругал как-то бурлаков свиньями...

С бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обделивало деньгами, так что многие голодали. У него, конечно, свои интересы, а над бедным бурлаком что хочешь делай — смолчит или изругает, а жаловаться не пойдет, да и некому...

IV

Настало тепло. Солнышко греет; снег с каждым днем тает и тает; с гор бегут в реку ручьи, на вершинах видится бурая земля. Барки уже сделаны, а бурлаки все еще работают: кто весло делает, кто конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно; работа кипит везде; целые две тысячи бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на льду, в рубахах, дырявых и со множеством заплат; с иных пот каплет.

Наступает пора еды, бурлаки садятся кучками на берег или на обрубки бревен, на сломанные доски, едят хлеб, прихлебывая щей с капустой и дрянной говядиной, кто в шапках, кто без шапок. Солнышко так и греет их, оно освещает загрубелые, желтые лица бурлаков, и вообще как-то приветливо. В кучках сидят преимуще-

ственно люди равных названий: татары с татарами, черемисы с черемисами, подлиповцы с подлиповцами и т. д., так что воздух оглашается разными наречиями: лепечут бойко татары и черемисы, пришепетывают зыряне, кричат пермяки, выговаривая: поце? зацем? цуца, и т. д. За обедом все кажутся веселы: каждому, утомленному работой, любо, что солнышко светит и греет баско, и он долго-долго смотрит на солнышко, до тех пор, пока не заболят глаза, и думает какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день так светит? когда и вовсе его нет, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поевши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже ленивее утреннего: хочется полежать. Вечером все собираются на барки, сидят кучками и толкуют больше о бурлачестве; сидят долго, думают, скоро ли они перестанут робить; когда будет такая пора, когда они всё так будут сидеть... Потом начинают петь свои песни, каждый на своем языке, и поют они долго-долго, не понимая сами смысла песни, а хорошо им кажется, и сердце ноет, кого-то жаль, хочется чего-то... Тут есть и музыканты: те разгоняют свою тоску, играя на гармониках и балалайках какие-то веселые песни. Но и тут невесело: поиграет, поиграет бурлак, отдаст инструмент другому, а сам пристанет к другим и поет с ними. Одни только татары да зыряне какие-то чудные: они, как кончат работу, и ложатся спать, как будто им не нравится общество остальных людей. Днем они иногда поют по одиночке или голосов в шесть, так над ними бурлаки смеются — больно уж забавно поют, талалакают на своем языке. Умаявшись, надравши горла, бурлаки идут спать в пустые барки; положив под голову котомку с имуществом, чашкой, ложкой, лаптями, бурлак растягивается на полу; и как лег, так и уснул...

Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь стаял. Лед покрылся водой. Барки уже совсем отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берег, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе к берегу, стали грузить их железом и чугуном. Воздух наполнился криком, руганью, стуком, треском, звуком от железа; бурлаки суетились, бегали, тащили полосы и листы железные, кряхтели, потели... На них кричали приказчики, лоцманы, показывая, куда что нужно класть. Наконец

барки, коломенки и полубарки наполнены, поносные весла, канаты, шестики, доски, бревна и разные разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаков распределили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакам до Елабуги назначили восемь рублей, до Сарапула девять, до Волги десять, до Саратова четырнадцать за сплав. Всем заказано быть наготове. На каждой барке было по одному и по два лоцмана, по два водолива. Каждому было наказано, что делать, где стоять. Делать нечего, а бурлаки всё что-нибудь да делают: то поносную потешет топором, да пообрубит весло, то увидит на боку барки дыру, выстрогает дощечку, прибьет и законопатит, а то еще дранку на скобки прибьет. И сколько на этих барках заплат! Хотя они и новые, а все как-то кстати приладилось: и сами они в заплатах, и рабочие на них тоже с заплатами носят одежду. Барки приладились, нумера на них написали, — первую букву завода на корме выжгли, воткнули в столб на носу палочку с маленьким флагом. Среди коломенок и барок точно барыни какие красуются три большие коломенки-караванки с мачтами, с разноцветными кружками на верху мачт и с флагами, на которых красуется название завода. Бурлаки большею частию отдыхают, поют песни, едят и поглядывают на другие барки и в особенности на караванки, на коих, сказывают, поплывут набольшие, кои бурлаков приняли, да, бают, ошшо палить станут. Бурлаки получили по полтора рубля денег, ходят по заводу, покупают хлеба, мяса, больше луку свежего; несколько человек купили балалайки. В барках и на берегу варят в больших котлах говядину, брюшину, баранину и едят дружно. Накопившие рубля три денег покупают в заводе у рабочих чугунки, сковородки, сковородники, утюги и разные вещи очень дешево и тащат в барки. Даже собирают бросовое железо, валяющиеся гвозди, скобки — все пригодится, может быть кто и купит.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не живали в таком большом обществе людей своей братии и друг другу сообщали свои чувства.

— Вот, значит, я сила. Не я бы, так што было бы с вами? — говорил Пила своим товарищам.

— Уж што говорить! — откликались Пиле товарищи.

— Ошшо не то сделаю.

— Все бы Апроську надо, — говорит Сысойко печально.

— Надо бы... — И Пила задумывается.

— А пошто здесь баб нету? — спрашивают другие подлиповцы.

— А кто их знат!.. Да што бабам-то делать?.. все сробили.

Все они ждали той поры, когда они поплывут, и говорили об этом предмете каждый по своему разуму.

— Вот теперь как барка-то стоит и зашевелится, побежит, бают, и не догонишь; а мы ее пехать будем веслом-ту, — рассуждает Пила.

— А куда побежим?

— Куда... знамо, куда... — А куда — Пила не может объяснить.

— Как же мы теперь побежим? Смотри, сколь железа-то накладено, а нас-то сколь?.. — спрашивает Сысойко.

— Уж побежим.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лошадь запрегут?

— Бают, водой поташшит.

— Экой прыткой!.. А как да нас запрегут?..

— Толкуй с дураком!

Каждый вечер был каким-то праздником на барках: выпившие водки плясали, тысячи бурлаков пели, в разных местах кричали, где-нибудь несколько бурлаков все еще рубят что-то. Все это веселит подлиповцев.

«Надо бы Матренку взять. Вот бы поглядела, курва!» — думает Пила и говорит об этом Сысойке. Сысойко вздыхает об Апроське, потом плюет и говорит:

— Ну их к лешим!

— Ну уж, мы теперь назад не пойдем, — говорит Пила.

— Так и будем робить, — соглашается с Пилой Сысойко.

Многие бурлаки курят махорку из глиняных трубок с коротенькими чубуками.

Пила тоже завел трубку и постоянно курит махорку с Сысойком. Сначала их тошнило, а потом они втянулись. Для чего они курили, не знали, а так завидно стало: прочие бурлаки курят, да и баско, веселее ровно, как покуришь.

V

От берегов отъело лед, и он готов тронуться, как только прибудет вода. Барки прикрепили канатами за сваи, вбитые в землю. Вот пустили из заводского пруда воду; вода с силой вырвалась из своего заключения, быстро большою массою хлынула из плотины и пошла катать: все, что было на пути, неслось водой. Вот бросилась вода в реку, сначала покрыла лед, потом лед поднялся, треснул, заколыхался... Вода все больше и больше прибывает, а лед то и дело ломает, вертит, словно в омуте. Бурлаки стоят с разинутыми ртами на барках, на берегу тысячи заводчан... С берегу слышны крики:

— Тронулся... тронулся! — Многие бросали в реку медные монеты.

Но лед только кружится, чернеет.

— Пошел, пошел! — кричит народ.

Действительно река на большое пространство очистилась. Лед впереди все более и более напирал на берега, трещал, ломался и наводил на бурлаков ужас до того, что некоторые из них крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла христовая... — кричит народ и кидает в нее грошики.

— Нет ли у те копейки? — спрашивает девица свою подругу.

Подруга дает ей копейку, она кидает ее в реку и что-то шепчет.

По местному понятию, при вскрытии реки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть в ней.

Ни одного бурлака не было такого, который бы не радовался в это время. Все были заняты вскрытием реки, как точно дождались светлого праздника. Река шумела, издали слышался треск и какой-то гул, бурлаки кричали:

— Смотри, как льдину-то шарахнуло!

— Гли, што диется! Эк ее раскололо!..

— Смотри, шитик тащит!

— Зевай! Лови поносную! .. Черти!

— Я вас, я вас! Што глазеете! .. Пехай льдину, пехай!

С этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало-помалу вода подходила к баркам, и на третий день все барки стояли в воде. Крик, беготня, стукотня не умолкали.

— Спехивай барки! спехивай! Что стали? — кричали лоцманы.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не́ так, с этого конца!

— Канат опусти!

— Вяжи... Заматывай, дьявол! .. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе к реке и, наконец, были уже в ней.

— Сто-ой! Ах вы, лешие! .. Брось чалку на энту барку!

— Цепи! .. што рот-то разинул! .. Да подай ты, леший, веревку!

Бурлаки метались на барках и на берегу. Все из их рук валилось.

Подлиповцы были на берегу. Их очень удивило, что барки так скоро попали в реку, и удивлял переход от льда к воде. Все был лед, а теперь на́ вот! Ишь, сколь воды-то! ..

В каждой барке была уже вода.

— Откачивай воду! живо! — кричат лоцманы в одном месте.

— Чини барку! — кричат в другом месте.

Павел и Иван назначены в водоливы. Стоят они в барке друг против друга и большим черпаком, привязанным веревкой за потолок барки (палубу), помахивают, как очепом, и выливают им воду в отверстия, сделанные на боках барки.

Лед шел уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерам: куда это лед идет? И порешили на том, что идет куда-то в море-окиян. Сверху стали приплывать барки все больше и больше. Теперь было уже до ста барок, и на каждой от пятидесяти до восьмидесяти человек бурлаков.

Через три дня, как прошел лед, бурлакам опять нечего делать. Большая часть лежала на барках, суша онучки на солнышке, или ходили в завод за хлебом. Все

чего-то ждали, чего-то боялись, хотели скорее плыть, рассказывали разные страхи. Сысойко и Пила с детьми попали на коломенку. Эта коломенка, как и другие коломенки, построена из соснового леса, имела плоское дно, которое к корме и носу постепенно суживалось, и имела палубу.

Пила и Сысойко сменяли Павла и Ивана, когда им нечего было делать или надоедало лежать. Была ли то привязанность к ребятам, жалость к ним или желание поробить — решать не берусь. Только Пила сильно начинал надоедать лоцману своими услугами. Скажет лоцман бурлакам: подтяните поносную! — Пила летит со всех ног к поносной, Сысойко тоже за ним, и примутся оба за поносную. Лоцман видит, что они и взяться-то не умеют как следует, — обругает их. Пила спрашивает: а ты скажи, как?.. Велит лоцман какому-нибудь бурлаку сбегать на другую барку зачем-нибудь, Пила опять бежит от работы.

— Ты куды! Ты знай свое дело! — говорит лоцман.

— Сделаю то и то... — говорит Пила и идет на другую барку.

Лежит лоцман в коломенке на железе и думает что-то, смотря на ребят, откачивающих воду, Пила и Сысойко гонят ребят.

— Подь, чучело! И тут робить не умеешь.

— Вот, умеешь!.. Пусти! — кричит Иван.

— Дурень, подь побегай... — говорит Пила Ивану. А ребятам давно хочется погулять.

— Не трог! Што пристал к ним? Знай свое дело, — облает Пилу лоцман.

— Экой ты, Терентьич! Мальчонкам-то трудно ведь.

— Мало ли что! взялся за гуж, будь дюж.

— Да парни-то родные.

— Мало ли что родные. Знам мы родных-то, кто с борка, кто с веретейки...

Пила и Сысойко откачивают воду. Покачают, покачают, спины заболят, сядут и ждут, чтобы скорее лоцман ушел и им бы лечь поспать.

— Качай, што стали!

— Да мы так...

— Я те дам — так!..

Этот лоцман заводский человек и уже четырнадцатый

год бурлачит по Чусовой и Каме, лоцманом служит шестой год и знает все опасные места на реках, за что и получает хорошее жалованье. Лоцман на барке или на коломенке — глава; без него ничего не поделаешь. Лоцман отвечает за целость барки, казенного имущества, здоровье людей, — одним словом, он должен в целости сдать то, что принял. Поэтому неудивительно, что лоцман обращается со всеми как ему вздумается.

Вот к этому-то человеку и старался втереться Пила, понравиться, для того чтобы ему лучше было. Он понял, что все его товарищи бурлаки — такие же люди, как и он, что от них ничего не получишь хорошего, а еще наживешь худа, пожалуй, лоцман возьмет да и прогонит, как прогнал шестерых бурлаков за то, что они стащили ночью с барки две полосы железа.

Лоцман же, бывши сам бедным бурлаком, всех считал равными себе, знал нужду каждого, не налегал ни на кого слишком работою и требовал только, чтобы все исполняли свое дело как следует. Одно только в нем было скверно: зная, как и что сделать, он хотел, чтобы все так делали, и делали живо.

Чтобы больше втереться к лоцману, Пила стал ему наговаривать на бурлаков.

И действительно лоцман по вечерам сидел с подлиповцами, расспрашивал их об родине и сам рассказывал им свои делишки.

— Вот ты пошел теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будет. Я, брат, тоже прежде мыкался так-ту, да поправился. Трудно было, зато теперь любезно поживаю: в заводе баба, летом весело.

Пила слушал, рот разиня.

— Как походишь годов десяток, и сам будешь лоцманом.

— А теперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь ли, што за штука лоцман?

— Э!

— Точно. Возмешься ты за это дело и покаешься. Вот теперь Чусовая. Уж я знаю все, где какое место опасное, а кто ево знает, что случится? Вдруг как коломенка-то разобьется, ну, и потонет. А я отвечай... Дура!

Пила не понимал, как может потонуть коломенка. Лоцман растолковал ему.

— Эко дело!.. Научи ты меня, Терентьич! — говорил Пила.

— Вот и учись. Ты стой возле меня. Я тебя заставлю поносной водить.

— Уж ты и Сысойка заставь.

— И его заставлю. Только смотри, делай, как я буду велеть.

— Уж не бай! А ты, Терентьич, и ребят туды поставь.

— Ребят нельзя. Работа их легкая. И им с эким бревном валандаться неподходящее дело... Надо тоже и чувствие иметь.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй с дураком! Ты то пойми: што им здесь делать-то? Какая у них сила? Ишшо захворают, горе будет с ними.

— Ну, так и ладно.

Терентьич очень понравился Пиле, но Сысойко почему-то невзлюбил его.

Не долго постояли барки; не долго нежились и бурлаки. Надо же и плыть в дальний путь... Поплывайте, добрые молодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это.

VI

Приказчики сосчитали всех бурлаков. Беглых оказалось двадцать четыре человека. Барки были осмотрены старательно. Дали бурлакам по полтиннику денег и велели готовиться в путь; а тронуться назначено завтра. Окончив поверку и осмотр барок, приказчики сказали лоцманам: «Ну, ребята, завтра мы поплывем. Смотрите, берегите барки и народ».

— Уж в эвтом не сумневайтесь, — было ответом лоцманов.

— Ну, и ладно. А вы, ребята, бурлаки, во всем слушайтесь лоцманов. Если кто ленив окажется да буянить будет, того мы прогоним и денег не дадим.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли без шапок, переминаясь с ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда в Пермь приплывем, тогда получите половину денег сполна.

Бурлакам это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и так стоял и смотрел на приказчика, как будто говорил про себя: больно ты хорош человек, только не обидь бедного человека...

Когда ушли приказчики, деятельность оживилась: лоцмана кричали на бурлаков, бурлаки бегали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки к отплытию. Вечером, накупивши в заводе хлеба и лаптей, все бурлаки загуляли — пропили свои трудовые деньги. Вечером в заводе было большое веселие: у бурлаков много было знакомых из рабочих, и они теперь угощали их за хлеб-соль. Наши подлиповцы тоже были пьяны, даже Павел с Иваном выпили косушку, и лоцман Терентьич тоже был пьян и бахвалился тем, что он лоцман не на барке, а на коломенке, и шесть лет благополучно проводил барки. Песни и пляски стихли далеко за полночь, и многие бурлаки вовсе не спали, потому что в четвертом часу утра приехало заводское начальство с духовенством. Священник отслужил молебен на караванке, окропил барки водой, раздался выстрел; бурлаки дрогнули, а он глухим раскатом залился в горах. Выстрелили с караванки еще раз, еще раз, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!.. — крикнул кто-то с главной караванки.

Бурлаки бегали как угорелые по баркам, перебегали с барки на барку, кто брал весло, кто держал поносную, кто веревку...

— Отчаливай вон ту! что стали! — кричали с караванки. Барки трещали, скрипели...

Одна барка пошла, понесло и людей вместе с нею. Подлиповцы рот разинули.

— Крестись! — командовал лоцман.

Крещеные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло боком, и она так и поплыла.

— Грѐби возьми!.. — бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Греби сильней! греби-и!!

Бурлаки опустили в воду весла и стали промачивать их.

— Отчаливай-ай!!

Поплыли еще две барки, потом три, десять...

Пила и Сысойко стояли посредине коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко! — сказал Пила с боязнью и вцепился в полу Сысойкина полушубка.

— Боюсь, — ответил Сысойко.

Дети Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полушубков Пилы и Сысойки, дико смотрели на удаляющиеся барки.

— Эй вы! Пила! Сысойко! на корму! — кричит лоцман.

Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазеете! Пошли в барку, — крикнул лоцман на детей Пилы. — Эй, вы! У весел стойте! .. Пошли на нос! еще шестеро сюда! — командовал лоцман, толкая бурлаков и тыча в их подбородки.

Стали стаскивать в воду поносные. Стаскиванье сопровождалось песнею: обхватит бурлак поносную, напрет на нее всею силою и закричит: «Дернем-подернем, да раз! .. ха!!» — и двигается поносная, а не запоет бурлак этой простой песни — и силы нет...

— Смотри, ребя! не робеть. Что скажу, то и сполняй. Теперь, братцы, боязно, как раз потонем! — говорит лоцман.

Все бурлаки струсили, а Пила спросил лоцмана: «А пошто?» Лоцману не до рассуждений было. У него много дел.

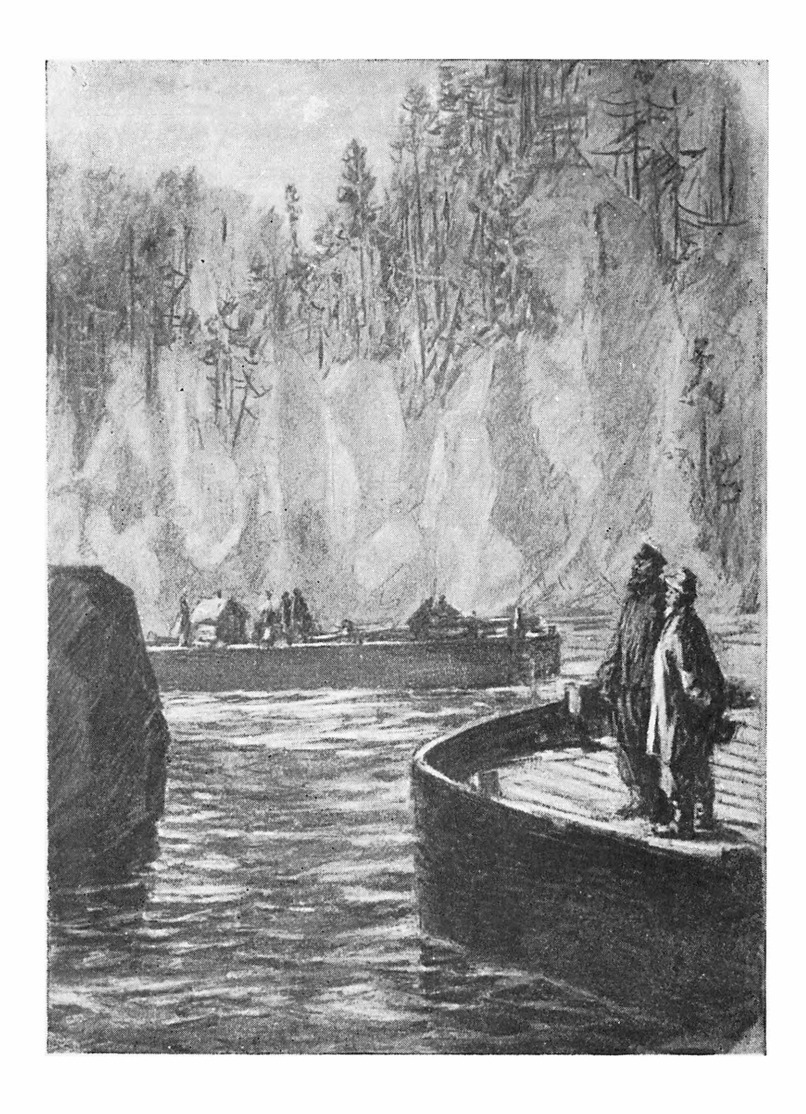
Все приготовлены, каждый держит в руке что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестик, лежащий на коломенке, кто веревки.

— Отчаливай! — закричал лоцман Терентьич. — Отвязывай веревку-то!

С другой барки отвязали веревку с кормы. Коломенку двинуло в воду и живо поворотило кормой вниз по реке.

— Мужланы! Анафемы!! Я вас! — ревет лоцман... — Да отвязывайте носовую веревку! .. Ах, беда! .. Греби к берегу!! стой в носу! .. Не тронь канат!

Бурлаки забегали, напугались. Сдвинули поносную и стали; погребли веслами и стали. Лоцман вышел из терпения:



— Ах, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакие! Загребай воду-то! Не так: в ту сторону!.. Ах, беда! От себя, черт, от себя!.. — Бурлаки работали что есть силы. С них катил пот, а все не в толк.

— Что вы стали, дьяволы! — кричали на эту коломенку с берега и с караванок.

— Отчаливай нос! Принимайся в греби! загребай в реку! — Коломенка пошла — и пошла боком поперек реки.

— Сильнее, сильнее! Эй вы, носовые, в глубь! в глубь!.. А вы к берегу... Стой весла, иди сюды!

Кормовых и носовых пробрало. Пот так и катил с них. Коломенка скрипела, покачивалась и ушла уже далеко от заводов. Бурлаков приветствовал резкий ветер. Воздух свежел.

— Стой! — кричит лоцман. Бурлаки сели, на руках мозоли, а коломенка идет животом вперед.

— Слава богу — начин хорош, а там не знаю, что будет, — говорил лоцман и крестился. За ним крестились и прочие.

Бурлаки сидят и удивляются, что они плывут; впереди и позади тоже барки плывут. Много их пущено. Сидят они, смотрят на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоит, только деревья бегут, вон и камни бегут, и мужик какой-то бежит. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки не долго сидели. Минут через пять лоцман опять поднял всех на ноги.

— Заворачивай корму! живо!.. — Корма повернулась вкось. — Греби к тому берегу, смотри, тут плот — это заплавь называется. Кабы не тронуться... — Дело в том, что дно реки Чусовой каменистое, и сама она очень быстра и извилиста, так что нередко барки ударяются в береговые камни огромной величины, какие выглядывают даже из воды на середине реки. Поэтому, в отвращение несчастных случаев, придумали ограждать эти камни, носящие разные названия, вроде: Косой, Бражка, Узенький, Писаный, Дужный, Печка, Горчак, Разбойник, — заплавями, состоящими из двух плотин, из которых каждая половина состоит из трех *прясел* (бревен) длиною до десяти сажен, толщиною до семи вершков, связанных между собою веревками. Они привязываются к деревьям, растущим на берегу, так, чтобы,

плавая по воде, могли принять на себя барку, если она силою течения будет плыть прямо на камень. Но эти заплави мало приносят пользы, потому что ударом барки о бревна бревна далеко относит, и барка все-таки разбивается о камень. В двух верстах показалась черная гора.

— Греби! не робей, ребятушки... Выручи, водки куплю!..

Работа началась на всей коломенке, работали носовые, кормовые и грѐби. Весла и поносные шумели, вода от плеска тоже шумела, ветер свистал и проницал каждого человека до костей. Все умаялись; все молчат, дико смотря на приближающуюся гору. Каждый трепещет и молится горе: матушка, горушка, выручи!.. Лоцман несколько раз перекрестился, поминутно мерял шестом глубину реки и сам помогал грести поносную. Гору миновали благополучно. Лоцман перекрестился и сказал: брось! Все бурлаки сели.

Так плыли бурлаки целый день.

И хорошо как плывут барки! Люди сидят измученные и что-то думают, вероятно о трудной работе, какой они еще не делывали, и весело им кажется: барка плывет, лес и камни мелькают. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вон какой лес показался, речка бежит, а там вдали деревушка под горой стоит, и серые поля с грядами видятся... Вон село какое-то с деревянной церковью, ишь какие крыши-то высокие, так вот и кажется, что дома друг на дружку лепятся. Вон опять поле, плетнем огороженное. Какой-то мужик в тележке едет... А вон, налево, лес горит, и тушить-то его некому. А вон мужики куда-то бревна везут. Вон в лодке мужик с бабой реку переезжает... И все плывет, идет, бежит куда-то, все смотрит на бурлаков, кивает им приветливо: здравствуй, мол, поштенный! куда те бог несет?.. Бурлаки действуют веслами и поносными; вода плещется, барка скрипит, точно как плачет, обмывается водой, смывая бурлацкие слезы... Бурлаки работают: то и дело нагибают спины, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думают что-то, вероятно об том: ах бы лечь да отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули к горячему телу, по бородам текут крупные потные капли и падают то на весла, то на рукавицы... А барку несет боком; леса, поля, деревни, люди — все и

все куда-то несет. Эх ты, жизнь, жизнь горе-горькая! Только одно солнышко стоит на одном месте, ласково так смотрит на мир божий, да и то не надолго, — возьмет да и спрячется за серые тучи, словно дразнится...

Опять впереди утес, крутой и страшный. Так вот и кажется, что тут и конец реке, так вот и хлобыснется об камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утес, треснула; раздался гул, крики мужиков... Ничего не разберешь! Видно только, что люди копошатся, плывут в шитике, слезли на берег, и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучив глаза, смотрели на то место.

— Валяй на всех! — кричит лоцман. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернеет, такая страшная, голые утесы, точно страшилища какие, висят над рекой: берегись, мол, зашибу!..

— Греби! Греби! Что стали?..

— Эка беда! — ворчат бурлаки. — Скоро ли уж конец-то!..

— Греби сильней!.. Валяй! в землю смотри... — И лоцман сам принялся грести.

Миновали утес. Там, по колено в воде, стояли бурлаки на потонувшей барке и просили пощады у Терентьича... На гору лепилось несколько бурлаков; к барке плыли в шитике два лоцмана и четверо бурлаков.

— Пусти! — говорили они.

— Греби! что стали?.. — говорит лоцман Терентьич.

— Ради христа...

— Ну вас!.. Греби сильнее, вон там опасно...

Барка завернула за утес. Впереди плывут барки.

— Вот оно што!..

— Беда...

— Эк ее хлобыснуло! — рассуждают бурлаки.

— А еще два лоцмана! — говорит лоцман Терентьич.

— Как же теперь? — спрашивает лоцмана Пила.

— А так: барка потонула, а может, и люди потонули, лоцману беда. Ах, злочесть какая! — тужит лоцман.

— Эй ты, мужлан, сворачивай в глубь! — кричит лоцман на лоцмана одной барки, плывущей впереди.

— Э! — отозвалось с барки, и слышится оттуда крик: — вали к берегу! вали!

Бурлаки плывут молча. Темнеет. Слышны скрип барок, глухой плеск воды да песня: «Разом да раз! дернем, подернем да раз! .. Ха! ..»

Вечером пристали к прочим баркам. На барках рассуждали об убившейся барке. Много бурлаков хотело идти посмотреть на ту барку и потужить с бурлаками, да идти-то далеко, и отдохнуть хочется.

— Эдак и мы помрем, — говорит Сысойко.

— Не помрем. У нас лоцман — беда! — говорит Пила.

Бурлаки наелись сытно и улеглись спать в барки. Во сне им снилось: как они плывут, как кричит лоцман, как хлобыснется барка об утесы, как они поднимаются на горы и падают в реку...

Ночью приплыло к баркам несколько бурлаков с разбившейся барки. Утром их приняли на две барки. Эти бурлаки говорили, что потонуло два бурлака, один лоцман убежал куда-то, а другой уехал куда-то к набольшим.

В третьем часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипом весел и поносных, руганью лоцманов, песнями: дернем, подернем, да раз! .. И каждую весну оглашаются так берега Чусовой; страшилища-утесы, пугалища-камни любуются трудом бурлаков, издеваются над людским горем... И сколько по этой Чусовой барок пройдет! Не один десяток тысяч людей, плывя по этой быстрой каменистой страшной реке, дрожит от страха и молится горам: «Не ударь — проведи... всю жизнь буду молиться тебе... что хошь возьми, только не убей! ..» Только по ночам опасности забываются, и идут рассказы про Ермака Тимофеича, о камне Ермаке-разбойнике, да воздух оглашается скрипочной игрою с караванок, на которых с утра до вечера буянят и пьянствуют приказчики...

VII

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали где попало. Приставали и днем около селений, в которых закупали хлеба.

Можно бы много написать про то, как бурлаки плыли восемь дней, да не стоит, потому что первый день плава-

ния походил на прочие: тот же крик лоцманов, те же песни бурлаков, та же возня их, те же думы бурлаков. Бурлака мало интересует природа: видит он баское место, да что толку? Не про него оно устроилось так... Ему бы поесть только хорошенько да поспать в тепле... А там, может, и лучше будет. Только работа больно как тяжела! Почти четверть бурлаков чувствуют боль, и половина этих больных лежит, да и на них покрикивают лоцманы: что дрыхнете!

— Ой, помираю! — стонут бурлаки.

— Я те помру! Пошел, робь!.. — кричит лоцман.

А бурлак и пошевелиться не может.

Два бурлака умерли. Их зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и в реку с камнем бросить, потому можно сказать, что они убегли. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще привяжется. Уж лучше, как зарыли; все знают, что человек-то помер; ну, и спи, родной; по крайности не мучишься!.. Пожалеют бурлаки мертвеца, да и забудут в тот же день, только ночью иным мерещится во сне что-то страшное.

У заводов и больших сел барки и коломенки останавливаются для закупки провизии. Приказчики дают бурлакам деньги на харчи, и с прибытием барок набережные заводов, сел и деревень оживают. Бурлаки запасаются хлебом, наполняют кабачки; жители навязывают им разные сласти — мясо, брюшину, яйца, лук, огурцы и т. п. — и продают, сравнительно с приволжскими местами, очень дешево. Бурлак, имеющий деньги, непременно покупает что-нибудь и, главное, непременно вернется на барку навеселе.

Пила с Сысойком пробавлялся даром. Ни у него, ни у ребят его, ни у Сысойки не было денег. Хлеб, купленный в заводе, давно весь вышел, так как каждый съедал в сутки по полковриге. Когда не стало у них хлеба, они воровали из котомок других бурлаков. На рынках, в селах и заводах Пила на хитрости пустился. На рынках обыкновенно кричат:

— Хлеба купи! луку купи!

Пила и говорит: «Давай». И наберет пять ковриг. Сысойко наберет огурцов и луку.

— А вы деньги подайте?

— А ты подожди. Нас, гли, сколь — не убежим.

— Знаем мы вас!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибегу.

К торговке или к торговцу приходят другие покупатели. Пила и Сысойко уходят на свою барку; а как ушли, и поминай как звали.

Таким же манером он и мясо покупал.

На пристанях бурлаки отдыхали: этот отдых был для них каким-то праздником. Накушавшись хлеба, доставши сластей, они дружно ели кучками, и ели очень много, так много, что другой крестьянин не съест столько: возьмет пленку луку, съест, — мало, еще съест; возьмет огурцы, съест, у другого попросит; нальет из котла щей в большую деревянную чашку, накрошит в нее хлеба, водицы речной подольет и хлебает огромной бурлацкой ложкой. Целого котла недоставало на толпу, и они, выхлебав щи, нальют в чашку воды и опять хлебают с крошками. Да и щи-то какие: вода да мясо, без всякой приправы... Зато все едят дружно, не сердятся, не завидуют, как будто все родные братья. Наестся бурлак и начнет проминаться — что-нибудь ладить; кое-кто лапти чинит, кое-кто спит, развалившись на палубе, так что только ветерок развевает волосы да бороды. Вечером стоит посмотреть на бурлаков, чего-то они ни делают: и поют, и пляшут, и играют на гармониках, точно забыли денной труд, точно радуются, что они миновали опасность, не нарадуются, что дождались-таки волюшки-свободушки, и не думают, что завтра опять будет тяжелый труд... Почти каждый бурлак, плывущий не в первый раз, знает песню «Вниз по матушке по Волге», и песня эта часто поется разом на трех, шести барках. Больно нравится бурлакам эта песня, — почему, они не дадут отчета, только чувствуют, что она хорошая песня и лучше ее нет другой песни.

Дети Пилы тоже радовались вместе с бурлаками, работа их была легкая, и брат с братом постоянно толковали об чем-нибудь.

— Слышь, как лоцман ревет! — дивуется Павел.

— Ну, уж и горло! — ребята смеются.

— Это он на Сысойка кричит.

— Э! пусть кричит... Слышь! Во как честит!

— А вот на нас так не кричит.

— А пошто он те вчера бил?

— Уж молчи! Самово тебя бил.

— Вот што, Пашка, пошто это барка-то пишшит?

— А кто ее знат.

— Поди мужикам-то трудно?

— Што мне... А мы вот качали-качали, а воды все, гли, сколь! Как ты ее ни отливай, а ее все больше да больше.

— Вот што... сделам дыру в барке-то, вода и выбежит...

— Дурень! Да ведь вода-то оттого и бежит в барку — дыры в барке-то. Ты сделай дыру — и потонем.

— А тятька-то вор: гли, сколь хлеба украл.

— Отколотим его.

— У него сила, Ванька, — прибьет! Вон и Сысойко не может с ним справиться.

— Да. Сысойко вахлак; Сысойка я, что есть, прибью.

— Пойдем спать?

— Давай лучше барки пускать.

— Давай.

Ребята бросают в воду щепку и смотрят: идет щепка или нет. Щепка стоит...

— Умоемся. — И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, может быть, удивился: зачем ребята умывались грязною водою, накопившеюся в барке, когда они могли бы умыться в самой реке? Во-первых, они были еще глупы, — прежде они умывались и купались в речке, находящейся в трех верстах от Подлипной, да и я забыл раньше сказать, что в Подлипной бань не существовало; во-вторых, они были водоливы, и им было мало времени на то, чтобы бегать на берег, а достать воды ведром... они, вероятно, не додумались до этого в тот момент, когда им пришла мысль, — есть вода под ногами — и ладно.

Больше всего их занимало то: идет барка или нет.

— Смотри, Пашка, как лес бежит.

— Уж я смотрю.

— А барка-то стоит...

— Ну, и врешь: лес бежит, и барка бежит.

— Диво!.. Пошто это барка-то бежит? Ведь ее никто не везет?

— То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это так. Спросить некого. Они знали, что бурлаков не стоит спрашивать. Вот они раз бросили с барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул. Спустили шест на воду, шест потянуло книзу, и они никак не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вот поэтому и тащит нас.

— А мы попробуем, зайдем в реку — поплывем али нет.

Раз они зашли в воду по колено, их перло книзу.

— Эка сила — утащит!

Они хотели идти дальше и потонули бы, да их лоцман испугал:

— Потонуть вам, шельмам, хочется!

— Мы, дядя, так...

— Я те дам — так! Ступи-ко еще, и утонешь.

— А и то утонешь, вон камень потонул тоже...

Лоцман говорил им, что есть люди, которые не тонут, а умеют плавать. Они не верили.

В устье реки Сылвы, впадающей в Чусовую, много было барок, приплывших из других заводов; барки эти тоже двинулись вниз.

Всем хотелось скорее увидать Каму, по которой плыть не опасно, а как вошел в нее, и делать нечего. Подлиповцам больше всех хотелось увидать Каму. Бают, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рек прошли, а все, бают, в Каму бегут. «Знам мы Каму-то, она от Подлипной недалеко, так там махонькая, а глубокая, рыбы пропасть, а здесь, поди, и конца ей нету, а рыбы-то, поди, людей едят...»

VIII

Наконец барки стали в устье Чусовой, против деревни, и загородили все устье. Чусовая здесь шире и глубже, а Кама шире Чусовой в три или четыре раза. Берега как Чусовой, так и Камы низкие.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская река, и конца-то ей нет.

— Супротив Камы теперь все реки дрянь, и Чусова пигалица против нее.

— Вот уж река дак река — никому зла не сделат.

— Одново года беда тут была. Пошли, знашь, барки да стали в Перму, и поди ты, братец мой, лед сверху. И лед-то какой — ужасти! Как царапнет барку, и пошла ко дну... Много барок перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошшо стоять будем; кто его знает, этот лед-то, прошел он али нет.

— Бают в деревне: весь прошел.

Барки здесь простояли два дня. В это время бурлаки больше спали, а лоцман, имевший в деревне родственника, пошел к нему с Сысойком, Пилой и детьми его, сытно пообедал, выпарился в бане и принарядился. Здесь все лоцманы выпили водки, надели красные рубахи и навязали на шляпы красные ленточки. Все были веселы, покуривали махорку, пели песни.

— Ну, ребята, доехали до Камы, а там как по маслу пойдет. — говорил лоцман.

— Баско, — говорили бурлаки.

— А все я вас провел. Молиться вы должны за меня.

— А ошшо далеко бежать-то?

— Да больше того, сколь прошли.

— А Подлипная близко? — спросил Пила.

— Какая Подлипная?

— Ну, наша-то деревня?

— Чердынь-то?

— Ну, Чердынь-город.

— Да как тебе сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули от Перми до Чердыни; пошли — тепло было, а пришли туда, холодно стало, потому, значит, долго шли — река больно мелка. А так ходу неделя.

— Вре?

— Только неделя. Вот теперь там хлеб больно дорог, а суда ходят только до Усолья да до Соликамска, а в Чердынь редко, потому река мелка, да и Чердынь в стороне верст за сорок стоит.

— Да мы в Усолье-городе были. Там ишшо соль делают. А оттуда шли-шли... Пошли — стужа была, а пришли к баркам, тепло стало.

— А можно бы в две недели дойти.

— Ну, и врешь! — Подлиповцы думали, что лоцман морочит их.

— Вы круг дали: вам бы по Каме надо идти или по большому тракту.

— Вре?

— Вам можно всево только неделю дойти до Перми, а там бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше там было.

— Я вот теперь Каму хорошо знаю и на Волге бывал годов с пять. Хотел на пароход наняться, да прохворал зиму-то; а ныне наймусь беспременно зимой.

— Там баско?

— Да лучше здешнего, работы меньше.

— Так ты и нас возьми.

— Можно будет, и вам доставлю работы.

Пила с Сысойком задумали поступить на пароходы, еще не зная, что это за штуки такие..

IX

Барки тронулись по Каме. Кама бушевала, дул снизу сильный ветер, шел дождь. Бурлаков пробирало ветром очень чувствительно, полушубки их смокли. Барки покачивало от больших волн. Подлиповцы в первый раз увидали такие волны и дивовались.

— Экая большая, как гора! Смотри, как хлобыснулась! Ишь, как! Шумит больно...

Барки плыли врассыпную, боком. Бурлаки работали с час. Их хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлак так гребет: спустит весло в воду, обмокнет и поднимет, кое-кто разве гребнет, да и то редко. Работа очень скучная. А в ветер немного так нагребешь: спустил бурлак весло в воду, волна и ударит его, а иное и не достанет воды. Лоцманы, наконец, прекратили работу, да и не стоило работать, когда барка шла по середине реки. Вон два острова миновали уже, а теперь и спи часа два, а там Мотовилихинский остров будет и Пермь в двух верстах.

Подлиповцы, кроме Елки, который хворал, попрежнему находились у кормы. Пилу и Сысойку больно про-

брало ветром, вымочило дождем: они дрожали. Им страшно надоело сидеть на корме, а лоцман не пускает в коломенку.

— Сиди, чего еще надо? Вот скоро Пермь будет, выдрыхнешься.

Однако Пила увел Сысойку в нутро коломенки и лег на железные доски. Оба дрожали. В коломенке лежали семь бурлаков.

— Ну их к лешим! Не станем робить! — говорил Пила.

— Бают: город скоро, там и останемся, — говорит Сысойко.

— И мы с вами? — напрашивается Павел.

— Вас не возьмут.

— Возьмут.

— Коли возьмут, ступай. А уж мы здесь не останемся. Ну уж и край! Эк вымокли. Помрем тожно...

— А лоцман бает: сила он. А тоже и без него барку-то тащит.

— Послушай только его, наврет он тебе.

— Наплевать нам на лоцмана! — говорит один из бурлаков.

— Уж больно криклив. А мы вот, как он закричит на нас, и не пойдем! — ворчит Пила.

— Ты за меня держись: уж не пойдем! — говорит Сысойко.

— Город, бает, близко. Да поди ошшо врет: сколько водил по рекам-то да обманывал!

— Вот он таперь нас бьет. А пошто? — говорит Павел.

— А ты не давайся. Мне скажи; я ему задам, — ворчит Пила.

— Бает, прогоню.

— Ишь, командер какой, черт! Сам восемь медведев убил...

— Лоцман бает, нам в городе денег дадут.

— А не дадут разе? Ну-ко, не дай... попробуй!

— Эй вы, черти! что спрятались? — крикнул в дыру лоцман.

Пила и Сысойко ни с места. Павел и Иван тоже перестали откачивать воду.

Лоцман еще крикнул. Сысойко и Пила хохочут:

эк, испугались! Лоцман вошел в барку. За ним вошло бурлаков двадцать.

— А вы куда! Пошли!.. — закричал он на бурлаков.

— Не слушай ево, лешева. Заведет он нас в чучу! — кричит Пила.

Бурлаки развалились спать. Лоцман руками хлопнул.

— Да что вы, анафемы? Пошли!

Бурлаки хохочут.

— Бурлака водка бар! Пьеп-се, шайтан те заешь, — проговорил черемис.

— Пырни ево! пырни! — кричит Пила одному бурлаку.

Лоцман стал бить Пилу. За Пилу вступились прочие бурлаки.

— Так вы так! начальство не хотите знать? Пошли вон!

— А ты деньги подай! Тогда и распоряжайся! — кричит Пила.

— Деньги подай! — говорят бурлаки.

Лоцман струсил. Все бурлаки вооружились на лоцмана, и никто не шел на палубу.

«Беда! еще убьют, пожалуй!» — думает лоцман.

— Братцы, да не сердитесь! ну, чем я вас обидел?

— Знаем мы, чем обидел. Подай деньги, и робить станем.

— Ребятушки, ведь эдак мы и город проплывем.

— Ты город кажи!

— Да скоро. Вон за тем углом и город.

Бурлаки не шли на палубу. Лоцман ушел.

— Што? Али я не сила? — бахвалился Пила. — Пусь один поробит. Пусь...

— Да и што робить-то! Барка-то и без нас идет, — заметили бурлаки.

Лоцман не знал, что делать. Напугать бурлаков — убьют; соврать им что-нибудь — не поверят. Он стоял, закручинившись. С ним стояло трое бурлаков. Лоцман решился пугнуть бурлаков острогом.

— Послушайте, братцы: если вы делом не хотите робить, я, как приеду в город, начальству вас отдам. Пусть в острог посадит.

— Экой прыткой! — говорил Пила.

— Тебе хочется? Не бывал разе в остроге-то?..

— Был, да теперь не затащишь.

Пилу окружили несколько бурлаков.

— Так ты, бат, сидел?

— Беда!

— Значит, бежал?

— Прибил ошшо, самово прибили. Вон и Сысойка прибили.

— А ты за што сидел — за убийствие?

Пила осердился, но смолчал.

— Уж знаю, нехороший человек! — сказал лоцман.

— Он, ребя, ошшо убьет! — заметили некоторые из бурлаков и пошли на палубу. За ними пошли остальные и лоцман.

— А вы вот еще связались с ним! — сказал бурлакам лоцман.

— Не говори с ним.

— Хлеба не ешь...

— Убьет...

— Я, бат, туда пойду! — говорил Сысойко, скучая от лежанки на железе.

— Ну, и черт с тобой.

— А пойдем!

— Ну те к лешим. Спи, знай.

Иван и Павел смеялись над Пилой и Сысойком.

— Пашка, дерни Сысойка-то!

— Сысойка, хлобысни тятьку!

— Я те хлобысну! Ну-ко, подойди!

Иван подходит к Пиле, дергает его за полушубок; Пила схватывает его за волосы и теребит. За Ивана пристает Павел; Пила прибил и Павла.

Сысойко вышел на палубу. Показался город.

— Тятька, гли-кось, там што, — крикнул Иван Пиле, увидав в дыру город.

Пила посмотрел, улыбнулся и ткнул в бок Елку.

— Вставай! — Перма уж.

— Ой, пусти! — стонет Елка.

Пила ушел на палубу. Все бурлаки смотрели на город и дивились:

— Эко баско! Ай да Перма-матушка! Вот так городок! Гли, церквей што, домов белых... А барок-то, судов!

Здесь река была в версту ширины, и больно она большою казалась впереди: далеко-далеко там что-то черное

видно, там, видно, и конец. Выглянуло солнце и опять спряталось.

— Греби! — вскричал лоцман. Работа началась. Пила и Сысойко тоже принялись за поносную.

— Ты не тронь, — сказал один бурлак Пиле и оттолкнул его от поносной.

— Потолкайся, што я не свисну! — Ты вишь, город.

— Бей ево!

— Я те дам — бей... В воду столкну!

— Греби, греби! что ругаетесь! Мало ли что вам скажут, так вы и верите, — заступился лоцман за подлиповцев.

Пила и Сысойко не могли понять, что такое сделалось с бурлаками. Они и не залюбили бурлаков...

И опять работают бурлаки молча, нагибая спины, опуская весла в воду и поднимая их,— только и слышатся их тяжелые шаги, да барка скрипит. Что думают бурлаки, — бог весть. Они то и дело смотрят на приближающийся город; на лицах видится тоска, какое-то желание и что-то такое, что бурлак не в состоянии не только передать другому бурлаку, но даже понять. Один только лоцман стоит у столба посреди барки и важно, жадно глядит на город: знай, мол, наших!

— Брось грéби! брось носовые! Загребай к берегу! — кричит он бурлакам.

Город близко. Около берега, возле города, стояло несколько барок, коломенок, караванок, с кружками на верху мачт и флагами на мачтах, баржи, два парохода, из которых один готовился к отплытию. Мимо подлиповцев прошел пароход с двумя баржами и оглушительно просвистел: бойся, мол, дрянь ты экая! Все бурлаки смотрели на него, как на чудо; особенно дивились те, которые в первый раз видели пароход. Их забавляли колеса, дым, свисток и то, что он бежит кверху да еще вó какие огромные домины прет. Больше всего дым занятен: эк он из трубы-то валит, черный, да много сколь и выходит, да как лошадь ржет.

— Ну и черт!

— Эк он, — рассуждают бурлаки.

— Вот ошшо! — впереди шел пассажирский пароход.

— Гли, как он колесами-те загребат!.. Эво! воно как. Ах, будь он проклят...

Раздался свисток. Бурлаки дрогнули.

— Экая у него пась-то. Варнак... право!..

А лоцман издевается над бурлаками да хихикает:

— Оболтусы вы экие!.. Ничего-то вы не смыслите... Право, дурачье экое. Вы то поймите, он паром ходит, и названье ему: пароход.

Бурлаки хохочут. Больно уж смешно лоцман бает.

— Там котлы поделаны для паров, и печь большая устроена. Он сажен двадцать в день съедает.

Бурлакам опять смешно.

— Ишь ты, черт! А пошто?

— По то, что пароход. Парами ходит.

— Прокурат, право, ты! Экой зубоскал!..

— А там машины такие устроены, кои сами действуют.

— Ну уж и сами?

— Ей-богу.

— Так-таки сами?

— И люди только дрова бросают, да машинист около машины сидит, наблюдает.

— Так он сам бежит?

— Экие вы дураки! — Лоцман плюнул в реку. — Врать вам стану — нужно, поди-кось!

— А пошто же у него веслов нету?

Лоцман рукой махнул и отошел от бурлаков прочь.

— А ведь прокурат лоцман-то. Ишь, што сбрехал: сам, бает, ходит, — толкуют бурлаки и хохочут.

Причалили к берегу против почтовой конторы. Здесь было уже барок двадцать. Бурлаки сидели и ходили на барках, на берегу, плелись на гору в город. На горе гуляла губернская публика. Все это занимало подлиповцев, и они тоже сошли на берег, постояли под горой, потолковали, идти или нет, и решили, что идти незачем: нет денег, да и поздно, — ушли опять на свою барку. Наелись сытно хлеба с водой и легли спать; но никак не могли уснуть. Больно их забавляли пароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь вроде следующего:

— Ну, таперь доплыли в Перму. Отдохнем. Супротив Перми да Елабуги уж не будет таких городов.

— Там еще Нижной-город есть. Огромнеющий, дома — эво какие. А это супротив Нижнего пигалича.

— Это, бают, губерня, потому, бают, все набольшие

живут, страшные такие... Всем городам правят, и Чусова тоже на Перму молится.

— Вре! А Чердынь? — спросил Пила.

— И Чердынь тоже.

— А Подлипная?

— Тоже.

— Ну, брат, врешь... У меня только и было начальство — поп да становой! — ворчит Пила.

— Ну, значит, ты вячкой.

— Я те дам — вячкой! Сам ты вячкой... — бранится Пила.

Барки то и дело прибывали. К каждой барке приходили солдаты, служащие в дистанции путей сообщения, осматривали барки, билеты, считали бурлаков, придирались к лоцманам за больных, кричали и получали от лоцманов деньги.

Первый день прошел скучно для бурлаков. Все они умаялись и рано легли спать. Некоторые из них ходили в город, да только так, поглазеть. Ночью еще приплыло несколько барок, и вновь приплывшие бурлаки не давали спать приплывшим раньше, потому что кричали: «Бери чалку!», потом наступали на ноги спавших на барках бурлаков. Бурлаки ругались.

X

В полдень, на другой день, бурлаки получили по полтиннику денег. До этого времени некоторые из них продавали в городе, за дешевую цену, сковородки, чугунки и прочие железные вещи и на деньги эти покупали хлеба, булок, огурцов, сушеных судаков и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубливали на несколько частей и большею частию глотали неразмоченные, прикусывая хлебом и свежим луком.

Бурлаков, не бывавших в больших городах, очень занимала Пермь. По правде сказать, город этот неказист, жители бедны, хорошие дома построены большею частию на одной улице, идущей от сибирской заставы к дому В., а потом к будке, стоящей на краю лога. Но бурлаки эти в первый раз видели большие дома, в первый раз ходили по прямым улицам. Их все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

В этот день Пилу и Сысойку с ребятами лоцман не отпустил в город, а заставил чинить барку. Посмотрим поближе на жизнь бурлаков в Перми хотя в третий день, когда подлиповцы пошли в город.

Четыре часа утра. Барок больше сотни; но барки все еще приплывают. Посреди их красуются четыре караванки с разноцветными кружками и с надписями на флагах, означающими название заводов. Бурлаки почти все встали, и каждый что-нибудь ладит. Стук, звук от железа, скрип и говор не умолкают и слышатся далеко. Несколько бурлаков кучками сидят или лежат под горой и на горе; сидящие разговаривают, или зевают, или едят хлеб, лежащие дремлют или смотрят на барки, на реку, на небо... Хорошо сидеть на горе против реки, так бы все и сидел, и мысли всё какие-то хорошие появляются в голове... И часто бурлак засыпает, нежась на сырой земле... Он отдыхает, и хочется ему все бы так отдыхать.

Пять часов утра. В это время к баркам идут городские и мотовилихинские[1] торговки и приносят на досках, положенных на головы, хлеба и калачей и на коромыслах луку, квасу и огурцов. Бурлаки берут нарасхват или хлеба, или луку. Квас пьют все. Пила старался достать хлеба даром, да здесь торговки оказались хитрее его: сами мастерицы обманывать, а хлеб большею частью продают с закалой.

В восьмом часу бурлаки идут толпами в город, кто в полушубках, кто в одних рубахах. Лоцманы отправляются к начальнику дистанции, за ними идут и приказчики и другие старшие лица над бурлаками, плывущие на караванках. Зачем они идут к начальнику дистанции, — об этом редкий житель Перми не знает, а мы умолчим.

Бурлаки валом валят в город, а на барках все еще много их: там все не умолкает стук, скрип. Несколько барок уже отплывают.

Пиле и Сысойке лоцман не дал денег, за то что они нагрубили ему. В этот день лоцман велел им не отлучаться с барок, а сам ушел. Их взяло горе.

— А мы побежим, — сказал Пила Сысойке.

---

[1] Мотовилихинский завод, находящийся в трех верстах от города. *(Прим. автора.)*

— Куды подем? здесь баско.

— А мы подем поглядим.

Пила пошел к детям.

— Сколько он дал? — спросил он Павла.

— Ишь! — Павел показал медные деньги — двадцать копеек.

— Много, — говорил Иван.

— Пойдем! — скомандовал Пила детям.

— Да он велел воду откачивать.

— Што откачивать! Хоть ты качай, не качай, а воды гли сколько

Ребята пошли.

— А вы нам дайте денег. Как получим, отдадим.

Ребята не давали.

— Вы насобираете. Право, дай!

Ребята поругались, а как стали всходить на гору, отдали по пятнадцать копеек каждый. Деньги взял Пила.

Взошли они на гору с двумя бурлаками. На горе в нескольких местах сидели горожане, глазевшие на барки и на бурлаков. Подлиповцам хорошо сделалось, когда они посмотрели на реку.

— Ишь ты! — улыбаясь, говорил Пила. Они вошли в улицу. Проехала карета. Пила долго ломал голову и не мог понять, что это за штука такая.

Пройдет ли хорошо одетый господин, подлиповцы шапки снимают и смотрят на него; попадется ли офицер, они тоже снимают шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попался им навстречу молодой дьякон, без пушка на лице, в шелковой рясе. Пила долго смотрел на него, рассуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и он хотел догнать дьякона, посмотреть на него, да товарищи отговорили. Куда ни посмотри, везде хорошо. Вот бы пожить тут. В нескольких местах на деревянных тротуарах сидят бурлаки и едят; несколько человек лежит около заплотов на траве.

— Вы откелева? — спрашивают подлиповцы бурлаков. Те скажут.

По улицам идут бурлаки: один несет чигунки, другой коты, третий пять ковриг черного хлеба на спине, обвязав их веревкой, двое тащат на палке брюшину, осердие, старую, почти засохшую говядину. Кто ест, а кто и так идет; попадаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добывают, — решил Пила.

Однако они подошли к одному столбу, около которого стояла кучка бурлаков.

— Што, ребя, диво? — сказал Пила, думая, что в столбах ничего нет удивительного.

— Да, бают, тут беда. Сказал ты слово, и пошло качать, — говорит один бурлак.

— Поди ты к лешим! .. Вишь ты, тут соль добывают?

— Попал! Ты видал ли, как соль-ту добывают?

— Эво!

— Там столбы-то не экие, да и перекладины поделаны, а тут железки, да еще четыре.

Пила втупик встал, однако подумал: «Может, и здесь соль делают, только иначе».

— Эй, поштенный! Это што? — спросил один бурлак мещанина.

— Это телеграф.

— Как?

Тот повторил.

— А што же тут делают?

— Письма отправляют.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, как пошлешь письмо за тысячу верст утром, оно вот и побежит по проволоке и к обеду там будет.

— Худо место! — сказал Пила. И бурлаки отошли прочь.

Перед окнами одного дома пели двое зырян. Им что-то подали. Пиле завидно стало, и он пошел просить под окно ради христа; ему не подали ничего.

— Не баско здеся, — сказал он.

Подлиповцы шли посереди дороги. По полу, как называли они тротуары, они боялись идти: ишшо прибьют.

Они пришли на рынок. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговок бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакам купить чего-нибудь. У подлиповцев глаза разбежались: чего-то нет на рынке! .. А какие еще есть булки белые да махонькие, крендели да штучки какие-то... Так бы вот и съел все! Пила купил пекарскую булку. Эта булка так

понравилась Пиле и Сысойке, что они ее в четыре приема съели.

— Што? — говорит Пила.

— Давай ошшо! — просит Сысойко.

Они купили еще и съели, и все-таки не наелись, потому что такую мягкую булку они ели в первый раз; они, на вкус подлиповцев, были только сладки, но, сравнительно с черным хлебом, далеко не питательны.

Пошли все в питейную лавочку, взяли у ребят последние деньги и пропили.

— А ись хочется, — говорит Пила.

— Беда! . .

— А больно баско тамо! Все бы ел да ел.

— Денег нет. Лоцман не дал.

В лавочке было восемь бурлаков, из коих два с той барки, на которой был Пила. Подлиповцев попотчевали. Они захмелели. Ребята ушли сбирать милостинку и через час пришли с семью кусками хлеба; в руках у них было двенадцать грошиков.

Подлиповцы вышли из лавочки. На улице били их лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойко пристали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили, — говорил лоцман и поцеловал Пилу и Сысойку: — теперь подемте пить. — Лоцман был пьян.

— А ты пошто мне не дал денег? — ворчит Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумал? Ты знай, я сила! . . Я барку по Чусовой провел.

— Сама прошла.

— Ну, и не дам денег, не дам. . . Не перечь мне! Не пере-е-ечь!

Лоцман привел подлиповцев в питейную лавочку, купил полштоф водки и угостил их, даже Иван и Павел выпили. Лоцман дал Пиле рубль.

— Пей, ребя! Таперь праздник! — кричали в лавочке бурлаки.

— Уж таперь нет опаски! . . — Лоцман повел подлиповцев в трактир и там угостил супом и жарким. Подлиповцы сладко наелись.

Из трактира лоцман и подлиповцы вышли пьяные и по выходе на улицу тотчас же запели песню. Даже Павел и Иван пошатывались и что-то пели. По улицам было очень много пьяных бурлаков. Большая часть их пела

и играла на гармонийках и балалайках. Горожане смотрят на них да посмеиваются. Но никто не обижает бурлаков.

Несколько бурлаков нашли себе теплые гнездышки в домах бедных мещан. Хозяева домов пускали бурлаков по три копейки в сутки, от шести до пятнадцати человек. И крепко спали бурлаки в теплых избах, и хорошо им было, хотя они и на грязном полу спали. Давно уже они не спали так, и долго еще им не придется так спать.

Подлиповцы с лоцманом едва добрались до своей барки, и как только пришли, так и завалились спать и проспали весь вечер и всю ночь.

На барках точно праздник под вечер: все сидят кучками; одни хлебают щи, другие едят колодку судака, третьи хлебают вареное прокислое молоко. Перед каждым лежит коврига хлеба. Пьяные спят. На барки возвращаются тоже пьяные. Из города слышны бурлацкие песни. Наевшись, бурлаки начинают петь, играть на инструментах и пляшут. На одной караванке кто-то играет на скрипке, на другой кто-то играет на гитаре, визжит женщина, звенит посуда.

Был тихий, прекрасный вечер.

Губернская публика, человек до двухсот, ходит взад и вперед по маленькой набережной, называемой загоном. Любуется ли она бурлаками, бог весть. Для нее играет музыка на возвышении, посреди площади. Далеко разносится эта музыка, заключающая в себе польки. Музыканты играют скверно, но все-таки около загородки стоят бурлаки и боятся войти в загон, слушают они музыку: хорошо и весело играют, долго бы слушал, да непонятно что-то. Постоит бурлак, заноет у него сердце, и пойдет он невеселый на барку. А там поют родные песни, выигрывают родные же песни, пляшут, — все как-то лучше, отраднее...

— Баско играют, да не по нам, — рассуждают бурлаки.

— И люди-то там какие!.. Сморчи... чучелы...

— Эх, бат, сыграй веселую... Вот тут болит! — говорит один бурлак, указывая на грудь или на сердце.

— Што там! У них свое, у нас свое. Им так-то не спеть. Затягивай! Знай наших! — кричит какой-нибудь пьяный лоцман.

И выпеваются бурлацкие песни, грустные, заунывные, и далеко-далеко и долго разносятся эти песни. А поют-то как они: сидит бурлак, подопрет щеки руками, задумается точно, в глазах жизнь видится, на лице горе, и смотрит в воду... Слушаешь эти песни, все бы слушал их, а слов разобрать не можно, только и слышится какой-то стон протяжный.

В прежние годы, когда не плавали еще пароходы по Каме до Перми, Кама была запружена до половины барками, и тогда город наполнялся бурлаками. Теперь только десятая часть прежнего: пароходы с каждым годом все более и более сокращают число бурлаков. Что будет с этими людьми, когда им негде будет бурлачить?

Есть люди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бедные люди. Ведь у бурлаков только и есть богатства, что на нем надето да что он съедает... и для этого он трудится больше, нежели другой. А терпение переносить зной, холод, дождь?.. «Надо же кому-нибудь быть бурлаком...» — обыкновенно говорят люди, насмехающиеся над бурлаками и не понимающие бурлацкой жизни.

В Перми барки простояли еще три дня. В последний день бурлаки с утра скучали: делать нечего, а хочется делать; сходит бурлак на рынок — денег нет, лоцманы не дают, — говорят: приказчики не дают; просто задор берет. Есть же такие богачи, что у них и хлеба-то множество и всякой всячины пропасть! Походит, походит бурлак по рынку и по городу, погорюет, что напрасно он пропил деньги, и идет на барку.

Подлиповцам хорошо казалось жить на барках. Хотя и бывает работа, зато не всегда, а хлеб-то у них всегда есть, даже еще много. Жалко, нет Матрены!.. Ну, Апроська померла, куда с ней, больной. Здесь и без баб хорошо: татары да зыряне смешат; и городские смешат, говорят как-то инако да над ними смеются.

Подлиповцы узнали здесь больше, нежели они знали в деревне и в Чердыни: они узнали, что миру божьему нет конца, что деревни их дрянь, люди совсем другие,

чем они, что им уж не быть такими, какие ходят в городе в богатой одежде. Им хотелось еще побывать дальше и приискать себе такое место, где бы было хлеба много и можно бы было спать подольше.

XI

Между тем барки постоянно приплывали и, выправивши билеты и заплативши положенный с них сбор, плыли вниз. Когда отправились караванки, то с них палили из пушек.

В воскресенье назначено было плыть лоцману Терентьичу. Пила с Сысойком и ребятами отпросились у лоцмана купить хлеба. Лоцман отпустил на полчаса. Звонили к обедне. Пила и Сысойко несколько раз проходили мимо собора и заглядывались на него. Идя теперь мимо его и увидав, что в ограду идет много людей, в том числе и бурлаки, подлиповцы вошли в собор. Ребята пробрались в народ, на самую середину, а Пила с Сысойком стоят у дверей. Видят они, посреди церкви одевают кого-то и надевают-то на него все хорошее... Нигде таких одежд они не видали. Нигде не слыхали такого хорошего пения... Никогда не видали такой хорошей церкви... И расписано-то как! Певчие пропели очень громко... Сердце дрогнуло у Пилы. Настала тишина. Пила не утерпел.

— Баско! Ай, баско!! — сказал он.

— Ишь ты. А! — проговорил Сысойко.

Их вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльце; заглядывали в стекла, видели только архиерея да много людей; хотели пробраться в церковь, но их не пустили.

— Эко ты диво! Кто же это? — удивлялся Пила, отходя прочь от церкви.

— Я баял, не надо идти.

— Уж нам где! А ты, Сысойко, поди, скличь ребят-то, а то без них барки не пойдут.

— Сам скличь.

— Поди, право. Боюсь.

Они пошли к воротам. Им попался офицер. Они сняли шапки. Офицер прошел.

— Поштенный! а поштенный! — окликнул офицера Пила.

— Что вам? — спросил тот.

— Кликни там Пашку да Ваньку, тятька, мол, зовет, плыть тожно надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушшают. — Офицер ушел. Пила и Сысойко постояли несколько времени, попросили еще кого-то послать к ним ребят, да тот и не ответил даже им. Они пошли на рынок.

— Эко дело... Как таперь без ребят-то? — говорит Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вот то говори: они, поди, богачество там получат.

— Эк ты!

— А получат. Ишь, как там баско... Вдруг бог-от и даст им богачество. Эвот сколько! Эво! — говорит Пила, указывая рукой на большой дом.

— Пожалуй. Толды мы вместе станем жить?

— А не то, так и Матрену скличем.

— Апроську бы надо...

Пиле грустно сделалось. Теперь ему казалось, что у него и родных вовсе нет, кроме Сысойки, а ребята так и пропали. Жалко!

На рынке они купили по три ковриги хлеба и печенку. Сысойко нес хлеб, Пила печенку. Они опять подошли к архиерейской ограде.

— Пойдем туда, — говорил Сысойко.

— И! Гли, туда какие всё идут.

— А вон бурлаки.

— Нас не пустят, ошшо в острог засадят.

Однако они вошли в ограду, взошли на крыльцо и хотели войти в церковь. Их опять прогнали... Они пошли на барки.

— Может, они уже там, откачивают...

Их барка отваливала.

— Шевелись! черти!.. — кричал на них лоцман.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойку и еще трех бурлаков посадили на шитик.

— А ребята здесь? — спросил Пила лоцмана на барке.
— Ждать мне твоих ребят!
— Врешь?
— А ты пошто их бросил?
— Да они в церкви остались, не нашли... Эка беда!
— Поди глазеют там впервые-то!
— Как же теперь?
— А так... На другу барку, может, пустят, только едва ли пустят без билета.
— Не здесь ли они, Сысойко? погляди, — спросил немного погодя Пила.
— Может.
Пила сходил на барку. В барке отливали воду два бурлака. Пиле и Сысойке еще скучнее сделалось. «Эко горе! Как же теперь без ребят-то! Помрут они там».
А барка между тем плыла да плыла. Города уже не видно.

XII

До Елабуги плыли полторы недели. В это время они на сутки останавливались для починки барок и для закупки провизии в городах Осе и Сарапуле. О житье бурлаков в это время сказать нечего: оно было такое же, как и на Чусовой и в Перми, с тою только разницею, что работы было меньше, чем на Чусовой. Бурлаки уже привыкли к бурлацкой жизни, мало сетовали на свою судьбу; не удивлялись, как прежде, над пароходами, попадавшими им навстречу и обгонявшими их раза по четыре в сутки; не удивлялись над величиною баржи: им теперь все пригляделось, надоело.
С потерею детей Пила сделался очень скучен и еще более привязался к Сысойке.
— Нету у меня теперь ребят, только ты один, — говорит он Сысойке ночью, лежа с ним в барке.
— Идти бы назад в церковь.
— Што делать! Уж ты не отставай от меня.
— Ты только не брось.
— Я не брошу. Што мне одному-то? Вон наши подлиповчи, — што им, — своих приятелев завели.
Елка и Морошка работали на носу и редко говорили с Пилой и Сысойком. Им почему-то не нравились Пила

и Сысойко, и они даже наговаривали об них бурлакам, что они колдуны, в остроге сидели и прочее.

Каждый раз, когда нечего было делать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь, вдалеке от прочих бурлаков, смотрели друг на друга и жалели друг друга.

— Плохо, Сысойко! Аяй плохо... Так вот и болит *нутро;* уж болит!

— Как болит!.. Помереть бы...

— Сысойко, зачем ты не баба?..

— А пошто?..

— Да так. Все бы оно лучше.

— А мы подем назад?

— Да надо ребят найти. Как найдем, и подем сюда.

Половина барок поплыла из Елабуги к устью Волги и в Саратов. Подлиповцев и прочих бурлаков заставили выгружать железо на берег, а потом нагружать в баржи. По окончании нагрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денег, а прочие больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забрал раньше вперед. Несколько бурлаков поступили на баржи, тысяча человек пошла в Вятскую губернию, кто по реке Вятке, впадающей в Каму недалеко от Елабуги, кто проселочными дорогами. Человек двести нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Груз был большею частию с хлебом. Пила и Сысойко нанялись с прочими подлиповцами до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора целковых.

XIII

Работа для подлиповцев теперь была еще тяжелее. Судно дожидалось попутного ветра. Ветер подул. Подняли паруса с песнями: «Ухнем! ухнем! разом да раз!!!» Ветер натянул паруса и потянул судно. Подлиповцы удивлялись первый день, как это их тянет ветер. Прошли они так верст десять, судно вошло в такое место, где ветер не мог тащить судно. Судно подплыло к берегу посредством гребли и стало на якорь. «Бери бечеву!» — сказали лоцмана. Бурлаки, в том числе и подлиповцы, положили в лодку бечеву — веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, с кожаными петлями, или лямками, и приплыли на берег.

— Бери бечеву!..

Бурлаки надели на груди лямки. Всех их было пятнадцать, на судне было десять бурлаков.

— Трогайся с богом! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай! — кричат мужики с судна.

Бурлаки потянули бечеву — и всё ни с места.

«Ухнем, ухнем! да раз!..» Они натянулись вперед всей силой, их подало вперед.

«Ухнем, ухнем, да раз!.. дерни, подернем, да раз!..» И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову вниз, руки болтаются, ноги переступают едва-едва... «Дернем, подернем, да раз!» И они идут, не увеличивая скорости шага; на плечах их точно что-то тяжелое лежит, такое тяжелое, что ужасти... Идут они так час, груди у них болят, ноги устали; с них каплет пот, большие шапки их закрывают глаза... Идут они тихо и покачиваются из стороны в сторону.

Идут они сегодня по песку — солнышко их жжет; на другой день идут болотистым берегом — ноги вязнут; выбились из сил, а лоцман то и дело кричит: «Што стали, пошли живо!» На третий день идет дождь, гремит гром, сверкает молния, а они идут и тянут богачество... Вот судно встало на мель. Пошли они к судну по колено в воде, вошли на судно и сталкивают его шестами с мели — и опять их пробирает пот, солнышко или дождь. Вон стоят суда с высокими мачтами.

— Стой! — кричит лоцман.

Они хотят встать, их пятит назад.

— Брось бечеву!

Они снимают лямки и бросают. Бечева подбирается на судно. Много ловкости нужно иметь лоцману, чтобы провести судно к верху; много труда для бурлаков, нанявшихся вести судно на своих плечах!..

Как трудно подымается судно к верху, это видно из того, что наши подлиповцы пришли из Елабуги в Пермь через месяц, потому что они большею частию тащили его, а ветер дул редко.

Пила и Сысойко везде спрашивали про Павла и Ивана, но никто не знал об них. В Перми они не шли бечевой,

а сначала стояли против речки Данилихи, потом, когда подул ветер снизу, их протянуло до речки Егошихи, и здесь они простояли два дня, в которые выправили билеты. Пила справлялся на трех баржах и ничего не узнал об детях.

— Померли! — решил он. — Ну, хоть не мучатся. А то што им жить-то... А вот на нас так нету смерти.

— И мы, поди, не помрем? — спросил на это Сысойко.

— Как не помрем — все помирают. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то как без тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобыснись.

— Боюсь...

— Вот мы таперь муку́ прем, а небось ее не дадут нам, а дают когда гривну, когда полтину.

— Знамо, они богатые.

— Вот, бают, и в Чердынь муку плавят, а пошто она там дорога?

— А по то; кто плавит-то, — богат. Вот те и богачество!

— Уж именно! Как преж жили, так и таперь придем без всего, да ошшо ребят нет.

— Што делать!.. Вот те и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско там, да што? А мы, Сысойко, не подем уж в Перму, лучше соль будем делать: ишь, как там тепло, и денег, бают, больше дадут.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што с колесами бегат.

— Попробуй — попади! Прогонят. Везде гнали, и из Перми прогонят. Народ там, бают, злой...

— Все бы поплавать...

— Черт ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слезла... А спина-то? Самого так и пошатывает, — хоть помереть тожно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вон лошадям так славная жизнь-то...

— Ну их!.. А мы соль будем делать.

Через день Пила и Сысойко ведут такой разговор:

— Ошшо бы так-ту поплавать, как по Чусовой плыли... Людей сколь, барок!.. города разные... И хлеб там был... — говорит Сысойко.

— Так оно. А таперь и люди-то побегли, бают, домой.

— А нам куды? .. што нам в деревне-то? ..

— Там, Сысойко, бают, города баские есть. Бают, Перма супротив их пигалица... Походим ошшо тамока?

— Подем.

— Бают, город есть такой: дома всё каменные, а вышина-то... в Перми нет таких домов. Там, бают, царь живет.

— И туды подем... А денег дают?

— Бают, баско там.

— А мы и таперь подем!

— Куды таперь подешь? Я чуть иду, так бы вот и лежал. А мы полежим в Усолье и подем...

Через день опять другое:

— Гли, Пила, траву косят! .. Што бы нам землю дали, — уж и бурлачить бы не пошли.

— Э! людям счастье, а нам где уж! Вон, бают, много есть бросовой земли, а не дают — богатые люди продают, да дорого... Здесь ошшо што: все лес да лес, а вон ниже Пермы видали мы, какие земли-то; бают, хлеба много.

— Пожить бы там... Гли, плот плывет!

— Пусь плывет. Ты вот то суди: люди-то на нем такие же, как и мы. А ты погляди, как рыбу ташшат неводом. Вот дак ремесло! Лучше этова ремесла ничего нет.

— И легко!

— Поймал и съел, и продать можно.

— Подем рыбачить.

— Подем... Поспим и подем.

— Слышь, Сысойко, какой я сон видел... Ходили мы в Перми, дома все инакие, огромнеющие — ужасти! Церквей сколь! .. Хлеба так и накладена целая гора... Набрали мы много хлеба... Идем-идем, да и очутились в реке, и хлеба нет, — невод тащим... Вытащили — ничего нет; ошшо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасти... Потом мы в варнице очутились... Печь большая-пребольшая; всё дрова кидают, и мы кидам... Только кидам-кидам так-ту дрова, и вижу я в печке-то Апроську... Кричит она: «Тятька, вытащи! тятька, вытащи! ..» Ужасти... Стою я и не смею в печку водти, а только тебя жгет-жгет, и сам будто ты в полыме стал. Кричу я эдак, а меня в печку толкают... Вот дак сон.

— Беда!

— А как худо жить! .. Ходили мы, ходили с тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у нас куды гожи? .. а гунька-то, гунька-то! ..

— Ну и жизнь!

— Походим ошшо; может, лучше будет.

— Кто ево знат. Ты считай, сколь бед-то.

— А поп баял, как помрешь, бает, на том свете лучше будет, — баско... Значит, и дом будет, и лошадь, и корова...

После этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставлю читателю самому судить о положении Пилы и Сысойки. А таких бурлаков очень много. Пила говорил правду, что ему бы родиться не следовало: родился зачем-то человек; в детстве терпел горе, вся жизнь его горе-горькая, уж как ни пробовал выбиться из нищеты, нет-таки — стой! Куда лезешь, лапотник? ..

XIV

До Усолья осталось верст тридцать. Полдень. Идет дождь и немилосердно мочит бурлацкие полушубки. Идут бурлаки часа четыре, то по колена в воде, то по болотистому берегу, то перескакивают через ручейки, переходят ложки. Все устали, измучились, как загнанные лошади, у всех пересохло горло. Все молчат уже с час.

Пила идет впереди, Сысойко рядом. Елка и Морошка позади их. Пила и Сысойко страшно исхудали и походят на мертвецов. Они целую неделю пролежали в судне, теперь немного поправились, и хотя едва-едва переступают ногами, хотя у них кружатся головы, лоцман заставил-таки их тащить судно. Две недели не пели бурлаки песен, говорили мало. А это худой признак. Водку пили только в Перми.

Идут бурлаки по отлогому берегу около плетня, которым огорожен чей-то покос с лесом: ноги скользят, запинаются за пни; все они покачиваются из стороны в сторону, свесивши головы, опустивши руки. Один только бурлак, молодой парень, то и дело тараторит, издевается над вятскими мужиками.

— Пошли, значит, вячки утку стрелять, а никто и не умеет стрельнуть. Штука, значит, забористая...

— Ты уж баял. Лонись баял, давече баял...

— Толды не все; таперь как есть скажу.

— Ну, бай.

— Ну, и пошли, значит, стрелять семь мужиков одну утку, а ружье у них у всех одно, да и то забарабали у богатого хресьянина... Ладно. Увидели утку и закричали: «Лови ее, халяву!» Побегли, она и спряталась. Потом выбегла и сидит на озере... Вот они и стали ружье затыкать порохом; один положил горсть, другой бает: погоди, я положу! моя, бает, копеичка не щербовата... Третий тоже бает: моя копеичка не щербовата, и пехает горстоцку пороху... И все так бают и пехают горстоцку пороху... Ну и положили все по горстоцке пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вот один бает: я стрельну, другой тоже хочет стрельнуть — и расцапались, а потом и обхватили все ружье разом... Ружье как бзданет их всех, — кому руку ушибло, кому лицо — беда! а один, как стоял, так и упал — покойник сделался. А они и бают: «Скрадыват! скрадыват!» — и полегли с ним головами врозь... Так и лежат, а встать не смеют... Только едет мужик и видит их... Едва-едва сдогадались, што один мужик помер. Ну, их сцапали опосля, приволокли к начальству.

Бурлаки даже не улыбнулись и молча слушали рассказ. Они уже в четвертый раз на этом дню слышали этот рассказ. Молодой бурлак обиделся, зачем бурлаки не смеются, и начал другой рассказ, как вячки онучи сушили...

Судно нашло на мель. На нем шесть бурлаков работали шестами.

Бечевники стали.

— Трогай сильней, трогай! што стали? — понукал бечевников лоцман с судна.

Бечевники натянули бечеву, наперлись, закричали: «Дернем, подернем, да раз! ухнем да ухнем! разом да раз!..» Судно стоит на одном месте.

— Пошло, родимые, пошло! Прибавь силушки! Вот у речки отдохнем... — понукает лоцман.

Бечевники наперлись пуще прежнего, запели; судно подвинулось, они пошли, но шли так трудно, словно невесть что тащили... Идут они, ни о чем не думая, а только далеко-далеко раздается их песня: «Ухнем! ухнем

разом да раз! .. ха! дернем, подернем да раз! ..» Вдруг бечева лопнула, все бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто коленком о камень, кто расшиб нос и губы, кто свалился к воде, кто упал на товарища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бок ушиб, третий кажет руку, двое кричат: «Ой, брюхо болит! оёченьки!»

Пила и Сысойко лежат без чувств в разных сторонах, облитые кровью. Бурлаки окружили их и стали смотреть. Пила разбил лоб, переломил левую ногу... Сысойко разбил грудь...

Все запечалились.

— Померли! .. Родимые...

— Эх-ма! Вот те и жизь! .. Ох-хо-хо! — и бурлаки утирают черными жесткими ладонями глаза...

Пилу и Сысойку накрыли полушубками и отошли прочь.

Приплыл на берег один лоцман с бурлаками. Все погоревали, долго судили: что делать с Пилой и Сысойком, и решили свезти в деревню. Пилу и Сысойку положили на рогожи, завернули рогожами, приплавили в шитике на судно и там положили на палубе. Бурлаки не отходили от них, обмыли водой обоих и положили так, как мертвецов. Сысойко пришел в чувство, застонал, взглянул в левую сторону, где лежал Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила! — простонал Сысойко.

— Дай водицы ему, — сказал лоцман одному бурлаку.

Бурлаки почерпнули в ведро воды и влили в рот Сысойке воду. То же сделали и с Пилой.

Пила пошевелился, но не издал звука.

Сысойко смотрит на Пилу дико. «Пила!» — опять стонет он.

Пила издал глухой стон.

— Больно? — спрашивали Сысойку бурлаки.

Сысойко смотрит на всех дико, стонет... Вот он повернулся на бок и смотрит на Пилу. Пила открыл глаза, пошевелил губами и ничего не сказал... Потом он протянул к Сысойке руку и умер...

— Помер!

— Добрый был, добрый...

— И мы так помрем... — рассуждают бурлаки, чуть не плача.

— Тятька! — стонет Сысойко.

— И он помрет...

— Сысоюшко! поживи ошшо чуточку! .. — говорят Сысойке бурлаки.

Лоцман никак не мог заставить бурлаков тянуть судно.

— Не трог! — говорят. — И мы помрем.

— Братцы, спехнем хоть судно-то. Смотрите, ветер!

— Нет, братан... Гляди!

Лоцман привык уже к подобным сценам и перевез Пилу и Сысойку в деревню, находившуюся недалеко.

Пилу схоронили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодные были эти слезы, слезы бурлацкие...

Сысойку оставили в деревне, и судно кое-как сдвинули с мели. Оставили Сысойку в деревне без бурлаков у одного крестьянина, и через четыре дня после отплытия судна он умер...

Родился человек для горе-горькой жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его. Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее...

Вот каково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усолья и там поступили на варницы. От работников они узнали, что жена Пилы Матрена за воровство попала в острог, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьет его, берет с собой, заставляет говорить: подайте, ради христа! пропивает насобиранный хлеб и деньги и часто оставляет его без хлеба.

Положение этого ребенка очень незавидно. Ведь и он вырастет, и каким он будет человеком? ..

XV

Что сделалось с Павлом и Иваном? Они не нахвалятся своею судьбой; жизнь им кажется хорошая. У них заведен сундучок, в котором хранятся сапоги, зеркальце, чай, сахар, две ситцевые рубашки, два тиковых синего цвета халата. Они летом кочегарами на пароходе, а зимой работают на пристани. Летом они бывали в Нижнем, в Саратове, в Астрахани, едали яблоки и арбузы, очень развились и даже умеют читать.

Пила оставил их в Перми в соборе. Там они стояли

около архиерейского места (престола, по-церковному) и глядели, как одевали архиерея. Когда они услыхали слово *баско!* то думали, что это так и должно быть, и не обратили внимания на волнение в народе, когда выводили из собора Пилу и Сысойку, потому что они в это время смотрели на архиерея, на духовенство, на певчих и на живопись. Их все удивляло. Когда был великий выход, Павел сказал Ивану:

— А тятьки нет!

— Он, поди, смотрит. — И простояли всю обедню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архиерейская служба. Когда стал выходить народ из церкви, они спохватились, что нет отца, забегали на дворе, везде выглядывали его, ушли опять в церковь, там уже не было людей. Они зашли и на хоры, и там нет, пошли в алтарь, но оттуда их прогнал староста. Погоревав на улице об отце, они пошли на рынок, походили там часа с три, насобирали христа ради милостинки, наелись, спросили бурлаков об отце, ничего не узнали и пошли глазеть на народ.

— Где же тятька-то? — говорил Павел.

— Кто ево знает.

— Он, поди, уплыл?

— Без нас не уплывет.

— А мы как?

— Мы здесь останемся. Ишь, баско!

— Все тятьки жалко...

По городу они ходили с час и зашли на бульвар. На бульваре начала собираться губернская публика. Они выспались в канаве и когда пробудились, то бульвар был уже полон народа; играл военный оркестр; в шалаше играли фокусники. Ребята всё высмотрели, всему дивились: их очень забавляли офицеры, наряд людской, гимнастические упражнения, качели, танцы в зале.

— Баско!

— У нас нету так-то.

— И на барках инако.

— Вот так город!

— А мы уж здесь останемся...

— А как протурят?

— Смотри, бурлаков сколь. Где же тятька-то?

— Он, поди, смотрит: ишь, сколь людей-то! Ишь, што диётся! — говорят ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульваре. Утром на бульваре никого не было, и ребята заплакали с горя.

В городе им попались бурлаки.

— Видели тятьку? — спросил их Павел.

— А вы бурлаки?

— Бурлаки.

— Откедова?

— Чердынские.

— А откелева с баркам-то идете?

— А завод Шайтанский есть, оттоль и плывем. А тятьку-то Пилой зовут, да ошшо Сысойко с ним.

— Не знам мы твово Пилы, и Сысойку не знам.

— Шайтански отвалили уж.

Ребята запечалились и пошли с бурлаками на рынок. Они заплакали. Куда идти? где жить?

Пошли они сбирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь город, а ночами спали у соляных амбаров. Потом они наткнулись на одну пристань, увидели, как и что работают люди, сами стали работать и получили за работу по двадцать копеек серебром в сутки. Целую неделю они спали под лодками, а потом над ними сжалился один водолив, узнавший от них о потере отца, и пустил спать в барже. По совету этого водолива ребята и поступили на пароход с жалованьем по шесть рублей в месяц.

Житье на пароходе ребятам кажется хорошим. Когда идет пароход, они постоянно бросают в печь дрова и в это время ходят черные как трубочисты и только изредка любуются людьми. Они узнали, что такое пароход, и знают каждый уголок в пароходе, каждую вещь, для чего она тут хранится или приделана. Товарищи любят их, в особенности любит их подручный повара и часто дает им то кусочек пирога, то кусочек жаркого или иных каких сластей понемногу, а главное, в свободное время, когда пароход стоял, учил их читать. В это свободное время Павел и Иван купались в реке, смывали с себя сажу, надевали чистенькие рубашки и ходили по городу, или спали, или починивали свою одежду. Зимою они отскребают снег, метут, колют дрова, носят воду и дрова то смотрителю пристани, то служащим на пристани и часто исправляют должность кучеров.

Они часто вспоминают про отца и Сысойку. Сидят они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюют:

— Жаль, Пашка, что отца нет. Все бы вместе лучше.

— Куда же он пропал? Вот и Сысойка нет.

— Уж Сысойко от отца не отстанет. Они, поди, всё бурлачат.

— Да теперь уж поздно бурлачить: вон суда плывут к верху. Я, знаешь, ходил на палубу, а бурлаки судно тянут. Жалко мне стало.

— Поди, отец так же тянет.

— А мы как увидим где отца да Сысойка, дадим им денег и звать будем с нами жить.

— Ладно.

Обедают они и говорят:

— Жалко, Ванька, что отца нет! Поел бы он с нами. Ведь он никогда так не ел.

— Жив ли он, Пашка?

— Не потонул ли с баркой?..

Оденутся они прилично и говорят:

— Как посмотрел бы на нас отец да Сысойко, удивились бы... Ишь, какие мы!

— А мы, как накопим денег, полушубки хорошие купим, а то дали нам какие-то большие да старые.

— Они, поди, теперь и не узнают нас.

— Я бы, знаешь, как стал бы жить с нами отец с матерью да с Сысойком, про людей бы да про города разные стал им рассказывать, а не то и читать им станем.

— Не поверят.

— Нам бы поверили: ты рассуди, ведь они родные нам. А вот скажи другой им, и не поймут.

— Почто же они такие?

— А бог их знает. Так уж, верно, бог устроил. Один богато живет, а другой бедно, и живут-то везде по-своему. Один сыт, а другой кору ест.

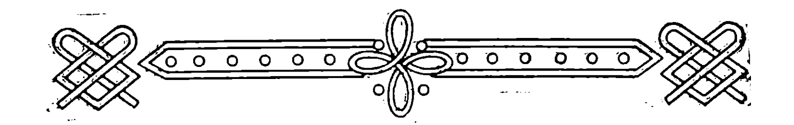
— А пошто же не все богаты?

— Ну уж, и не говори больше... Ты говори спасибо, что и так-ту живем...



СТАВЛЕННИК

ПОВЕСТЬ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

По окончании курса в семинарии

Егор Иванович Попов только что окончил курс в семинарии, и так как он окончил по первому разряду, то имел право просить священнического места.

Подобных субъектов, как Егор Иваныч, можно встретить очень много, если не по физиономии, то по крайней мере по манерам, сжатому произношению, какой-то боязливости. Лицо у него неказистое, то есть некрасивое; в семинарии его называли *теркой.* Терка — название, данное лицу, — означает, что лицо корявое, иначе сказать, оспой поеденное. Это бы еще ничего — так белизны нет. Глаза серые, почти что слепые, но Егор Иваныч очков не надевает, вследствие чего нередко сидел в карцере за то, что, попавшись навстречу инспектору или какой-нибудь влиятельной губернской духовной личности, не снимал им сослепу шапку, вроде того как солдаты отдают честь офицерам; нос... ну, да нос вещь очень небольшая. Впрочем, хороший нос придает какую-то привлекательность лицу. А у Егора Иваныча нос был неказистый, — не потому, впрочем, что он был еврейский или монгольский, чего, конечно, у него не могло быть, так как отец Попова происходит от дьячка, дед его тоже, и предки были чисто русской крови. Теперь на Егоре Иваныче суконный сюртук, уже отлинявший, с протершимися локтями и обшлагами рукавов, брюки триковые, серого цвета с клеточками, дешевой цены, фуражка годов шести; ну, сапоги, конечно, годовалые, с заплатами.

По этому можно заключить, что Егор Иваныч — человек бедный, во-первых, потому, что он терся в семинарии двенадцать лет, находясь под начальством разных должностных семинарских субъектов, во-вторых, занимаясь одними только науками, он, не имея протекции, должен был платить за квартиру с хлебами то, что пришлет ему бедный отец его, заштатный дьякон Иван Иваныч Попов. Конечно, можно бы и без протекции найти какие-нибудь средства, например учить детей или занимать *кондиции* в городе, но Егор Иваныч, во-первых, не любил кланяться людям или напрашиваться, а во-вторых, попалась ему кондиция у одного мещанина — сын-ученик оказался непонятливым, да его и от уроков часто посылали то к Люсавину, то к Ермолаихе, то по водку и за два месяца не заплатили учителю денег. А есть семинаристы и богатые.

Семинаристы вообще делятся на бедных и богатых. Бедные бывают бурсаки и живущие на квартирах, богатые — дети состоятельных родителей; но вообще живущие на квартирах оказываются состоятельнее бурсаков-бедняков, то есть детей бедных родителей и детей, не имеющих возможности наживать деньги сами собой.

К богатым принадлежат: дети богатых родителей, живущие на квартирах, которым отцы шлют много денег, собственно для того, чтобы дети получили диплом на поступление в духовную академию, семинаристы, обучающие, по протекции начальства, юношей, письмоводители семинарских правлений, певчие. К разряду певчих нужно причислить и архиерейских певчих; но архиерейские певчие наживают больше всех семинаристов, не архиерейских певчих. К сословию богатых принадлежат также: костыльники, книгодержцы, стоящие у царских врат с светильником, кладущие у ног архиерея орлы, иподиаконы. Но эти молодые люди — мальчики, исключая иподиаконов, которые выбираются из философии и богословии, дети большею частию протопопов. Они имеют свои деньги, независимо от родителей, таким образом: если архиерей служит в престольный праздник в городской церкви, освящает церковь, ездит по епархии, то причты дают каждому денег, как состоящему при архиерейской свите и исполняющему некоторые обязанности.

Всех семинаристов в семинарии, где был Егор Иваныч, семьсот пятьдесят человек. Они разделяются на *казенно-*

коштных и *своекоштных*. Казеннокоштных, или бурсаков, живущих на казенной квартире и пище, четыреста человек; своекоштных, живущих на разных квартирах в городе, триста пятьдесят человек. Казеннокоштные большею частию дети бедных родителей, начиная от причетника до священника, служащих в бедных селах, без казенного жалованья, дети умерших родителей, сироты, призренные начальством. Казеннокоштные сближаются друг с дружкой, и почти все четыреста человек если не приятели, то хорошие знакомые, начиная со словесности. Конечно, из четырехсот человек нужно исключить уездников, которые живут отдельно, и богословов, которые имеют со словесниками шапочное знакомство и ни во что ставят уездников. Житье в бурсе известно всем, кто жил в бурсе и кто читал очерки бурсы Н. Г. Помяловского. И поэтому о бурсаках говорить одно и то же не для чего: каждая семинария походит на другие; исключений почти что нет.

Своекоштные живут вольнее бурсаков. В городе много домохозяев, которые держат на квартирах преимущественно одних семинаристов, потому что семинаристов держать выгодно. У хозяина есть столы, стулья, кровати и даже *картинки* очень дешевой работы, две-три комнаты и кухня. Если комната большая, то в ней ставится три или четыре кроватки или кровати, четыре стула, стол, иногда и два; если комната маленькая, то две кровати, один стол и два стула. Дома эти находятся около и недалеко от семинарии. С каждого семинариста берется по одному рублю тогда, когда в одной комнате уже живут два семинариста, в другой комнате тоже два, в третьей один. Одна комнатка для одного стоит два и три рубля в месяц. За такую-то плату, а в иных домах и за пятьдесят копеек семинаристы наполняют квартиры. За эту же плату можно послать хозяйку на рынок; хозяйка даст самовара, поставит его, сварит щи, только подай семинарист деньги. Обед и квартира стоит пять и шесть рублей в месяц тогда, когда хозяйка держит семь-восемь семинаристов, и семь рублей, когда их два или три. Житье в этих квартирах несколько спокойнее казенного житья. Несмотря на клопов и других подобных зверей и на грязь, каждый семинарист живет здесь как дома. Конечно, уездник постоянно под началом старшего — словесника, который ставится к уездникам начальством, но все-таки

каждый может без спросу сходить на рынок, на реку и проч., а после вечернего визита инспектора, наблюдающего своей персоной за нравственностию своекоштных бурсаков или посылающего вместо себя богословов, семинаристы могут делать что хочется: петь песни, плясать, и в это время вступают в управу уже домохозяева, которые ругаются за то, что «дурья порода» им спать не дает.

Уездники, дети сельских церковнослужителей этого уезда, живут преимущественно с уездниками да с одним или двумя словесниками. Квартира с пищею каждому обходится в четыре и пять рублей, если не допускается роскоши, как то: не пьется чай, нет жаркого. По отъезде из деревни или села сын получает от матери пудик муки, которая отдается хозяйке для печения. Одной ковриги или булки уезднику достанет на три дня, а хозяйка экономничает так, что пуд муки достает уезднику на две или на три недели. Отец шлет каждый месяц сыну три или пять рублей — и сын покупает сам с рынка ковригу ржаного хлеба, калачей и молоко, которое носит торговка из завода через два дня. Вставши утром, семинарист съедает ломтик хлеба или калач, который стоит одну копейку серебром, припивая молоком. Обед — то же. Если у семинариста есть лишние деньги, он покупает говядины, крупы и картофеля, и хозяйка варит каждому или всем в общих горшках щи и кашу. Надо заметить, что семинаристы, живущие на квартирах, дружны — у них круговая порука. Все знают, что Попову отец прислал только два рубля. Попов издержал за квартиру один рубль и один — на щи и кашу с хлебом и молоком, которыми угощал товарищей при безденежье, — то, значит, Попова надо посадить за общий стол. Общий стол состоит из общины. У каждого семинариста есть мешочек с крупой и мешочек с хлебом или калачами; мясо хранится на хозяйском погребе. Утром каждый вынимает мешочек.

— Что сегодня — щи?

— Давай.

— У меня, брат, смотри: выдуло! — и семинарист вывертывает наизнанку свой мешок.

— Ну, и весь зубы на спичку.

— Елтонский, дай горсточку!

— Ну, нет, брат. Попроси у инспектора.

Все хохочут, а семинарист чуть не плачет.

— Дай, Вася... отдам...

Вася колотит просителя по голове кулаком, прочие тоже накладывают, приговаривая: «Вот тебе щи, вот тебе каша»; а один барабанит по спине неимущего кулаком, приговаривая: «Каша наша, щи поповы»...

Оказывается, что только у одного семинариста есть крупа.

— Вы что же? — спрашивает он товарищей.

— Дай! дай! дай!.. — кричат товарищи.

Если товарищ не дает крупы, крупу отнимают силой или заставляют его самого класть крупу в горшок.

— Клади за меня!

— И за меня!

— Я две горсти положил, — будет.

— А за меня клал?

— Да будет две горсти на всех!

— Как, братцы, по-вашему: плут?

— Надувало, блинник!

— А за это что следует?

— Качай его *в три лопатки!*

И семинаристы заставляют класть на всех по горсти, так что у него остается только горсть. Товарищи смеются.

— Ничего. Проживем и на аржанушке, а как получим от отцов — расквитаемся.

Случается, что от купленной только что вчера на всех говядины пять фунтов сегодня утром ни *чуточку* в погребе не оказалось. Это объявляет хозяйка. Приходит она в комнату, где все семинаристы в сборе и уже, с книжками в руках, собрались идти в семинарию.

— Молодцы! Беда какая вышла! — говорит она, хлопая руками по бокам платья.

— А что?

— Да говядину-то вашу кошка, будь она проклятая, слопала.

— Как же так?

— А так, слопала — и все тут.

— А мы этой кошке голову свернем.

— Ой, что вы, ребятушки! Мой буско такой умник и всё...

— Да как же слопала-то? Поди, *плохо лежала?*

— Знаете ли: в вечор заперла его в погреб, потому, значит, хомяков тьма-тьмущая. А мой буско горазд...

одно слово — умник... Ну, и заперла, значит, на самый замок, как есть заперла. Прихожу сегодня утром за коровницей...[1] Только, знаешь ты, сударь ты мой, взглянула в то место на полку, где ваша-то говядина была положена, взглянула — нету! Ах, пропасть! Пришла к полке, пощупала, вот этой правой рукой, — нету! Эх, думаю, на моих молодцов все неудача... Уж я буска-то стегала-стегала ремнем, больно стегала... Вор — парень!

— Так как же теперь?

— Да не знаю... Говядины нету... Дадите денег — новой куплю.

— Вот-те и щи...

Один запел: «Воскресения день, села баба на пень...»

— Вы, хозяюшка, сварите из своей.

— Что вы, молодцы! из своей!.. нету! Не постояла бы... Право слово, нету, да и пятница сегодня.

— Купите, пожалуйста.

— Дайте денег.

— Да нет. Отцы не прислали.

— Эко дело. Я ужо сбегаю к соседке, может даст.

Хозяйка уходит, а семинаристы гвалт подняли. Один говорит: «Хозяйка украла», другой говорит: «Она не впервой ворует, надо уличить ее», третий кричит: «Братцы, на другую квартиру съедем», и проч., наконец соглашаются, что на этой квартире хорошо: хозяйка ласковая, часто на рынок ходит, не сердится, когда мы кричим и поем песни, а если съела, так черт с ней: нам лучше, а жаловаться некому, да и не стоит.

Если у кого-нибудь есть щи или каша, то обедают все. При этом, конечно, хозяин приглашает только своего друга, друг этот просит товарища пригласить своего друга, да и хозяину совестно не пригласить остальных, иначе он неприятности от них наживет: сначала обедать ему не дадут в удовольствие, потом отомстят ему, — и обедают все вместе. Если ни у кого нет ни крупы, ни мяса, каждый ест ржаной хлеб.

Бывают у этих семинаристов праздники тогда, когда к одному из товарищей приезжает или отец, или брат, или просто церковнослужитель родного села. Тогда этот гос-

---

[1] Коровница — железный или оловянный горшок, в который доят из коровы молоко. *(Прим. автора.)*

подин с самого начала знакомится со всеми семинаристами квартиры (живут на квартирах, в одной комнате или в одном доме, уездники и словесники из одного села и братья родные, но это редко, потому, во-первых, что однопоселян мало, братьев тоже мало, и, во-вторых, философы и богословы живут отдельно от уездников, как люди, занятые высшими науками, люди, готовящиеся в священники или еще выше, и если у них есть братья, то эти братья живут с ними, но об них я скажу дальше); такой господин, познакомившись со всеми семинаристами квартиры, дает денег своему родственнику, под видом постоя на его квартире, а если у него есть лишние деньги, то дает и в долг. Тогда покупаются на счет приезжего или приезжих разные сласти, водка, и угощаются всею компаниею. Тогда все равны, и разгул — «что твоя малина»... Но это бывает всего несколько раз в год.

Уездники — мальчики от десяти до пятнадцати лет; словесники старше годами. Те и другие бойкие мальчики дома и в классах до учителей, но случается и при учителях пошаливают, что, конечно, им даром не проходит. Живя дома (в селах) на воле, они и здесь, на квартирах, «на коле дыру вертят», потому что живут с своими товарищами, к ним ходят тоже товарищи, приезжают родственники. При родственниках или родных они делаются смирными, хотя у них уже проявляются городские наклонности; но часто ездят или останавливаются на этих квартирах причетники, дьячки и пономари, перепрашивающиеся с места на место, хлопочущие о стихарях, разные дьякона по разным делам, и с этими людьми они *кутят,* то есть пьют их чай и водку, а иногда даже грызут орехи. Свою удаль и молодчество они проявляют друг на друге: кто кого переборет, перехитрит, перекричит, пересмешит. От такой жизни многие ленятся учить уроки, и хотя за ними следят старшие, их секут, оставляют без обеда, но наука все-таки плохо прививается к ним. Нельзя сказать, чтобы были все такие, есть между ними и хорошие ученики. Все их развитие состоит в заучиванье учебников, во всевозможных играх, пении духовных и светских песен, разговорах, касающихся предметов житейских, и насмешках над другими. Уездник умеет передразнить встречного и прохожего, как он ходит, и дает ему какое-нибудь смешное прозвище, а иногда и в глаза скажет

ему неприличное слово. Это происходит от глупого воспитания и еще более того — образования. В селе мальчик видел крестьян и своего отца считал выше их; жизнь там однообразная, развития никакого. Здесь хотя и губернский город, и народ развитее сельского, и жизнь разнообразнее сельской, но мальчик знает только свое общество, общество товарищей, и ни сам и ни товарищи не знают светского губернского общества, и мальчик, воспитанный на духовных (церковных) началах, смеется над этим обществом, завидуя мальчикам несеминаристам. И здесь, на квартирах, так же как и в бурсе, часто приходится сидеть в комнате, потому что семинарист боится идти на городское гулянье, а о театре и помину нет. Начальство зорко следит за своекоштными и часто заглядывает на одних сутках в их квартиры. Начальство знает, сколько живет в этом доме семинаристов и кто живет. Приходит оно в комнату и спрашивает: « Отчего не все?»

— На рынок ушли, — отвечают семинаристы, хотя начальство придет в одиннадцатом часу вечера. Через четверть часа приходит фискал начальства, и если в это время или еще через час не придут ушедшие, то их на другой день выпорют, и они будут значиться: *«Поведением безнравственный»*. Да если и удастся семинаристу быть в театре или на гуляньях, то кто-нибудь из товарищей проболтается в классе, и безнравственный получит порку и название: *«Поведения худаго»*. Каждый семинарист рад, если попадется ему какая-нибудь книжонка. У хозяев бывают книжки, но не более одной или десяти, приобретенные от разных жильцов за долги. Но эти книги —или старые учебники, или вроде: «Милорд английский», «Могила Марии» — и тому подобной дряни, которую каждый квартирант читает с жадностью раз пять и больше и хвалит. Если у кого есть деньги лишние, тот покупает книжки на толкучке, но тоже книжки старые, которые не только не развивают способности, но даже отбивают охоту к чтению. В этом городе было несколько библиотек, но эти библиотеки были недоступны ученикам по дорогой цене, да и сами состоятельные семинаристы, жаждавшие хорошего чтения, не могли получать книги из библиотеки: начальство не приказывало читать светские книги и, узнавши, что семинарист-«щелкопер» читает светское, страшно наказывало его, даже исключало; да

и сами библиотекари не давали книг «мальчишкам», потому что книги терялись. Но эти библиотеки существовали назад тому годов шесть. Теперь там существуют более доступные библиотеки, и каждый уездник может читать что хочет. Как это сделалось, я скажу сейчас.

Итак, назад тому годов шесть уездники были очень неразвиты, и кончивши науки в уездном училище, они в словесности ровно ничего не понимали. То же было и с Егором Иванычем и с прочей братией. Вступивши в настоящую семинарию, молодые люди начинают пренебрегать уездниками и живут с ними только ради начальства или по крайней бедности. Каждый словесник непременно хочет жить с словесником, для того чтобы ему не мешал писк ребят и было удобнее учиться по риторике и сочинять задачки. Словесники — сочинители, значит, люди, начинающие мыслить. Но что может сочинять пятнадцатилетний юноша, когда он до сих пор еще ничего не понял, уча риторику по книжке «отсюда и досюда», когда учителя не в состоянии объяснить, а только требуют задачек на тему: «Написать мне мысли на тропарь успения богородицы!» И учат и читают словесники словесность по старым и духовным книгам, и пишут на заданные темы все труднее и труднее, глупее и глупее — мучатся два года и поступают в философию с перепутанными мыслями; никакой идеи нет, все какая-то бессмыслица, убожество, рабство какое-то. Давали и светские сочинения для разбора, — например Пушкина, Лермонтова, а больше Карамзина и Ломоносова, — но не всем, большая часть словесников должны были списать такие-то стихи, выучить и написать критику. Современных изданий в семинарии не было; в городе достать трудно, да и начальство дозволяло читать только проповеди древних писателей и известных иерархов, особенно почитаемых духовным миром...

Философы жили с философами и богословами, занимая каждый по комнате. Это были уже восемнадцати— двадцатилетние молодые люди и на себя смотрели как на дьяконов и священников. Каждый своекоштник хотел свободы для своих занятий. Тут дружба была уже крепкая. Каждый старался высказать свое мнение другому, каждый спорил по тому, что он понял из науки, и каждый старался отличиться перед товарищем. Теперь уж уездники и словесники ни во что ставились.

Как в философии, так и в богословии преобладал схоластический элемент. Профессора, люди старые большею частию, монахи, священники, люди, старающиеся угодить начальству для получения орденов и должностей повыше, держали молодых людей по собственному своему рассуждению и требовали знания по книгам. Чтение светских книг здесь строго запрещалось, а именно: читающий светские книги мог быть исключен, а каково быть исключенному из богословия? Светское общество совсем было закрыто для молодых людей, и если они сталкивались с ним на гуляньях, то все-таки из кучки людей трудно что-нибудь составить... Но, наконец, и в семинаристах проявилось светское образование.

Семинаристы народ разговорчивый, но разговорчивый не со всеми. В семинарии он запуган, со светским робок, боится говорить, зная, что светское общество считает семинаристов за пьяный и забитый народ. Так было по крайней мере прежде. Прежде исключенный из богословии поступал или в почтальоны, или в уездный суд писцом, и это было назад тому шесть лет... Кто не знает, что такое в провинции архиерейские певчие! Они учатся мало, потому, во-первых, что ездят по губернии с архиереем, часто приглашаются на свадьбы, похороны и проч.; во-вторых, они, получая квартиру, хорошую пищу, большие доходы, пьянствуют, а науками не утруждают себя и в будущем рассчитывают на то, что они всю жизнь останутся архиерейскими певчими. А быть архиерейским певчим — вещь очень трудная. Уездник, по капризу регента, может быть исключен из певчих и выйдет, конечно, дураком. Словесник и философ — тенора держатся, а богословы и с худым голосом остаются и после курса семинарского в певчих, поступают дьяконами и все-таки поют в хору.

Архиерейские певчие в славе во всей губернии, но больше в губернском городе, где они со светскими знакомятся на свадьбах и похоронах при водке. Сидя за столом, при водке, студент университета начинает подпускать либерализм. Семинарист слышит что-то новое, смеется, ругается, не верит. Его урезонивают фактами... «Поди ты к черту!» — кричит семинарист... Но знакомство уже началось со светским человеком: светский человек говорит толково, так что ты его ничем не урезонишь.

Правду говорит. «Да ты откуда знаешь?» — спрашивает семинарист. «Нас учили так. Наша литература открывает нам глаза». — «Врешь ты все». — «Да ты читал ли что?» — «Нет». — «Так ты прочитай, а потом и суди...» Певчему, тем более архиерейскому, можно неделю не ходить в семинарию по болезни, да и начальство туда не заглядывает каждый день, поручая следить за ними эконому и надеясь на самого владыку. Певчий может читать что угодно, потому что нет начальства. Он прочитает хорошую книгу, и у него вдруг является сомнение в своей науке; он соображает прошедшее и настоящее с тем, что он видел у светских, где он бывал не десять раз; ему кажется, что это так и должно быть: люди живут как-то не так, а я чему учусь? Сочинение читают все богословы, философы и словесники; оно разбирается, и от одной умной головы переходят согласные убеждения ко всем. У всех явилось сомнение и недоверие; все чувствуют это и сообщают по секрету своим друзьям. А у молодых людей, еще не проникнутых новизной, — сказал один толково, резонно, и все соглашаются с его мнением, разбирают и говорят: «Это так!» Сомнение в семинарской науке распространилось по всей семинарии, исключая уездников. Стали семинаристы доставать секретно сочинения Белинского и Добролюбова, подписывались по двадцати человек на один билет в библиотеку и доставали серьезные книги; один читал, все слушали, разбирали, критиковали по-своему; узнали настоящую жизнь и стали умнее... умнее своих профессоров. Профессора стали замечать что-то новое, неподходящее, вольнодумство, — и стали следить за ними... Узнало начальство, что цвет семинарии, надежда ее, читает светские книги, да еще книги иностранные, стало выхватывать, конфисковать эти книги, которые или бросало в печки, или запирало в свои шкафы... Молодым людям трудно было вынести это насилие, но они ничего не могли сделать с властью... Так продолжалось два года. Но вот поступили профессорами пять академистов с новым направлением. Это были молодые люди. Они сразу поворотили науку по нынешней методе. Семинаристы с первого разу полюбили их, и на лекциях шла философия настоящая... Потом эти профессора, с помощью всех богословов, философов и нескольких словесников, накупили книг и открыли публичную

библиотеку в городе, заведование которою принял на себя один из профессоров. Все семинаристы читали даром, и читали настоящую философию, настоящую науку... Они стали сочинять, завели свои журналы... Это продолжалось полтора года.

. . . .

Начальство стало жаловаться на молодых профессоров. Семинарию закрыли.

. . . .

Ревизор, приехавший из Петербурга, нашел, что семинаристам можно читать светские книги...

Теперь там дозволяется читать светские книги. Семинаристы, начиная с уездников, читают русские журналы.

Егор Иваныч платит за комнату два рубля в месяц уже четыре года. Отец исправно высылает ему к первому числу по восьми рублей. Так как на шесть рублей трудно содержать себя, то он утром питается молоком и куском ржаного хлеба, обед то же, иногда и щи, иногда и чай, но это бывает редко, по праздникам, и то вскладчину с другими семинаристами-однокурсниками, живущими в том же доме. Так как семинаристы, начиная со словесности, не играют в карты, в мячик и прочие игры, то Егор Иваныч занимался постоянно книгами. Придет домой из семинарии, поест, полежит на кровати, поговорит с товарищами кое о чем и примется за лекции. Если сам чего-нибудь не понимает, то совещается с товарищами, и те тоже советуются с ним. Товарищи мало сидели дома, они уходили к другим товарищам или приводили на квартиру их приезжих дьяконов и священников и кутили. Егор Иваныч редко выходил из дому, он постоянно твердил книги, вычитывал, сочинял, переписывал лекции и в классах был вторым учеником. За прилежание и хорошее поведение ректор избрал его к себе в служки. Обязанность такая: одевать ректора в церкви, то есть надевать ризу, митру, и стоять при нем при церковных службах. Но это продолжалось с месяц. В это время богословы и философы читали секретно книги, и как все богословы и философы любили Егора Иваныча за честность и за то, что он ни на кого не кляузничал, не фискалил, то и стали его сбивать на новые идеи. Сначала Егор Иваныч только смеялся:

— Полно вам, господа, переливать из пустого в порожнее. Ну, что вы толкуете-то? К чему это?

— Ты тоже хорош, ты пойми то, что ты богослов, хороший ученик, народу будешь, может быть, говорить проповеди.

— Дак что?

— Дак что? Фофан ты эдакой!.. Стыдись!

Егор Иваныч мало-помалу стал стыдиться... Однажды он при народе как-то нечаянно уронил из рук ректорскую митру. За это его отставили от должности, в поведении значилось целый год: *неблагонадежен* — и на целый месяц начальство дало ему такой искус: он должен был исполнять в семинарской церкви должность старосты: ставить свечи, ходить по церкви с кружкой и тарелкой. В последнее время его даже причислили к разряду либералов, но Егор Иваныч избегал этих либералов, не ходил на сборища, а сидел дома, за что его прозвали каким-то неприличным именем. В последнее время ему туго приходилось, и он каждый день боялся того, чтобы его не исключили. Однако он кончил курс.

Утро. Егор Иваныч сидит в тиковом халате у окна и читает какой-то журнал.

— Егор! — спросил его товарищ из другой комнаты, Павел Иваныч Троицкий.

— Что?

— Да нет чаю.

— Ладно и так.

— Ну, не то ладно. А скверно, брат, денег нет ни гроша. Отец не посылает. Придется сегодня обойтись на пище святого Антония.

— Я и сам удивляюсь, что это сделалось с моим отцом. Ведь знает, что нужно ехать.

— А славно мы теперь погуляем! Кончили, Егорушко, учение проклятое... Сколько мы годов учились!

— Много...

— Карьера открывается: ежели в духовное — поп, в светское — чиновник.

— Трудненько досталось нам это.

— А я, брат, еще буду учиться; съем всю науку до конца.

— Нет, я не стану учиться. Я много перенес, — будет.

— А сомнения-то куда дел?

— Постараюсь бросить.

— Ну, брат, коли твои мозги начали двигаться, сомненья не заглохнут. Ты только что начинал понимать вещи и многих вещей не понял, потому что с нашей семинарской наукой и не поймешь их. У нас стараются доказать, что мы с своей наукой и кончили всё, умниками стали... Конечно, мы грамматику хорошо знаем и изложить на бумаге умеем, но что изложить? А заставь нас по-светски сочинить, и *твердо-он-то, да подперто*... Мы даже и говорить-то со светскими не умеем.

— Потому что мы духовные.

— Уж коли мы исполняем такие обязанности, проповедуем о добродетели, так нам нужно все знать. Надо или заслужить доверие светского общества, или вовсе не быть духовным. Уж если быть учителем, так и вести себя поучительски. А что мы знаем? Спроси нас светский что-нибудь серьезное, мы и скажем: это воля божья... А почему же мы-то не можем разъяснить? Ведь светские разъясняют же? Стало быть, они умнее нас...

— Я думаю, в селе лучше жить. Там общество проще. Крестьяне народ славный.

— Хорошо. Ты и будешь жить там всю жизнь: будешь есть, да спать, да толстеть...

— Буду говорить проповеди.

— Семинарским-то слогом! Да крестьяне не поймут тебя.

Немного помолчав, товарищ продолжал:

— В деревню тебя манит простота народная... И заживешь ты по-крестьянски, с тою только разницею, что тебя будут считать барином, пожалуй еще выше: шапки будут снимать, в пояс кланяться, хлеб будет готовый, сено готовое — добытое трудами крестьян... Ты теперь молод, ты любишь народ. Сначала ты примешься говорить с крестьянами ласково; учить детей будешь по-нынешнему; крестьяне полюбят тебя... Но поверь, эта привязанность охладится. У тебя будут дети, надо будет учить их, заботиться об них; надо будет денег, ты и начнешь отставать от ладу с крестьянами; озабоченный, ты будешь стараться обеспечить будущность своего семейства, будешь требовать с крестьян то того, то другого...

Теперь развитие... Сначала ты будешь говорить по-нынешнему, по-городски, а потом и это надоест, потому что там не поймут, смеяться будут, пожалуй еще будут говорить, что неприлично. Читать там нечего, а если будешь выписывать журналы на крестьянские деньги, так еще напишет кто-нибудь на тебя жалобу. Ты и бросишь все и будешь или лежать, или по грибы ездить, или будешь делать то, что делают крестьяне.

— А разве это худо?

— Не худо по грибы ходить да делать наравне с крестьянами то, что и они делают. Жаль только, что молодость пропала. Еще ладно, что хоть обеспечение-то будет: место дадут. Вот только к чему послужило наше долголетнее терпение, а там и будешь толстеть на пользу своей утробы. Людям же ты никакой пользы не принесешь.

— Принесу.

— В тягость им будешь.

— Ну и врешь!

— Ты, Егор Иваныч, непременно открой воскресную школу.

— Открою.

— Только учи по-светскому, эдак не прямо, сбухтыбарахты, а полегонечку им растолковывай... Впрочем, тебе бы и самому надо поучиться.

— Будет.

— Как знаешь. Да пожалуйста, как будешь учить ребят, розги и колотушки исключи.

— Не толкуй, — знаю, что делать.

Троицкий махнул рукой и ушел в свою комнату. Троицкий был второго разряда и развитый настолько, что другой элемент взял в нем перевес. Он сегодня собирается подать прошение об исключении его из духовного звания. «Пойду учиться в университет, всю жизнь буду работать, дойду-таки до настоящего».

Попов не любил Троицкого за его рассуждения, и у них почти каждый день бывали споры и ссоры. «К чему это он говорит все? Ведь меня уж не переделаешь, не вышибешь из башки то, что в семинарии вбили в нее... Да и лучше, — спокойнее. Пора и отдохнуть...» Попов даже хотел переехать на другую квартиру, но он любил Троицкого за что-то особенно, жалко было расстаться с тем, с которым он двенадцать лет жил вместе.

Девять часов утра. Попов, одевшись, пошел в почтовую контору. Там спросил у почтальона, нет ли повестки или письма на его имя. Ни письма, ни повестки не было. Попов запечалился и пошел на берег к тому месту, где сидели на скамейке двое приезжих, один в рясе, другой в подряснике, которых по одежде трудно различить, кто они, потому что дьякон и священник носят рясы, а дьячки, пономари и причетники подрясники. Попов встал невдалеке около них.

— Вы секретарю сколько намереваетесь дать? — спрашивал подрясник.

— Да рублей пять. Столоначальнику рубля три надо.

— А я дак, право, не знаю, что делать.

— Воля божья. — Оба собеседника замолчали и плачевно смотрят на реку.

Попов подошел к ним, снял фуражку и проговорил:

— Здравствуйте. Вы откуда?

— Здравствуйте, — сказали собеседники, и оба сняли шапки.

Ряса подвинулась и проговорила:

— Просим покорно. Вы семинарист, если не ошибаюсь?

— Кончивший курс.

— Очень приятно. Что же, место получили?

— Нет еще. Даже не знаю, где вакансии есть.

— Ну, это плохо. Я тоже кончил курс назад тому годов семь, два года ходил в консисторию да в архиерейскую канцелярию: едва нашел. А позвольте ваше имя и отчество?

— Егор Иваныч Попов.

— Очень приятно. Очень приятно! . . Я диакон единоверческой церкви в Крестовоздвиженском селе!

Следуют расспросы об единоверцах и рассказы об них.

— Житья нет. Поэтому хочу перепроситься в православные, хоть бы на причетнический оклад.

По духовному ведомству священник выше дьякона, дьякон выше дьячка, носящего стихарь, дьячок ниже пономаря, носящего стихарь и т. д. Есть священники, отправляющие службу по *сану,* но получающие доходы наравне с дьяконом, это значит — священник на дьяконском окладе.

— Я, Егор Иваныч, вот уже вторую неделю трусь здесь, сколько денег рассовал, служу я дьячком, надо

стихарь. Всего-навсего осталось два рубля да тринадцать копеек, — проговорил подрясник.

Дьякон захохотал.

— Подумаешь, и дело-то пустое: стихарь надо. Сколько в службе?

— Одиннадцатый год.

Дьякон мотнул головой в знак удивления и впился глазами в Егора Иваныча.

— Каково?

— Плохо. А вы где обучались?

— Из причетнического класса исключен.

Дьякон угостил собеседников нюхательным табаком, который Егор Иваныч нюхивал изредка.

— А вот что, Егор Иваныч, поезжайте в Милютинск, там, знаете ли, женский монастырь есть и при нем воспитанницы.

— Знаю.

— Ну, вы сначала к владыке сходите, чтобы он разрешил вам вступить в законный брак с воспитанницей и послал туда указ. А там настоятельница сама изберет вам невесту и место даст.

— Я письмо от отца жду.

— А ваш батюшка кто?

— Заштатный дьякон.

— Что же, невесты там есть?

— У священника дочь годов восьмнадцати.

— Вот и дело. Значит, дело за местом.

— А я бы из монастыря взял, — сказал дьячок.

— А вы женаты, Павел Максимыч? — спросил дьячка дьякон.

— Женат, семеро детей, мал мала меньше...

— У меня тройка... Из монастыря оно, конечно, хорошо, можно в городе место получить, а городское житье не в пример лучше сельского; в особенности в таком городе, как Милютинск.

— Я, пожалуй, не прочь, только бы состояние имела.

— Ну там, я вам скажу, дадут вам приданое да сто рублей денег, и больше ничего. Да и девица-то, сказывают, того-с... ненадежная...

— Это плохо.

— А ваша невеста, позвольте спросить, богатая?

— У меня еще нет невесты.

— Полноте шутить! Давече сказали, что у священника вашего дочка есть.

— Да ведь кто же ее знает?

— Делов не имели? — Дьякон захохотал.

— Да как вам сказать: прежде игрывали вместе, но дел никаких не было, в прошлое лето она гостила у тетки, а в третьем годе я здесь в больнице пролежал всю вакацию.

— Больше у священника нет деток женского пола?

— Есть две дочери: одной тринадцать лет, а другой седьмой.

— Недоростки!

Молчание. Дьякон вдруг обращается к Егору Иванычу:

— Знаете ли что?

— Что?

— Вчерась я был в консистории. Смотрю, сторож газету читает. Каково? сторож газету читает и хохочет... Мне показалось больно смешно, грех те заешь! .. Подхожу к нему и спрашиваю: что, Никифор Иваныч, из Москвы пишут; усмирили ли врагов? Он и говорит: да ничего, так, уж больно занятно... Дайте, говорю, Никифор Иваныч, газетки почитать. Нельзя, говорит. Я ему дал двугривенничек, уступил и показал на одно место: вот, говорит, жениха вызывают, и хохочет... Я думаю, что же тут? Ну, надел очки и читаю, и что же, Егор Петрович...

— Егор Иваныч... — подсказал дьячок.

— Извините, Егор Иваныч... Ну-с... На чем, бишь, я остановился? .. Ну, читаю... В Воронежской губернии, знаете ли, в каком-то уезде (я было записал уезд-от, да потерял либо на папироски сжег спьяна), дьякон умер, а у вдовы осталось четыре дочери. Вот она и подала просьбу консистории. Должно быть, консистория не нашла женихов и напечатала цыдулку или указ, как там по светскому — не знаю, что-де кто девицу Анну двадцати двух лет, то есть сестру старшую, возьмет замуж, за тем и место останется... Каково? Благая мысль. Вот мы живем в захолустье и ничего не слышим, а здесь все можно узнать. Благая мысль. Махните-ко! А?

— Далеко.

— А сколько верст?

— Да верст тысячи две.

— У-у! Экая даль, господи помилуй!

— Я мекаю, поди, теперь туда много женихов-то наехало, — заметил дьячок.

— В экую-то даль?

— А своя-то губерния?

— Точно, точно... Ваша правда, Павел Максимыч.

Чтобы удостовериться в том, как скоро знакомятся духовные между собою, духовные, не видавшие друг друга никогда и живущие друг от друга на расстоянии двухсот — пятисот верст, нужно зайти в крестовую церковь или кафедральный собор во всенощную или к обедне, когда служит архиерей. Тут собраны лица духовного ведомства почти со всей губернии. Тут вы увидите протоиерея в камилавке и с наперсным крестом, монаха, снимающих свои камилавки, скуфьи и клобуки во время главных молитв, славословий и священнодействий, священников (которых можно отличить по крестам 1853 — 1856 годов), дьяконов, или, проще, лиц личного дворянства духовного ведомства, и подрясниковых — дьячков, пономарей и причетников. В церкви их человек двадцать. Они знакомятся так.

Подходит священник к протопопу и становится рядом. Священнику хочется свести знакомство с протопопом для того, чтобы *прозреть*, каковы там места. Но как заговорить с протопопом?.. Священник вынимает табакерку, щелкает пальцами по крышке и крякнет... Знай, мол, наших!.. Протопоп оглядывается в сторону священника. Священник раскрывает табакерку и говорит: не желаете ли-с?

— Пожалуй! — Протопоп берет в два пальца табаку и нюхает. Знакомство началось.

— Вы откуда? — спрашивает протопоп. Следует ответ. — Зачем, почему, ну как? — И дальше приглашение прийти на квартиру...

Если протопоп брезгует табаконюханьем, то священник начинает атаку иначе. Он слегка толкнет протопопа, будто нечаянно, потом скажет: извините-с! Посмотрит на протопопа и скажет заискивающим голосом:

— Вы, отец протопоп, давно здесь? — После ответа следует опять вопрос: — зачем? и — ну, а как дела? — После ответа: «как сажа бела», — следует приглашение.

У священников, дьяконов, дьячков и прочих обращение иное. Священник боится подойти к протопопу; кто его знает, кто он такой, а одноряисники обращаются запросто, потому что священника трудно различить от дьякона, если он не имеет знака отличия. Тут знакомство начинается так:

— Мое почтение! (Следует дерганье за рясу.)

— Мое вам...

— Издалече?

И прочее.

У дьячков и прочих придаточных еще проще: «Ты откуда?» — «Оттуда». — «Перепрашиваться?» — «Да». — «А я стихарь хочу получить». — «Шиш получишь». Приезжий сразу видит своего брата приезжего, знает, что как он сам, так и собрат его приехал по нужде и церемониться нечего, во-первых, потому, что душу отведешь с сельскими людьми, а во-вторых, что от них можно узнать: нет ли где хорошего места.

В церкви много толковать нельзя. В церкви хотя и знакомятся, но знакомство это ни к чему не ведет, хотя и обещаются с обеих сторон угощения. Знакомство в консистории и в архиерейской прихожей доходит даже до дружбы, до одолжения деньгами. Чтобы потолковать, приезжие толкуют где попало, а больше на квартирах, где непременно угощаются чаем и в особенности водкой.

Егор Иваныч с дьяконом и дьячком пошли в консисторию. Там, в прихожей, называемой коридором, что называется — содом и гомор. Человек двадцать разнокалиберных лиц, в разнокалиберных костюмах, с палками и без палок, с разноцветными кушаками, поясами и просто «опоясками». Говор непомерный — и басы, и теноры, и дискантики, и прочие неописанные, но натуральные голоса переливаются в прихожей вместе с кашлем, кряканьем, которым редкий из духовных не одержим, начиная с словесности, и сморканьем. Сторож в военной форме сидит на диване и, посматривая то на того, то на другого, ухмыляется. Он дестевой зашивает. [1]

— Верно, мы с носом? — говорит протопоп протопопу, сидя на диване.

---

[1] Дестевым называется казенная посылка — книги или бумага — в два—пять фунтов, зашитые в холст. *(Прим. автора.)*

— Я жаловаться стану.

— Ну, наши жалобы ко вреду нашему последуют.

— Это досадно, целый час члена нет. На ваших который?

— Да двенадцатый, поди... — Протопоп вынул часы из-за пазухи, посмотрел и сказал: — без двенадцати двенадцатый.

— Как подошло-то?

— Аккуратно. — Оба смеются.

— Владыка ничего?

— Ты, говорит, не печалься. Сына твоего знаю, говорит... А вам?

— Отчего, говорит, ты тут не живешь? Я и говорю: ваше высокопреосвященство, народ ныне тут хуже стал, никакая речь не действует, даже с крестом не стали принимать...

— Поди-кось!.. Это правда, отец протопоп. Народ нынче совсем развратился, развратился так... Жалко! — и говоривший это сделал такую гримасу, что, несмотря на бороду и небольшую не заросшую волосами часть лица с носом и глазами, слушавший их бедный дьячок подумал, что протопопа или владыка путнул, или у него только живот крепко болит. — Ну-с, а владыка на это как рек? — сказал протопоп.

— Ну, я и говорю ему: не могу я жить в этом городе, лучше, говорю, в губернский переводите. Он и говорит: об этом я подумаю...

— Я слышал, вас представили к наперсному?..

— От кого изволили слышать?

— Слухом земля полнится, отец протопоп. Говорят, будто скоро надевать его на вас станут.

— Ой, вздор! ох, неправда! Вот что значит: какие у меня недоброжелатели!

Протопоп протопопу или священник протопопу и наоборот ни за что не скажут правду: зачем они приехали в город. Зачем приехали — знают члены и секретарь консистории, эконом архиерейский и сам владыка; хотя же и знают семинаристы-богословы, и приезжие священники, и прочая мелюзга, — так разве хозяева, у которых они остановились, подслушав разговоры их с секретарем, «разгласили», — и сами приезжие на воле с своими детьми калякают, рассказывают им. Говорят люди, что они

тают причины приезда до поры до времени, по личным причинам, по зависти.

Дьяконы и дьячки кричат:

— Ну-ка, отец дьякон, дай-кось табачку понюхать!

— Маловато.

— Ну, ну, нечего отнекиваться-то! У тебя, я знаю, хорошее ведь место.

— Вот за это слово я тебе и не дам. Шиш получишь!— И дьякон отходит прочь.

— Да что это, господи помилуй, как долго? — говорят человек шесть.

— Эй, сторож, впусти! — просит сторожа священник.

— Пущать не велено.

— Как не велено?

— Не велено, и все тут.

Протопопы ушли в канцелярию. За ними пошли и священники. Сторож вмиг подбежал к дверям и стал посереди их.

— Отчего ты не пускаешь?

— Не велено.

— Почему?

— Говорят, много всяких шляется. Отцом Антоном не приказано... Вон тут надпись была приклеена, да из вашей братьи кто-то оборвал.

— Ты нам кого-нибудь пошли оттуда.

— Кого я пошлю! Вон столоначальник-то, Гаврилов, трои сутки без просыпу пьет и дома, что есть, не живет, ищи его, — с семи собаками не сыщешь.

— Ты писца пошли али помощника.

— Есть когда мне посылать. У меня делов-то и без вас вон сколько! — Сторож указал на угол, в котором лежали книги.

Один священник дал сторожу двадцать копеек.

— Как ваша фамилия?

— Документов.

Сторож ушел в канцелярию и чрез две минуты воротился, сказав, чтобы священник шел за ним.

Столоначальник в это время был в консистории; не пускать к нему не в известное время — был каприз и сторожа и самого столоначальника. За десять и двадцать копеек просители были вводимы в канцелярию, или к ним

выходили писцы и удовлетворяли их. Выходившие шептались со стоявшими у дверей в канцелярию.

— Ну что?

— Десять человек на одно место.

— Врешь?

— Вот-те бог!

— А я было хотел на это же место проситься... Дак куда теперь думаешь?

— Не знаю. Спрашивал места, завтра велел прийти, записал фамилию.

— Сколько дали?

— Три рублика.

— Экая прорва! Ведь эдак ему сколько надают! А у секретаря не были?

— Нет... Там член сидит да протопопы.

— А я указ получил... Вот он! — говорит весело выходящий дьякон.

— Поздравляем.

— Покорно благодарю. Пожалуйте ко мне на закуску.

— А где ваша квартирка?

— Вместе пойдемте... Вот он, указ-то. Думаете, дешево стал? Двадцать четыре целковика... Зато место, говорят, такое хлебное...

— Ну, и слава те господи!

Сторож подходит к дьякону с указом и поздравляет. Дьякон дает двадцать копеек. Половина тершихся в коридоре уходят за дьяконом.

Егор Иваныч вошел в канцелярию и подошел к столоначальнику,

— Что скажете?

— Позвольте вас побеспокоить...

— Ну-с... Вы кто такой?

— Я только что кончил курс богословия по первому разряду.

— В священники или диаконы хотите?

— В священники.

— Священнические места все заняты.

— Я слышал, что в Куракинском уезде много мест священнических.

— Надо справиться...

— Пожалуйста... Отец у меня бедный, я тоже бедный.

— Теперь мне некогда.

— Когда прикажете прийти?

— Через недельку.

— Мне не на что жить здесь.

— Вы вот что сделайте, — сказал другой столоначальник: — подайте просьбу владыке, он напишет резолюцию, чтобы мы представили ему справку, а между тем понаведывайтесь.

— Очень хорошо. Только я не знаю, как составить просьбу.

Через четверть часа Егору Иванычу дали лоскуток бумаги, на которой была написана форма просьбы. За это сочинение с него попросили денег, Егор Иваныч отдал последние двадцать копеек. Зато он пришел домой очень обрадованный. Дома никого не было. Поэтому Егор Иваныч отправился к богословам — Клеванову, Попову, Панкратьеву, живущим на одной квартире. У тех кутеж.

— А! Егор Иваныч! — приветствовали Егора Иваныча товарищи.

— Это, отец Семен, наш однокурсник, первого разряда.

— Очень приятно! Имею честь рекомендоваться, Патрушинского уезда Егорьевской церкви священник Семен Павлович Мухин. — Священник подал руку Егору Иванычу.

— Давно изволили приехать, отец Семен?

— Сейчас, сию минуточку.

— А зачем приехали?

— Антиминс надо получить. Указ получил из консистории.

— Ну вы, отец Семен, не скоро отделаетесь от консистории, — сказал Панкратьев.

— Как-нибудь. Пожалуйте, Егор Иванович, водочки.

— Я не пью-с.

— Ну-ну. Надо привыкать-кавыкать.[1]

— Он у нас фаля какая-то. Все учил да учил лекции.

---

[1] Слово кавыкать, вероятно, взято от грамматического значка — «кавычка». Оно произносится навеселе, как слово хитрое — эк ты накавыкался, то есть напился. Оно больше произносится при слове привыкать. Если кому в жизни не везет, то он говорит: э, уж не впервые привыкать-кавыкать. Стерплю, мол, еще. *(Прим. автора.)*

— Похвально. А ничего, попробуйте! — Священник выпил свою рюмку.

Егор Иваныч выпил и закусил. Стали обедать. За обедом шел разговор об домашних священниках Мухина, о местах и невестах.

— Как вам сказать... В нашем уезде мест таки много есть. В Знаменском селе дьякон переведен, и место еще не занято.

— Да мы в дьякона не пойдем, — отозвались кончившие курс семинарии.

— И не стоит. Священнику лучше житье. Вот бы, к слову, я. Я теперь старший в селе, а служу всего-то четыре года и бороды еще не отрастил. Ну, сначала под началом был, да как того перевели в другое место, я и стал старшим, потому что другой-то священник кончил курс по второму разряду и восемь лет служил дьяконом. Жить можно. Умей только с приходом обращаться. Теперь училище я тоже к себе забрал, по пятнадцати рублей в месяц получаю.

— Так у вас нет поближе к вам местов?

— Как нет. В городе две священнические вакансии, в Моховском заводе священник на этой неделе умер; в Тимофеевском, говорят, под суд попался.

— Вот и дело. Значит, на всех четверых места есть.

— Надо только, господа, не зевать. Завтра же пишите прошения и подавайте владыке.

— А мне обещались сказать, где есть место, — сказал Егор Иваныч.

— Ну, на них вы не надейтесь. Ведь они знают, что вы человек бедный, и скажут такое село, где кроме жалованья вы ничего не получите. А у нашего брата расходов пропасть. Благочинному надо дать; за метрики надо в консистории двадцать пять рублей каждые полгода, а как власть приедет?.. Беда.

— Которые же из этих лучше?

— В Моховском лучше всех. Да туда мой тесть хочет перепрашиваться, чуть ли уж и прошение не послал.

— А ваше село каково?

— Ничего. Народ, знаете, только бедный.

— Ну, а насчет невест не знаете?

— Да у отца Петра Колотушинского, в Крестовоздвиженском, две дочери.

— Стары?

— Одной двадцать четыре, а другой девятнадцатый год. Он ничего, зажиточный.

— Отчего же они засиделись?

— Видите ли, дело в чем. Он уже выдал двух дочерей; та, которой двадцать четыре года, больно некрасивая и к тому же хромая; а у этой бельмо на одном глазу. И рад бы спихать — никто не берет.

— Да кой черт эдаких калек возьмет?

— Ну-с, у моего тестя есть дочка, Глафира Сидоровна. Ничего, красивая. Годов шестнадцать.

— Никто не сватается?

— Приказчик заводский сватался, да не отдает.

Всем захотелось, каждому особо, жениться на Глафире Сидоровне.

— Так как, отец Семен? — спросил Клеванов.

— Что?

— Насчет невесты-то?

— Хотите, сосватаю?

— Куды ему с его рылом соваться! — сказал Попов второй: — лучше мне сосватайте.

— Вы, господа, лучше прежде всего места найдите, а за невестами дело не станет. Не нашедши места нельзя жениться.

— Хоть бы старуху какую, только бы место получить за ней, — сказал Клеванов.

— Плохой вы знаток в этом случае. Вот здесь, поди, сколько невест-то!

— Невест много, да и развратниц не мало, — сказал Егор Иваныч: — мещанку брать не стоит, потому что не образована и бедна, из военного сословия брать не дозволено, купчиха не пойдет, а чиновницы — франтихи, заважничают скоро.

— Да, плоховато. А ведь, я думаю, у владыки есть просьбы от вдов?

— Как, поди, нет.

Долго Егор Иваныч сидел у приятелей, и беседа шла все в этом же роде. Дома Павел Иваныч отдал ему почтовую повестку, в которой значилось, что Егору Иванычу следует получить восемь рублей серебром.

— Ты, Егор, наперед получи письмо, а потом уж и подавай прошение, — сказал вечером Троицкий своему

товарищу. — А я — брат, уже подал прошение вместе с десятью человеками, которых ты знаешь. Я, Илюшка Спекторский, Иван Бирюков, двое Кротковы едем в университет, впрочем, Бирюков в медицинскую академию хочет, Петрушка Кротков не знает, куда. Ему, видишь ты, хочется и в духовную академию, вероятно в архиереи метит. Я, говорит, жениться не буду.

Егору Иванычу жалко стало Троицкого.

— Ты, Паша, не езди...

— Нельзя. Век нянчиться с тобой невозможно. А если я и буду жить с тобой, то я не хочу, чтобы ты в метриках писал... Ты, пожалуй, сердиться после будешь на меня... Нет уж, бог с тобой, не стану тревожить твои мозги; живи себе на потребу и на пользу людям... Ты будешь приносить пользу обществу легким трудом, я также буду приносить пользу, только мой труд, может быть, тяжелее твоего будет...

— Не хвастайся.

Троицкому обидно сделалось, но он смолчал и ушел из дому на всю ночь. Егор Иваныч всю ночь не спал. Ему хотелось скорее получить письмо, узнать, что пишет отец про его невесту, Степаниду Федоровну, жениться, получить место, посвятиться... И при всем этом переборе мыслей, при представлении всего этого по частям и вообще, сердце стучало, чувствовалась какая-то радость и какой-то трепет.

— Помоги мне, господи! — шепчет Егор Иваныч, глядя в угол и на небо, и чувствует в это время, что он весь предался этой молитве, точно голову его приподняло кверху, душа куда-то возносится с словами: господи, помоги! — Буду я тебе верный слуга и добрый пастырь. — Но тут же Егору Иванычу опять представляется настоящее положение, консистория, женитьба, дети, и прокрадываются какие-то нехорошие мысли...

Почтовые конторы выдают деньги семинаристам не иначе, как по сделанным на повестках удостоверениям семинарского начальства, как то: подписи ректора или инспектора и скрепы письмоводителя, и с приложением печати семинарского правления. Утром Егор Иваныч отправился в семинарское правление. Василий Кондратьич,

письмоводитель правления, был дружен с Поповым и не задержал повестку. Он даже сам снес ее к ректору для подписи, но скоро воротился.

— Ступай, тебя ректор зовет.

— Зачем?

— Не знаю. Только смотри не робей, да замолви об месте: он любит, чтобы его просили.

Егор Иваныч пошел к ректору. Ректор пил чай с ромом. Егор Иваныч подошел под благословение к ректору и отошел к дверям, дрожа всем телом.

— Ну, Попов, что скажешь? —спросил ректор, лукаво и строго глядя на Егора Иваныча.

Егор Иваныч не знал, что сказать на такой вопрос, и переминался с ноги на ногу, поправляя то галстук, то засовывая левую руку за глухо застегнутый сюртук.

— Не хочешь ли и ты сделаться скотом бессмысленным, подобно тем десяти болванам?

— Никак нет-с, ваше высокопреподобие.

— Никак нет-с... Что же? я держать не стану. Худая трава из поля вон.

— Я никогда не думал выходить из духовного звания, ваше высокопреподобие.

— Отчего же бы и не выйти? Жизнь веселая, разгул, разврат. А там что?

— Там ад.

— Что же, и хорошо! Мы вас учили, все старания употребляли на то, чтобы вы были истинными, достойными сынами нашей церкви, подготовляли вас к пастырской обязанности; а вы за все это злом нам отплачиваете... О, злые плевелы! Будете каяться да после смерти несть покаяния.

— Ваше высокопреподобие, я никогда не увлекался этими людьми, хотя они и старались всячески совратить меня.

— А Троицкий?

— Он только жил со мной на квартире; и вот вам доказательства, что я вышел вторым по первому разряду и, не слушая его советов оставить духовное звание, с нетерпением жажду получить сан священника.

— Я забирал о тебе, Попов, сведения частным образом, и мне говорили о тебе в последнее время, что ты

исправляешься. Дай бог! Это доказывают твои задачки. Можешь ли ты быть священником?

— Могу.

— Я бы попросил владыку послать тебя в духовную академию вместе с Кротковыми, но Кротковы исключаются по прошению их отцов; за это им будет выговор от владыки, яко за совращение юношей. Тебя же я боюсь послать, потому что закружишься в большом городе, совратишься и уйдешь туда же, куда уходят и прочие болваны.

— Я, ваше высокопреподобие, не желаю учиться.

— Конечно, если бы ты по окончании курса получил магистра, ты в духовном звании мог бы быть и епископом.

Ректор отдал Егору Иванычу повестку, уже подписанную им.

— У тебя отец богатый?

— Нет-с. Он заштатный дьякон.

— Стало быть, и надо призрить отца. Может быть, и у тебя будут дети, тогда сам узнаешь, каково это бремя.

— Я батюшку никогда не забуду. — Егор Иваныч подумал: что это он сегодня размазывает?

— Ваше высокопреподобие! — приступил Егор Иваныч к ректору: — позвольте побеспокоить вас насчет места.

— В этом деле я едва ли могу быть ходатаем.

— Я справлялся в консистории, но там ничего мне не сказали, а на эти восемь рублей я ничего не сделаю.

— Терпение, сын мой.

— Ваше высокопреподобие, мне надо за квартиру платить, есть нужно.

— Позанимайся в консистории.

— Не могу.

— Почему?

— Там даже сторож берет с бедных причетников за то, чтобы он вызвал столоначальника или писца.

— Об этом судить не твое дело. Впрочем, я подумаю.

— Когда я могу надеяться получить милостивый ответ вашего высокопреподобия?

— Зайди ко мне часу в первом. В двенадцатом я пойду к владыке и переговорю с ним.

— Прошения подавать не прикажете?

— Ах да! Поди в правление, напиши и отдай мне.

Только послушай, Попов: я тебе делаю великую милость, единственно из любви христианской. Если ты будешь замечен в чем-нибудь, тогда ты не сердись на меня... Иди.

Егор Иваныч бегом пустился по коридору в семинарское правление, крестясь и говоря: «Слава богу! слава богу! Ну, теперь пошла!.. Экое счастье!..»

Действительно, Егору Иванычу повезло, и повезло оттого, во-первых, что из двадцати трех богословов, кончивших курс, десять подали просьбу об увольнении из духовного звания, что слишком взбесило и ректора и высшую власть, а не уволить их не было никакой возможности, так как богословы могли или жаловаться губернатору, или — чего доброго — прибегнуть к гласности, и во-вторых, ректор любил Попова за скромность и в это утро именно думал об нем: что-то будет с этим лицемером? если он уйдет, то и все уйдут в светские... Ректор даже дошел до того: что, если, все семинаристы каждый год будут выходить в светские? кто же будет священниками и диаконами? Не будь эдаких мыслей и того, что надо бы всех скрутить да определить на места, Егор Иваныч прождал бы места года два и, пожалуй бы, вышел в светские, что случалось и случается теперь. Егор Иваныч — исключение; но духовное начальство по крайней мере так должно бы поступать: если кончившие курс богословия желают получить места священника или диакона, то в тот же месяц и посвящать их в эти должности, а то начальству никакого нет дела до кончивших курс. Сам студент ходит в консисторию, выпрашивает места, тратит деньги, голодая без занятий, просит архиерея; но у архиерея просьб много, на одно место бывает пять—десять просителей, большею частию перепрашиванья дьяконов во священники, дьячков во дьяконы, и на этих господ больше обращается внимания консисторией, куда сдаются их прошения, и они скорее получают места, потому что каждый день трутся то в консистории, то в прихожей у власти, и имея деньги, получают места и звания те, кто больше даст письмоводителю, эконому, секретарю консистории, столоначальникам, — тогда как студенты, не имея денег, за диаконским местом ходят по консистории год, а прежде и пять лет ходили.

Теперь другой вопрос. Священник и дьякон не могут быть холостыми. Этот закон установлен, вероятно, потому,

чтобы размножить духовное сословие. Благодаря этому закону и праздной жизни этого сословия детей действительно много размножилось. У редкого священника или дьякона нет детей мужского и женского пола. Кроме священников и дьяконов, есть еще пономари, причетники и дьячки, большая половина которых тоже женатые, и у редкого из женатых нет детей. Плодовитость этого сословия всякому известна; редкий из белого духовенства не жалуется, что у него куча ребят, и эта-то куча ребят поедом ест бедного отца. В каждой семинарии, положим, средним числом, учится пятьсот человек юношей, да в духовных уездных училищах и в уездных городах до трехсот мальчиков в каждом училище, да в домах еще есть один или два ребенка мужеского пола. Вдовец, дьякон или священник, снова жениться не могут, хотя бы и желали иметь жену для детей, прижитых от первой жены. Вдовец или должен идти в монахи, или жить тише воды, ниже травы вдовцом на старом месте, или же выйти в светские. В первом случае дети призреваются начальством, или остаются на попечении родственников, или, в особенности девицы, когда нет родственников, поступают в монастырь, оттуда редкие выходят замуж только за духовных, а большая часть (если не убегают из монастыря) остаются монахинями. .. Стало быть, самое главное для ставленника — это женитьба. Егор Иваныч прав, сказавши, что из городских очень трудно выбирать невест.

Искать невест в губернии — дело довольно трудное. Сыну городского церковнослужителя легче найти невесту в городе, у своего же брата или у чиновника, а не то у сельских. Сельские часто переходят с места на место, то есть уезжают, и дочери выдаются замуж почти что за первого попавшегося жениха из духовного звания, смотря по тому, стоит ли жених невесты: пономарская дочь выходит за пономаря, дьячка и дьякона, дьяконская — за дьякона и священника, протопопа; если бедная, то и за дьячка или за светского чиновника, а таких девиц, с которыми бы семинарист рос, очень мало, потому что отцы не всегда уживаются на одном месте, да и семинаристу нужно богатую невесту.

Положение женщины в этом сословии незавидное. Каждую девицу уже с восьми лет называют невестой, копят на нее приданое, то есть пух на перину и подушки,

белье, холст, деньги. Сама девица тоже знает, что она должна будет выйти замуж за священника или дьякона, и в этих летах бессознательно готовится к этой участи. Жена сельского священника или дьякона, взятая из села же, прежде готовилась к хозяйничанью, к воспитанию детей. Первый год супружества идет хорошо, она, что называется, как сыр в масле катается: муж ее ласкает, крестьяне и крестьянки любят и называют ее *матушкой,* хлеба много, прислуга есть. Ходит она всегда довольная, румяная, здоровая. Рождается ребенок. Вся забота матери заключается теперь на ребенке: она сама кормит его грудью, сама качает зыбку с ребенком, моет его, а хозяйственные обязанности предоставляются мужу, или свекрови, или матери, смотря по тому, кто из старших родных живет с ней. Через год опять ребенок. Первый ребенок идет на руки к родным женщинам матери, а сама мать нянчится с другим ребенком. Через год опять ребенок. Первый ребенок уже бегает, кричит *тятя, мама, бука* и прочие слова, усвоенные им от частых произношений родителями и родными. Мать начинает тяготиться детьми, то есть она уже охладела к ним, ей нет покоя от них ни днем, ни ночью, они кричат, ревут, капризничают, и так все идет три года и будет идти еще, может быть, долго. Ее ужасает эта обуза, но она все-таки нянчится с последним ребенком, предоставляя первых на произвол родни. Мать этой матери, старушка, всегда бывает добра и нежна с детьми. Она их любит потому, что представляет себе их такими же, какою была ее дочь, теперь мать их. Поэтому дети всегда любят бабушку и перенимают от нее ее понятия. Но всегда оказывается, что у бабушки очень немудреные понятия. Она только хорошо знает, как щи сварить, как посмотреть за огородом, где кринка с молоком на погребе стоит, да с крестьянина Максима надо бы получить *долгу:* малёнку[1] овса, лукошко яиц. Но бабушка большею частью хозяйничает, бегает по селу; а как бабушки не везде бывают, то ребенок растет также под влиянием тетушек, сестричек, которые его бьют, ругают, ставят на колени и подвергают различным искусам.

---

[1] Малёнкой называется дуплянка (то есть выдолбленное сосновое или липовое дерево наподобие кадки), в которую входит пуда три или четверик муки, овса или крупы. *(Прим. автора.)*

Шести- и семилетних девушек отец или мать учат читать по церковной азбуке, писать. Наука заканчивается тем, что девушка умеет шить, приучается стряпать, знает, как нянчиться с детьми, умеет читать церковную и гражданскую печати, плоховато писать — крупными каракулями. Светские книги не водятся у родителей, они запрещены самими родителями, да и в селе негде взять книг. Девушка воспитывается в страхе божием: боится родителей, делает все, что они прикажут, ходит в церковь и сидит дома, потому что гулять по селу не в моде, в гости ходить, кроме священника, дьякона, станового (если он есть) да волостного головы, не к кому. Двенадцатилетняя девушка выглядывает пятнадцатилетней. Она помогает стряпать, возиться с ребятами, редко играет в куклы и плетки, присматривает за хозяйством, шьет, моет и становится почти что полуработницей, и полухозяйкой в дому, и полуженщиной. Все ее удовольствие заключается в том, что она может с подругами попеть светские песни, получить похвалу от родителей за то, что при гостях вела себя не очень застенчиво, сходить с подругами и сестрами в лес по ягоды и по грибы, покосить траву на покосе. Ей хочется простору, но ее тяготит домашняя обстановка, обязанности не по силам, буйный характер отца. Всякий знает, что духовенство любит выпивать, даже в монашеском быту. Редкий семинарист не пьет в кругу товарищей. Отчего же не пить и после? Наш народ любит выпивать, крестьяне большею частью сближаются с священниками посредством водки. Непьющий священник может угодить крестьянам в таком только случае, когда он угостит их на славу, так, что все село сразу полюбит священника. Если священник, положим непьющий, не угостит крестьян ни разу в год, крестьяне станут оказывать ему уважение снятием шапок, принесением *долга* натурой, но в душе будут бояться его; у них явится недоверие к нему; они будут тяготиться им и назовут гордым, кроме того всячески будут следить за его домашнею жизнью. Хороший священник непременно угощает крестьян и волей-неволей должен пить с ними. — Положим, священник не пьет год. На другой год ему скучно, он не знает, что бы ему делать? Читать светские книги он не может, потому что их негде взять, да он, пожалуй, и читать их не станет. Он начинает входить в апатию; ему надоедают и жена и дети. Он при-

выкает пить водку перед обедом и ужином, после которых спит. Водка ему идет на пользу, и он усиливает порции...

Девушка знакома с обществом своего пола. Она знает, что в селе каких-нибудь пять человек из мужчин не пьют водку. Ее мучат сцены матери с отцом, она понимает, что это гадко, и думает: неужели и муж мой будет пьяница? Она плачет... Плачет потому, что знает, что ей непременно следует выйти замуж.

Что такое любовь, — девушка понимает так, как ее научили понимать любовь: выйти замуж по закону, жить с мужем, угождать мужу, родить детей, воспитывать детей... Жена знает, что она у мужа нахлебница, что она без мужа ничего не сделает, потому что ей прав никаких не дано, да она и сама считает себя рабой мужа, как ее научили по священному писанию.

В вакации, в зимние каникулы в село приезжают семинаристы и ученики духовных уездных училищ, дети священников, дьяконов и дьячков. Мальчики и юноши ведут себя смирно, застенчиво. При встрече с девушкой смотрят в землю, краснеют, девушка тоже. Семинарист о любви не знает, он только знает: «она красивая». Он знает еще и то, что ему еще долго учиться, и бог знает, что тогда будет, и о женском поле он не мечтает, благо и кроме женского пола много удовольствий, как то: рыболовство, лазанье по деревьям, грибы, ягоды, спанье на свежем воздухе, еда всласть. Приглашают семинаристов и в те дома, где есть взрослые девицы, приглашают ради новостей губернских, поят чаем и красной водочкой; но приглашают в отсутствие девиц, зная вероятно, что *он* еще ученик и ему еще много учиться, да и при девицах семинарист ведет себя застенчиво: смотрит в пол, или на отца-священника, или на матушку, а девица смотрит на него и думает: «Мой муж должен на тятеньку походить...» А тятенька-то весь бородой оброс. Вот она, любовь-то семинарская!..

Встречаются иногда юноши и девицы в лесу, когда собирают грибы и ягоды, но девицы бежат прочь, а юноши стыдятся того, что встретились с девицами. Семинарист знает, что девица их звания выйдет замуж за духовного, но теперь он боится с ней говорить, зная, что он вовсе не жених, так как ему до окончания курса еще пять лет, да у него и худой мысли нет. «Нельзя, — думает

он: — грех...» Девица держится под страхом родителей. По приезде семинаристов — «слышишь, девка, — говорит ей мать: — как встретишь ты шалопаев, беги от них. Иначе всю шкуру тебе сдеру!» — и девушка боится преступить этот закон. Девушка знает, что ей с пономарским сыном знакомиться не следует, и дьяконские дочки с пономарскими сынками видятся только из окна в окно...

Городские дочери немного развитее. Но там отцы еще стороже, и гости-семинаристы бывают реже. Там ждут женихов, что называется, хороших, то есть академистов, лиц, у которых отцы имеют вес в губернском городе.

Свадьбы бывают так. Семинарист, узнавши, что там-то есть невеста богатая, приезжает в село к дьякону или пономарю. В селе все вмиг узнали, зачем приехал студент, и знает, конечно, невеста. К матери невесты посылается сваха, которая выпрашивает приданое. Через день смотрины. Девица никогда не видала этого мужчину, он ей не нравится, но она должна согласиться выйти замуж за него, потому что он будет дьячком или священником, и родители приказывают. Через день обрученье, а через неделю и свадьба. Коротко и ясно... Впрочем, на свадьбах весело, но только не невесте. Ну, а там пойдет и весело и скучно...

Получивши письмо и деньги, Егор Иваныч в конторе же прочитал письмо. Вот что писал отец его:

Дражайший мой сын Егорушка!

Письмо твое, от 18 июня сего года, мною полученное 3 июля, я прочел с полнейшею радостию и исполнился неописанною радостию. Слава создателю, царю небесному! что благополучно все обошлось и ты кончил сей термин. Ничего, Егорушка, не дремли... Терпение и труд все перетрут, — пословица говорится. Поступишь на место, возблагодаришь творца и мне спасибо скажешь: не дураком, мол, меня отец сделал... Глаза на старости лет, как стану умирать, закроешь... Ах, Егорушка! Старость не радость, здоровье слабо. Хочешь сходить к заутрени в храм божий, немочь дьявольская претит, добро бы каждый день заутрени были, а то в две недели раз бывают,

а всенощные редко. Ты знаешь. Скука, Егорушка. Жду не дождусь, когда ты в священники посвятишься.

Посылаю тебе, Егорушка, мое родительское благословение. Делай ты, Егорушка, по закону божию; бойся со страхом и трепетом царя небесного! Им же вся быша, и без него ничего же есть.

Местов у нас нет, а тебе, знаю, в город хочется. Дай бог, дай бог, Егорушка. Хлопочи. Я ужо продам домишко, сам приеду к тебе да Петруху захвачу с его женой, пусть порадуются на красного сокола. Какую же ты рясу-то сошьешь? Чай поди еще волосы не отросли. А ты послушай меня, старика, волосы-то деревянным маслом мажь— скорее отрастут. Не мешает и подбородок брить. Знаешь, благообразнее как-то.

Отец Федор тебе кланяется и тоже неописанно радуется. Стефанида Феодоровна кланяется. Она 2-го числа июля сочеталась законным браком с нашим становым приставом Максимом Васильевичем Антроповым. Старенек он, 56 годков, да ничего, богат больно.

Прощай, Егорушка. А невесту будешь искать, ищи богатую. А как найдешь, напиши мне, и я старые кости к тебе привезу. Буди на тя благословение мое от ныне и до века.

Твой отец *Иоанн Попов.*

Письмо это поставило в тупик Егора Иваныча. Дело в том, что он последние два года надеялся жениться на Степаниде Федоровне. Она ему очень нравилась, хотя разговоров между ними было очень мало, а о любви и заиканья не было. Досадно сделалось, что его воображаемая невеста замуж вышла за старика, станового пристава.

Старику отцу в селе делать было нечего. Служил он в церкви по охоте, пенсион получал небольшой, с пашни и покосу тоже мало приходилось. Жена умерла назад тому два года; сын Петр дьяконом за сто верст, дочь Анна тоже замужем, в этом же селе за пономарем, от которого ему житья нет, потому что пономарь пьет и ворует у него деньги. Делать положительно нечего. Зимой весь день или лежит, или возится с детьми дочери, поет ирмосы и разные каноны и ребят заставляет петь. Летом весь день на улице. Встанет в пятом часу (а он спит в сарае), пойдет на двор, подметет, приберет кое-что и выйдет на

лужайку, — греется против солнышка. Долго сидит старик, мурлыча охриплым старческим голосом песни, глядя куда-то вдаль и изредка понюхивая табак. Убаюкает старика солнышко, согреет, и заснет старик, растянувшись по мягкой траве. Подойдет к нему корова, лизнет его лицо или руку, высунувшуюся из-за халата, накинутого на плечи, лизнет своим жестким, как терка, языком, проснется старина, приподнимется, перекрестится и скажет: тпрука! тпрука! тпруконька! э, матонька! .. Погладит рукой по ноге корову и опять ляжет. Увидев крестьянина, крестьянку, или мальчика, или девушку, он непременно подзовет их к себе и начнет калякать. В особенности он ребят любил, до того, что в бабки с ними игрывал, почему все с ним обращались запросто и от семилетнего до сорокапятилетнего все называли «дедушкой». Увидят ребята, что на завалинке databaseстародьяконовского дома нет старого дьякона, и говорят: дедушка нездоров, — и бегут наведаться к нему, но их гоняет со двора муж Анны или сама Анна. Увидят дедушку на завалинке и кричат:

— Дедушка! дедушка! хошь в бабки?

— Не могу, ребятки, спину разломило.

— А по грузди пойдем?

— Ноженьки болят.

— Пойдем, дедушка! Пойдем...

И обступят его человек двадцать молодого поколения. Дедушка никогда не отказывался от путешествия по грибы и ягоды. Ходит, бывало, с ребятами целый день, ничего не насобирает по слепоте. Ребята смеются над ним и насобирают ему наберуху и дотащат эту наберуху до села. Но главное удовольствие старика было — игра в шашки. В шашки умели играть: волостной писарь, сборщик податей, голова и двое богатых крестьян. Игра производилась с четвертого часа пополудни на улице, перед домами, и продолжалась до темноты. За игрой старик весь оживал, делался боек, разговорчив, смеялся, передразнивал.

— Я те, собаку, запру в гнилушку — и не выскочишь. Матрену позовешь — и та никоим образом не вытащит, хоть сто вервей иностранных подай.

Бахвалится старик, а прочим любо. Играющих обступали женщины, мужчины и дети.

— Не застуй! не застуй! — ворчит старик: — при свете-то ему стыднее в гнилушку попасть.

Все смеются.

Если противник его попадается в гнилушку, старик хохочет во все горло:

— Что? каково? На-ткось скушай! Чем пахнет? .. А я, погоди, тебе задам двенадцать с кисточкой.

Если его самого запрут, старик сердится и ругает глазеющих:

— Это все от вас божеское напущение! .. Одна курва между вами есть, сглазила.

Все хохочут. Голова или противник тоже дразнится. Старик еще хуже; стыдно ему, а оправдаться нечем. «Ничего, — говорит он: — это я так, для развлеченья. Теперь я задам. . .»

Но однообразие сельской жизни надоело старику; ему хотелось ехать в другое место, и он ждал только случая жить с Егорушком, которого он очень любил. Петруха был пьяница, и жена его капризливая, поэтому он не мог жить у них более двух недель.

Егору Иванычу ничего не оставалось больше делать, как искать невесту *где-нибудь*. Но от кого он узнает, где невеста? На товарищей надеяться нечего: они сами себе ищут невест. Осталось одно — прибегнуть к совету ректора.

В первом часу Егор Иваныч отправился к ректору.

— Ну, Попов, много ты мне наделал хлопот. Его высокопреосвященство долго не соглашался заместить тебя на священническое место, однако я уговорил его.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокопреподобие.

— Прошение твое он оставил у себя и обещался назначить тебя в город Столешинск, в Знаменскую церковь.

Егор Иваныч, сияя от радости, низко поклонился ректору.

— Город, говорят, бедный, но ты будешь все-таки священник и притом городской, нужно только быть добродетельным, настоящим пастырем своих заблудших овец.

— Постараюсь, ваше высокопреподобие.

— Это еще не все. Его высокопреосвященство велел передать тебе, что ты не иначе удостоишься священнического сана, пока не скажешь слова во время его службы.

— Очень хорошо-с.

— Если ты хорошо напишешь и понравится его высокопреосвященству слово, он посвятит тебя, а если напишешь дурно, посвятит в диаконы.

— Очень хорошо-с. На какую тему прикажете-с?

— Владыке хочется, чтобы ты сказал слово о блудном сыне. В этом слове ты проведи нашу жизнь, уподобляющуюся жизни блудного сына, выскажи, что сам бог печется о нас, в особенности о детях; раскаявшимся кров дает. При этом изобрази и то, что бдительное начальство всеми благими мерами заботится об юношестве, как господь о детях, а нераскаявшимся обещает геенну огненную. Закончи так: «О христиане! близок час, в онь же сын человеческий приидет со славою судити живых и умерших. Что мы речем ему, грешнии?» Потом воззвание ко Христу спасителю: «Ты, Христе, спасаешь раскаявшихся; обрати и нас ко свету заповедей твоих и приими нас во царствие твое, яко блудного сына...» Понял?

— Понял.

— Теперь иди. Когда напишешь, принеси мне. Да постарайся принести через день. Напиши больше и везде вставляй места из евангелистов и апостолов; хорошо сделаешь, если приведешь цитаты из Василия Великого, Иоанна Златоустого и прочих вселенских учителей.

— Очень хорошо.

— Ну, теперь иди с богом.

Придя домой, Егор Иваныч увидел на столе, в комнате Троицкого, две бутылки с простой водкой, узел с калачами и сверток бумаги. В этом свертке он увидел новую книжку журнала.

«Ну, — подумал Егор Иваныч, — затевают что-то». Троицкого не было дома. Егор Иваныч любил читать только беллетристику, но прочие статьи читать у него не было терпения, короче сказать, он не понимал их.

Пришел Троицкий с двумя бумажными узелками, в одном из которых была колбаса и печенка, а в другом чай и сахар.

— А, Павел Иваныч! — сказал Попов и поздоровался, то есть пожал руку Троицкого.

— Какой и тон-то! Ну, что? Бар или ек?

— Бар.

— Вот как! Какими судьбами?

— Ректор...

При этом слове Троицкий строго взглянул на Попова, — не врет ли он, или каким образом ректор мог помочь делу.

— Не врешь?

— Еще бы! Слушай, что было.

— На́ папироску, и рассказывай, только без прикрас.

Попов начал рассказывать похождения двух дней.

— Ну что же, хорошо, — сказал Троицкий по окончании рассказа Попова. — В сорочке родился... А я, брат, учиться! Тебе это не по нутру... Радуюсь, что место получил, только слово? Сумеешь сочинить?

— Только не мешайте, пожалуйста. Ведь одни сутки остались.

— Не беспокойся. Мы тебя не введем во искушение. Егор Иваныч! Егорушка! товарищ... Ведь нам всем жалко тебя, больно... Э, да что толковать!.. Ну, твои дела, значит, что называется, в шляпе. Поп, брат, ты. Благослови, отче...

— Бога бы ты постыдился...

. . . .

— Егор Иваныч, вот что: а жена?

— Найдем!..

— А?

— Не спросим вашего брата.

— Однако жена... Ты пойми: что такое мужчина и женщина? Что такое, по-твоему, мужчина и женщина?

Егор Иваныч сначала подумал, что говорить с Троицким не стоит, потому что он переспорит его, а все его резоны «ровно ни к чему не ведут». Однако он сказал:

— Да что с тобой толковать! Ты человек светский, я — духовный. По-нашему, жена должна быть помощницей мне, должна уважать меня... повиноваться мне.

— Та женщина, которую ты теперь не знаешь?

— Женщина против нас ничто.

— Что?!

— Плевок.

— Подлец ты, Попов!

Егор Иваныча зло взяло...

— Говорить я с тобой не хочу... Убирайся вон, иначе ректору скажу.

— На это господин Попов, я вам скажу вот что: во-первых, я не уйду, потому что квартиру я снимаю не у

вас; во-вторых, я ректора не боюсь, так как подал в отставку из вашего сословия.

Попов молчит и ходит по своей комнате.

— Егор Иваныч, на что вы сердитесь-то?

Молчание... Троицкий вошел в его комнату. Попов не смотрит на Троицкого.

— Егорушко! а двенадцать лет дружбы?..

Это тронуло Попова.

— Ты мне теперь не можешь быть товарищем.

— Знаю, почему; но головы на отсечение не дам. Егор Иваныч, к чему эти ссоры? Ведь мы ссорились раньше за идеи и мирились, но не так, как теперь. Вероятно, ты потому сердишься, что скоро получишь место; но, брат, у тебя еще задача — слово. Подумай!

— Не тронь меня, Троицкий.

— Не буду трогать. Дай лапочку!

Друзья поцеловались.

— Славный ты, Егор, будешь поп. Дай бог тебе успеха, да брюхо растить, ребят меньше. Только вот тебе просьба: не трогай нас, твоих товарищей; не говори проповеди на воздух. Ты лучше печатай что-нибудь в «Духе христианина» или «Православном обозрении», тогда тебя будут читать и семинаристы и отцы разные. Пиши дело, настоящее, говори прямо, а на старинные идеи не упирайся.

— Знаем, как делать.

— А знаете, так и знайте...

Начали собираться товарищи. Собралось человек восемь, выпили по рюмочке водочки, закусили. .

— Давайте читать.

Начинается чтение. Все слушают и молча смотрят то на Троицкого, то на книгу. Если что кому-нибудь не понравится и кто-нибудь не поймет чего-нибудь, следует остановка:

— Стой! он врет.

— Нет, не врет!..

— Объясни!

Следует объяснение.

— Прочитай снова!

После чтения опять спор. Каждый критикует по-своему, под конец соглашаются:

— Ужели и с нами то же будет?

— Ну, брат, мы не такие люди. Мы им утрем нос.

— Чем?

— Утрем!

— Эх, господа! . . . .

— Я думаю, нам легко будет учиться в университете. Заучивать трудно. Теперь вот мы читаем и разъясняем сами, потому что разъяснить здесь некому, а там умные-то люди налицо, своими ушами будем их слушать. А ведь мы, братцы, в течение двух лет читанья мало еще поняли.

— Надо допонять.

— Едем!

— Кто едет?

Пять человек сказали: «Я». Это были: Спекторский, Бирюков, Троицкий и двое Кротковых.

— А вы? — спросил Троицкий у остальных.

— Мы служить будем. Губернатор уже обещался дать места, — сказал Клеванов.

— Куда же, господа, ехать? — спросил Петр Кротков, красивый юноша двадцати лет.

— Да ты куда думаешь?

— Батюшка советует в духовную академию, а мне хочется в медицинскую. Я в медицине-то смыслю кое-что.

— Ишь каналья! Любит форму: здесь иподиаконом был, архиерея одевал, а там хочешь форму носить, чтобы порисоваться в губернском городе и перед своим батюшкой. Знаем мы вас, протопопские сынки!

— Давайте лучше вот что решать: как ехать? Есть ли еще деньги-то?

— Кротковы богаты.

— Наш отец на днях будет сюда, вероятно даст, — сказал Алексей Кротков.

— Мой отец хотел прислать малую толику. Он не препятствует тому, что я еду в университет, даже радуется, — сказал Троицкий.

— А вот мой не то: что, говорит, тебе за наука? Выпороть, говорит, тебя надо за вольнодумство. И если ты бросишь меня на старости лет, не заступишь мое место, прокляну тебя, — сказал Бирюков.

— Что за дубина!

— Что ни говорите, а я удеру в университет... Добро

бы, я один был сын у него, а то один уже священником, а другой в философии. На брата, конечно, нечего надеяться. Скверно, денег нет.

— Я отцу ничего не говорил о поездке, нынче написал ему такое письмо, что, надеюсь, старик расчувствуется. Впрочем, я у него одно детище мужского колена, а место у него такое, что называется — на веретено стрясти: село дрянь, народ бедный, благочинный теснит... — сказал Спекторский.

— Так как, господа?

— Не знаем. Призанять бы у кого-нибудь на дорогу.

— У кого займешь?

— Мы вот что сделаем, господа, — сказал Троицкий: — все мы друзья и, стало быть, в крайних случаях должны помогать друг другу, как помогали в семинарии и как выручали друг друга из бед. Если мой отец пришлет много, я половину разделю на Спекторского и Бирюкова.

— У меня всего два рубля. Книги разве продать! — сказал Бирюков.

— А у меня всего-то пятьдесят копеек, — сказал Спекторский.

— Господа Кротковы, к вам взываю о благотворительности, — сказал Троицкий Кротковым.

— Мы не знаем, как отцы.

— Если не дадите, мы вам не товарищи.

— Я попрошу батюшку об этом, — сказал Алексей Кротков.

Разговоры продолжались до четвертого часу утра. Попову очень надоели товарищи, но ему совестно было гнать их.

— Попов, давай другую книгу.

Попов дал.

— Ну, читай, Елтонский.

— Господа, мне надо проповедь писать, — сказал Егор Иваныч, теряя всякое терпение.

— Пойдемте к нам, — сказал Петр Кротков.

— Лучше за реку поплывем. Там хорошо.

— Марш!

— Смотри, Егор Иваныч, умненько сочиняй. Мы послушаем твою проповедь в церкви, — сказал Алексей Кротков.

Товарищи поцеловали Егора Иваныча и пошли к реке.

Когда ушли товарищи, Егор Иваныч достал из сундучка четыре листа серой бумаги, сделал их тетрадкой в четвертую долю листа, сшил, разрезал, перегнул на половине, очинил перо, попробовал, поправил перо, опять попробовал, ладно — и стал думать. Целый час Егор Иваныч продумал.

«Задача трудная, — рассуждает Егор Иваныч: — дело в том, что придется говорить в губернском городе, в архиерейскую службу... Троицкий прав. Другое дело, если бы сочинить просто для архиерея, а то для народа. Товарищи будут слушать, шептаться, смеяться, как и я смеялся над выговором священников... Судить станут... Ничего бы, если бы всё чужие, а то своих много, не все разъехались... А певчие — зубоскалы, вслух шикают... И к чему он задал мне... Ну, что я напишу?..» Опять Егор Иваныч стал обдумывать сюжет проповеди. Ничего не выдумывается.

— Дай умоюсь, — сказал Егор Иваныч вслух и умылся.

«Уж сочиню же я тебе! Сочиню». Зло взяло Егора Иваныча. Ругаться он стал. Попробовал перо, озаглавил текстом священного писания свое сочинение и начал приступ. Полчаса он писал сплеча, потом вдруг остановился.

«А дальше? .. Он велел текстов больше... На! наворочаю же я тебе».

Зазвонили к заутрене.

Крепко и хлестко стал писать Егор Иваныч. Мысль была, только тексты трудно подбирались. Зазвонили к ранней обедне, Егор Иваныч все пишет. Вошла хозяйка.

— Здравствуйте, Егор Иваныч, — сказала она.

— Здравствуйте.

— Чайку попьете?

— Некогда.

Хозяйка, как хозяйка дома, села около стола, возле Егора Иваныча.

— Что вы это пишите? И ночь-ту, кажись, не спали.

— Проповедь пишу.

— Ах, мои мнечиньки! Проповедь?

— Да. — Егор Иваныч бросил перо, потому что теперь все мысли его сочинения исчезли.

— Где же вы её сказывать будете?

— В кафедральном соборе.

— Ой! ой!.. при самом архирее?

— Да.

— Вот что значит ученье-то!.. Уж я послушаю, непременно послушаю. Только вы поскладнее пишите да понятливее, погромче сказывайте... Вот у нас говорят проповеди-то, всё под свой нос говорят... А вы как, в ризе будете сказывать-то?

— Нет. Стихарь надену.

— Так, так... А в ризе-то лучше бы... А вы в попы-то скоро постригетесь?

— Скоро. Только проповедь надо сказать.

— Дай бог, Егор Иваныч, дай бог!.. Чайку не хотите ли, Егор Иваныч?

— Да нет чаю.

— Экие вы какие! Ну что бы мне сказать!.. Сейчас поставлю самоварчик, напою.

— Покорно благодарю.

— Полно, Егор Иваныч... Вы у меня такой были постоялец, что мне и не найти таких... Как красная девушка, жили всё тихо, и кашлю, что есть, не слышно... Не то что Павел Иваныч, денег не платит, приятелей водит, содом просто! — Немного помолчав, хозяйка, поправив на голове платок, сказала очень любезно Егору Иванычу: — а я ведь к вам по делу, Егор Иваныч. Денег бы надо, больно надо...

— Вам сколько следует?

— Да за комнатку два рубля, за десять фунтов гречневой крупы — помните, велели купить? пять фунтов говядины, молочнице за шестнадцать бураков, всего три рубля восемь гривен без трех копеек.

Егор Иваныч дал ей пять рублей.

— Ах, я и забыла. ономедни у вас гости были, стакан разбили, двадцать копеек стоит.

— Да ведь он от воды лопнул!

— Знаю, что сам лопнул, только теперича, уж если он у вас был, значит, вы за него и отвечаете.

— Так вы и двадцать копеек исключите из пяти рублей

— Хотелось бы мне еще попросить вас... да совестно.

— Говорите.

— Ономедни стекло разбили вот в этом окне.

— Да ведь оно разбито было!

— Полноте, Егор Иваныч... Вы коли живете здесь, значит, за комнату и отвечаете... Ну, да бог с вами... Вот еще надо бы за картинку вычесть... Больно уж ваши-то приятели хериков много на лице наделали... хорошему человеку и посмотреть-то страм... Стул таперича сломали.

— Послушайте, Авдотья Кириловна, ведь я в том не виноват; не я же ведь все это сделал.

— Знаю, что не вы, — вы такой умница! Дай вам царица небесная невесту хорошую. — Хозяйка встала. — Вы пожалуйте ко мне в комнатку; я вас пирожками говяжьими попотчую.

— Покорно благодарю.

— Сделайте милость.

Егор Иваныч пошел за хозяйкой в ее комнатку. Муж хозяйки сапоги починивал, а дочь, лет четырнадцати, принесла две тарелки жареных пирожков и чашку свежего молока. Егор Иваныч стал кушать.

— Вот, Егор Иваныч, что значит ученье: ученье свет, а неученье тьма. Если бы я теперича был грамотный, я бы теперича кто был? поди, и дом у меня был бы каменный, и вашей братьи в нем жило бы много, — сказал хозяин.

— Уж Егор Иваныч, одно слово, прозвитер! — сказала хозяйка, радуясь, что ее постоялец будет говорить проповедь и скоро будет священником. — Мы худых людей не держим, — прибавила она.

— Егор Иваныч, не напишете ли вы мне письмо к брату?

— Очень хорошо.

— Я вам сапожки заштопаю. Покажите.

Егор Иваныч показал сапоги.

— У-у какие! Снимите-ка, — сказал хозяин. Егор Иваныч снял сапоги, и так как у него других сапогов не было, то он и остался босиком, а хозяин принялся починивать. Наевшись пирогов, Егор Иваныч написал хозяину письмо, на что и употребил целый час. После этого его приглашали обедать, но он отказался.

Хозяева все и всегда любезны с богословами. Они гордятся, что у них живут умные люди, которые меньше буянят и ломают вещи, нежели уездники и словесники.

Им очень жалко расставаться с ними, и они перед отъездом особенно любезны, надеясь на то, что квартирант их, посвятившись в священники или дьяконы, непременно подарит им рубль или три рубля за ласку хозяйскую и ихнее хорошее расположение.

После этого проповедь плохо сочинялась, мысли положительно не лезли в голову. Во втором часу пришло двое кончивших курс в семинарии, Ермилов и Гонимедов.

— Проздравляем! — сказали они, входя.

— Вы уж знаете?

— Троицкий сказал. Молодец! Ну, а проповедь?

— Да пишу.

— Ну-ко, прочитай.

— Не кончил еще. Текстов много надо.

— Ну, ничего. Мы подсобим.

Егор Иваныч стал читать, а приятели поправляли его. Чтение, марание, приписывание продолжалось до самого вечера. Проповедь была кончена. Пришел еще богослов. Опять началось чтение и поправки.

— Кажется, ладно?

— Еще бы!

— А как да не понравится ректору?

— Чего еще ему надо! Постой! Егор Иваныч, размалюем про начальство.

— Да, господа, послушайте: ведь хвалить начальство следует в семинарии при выпуске, а не в церкви.

— Да ведь он велел!

— Я думаю вот что: может, ректор сам хочет сказать проповедь по этой тетрадке.

— Пожалуй, — это бывает.

— А может быть и то, что он покажет архиерею, тот прочитает и скажет: хорошо, но сказывать запретит.

Между тем хозяйка принесла Егору Иванычу чаю, сахару и булок. Началось чаепитие и излияния дружбы.

— Я слышал, — говорил Ермилов: — что в Столешинске у отца Василия есть две дочери: одной — Наталье — девятнадцатый год, сватались чиновники, да отец Василий не выдал. Не худо бы тебе попросить ректора, чтобы он написал письмо тамошнему благочинному.

— Возьмется ли он за это дело? Как-то неловко.

— Попробуй.

— Пожалуй, наведи справки, нет ли там невест других, и поезжай туда жениться, а оттуда сюда на посвящение.

— Пожалуй.

На другой день к двенадцатому часу проповедь была окончена. Егор Иваныч шел с трепетом к ректору и молился в душе: господи помоги!

Ректор удивился, что Попов принес проповедь скоро.

— Сам ли ты сочинил?

— Сам. — Егору Иванычу обидно сделалось.

— Хорошо, я прочитаю. Завтра приходи за ответом в это же время.

От ректора Егор Иваныч пошел в консисторию, к столоначальнику.

— Ну, что-с? — спросил Егора Иваныча столоначальник.

— Я к вам за справкой

— Да ведь вы уже назначены, с вас *магарыч* надо.

— Как назначен?

— Да так. Сами вы просили ректора, а ректор снес вашу просьбу его высокопреосвященству, а тот и назначил.

— И бумага здесь?

— Ну, этого я вам не скажу — секрет.

— Какой же тут секрет?

— Ну уж, нельзя.

— Да ведь вы сами сказали, что я назначен!

— Ну это еще *сорока на двое сказала.* Я могу отписать на справке, что место ваше занято.

— А его-то высокопреосвященство?

— Что вы, жаловаться хотите? Знаете, чем эти жалобы-то пахнут?

— Чем?

— Мне, господин Попов, некогда с вами калякать.

— Я, Яким Савич, пришел к вам не потому, чтобы место просить, а об невестах хочу справиться.

— Я вам сказал, что мне некогда.

Егора Иваныча зло взяло. Он вышел в коридор. За ним вышел писец.

— Что дадите? — пристал он к Егору Иванычу. В консистории если и сторож важное лицо, то писцы там

уж очень важные лица для ищущих и хлопочущих. Это знают все. Даже сторож за полтинник может выведать от писцов, а писцы — помощники столоначальников по делам поборов.

— За что?

— Экой вы чудак. Давайте три рубля, все сделаем.

— Да денег нет.

Их окружил синклит подрясниковых и в рясах. Все смотрят как-то с удивлением, сожалением; какое-то заискивание видится, плутовское намерение...

— В чем дело? — спрашивает храбрый господин в рясе, держа голову набок, разведя ноги на аршин одна от другой и утирая ситцевым платком бороду, на которой присохла скорлупа от яйца.

— Право, не знаю, — ответил Егор Иваныч.

— За что вы просите-то?

— Это не ваше дело, — сказал писец.

Половина разошлась по своим местам. Господин в рясе и с скорлупой на бороде рьяно вступился за Егора Иваныча.

— Вы объясните причину!

— Не ваше дело.

— А владыку знаешь?

— Сторож, выгони этова пьянова, — закричал писец и ушел в канцелярию.

— Что он сказал? что сказал? — спросили человек шесть. Обруганный заступник ворвался было в канцелярию, но его вытолкали оттуда.

— Что, отец дьякон, с носом!

— В чужой монастырь со своим уставом не ходи.

— Еще говорите спасибо, что за шиворот не выгнали на улицу, — говорят, хохоча, остальные.

— Это все из-за вас, господин семинарист, — обратился дьякон к Егору Иванычу и сию же минуту отошел от него.

Два священника подошли к Егору Иванычу.

— В чем дело?

Егор Иваныч рассказал.

— Вам надо бы денег дать.

— Если бы были, дал.

— Вы лучше к нему на дом сходите. Дайте рубль — и дело в шляпе.

— Нет, всего лучше к эконому.

— Эво! к эконому. Ведь вам, разумеется, невесту не голую надо, а с придачею; так лучше справиться у столоначальника.

— Я к нему не пойду.

— Как знаете. — Разговор пошел об другом: каков нынче ректор. Потом оба священника и приставшие трое диаконов пожелали послушать проповедь молодого проповедника.

В углу, налево, один дьячок схватил за нос пономаря; пономарь вскричал и в свою очередь ударил дьячка под микитки, что вызвало всеобщий смех. В другом углу, направо, один подрясниковый уснул на диване.

— Братцы, смотрите!

— Ах, он, пес!

Все хохочут.

— Наденьте на него бумажный колпак.

Один причетник подошел к спящему и привязал к волосам его свою косоплетку, а к ней бросовый конверт.

— Нехорошо. Лучше разбудить, — советует половина глазеющих на спящего.

— Что он, пьян?

— Лунатик, должно быть...

— В беспечности пребывает...

Один разудалый дьячок потащил со спящего сапоги, тот проснулся. Его стали стыдить.

В одном месте идут одолжения.

— Павел Гаврилович! одолжи рублик.

— У самого мало...

— Одолжи... как приду домой — отдам.

— Олонись я тоже дал так-то, да каналья, Патрушев, надул.

— Вот те Христос, отдам.

Павел Гаврилович дает рублик. Какой-то священник одолжил другому священнику пять рублей.

Егор Иваныч ушел домой, ни с кем не простившись. Троицкий сказал, что его все еще не уволили и он ходил даже к владыке, но до владыки его не допустили.

Хозяйка предлагала Егору Иванычу свои услуги найти невесту в городе, но Егор Иваныч отложил вопрос о женитьбе до завтрашнего дня.

На другой день ректор сказал ему:

— Очень плохо составлено твое слово... Удивляюсь, почему вы болванами выходите?.. Ну как можно сказать такую проповедь? Никакого смысла нет.

— Я, ваше высокопреподобие, очень торопился.

— У вас вечно отговорки... Ну какой ты священник, когда и таких пустяков не в состоянии составить?

— Мне, ваше высокопреподобие, времени не было вовсе. Мешали Троицкий и прочие исключающиеся.

— Этому я верю. Поэтому я поправил. Возьми. — Ректор подал рукопись. — Сегодня у нас пятница, завтра принеси мне переписанную тетрадку, да смотри — на почтовой бумаге напиши.

— Очень хорошо-с.

— Ступай...

Егор Иваныч переступает с ноги на ногу.

— Чего еще тебе нужно?

— Ваше высокопреподобие, осмелюсь вас еще попросить насчет...

— Ну, говори. Денег, что ли, надо? Все издержал, что ли?..

— Нет, ваше высокопреподобие.

— Так что же?

— Не можете ли вы помочь мне насчет невесты.

— Это не мое дело. Мое дело выучить вас; а что касается до места, то я из любви христианской помог тебе.

Егору Иванычу ничего больше не оставалось делать, как только подойти под ректорское благословение и уйти домой.

Архиерей принимал с десяти до двенадцати часов. Приемная его — небольшая комната с двумя круглыми столами, мягким диваном и двумя стульями. Стены разрисованы. Духовные лица сначала толкутся на лестнице. На лице каждого и в голосе заметны испуг и робость.

Каждый трезвый, а кто с похмелья, тот жует ладан или корку от лимона.

— Вы зачем? — спрашивает один робко другого.

— Перепрашиваюсь.

— В первый раз?

— Нет, уж в третий. А вы?

— Тоже перепрашиваюсь. В прошлый раз хотел перевести, да на это место пятеро подали.

В приемную впускают келейные за десять копеек каждого. Деньги эти идут в их пользу.

В приемной все стоят чинно. Говорят шепотом, на ушко, прикрыв рот правой или левой рукой. Братство тут славное. Все ждут владыку, у всех мысли одни и те же, всякий боится позабыть заученные им слова, какие он должен сказать. Один шепчет: «Ваше высокопреосвященство, по крайней бедности, позвольте перевестись». У одного дьячка так на ногтях написано чернилами, что говорить. Большая половина читают в двадцатый раз свои прошения, складывают их, вытирают бумагу, что-то шепчут про себя и постоянно вытирают платками свои щеки и лбы...

Егор Иваныч тут же стоит. Он надел сюртук Троицкого, который был поновее, белую манишку и белый галстук. В руке у него проповедь, на боку которой написано ректором: читал и одобряю, ректор архимандрит такой-то. Большая часть трущихся в приемной знают, что Попову назначено место и что в руке у него проповедь. Все завидуют.

Наконец вышел владыка. Все подошли под благословение. Начались просьбы.

— Кто ты такой?

— Дьякон Крестовоздвиженского села, Иоанн Лепосимов.

— Об чем просишь?

Тот робко объясняет.

— Подай прошение.

Очередь дошла до Егора Иваныча, на которого владыка с самого начала взглядывал.

— Ты кто такой?

— Кончивший курс семинарии, диаконский сын, Егор Попов.

— Об месте просишь?

— Отец ректор ходатайствовал у вас за меня.

— Так это ты Попов?

— Точно так, ваше высокопреосвященство.

— Хорошо. Ступай туда, — и владыка указал Егору Иванычу на дверь в залу.

Зала убрана как в богатом барском доме, с тою только разницею, что в ней на стенах висели большие картины духовного содержания в позолоченных рамках.

Через четверть часа владыка пришел в зал вместе со своим письмоводителем.

— Где прошение кончившего курс семинарии Попова? — спросил он у письмоводителя.

— У меня-с, ваше высокопреосвященство!

— Принеси сюда.

Письмоводитель ушел.

— На какое место ты желаешь?

— На священническое.

— Отец ректор просил меня. Я справлялся. Место тебе будет в Столешинске.

Егор Иваныч низко-пренизко поклонился.

— Нынешний год я туда не поеду. Поэтому после свадьбы ты должен ехать сюда.

Егор Иваныч опять поклонился и проговорил:

— Ваше высокопреосвященство! я еще не нашел невесты.

— Сходи к эконому, он знает. Вчера я ему две просьбы передал от духовных вдов.

Егор Иваныч поклонился.

— Написал ты проповедь?

— Написал, ваше высокопреосвященство.

И Егор Иваныч подал рукопись. Владыка, увидав засвидетельствование ректора, не стал ее читать. Письмоводитель принес прошение Егора Иваныча. Владыка написал на прошении: «Назначается в столешинскую Знаменскую церковь во иереи. Пострижение в октябре месяце...», а на проповеди: «Благословляю, смиренный...».

— Позвольте завтра сказать, в ваше служение...

— Можешь.

Егор Иваныч подошел под благословение.

— Послезавтра я уезжаю; можешь и ты ехать за женой.

Егор Иваныч опять подошел под благословение и ушел из залы.

Архиерейский эконом посоветовал Егору Иванычу ехать в Столешинск и жениться лучше там на дочери какого-нибудь священника или дьякона.

Вечером Егор Иваныч стоял в крестовой церкви, а после службы ее подходил под благословение владыки, который стоял в алтаре.

Ночь провел очень худо. Не спится, а если уснет, то ему представляется народ, и народ этот хохочет, семинаристы ему неприличные кривляния делают руками.

Утром проповедь была прочитана Егором Иванычем раз семь про себя и два раза вслух. Троицкий боялся за своего товарища, чтобы он не струсил на кафедре, не сделал бы худого выражения на лице. В церковь его проводили шесть семинаристов. Архиерей служил в кафедральном соборе. Егор Иваныч стал в алтарь. Перед концом службы Егор Иваныч надел стихарь и подошел под благословение владыки. Но вот Егору Иванычу нужно идти, а он дрожит, ноги подсекаются. «Иди!» — говорит протодьякон. Егор Иваныч пошел, запнулся за что-то. . . Вышел в левые двери; певчие ему с хор рожи строят, а костыльник его за стихарь дернул. Кое-как Егор Иваныч дошел до налоя; робко вытащил из кармана рукопись, перекрестился и сказал чуть не шепотом: «Во имя отца» — и стал. . . Потом кашлянул, посмотрел на рукопись — буквы вверх ногами стоят. . . Однако он начал читать; но читал очень тихо — «под свой нос», как выражалась его хозяйка; читал бессознательно, думая: «Ах бы скорее промахать. . .» Большая половина публики вышла из церкви, а остальная ничего не слышала, потому что Егор Иваныч читал, запинаясь за каждое слово, пропуская где строчку, где две; где не разберет — от себя выдумает и читает, как дьячок часы читает. . . Промахал он так скоро, что певчие его ругнули, потому что нужно было петь запричастный, а половина их разбежалась курить папиросы. В алтаре удивились, что так скоро Попов кончил проповедь, а ректор строго на него взглянул, когда он подошел под благословение владыки. Когда владыка стал уходить из церкви, то сказал ему, чтобы он зашел к нему.

Бывшие в церкви семинаристы окружили Егора Иваныча.

— Ну, брат, и проповедник! Знаешь, тебе где надо проповеди сказывать? . .

— Тебе бы дьячком быть!

— Неловко, господа, ведь в первый раз, — сказал Егор Иваныч.

— Ты куда?

— Да архиерей звал.

— Уж не обедать ли?

К ним подошел посвященный в этот день в священники и отвел в сторону Егора Иваныча.

— Пожалуйте ко мне на поздравку. Я закусочку устроил сегодня.

— Покорно благодарю.

— Непременно приходите. Отец протодиакон будет, кафедральные дьяконы будут, певчие.

— Мне надо к владыке сходить.

— Так после.

Владыка сказал Егору Иванычу, чтобы он ехал жениться, что он получит из консистории свидетельство на вступление в брак и что в консисторию же он передал его прошение для исполнения.

Егор Иваныч пришел с двумя певчими-богословами к новопосвященному во священники. Там сидели протодьякон, два кафедральных дьякона, один приезжий священник и еще один городской дьякон. При протодьяконе все вели себя скромно.

— А! вот и молодой проповедник! — сказал протодьякон и пожал руку Егору Иванычу. — Однако вы дурно сказали проповедь, — прибавил протодьякон.

— Даже очень скоро, — прибавил певчий дьякон.

— В первый раз, отец протодьякон! — оправдывался Егор Иваныч.

— Ну-ка, выпей водочки, поди, пересохло в горле-то, — сказал протодьякон и налил Егору Иванычу рюмку. Егор Иваныч должен был выпить.

— А скоро будешь посвящаться? — спросил протодьякон уже по-приятельски.

— Как женюсь.

— А! .. А нашел невесту?

— В том-то и горе, что нет.

— Я тебе вот что скажу, Егор Иваныч. В Столешинске я хорошо знаком с благочинным, знаю там невест и напишу ему письмо. Письмо это ты сам свезешь.

— Да ведь вы завтра едете?

— Тьфу ты! Совсем забыл.

Протодьякон плюнул.

— Ну, так я по почте пошлю.

Через два часа протодьякон ушел с кафедральными и городскими певчими, дьяконами, отзываясь тем, что

завтра в шесть часов им ехать надо... По уходе их начались песни, и дело дошло до буйства... Егор Иваныч убежал, но пришел домой «выпивши» до того, что разругался с Троицким и чуть не прибил его.

— Эк те разобрало! Вот славный выйдет поп! — заметил Троицкий.

— Знать тебя не знаю. Поищи-ка теперь службы, а я нашел, да еще как!..

С этим словом Егор Иваныч повалился на кровать и тотчас же уснул.

Через неделю Егор Иваныч, получивши свидетельство на вступление в брак с девицею духовного звания и справку, что он назначен священником в такое-то место, распростился с приятелями и покатил на обозах с двумя бедными семинаристами к своему отцу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У родителей

Егор Иваныч Попов поехал к своему отцу в село Ивановское Петровского уезда. Так как это село находится от губернского города в двухстах верстах, то он ехал на обозах целую неделю. Ехать на обозах не то, что на почтовых, на перекладных и с попутчиками. Всякому известно, что обозами называется кладь, и на этой-то клади сидит, точно на какой-то горке, дремлющий ямщик — или хозяин лошади, или просто работник-извозчик. Любитель путешествий, богатый человек, никак не поедет на обозах, он не найдет никакого удобства на обозе. Мужик-крестьянин не стыдится сесть как-нибудь и где-нибудь — лишь бы сесть; не боится дождя и грязи, не боится стужи и вьюги, жары и духоты, потому что ему разбирать вкусы не к чему: во всякую пору и непогоду он пойдет и поедет для хлеба, потому что об нем никто не позаботится, а всякий называет его неучем, да еще требует кое-какой дани... Семинаристы не гнушаются крестьян-извозчиков. Извозчиков они любят потому, что те берут с них дешево, да притом извозчики народ славный, хотя и плуты подчас; но кто же не плут? Семинаристу хочется домой к родным, домой в родное село, нужно ехать куда-нибудь, — хоть не-

весту искать, а денег нету, пешком идти далеко; поневоле поедет на обозе. Крестьяне знают, что семинаристы народ хороший, мужика не обидят, ничего не украдут, а попросят они семинаристов покараулить обоз и лошадку, когда сами отправятся куда-нибудь, по нужде или в кабак, семинаристы не откажутся; да и как-то веселее с «ребятками»: «калякают они больно толково да весело так...» Кроме этого, крестьянин еще и уважает «ребяток» по любви их к вере и почету к духовенству. «Не всяк может попом быть. Штука-то важная...» — рассуждает каждый крестьянин.

Сидит Егор Иваныч на обозе, свесивши ноги. Очень неудобно сидеть, а прилечь негде. Ноги болтаются; самого «взбулындывает» полегонечку, а в ином месте так тряхнет, что невольно скажешь: да будь оно проклято! С непривычки ехать неловко, а крестьянину ничего, он уже привык; спит себе полдороги на обозе с витнем в руке, только шапка нависла на нос. Оно и лучше — солнышко не жжет. Скука страшная, потому что лошадь везет чуть-чуть; на местность любоваться не стоит, так как Егор Иваныч проезжает по этой дороге не в первый раз, все места знакомые, да и видов-то хороших нет: где лес, где пальник, где покос, где пашни; деревеньки незавидные, люди бедные, проезжающих мало. Извозчик оказался несловоохотливый... Егор Иваныч всячески старался сблизиться с крестьянином по-нынешнему, как он в книгах вычитал. Прежде он как-то весело ехал, а теперь у него в голове засела мысль, что — «я кончил курс, я много знаю, а крестьянин ничего не знает...» Однако он начал говорить с крестьянином по-нынешнему:

— Слышь, дядя?

— Ну?

— Как те зовут?

— Зовут меня Митрий.

— А величают?

— Величают Егорыч.

— Значит, ты Митрий Егорыч?

— Знамо, так.

— А хлеб-то у вас каков ноне?

— Нешто.

— А как?

— Да так.

Молчание.

— Што бог даст, то и ладно... — начал крестьянин. — Вот ныне, што есть, с обозами мало ходим... Времена такие тяжелые... А хлеба в прошлом году не было, потому, значит, земля у нас не такая, как в Прогарине или хоша у соседей. Те, значит, зажиточные, подарили с началу кого должно, и наделили их: значит, старые места дали.

— А ты какой: государственный или крепостной?

— Кабы государственный — не то бы было. Никитинской... Барин Иван Лексеич.

— Худой человек?

— А кто ево знат... не наше крестьянское дело судить... На то божья воля да милость царская...

Крестьянин замолчал. Об чем еще говорить Егору Иванычу с крестьянином? Положим, предметов много, но крестьянин не поймет всех этих предметов. О хлебонашестве говорить не стоит, потому что крестьянину досадно даже говорить о неурожае: неурожай и разные неудачи поедом едят его. А неудача есть у каждого человека, не только что у крестьянина; у крестьянина больше всех неудач, и эти неудачи никем из прочих сословий не замечаются, и если замечаются, то так себе; и если вырвется у кого-нибудь сочувствие, так это редкость, большею частию для хвастовства: что-де и мы любим крестьян, и мы им благодетель хотим сделать. Егору Иванычу хотелось коечто объяснить крестьянину, но он не мог выбрать такого предмета, который бы крестьянин понял. Он знает, что крестьяне не очень долюбливают тех господ, которые, встретясь с ними в первый раз, начинают говорить им о таких предметах, которых или они не понимают, или предметы эти не интересуют их. Крестьяне даже боятся тех людей не их сословия, одетых прилично барскому сословию, которые с ними говорят ласково, выспрашивают все больше о господах, говорят такие слова против старших, которых крестьяне привыкли уважать и бояться с детства... Крестьянину, — от рождения привыкшему работать на потребу других всю жизнь, забитому, у которого развитие остановилось на приобретении денег различными способами, — странны кажутся такие слова. Егор Иваныч знал все это; сам слыхал хвастовство товарищей об отрицании, и ему это казалось глупо. «Такой наукой, — думал он, — нельзя выучить народ добру. Да и Троицкий, чело-

век отрицающий, говорит, что народ насчет этого не нужно трогать. Сам со временем поймет». Егор Иваныч знает и то, что крестьянину ничего не нужно от человека прилично одетого, кроме денег за работу или возку и на водку. Крестьянин знает, что ему не нужно быть барином: он захохочет, если представит себя барином, в сюртуке и в светлых сапогах, и свою жену в шляпке. Будет много денег — тогда можно торговлей заняться, дом хороший состроить, а куда уж в баре лезть: «Мы люди такие, те люди иные». От этого-то у него является недоверие к барину: «Говорит-то он хитро да ласково, а бог его знает, что у него на уме-то? мягко стелет, да жестко спать будет...» Положим, барин и предложение хорошее сделает, так и тут крестьянин не иначе согласится, как прежде посоветовавшись с товарищами.

Товарищи Егора Иваныча — Павел Игнатьевич Корольков, философ, и Максим Игнатьевич Корольков же, словесник, ехали на другом обозе. Они ехали весело и смешили ямщика. Они рассказывали ямщику разные городские — губернские анекдоты и сплетни вроде следующего:

— Ты, дядя, знаешь бульвар?

— А!? — Крестьянин захохотал. Этим словом он выразил то, что выражается словами: эво, еще бы, уж будто не знаем-ста.

— Так вот, видишь ли, какая там штука забористая вышла. Гуляло народу много; знати всякой и не перечтешь... А дамы, слышь, нарядные такие — прелесть. В деревнях таких не найдешь... Ну, и ладно. Вот сидят это много на скамейках против музыкантов, которые потешают их на разные манеры... Сидят они смирно, все смотрят на музыкантов, — в чувство входят; а мимо их на площадке разные франты ходят. Значит, ищут девиц на тово-оно... Вдруг, что бы ты думал, вышло? Одна передняя скамейка и грохнулась, — ножки с одного конца фальшивые были, — ну, дамы и кувырк — кто вверх ногами, кто просто на посрамление, а молодые-то люди, франты, любуются...

Крестьянин хохочет во все горло; хохочет с четверть часа.

— Вот дак любо! А я бы — знаешь как?.. — Крестьянин хохочет.

— А как?

Крестьянин хохочет и говорит свое мнение. Потом рассказывает о казусах, бывших в селе с какой-нибудь девкой.

— А вот что, дядя, как по-твоему: которые из девок лучше, городские или сельские?

— Городские, брат, штуки! Напялено на нее — страсть; ходит как индейский петух: только поглядишь в щелочку на нее, страх возьмет... Да что — не по нам.

— В селах-то, брат, лучше знать?

— Эво! Возьмешь кою девку и не нарядную — славно! Здоровая такая... — Крестьянин хохочет.

— И женишься, — славная жена будет.

— Уж на этот счет не беспокойся. Все приладит; заботу об ребятах знает, чужому не поддастся. Вот моя жена так ревмя ревет, коли мне что не посчастливится, а пьяный напьешься — драться лезет... Славная баба, бой-баба!.. А здорова, собака! На тысячу рублей не променяю свою бабу. Золото баба!

— А ты по любви женился?

— Пондравилась: красивая была девка, да и вместе малолетками игрывали... Ну, достатку-то у них нет, да все однако — жениться надо. Ну, и женился.

— Не перечила?

— Да что ей перечить? Меня знает. «Я, говорит, за тебя пойду замуж, коли ты меня обижать не будешь, коли, говорит, будешь мужик хороший».

— Так. А городские не нравятся?

— Да что и толковать! Ну их!.. Хорошо яблоко спереди, да внутри-то горько.

— Ты бы в Питере пожил, не то бы сказал.

— Ну, не знаем, поди-кось!.. Вон лонись оттолъ Кирьяк Савич приезжал, — извозчиком там был. Такая, говорит, там жизнь извозчикам — беда! Плутом, говорит, надо быть... С виду-то, говорит, куды-те расфранченная, ужасти!.. А скажешь такое любезное слово — и готово!.. Только Кирьяшко-то, знать, прихвастывает на эфтот счет. Поди-ткость, так и поверят! А у самого, у пса, жена здесь с детьми живет.

— Ну там-то это так.

— А ты бывал там?

— Не был, а в книгах пишут.

— Ну и врут, коли пишут... Эдак жить, по-нашему выходит, грех... Стыд на весь мир... А все бы самому лучше поглядеть.

Егор Иваныч злится, слушая эти разговоры. Он думал: «Что это они толкуют дичь? Ну, для чего? Будто о другом не о чем рассуждать...» Но взглянув на спину своего дремлющего ямщика, он думает... «Как только буду я священником, я прямо начну говорить проповеди об этом предмете. Я все эти гадости объясню им... Эх, какая пошлость! До чего люди доходят! Подобные примеры я видел и в губернском; надо вразумить прихожан, изобличить их в поступках, происходящих от безнравственности...» При этом он представил себе, что он едет жениться, но на ком? Сердце забилось, словно боль какая-то чувствуется. Потянулся он, зевнул, стал тянуть поочередно пальцы; пальцы захрустели... «Какая-то моя невеста? Господи, дай мне хорошую жену, не развратницу. Слыхал я, что какой-то священник от развратницы жены спился и под суд попал, теперь по кабакам трется в крестьянском звании. Нет! дай мне хорошую жену...» И при мысли об жене, об детях опять чувствуется боль и радостное щекотание в сердце.

Почти во всю дорогу Егор Иваныч думал об своей будущей невесте и трепетал. Невесты он не видал. Кто ее знает, какая она. Другое дело, если бы Степанида Федоровна... При этом Егору Иванычу чего-то жалко стало, зло его взяло... «Да ну ее к чертям!» — подумал он. И опять ему представляется невеста в образе красивенькой девицы, девицы набожной, отец которой — богатый человек, дает ему свой дом или купит в городе дом в четыре комнаты. Но ведь невесты еще нет. Нужно найти ее... У отца Василья, сказывают, есть дочь Наталья девятнадцати лет... Как, поди, красива! А впрочем, кто ее знает, какая она. Может, она уже помолвлена с кем-нибудь... Все бы хорошо иметь тестя в той же церкви: доходов бы можно много нажить. Но как подступить к нему? Как жениться в такой короткий срок на незнакомой девушке? Надо с отцом посоветоваться...

С товарищами, семинаристами Корольковыми, Егор Иваныч обращался как кончивший курс с учениками. По его понятию, это были мальчишки, только что начинающие смыслить, теперь еще глупые ребята. Корольковы

были из Столешинского уезда и кое-что знали о духовенстве тамошнем.

— Вы в Столешинск?

— Да.

— Ну, невест там много. Мы слышали: вы у отца Василия Будрина хотите сватать.

— Еще не знаю.

— Полноте притворяться! Во всем губернском знают.

— А у Василья Григорьича славная дочка! Я бы не прочь жениться на ней. Только приданого-то мало, потому что прихожан у этой церкви мало, и прихожане народ всё бедный, всё рабочие.

— Зато священник.

Егору Иванычу не нравится это, более потому, что мальчишки толкуют не в его пользу.

— Вы бы, господин Попов, у чиновников или у купцов посватались!

— Знаю и без вас.

— Ну, это еще не резон.

— Почему?

— Потому что отец Василий и не отдаст за вас.

— По-че-му?

— Потому что вы очень неказисты с виду.

«Подлецы!» — ворчит про себя Егор Иваныч и думает: «Во что бы то ни стало, а женюсь-таки я на Будриной дочери».

— А может, она и с брюхом! — подзадоривают семинаристы.

— Господа! вам какое дело до меня и моей невесты? — говорит Егор Иваныч, думая, что семинаристы испугаются его, как кончившего курс и облагодетельствованного начальством.

— То дело, что она не пойдет за вас замуж, потому что у вас шишки на носу...

— Я?.. я ректору на вас пожалуюсь!

— Вот и спасибо... Да ну его к черту!

— Ей-богу, пожалуюсь.

— Вот что, господин Попов: вы будете служить в уездном городе, и вас будут теснить благочинные, если у вас не будет денег. А мы будем учиться и в попы не поступим. Нас хоть сейчас гони, нам все равно. В другое место пойдем учиться.

Егор Иваныч на это ничего не отвечал и всю дорогу отмалчивался. Пойдут Корольковы в кабак с крестьянином, Егор Иваныч думает: погибшие люди. Заговорят с крестьянами так, что крестьяне рады их слушать, хохочут и соглашаются и еще просят рассказать, — Егор Иваныч думает: уж я доберусь до них, только бы жениться!.. Корольковы смеялись над Поповым, крестьяне отмалчивались от него, говоря: уж больно он важничает. Корольковы ехали весело, так что крестьяне говорили им на прощанье: жалко, что вы, ребятки, маловато ехали: и не заметили, как время-то весело прошло. Егор Иваныч скучал. Крестьяне говорили про него: одет-то он неказисто, а больно хитер. И не хитер, а смыслу такого нет, чтобы ублаготворить нашева брата...

С Корольковыми Егор Иваныч расстался в деревне Ершовке, которая от Ивановского села находится в десяти верстах. А так как ершовцы прихожане Ивановской церкви, то Егора Иваныча довез до села ершовский крестьянин Макар даром.

Егора Иваныча по въезде в село одно только радовало: увидеться с отцом, и с ним же ехать в Столешинск. Иные радости бывали прежде, когда он приезжал домой еще уездником. Теперь он возмужал, окреп, сделался чем-то выше крестьян и даже своего отца. Ему не время было вглядываться в сельскую обстановку, да и не для чего, потому что село как в прошлом году стояло, так и теперь оно в таком же виде. У церкви в прошлом году еще на одном окне вверху стекло было разбито, так и теперь это стекло разбитым остается. Все дома такие же, черные, с высокими крышами да кое-где с палисадниками перед окнами; этот дом Марка, тот Пантелея, этот старосты, а тот станового. Люди тоже не изменились. Ходят себе в рубахах да в штанах, ребятишки играют, скачут; все говорят чисто по-деревенски; скот по-старому свободно разгуливает по улицам... Все одно и то же, только вон налево две крестьянские избы сгорели.

Егор Иваныч думал, что его встретят как дорогого гостя. В воротах его встретила корова буренка. Во дворе чисто. Но на крылечке настоящая деревенщина. Егор Иваныч вошел в кухню, никого нет. Один только кот

забился на шесток и оплетает поросенка, оставленного без призора в латке. Егор Иваныч стащил кота за ухо. В комнате тоже никого нет, в отцовском чулане тоже.

— Вот она, деревня-то! Оставь-ко так дом у нас, в губернском, без заперти!.. Впрочем, и взять-то у них нечего, — проговорил про себя Егор Иваныч.

Зная, что он здесь хозяин, так как дом отцовский, Егор Иваныч втащил в отцовскую комнатку сундучок, в котором заключались книги и одежда, тулуп, войлок, одеяло и подушку. Умывшись и закусивши поросенком, он улегся спать. Но через четверть часа услыхал голос сестры Анны.

— Чтой-то, девка, за напасть! Гли, поросенок-то... Кто же это слопал?

— Да брат, поди, — отозвался женский голос.

— Ах, мои матушки, и не догадаюсь! Где же он, голубчик? — И Анна вбежала в отцовскую комнатку. Брат и сестра поцеловались. Сестра долго любовалась на брата и выспрашивала разные губернские новости.

— А где же отец?

— По грибы, Егорушко, ушел. Чай, поди, сичас придет. А ты поешь, голубчик.

— Ты, сестра, извини, что я слопал поросенка.

— Ой! ой! побойся ты бога, брат.

— Отчего ты мне дозволяешь есть, а других ругаешь? готова глаза выцарапать.

— Ну, ну, учен больно!.. Ты мне брат, а те чужие, каждый волен свое съесть, а на чужой каравай рот не разевай. Поешь, право.

— Молочка разве.

— Изволь. Я те малинки еще принесу... Какой нынче урожай этой малины, беда! Вот Пашка у меня вчера обтрескался малины-то, все брюхо вспучило; к знахарке ходила... Теперь прошло, с отцом побежал в лес.

Сестра принесла кринку молока и бурак малины. Егор Иваныч налил молока в чашку, накрошил булки, наклал малины и стал есть.

— Где же Петр Матвеич?

— А будь он проклят! и не говори...

— Что?

— Да просто житья от фармазона нет.

— Что же он, по-старому?

— Ох, Егорушко, и не говори! Насобирали мы ноне в праздник мучки пудов с двадцать, продали десять пудов, а остальную в сусек положили, да денег пять рублей насобирали; он, будь он проклят, все пропил да девке Марье ссовал... Ах, убей ты его, царица небесная!

— Зачем желать зла, сестра! Бог знает, что с ним сделать.

— Так оно... И смерти-то на него, анафемского, нет никакой... Хоть бы с вина сгорел, окаянная сила!..

— Опять-таки я тебе скажу, сестра, смерти желать никому не следует, потому что так господь велит, да и твой рассудок так говорит, что без мужа тебе плохо будет. Ведь у тебя трое детей?

— Ой, и не говори!.. Уж такой злосчастной, верно, на роду бог написал быть.

— Жалко, сестричка, мне тебя!..

— Ни одного дня такого нет... Совсем каторжная жизнь... — Сестра заплакала.

— Не тужи, сестра. Бог поможет. Надейся на него: все будет легче; стерпится, слюбится, говорит пословица.

— Так оно. Да все тяжело: на бога надейся, а сам не плошай. Вон попрекает меня новым дьяконом: ты, говорит, с ним дела имеешь... А у тово дьякона, голубчика, жена злющая-презлющая, так и бьет ево...

— Может быть, ты с ним дружбу ведешь?

— Эх, Егорушко, с кем же мне и вести дружбу, как не с хорошим человеком? Что я стану с своим-то мужем делать, коли он жалости никакой ко мне не имеет!

— Какая же твоя дружба с дьяконом? то есть, что ты с ним делаешь?

— И не говори! Славный человек!.. Дай бог ему доброго здоровья. — Сестра перекрестилась.

— Поди, целуешься?

Сестра захохотала и убежала в кухню, вероятно от стыда или от чего-нибудь другого.

К Егору Иванычу пришел Саша, мальчик пяти лет; бойкий мальчик.

— А, Саша! здравствуй!

Саша, как маленький мальчик — ребенок, видавший дядю через два года и через год, — считал дядю за чужого; а известно, что дети не скоро льнут к чужим, несмотря даже на особенные ласки и выражение лица. Егор

Иваныч не очень долюбливал детей и потому, сказав несколько слов мальчику, стал смотреть в окно. Пришла сестра с двухгодовой девочкой.

— А вот и Степка! поганая девчонка!.. — представила сестра брату свою дочь.

— Какая ты грубая, сестра! Разве можно так говорить при детях!

— Бить их, падин, надо!

— Сестра! Неужели у тебя нет жалости к своим детям?

— И не говори, братчик! Ты не знаешь, сколько я терпела через них, пострелят.

— Зачем же ты замуж вышла?

— Весь век, что ли, в девках сидеть? — Сестра обиделась.

— Лучше бы было. Ты по своей красоте нашла бы хорошего жениха.

— Именно нашла бы.

Егору Иванычу сестра показалась слишком невежливой женщиной и развратницей. Он никак не предполагал, чтобы сестра его, богомольная смиренная девушка до замужества и хорошая жена назад тому два года, дошла до того, что имеет дружбу с дьяконом и пренебрегает своими детьми. Он догадался, что вся причина этого зла происходит от мужа ее.

— А что твой муж, каков с отцом?

— И не говори! Третьево дни обозвал его всячески. Прибить хотел.

Это разозлило Егора Иваныча, и он решился, во что бы то ни стало, урезонить его, обратить на хорошую жизнь.

— Паша учится?

— Ой, и не говори! Просто такая сорва, ножовое вострее да и только! Ты знаешь отца-то, нюня такая — просто беда... Ничем не хочет заняться.

— Ты об отце не говори так.

— Сядет на улицу и сидит весь день с мужиками. А это уж взагоди когда с Пашкой займется. Да и какое занятье-то? Посадит Пашку против себя и заставит читать, а тот, шельмец, читает себе под нос; настоящего нет, отец-то и прикурнет. А как задремал отец, он и бежать да все с ребятами в бабки да в мячик играет. Говорю я

ему, чтобы он его, собаку, к столу привязал да плетку держал в руке, так на улицу идет, там, говорит, другие ребята вместе с Пашкой будут понимать ученье... Нёха такая, что просто беда! .. Вот что, братец, поучи ты Пашку-то; я уж такую тебе плетку сделаю! .. Из арапника старова сделаю...

— Учить нужно лаской.

— Ой, и не говори! Самого-то как учили!

В это время Егор Иваныч увидел на улице отца. Он шел с Павкой без шапки. Далеко видно было заштатного дьякона по его осветившейся солнцем лысине. Павел скакал кругом дедушки, держа в руках наберуху, из которой выпадывали грибы. Дедушка унимает внучка, внучек хуже шалит.

— Погоди же ты, шельма! Задам я тебе поронь! — ворчит старик и хочет поймать внучка. Внучек язык ему выставляет.

— Плут — парень! Зачем ты грузди-то покидал? Я еще тебе за шапку задам, еще погоди!

— Не боюсь, не боюсь! — кричит внучек и скачет.

Егор Иваныч вышел на улицу встречать отца.

— Дедушка! — дядя! — сказал Павел и подбежал к Егору Иванычу. Егор Иваныч подал ему руку и подошел к отцу.

— А! Егорушко! Ах ты, голубчик! Здравствуй, Егорушко, здравствуй! здорово ли, дитятко? — сказал ласково и с радостью Иван Иваныч и облобызал Егора Иваныча.

— Здоровы ли вы, тятенька?

— Плоховато, Егорушко, плоховато... Вот по грузди ходил, ноженьки устали, просто беда! Разломило... Спина ноет, знать-то дождик будет... Ну, как ты, кончил термин?

— Кончил.

— Ну и слава те господи! Пойдем в избенку-то.

Вошли в избу.

— Ну-ко, ты, курва! Што у те все разбросано? .. Брат приехал, а у ней, вишь ты, што... Неряха! — ворчит старик на свою дочь.

— Уж опять пришел ворчать-то! — говорит дочь.

— Ах ты, погань! Мало тебя муж-то бьет, мало, ей-богу... Гадина.

— Полноте, тятенька, — увещевает сын.

— Да как с ней, стервой, не кричать! Просто от рук отбилась.

— Просто житья мне в этом дому нет! — завыла Анна... — И бранят и бьют; поедом съели...

— Молчи! — крикнул Иван Иваныч. — Пошлю из дому к паршивику.

— Тятенька, полноте!.. — просит сын.

— Я те как начну хлестать вот этой дубиной... Чисти грибы-то! Ох вы, мои ноженьки!.. Просто житья мне от них, чертей, нет... Ну, так, Егорушко, теперь ты как?

— Да уж получил место.

— Ну, слава тебе господи! — и Иван Иваныч перекрестился. — Во священники?

— Да, в Столешинск.

— Слава богу! слава богу... А ты спал ли?

— Дорогой спал.

— Поди сосни, Егорушко. Эй ты, што же ты на стол-то не накрываешь?

— И накрою, подождешь.

— Ах, будь ты проклята! Што мне, в люди идти обедать-то?

Время до обеда Ивана Иваныча прошло скучно для Егора Иваныча; ему должно было слушать ругань отца. Хотя он и вступался в примирение, но его не слушали. Сестра его крупно отгрызалась от отца и все пуще и пуще злила его.

Стал Иван Иваныч обедать грибницу, сваренную из грибов, и грибы, зажаренные в сметане. Егор Иваныч тоже стал есть, но ел лениво. Старику показалось, что Егор Иваныч брезгует кушаньями.

— Што же ты, Егорушко, не ешь?

— Сыт, тятенька. Я, как приехал, поросенка поел. Потом сестра пришла, молока принесла и малинки... Да и мы там очень мало едим.

— А ты опять бегала? — спросил строго Иван Иваныч свою дочь.

Опять брань.

— Принеси молока с малиной.

Анна принесла молока и малины. Егор Иваныч не ест.

— Поешь, Егорушко.

— Не хочу — сыт. — Егор Иваныч встал.

— А ты посиди, поговорим. Али спать хочешь?

— Нет, не хочу.

— Ну, брат, я знаю, что спать хочешь... Эй ты, Анна, топи баню!..

— Да какая же теперь баня? — сказал Егор Иваныч.

— Ну, брат, об этом и в писании сказано. Ты у меня золото, Егорушко! А баню надо истопить. Да что с ней, шельмой, и толковать... Пашка, не балуй, отдеру за вихры-то! Пошел за водой!..

Егор Иваныч отправился спать на сенник. Он долго думал об отце. Как он не развит до сих пор! С людьми он хорош, крестьяне любят его, отчего же это он с семьей так обращается? Отчего же это брань и ворчанье? Тут что-то кроется худое. Надо будет расспросить у отца; или пока молчать, а самому посмотреть на них. Он спал немного; его разбудил отец.

— Егорушко, спишь? — Эти слова старик повторил раза четыре.

Вымывшись в бане, Поповы стали пить чай.

— А я, Егорушко, давеча забыл сказать тебе... Эта шельма у меня совсем отбила память... Я ведь думал ехать к тебе. Так-таки и положил завтра ехать.

— Зачем?

— Да что я стану делать с ними? Петька всего обворовал, а вчерась чуть не прибил, окаянный.

— Вы бы, тятенька, как-нибудь легче урезонивали его.

— Бить его надо, да сил у меня таких нет... Так как же теперь насчет невесты-то?

— Не знаю, как.

— Ну, как-нибудь... Так мы завтра же и едем по невесту.

— Мне отдохнуть хочется, да и до октября еще долго.

— А как да ты опоздаешь?

— Не знаю.

— Нет уж ты лучше скорее вари кашу, а то другой, окромя этой, не найдешь.

— Знаете ли, тятенька, что меня мучит: как мне жениться на незнакомой девушке?

— А что?

— Да как же? Ведь я ее не видал даже!

— Так что, что не видал?.. эка беда! Приедем, пошлем сватью какую-нибудь, и дело в шляпе.

— А как да она не понравится мне?

— Я вижу, ты большой привередник. Больно в тебе нрав крутой сделался. Да оно так и должно быть... Накось, кончи курс в семинарии! Славно, Егорушко!.. Я бы, как кончил курс, уж кем бы теперь был! Ну, кем бы я был?

— Может быть, благочинным.

— Ишь ты! А благочинным сделаться — штука... Нет, я бы выше был.

— Можно быть и благочинным в губернском городе, старшим членом консистории. Там житье славное.

— То-то вот ты и есть! А как я обучился топорным манером, вот и остался на всю жизнь дьяконом, да и за штатом оставили... Нет, Егорушко, я бы экономом архиерейским сделался. Слыхал я, что им большая честь, да и хорошая жизнь.

— Ну, экономом вы могли бы сделаться только тогда, когда вы были бы монахом.

— Право?

— Неужели вы не знаете, что экономы выбираются больше из монахов?

— А видал и протопопа.

— Не знаю. А больше монахи.

— Ну уж, я в монахи не пойду.

— А вот монахам житье лучше нашего брата, то есть белого духовенства.

— Ну, не ври. Монах за мир грешный молится.

— Вот я так могу быть архимандритом и архиереем даже.

— Ну??

— Право. И очень легко.

— А как?

— Вот каким образом. Если я теперь поеду на казенный счет в духовную академию...

— Ну уж, не езди, не мучь себя, а то ты уж спичка спичкой...

— Мне отец ректор предлагал, да я сказал, что я должен всеми силами заботиться о вас.

Ивану Иванычу это любо показалось; он улыбнулся, но ничего не сказал. Вероятно, он хотел поблагодарить

сына, да только не мог или не хотел поблагодарить. Егор Иваныч продолжал:

— Отец ректор сказал, что это дело хорошее, что я за это могу скоро получить священническое место.

— Вот, значит, я не дурака вырастил. Славный ты у меня, Егорушко! .. ей-богу славный... А мы вот что сделаем...

— Что?

— Да нет, уж я теперь не скажу...

— Вы не видали моего указа из консистории?

— Покажи.

Егор Иваныч показал отцу указ. Отец смотрел, улыбаясь.

— Прочти, Егорушко, не вижу.

Егор Иваныч стал читать: «По указу его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего (имя рек) архиепископа...»

— Постой! — И Иван Иваныч убежал на улицу. Егор Иваныч посмотрел в окно.

— Куда же это он? — спросил он сестру.

— В кабак! — ответила она.

— А он ходит разве туда?

— Ходит. Каждый день ходит. Он и теперь пьяный пришел.

— Ты врешь, сестра? Он прежде не пил.

— Не знают будто! Вот ты два года не был дома и не знаешь.

— Это всё вы, свиньи, довели его до того! — и брат начал ходить по комнате.

Сестра обиделась на брата и ушла на улицу, ничего не сказавши на замечание брата.

Егор Иваныч положил указ в ящик и только что подошел к окну, как увидел около дома толпу крестьян, впереди которой шел Иван Иваныч, держа в руке косушку вишневки.

— Сюда, ребятки! сюда! — кричит Иван Иваныч крестьянам, торжественно входя в избу.

— Тятенька! — сказал Егор Иваныч.

— Ну-ну, голубчик... — Он уже выпил и жевал ржаной кусок хлеба.

В кухню вошло семеро крестьян.

— Вот он, Егорушко-то! Вот он, сынок-то! — представил Иван Иваныч своего сына крестьянам.

— Здравствуйте, Егор Иваныч! Наше вам почтение! — сказали крестьяне, снявши шапки, и поклонились ему.

— Здравствуйте, господа, — сказал Егор Иваныч несколько вежливо и несколько гордо.

— Как поживаете?

— Покорно благодарю, господа.

— Какие мы господа!.. А вы в попы идете? Дело, Егор Иваныч. Дай бог вам счастья, дай бог!.. — сказал один крестьянин, кланяясь.

— Ну, ребятки, выпейте! За сына моего выпейте: ведь в священники посвятили...

— Слава те господи!

— Сам преосвященный бумагу дал.

— Дай вам господи много лет здравствовать.

Крестьяне присели и стали шептаться. Иван Иваныч налил рюмку водки и поднес Егору Иванычу.

— Выпей, Егорушко. Сладенькая.

— Не могу, тятенька.

— Ну, не церемонься. Знаю я, как ваша братья пьет. Ну, ну!..

— Егор Иваныч, выпей... Ништо, водка-то сладкая, — просят Егора Иваныча крестьяне. Крестьяне эти были старые, честные и добрые люди. Нельзя было не уважить их ради отца. Тут не для чего было церемониться, потому что Егор Иваныч выпивал в губернском с товарищами, но ему хотелось показать, что он ничего не пьет, показать, что он бегает от кабака и подобного зелья; но подумав, что этим крестьян не обманешь и он будет священником в другом месте, он выпил, сказав, что выпивает ради хороших людей.

— Ну, теперь я, — сказал Иван Иваныч.

— Во здравие! — сказали крестьяне. — За сынка-то, Егора Иваныча, пейте.

— Ребя, купим еще! Штоф купим, черт их дери, с деньгами-то, — сказал один уже хвативший очищенного крестьянин.

— Белой! Самой горькой!! — закричал другой крестьянин и вытащил из-за пазухи кожаный кошель с деньгами.

— Вали! вот те пятак.
— Мало! вали десять.
— Ну те к...
— Митрей, дай три копейки!

Крестьяне стали выкладывать на лавку копейки и грошики. Наклавши тридцать копеек, они послали одного крестьянина за водкой. Между тем Егор Иваныч разговаривал с двумя крестьянами о хлебопашестве и о прочих хозяйственных делах поселян.

— А что, вас ныне не дерут в стану?

— Э, Егор Иваныч, об эвтих делах не след толковать. Мы люди темные. Ну их к богу! ... Третьеводня Максимку отварганили любо; ничего не взял.

— За что?

— А так, отваляли — и дело в воду. Старосту он обругал, тот становому жалобу написал, да, бают, сунул ему малую толику, — ну, Максима и взъерихонили.

Полштоф выпили. За водкой и после водки разговаривали об отце Федоре, его дочке, вышедшей за станового пристава Антропова. Крестьяне хотели было еще купить водки, но их стала гнать сестра Егора Иваныча. Егор Иваныч, по приказу отца, прочитал крестьянам консисторский указ. Крестьяне слушали, плохо понимая содержание этого указа. Они только и поняли, что Егор Иваныч едет жениться.

— Вот дак дело!
— Любо! Хозяйка — важнецкая штука!
— А ты ее, смотри, не балуй.
— Ноне бабы-то модницы такие стали, просто ужасти.

Крестьяне хотели идти, но в это время пришел Петр Матвеич, пьяный, с подбитыми глазами. Волосы его были заплетены косоплетками, нарезанными из платья жены в виде ленточек.

— Здорово, брат! — сказал густым басом Петр Матвеич и поцеловал Егора Иваныча.

— Ну, как живешь, можешь?
— Ничего.
— Кончил курс-то?
— Да.
— А место получил?
— Получил.

— Брат, дай денег! Ей-богу, нету ни копейки. Дай пожалуйста!

— На что?

— Ты только дай.

— Ты уйди отсель, пока бока тебе не наломали, — сказал Иван Иваныч.

Крестьяне стали выходить.

— Куда? Эй, Семен, дай денег! — закричал Петр Матвеич.

— Нету, Петр Матвеич.

— Дай!..

Крестьяне стали рассуждать на улице, перед домом Попова.

— А что, Михей, дать али нет?

— Да за што дать-то?.. Кабы дело какое, — так, а то не за што.

— Так оно... Разве уж для дедка купим.

— Иван Иванычу разе?..

— Так как?

— Вот и парня-то надо бы угостить.

— За што угощать-то?

— Да уж все обнаковенно... Так как? Смотри — того не надо!

— Да ты, смотри, так окличь: на улицу, скажи, просят; а не то на ухо шепни, оно лучше будет.

— Да смотри, ежели тот придет, шею намылим и тебе и ему.

— Сумею.

— То-то — сумею. Олонись сумел! сам, брат, ты один полштоф вылакал.

— Да смотри, проворней...

На зов крестьян на улицу вышли Поповы, а за ними вышел и Петр Матвеич. Крестьяне озлились на Митрия.

— Уж выбрали козла! А ты коли с ним знакомство имеешь, уходи отсель, — сказал один крестьянин Митрию.

— Да што я с ним стану делать?

— Батюшко, отец дьякон, подем... Мы как-нибудь угостим тебя и сынка твово.

— Я, братцы, пить не стану, — сказал Егор Иваныч.

— Мы вот к Елисею Марковичу подем. Там весело калякать-то.

— Я не пойду в кабак, — сказал Егор Иваныч.

— Ну, как знаешь, твое дело... А только, Егор Иваныч, мы больно тебя полюбили: уж ты такой смирный, и Иван-то Иваныч вот дак человек!.. Право, подем!

— Не могу, братцы. Да мне и спать хочется.

— Так ты, Егорушко, не пойдешь?

— Нет.

— Ну, а я так пойду.

— Грешно, отец, тебе на старости лет в кабак ходить. Мы лучше дома станем толковать.

Ивану Иванычу хотелось сходить в кабак, покалякать с мужичками, и обидно было, что Егорушка церемонится, но, подумав, что сын приехал сегодня, он не пошел в кабак, а пошел спать на сенник вместе с Егорушком. Крестьяне разошлись по домам, рассуждая:

— А каково?

— Иван-то Иваныч ничего, а сын-то горденек.

— Нельзя, выходит: скоро поп будет.

— Счастье!

Между тем Егор Иваныч рассуждал с отцом:

— А ведь вы, тятенька, прежде не ходили в кабак?

— Да что станешь делать? Дома водку держать нельзя, потому что Петрушка выпьет.

— Ведь, тятенька, на водку денег много выйдет.

— Да, Егорушко; ты правду сказал. Все-таки я тебе скажу: крестьяне меня любят и потому сами зовут.

— Они, пожалуй, будут считать вас за пьяницу.

— Ну, и пусть их с богом. Пословица говорится: пьян да умен — два угодья в нем. Как выпьешь — оно и хорошо, и горести все забудешь. А ведь мне, Егорушко, скажу тебе по совести, трудно было жить. Сначала Петр тянул с меня сколько денег, да ты знаешь... Ну, Анка в доме жила, по крайности хозяйством занималась, теперь ничего не просит. Ну, вот истягался я, истягался на Петра, дьяконом сделал, а он теперь шиш показал. Подикось, даром деньги-то даются... Ну, да бог с ним, пусть сам вырастит детей, сам узнает, каково отцу-то... Священником, брат, трудно сделаться нашему брату: доходы были маленькие, просто хоть вой да зубы на спичку весь... Вот теперь на тебя я сколько издержал... Каждый месяц восемь рублей посылал, а сам без копейки оставался. Хорошо еще, что Анка кормит, еще не гонит, дура...

— Да, тятенька, трудно быть отцом.

— Попробуй — и взвоешь так, что беда!.. Теперь вон насчет жены тоже штука. К примеру так сказать, отца Федора дочь вышла за станового пристава, ну, и ладно... Человек он богатый, старенек маленько, да все же он муж, а она, слышь ты, с мировым посредником дела имеет. Только это секрет; ты, смотри, никому не болтай, а то мне худо будет.

— Мне какое дело!

— Ну, то-то... Мне, знаешь ли, староста сказывал. Был, говорит, я у станового раз, ну и увидал, говорит, в зале станового с женой и этова посредника. Посредник-то ее, слышь ты, на фортоплясах учит играть... Сижу, говорит, я в зале, кофей пью, а мировой около Степаниды Федоровны сидит... Только что ж бы ты думал? Становой вышел в другую комнату, мировой и поцеловал Степаниду-то Федоровну. Во что бы ты думал? а? в щеку? То-то, што нет... в щеку! Вот оно што!!!

— А ведь я хотел жениться на ней.

— Ну и слава богу, что не женился. Она с мировым-то посредником еще недавно познакомилась. Становой-то его на свадьбу пригласил, ну с тех пор и пошло.

— А становой не знает?

— Кто его знает? Я с ним мало знаком. Да если и узнает, то побоится жаловаться, потому что мировой-то — сын богатого помещика и с губернатором знаком, так что люли. Говорят, он и повыше эти дела ведет... Тут, брат, молчи знай. Ты, Егорушко, не проболтайся, пожалуйста.

Егор Иваныч проснулся уже тогда, когда солнышко было высоко, а в котором часу — он не знал, потому что в селе часы только у должностных лиц, и бегать справляться — далеко и не к чему, так как делать решительно нечего, а обеден сегодня не полагалось, так как день будничный — вторник. Он долго лежал, думая об отце, сестре, Петре Матвеиче, о крестьянах и обо всем, что только он видел и слышал в селе. Село ему опротивело, люди ему показались грубыми. «То ли дело у нас в губернском! — решил он. — Надо уехать скорее в город. Сегодня же поеду. Здесь просто помрешь; здесь ничего не услышишь хорошего, здесь слова сказать не с кем, — все положительно неучи и все развращены...»

Сошедши с сенника, Егор Иваныч увидел своего отца на улице. Он сидел без шапки на скамейке у ворот. Около него сидел Павел и трое ребят, крестьянских мальчиков. Иван Иваныч учил их грамоте по церковной азбуке. Егор Иваныч подошел к отцу.

— С добрым утром, тятенька.

— Спасибо. Равным образом. Долгонько, брат, ты, Егорушко, спал.

— А который час?

— Не знаю, Егорушко, должно быть, что десятый.

— А вы учением занимаетесь?

— Да. Так-то скучновато, да и Павлушка так-то скорее выучится. Ты, Егорушко, ел ли?

— Еще и не умывался.

— Экой ты какой! Все такой же, как и прежде: спишь долго, баню не надо, ешь мало. Ты поди, поешь! ..

— Мне, тятенька, курить хочется, а табаку нет.

— А ты понюхай.

— Да я не нюхаю.

— А прежде нюхал. Пашка, сбегай к матери; скажи, мол, дядя денег просит. Дай, мол, десять копеек.

Пока Павел ходил за корешками, Егор Иваныч, умывшись, выпил стакан молока и сел к отцу.

— Ну, ну, шельма, читай! Не то голиком в бане отдую, — кричит Иван Иваныч одному мальчику. Тот читает.

— А ты что склады-то не твердишь? Ах ты, шельма! Виновный твердит: «бру, врю, вру, мрю», а дальше ничего не знает.

— Прочитай «Верую»! — приказывает Иван Иваныч другому мальчику.

Мальчик читает. Иван Иваныч теребит мальчика за ухо.

— Песни петь знаешь, а молитвы не знаешь! .. Ванька, неси голик! Песни тебе знать?

— Песни знаю. ..

— А «Верую» зачем не знаешь?

Мальчик смеется.

— Посмейся ты у меня, безрогой скот, я те выдеру крапивой! Ванька, неси голик! Тебе говорю или нет?

— Ты погляди в книгу и выучи, — говорит Егор Иваныч.

— Ну, он, Егорушко, еще не умеет читать. Это я его так учил, только он «Верую»-то с «Отче наш» смешал.

— Это хорошо, что вы так учите. Нынче даже и азбуки совсем другие сделаны.

— Видел я, да как ни коверкал так-ту учить, ничего никто не понял, да и сам-то я по ним не умею учить. Уж лучше бы, как по-старому учили.

— Теперешнее обученье несравненно лучше прежнего.

— Ну, уж, Егорушко, ты так-то учи, а я уж по-своему, по-старому, буду.

— У нас нынче в простом народе хотят сделать наглядное обучение.

— Это как?

— Наглядным образом воспитать ребенка, приохотить его к ученью. Можно ребенка учить с двух годов.

— Ну, не ври.

— Люди, воспитанные самою матерью и отцом и воспитанные как следует, бывают впоследствии образованные люди.

— Ты, Егорушко, не мешай мне.

Егор Иваныч замолчал. Немного погодя Иван Иваныч сказал ему:

— Ну-ко, Егорушко, поучи.

— Ловко ли будет?

— А что?

— Да дело, видите ли, в том, что если учить, так надо учить толком, нужно быть вполне учителем.

— Так, по-твоему, я глуп? Грех тебе, Егорушко, говорить такие слова про родителя, который выучил тебя.

— За это я вас благодарю. Но все-таки я у вас научился только читать.

— Так что ж? На что же семинарии-то заведены?

— А чтобы учить — нужно выучиться не одному чтению и письму, а надо знать многое. Даже вот и нас учили, а выучили очень немногому.

— Чего же еще тебе надо?

— Мы, как говорит большинство нашей братии, только и умеем, что хорошо читать да складно, умно сочинить, а самой жизни, то есть общества, различных сословий, и не знаем, потому что в наши головы много вбили ни к чему не ведущей теории.

— Красно ты, Егорушко, говоришь, хоть куды новый дьякон наш; на одну бы вас доску поставить... Вы должны спасибо сказать, что вас обучили, истягались на вас... Коли бы ты ничего не смыслил, то не вышел бы прямо в священники.

Егору Иванычу ничего больше не оставалось говорить с отцом, и время до обеда прошло скучно. За обедом Егор Иваныч спросил отца, когда ехать. Отец сказал, что завтра именинница жена отца Федора, и надо бы Егору Иванычу сегодня сходить к нему в гости. Егор Иваныч обещался сходить вечером, но отец Федор сам пришел. Это был здоровый мужчина, с брюшком, с огромной бородой. Он пришел, как подобает старшему священнику, в рясе и с палкой. При входе его в комнату Ивана Иваныча все бывшие тут, в том числе и Петр Матвеич, встали и подошли под благословение, кроме Егора Иваныча, которому отец Федор пожал руку.

— Здравствуйте, Егор Иваныч!

— Здравствуйте, отец Федор!

— Садитесь, отец Федор, покорнейше просим! — сказал робко и с трепетом Петр Матвеич.

— А! и ты дома!.. Что, еще не пьян? — сказал Петру Матвеичу отец Федор.

— Никак нет-с.

— То-то. Всю семью загубил... Ну-с, кончили? — обратился отец Федор к Егору Иванычу.

— Да.

— Я слышал, вы уже бумагу получили?

— Получил.

— Можно полюбопытствовать?

Егор Иваныч вытащил указ и подал отцу Федору.

— Хорошо, — сказал он, прочитав. — Слава богу. Вчуже сердце радуется... Дай бог, дай бог! А Будрин куда делся?

— Будрин помер.

— Что вы?! Вот, живем здесь, ничего не знаем. Ну, да ему туда и дорога. А этот-то, Раскарякин, каков? — спросил отец Федор про члена, подписавшего указ.

— Говорят, хороший человек.

— Так-с!.. Дай бог, дай бог! Ну-с, вы когда едете?

— Да еду завтра утром.

— Что вы! что вы! Завтра моя супруга именинница.

Прошу покорно пожаловать с Иваном Иванычем. Дедко, приходи!

— Покорнейше благодарим! — отозвались Поповы.

— Непременно. Я сердиться буду, если вы не придете.

— Очень хорошо-с.

— Прощайте. Так приходите. У меня соберется много людей: становой, зять, с моею дочерью, мировой посредник, голова с женой, отец Василий с женой, дьякон с женой... Да, Анна Ивановна, ты должна прийти ко мне на исповедь сегодня вечером. Слышишь?

Анна Ивановна струсила.

— Да, батюшка, отец Федор, — ныне не пост, — сказала она.

— Я того требую.

— Что ты отнекиваешься? — крикнул на нее супруг.

— Очень хорошо.

— Прощайте. Я жду вас завтра. После обедни так и приходите.

— Покорно благодарим.

Отец Федор ушел.

— Вот что значит, Егорушко, кончить курс! На что отец Федор — гордый человек, и тот пришел поздравить! — торжествует Иван Иваныч.

— Што, попалась, гад ты экой?.. Он те проберет, — кричит на Анну супруг.

— И не пойду.

Следует брань и побои, которые разнимает Егор Иваныч. Егор Иваныч ушел с отцом из дому, оставив сестру с мужем.

— Неужели, тятенька, сестра испортилась?

— Лучше и не спрашивай. Беззаконие такое, что хоть вон беги из дому.

— Сестра говорит, что будто муж ее...

— Верь ты ей! Мало ли чего она говорит. Врет.

— Нам надо уехать скорее отсюда.

— Уедем... Егорушко, зайдем выпить?

— Не могу. Неловко как-то ходить в кабак; еще этот отец Федор в Столешинск напишет.

— Правда, правда.

Поповы прошли несколько домов. Встречные мужчины и женщины кланяются низко и, оглядываясь, смотрят на Егора Иваныча.

— Гляди-ко, сынок-то отца дьякона как вырос!

— Бают, в попы приделят. Старше отца будет: отец ему в церкви кланяться станет.

— Чудное дело!

У небольшого пруда Поповы сели.

— Так-тось, Егорушко! — сказал Иван Иваныч, в раздумье понюхивая табак. — Дела как сажа бела.

— Все пока хорошо. Одно только мучит — невеста.

— А там-то, ты думаешь, поди-кось, мало расходов надо?

— Да меня прямо посвятят: об этом будет хлопотать сам ректор.

Поповы замолчали. Егору Иванычу вдруг пришла мысль: а что, если в это время переведут ректора? О переводе его говорили в семинарии все профессора. А что, если сам владыка умрет или раздумает? Вот и живи женатый. Это он сообщил своему отцу потому, что один женатый богослов целый год жил без места, и у жены дочь родилась, так что он принужден был в светские выйти. Старик, зная по опыту, как даются места, и познакомившись назад тому семь лет с ставленниками в губернском городе, запечалился.

— Да, Егорушко, плохи дела-то. Ведь и рясу нужно новую, хорошую. У меня есть ряска, да на твой рост маловата будет. Разве перешить?

— Когда женюсь, рясу дадут.

— Надо бы тебе и сертучок сшить, а денег нет. Стащить разе у Петрушки подрясник?

— Нет уж, вы его не троньте.

Пошли назад мимо дома станового пристава. У окна сидела Степанида Федоровна с мужем. Поповы шапки им сняли.

— Здравствуй, Иван Иваныч! Что, сынок приехал? — спросил становой пристав.

— Да, Максим Васильич! Уже место получил, скоро свадьба будет.

— Радуюсь.

— А вы, Егор Иваныч, где берете невесту? — спросила Егора Иваныча Степанида Федоровна.

— В Столешинске же, у отца Василья Будрина.

— Хороша собой?

— Не видал еще.

Степанида Федоровна захохотала и что-то проговорила так, что Попов не расслышал.

— Полно ты, дурочка, смеяться. А что, приданое большое? — спросил становой пристав.

Поповы пошли было, но становой стал расспрашивать Егора Иваныча про губернские новости; Егор Иваныч на эти вопросы отвечал ясно и коротко: не знаю.

На другой день, по случаю именин жены отца Федора, в церкви служили обедню всем собором, то есть два священника, отцы Федор и Василий, дьякон Никита Фадеич. Очередь подавать кадило, ставить налой и исправлять служительские обязанности приходилась Петру Матвеичу. Он всячески старался выслужиться перед отцом Федором, но тот все глядел на него косо. Поповы и пономарь Кирил Антоныч пели на клиросе. У Егора Иваныча голос — ни тенор, ни бас, и он не умеет петь по-сельски, хоть как ни старается спеть. Отец его поет охриплым голосом. Зато Кирил Антоныч заливается себе каким-то тоненьким голоском. Он поет скоро, так что Иван Иваныч унимает его: Кирила, тише!

— Откачаем! — говорит Кирила и поет снова.

В то время, когда на клиросе не поют, наши певчие разговаривают.

В церкви народу было немного, двое нищих и шесть женщин. Служба кончилась рано. После молебна отец Федор пригласил к себе Поповых. Поповы пошли домой, для того чтобы принарядиться получше и умыться. Егор Иваныч оделся в то же, в чем приехал, только на шею надел белый галстук, сапоги помазал свечным салом, чтобы они не были слишком пепельного цвета. Иван Иваныч надел единственную серенькую ряску, сшитую назад тому семь лет, перед тем как ехать в губернский город. Волосы оба напомадили деревянным маслом, причем Иван Иваныч заметил сыну, что хотя и пахнет от волос, зато волоса хорошо растут. Егор Иваныч никогда не бывал в таких обществах, какое ему приводилось видеть. Положим, он бывал на свадьбах, похоронах, но, не бывши певчим, он бывал только в обществе своих сельских знакомых да у жителей деревень, прихожан Ивановской церкви. Здесь ему нужно было быть в обществе станового пристава; да он еще узнал, что в село приехала какая-то комиссия по какому-то делу, и в этой

комиссии находятся два чиновника из губернского города; а так как отец Федор тоже находился в этой комиссии, то, вероятно, и она тоже будет приглашена на обед. Поэтому Егору Иванычу на обед идти не хотелось; не хотелось еще и потому, что от этого обеда ему пользы мало, а лучше бы ехать за невестой. Но делать нечего, такой уж обычай, что если пригласили, то надо идти, а то обидятся.

Когда пришли Поповы к отцу Федору, там уже были становой пристав с женой, священник Василий Гаврилыч с женой Марьей Кондратьевной и детьми, сыном Василием одиннадцати лет и дочерью Марьей трех лет, дьякон Никита Фадеич с женой Ольгой Семеновной, голова Максим Тарасыч и староста Сидор Павлиныч. Все они, за исключением дьякона Никиты Фадеича, его жены и детей, люди здоровые, что называется, откормившиеся. Поповых встретил сам хозяин.

— Опоздали, Иван Иваныч! — сказал весело уже выпивший водки хозяин.

— С дорогой именинницей! — сказал Иван Иваныч; это же повторил и Егор Иваныч с прибавлением: имею честь поздравить.

— Покорно благодарю. Проходите.

Иван Иваныч поклонился всем, Егор Иваныч поклонился каждому особо, кроме некоторых женщин.

— Это ваш сынок? — спросил Ивана Иваныча становой.

— Мой.

— Мое вам почтение! — сказал он и, подойдя к Егору Иванычу, протянул ему руку. — Я вас, право, не узнал. Извините.

— Вчера я виделся с вами.

— Виноват, сто тысяч раз виноват.

Пошли расспросы о губернских новостях, о женитьбе Егора Иваныча.

— Вы жену непременно богатую берите да здоровую такую... — сказал голова.

— Как же вы, Егор Иваныч, не знавши невесты, хочете жениться? Это выходит — на ком-нибудь, — сказала Степанида Федоровна.

— Что же делать, если наше положение такое! — сказал Егор Иваныч.

— Эдак не годится, Егор Иваныч.

— Не знаю.

— Э, полно вам бестолочь говорить! Ты вот начиталась светских книг, а тоже вышла за старика, — сказал, смеясь, хозяин и попросил гостей пройтись по рюмочке. Вошла хозяйка. Поповы поздравили ее со днем ангела. Она поблагодарила и удивилась, что Егор Иваныч вырос и получил место. Петр Матвеич и пономарь прислуживали.

Началось чаепитие. Разговаривали сначала мало, потом, выпивши больше, говорили о предметах, касающихся хозяйства. Всех больше ораторствовали становой и хозяин, и каждый из них, повидимому, хотел, чтобы все его слушали. Становой рассказывал о следственных делах, ругал станового Кирьянова, который сдал ему не все дела, и по его милости Антропов должен был заплатить деньги какие-то, ругал исправника и говорил, что он непременно уедет в губернский город, чтобы похлопотать об месте судебного следователя или заседателя в уездном суде; хозяин рассказывал о разных поездках в город и проч., причем спрашивал Егора Иваныча, каково там житье, каковы члены консистории ныне и т. д. Женщины сплетничали. Одна только Степанида Федоровна редко отвечала на вопросы, она часто уходила в комнаты и говорила с детьми, своими сестрами. Она уже облагородилась, научилась поднимать голову вверх, говорить свысока. Егор Иваныч сидит с своим отцом. Говорить нечего, ему неловко, и думает он: уйти бы отсюда домой скорее; а то как на иголках сидишь. Послушать нечего, говорят всё вздор какой-то.

— Что это, Федор Терентьич, Александр Алексеич нейдет? — спрашивает хозяйка хозяина.

— Не знаю.

— Вероятно, дела, — отвечает становой.

— И что это нынче за мировые за такие? Без них было можно обойтись. Заставили бы нас исправить это дело, мы бы то же сделали. А то теперь жалованье маленькое такое, доходов мало, можно бы и нам дать жалованье; меньше бы даже можно дать, — говорил хозяин.

— Это так. Можно бы нам половину из того жалованья дать, — подтверждает отец Василий.

— Правда ваша. Однако можно бы и нам поручить, — не соглашается становой. — Вот теперь судебные следователи, — совсем лишние.

— Все казна.

— Казна. А ведь начало-то у нас?.. Доходов теперь мало стало.

Пришел мировой посредник; поздравил хозяйку с днем ангела, хозяина с именинницей, остальным поклонился фамильярно и как-то гордо посмотрел на Егора Иваныча. Хозяин представил ему Егора Иваныча. Александр Алексеич сказал только: очень приятно познакомиться. Он сел к Степаниде Федоровне. Егор Иваныч стал следить за ними.

— И вы здесь? — спросил Александр Алексеич жену станового шепотом.

— Нельзя. Папаша обидится, — сказала она тоже шепотом.

— Вам нужно учиться французскому языку; вы еще так молоды.

— Я Максимку буду просить... Да к чему?

— Говорить здесь, в этой берлоге, нельзя обо всем.

— Они не осердятся.

— Видите ли, есть такие слова, которые не понравятся этой публике.

— Чем же вам эта публика не нравится?

— А вы послушайте, что они говорят.

— Они всё хорошо говорят.

— Они говорят то, что меня не займет.

— Пожалуйте хересу, Александр Алексеич, — сказал хозяин.

Александр Алексеич выпил со всеми гостями. Пришли чиновники следственной комиссии. Они поздоровались только с хозяевами, становым приставом и мировым посредником, прочих только обвели глазами. На Егора Иваныча они не обратили внимания. Они часто говорили между собой и с Александром Алексеичем на французском языке. Начался обед. Хозяин знал приличия светского общества, и потому обед был не за общим столом, а гости обедали каждый особо. Поповы сидели с дьяконом, дьяконица с женой головы.

— Вы давно кончили курс? — спросил Егор Иваныч дьякона.

— Четыре года, да два года жил без места, а вам так счастье.

— Ну, что же, теперь хорошо?

— И не приведи бог! Доходов мало.

— Плохо! А скоро женились?

— Я-то? .. Я выпью водочки... Пойдемте? — Дьякон выпил сразу две рюмки и начал рассказывать про женитьбу.

— Вы, Никита Фадеич, о чем рассуждаете? — спросил его становой.

— Тут роман, Максим Васильич. Отец дьякон ставленника учит... Не мешайте, — сказал хозяин.

— Вы в священники? — спросил Егора Иваныча мировой посредник.

— Точно так.

— Вы бы в университет шли.

— Куда уж нашему брату туда соваться! — сказал Иван Иваныч.

Начался всеобщий разговор. Дьякон продолжал.

Гости были, что называется, навеселе.

— Знаете ли, какое у нас пакостное было дело! — говорил становой: — баба мужа зарезала.

— Ну, это у нас сплошь и рядом. А я вам скажу вот что, — начал хозяин: — приходит ко мне баба и говорит: «Батюшка, что я стану делать, муж меня бьет за все, слова никакого не дает сказать. Я, говорит, уж отравить его хотела, да совесть мучит, помоги ты мне».

— Экая барыня! — сказали женщины и становой.

— Что же вы? — спросил один чиновник.

— Ну, я положил на нее эпитимию.

— Вот так славно. Хорошенько бы ее, каналью, розгами. Вы бы ее ко мне послали, задал бы ей перцу с горошком, — сказал становой.

— За что же вы наказывать-то ее вздумали? — спросил мировой.

— А по-вашему, не следует?

— Она не виновата, потому что муж ее бьет.

— По-вашему, уж муж не волен бить свою жену? — спросил хозяин.

— Не имеет права.

— Как?

— Потому что женщина должна быть равна своему мужу.

— Это откуда вы взяли?

— А оттуда, что женщина такой же человек, как и мужчина, только разница в телесном ее сложении.

— Вы сами себе противоречите, Александр Алексеич. Она должна детей рождать.

— Так что же? детей рождают даже все животные, которые между собой все равны.

— Ничего вы не знаете! В писании прямо сказано: жена да боится своего мужа. Что взяли? А?! — Все захохотали.

— Каково вас, Александр Алексеич, батька-то отделал! — сказал становой, хлопая в ладоши и хохоча.

— Да отделывать-то надо фактами, опытом.

— Уж вы лучше молчите.

— А я вам скажу вот что, например: наша Екатерина Вторая кто была?

— Женщина.

— Стало быть, она имела же право управлять целым царством... Королева Виктория тоже женщина...

— Эк вы куда хватили? Разве можно равнять царей с людьми?

— Я не хочу этого сказать, но доказываю, что женшина должна быть равна мужчине. Это у нас уже вводится. В Петербурге я знаю многих магазинщиц — женщин, занимающихся мастерством и торговлей без помощи мужчин: они совершенно не зависимы от мужчин и из своих заработков платят разные повинности.

— Ну, это еще не доказано.

— Как не доказано! Какое же вам еще доказательство, когда это все существует?

— Может быть, это только в вашем Петербурге, а здесь не то. Там все люди не такие.

— И духовные не такие?

Хозяин замолчал. Он обиделся.

Чиновники стали рассуждать о равенстве крестьян с чиновниками и прочею людскою братиею.

— Крестьяне должны быть равны, — спорил Александр Алексеич.

— Да, — подтвердил один приезжий чиновник.

— Нет, врете. Я чиновника не променяю на крестьянина и руки ему не дам, — спорит пристав.

— А староста разве не крестьянин?

Староста обиделся.

— Вы мою честь изволите задевать?

— Чести вашей мы не тронем, а только говорим, что вы такой же крестьянин, как и другой — бедняк.

— Эк куда заехали! Умны больно! А что сказано в писании: всяка душа властем предержащим да повинуется, — сказал хозяин.

— Если палочку я поставлю, то я могу сказать крестьянину: «Кланяйся, каналья», и поклонится! — прибавил становой.

— Не та пора, батюшка, ныне. За обиду крестьянину вы, по закону, сами должны будете в ноги кланяться ему, — сказал мировой посредник.

— А вот что, батюшка, отчего это крестьяне на вас жалуются? А? это отчего? — спросил мирового хозяин.

— А вам какое дело?

— Я пастырь, я должен защитить их.

— Вероятно, они жалуются на то, что им не нравится надел, хотя я их наделил даром.

— А! дали им землю такую, которая никогда не даст хлеба, а себе хорошую взяли?

— И на вас, Федор Терентьич, жалуются крестьяне, что вы даром не крестите ребят. — Начался спор, ругань, и если бы тут были люди равные, непременно дошло бы до рукопашного боя.

— Что такое священник?

— Пастырь народа.

— Священник должен быть равен всем.

— Дудки.

— Господин ставленник, потрудитесь объяснить. Может быть, у вас поновее науки были.

— По наукам нас малому выучили, но я с вами согласен. — Я хочу быть священником именно таким, каких еще не бывало.

Начался гвалт. Чиновники хвалили Егора Иваныча, прочие все остервенились на него. Однако мировой уладил все дело.

— Господа, не будемте говорить серьезно. Будемте праздновать именины дружески.

— Образованные люди не должны сердиться из-за убеждений, — сказал один чиновник.

— Господа, сыграемте в карты! — сказал становой.

— Нам некогда, Максим Васильич: у нас комиссия, — сказал один из чиновников.

— Успеете еще. Пойдемте в сад.

Гости согласились сыграть в стуколку. Ушли в сад. В саду были поставлены два стола: один с винами и закуской, а другой для играющих. Сели играть два губернаторских чиновника, становой, хозяин и Василий Гаврилыч. Александр Алексеич ходил по саду со Степанидой Федоровной, Иван Иваныч прикурнул в саду, а Егор Иваныч сидел с детьми.

Во дворе пировали крестьяне с женами. Федор Терентьич, по заведенному порядку, созвал несколько хороших крестьян с женами и детьми, выставил им ведро водки, два ведра пива и выдал из кухни два пирога с рыбой и две латки с двумя поросенками. Крестьяне напились: одни запели песни, другие кричали:

— Ай да отец Федор!

— Угостил, голубчик!

— Дай ему бог много лет здравствовать!

— Эй, Терентьич! скличь-ко матушку.

— Уж мы поблагодарим ее... Зови ее, Анну-то Митревну!

Терентьич ушел и воротился:

— Анна-то Митревна спать изволит.

— Умаялась, голубушка! Дай бог ей здоровья! — вопят бабы и крестятся.

Трое крестьян борются, прочие хохочут.

— Эй ты, Егорко! ногой-то его, ногой! Вот так!

— Да вы вдвоем лучше.

— А что, братцы, кто лучше: отец Федор али отец Василей?

— Ништо. Отец Федор лучше.

— Нет, по-моему, отец Василей лучше.

— Всё однако. А што, ребя! водки-то маловато... вали еще! Митюха, сбегай-ко в кабак за четвертной!

— Будет вам, лешие! Налопались и так! — кричат бабы.

— Ну вас к лешим! пошли домой!

— А кто это там в саду-то?

— Да следственники, бают, по монеткам приехали.
— Братцы, подем домой... Они, знаешь, штука!
— Подем. Поди, Митюха, зови отца Федора.
К крестьянам подошел Егор Иваныч.
— А, Егор Иваныч! Наше вам-с! Как поживаете, Егор Иваныч?
— Слава богу.
— Присядьте, Егор Иваныч, с нами.
— Не трог! Што беспокоишь?..
Егор Иваныч сел.
— Ну как, братцы, поживаете?
— Ништо. Вашими молитвами, слава те господи.
— А што, Егор Иваныч, бают, опять бытьто б набор; бают, пятнадцать человек с тысячи?
— Не слыхал.
— Бают, война такая ли начнется — ужасти!
— Не знаю.
— Полно, Егор Иваныч! Вы ведь, бают, в священники скоро приделитесь. Уж вам эфти дела все известны, не то что нам.
— А война будет!
— Уж это так, без войны нельзя, потому, значит, отец Федор так баял.
— Ономедни в церкви читал, читал...
— Когда?
— А ономедни, помнишь, как ты ошшо прикурнул. Сколь смеху-то было!
Крестьяне захохотали; началась свалка: прикурнувшего в церкви крестьянина один дружески ударил по голове, другой щелкнул по носу, прикурнувший сдачи дал; пристали прочие. Егор Иваныч ушел в сад. За ним ушел и один крестьянин, старик Петр Егорыч. Он пользовался в селе всеобщим почетом и потому пошел от крестьян благодарить хозяина на угощении.
— Что, Егорыч? — спросил его хозяин.
Петр Егорыч поклонился и сказал:
— Покорно благодарим, батюшко, на вашем на угощении. Славно напились и наелись.
— Спасибо. Наелись ли ребятки-то? Сыты ли?
— Очень благодарны остаемся.
— Ну, спасибо. Да скажи им, чтобы они завтра мою траву скосили.

— Оченно хорошо-с.

Петр Егорыч стоит.

— Ну, что тебе еще?

— Мне бы, батюшко, поговорить с вами надобно.

— Теперь некогда.

Петр Егорыч все стоит.

— Убирайся, каналья! тебе сказано, что некогда! — закричал становой.

Петр Егорыч, почесав затылок, ушел.

— Егор Иваныч, потрудитесь спросить, что ему надо, — сказал отец Федор Егору Иванычу.

Егор Иваныч ушел, Петр Егорыч пришел к крестьянам во двор.

— Ну, что, Петр Егорыч?

— Ништо. Некогда, бает.

— А, дуй те горой. Подем все! Вали!

— Да, некогда! Дела, вишь ты: в карты играют!

— Ну их к лешим!..

Крестьяне пошли на улицу.

— Отец Федор велел мне спросить тебя, Петр Егорыч, что вам надо? — спросил Егор Иваныч.

— Уж эфто дело мы сами знаем. Уж ему и скажем, а тебе нет.

Егор Иваныч ушел назад.

Высшее сельское общество только после ужина разошлось по домам.

— Ну, Егорушко, насмотрелись мы на людей. Говорят — просто уши вянут. Это, по-моему, оттого, что зазнались больно, заважничались, — говорил Иван Иваныч, возвращаясь домой и пошатываясь.

— Нет, тятенька, это не от барства, а оттого, что они светские люди.

— Бойся ты этих людей. Ради бога, бойся... А я, Егорушко, пьян! О, э-э, как пьян!.. А я, брат, хошь и пьян, а знаю, что у меня лошадка не поена стоит. Анна, дура, не напоит. Я хоть и пьян, Егорушко, а позови меня на требу — все сделаю... А позови Федора Терентьича или Василия Гаврилыча — не пойдут, ей-богу не пойдут...

«Экая скука!» — думает Егор Иваныч.

— А ты, Егорушко, не пьян?

— Голова болит.

— А ты, Егорушко, много пил. Грешно... Стыдно,

Егорчик... Ты еще молодой, пример должен другим показывать... Уж больно мне не понравилось, как ты там с мировым в слово сказал. Они люди такие скверные... Ну, как можно обижать отца Федора?

— Я его не боюсь. Ведь я сам буду священником, да еще городским.

— У! ты моя чечечка! золото ты мое! — Иван Иваныч обнял сына и поцеловал пять раз. — Голубчик ты мой... — Иван Иваныч захныкал.

— Полно, отец.

— Сыночек ты мой!

— Будет, завтра ехать надо.

Старик очнулся.

— А что, разве я не поеду? Я, брат, такую пляску задам! Всех удивлю.

— Надо бы сюртучок сшить.

Старик задумался.

— Ну, Егорушко, не тужи, все справим.

Рано утром Поповы закусили, запрягли лошадь в повозку, наклали в нее необходимые туалетные принадлежности, хлеба, пирогов и стали прощаться с Анной и ее мужем.

— Смотри, Анна, живи скромненько да домишко береги, — наставляет отец.

— Все, тятенька, исполню. Ты, тятенька, скорее приезжай.

— Ну уж, не знаю. Вы меня здесь совсем измучили. Живите скромненько. А ты, Петр Матвеич, смотри, не бей Анну: бог тебя накажет.

Петр Матвеич молчит. Ему, как видно, жалко расстаться с стариком. Анна плачет. На прощаньях всегда как-то на человека грусть находит. Каков бы человек ни был: зол ли он, капризен ли, или просто дурак, но с которым живешь несколько лет, так оно грустно делается в то время, когда он уезжает. Поповы поцеловались со своими родными, те заплакали, заплакал и Иван Иваныч, хотя ему не следовало бы плакать; вероятно, он оттого заплакал, что ему представилось то, как Петрушка будет тиранить свою жену. Крестьяне и мальчишки хотя и не плакали, но им было жалко своего дедушки.

— Иван Иваныч, смотри, скорей приезжай.

— Как женишь своего сына, так и приезжай.

— Прощайте, ребятки! — Старик со всеми поцеловался.

— Прощайте, братцы! — сказал Егор Иваныч.

Поповы тронулись. Крестьяне долго глядели на них, а встречные шапки скидывали и говорили: прощайте. Они поехали мимо дома отца Федора. Он уже встал и сидел в рубахе у окна, с папиросой во рту.

— Прощайте, Федор Терентьич! — сказал Иван Иваныч.

— Прощайте! С богом!

Старик погнал лошадь, и лошадь припустила шагу.

— В которую же сторону дорога идет в Столешинск? — спросил отца Егор Иваныч.

— А вот выедем, спросим.

— Куда это, Иван Иваныч? — спросил старика попавшийся письмоводитель станового пристава, шедший с пруда с удилишком.

— В Столешинск, сына женить.

— Какое им, тятенька, дело, куда мы едем? Как глуп этот сельский народ!

— Экой ты глупый, Егорушко!.. Уж обычай такой. А вот ты женись-ко да посвятись — проходу не дадут, всё будут спрашивать... Пустяки, пустяки, а тоже накось, попробуй, женись да посвятись!.. Раскуси-ко!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Невеста

Столешинск город старый. Построен он между двумя горами и разделяется маленькой речкой, которая в июле месяце делается ручейком. Иной завод лучше выглядит, чем Столешинск. Он только и славится, что пятью каменными церквами архитектуры XVII и XVIII столетий. В нем только два частных каменных дома: один городничего, вышедшего назад тому десять лет в отставку, и благочинного Тюленева; остальные дома, за исключением казенных, все старые, построенные назад тому, может быть, сорок, шестьдесят лет. Тротуары существуют только около здания присутственных мест, здания, вмещающего в себе, за исключением духовного правления и почтовой

конторы, все присутственные места, в том числе и тюрьму, называемую попросту острогом. Фонарей и извозчиков не имеется, нет также ни одного бульвара или места для гулянья, кроме кладбища да леса, которого очень много около гор и дальше за городом, между горами; нет фотографии, типографии, театра, даже нет ни одного фортепьяно или рояля, и аристократия увеселяет себя органом городничего и шарманкой земского исправника. Все необходимые вещи для живота и наружного украшения получаются: первые — раз в неделю, именно в понедельник, а последние — каждый день или раз в месяц на *Здвиженской* площади и в *гостином дворе*, состоящем из деревянного амбара с двенадцатью лавками с двух боков, из которых торгуют только в пяти, а в последних, говорят, торговать нельзя, потому будто, что эти лавки устроились не на *пригожем месте*. Самая местность города до того, говорят, непривлекательна, что город надо бы построить не внизу, а на которой-нибудь горе, потому, говорят горожане, что весной и осенью грязь бедовая: «вода непроходимая, и такая-то ли неприятность происходит по ночам от воров и разных ссыльных; что ужасти...» Уж если говорят так старые жители, никуда не выезжающие из города, то, должно быть, Столешинск незавидный город. Говорят, что кто-то из купцов хотел перевести город на другое место, именно на одну из гор, да жители не согласились: побранили того, кто первый выдумал строиться тут, посудили, что эти домишки денег стоят, а там опять стройся, да и камешек на одном месте обрастает, так и бросили вопрос о перенесении города на другое место и об улучшении этого города, решив, что ладно и так: жили же люди до нас, и мы прожили много лет... Нечего!

Столешинские жители люди бедные, а бедные люди только при больших деньгах, полученных неожиданно, разбирают вкусы и проявляют барские замашки. Столешинск от губернского города в трехстах верстах, и от него до губернского города идет одна дорога, летом грязная и до того трясучая, что каждый проезжий проклянет ее не один раз, а зимой по ней ездят гусем и вываливаются в ухабах, от станции до станции, раз по пяти. Эту дорогу поправляют крестьяне только тогда, когда губернатору вздумается проехать в Столешинск для своего удоволь-

ствия. Торговля тут очень плохая. Мука привозится только зимой, потому что ее приплавляют летом в губернский город из других смежных губерний, и потому мука дорога; спросу на работы мало; сбыту различных материалов еще меньше. Город населяют две тысячи мужчин и женщин. Мужчины — народ почти весь занятой; женщины, которых больше мужчин, или — народ, работающий на мужчин и на разные семейства, или — народ праздный. В число этих классов дети до восьмилетнего возраста не входят. Мужчины состоят из чиновников, служащих в разных присутственных местах, отставных и подсудимых, купцов, мещан, из которых тридцать человек портные и сапожники, четырнадцати крестьян, занимающихся постройкой и починкой домов, кладкой и перекладкой печей и прочим мастерством, инвалидной команды и нищей братии. В число мужчин входят также и духовные. Всех духовных в Столешинске полагается двадцать семь человек, но их бывает только двадцать один. Из женщин работают мещанки и чиновницы — на свои семейства и на мужей; прачки, стряпки — большею частию жены солдат и крестьянские вдовы.

Люди в Столешинске — большею частью получившие образование в Столешинске. Приезжие из губернского города не много их подвигают, потому что они едут не для просвещения и прочей пользы, а для денег и разных удовольствий; сначала скучают и смеются над городом, а потом сами привыкают к Столешинску. Столешинцы только и переняли от приезжих и бывалых людей, что научились, и то в аристократическом кругу, говорить свысока или, проще сказать, говорить на *а,* например: *пажалуста, сделайте адалжение, пакорнейше прашу* и т. п., — и дамы теперь уже щеголяют в преогромных кринолинах.

В Столешинске для образования детей существуют два училища: духовное и уездное (светское), для мальчиков. Какой-то судебный следователь предлагал было жителям открыть училище для девочек и проект свой представил губернатору, да губернатора перевели и перевели также на другое место судебного следователя; жители решили, что образовать детей можно и дома, а по-училищному образовывать стоит много денег. Так и бросили толковать о женском училище... При таких-то условиях жители умеют попеть две или три песни, как, например: «Не белы

снеги», «Выйду ль я на реченьку», «Среди долины ровныя», поплясать две-три кадрили, поиграть в карты на разные лады, посплетничать, передразнить кого-нибудь, погоревать и посмеяться; умеют лицемерить и угодить своим начальникам, но умственность ихняя стоит с двадцатилетнего возраста нетронутою. Конечно, они могут сочинять отношения и разные канцелярские бумаги, но спросите вы их о предмете, касающемся их домашней жизни, они вам наговорят такую нелепость, что вы их дураками назовете. Там только и понимается «Сын отечества», «Северная почта» и «Биржевые ведомости», которые читаются нарасхват, да и то понимаются с трудом, и каждый каждые новости судит, как он понимает. Надо заметить, что эти люди *головоломных* статей не могут понять: их только и занимают — политика, разные новости и разные происшествия. Статьи по вопросам, помещаемые в этих газетах, даже в «Сыне отечества», они не читают. Из журналов там выписывают один экземпляр «Модного магазина», два «Иллюстрированной газеты», три «Библиотеки для чтения» и два «Отечественных записок». И в этих-то журналах они читают только беллетристику, а остальные статьи остаются неразрезанными, да и беллетристику они любят не серьезную, а смешную. Попадись им смешной или глупый роман, или глупая повесть, хотя старых лет, они ее станут читать раза по четыре в год. Одни только учителя там люди образованные, но они светского училища, а не духовного, и так как их немного, то общество их не любит, потому что их почему-то назвали вредными людьми, и они завели свой кружок. Этих учителей там не любит даже сам смотритель, человек уже старый. Хотели они открыть воскресную школу, но им не дозволил городничий.

Внешнюю обстановку Егор Иваныч увидал, и ему город, после губернского, показался деревней. Присевший к ним с полдороги учитель уездного училища, Алексей Петрович Мазуров, рассказал то, что мы уже знаем. Егору Иванычу до образования дела мало было. У него только одно было в голове — жениться, а там, может быть, и хорошо будет.

Егор Иваныч еще вот что узнал от Мазурова.

— А что, Алексей Петрович, каков этот господин Бурдин? — спросил он Мазурова.

— Будрин-то?.. — вы смотрите не позабудьте, что он Будрин... — кажется, что он человек так себе. Только я знаю, что он деспот.

— Не может быть?

— Свою жену и детей он бьет, как мужик бьет свою лошадь.

— Ну, а дочь какова?

— Дочь ничего. Девушка такая забитая, что кажется, она сама не рада своей жизни. Впрочем, она, поди, замужем.

Егора Иваныча дрожь пробрала.

— Неужели? — спросил он.

— Впрочем, не могу сказать, вышла она или нет. Видите ли, я отправился из города девятнадцатого июля, когда у нас публичный экзамен кончился. В это время за нее сватался заседатель уездного суда Удинцов. У него отец тоже священником в Крюкове. Не знаете ли?

— Нет.

— Ну, он человек хороший; кончил курс в семинарии, был секретарем в губернском правлении... Я думаю, что Будрин отдаст.

— Уж конечно. То заседатель, человек, поди, богатый, а мы что... — сказал Иван Иваныч.

— Вот этот Удинцов и сватался... Будрин было не соглашался, а потом, говорят, что согласился.

— Экая досада! — сказал Иван Иваныч.

— И давно сватался? — спросил Егор Иваныч.

— Да в мае месяце еще говорили. Тут, видите ли, дело не просто: Удинцов-то живет рядом с домом Будрина... Ну, стало быть, его проняло и ее проняло.

— Ой? — спросил Иван Иваныч, так что у него витень выпал из рук.

— Очень понятно. В эдаком городе вы не найдете хороших невест.

— Что ты?

— Напрасно едете.

— Ей-богу?

— Видите ли, отец дьякон, народ у нас глупый.

— Полно!

— Право... Но, конечно, народ нетронутый.

— Значит, благочестивый?

— Не то я хочу сказать. Ум их нетронут.

— Ну его к богу, с умом-то!.. Была бы невеста хорошая, — все бы было хорошо... Так как, Егорушко?

— Плохо, тятенька.

— Дела как сажа бела. — Старик головой покачал и запечалился. — Не послать ли нам сватов? — сказал он немного погодя...

— А если она замужем?

— Тьфу ты, грех! Совсем сбился с панталыку... — Старик плюнул. — Так как, Егорушко? Ты ведь курс кончил, придумай. У тебя ведь голова-то, поди, не сеном набита.

— Право, не знаю. А вы, Алексей Петрович, не знаете на примете невест?

— Я всего-то пять месяцев живу в городе. Здесь ни с кем не знаком, да и не стоит знакомиться.

— А вы женаты?

— Я со стряпкой живу.

— Полно? Вы-то? учитель-то? — проговорил Иван Иваныч, хохоча.

— Что же вы тут худого находите, отец дьякон?

— Тяжкий грех.

. . . .

Они остановились против квартиры учителя.

— Я бы вас, отец дьякон, к себе пригласил, да квартира у меня небольшая, к тому же сестра с братом и матерью живут.

Егор Иваныч подумал, не жениться ли ему на сестре учителя.

— А она замужем, Алексей Петрович? — спросил он учителя.

— Вдова; с двоими детьми живет.

«Ну уж, не пара», — подумал Егор Иваныч.

— А ей сколько годочков от рождения? — спросил Иван Иваныч.

— Сорок шестой. Ничего, женщина добрая.

После прощаний и разных благодарностей учитель ушел в свой дом; Поповы остались на улице и поехали дальше.

— Где же мы, тятенька, остановимся?

— Ну, где-нибудь. Ты лучше придумай, как невесту искать.

— Что же я, тятенька, сделаю! .. Вы вот что скажите, много ли у вас денег.

— А тебе на что?

Егор Иваныч подумал, что он, пожалуй, обидел отца своим вопросом. Он ничего не сказал.

— Да денег-то маловато, Егорушко. На сено да на овес будет; пожалуй, и на квартиру хватит.

— Плохо, тятенька. А если мы да назад воротимся?

— Не тужи... На бога надейся, все будет ладно.

— Не лучше ли нам, тятенька, на постоялый? ..

— Что ты, что ты! .. Нам-то на постоялый?

— Да что же тут худого! Не на улице же нам жить. Да и сами же вы говорили, что остановимся на постоялом.

— Глупый ты, Егорушко... Ну, как же мне, дьякону, с мужиками в кабаке быть? .. Скажут, пьяница горькая, коли по кабакам трется... Да и господу богу ответ дашь.

— А в селе вы разве не ходили в кабак?

— И не говори лучше. Осержусь, уйду. А я, знаешь, что придумал? — сказал он весело.

— Что такое?

— А вот что: поедем мы прямо вот к этой церкви и спросим, кто там дьякон, а потом узнаем, где его дом, и поедем туда.

— Это, тятенька, очень смешно будет.

— Ну, не ври...

— Мы лучше так сделаем: подъедем вот к этому дому и спросим, нет ли там квартиры; а если нет, то там, вероятно, знают, где есть квартиры.

— Пожалуй.

У ворот деревянного дома, покачнувшегося на левый бок, с тремя окнами, отчасти замазанными бумагой, стоял не то мещанин, не то крестьянин. Иван Иваныч подъехал к этому дому.

— Здраствуй, дядя! — сказал Егор Иваныч.

— Здраствуй, — отвечал тот.

— Вот что, дядя, нет ли у тебя лишней комнаты?

— Нету, нету; сами живем, да чиновник один живет.

— Нет ли у кого другого?

— Да право, не знаю. Оно, конешно, можно поискать, да надо обождать маленько.

— Где же ждать-то будем? На постоялый идти неловко...

— Оно, конешно, што неловко. А вы заведите лошадку-то во двор, поживете у меня денек-другой, я ужо схожу.

— А есть ли у тебя место-то? Смотри, чтобы не тесно было.

— Ну, день-другой можно. Там, в горенке, чиновник из суда с женой живет, там можно.

— Надо его спросить; можно ли еще.

— Чего спрашивать! Дом-то, поди-кось, ведь мой?.. А я с вас по пятиалтынничку возьму за день.

— Возьми десять.

За десять копеек хозяин согласился впустить их в горенку. В этом доме были две комнатки и кухня. Кухню и одну комнатку занимали хозяева — отставной солдат с женой, а другую чиновник. Хозяин, Поликарп Федорыч, занимается столярным ремеслом, — он и работает в комнатке днем. От его работы стоит стук, и во всем дому постоянно пахнет или маслом, или махоркой.

— Пожалуйте в мою горенку, — сказал Поликарп Федорыч Поповым, вводя их в комнату. Их встретила хозяйка с ребенком на руках и два бойких мальчика.

— Посидите здесь чуточку, я сейчас распоряжусь. — И солдат ушел.

— Вы из каких мест, батюшка? — спросила Егора Иваныча хозяйка.

— Из Ивановского села, Петровского уезда.

— Далеконько. К родне, чай, приехали?

— Нет, по делам разным, хозяюшка. Меня сюда назначили во священники, — сказал Егор Иваныч.

— Слышали давиче... Так-тось!.. А мы к Знаменской церкви принадлежим. Отец Василий такой, бог с ним, привередник.

— А что?

— Да как же... Горд больно, уж так-то ли важен, спаси бог.

Между тем хозяин ругается с своим постояльцем.

— А коли так, — долой с моей квартиры!

— Ну, и уйду! Эк выдумал: жена скоро родит, я плачу полтора рубля, а он еще жильцов в мою комнату хочет пустить!

— Тебе говорят: я хозяин-то, а не ты. Сичас вон!

— И уйду.

— Экой гад! Два с половиной месяца живет всего-то, а за кватеру заплатил только за один месяц. Я, говорит, жалованья получаю три рубля... Мука просто с этими жильцами!

— Вы, хозяин, не беспокойтесь, пожалуйста: мы в другом месте поищем квартиры, — сказал Егор Иваныч.

— Уж вы не сомлевайтесь, я вам сама поищу квартиру-то; а теперь вы и в эвтой комнате поживите день-другой.

Поповы расположились в мастерской солдата.

— А у вас, отец дьякон, есть билет? — спросил хозяин.

— На что?

— Без билетов мы никого не держим, потому, значит, начальство строго, а люди-то всякие бывают. Вот недавно какого-то беглого монаха поймали, все с книжкой ходил да деньги сбирал.

Иван Иваныч струсил. Он свои бумаги в селе оставил.

— Да у меня бумаги-то в селе... Позабыл, Поликарп Федорыч.

— А без паспорта я вас держать не стану.

Егор Иваныч подал хозяину свои бумаги.

— Уж я их к себе возьму, — сказал хозяин, посмотрев бумаги.

— Зачем?

— Уж так у нас в обычае.

— Да они мне нужны всегда.

Дело уладилось за водкой, которую купил Иван Иваныч и которою угостил хозяина с женой. За ужином говорили про дело.

— А кто здесь благочинный?

— Бог его знает. Говорят, самый старший здесь протопоп Антон в Преображенском соборе.

— Что он, женат?

— Женат. Говорят, детки есть.

— А дочери есть?

— Есть и дочери. Старшей годов семнадцать будет, а младшей годков восемь. Старшая-то модница такая, — ужас!

— Вот, Егорушко, и невеста. Махни-ко!

— Да как подступиться-то?

— То-то вот и есть. Протопоп, да еще и благочин-

ный... А мы вот что сделаем: пойдем завтра в этот собор и расспросим хорошенько, как и что.

— Это будет всего лучше, — сказал хозяин.

Когда Поповы легли спать, они долго рассуждали о своем деле.

— Плоховато, Егорушко. Надо бы нам, Егорушко, где-нибудь поближе сыскать невесту-то. А то заехали... ишь ты, куда заехали, и уехать-то назад не с чем будет.

— Мы попробуем у протопопа посвататься.

— Легко посвататься-то? На-ткось, протопоп, да еще благочинный... так и отдаст! Знаю я этих благочинных-то. А впрочем, Егорушко, не тужи, авось обладим.

— Скверно, что у меня сюртук-то худой.

— Ничего. Скверно, что у меня вот денег-то маловато! .. Петру дьякону написать, — не пришлет, скажет: нужно на пято-десято самому. Лошадку продать — жалко.

— Я думаю, тятенька, если мне не посчастливится жениться, я в губернский поеду.

— Зачем?

— Буду проситься в академию на казенный счет.

— Не тужи, Егорушко: все перемелется — мука будет. Уж куда тебе в твои годы учиться?

— И в тридцать лет люди учатся.

— Ну уж, не езди... Поживи со мной; утешь меня, старика... А ты вот что сделай: поди завтра к благочинному...

— Что я буду делать у него?

— Покажи ему указ. На то он и дан, чтобы тебе поскорее жениться на ком хошь. А жалко, Егорушко, что Будрина-то дочка замуж вышла... Поди, хозяин-то врет, что он нехороший человек.

— Завтра мы всё узнаем.

Утром рано их разбудил хозяин своей стукотней. Напившись чаю, они пошли по городу. Навстречу им попался дьячок. Дьячок снял шапку.

— Зачем изволили приехать, отец дьякон?

— По делам.

— По невесту приехали?

— А вы как знаете?

— Помилуйте, весь город знает, что вы приехали с сыном и женить сына. Мы уже знаем, что вы назначены священником в Знаменскую церковь, — прибавил он,

обращаясь к Егору Иванычу. — Зайдите ко мне на минуточку.

Поповы пошли.

— Вы какой церкви?

— Преображенского собора.

— Стихарь имеете?

— Точно так. А у нас, я вам скажу, у отца благочинного есть дочка, Надежда Антоновна. Посватайтесь-ко.

— Он, поди, ждет из академистов.

— Ну уж, в эдакую-то даль академисты не поедут.

Дьячок накормил их говяжьими пирожками и посоветовал сходить Егору Иванычу к отцу Антону.

Они отправились по церквам. Дорогой дьячок рассказывал Поповым, что отец Антон сначала был дьяконом в губернском городе, потом его сделали священником в Столешинске, где он прослужил пятнадцать лет в соборе, и так как был учителем в духовном уездном училище, то его, за старание к воспитанию детей и по засвидетельствованию начальства о беспорочной службе, произвели в протопопы и назначили благочинным в собор. Отцу Антону осталось служить до отставки только год, и он имеет в городе каменный двухэтажный дом. Должность его такая: он заведует всеми церквами города и уезда, состоит смотрителем духовного уездного училища и миссионером по делам раскольников, и поэтому его боятся как старшие, так и дети мужского пола. Служит он в церкви сколько ему угодно, делами занимается так же, в училище, помещенное в его же доме, ходит каждый день и каждый день делает там расправу посредством розог. Говорят, что в престольные праздники он сказывает проповеди, но проповеди эти идут одного и того же содержания вот уже десять лет. Если придется сказывать проповедь при владыке, то он просит сочинить своего зятя, священника Благовещенской церкви. В Знаменской церкви полагается два священника, один дьякон, дьячок и пономарь. Приход этой церкви небольшой, хотя к ней приписаны три деревни с одним селом, в которых церковь еще пока строится; жалованье небольшое, и то выдается по третям. Казенных квартир ни для одного церковнослужителя в Столешинске нет. Поповы узнали также, что невесты есть еще у одного столешинского священника, одного дьякона и двух дьячков. Стало быть, горевать не о чем.

— Так-так-тось, Егорушко! — сказал весело Иван Иваныч сыну. — Невест много, хоть любую бери.

— Все это хорошо. Надо еще смотр им сделать да стороной узнать, каковы они.

— Всё они, кажется, ничего. Можно... Только у отца Петра дочка немножко рябовата. Да это что!..

Дьячок привел их опять в свой дом и купил водки. К нему пришел соборный дьякон, отец Андрей Соловьев. Отец Андрей был еще молодой дьякон, получивший место назад тому полгода, человек веселый и очень беспокойный в пьяном состоянии. За буйство его два раза исключали из архиерейских певчих и только за хороший голос и большие способности его сделали сперва дьячком в кафедральном соборе, а потом и дьяконом в Столешинске. Он был знаком Егору Иванычу. Явилась водка; началось угощенье.

— Уж я, Егор Иваныч, так-то покучу на свадьбе — любо! А апостол так отчитаю, что рамы будут трещать, или так, чтобы венцы у вас попадали с головы.

— Зачем венцы?.. Если венцы спадут — плохо, — заметил Иван Иваныч.

— Верьте вы им! — сказал Егор Иваныч.

— Да как же! — ершится Иван Иваныч: — уж такая примета давно у нас. Каждый ребенок знает, что если венец упадет, то этот человек прежде умрет обручающегося с ним.

— Ох вы, старые люди! Знаешь ли, дядька, куда тебя надо?.. Ну, да не скажу.

Этот дьякон, отец Андрей Филимоныч, пригласил к себе Поповых, угостил их там и дал одну комнатку для жительства их. Они уговорились так, что за квартиру Поповы платить не станут, а будут платить только за хлебы, и то или после свадьбы, или тогда, когда Егор Иваныч будет священником.

На другой день Егор Иваныч, вымывшись утром в бане, отправился к отцу Антону Иванычу Тюленеву. Протопоп помещается во втором этаже. В прихожей Егора Иваныча принял пономарь, исправляющий должность лакея и подчас кучера самого Тюленева и его семейства. Комнаты чисто барские: из них пахнет мускусом.

Егор Иваныч прождал часа два до тех пор, пока не услыхал из боковой комнаты охриплый голос: Егор!

Пономарь было вздремнул, а при этом возгласе он очнулся.

— Скажите обо мне, — сказал Егор Иваныч.

— Ладно. Только он сегодня сердит... — Пономарь ушел.

Через полчаса вышел из залы в прихожую сам протопоп, в шелковом подряснике и в туфлях. Он уже сед, и видно, что очень горд и важен. Егор Иваныч подошел под благословение.

Они вошли в кабинет. Кабинет убран тоже на барский манер. Тут была бронза, серебро, фарфор, вещи под чехлом, шкафы с бумагами и книгами. Протопоп сел.

— Я слышал, вы назначаетесь сюда во священники?

— Точно так-с.

— Очень рад. Егор! принеси чаю. Да-с... садитесь.

Молчание. Протопоп зевнул. Егор Иваныч стоит.

— Давно кончили курс?

— Нынешнее лето.

— Скоренько-таки изволили место получить.

Егор Иваныч показал ему свои бумаги.

— Хорошо. Владыка будет здесь?.. Что же вы не садитесь? — Егор Иваныч сел.

— Нет. Преосвященный на будущий год собирается сюда.

— А отец ректор?

— Нет.

— Вы учителем можете быть?

— Могу.

— Мне нужно учителя арифметики. Сделайте такое одолжение.

— Очень хорошо-с.

Молчание.

— Ну-с... Да когда вы будете посвящаться?

— Его высокопреосвященство сказал мне и на прошении написал, чтобы меня посвятить в октябре.

— Как поздно! Отец Василий Будрин просто смучился. У него очень много занятий; он законоучителем в светском училище.

— Я слыхал, что там, ваше высокоблагословение, классы бывают только два раза в неделю.

— Все-таки... Да, одному очень трудно. Вот тоже в той церкви и дьякон захворал. А дьякон такой при-

мерный, трезвый, услужливый. А это самое главное... Да-с.

Молчание. Принесли чай.

— Кушайте.

— Ваше высокоблагословение, купец Татаринов пришел, — сказал пономарь, — да какой-то дьячок.

— Это чистая беда быть благочинным. Светские говорят, что благочинным делать нечего и что мы напрасно только жалованье получаем. А и не знают того, что, сверх главной обязанности быть священником, у меня так много других тому подобных обязанностей, как, например, быть благочинным, то есть управлять округом. А вы еще не знаете, каково возиться с духовенством... Тоже вот теперь смотрительская должность... Это каторга с ребятишками. А тут еще миссионерство возложили: обращать и всячески стараться о просвещении раскольников... Владыка такой, право, что я не могу придумать, как бы освободить себя от всех этих обязанностей. Видит, что я хороший и старый человек... ну и... Однако я пойду. Вы посидите немножко.

«Эк он размазывает... Миссионерство, говорит, надоело... А сам дом каменный состроил... Ишь какое богатство!» Егор Иваныч стал смотреть в зал. Но так как он был близорук и без очков, то ничего там не видел, а слышал только разговоры. Хотелось ему, по привычке, подслушивать, подойти к двери, да он боялся. Подслушиванье он считает подлостью.

— Я это безобразие выведу из вас. Я приберу вас к рукам... — кричал благочинный.

— Отец благочинный, я не виноват: я был выпивши, — говорил кто-то тоненьким голосом.

— Пьянствуете только вы. Убирайтесь, мне некогда.

— Ваше высокоблагословение... — Егор Иваныч услыхал грохот. «Ну, — подумал он: — виновный, верно, в ноги кланяется».

— Ваше высокоблагословение, у меня семейство большое... Вы знаете, я всегда был честным...

. . . .

Стоящий или сидящий в зале купец в это время встал против отпертых дверей в кабинет благочинного. Он был не то красен, не то желт и почесывал свою бороду. Благочинный подошел к нему.

— Ну-с, господин старовер, что скажете?

— Вы обо мне напрасно пишете в консисторию, что я не обращаюсь в православие, тем более что ныне, как я вычитал в газете, нас более не преследуют.

Благочинный увел купца в другую комнату. Оттуда слышалось только:

— Я не боюсь вас... Каждый человек, господин благочинный, должен делать свободно что хочет.

Вышли. Купец ушел, а благочинный пошел в кабинет и сел на кресло, тяжело отдуваясь.

— Ох, как устал! Просто мука с этими людьми. Слышали, какие они буяны?

— Очень плохо слышал.

— Мученье. Нет, надо будет серьезно приняться за них, надо будет объехать их всех. Ну, а этот раскольник — это зверь, дурак чистейший, а говорить, так собаку съел.

Егор Иваныч хотел сказать, что раскольники люди не глупые и терпят напраслину, но мог ли он сказать это благочинному, у которого он искал защиты? Он хотел идти, но ему хотелось попросить об невесте.

— Егор! .. Егорка! .. Это он, шельма, вероятно с дьячками да дьяконами возится... Надо его будет назначить в звонари. Сходите, пожалуйста, туда, — и благочинный указал Егору Иванычу рукой на угол, а сам, достав из кармана пачку ассигнаций, положил их в стол.

Егор и Егор Иваныч вошли в кабинет.

— Сходи на почту. На! — и благочинный дал Егору записку, на которой было написано: возвратить пакеты за №№ 312 и 313 в консисторию.

— Ваш отец — дьякон?

— Точно так?

— Отчего же вы в академию не едете? Вы бы прямо из академии в благочинные вышли, а то эдак очень долго ждать вам благочиния. В другом месте вы, при иных условиях, получите, как это, впрочем, будет зависеть от владыки. Здесь я благочиние предоставлю своему зятю.

— Я, отец благочинный, теперь никак не могу продолжать учиться, потому что у меня отец очень стар и очень беден... брат мой в бедном месте дьяконом.

— Ну, это ничего. Вы хорошее дело сделали, что не поехали. Нынче академисты народ глупый стали, больно

важны. Вон мой зять, кандидат академии, сначала обошелся со мной так вежливо, а теперь и знать меня не хочет. Все училище в руки взял, почти всех учителей я через него переменил. Они, говорит, больны, стары и ничего не смыслят, хотя всё народ молодой были.

— Стало быть, он прав. Он больше их знает, да и в семинариях теперь обучают не по-старому.

Егор Иваныч начал размазывать о семинарии, что они и учителя тамошние все хорошие люди; для того чтобы показать, что он неглупый человек, — даже похвастался своею проповедью. Он сначала подивился, что благочинный принял его очень вежливо и разговаривает как с приятелем. Он даже подумал: «Вероятно, у благочинного много грехов лежит в консистории и архиерейской канцелярии. Постой же; пугну я тебя. И мы тоже любим похвастаться. Здесь нельзя не сподличать. . .»

— Нынче у нас отец ректор славный человек в отношении семинарии, не то, что прежде, и человек очень строгий.

— Да, да. Слышал в прошлом годе в городе.

— Он мне сам предложил сюда, а потом хотел похлопотать, чтобы меня перевели в кафедральный собор. Когда же я буду посвящен, он обещал мне дать диплом на звание учителя. Он даже советовал мне открыть воскресную школу и хотел написать вам об этом предмете.

— Ну, вы с воскресными школами пропадете.

— Нет, отец благочинный. Этой бесплатной школой. . .

— Как бесплатной?

— В воскресных школах обучают даром, без различия — и детей и взрослых, преимущественно крестьян.

— Поговаривали у нас об этом, да будет-то это бесполезно.

Вошла жена благочинного, толстая, высокая, старая женщина, расфранченная, как попадья или купчиха. Егор Иваныч поклонился ей. Та слегка поклонилась.

— Благочинный, иди обедать, — сказала она мужу.

— Ладно. Надя встала?

— Одевается.

— Эк ее, нежится. А Петька и Васька, поди, на улице?

— Нет, в саду.

— Ведь я же звал сюда Ваську... Где письмоводитель?

— Он пошел купить Наде табаку.

— Вечно у них амуры. Я эту дрянь прогоню, коли замечу что-нибудь. Смотри ты у меня, смотри в оба... ни за чем не хочет приглядеть... Ну, что за табак девке!

— Да ведь ты куришь, благочинный!

— Молчать!

Егор Иваныч пошел к двери и поклонился благочинному.

— Прощайте. Приходите ко мне завтра. Я вас испытаю, можете ли вы быть учителем моему сыну и вообще в училище. А как вас зовут?

— Егор Иваныч.

— Хорошо!

— Это кто? — спросила без церемонии жена благочинного.

— Не твое дело. Пошла!

Егор Иваныч ушел.

«Вот дубина-то! — подумал он. — Это просто черт знает кто... Ах, я и забыл попросить его дозволить мне сказать здесь проповедь. Сил не пожалею, чтобы она понравилась. Впрочем, я покажу ему ту, которую в губернском сказывал. А гадко я сказывал, здесь лучше скажу».

Иван Иваныч был в восторге от рассказов Егора Иваныча и обещался отслужить заздравный молебен, когда только он женится на протопоповой дочери.

— Ты у меня, Егорушко, ум!.. сила!..

Андрей Филимоныч передразнивал благочинного, как он ходит, говорит, кланяется, ругается, ест и пьет, передразнивал также и жену его. Все до слез хохотали.

— Да полно, Андрюшка! — унимала его жена.

— А я тебя по лбу! — И дьякон ударил ее по лбу кулаком.

— У, дурак, больно!

— А тебе не довольно? Я тебе покажу, как благочинный Егорку бьет.

— Перестань.

— Выйди на ростань! Ах, Егор Иваныч, как я вам расскажу, что мы выкидывали на нашей свадьбе, не так еще рты-то разинете, не так еще свои зубищи выпучите.

— Да будет тебе.

— Ну, я тебе задам еще ночью... Я еще в семинарии научился всякой ловкости. Просто — сорви голова!.. Всякого, конного и пешего, передразнивал, фигляр превосходный был, такой, каких днем с огнем не сыщешь... Поставили, знаете ли, у нас на балу стул поперек ножками среди полу, а позади спинки его рюмку водки и говорят: коли ты больно хитер... да еще что говорят-то...

— Да перестань, Андрюшка!

— Ну, я вам обоим на ушко скажу, — и дьякон сказал им что-то на ушко, те захохотали... — Ну, достань, говорят, рюмку через голову зубами и выпей... Каково? Ну, думаю, черт вас дери, стоит, не стоит — все равно... что, говорю, дадите? Один дьякон говорит: ведро пива на голову... Я и говорю: сам съешь, а вот как достану и выпью, так на тебя вылью ведро пива, а с компании ведро сладкой водки. Ну, они заартачились... Согласились-таки...

— Ну, что, достали? — перебил его нетерпеливый Иван Иваныч.

— Погодите. Вот я лег на спину промеж ножек, голову загнул назад... смеются канальи, а эта шельма, Анютка, говорит: отстаньте, Андрей Филимоныч (никак не могу выбить из ее головы эти слова — отстань да полно). Ну, смеются, неловко так, а я все-таки сцапал рюмку во весь рот и держу водку, — чуть не захлебнулся, черт возьми. Потом, как выпил, схватил ведро с пивом и сейчас же облил им дьякона Максима, и прочим досталось. Уж мы очень больно веселились. Как утром в баню шли, так на ухваты платки надевали, — свахи шли с ухватами впереди, и вся компания нас то водой обливала, то сажей мазали щеки... Песни как задирали!.. Здесь бы так за страм сочли, а там всегда так.

Веселая компания рушилась с приходом дьячка, который сказал, что требует отец Василий свадьбу венчать.

Егор Иваныч пошел с дьяконицей смотреть свадьбу, а Иван Иваныч пошел разыскивать, не играет ли кто в шашки. Так как играющих на дороге не оказалось, то он тоже поплелся в церковь, думая: уж теперь я до тех пор не пойду смотреть свадьбы, когда мой Егорушка не станет венчать. Уж я тогда рядышком с ним стану: коли ошибется, подскажу. Поди, у бедненького руки будут дрожать.

В церкви на Егорушку все смотрели как на приезжего: одни показывали на него пальцами и спрашивали: кто он? а другие говорили, что он приехал свататься за дочь благочинного, и говорили такие вещи, что Егора Иваныча коробило

После венчания дьякон с Иваном Иванычем ушли на свадебный пир. Напились чаю. Дьяконица стала починивать подрясник мужа, а Егор Иваныч стал читать «Отечественные записки» прошлого года. Он скоро положил книгу.

— Какая дрянь! — сказал он.

— Что?

— Да напечатано в этой книге все ложь. Действительной жизни нет.

— Полноте, тут хорошая повесть есть, смешная такая.

— А вы что читаете?

— Я повести читаю, а дьякон критику любит. Когда мы лягем с ним спать, покою нет от него: лежит и читает вслух; я спать хочу, а он как щипнет в бок, просто до слез проймет. Слушай, говорит, учись, пока я жив.

— Я замечаю, отец дьякон, кажется, любит вас.

Дьяконица покраснела.

— А подчас такое слово загнет, что хоть вон беги... Griffiths Ономедни пришел пьяний препьяный и орет во всю ивановскую: близко не подходи, изобью. Я было хотела скрутить его, да он такую затрещину дал в эту щеку, что и свету божьего не взвидела. Уж так-то мне было обидно! .. плакала, плакала я, а на другой день корила, корила его! .. В ногах вывалялся... Если хотите, Егор Иваныч, я вам сосватаю невесту.

— Какую?

— Дочь нашего соборного дьякона Алексея Борисова Коровина, Лизавету. Ей в сентябре восемнадцатый будет. Я ее знаю, она моя подруга. Девушка хорошая.

— Красивая?

— Ну, нельзя сказать, чтобы красивая, а только рукодельница, смирная.

— Что же она так долго не замужем?

— Как долго? Ей ведь теперь семнадцатый, а в один год не скоро найдешь женихов, да Алексей-то Борисыч под суд попался, поэтому хорошие женихи обегают ее.

— За что он попался?

— Знаете ли, он любит выпивать, и в церкви перед евангелием случалось выпивать . Зато у него голос огромный, у моего дьякона хуже голос, верно оттого, что он еще молод. Был он, знаете ли, на похоронах; жену чиновника похоронили. Там напился, что называется, — душа в меру. А он пьяный любит ругнуться всякими словами, и если его заденет кто-нибудь, он и рукам волю даст, а он, как ударит, так и повалит на пол... Поспорил он с городничим, жену его как-то обозвал, тот его обозвал пьяницей. Алексей-то Борисыч не посмотрел, что он городничий, схватил его за мундир и оторвал две пуговицы совсем, с сукном. За это его, бедного, и отдали под суд. А жалко! добрый какой; главное, голос у него здоровый: как рявкнет, окна звенят! Архиерей хотел было его к себе в протодьяконы взять, да вот, как эта беда вышла, ну его и отставили. Теперь мой муж стал старшим, а он служит редко, все пьет.

— Он богат?

— Какое богатство! Вот уж полгода, как ничего не получает, ну а прежде все пил. Может быть, у него и есть деньги, да только едва ли. Лиза говорит, что мать ее, Дарья Ивановна, берегет деньги от мужа. Право, соглашайтесь. Лиза славная девушка. Что вам в протопоповой дочери? правда, она красивая и разговорами собаку съела, только вам не пара. Она слишком горда. С нами не говорит, а поклонишься ей, нос на сторону воротит. Да едва ли и отец протопоп отдаст ее за вас.

— Я думаю тут попытаться, у отца протопопа.

— Как знаете, дело не мое... Только я бы не советовала вам. Лучше взять бедную, да хорошую жену, а не модницу какую-нибудь.

Егор Иваныч спал в сарае. Пробудившись утром, он услышал разговоры отца с дьяконом. Дьякон басил и крякал; Ивана Иваныча — едва слышно.

— Так-то-с, Иван Иваныч!

— То-то. А голова болит, надо бы опохмелиться.

— А черт их дери! Опохмелиться надо, встать только лень.

— И мне тоже.

— А мы-таки дерябнули.

— Залихватски!

— Так ты как думаешь насчет Коровина?

— Думаю, можно. Надо бы сегодня...

— Скорее лучше. Знаешь, что я сделаю?.. Пойдем сегодня сами без него к Коровину: если он пьян, разбудим, не пьян, к себе приведем.

— Ладно. Да у меня, брат, денег нет.

— Ну! Эка беда!.. Нам бы не поверили в долг? — поверят. Вот Коровин говорит: я забирал, забирал из кабака водку, не платил целый год, говорю: счет подайте в церковь. Те и подали. Ну, благочинный говорит: это не мое дело. Так тот с носом и остался.

— Да, трудно жить на свете... Только я смекаю, ловко ли будет у Коровина-то высватать?

— Уж не беспокойся. Я сам хотел свататься, да отец посоветовал эту взять. И как, слышь, вышло: только что стал я свататься, вдруг указ из консистории: переводится-де он в село. Вот те и раз! Ну, перевелся, там я и женился, потому что от благородного слова неловко отказываться.

— У тебя, брат, жена славная.

— Да ничего...

— Хозяйка хорошая.

— Это правда. Этим меня бог не обидел... А мы пойдем, выпьем?

— Да рано...

— Ну, толкуй! смотри, солнышко-то куда поднялось! Пойдем?

— Пойдем. Да и к Коровину пойдем же?

— Непременно. Тут дело верное.

— Надо ему сказать, чтобы он к протопопу не ходил.

— Нельзя, ведь он здесь будет служить. Если Егор Иваныч не пойдет сегодня к нему, то он съест его.

— Все бы подождать не мешало: авось протопоп-то и отдаст за него свою дочь.

— Ну уж!

Дьякон ушел. Егор Иваныч тоже слез с сарая и ушел в дом. За чаем шел такой разговор:

— Ты, Егорушко, лучше на дочери Коровина женись. Я уж это дело всякими манерами обдумал.

— Мне все равно.

— Оно не все равно. Пондравится, женись, не пондравится, можно другую найти. А насчет отца благочинного вы не беспокойтесь: не стоит овчинка выделки. Она хотя и нашего поля ягода, но, как дочь благочинного, так заважничалась, что годится разве в жены какому-нибудь благочинному или светскому человеку вроде исправника и т. п.

— Я теперь ничего не могу сказать.

— Как знаете. А мы все-таки Алексея Борисыча приведем сюда, как раз к обеду.

Егор Иваныч подумал и пошел к благочинному.

Благочинный был уже одет. На нем была шелковая ряса голубого цвета, камилавка и два креста — один наперсный, а другой в память 1853—1856 года.

— Здравствуйте! — сказал он Егору Иванычу. — Мне нужно съездить кое-куда по делам. Пожалуйста, займитесь моим Васей. Я часа через три-четыре буду. Пойдемте. — Благочинный повел Егора Иваныча в комнаты. Прошли две комнаты, убранные хорошо, с цветами и с удушливым запахом мускуса и резеды. В третьей сидела дочь благочинного, Надежда Антоновна, девица лет двадцати, очень румяная, здоровая, разодетая в шелк и в кринолине.

— Пошла прочь! — сказал ей отец.

— Там, папа, очень душно.

— Вечно ты у окна торчишь! Пошла, тебе говорят! — Дочь ушла. Вошли в четвертую комнату. Там играли дети. Мальчик двенадцати лет возил по комнате с мальчиком пяти лет деревянного коня, девушка тринадцати лет сажала на коня куклу.

— Пошли прочь! Я вас, гадины! — Дети присмирели.

— Вам говорят? Вася, останься. — Дети ушли.

— Вот тебе новый учитель... Смотри, слушайся его. А вы, если он будет шалить, так на колени и ставьте, и пусть он, негодяй, до моего прихода на коленях стоит. — Благочинный ушел, и вскоре, вернувшись, взглянул в щелку дверей и ушел назад.

Егору Иванычу неловко сделалось быть учителем в доме благочинного, и притом учителем в первый раз. Он хотел учить крестьян, а не детей подобных родителей. Василий сначала робел, утирая рукавом свой нос, щипал

рубашку и пялил с любопытством глаза на нового учителя, но когда новый учитель заговорил с ним, он стал отвечать резко, с некоторою важностью.

— Вы давно учитесь? — спросил его Егор Иваныч.

— А вам на что?

— Мне хочется знать потому, чтобы легче было заниматься с вами.

— Я первую часть грамматики прошел.

— Кто с вами занимался?

— Отец Петр Иваныч.

— Хороший человек?

— Мы в училище его котом прозвали...

— За что?

— А он царапается больно. Когти у него на руках острые.

— Прочие учителя каковы?

— А вы к нам в учителя?

— Я после посвящения, может быть, поступлю.

— А у вас хорошие учителя?

— У нас профессора учат. Они сами в академии учатся.

— А я в академию скоро поступлю?

— Надо прежде кончить курс в семинарии. А когда вы кончите курс там, то будете такой же, как и я.

— Неправда, неправда!.. Я нынче поступлю в академию. А вас как зовут.

Егор Иваныч сказал.

— А вы учителей любите?

— Нет.

— Учителей надо любить...

— Неправда, неправда! Они секут больно.

— А вас секли?

— А вас?

— Меня много раз секли. Прежде по три раза в день секли.

— А теперь?

— Теперь не смеют, потому что я кончил курс.

— Меня-то учителя не смеют сечь, да папаша сечет. Больно сечет...

С час Егор Иваныч протолковал с Васей об ученье. Он понравился мальчику. Они начали урок с арифметики, которую Егор Иваныч плохо смыслил.

— А у вас, Василий Антоныч, большое семейство?

— Большое. Сестра Надя — невеста...

— Чья невеста?

— Так невеста: она уже большая... Папаша ждет жениха от архиерея. Петя брат, я да сестра Танька. Сестра Александра замужем, за отцом Павлом. Злой такой. А Анна, что всех старше, та за лекарем.

Пришла жена благочинного. Поклонившись важно Егору Иванычу, она важно села на диван.

— Ну, что у вас там хорошего в губернском? — спросила она Егора Иваныча.

— Ничего; веселее здешнего.

— Ах, какая здесь скука проклятая!..

— А вы родом отколе?

— Я в губернском родилась. Отец у меня протопопом был. Знали Первушина?

— Слыхал. У нас Первушин есть профессор.

— Это дядя мой. Ну, а отец ректор каков?

Пришла дочь Надежда.

— Ты зачем?

— Мамаша, одолжите шелку!

— А ты разве весь издержала?

— Весь. — Она взглянула на Егора Иваныча; Егор Иваныч на нее глядел. Она ему понравилась, то есть ему понравилось ее лицо, платье и голос, и не понравилось то, что он заметил в ней какую-то гордость, и она, вошедши в комнату, не поклонилась ему.

Жена благочинного вышла, за ней вышла и дочь, взглянув еще раз на Егора Иваныча. До прихода благочинного их не было видно. Пришел благочинный.

— Просто смучился весь... Ну, как Вася?

— У него есть способности.

— Да, я это замечаю, только он баловник, каналья.

Стали обедать все, и к обеду пригласили Егора Иваныча. За обедом говорили о лицах губернского города. Егор Иваныч робел, руки тряслись, и он говорил невпопад. Благочинный приглашал его выпить рюмку наливки, он отказался, говоря, что он ничего не пьет.

Когда Егор Иваныч стал прощаться с благочинным, то сказал ему:

— Я, отец благочинный, осмеливаюсь побеспокоить вас: мне нужна невеста, а я не знаю, где высватать.

— Уж не на моей ли дочери вы хотите жениться? — спросил тот, улыбаясь.

Егору Иванычу стало стыдно. Он ничего не мог ответить.

— Впрочем, я подумаю.

— Могу я надеяться?

— Завтра я вам скажу ответ.

«Нужно быть только смелым, все будет хорошо. Ищите и обрящете, толцыте, и отверзется вам... Теперь все дело обделано», — думал Егор Иваныч, придя домой.

Надежда Антоновна росла и воспитывалась матерью и отцом на барский манер, с тем различием, что родители держали ее очень строго. Она не умела стряпать, а умела шить себе платья, вышивать, читать и писать. Читать светское ей запрещалось, и она доставала украдкой книги от своей сестры Анны, которая за лекарем. Дни ее шли скучно. Ее будили к обедне, в праздники она должна была идти в церковь, после того должна сесть за работу, после обеда спать, или вышивать, или читать книги духовного содержания, обучать брата Петра и сестру Татьяну; вечером, после чаю, опять что-нибудь делать. Гулять в Столешинске не в моде. Светское общество она видела только у сестры Анны, но так как лекарь женился на Анне с год и уехал в другой город, то она мало поняла обычаи этого общества, тем более общества уездной аристократии. Там, и вообще в гостях, она вела себя как богатая невеста, говорила отрывочно, не умела держать себя по-барски, не умела танцевать, говорить по-светски, но считала каждую женщину или девушку и каждого мужчину дрянью. Ей хотя и хотелось вырваться из дому куда-нибудь, но всегда делалось досадно, что она бывает в этих обществах. Начитавшись светских книг, она сначала плохо верила им, потом стала бредить о различных героях, а когда бывала в обществе светских людей, она там видела все обыкновенных — глупых — людей и ругала это общество и книги.

Ей надоела жизнь с отцом, хотелось уйти куда-нибудь. Но куда уйдешь? У отца все-таки почет. Авось жених какой-нибудь посватается. Но какой жених? Чиновников она ненавидела; военных тоже. Молодых семинаристов она видела мало... Ей хочется жениха в камилавке и с наперсным крестом...

Когда Егор Иваныч пришел домой, там кутили: Иван Иваныч, Андрей Филимоныч и Алексей Борисыч Коровин. Коровин был толстый, здоровый мужчина, с оплывшим лицом, густыми черными волосами и бородой. Он говорил октавой.

— Здравствуйте, здравствуйте! Что, по невесту приехали? — спросил его Алексей Борисыч.

— Да.

— Доброе дело, доброе дело.

Алексей Борисыч выпил. Заставили выпить и Егора Иваныча.

— А если хотите, Егор Иваныч, берите мою дочь.

— Надо еще подумать, Алексей Борисыч.

— Думают только одни немцы да индейские петухи.

— Славно сказано! — сказал Иван Иваныч, уже опьяневший.

Вечером компания отправилась к Алексею Борисычу. Он живет в своем доме, уже старом, с пятью окнами на улицу и с четырьмя комнатами и кухней. Их встретила жена его, Дарья Ивановна, худенькая, низенькая женщина.

Гости вошли в комнату. Лизавета, румяная девушка, в ситцевом платье желтого цвета, что-то вышивала у окна. При входе гостей в комнату она поклонилась им. Егор Иваныч тоже поклонился робко. Лицо ее ему очень понравилось.

— Лиза, поставь самовар, — сказала ей мать.

Дочь ушла. По какому-то обстоятельству на ней было надето новое платье, которое, как она шла, шумело. И это понравилось Егору Иванычу. «Она, кажется, славная девушка. Немножко рябовата, да ведь и я-то неказист», — думал он.

— Какой вы гордый! Нет, чтобы раньше прийти к нам, — сказала Дарья Ивановна Егору Иванычу.

— Извините, что не мог, потому что не был знаком с отцом дьяконом.

— А ты, дьяконица, где давече была? — спросил ее Андрей Филимоныч.

— По грибы ходила. Нынче ужас сколько их! Лиза сказала, что вы были и хотели прийти, — я и принарядилась.

— Зачем принарядилась-то?

— По-вашему, так и ходить, как в будни? Ведь гости, пожалуй, ни на есть что скажут про меня.

— А ты, Дарья, дай водки, — сказал Алексей Борисыч.

— Ох, уж эта мне водка!

— Для гостей, дура! А я только смотреть стану.

Лиза принесла самовар, чайник, чашки, сливки, малины и сдобных крендельков. Мать велела ей принести поднос, чтобы угощать гостей с подносу; но Андрей Филимоныч отговорил, сказав, что мы сами будем брать чашки со стола. Лиза стала разливать чай.

— А ничего, Лизанька — невеста хоть куда! — сказал Андрей Филимоныч.

Лиза закраснелась. Она и мать ее знали, зачем Попов пришел.

— Я не невеста, — сказала робко Лиза.

— Какая она еще невеста! — заметила мать.

— Полно вам притворяться-то! Вот моя жена в девушках говорила, что она ни за кого замуж не пойдет, а обречет себя монашеской жизни, а вышла-таки за меня.

— Да вы человек славный. Такого жениха не скоро найдешь.

— Полно вам лясы-то точить! Выпьем, — сказал хозяин и налил три рюмки.

Дарья Ивановна стала расспрашивать Егора Иваныча о разных дьяконах и рассказывала про свою родню и несчастье ее мужа.

Егору Иванычу было очень неловко при Лизе. Прежде он мечтал только об девушке, представлял ее красивой, смирной, умной, представлял такой, какую он вычитал в книге и которая ему чем-нибудь понравилась. Теперь девушка налицо, и эта девушка от одного его слова может быть его женой. Она ему нравится, взглядывает на него так ласково, никакой гордости незаметно, а заметно, что ей хочется замуж. Надо бы поговорить с ней, но как заговорить и что говорить? Протопопская дочь ему не нравилась теперь, и он сожалел, что просил протопопа о невесте. А что, если протопоп согласится выдать свою дочь за него? Оно, конечно, лучше: больше почету тогда будет; а если жениться на этой, то весь век останешься священником, да еще протопоп, пожалуй, обидится, напишет владыке, и тебя турнут в такое место, что весь век

будешь каяться: «А я уж знаю, каково быть бедным священником». Так рассуждал про себя Егор Иваныч. А Лиза между тем уже начала вздыхать... Она была рада и не рада, что наконец-то ей бог послал жениха и она будет женой городского священника. «Кто его знает, какой он, — думает она: — некрасив, да что толку; обрастет бородой, лучше будет... Уж скорее бы...» Мать и дочь простились с Егором Иванычем очень любезно, и даже сама дочь сказала ему: «Ходите к нам, Егор Иваныч, почаще».

— Ну, что? — спросил дорогой Егора Иваныча Андрей Филимоныч.

— Ничего.

— Нравится?

— Да, ничего. Надо бы с ней поговорить наедине.

— А мы завтра пошлем просвирню к ним.

— Зачем?

— Свататься и уговариваться о приданом.

— Не рано ли?

— Знаете пословицу: куй железо, пока горячо, — чем скорее, тем лучше.

— Лучше через день.

— Ну, как знаете.

Отец очень обиделся тем, что Егор Иваныч откладывает сватовство так долго.

— Ты, Егорушко, уж больно привередничаешь. Как не было ни одной невесты, так ты говорил: где найду, да как женюсь; а как есть они, ты и заважничал: не хочу, подумаю. Нечего тут думать, я тоже не думал. А вот тебе сказ: чтобы завтра же сваха была послана.

— А если я не хочу?

— Ну, так и бог с тобой. Я не то и уеду.

— Вы, тятенька, не сердитесь, а предоставьте это дело мне одному.

— А я тебе кто: отец или пес?

— Я вас люблю как отца, но в этом деле прошу не мешать.

— Коли ты так, я сейчас же уеду.

— Послушайте, тятенька, ведь с женой жить не вам, а мне.

— Мне все равно, а я уеду.

Отец стал собираться.

— Полно, Иван Иваныч, егозить. Он правду говорит, — уговаривал Ивана Иваныча Андрей Филимоныч.

— А я хочу, чтоб ты по-моему делал, — и все тут! — сердился Иван Иваныч.

— Воля ваша.

— Так ты соглашаешься?

— Подождите до завтра. Завтра я схожу к благочинному и получу от него ответ.

— Посмотрим, что скажет тебе благочинный... Поди-кось, дурак твой благочинный, поди-кось, он так и отдаст за тебя, за голь, свою дочь... Да хотя и отдаст, так мне житья от нее не будет! Вот что!

— Почему вы так думаете?

— Почему!.. Не знаю будто!.. Ты еще только на свет-то ворвался, а я уж пожил, слава тебе господи.

В этот же день благочинный получил от ректора письмо следующего содержания:

«Отец благочинный! Во-первых, целую вас братскою любовию и посылаю вам свое благословение. Во-вторых, уведомляю вас, что, давши вам зимой обещание послать к вам для вашей дочери Надежды жениха из академии, я, при всем моем старании, не могу утешить вас на этот счет, так как у нас теперь в городе только два академиста, из которых один уже женился на дочери протоиерея кафедрального собора, а другой не имеет намерения жениться. Поэтому я решился выбрать из кончивших курс семинарии отличного студента, диаконского сына Егора Попова, выпросил для него у преосвященнейшего владыки место в вашем городе и послал к вам. Он отличный студент и может быть хорошим мужем вашей дочери, которой я посылаю мое благословение...»

Благочинный долго думал, прочитавши это письмо, отдать ему дочь за Попова или нет. Он некрасив, но, кажется, смирный. Если не выдать, то обидится ректор, сменит с смотрительской должности. Он решил выдать; одно только беспокоило его: отец у него дьякон, куда поместить их? В доме — загрязнят все... Он не любил заштатных дьяконов и священников, хотя у самого назад тому четыре года умер отец, заштатный дьякон.

— Егорка!

Вошел Егорка.

— Позови Марью Алексеевну.

Пришла жена его, Марья Алексеевна.

— Как ты думаешь, жена: что нам делать с Надей?

— Что с ней делать-то?

— Дура! Ведь ее надо замуж выдать.

— За кого бы ты ее выдал? Уж не за вшивика ли письмоводителя?

— Э, да что с тобой толковать! У тебя башка вечно сеном набита.

— Бога бы ты побоялся так издеваться надо мной... Ведь в прошлом годе сватался судебный следователь, хороший и богатый человек.

— Я сам знаю, кто лучше... Богат он, хорош — это все дудки. Он сватался ради денег — вот что. А я придумал. Вот слушай, что пишет отец ректор.

— Так неужели ты за этого приезжего вшивика хочешь отдать?

— А что бы ты на это сказала?

— Ты посмотри, у него и сапоги-то с заплатами.

— Не твое дело. Уж коли сам отец ректор просит так, так уж я прекословить его воле не стану. А отца ректора владыка любит. Знаешь, что я через это выиграю?

— Делай как знаешь. Все бы не мешало подождать.

— Нет уж, матушка, ждать я не стану. Ты думаешь, что я ничего не замечаю? Я, матушка, вижу ее амуры с письмоводителем. А что, если, боже упаси, она развратится?.. Понимаешь?

— Понимаю.

— То-то и есть. Что тогда про меня скажут?.. Уж такая девка взбалмошная родилась: то ей дай, другое дай, в слезы сейчас. А ты думаешь, я стар, так меня так и проведешь! — дудки, сорока-то надвое сказала!.. Онодни она любезничала с сыном отца Александра, да я промолчал. Я еще ей не такую пóронь задам, если она будет противиться мне.

— Как знаешь, Антон Иваныч...

— Так ты согласна?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— Как знаешь.

— Я согласен. Он сегодня просил меня об этом.

— И ты согласился?

— Я ничего не сказал, потому что ждал письма. Мне смешно показалось его желание, а теперь, как получил письмо от отца ректора, я готов уважить отца ректора.

— Делай как знаешь.

— Много ли у Нади платьев?

Благочинный взял бумажку и карандаш.

— Шелковых семь, ситцевых восемь.

— Салопов?

— Летних три мантильи, домино из губернского выписано; два зимних: один соболий, другой беличий. Четыре шляпки.

— Я думаю, больше ей не надо шить?

— К венцу надо платье заказать.

— Пожалуй.

— Шляпку надо тоже купить.

— Ну уж, шляпку пусть муж купит... Вот подумаешь: копишь-копишь на них, а куда все идет? Подвернется какая-нибудь дрянь... Все для начальства делаешь. А ты думаешь, я так-то и отдал бы ее Попову?

— Нет.

— То-то. Теперь денег, я полагаю, будет с них и ста рублей. Рясы у меня и подрясники есть, есть и шляпы и пояса. Дам ему пока по одной штуке, да как поедет посвящаться, надо отцу ректору послать сколько-нибудь.

— Сколько ты думаешь?

— Это не твое дело. Попову на издержки дам сто рублей.

— Будет.

— Кольца у Нади есть?

— Есть одно, золотое с бриллиантовым камнем.

— Покажи.

Марья Алексеевна принесла ящичек с драгоценными вещами. Благочинный пересмотрел их, выбрал несколько колец, браслетов, сережек, завернул их в бумажку и сказал: «Это Наде, а эти пусть хранятся для Тани».

— Где же будет Попов жить?

— Во флигеле живет зять. Поместить разве его сюда наверх, в три пустые комнаты, а Попова во флигель.

— Как знаешь. Надо бы с Надей поговорить, Антон Иваныч. А?

— Что с ней говорить-то?

— Неловко как-то... Пусть она знает, что у нее есть жених.

— Ну, позови ее сюда.

Пришла Надя.

— Послушай, Надежда Антоновна, — начал отец: — тебе уже двадцатый год; за тебя сватались многие, но я не хотел выдавать тебя, сама знаешь почему. А в девицах тебе сидеть неловко, да я уже стар и слаб становлюсь, того и смотри, что, грешным делом, помру. При мне-то тебе хорошо, а что будет без меня... Понимаешь?

— Понимаю, папаша.

— Ну, так вот что я тебе скажу: ты скоро выйдешь замуж.

— Я... за кого? — сказала дочь, дрожа.

— Видела ты сегодня учителя Васи?

— Видела.

— Ну, так за него.

— Тятенька!..

— Что еще?

— Он мне не нравится.

— А кто же тебе нравится? Ну-ко, скажи?

— Мне никто не нравится.

— В монастырь, что ли, захотела?

— Нет-с.

— Я уже решил: ты должна выйти замуж за Егора Иваныча Попова. Слышишь!

— Тятенька... — Надежда Антоновна заплакала.

— Это что за слезы?.. Знаешь каретник?

— Тятенька... Я не могу за него выйти...

— Марья, позови Егорка.

Дочь упала на колени в ноги отцу.

— Марья! тебе говорят!

— Антон Иваныч, полно... Что же, если она не хочет!

— Знать я ничего не хочу. Что мне, по вашей милости, прикажете без куска хлеба сидеть? Егорка!

Пришел Егорка.

— Позови дворника.

— Тятенька... Умоляю вас.

— Что, за письмоводителя небось хочется?

— Нет...

— Встань, нечего рюмить... — Дочь встала. — Ну, какого же тебе жениха надо?

— Протопопа.

— А?!! — отец захохотал. — Послушай, Надя, что я тебе скажу: Попов тебе не нравится, потому что он некрасив. Но где же ты возьмешь хороших женихов?.. А ты прочитай вот письмо ректора... — Он подал ей письмо. Она взяла робко, робко прочитала и отдала отцу.

— Ну, что скажешь? — спросил ее отец.

— Тятенька, нельзя ли повременить. Я подумаю.

— Думать тут нечего... Я хочу, чтобы ты вышла, и все тут.

— Послушай, Надя, отец тебе не желает худа, ты будешь за священником.

— Когда ты выйдешь за него замуж, я попрошу владыку и сам к нему поеду, чтобы он назначил Попова в Егорьевскую церковь священником вместо Полуектова, которого попрошу перевести в другое место. Кроме этого, я сделаю его учителем в училищах, духовном и светском, в нашем он будет обучать грамматике, а в том закону божию. Ну, что, и этим недовольна?

— Воля ваша, папенька.

— Подойди ко мне.

Дочь подошла. Отец благословил ее и поцеловал; то же сделала и мать.

— Я тебя силой не выдаю, но желаю счастия с хорошим человеком.

— Только он мне очень не нравится.

— Понравится. Это вы всё так говорите до замужества. К завтрашнему дню ты, смотри, оденься получше.

— Хорошо. А он будет?

— Как же.

— А он, тятенька, очень некрасив... Обращение у него какое-то смешное такое.

— Что ты, шишки, что ли, у него на носу заметила?

Дочь улыбнулась.

— Ну, ничего... Ты с ним в губернский поедешь. Впрочем, и я поеду, а то он там денег много истратит.

Смотри, Надя, помни все, чему я учил тебя. Если ты будешь ему худой женой и если он станет жаловаться на тебя, я вступаться не буду.

— Поэтому-то, папаша, мне и не хочется идти за него замуж.

— Тебе все академиста нужно... Ничего, матушка; уж коли сам ректор хлопочет, стало быть человек хороший. Ты так и думаешь, что я зря отдаю тебя?

После этого началось совещание при зяте и его жене: сколько истратить на свадьбу, кого пригласить, кого сделать шаферами, тысяцким и прочими. Тысяцким назначено было просить богатого купца Илью Афанасьевича Печужникова, старосту собора. В тех местах тысяцкий или *болярин* — главное лицо на свадьбе. На обязанности его лежит вся забота по венчанью: он должен нанять лошадей, которые, конечно, ничего не стоят, потому что хозяева их сами дают лошадей, для того что будто бы бывает счастье тому хозяину, который дал лошадей, на коих ехал свадебный поезд; должен зажечь паникадило, свечи на свой счет, из своего же кармана заплатить духовенству и певчим за венчанье. Шафером невесты назначен письмоводитель духовного правления Василий Иваныч Конев и учитель духовного училища Матвей Карпыч Алексеев. Послезавтра назначен вечер, или просватанье, а завтра семейный обед.

Егор Иваныч ничего об этом не знал. Невеста его, Надежда Антоновна, всю ночь не спала. Она большую половину ночи плакала. Сколь ни тяжела была ей жизнь с родителями, сколько она ни перетерпела от них разной брани, все же она была барышней; все люди заискивали ее расположения, в особенности богатая и чиновная молодежь судила об ней с такой стороны, что она богатая невеста, но подступиться к ней трудно. Как я сказал выше, ей хотелось мужа протопопа, стало быть, вряд ли она согласилась бы выйти замуж за богатого и очень чиновного светского. Впрочем, по приказу отца она могла бы выйти замуж и за дьячка, если бы так приказал владыка, чего, конечно, со стороны владыки не могло бы быть, а если бы было, так разве наказанием для отца за его прегрешения... Она раньше никак не могла себе представить, чтобы она вышла замуж за простого священника, каким был муж ее сестры, кото-

рого она недолюбливала за форсистость; ей непременно хотелось мужа с камилавкой и наперсным крестом, о чем ей твердили раньше отец и мать. К этому она прибавляла то только, что этот господин должен быть непременно молод и красив. Поэтому не удивительно, что Егор Иваныч, которого она видела раз у отца и на которого с первого разу не обратила внимания и обозвала его при Васе бедным и голодным учителишком, ей очень не понравился. Каково же ей перенести то оскорбление, что сами родители приневоливают ее выйти замуж за это *чучело!* «Он только в огород и годится, дылда эдакая! — думала она ночью. — Зачем же это отец и мать твердили мне, что мне нужно держать себя как протопопской дочке, потому что мне следует выйти за протопопа; а потом, как выросла, они и отдают какой-то чучеле... Уж я таки постою на своем! Чтоб я стала любить его, уважать — держи! Если бить станет — убегу! Ишь, далась я им; делают что хотят со мной. Нет уж, теперь не бывать этому: я вольный казак буду, я муженька сама бить буду...»

На другой день Егор Иваныч, получив родительское благословение, с трепетом шел к благочинному. Он никак не думал, чтобы благочинный отдал за него свою дочь, и шел просить его присутствовать при венчании его с Лизаветой Алексеевной. «А дочка его хороша, надменна немножко, но после бы обтерлась. Только благочинный не согласится, а если согласится, что я стану говорить с ней?» На нем надеты сюртук, брюки, жилетка и сапоги Андрея Филимоныча, и все это, как говорится, мешком сидело на нем.

— Здравствуйте, Егор Иваныч, — сказал приятельски благочинный в кабинете. Он приказал Егору, чтобы Попов шел прямо к нему в кабинет.

Егор Иваныч подошел под благословение.

— Садись, мы будем говорить дело. — Егор Иваныч сел.

— Скажите, пожалуйста, это ваши вещи, что на вас?

— Мои-с, — соврал Егор Иваныч.

— Еще что у вас есть?

— Больше ничего нет, потому что мой отец бедный человек.

— Я знаю многих семинаристов, у которых отцы беднее вашего отца; они богатые.

— Не знаю, отец благочинный... Певчие архиерейские — богатые люди, а из остальных разве имеют деньги те, которые кондициями занимаются, то есть учат детей.

— А вы не обучали раньше?

— Я не имел времени: я все занимался своими лекциями... Уверяю вас, если бы не отец мой, я бы был или в академии, или в университете.

— О, в университете! Избави бог! Если мой сын захочет в университет, я его и ногой не пущу в свой дом.

— Оттуда, отец благочинный, как и из академии, можно хорошую должность получить.

— Знаю, каковы эти должности. Вон у нас судебный следователь в университете учился, а что он сравнительно с нашим братом?.. Наш брат и священник — много значит. Я очень сожалею, что выдал свою дочь за лекаря. Пьяница такой, прости господи! — благочинный плюнул.

— Зато он образованный человек. Говорят, что все кончившие курс в медицинской академии образованные люди.

— Это я знаю и эту академию больше уважаю, чем университет... Но вот что, Егор Иваныч... Вчера вы просили невесту...

— Точно так-с.

— Я нашел.

Егор Иваныч встал, поклонился и сказал:

— Покорнейше благодарю, отец благочинный.

— Этого мало. Я вам должен сказать, чтобы вы уважали вашу жену, а иначе я могу сделать с вами — что хочу. Тогда вы погубите и себя и свою жену. Я отдаю вам свою дочь, Надежду Антоновну.

Егор Иваныч остолбенел.

— Поняли вы это?

— Очень вам благодарен.

— Смотрите, чтобы жалоб не было. Я это делаю из любви христианской, из уважения к отцу ректору, который ходатайствовал у меня за вас. Поняли?

— Покорнейше благодарю, отец благочинный.

— Подите, занимайтесь.

Егор Иваныч, как вышел в зал, перекрестился: «Слава тебе, господи. Ай да отец ректор!»

В той же комнате, где он занимался вчера, он застал детей за играми и подошел к Васе.

— Здравствуйте, братец! — сказал Вася.

— Это почему? — спросил удивленный Егор Иваныч.

— Братец, братец! — кричали остальные дети и окружили Егора Иваныча.

— Я ничего не понимаю.

— А гостинцев принесли? Жених!

— Какой жених?

— Дайте гостинцев, скажем.

— Господа, мне заниматься надо с Васенькой.

— Жених, жених! Надин жених!..

— Вы Наденьке какое платьице сошьете?

— А мне, братец, лошадку хорошенькую купите...

Вошла Надежда Антоновна. Увидав Егора Иваныча, она косо взглянула на него. Егор Иваныч поклонился ей. Она отвернулась.

— Петя, Таня, пошли к мамаше!

— Не хочем. Мы с братцем посидим.

— С каким братцем?

— А с Егором Иванычем.

Надежда Антоновна ушла, а Егор Иваныч покраснел — и бог знает, что бы он сделал в это время с детьми.

Пришла Марья Алексеевна. Он поклонился ей.

— Мое почтение... как вас звать-то?

— Егор Иваныч.

— Егор Иваныч... Прошу любить и жаловать. — Она очень строго глядела на Егора Иваныча.

Егор Иваныч поклонился.

— Пошли вон! пошли! — сказала она детям и прогнала их из комнаты подзатыльниками. Потом подсела к Егору Иванычу. Егор Иваныч стал заниматься с Васей. а Марья Алексеевна молча смотрела на него, подперши подбородок правой рукой. «Чтоб те провалиться», — думает Егор Иваныч.

— Вася, ступай к детям, — сказала мать.

Вася ушел. Егор Иваныч остался один на один с протопопшей. Протопопша молчит. Егор Иваныч поклонился ей и сказал: «Прощайте».

— Куда же вы?
— К отцу благочинному.
— Он теперь занят.
— Так я домой пойду.
— Вам протопоп говорил что-нибудь сегодня?
— Насчет чего-с?
— Насчет Нади?

Егор Иваныч покраснел и тихо сказал: «Да».

— Вы напрасно не в свои сани садитесь.

Егор Иваныч молчит и переминается с ноги на ногу.

— Надя вам не пара: она протопопская дочь, как бы то ни было, а вы сын диакона.

— Я, матушка (он забыл ее имя), кончил курс по первому разряду.

— Знаю, что кончили, все-таки дочь моя вам не пара.

— Я, матушка, силой не напрашиваюсь; это воля отца благочинного.

Минут пять молчание.

— Ведь мы много вам не дадим приданого; на наши карманы не надейтесь.

— Я, матушка, не прошу ничего.

— Все-таки кое-что надо. Вам надо и ряску получше, так как вы не священническую берете; ну, кое-что еще дадим, а об остальном и не заикайтесь.

Егор Иваныч не знал, что лучше сделать: сказать ли ей: покорнейше благодарим, — или поклониться. Он промолчал.

Опять молчание.

— Вы мою дочь берегите как зеницу ока. А будете обижать, не сдобровать вам! Помните, что вам бы следовало жениться на дьяконской дочери; а если мы и отдаем вам дочь, так только из уважения к отцу ректору, потому что он начальник наш. — Марья Алексеевна ушла.

Егора Иваныча зло взяло. Он вышел в залу, стал ходить и думать: «Что они важничают-то! Я же ведь не напрашивался, сами суют. Ишь, отец ректор им дался!.. Уж лучше, кажется, отказаться от этой барской невесты».

В приемную, а потом в зал вошли Павел Ильич Злобин и его жена. Павел Ильич был худой, бледный господин, с коротенькими волосами и маленькой рыжей бородкой; они поклонились Егору Иванычу очень важно.

— Если не ошибаюсь, вы Егор Иваныч Попов? — спросил Злобин.

— Точно так.

— А я Павел Ильич Злобин, а это моя жена Александра Антоновна, урожденная Тюленева.

Егор Иваныч поклонился.

— Папаша дома? — спросил Павел Ильич Егора Иваныча.

— В кабинете.

Зять с женой вошли в кабинет; немного погодя они вышли с благочинным. Благочинный представил их Егору Иванычу и им Егора Иваныча, сказав: мой нареченный зять, — потом с дочерью ушел в другие комнаты.

Через несколько минут вошел благочинный с женой, за ним разодетая и нарумяненная Надежда Антоновна и дети с Александрой Антоновной. Благочинный взял правую руку дочери и повел ее к Егору Иванычу.

— Знаешь ты его? — спросил он дочь.

— Нет, — отвечала она робко и гордо.

— Тем лучше для тебя. Вот твой жених, — сказал благочинный. Дочь ничего не сказала.

— Что же ты молчишь?

— Что мне говорить прикажете?

— Согласна ты или нет выйти за него замуж?

— Согласна, тятенька, — сказала дочь нерешительно.

— Ну, и делу конец. Возьмите руки.

Егор Иваныч конфузится, конфузится и дочь благочинного.

— Что же вы? — говорит строго отец.

— Надя, возьми руку Егора Иваныча, — говорит мать.

Надя строго смотрит на мать и сердито берет руку Егора Иваныча.

— Смотри у меня! — кричит отец.

— Садитесь рядом.

Все сели. Егор Иваныч сел около Надежды Антоновны. Семейные начали говорить о непокорстве дочери, жених и невеста слушают. Егор Иваныч смотрит на невесту, невеста смотрит в сторону. Так они просидели до обеда. За обедом то же самое. После обеда жених и невеста пожали руки. Завтра воскресенье, и по этому

случаю Егор Иваныч показал благочинному сочиненную им и сказанную при архиерее проповедь. Благочинный велел ему сказать ее в соборе и после обедни прийти к нему. Просватание отложили на три дня.

— Ну, что? — спросил Егора Иваныча отец, как только он вошел домой.

— Хорошо. Сегодня благочинный представил меня зятю и невесте, а через три дня и просватанье.

— Ну, и слава тебе царю создателю! Как же теперь, Алексея-то Борисыча мы обманули, выходит?

— Разве вы давали ему слово?

— На вот! А зачем мы вчера у него были?

— Я же ведь вам говорил, что торопиться нечего.

— Ну, ничего... Как же ты, Егорушко, дела-то обделал?

Егор Иваныч рассказал все, с некоторыми прикрасами, а именно: что невеста девушка смирная, послушная и что ректор приказал благочинному отдать за него дочь.

— Слава богу, слава богу!.. Уж я непременно молебен отслужу. Свечку рублевую поставлю. А что же он меня-то не звал?

— На просватанье, должно быть, позовет.

— Экой гордый! Ну, да где мне с благочинным дружбу водить! так-тось...

— А вы, тятенька, если вам случится быть у благочинного, ведите себя скромнее.

— Уж я знаю. Да что я, разве не отец тебе? а, Егорушко?

— Через вас я могу лишиться невесты.

— Полно-ка ты толковать-то... Разве невест-то мало?

Егор Иваныч рукой махнул и пошел на улицу. Отец остановил его.

— Ты куда?

— Пойду прогуляюсь.

— Пойдем вместе.

— Я один.

— Ну, бог с тобой!.. Вот они, Анна Пантелеймовна, каковы ныне сынки-то!.. Ты их воспитывай, обучай, а они, как вылупятся на свет божий, и знать тебя не хочут.

Егор Иваныч обиделся этим.

— Тятенька, на что тут сердиться? Мне хочется одному заняться самим собой...

— Ну, и занимайся. Ты ведь священником будешь, протопопа получишь, а я так заштатным и умру... Куда уж мне! Ступай, ступай, бог с тобой, я пойду спать...

На другой день утром Егор Иваныч прочитал проповедь о блудном сыне. Когда он прочитал ее, она ему не понравилась, потому что тут почти ничего не было действительного, а написаны цитаты, тексты и разные фразы. На сарае крыша была высокая, и свет проходил сквозь отверстие, сделанное в простенке. Егор Иваныч встал, сделал важную позу, посмотрел вперед, направо и налево, как будто представляя народ, постоял немного и начал спокойным голосом читать. Прочитав вслух немного, он остановился. «Ей-богу, никто ни одного слова не поймет... Как тут лучше сделать? Постой... Проповедь благочинный не читал, я расскажу историю блудного сына, применяясь к нынешней, введу тут один рассказ из нашей современной жизни... Ловко ли будет? Нет, рассказ из нашей современной жизни в церкви неловко говорить, а расскажу историю блудного сына как можно яснее, без тетрадки, как говорят у нас приезжие профессора. Надо сказать так, чтобы их всех ошеломило. Конец об начальстве я выкину, а заменю другими словами... Вот она, наука-то! Четыре человека сочиняли, четыре головы работали, а написали очень плохо... Впрочем, и писали-то про начальство». Он начал опять читать с начала. Позу он выдержал. «Только бы в церкви не сконфузиться. Я думаю, что будут слушать, тем более что здесь еще молодые люди не говорили проповедей».

Егор Иваныч напомадил волоса, надел белую манишку и пошел в церковь уже во время херувимской и там сквозь густоту людей гордо пробрался в алтарь, так что многие стали в недоумение: кто это? Полгорода уже знали, что приезжий семинарист, жених протопопской дочери, будет сегодня сказывать проповедь. Поэтому народу собралось более обыкновенного. В этот день должен быть царский молебен, и потому священники изо всех церквей собирались в собор.

Вышел Егор Иваныч в стихаре, в белом галстуке, с причесанными волосами. Он прошел важно, по-протодья-

конски, к налою, окинул глазами весь народ и у правого клироса увидал Марью Алексеевну с Надеждой Антоновной. Сердце екнуло у Егора Иваныча, но он взглянул на налой, помолчал, вытащил тетрадку, поправил ее, перекрестился и начал проповедь громко и спокойным голосом, ударяя на каждом слове. Из церкви никто не шел, а народ лез вперед, к налою, к молодому проповеднику. Он читал почти наизусть, изредка поглядывая в тетрадку, а прочие слова говорил, смотря то вправо, то влево. Он замечал, что все смотрели на него, даже невеста с матерью впились в него глазами. Егор Иваныч здесь выдержал проповедь: он говорил, как ни один в этом городе не говорил такой проповеди, — именно, он рассказывал спокойным, ровным голосом. Даже пришедшие из других церквей на молебен дьякона и священники вышли из алтаря, слушали его. Но вот он остановился, облокотился правой рукой на налой и начал рассказ о блудном сыне, примешивая изредка кое-что из современного. В народе шептались, потому что Егор Иваныч не смотрел в тетрадку; шептались и Тюленевы. Когда он стал кончать проповедь, то объяснял тексты священного писания без тетрадки. Он видел, что Марья Алексеевна утирала платочком глаза, а Надежда Антоновна улыбалась.

Когда Егор Иваныч вошел в алтарь, его окружили священники: «Славно! славно вы сказали слово! великолепие какое!..» Протопоп, радуясь, улыбался.

По окончании обедни протопоп был очень любезен и весел. Егор Иваныч подошел к Марье Алексеевне и Надежде Антоновне, поздоровался с ними.

— Ах, как хорошо вы сказали! Я никогда не слыхала такой проповеди, — сказала Марья Алексеевна. — На что Надя не охотница до проповедей, и той понравилось.

— Неужели, Надежда Антоновна...

— Да. Я в первый раз слышала, как вы без тетрадки сказывали. Я думаю, трудно?

— Гораздо легче, чем по тетрадке, — похвастался Егор Иваныч.

— А вы прежде сказывали проповеди? — спросила его Марья Алексеевна.

— В семинарской церкви часто сказывал. Нас пробовали сказывать на рассказ... Эта проповедь, по-моему,

не очень хороша, да я не успел составить другую, потому что у меня нет под руками книг, какие мне надо: тетрадки, по которым я сказывал в семинарии и крестовой, я роздал на память товарищам.

Подошел Иван Иваныч. Егор Иваныч рекомендовал его Тюленевым:

— Это мой папаша, Иван Иваныч.

— Очень приятно познакомиться, — сказала Марья Алексеевна.

— Вы, должно быть, любите петь? — спросила старика Надежда Антоновна.

— Страсть моя!

— Пожалуйте к нам, вместе с Егором Ивановичем, — пригласила старика Марья Алексеевна.

— Покорнейше благодарю. Куда уж мне со старыми костями!..

— Ничего, приходите, — сказала Надежда Антоновна.

«Ну, дело идет на лад», — подумал Егор Иваныч.

Подошел благочинный в рясе и с тростью. Егор Иваныч представил ему отца. Отец подошел под благословение благочинного. Благочинный пригласил его к себе обедать. По выходе из церкви благочинный с женой сел в коляску.

— Папаша, я с вами! — сказала Надежда Антоновна.

— Пройдись пешком с Егором Иванычем.

Надежде Антоновне не хотелось идти пешком, и притом с женихом, но надобно было идти, потому что благочинный уехал. Егор Иваныч в первый раз шел с девушкой, и притом барышней-аристократкой. Он не знал, как занять ее. Однако он начал:

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Вы на меня не сердитесь?

— Я... за что?

— За то, что я просил вашей руки.

— Это воля папаши...

— А вы что скажете?

— Я ничего не могу сказать... Воля папаши.

— Знаете ли, Надежда Антоновна, — начал опять Егор Иваныч: — иду я вчерась вечером мимо Егорьевской церкви. Прошел два, три квартала, завернул в переулок,

смотрю, повидимому, кажется, дьячок или пономарь ругается из своего дома через улицу с какой-то бабой. «Ты, — говорит дьячок, — бесстыдница, воровка...» Та говорит: «Ты сам вор». — «Кто, говорит, я вор! подойди сюда...» Я прижался у заплота и слушаю, что дальше будет. Что же бы вы думали? Вдруг выбегает на улицу дьячок, перебегает улицу и подходит к тому окну, из которого ругалась баба. Только что он подошел к окну, как оттуда ему что-то вылили в лицо. Дьячок заругался, а стоявшие на улице люди, вероятно мещане, человек с двадцать, такой хохот подняли, что срам, да и только.

— Это у нас часто бывает.

— Ну, у нас в губернском этого сделать нельзя.

— Еще бы в губернском!

— А вы были там?

— Нет.

— А побывать не мешает.

— Что же там хорошего? Там, говорят, есть хорошего много, но, может быть, не лучше нашего.

— Там театр есть; гулянья, река. Удовольствий пропасть, только надо деньги.

— Я сколько раз просила папашу свозить меня туда, да он не соглашался.

— Там удовольствия даются только для светского общества, и поэтому ваш папаша, судя по себе, думал, что и вам там делать нечего.

— Может быть, мне и нельзя.

— Кто вам сказал? Женщина везде имеет право быть. Когда вы выйдете за меня замуж, я вас везде повожу раньше посвящения.

— А вы думаете, что я выйду за вас?

— А вам не хочется?

Надежда Антоновна посмотрела на него и сказала: «А отчего это у вас шишки на носу?» — Она захохотала.

— Это от природы.

— Как от природы?

— Таким родился.

— Вам который год?

— Мне двадцать третий.

— Неправда, вам сорок.

— У меня есть метрическое свидетельство.

Вошли в дом благочинного. Надежда Антоновна пошла в свои комнаты, а Егор Иваныч с отцом остались в зале.

Разговор пошел насчет проповедей и продолжался до обеда. В это время старик, успевший выпить две рюмки хересу, разговаривал с детьми благочинного. Он понравился детям, и они лезли к нему на колени, щипали его бороду. Надежда Антоновна толковала с сестрой Александрой. Обед прошел весело. Говорили все. Благочинный говорил что-то про отца Феодора, Марья Алексеевна про городничиху, Александра про Лизу Коровину, Егор Иваныч говорил с Павлом Ильичом и благочинным, больше отвечая на их вопросы; старик толковал детям, как он любит ловить на сеннике мух. Все были заняты, казалось, все родные, и в будущем не ожидалось никакой перемены.

После обеда все распрощались любезно. Егор Иваныч был приглашен Марьей Алексеевной на чай. Он попросил почитать книжки, ему дали книжку «Дух христианина».

Когда ушел Егор Иваныч и Злобины, благочинный спросил Надю:

— Ну, что ты скажешь: понравился ли тебе жених?

— Нет, папаша.

— Я удивляюсь, какой тебе дьявол вбил в голову разной дичи! Ну, чем он худ? Правда, он некрасив, беден, но зато умен; а дело не в красоте, а в уме. Пример ты можешь брать со Злобина... О чем вы давече толковали, как шли дорогой?

— Право, забыла.

— Послушай, Надежда, если ты будешь так отвечать мне, я откажу этому жениху, напишу ректору, что ты не хочешь идти замуж, а с тобой знаешь что сделаю?

— Воля ваша.

— Я тебя в монастырь пошлю. Слышишь!

Надежда Антоновна заплакала.

— Что, губа-то не дура!.. Выбирай одно из двух: монастырь или иди замуж. Слышишь?

— Папаша, дайте мне подумать.

— Нечего тут думать. А знай, что послезавтра будет просватанье. Сегодня будет он сюда, займи его.

Благочинный с этим словом вышел, оставив дочь в слезах.

— Ну что, Егор Иваныч, каковы дела? — спросил Егора Иваныча Андрей Филимоныч, как он пришел домой.

— Да досада страшная! Никак не могу поговорить с ней наедине. Только скажешь ей слово, то Злобин подойдет, то отец с матерью пристанут.

— Ну, когда женишься, успеешь наговориться, — заметил отец.

— Эх, тятенька, не понимаете вы, что такое женитьба...

— Ну, и врешь. Я тридцать один год прожил с женой... — Отец обиделся.

— У вас совсем был иной взгляд на женщину. Вам нужна была женщина и только, а о чувствах ее вы не заботились. Прежде на любовь так смотрели, как бык смотрит на корову.

Иван Иваныч плохо понял.

— Чего же еще тебе недостает?

— Знаете ли, тятенька: мне наперед нужно узнать от самой невесты, может ли она быть мне женой.

— А отчего же она не может?

— А если она меня не любит?

— Женишься, полюбит!

— Нет уж, тогда поздно будет. Я понимаю женитьбу так: жена моя должна быть другом мне, а никак не рабой, то есть она может иметь полную свободу во всем, и была бы моим утешителем.

— Дурак ты, Егорушко.

Егор Иваныч ничего не стал говорить больше с отцом. Он заговорил с Андреем Филимонычем на латинском языке. Старик осердился и ушел к Коровину.

— Вы, Егор Иваныч, поговорите с ней о любви.

— Неловко говорить-то. Ведь я знаком с нею только два дня.

— Как жених, вы можете поговорить. Скажите, я, мол, люблю вас. Скажите по совести, полюбили ли вы ее?

— Нет, я женюсь по необходимости.

— Отец ваш отчасти прав. Я сам женился на Аннушке для того, чтобы скорее получить место. Сначала, как

шел я смотреть невесту, меня холодом как будто обдавало; когда я увидел ее, мне стыдно стало. Она мне нравилась и не нравилась, любви настоящей не было, судя по вашему. Ну, вот прожил уж полгода, теперь полюбил. Ведь наша женитьба заключается в получении местов. Не женишься, места не получишь, а полюбишь девушку — места не найдешь.

— Да, это правда: мы женимся для местов, а о любви и дела нет. Гадко. После этого, знаете ли, что мне хочется сделать? мне хочется в светские выйти.

— Полноте вы дурачиться. Поверьте, что из тысячи браком сочетавшихся людей нашего сословия разве десять обоего пола венчаются полюбив друг друга.

— Все-таки мне хочется поговорить с ней о любви.

— Напрасный труд. Как провинциальная барышня, не читавшая того, что мы читали и поняли, она любовь понимает по-своему. Ведь вы же говорите, что вам кто-то сказал, что ей надо жениха протопопа.

— Ну, я все-таки попытаюсь узнать ее способности.

— Попробуйте. Только знайте, что вам теперь от нее отказываться поздно. Отец ее обидится, и вы, пожалуй, лишитесь места.

На другой день Егору Иванычу привелось быть наедине с Надеждой Антоновной в комнате.

— Вы, Надежда Антоновна, читаете что-нибудь? — спросил Егор Иваныч Надежду Антоновну.

— Читаю.

— Что читаете?

— Большею частию: духовные проповеди Филарета, жития святых, «Дух христианина».

— Я думаю, вы наизусть все это знаете?

— Много очень книг, всего не запомнишь.

— А наш брат целые четырнадцать лет учится всякой премудрости.

— Недаром вы и мужчины.

— И женщины могут знать всё, только, конечно, при различных условиях.

— При каких же?

— Это зависит от родителей: если родитель будет заботиться об умственных способностях девушки, сам будет проводить истинные идеи, а не старые идеи, и если он сам

умный, современный человек, то из девушки выйдет умная женщина, равная по уму мужчине. А надо вам заметить, что мужчины не все умны. Пример этот мы можем видеть в чиновниках здешнего города.

— Это точно: народ здесь такой глупый, что ужас.

— Конечно, не все глупы, есть между ними и умные, только эти умные люди скоро гибнут здесь.

— Нет; здесь ни одного умного нет.

— А муж вашей сестры, Павел Ильич?

— О, дурак набитый!..

— Полноте, пожалуйста! Я с ним говорил, мы разрешали некоторые вопросы. Он неглупый, но человек несовременный. Знаете, что такое современный человек?

— Знаю... А по-вашему, что такое?

— Нет, вы наперед скажите!

— Нет, вы!

— По-моему, человек нынешнего времени — человек, проводящий идеи настоящие, настоящего времени.

— Какие же идеи?

— Мало ли у нас идей! Идеи бывают различные. Главная идея теперь проводится — это идея правды и равенства между всеми людьми и полами, без различия. Вы знакомы с светской литературой?

— Как же.

— Что вы читали?

— Я читала «Дух христианина».

— Знаете ли вы, что такое литература?

— Вам на что? — Надежда Антоновна начинала уже сердиться.

— Все, что печатается в книгах или газетах, называется литературой. «Дух христианина» называется духовной литературой. Светская литература состоит из светских журналов или книг, выходящих каждый месяц, как то: «Библиотека для чтения» и прочее.

— Я «Библиотеку для чтения» читала.

— Что вы читали?

— Я читала какой-то роман, — забыла...

— Знаете вы, что такое роман?

— Ах, боже мой, да вам на что?.. Могу ли я знать все!

— Конечно, вы бы могли знать очень много, если бы вас обучали хорошие учителя. Вас кто обучал?

— Папаша... папаша у меня очень строг.

— Вероятно, он запрещал вам читать светские книги?

— Да!

— Это-то вот и плохо... Еще один вопрос, Надежда Антоновна: как вы понимаете слова — муж и жена?

— Какой вы неотвязчивый!.. право. Ведь вы это знаете, зачем же меня-то спрашивать?

— Видите ли, в чем дело: завтра ваше просватанье, потом скоро свадьба, и вы знаете, с кем. А так как быть женой и быть мужем — вещи важные, то нам не мешало бы прежде брака серьезно обдумать наше будущее положение.

— Что же тут думать, коли папаше так угодно?

— Стало быть, вам не хочется выйти за меня замуж?

— Нет!

— Так вот что, я так и скажу отцу благочинному, что вы не желаете быть моей женой.

Надежда Антоновна замолчала и задумалась.

— Послушайте, Надежда Антоновна, что я вам скажу: человек я честный и добрый, это знает мое начальство, иначе бы оно не выдало мне свидетельство на брак. Сюда я ехал найти невесту потому, что здесь же и мое место будет... Несмотря на то, что я беден, я бы мог найти невесту в городе, у купца или у кого-нибудь другого; но вы мне понравились, и я решился просить вашей руки у благочинного не из каких-нибудь честолюбивых видов, а именно ради вас, не из того, что вы протопопская дочь, — я бы мог жениться на пономарской дочери, — но мне хочется дать вам свободу: со мной вы будете свободны, потому что, понимая женщин, я не хочу стеснять вас. Если вы не выйдете за меня замуж, вы выйдете все-таки за какого-нибудь приезжего студента. Может быть, вы полюбите кого-нибудь здесь, что очень может быть, — то наживете себе горе, потому что ваш папаша не выдаст вас за здешнего чиновника или кого-нибудь другого... Поверьте, что все наше сословие вступает в брак так, как и я с вами хочу вступить. Ваш папаша так же женился. Злобин тоже, все здешние священники и дьякона так же женились, и так же женятся у нас, в губернском. Что вы скажете на это?

Надежда Антоновна задумалась. После проповеди Егора Иваныча она уже иначе смотрела на него: он начинал нравиться ей. Не лицо его ей нравилось, а что-то такое, что она не могла понять. Отец ее и Злобин, по уходе Егора Иваныча, долго толковали об нем, называя его умным человеком, и дивились: какие нынче молодцы выходят из семинарии. За ужином благочинный сказал ей: «Ну, Надя, я хорошего жениха нашел тебе», — и как она ни дула свои губы за эти слова, однако, подумав, пришла к тому убеждению, что лучше выйти замуж за этого: хотя он и не протопоп, но ему будет почет от отца, со временем он сам будет протопопом. И она решилась выйти за Попова замуж. Несмотря на суровый нрав отца, она все-таки уважала его, боялась, думая, что отец что скажет, то и свято, он же, в некоторых случаях, особенно добр для нее. Но все-таки ей неловко было расстаться с своим намерением выйти замуж за красивого, и ей хотелось покапризничать над ним, самой узнать: «Умен ли хоть он на сколько-нибудь?»

— Поверьте, Надежда Антоновна, я буду вам хороший муж. Буду любить вас, и у нас не будет никаких неприятностей, какие бывают почти в каждом доме.

Надежда Антоновна молчит.

— Надежда Антоновна!

— Что?

— Согласны вы за меня замуж?..

— Ах, оставьте... — Она убежала в другую комнату.

«Дура! — сказал про себя Егор Иваныч. — Она ровно ничего не смыслит, а еще протопопская дочь, — ищет себе бог знает кого».

Благочинному он ничего не сказал про свой разговор. В этот день благочинный заставил его сочинять рапорт владыке.

— Ну, как дела? — спросил Егора Иваныча отец.

— Как сажа бела. Ни тпру, ни ну. Я всяческими манерами подделывался к ней: с одной стороны начнешь речь — не понимает, с другой — скажет слово и молчит.

— Не сердится?

— Нет, в глаза смотрит.

— Хочется, значит...

— А впрочем, она, кажется, дельная, — прихвастнул Егор Иваныч.

— Ну, и слава богу, Егорушко. А я, брат, вчера у Коровина был, там и ночевал, сегодня только после обеда пришел. Ну, наделал же ты там кавардак!

— Чего им там недостает?

— Эта Лиза сердится, плачет; мать ее тоже. А сам Коровин ругает тебя всячески.

— Ну, и пусть их.

Когда пришел Андрей Филимоныч, то Егор Иваныч рассказал ему свой разговор с Надеждой Антоновной.

— Теперь вам пока надо молчать. Вы ее ничем не урезоните, она ничего не поймет; а вы начните образование ее после.

На обрученье собрались Злобины, Егор Иваныч с отцом, который напомадил свои уцелевшие волосы помадой, городничий, исправник, почтмейстер, городской голова, письмоводитель и учитель Алексеев. Надежда Антоновна была разодета и сидела с матерью, около которой сидели Поповы. После обрученья, при чем жених и невеста по приказу родителей поцеловались, вечер тянулся скучно; говорили много, но тихо; все вели себя чинно, хотя и выпивали. Даже Иван Иваныч выпивал меньше обыкновенного. Он все поддакивал Марье Алексеевне. Свадьба назначена в воскресенье.

Дни до свадьбы шли хорошо. Егор Иваныч блаженствовал, невеста уже не косилась на него. Иван Иваныч скучал и ходил к протопопу редко, потому что тот не говорил с ним.

В воскресенье утром все было готово. Судья обещался прислать двух лошадей с коляской Егору Иванычу, а исправник четыре лошади с двумя колясками для невесты, городничий тоже хотел прислать лошадей. В субботу Егор Иваныч сходил к Будрину и попросил жену его, Матрену Степановну, быть его посаженой матерью — она согласилась; также согласился быть шафером семнадцатилетний брат ее, Иван Степаныч Морозов, обучающийся в словесности.

В воскресенье Егор Иваныч не пошел к обедне. После обедни за ним прибежал Егор от благочинного. Егор

Иваныч взял напрокат у одного чиновника — знакомого очень хорошо Андрею Филимонычу — только что сшитый сюртук, брюки, жилетку, фуражку; манишки и галстуки были у Соловьевых.

— Вы готовы? — спросила его Марья Алексеевна при входе его в зал.

— Совсем.

— Смотрите, не ударьте лицом в грязь; чтобы у вас венец не спал; свечка чтобы ровно с Надиной свечкой горела.

— Хорошо. А Надежду Антоновну можно видеть?

— На что вам?

— Да нужно бы сказать кое-что.

— Скажите мне, я ей скажу.

Егору Иванычу хотелось только посмотреть на невесту, и он не думал любезничать с ней.

— Что же?

— Да нет уж, я после скажу.

Марья Алексеевна ушла. Немного погодя вошла невеста в шелковом голубом платье с кринолином, с распущенными волосами.

— Здравствуйте, Надежда Антоновна, — Егор Иваныч подошел к ней и подал руку.

— Мое почтение. Что нужно?

— Вы уж готовы?

— Да. А вы?

— Как видите.

— В этом-то? Ах, страм какой! Неужели вы в этом будете стоять со мной в церкви?

— Что же тут худого?

— Я не хочу, чтобы вы в этом венчались. Иначе я убегу из церкви.

— Дело не в этом, а я хочу спросить вас: охотой вы идете замуж или нет?

— Мне некогда, — сказала невеста и ушла.

— Вот те и раз! — сказал про себя Егор Иваныч. — Комедия не комедия, а черт знает что такое. Жаль, что я не поехал с Троицким... Ну, да была, не была — женюсь.

Благочинный наговорил Егору Иванычу очень много: что он выдает дочь единственно из уважения к ректору, и поэтому он не должен выходить из послушания благо-

чинного, как начальника и как отца невесты; что жену он должен уважать, как дочь благочинного; что она делает большую жертву, выходя за него; что отец его, Иван Иваныч, должен вести себя чинно и знать только свою комнату и к нему, благочинному, не должен соваться, иначе благочинный прогонит его, как лишнего человека; что он, если будет учителем, должен учить так, как будет приказывать благочинный, и проч. Свадьба назначена в семь часов вечера.

К семи часам вечера народ толпами валил в церковь. По распоряжению тысяцкого-головы городничим были посланы казаки, чтобы в церковь пускать только одних чиновников, а прочих гнать вон. Поэтому народа около церкви много терлось. Егор Иваныч сидел дома с своим шафером и отцом, расфранченный и надушенный. Сердце его билось. Ему почему-то страшно казалось ехать в церковь, он, пожалуй, готов был отказаться от женитьбы.

— Что, Егорушко, запечалился? не на смерть ведь готовишься, — сказал отец, тоже напомаженный.

— Тяжело, тятенька, с холостой жизнью расставаться.

— Полно глупить-то!

— Скверно, что я свою невесту не узнал хорошенько.

— Ну, не тужи...

Приехали лошади. Отец благословил сына иконой.

— Ну, с богом, Егорушко. Дай бог тебе счастья. — Старик прослезился.

Сын сел с шафером в коляску.

— Ну, с богом. Я побреду к благочинному.

— Не рано ли, тятенька?..

— Я там в саду посижу.

— Смотрите, не усните только.

У церкви была страшная давка. Лишь только подъехал Егор Иваныч к церкви, народ взволновался. «Жених, жених!» — говорили вслух.

Говорить про венчанье не стоит, потому что нет человека, который бы не был знаком с этим предметом. Невеста, одетая в белое, стояла печальная и на Егора Иваныча не глядела.

Когда муж и жена сели в карету, Егор Иваныч сказал жене:

— Вот, Надежда Антоновна, мы и обвенчались.

Жена молчит.

— Теперь уже не воротить.

Она все молчит.

— Что же вы, Надежда Антоновна, молчите?

— Что же говорить мне?

— А ведь сегодня великий для нас день.

— Может быть, для вас, но не для меня.

— Почему?..

— Так; воля папаши...

— Стало быть, вы отдаетесь мне бессознательно, единственно из уважения к вашему отцу?

— Да.

— Глупо! Но, Надежда Антоновна, ведь вы жена мне.

— Жена.

— А обязанность жены знаете?

— Неужели я стану работать на вас?

— Нет. Будете ли вы любить меня?

— Не знаю.

Егор Иваныч обнял ее и поцеловал. Жена толкнула его, сказав: «Отстаньте!»

Начался пир. Благочинный с женой веселились, гости тоже, молодые скучали, хотя и сидели рядом. Молодым нечего было говорить друг с другом, и на поздравления они отвечали поклоном или словами: «Покорно благодарим». Гости увеселялись органом и под музыку его танцевали в честь молодых, хотя благочинный терпеть не мог никаких плясок и светских песен. Больше всех веселился Иван Иваныч. Никто так не был весел, как он. Он ко всем лез.

— Что же вы-то? — обратился он к судье, показывая рукой на стол, на котором стояли вино и закуски.

— Я уже пил.

— Ах, дуй те горой! Пей, и я выпью.

— Не могу, отец дьякон.

— А я на тебя наплюю... А ты не хочешь пить за моего Егорка. А?

— Да говорят вам, пил.

Старик к другому подходит.

Андрей Филимоныч тоже скучал.

— Эх, Иван Иваныч, скучно! То ли было на моей свадьбе!

— Нельзя, вишь ты... Все знать собралась.

— А мы попляшем.

— Давай. А напредки выпьем, ведь за вино-то не деньги платить. — Выпив водки, Иван Иваныч с Андреем Филимонычем пустились плясать, припевая: «Ах вы, сени мои, сени...» Гости хохочут.

— Уж не посрамлю себя! — и старик снова пляшет.

— Иван Иваныч, ноги отшибешь! — говорит благочинный, хохоча.

— «Ты лети, лети, соколик, и высоко и далеко...» — поет старик и пляшет. Потом подходит к сыну и целует его.

— Ах ты, золото мое!

— Ах ты, пушечка моя! — целует он молодую: — кралечка! Вырасти-ко экова сына — вырасти, матка... — И он не знает, какую любезность сказать молодой.

Через час Иван Иваныч скрылся. Об нем так и позабыли. Гости разошлись. Молодых повели спать. Смотрят, Иван Иваныч спит на полу около кровати, свернувшись кренделем, и подушки нет.

— Ах, бесстыдник какой! — сказал один шафер.

— Невежа! — сказала молодая.

— Тятенька, пойдемте в другую комнату, — сказал сконфуженный Егор Иваныч.

— Зачем?

— Здесь наша спальня.

— А я что? Я разве не отец тебе?

— Тятенька, уйдите, мне спать хочется.

— Экая фря... А я хочу здесь остаться.

Вошел благочинный.

— Иван Иваныч!

Старик ушел спать в сад.

. . . .

Есть, впрочем, счастливцы, которые блаженствуют хотя в первые дни супружества, женившись и вышедши замуж, — вроде Егора Иваныча и Надежды Антоновны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Столешинске Егор Иваныч прожил с женой целый месяц. Благочинный уступил ему на время три комнаты в своем доме, а Ивану Иванычу отдали прихожую к этим комнатам, но он в ней не жил, а устроился в первой комнате, рядом с прихожей. Отношения молодых были такие, что со стороны можно было думать, что они живут как знакомые и что каждому чего-то недостает. Егор Иваныч мучился с женой, стараясь развить ее на сколько-нибудь, допытываясь, любит она его или нет; говорил ей любезности, как умел; жена только говорила: «Отстань, бесстыдник» — и пр., или: «Я мамаше пожалуюсь». Вставали они поздно; пили чай все вместе, то есть с благочинным, женой его и Иваном Иванычем; потом благочинный поручал ему перебрать разные бумаги или прочитать донесения, сочинить предписания, рапорты. За обедом сходились все, после обеда спали, потом чай, после чаю какие-нибудь разговоры, касающиеся семейной жизни, потом ужин и ложились спать. Надежда Антоновна большую часть дня проводила с матерью или в своей комнате. С матерью она что-нибудь перебирала, что-нибудь говорила; в своей комнате сидела или лежала, о чем-то думая. Егору Иванычу хотелось дать ей какую-нибудь работу, чтобы она не скучала, но он никакой работы не мог приискать ей, да она и не хотела ничего делать. Достал он и светских книг ей, она возьмет книгу, начнет читать и положит. Стал Егор Иваныч сам читать книги вслух; она или дремлет, или спросит его о каком-нибудь постороннем предмете, или уйдет. Егор Иваныч скучал, скучал более оттого, что не умел говорить, не знал, как развлечь жену; он даже шутить не умел. Пойдут они гулять по городу, говорить нечего, и ходят молча. Придет Злобин или жена его, и тут не весело. Злобин хочет показаться умным, спорит; Егор Иваныч находит, что он человек отсталый и ему не пара; жена его сплетничает и наказывает Надежде Антоновне, как нужно обращаться с мужем, то есть не уважать его. Егор Иваныч пробуждался рано. Пробудится он, жена спит. Он полежит и пойдет к отцу, который сидит на улице у ворот. Поговорит с ним и пойдет в спальню, жена все спит. Поспел чай, он разбудит жену, она говорит: «не хочу» — и опять спит. Вста-

нет она поздно и просит чаю; если чай не готов, она сердится на мужа: отчего нет чаю теперь.

— Да ведь я же будил тебя!

— Мало ли что будил; я хочу теперь пить.

— Самовар поставлен.

— А я не хочу дожидаться. — И не станет пить и капризится целый день. Хотел Егор Иваныч проучить ее, то есть лишить чаю на целый день, но ему жалко было жены. «Пусть покрасуется, надоест», — думал он. Надежда Антоновна жила барыней и ровно ничего не делала. Скажет ей Егор Иваныч:

— Надежда Антоновна, вам скучно?

Она молчит.

— Надежда Антоновна!

— Да что вы пристали ко мне?

— Зачем же вы вышли за меня замуж?

— Зачем вы сватались?

— Вы бы могли отказаться, тем более что я вас раньше спрашивал: охотой ли вы выходите за меня? Мало ли что ваш папаша приказывает вам.

Надежда Антоновна начинает плакать.

— Об чем же вы плачете?

— Отстаньте, Егор Иваныч. Уйдите!

Егор Иваныч отойдет от жены и смотрит на нее.

— Надежда Антоновна, разойдемтесь на время.

— Как разойдемся?

— Вы спите в спальной, а я здесь. Мы не будем сходиться к обеду, чаю и ужину, не будем видеться друг с другом.

— Зачем? — она опять плачет.

— Наденька! Зачем ты плачешь? — а дальше не знает, что сказать ей.

Раз Егор Иваныч подслушал разговор жены с матерью.

— Ну, Надя, каков твой муженек?

— Урод, мамаша.

— Полно, Надя. Он смирный такой; он уважает тебя.

— Он все по-своему хочет делать. Никакого покоя нет от него.

Мать за обедом напустилась на Егора Иваныча:

— Мы, Егор Иваныч, не для того отдали вам свою дочь, чтобы вы ее мучили.

— Я Наденьку не мучу. Надежда Антоновна, чем же я мучу вас?

— Всем вы меня мучите.

— Смотри, Егор Иваныч, чтобы это было в последний раз! Слышишь? — сказал строго благочинный. Егор Иваныч не мог оправдаться и не стал трогать жену.

Наконец нужно было ехать в губернский. Егор Иваныч стал звать с собой жену, она не соглашается ехать. Однако, по резонам и приказу отца, согласилась. Благочинный написал два письма, одно к ректору, в котором он благодарил за Попова, а другое секретарю консистории, в котором просил, чтобы Егора Иваныча поскорее отправили в Столешинск. Благочинный дал Егору Иванычу рясу, подрясник, шляпу и сто рублей деньгами и наказал, как нужно вести там дела, также дал Егору Иванычу свою повозку, и они, то есть Егор Иваныч с женой и отцом, отправились в губернский город.

Летом в губернском городе у мещан квартиры стоят пустые, потому что семинаристы уезжают к отцам, а других постояльцев не находится, вероятно потому, что эти комнаты слишком нехороши. Квартиры занимаются семинаристами в первых числах сентября, а так как Егор Иваныч приехал уже в конце сентября, то его квартира была отдана двум философам. Троицкий, как сказал хозяин, уехал в какой-то университет, и его комната тогда была отдана под постой семинаристов. Егор Иваныч нашел квартиру рядом, у мещанина Удавина, Василья Михайлыча. Он нанял на месяц за четыре рубля две комнаты. Надежде Антоновне квартира эта показалась слишком грязною.

— Я, Егор Иваныч, не могу жить в такой берлоге.

— Ничего, Наденька. Другие квартиры слишком дороги, а здесь мы проживем не больше как недели две.

— Лучше дороже заплатить, чем в этой жить.

— Надо, матушка, деньги беречь: здесь расходов много будет.

Сколько ни ворчала жена, а Егор Иваныч не переменил-таки квартиры.

На другой день Егор Иваныч отправился в семинарское правление. Письмоводитель Василий Кондратьевич сказал, что ректор переведен в другую семинарию и назад тому пять дней уехал.

— Куда уехал Троицкий?

— Он уехал с Кротковыми в Петербург. Старший Кротков в медицинскую академию хочет попасть, а младший в духовную. Один только Троицкий в университет хочет.

— А где живет секретарь Крюков? — Василий Кондратьич рассказал.

Секретарь, прочитав письмо благочинного со вложением нескольких ассигнаций, любезно принял Егора Иваныча.

— Не беспокойтесь, Егор Иваныч, теперь все будет зависеть от меня. Завтра я пойду к преосвященному и доложу об вас. А как только посвятят вас в священники, я тотчас же велю написать указ, и этот указ вы можете с собой взять. Да! Антон Иваныч прислал сюда рапорт, и при нем прошение Полуектова, священника Егорьевской церкви. Полуектов просит, чтобы его перевели в Знаменскую церковь, а ваш тесть — чтобы вас назначили в Егорьевскую. В Егорьевской вы будете один священник.

— Да, мне Антон Иваныч советовал.

— Я завтра скажу преосвященному. А вы все-таки к нему завтра явитесь.

На другой день Егор Иваныч явился к преосвященному.

— Что тебе надо?

— Я Попов.

— Место просишь?

— Я, ваше высокопреосвященство, тот самый Попов, которого рекомендовал вашему высокопреосвященству отец ректор.

— А, я и забыл. Женился?

— Точно так.

— На ком?

— На дочери благочинного Тюленева.

— Хорошо. Кто в нынешнее воскресенье назначен к посвящению? — спросил преосвященный письмоводителя.

— Диакон Егоров во иереи и кончивший курс семинарии Крестовоздвиженский во диаконы.

— А в покров?

— Кончивший курс семинарии Карионов во диаконы.

— В следующее воскресенье за покровом назначить Попова.

— Слушаю-с.

— Ты будешь посвящен через две недели.

Эти две недели прошли скучно для мужа и жены. Главное, у них ни в чем не было согласия: захочет Егор Иваныч купить чего-нибудь, жена денег не дает, позовет ли он жену пройтись, она нейдет: мне неловко, совестно, говорит она. Егор Иваныч почти каждый день ходил то в семинарию, то к своим товарищам; товарищи поздравляли его с женитьбой и с получением места, просили водки; он покупал; ходили к нему первую неделю, пили, целовались, кричали и пели, жена сердилась.

— Что это, Егор Иваныч, за сумасброды такие! Зачем это они ходят сюда? — говорит Надежда Антоновна мужу после гостей.

— Это мои товарищи.

— Хороши товарищи!

— Это всё умные люди.

— А я не хочу, чтобы они ходили к нам. Если они будут ходить, я уеду к папаше.

Егор Иваныч никак не мог уговорить жену, чтобы товарищи его ходили к нему хотя так, поговорить. Она ни за что не соглашалась, и семинаристы не стали ходить к нему.

Егор Иваныч все-таки находил развлечение, но Надежде Антоновне не было никакого развлечения. Встанет она поздно, спросит самовар у Егора Иваныча, Егор Иваныч сам принесет самовар, за чаем разговаривают или о посвящении, или о городе, вспоминают Тюленева, после чаю она сидит дома, больше одна, скучает. Придет хозяйка, заговорит что-нибудь, Надежде Антоновне тошно слушать хозяйку. После обеда спит, там чай, опять скука после чаю. Она теперь скучала даже, что нет долго Егора Иваныча.

— Как ты, Егор Иваныч, долго. Я ждала, ждала... скука такая, что не приведи бог.

После этого Егор Иваныч просиживал с ней целый день; полдня она была веселая, остальное время скучала.

— Надя, пойдем в театр, — сказал Егор Иваныч однажды вечером.

— Зачем?

— Там ты людей посмотришь. Богатых людей увидишь, главное, ты увидишь, как изображают жизнь.

— Можно ли нам?

— Теперь можно еще.

— Пожалуй.

Они пошли в амфитеатр. Играли какую-то комедию. Надежде Антоновне все понравилось в театре: и музыка, и люди, и представление.

— Ну что, Надежда Антоновна, хорошо?

— Хорошо, Егор Иваныч.

— Мы часто будем ходить.

И стали они ходить в театр. Теперь она начинала любить Егора Иваныча.

Наступил четверг. Егор Иваныч пошел к преосвященному. Он благословил Егора Иваныча, велел ему сходить к эконому и протодиакону, чтобы те приготовили его к посвящению, а накануне посвящения прочитать за всенощной шестопсалмие.

Эконом сказал Егору Иванычу, чтобы он пришел к нему для исповеди в субботу, а протодиакон дал записку, на которой написано было, что ему делать при посвящении.

— Вы, Егор Иваныч, не робейте. Закусочку только хорошую сделайте.

— Подрясник надевать или нет, отец протодиакон?

— Нет, можно и так. Впрочем, утром, после молитв, можете надеть подрясник.

Егор Иваныч радуется и боится, что его будут посвящать при народе. Жена тоже радуется и не верит.

— Ты, поди, все обманываешь? — говорила она.

— Нет, Надя, скоро.. Все сердце издрожало. — Он чуть было не сказал, что оно не дрожало так перед свадьбой.

— Не тужи, Егорушко, бог не без милости, — заметил отец.

После посвящения в дьяконы и священники Егор Иваныч делал обеды. На последнем обеде у него народу было много. Тут были и кафедральные священники и дьякона разных церквей, секретарь и столоначальник консистории Попов. Веселились и пили много. Иван Иваныч плясал и целовал то Егора Иваныча, то Надежду Антоновну.

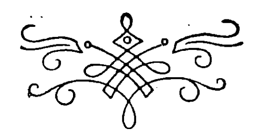
Надежда Антоновна тогда была весела, несмотря на буйство гостей.

Егор Иваныч ходил по городу уже в рясе и в очках.

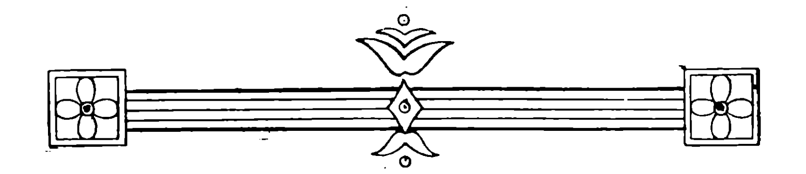
Жена его долго смеялась над очками, но потом привыкла к физиономии Егора Иваныча, который очень важничал в своем наряде.

— Вот, Надя, и я священник.

Жена говорила только: «Да».



ОЧЕРКИ
И РАССКАЗЫ



Из цикла „Добрые люди“

НИКОЛА ЗНАМЕНСКИЙ

РАССКАЗ ДОКТОРА

...Прежде всего я должен сказать вам, господа, что Никола Знаменский, мой достоуважаемый родитель, вовсе не выдумка, но лицо действительное. Я знаю, что всякий из вас скажет, что этот рассказ небывальщина и в настоящее время пошлая вещь; но я вас предупреждаю: многие из вас таких людей, может быть, не видали, да и по одной наружности нельзя судить о человеке. Мне, изъездившему и прожившему в разных захолустьях разных северных губерний, приводилось видеть и после смерти моего отца людей покрасивее его. А надо вам заметить, что мой отец умер, кажется... кажется, назад тому лет тридцать. Знаю я также, что многие из вас вовсе не бывали в наших северных губерниях и не имеют никакого понятия о тамошнем климате и жителях. Когда я, по окончании курса в семинарии, поступил в академию, то над моей походкой и произношением долго смеялись товарищи, удивляясь в то же время моему телосложению и силе. Да! та ли еще была бы у меня сила, если бы я был Никола Знаменский... И самому мне, когда я вспомню прошлое, особливо сельскую жизнь, как будто не верится, а между тем такие люди были, и люди эти честные, добрые, но устроившиеся под влиянием забиенной среды. Когда я прежде, бывши мальчишкой, вспоминал отца, мне смешно казалось. Даже раз я за обедом вдруг захохотал, что удивило инспектора и за что я получил хорошую кашу из березы. Но теперь я думаю так, что отец нисколько не

был виноват в том, что на наш взгляд был смешон; я был бы в тысячу раз виноватее его, если бы последовал его примеру. Впрочем, обо мне начальство позаботилось.

Родитель мой, по бумагам благочинного, назывался «иерей Николай Сидоров Попов», а в деревнях, в Знаменском селе, Березовского уезда, Холодной губернии, назывался Никола Знаменский, так же как и дед мой, вероятно потому, что в селе нашем была Знаменская церковь. От этого при поступлении моем и брата моего Ивана в семинарию вышло недоразумение, потому что отец мой никак не хотел согласиться, что он Попов. Когда ему говорили: да ведь ты Попов? — он говорил: «Знамо поп, а парнишки што за попы? Эк, како слово сказано...» Так меня назвали Поповым, а брата Ивана — Знаменским. Он и на бумагах подписывался просто: *поп Никола Знаменский,* на что, впрочем, благочинным мало обращалось внимания.

Лицом, походкой, одеждой и словами мой родитель нисколько не отличался от крестьян Березовского уезда. Лицо у него было желтое, глаза большие, с большими рыжими бровями, которые росли в разные стороны и потому придавали лицу угрожающий вид; нос широкий, а когда он хохотал, то ноздри делались очень широки, оттопыриваясь кверху; борода и волосы на голове были пепельного цвета, большие, как у крестьян, и никогда не чесались. Отец мой не любил больших волос и всегда смеялся над теми, которые носили косички: «черт — не черт, чучело — не чучело...» — говорил он и плевал в сторону. Роста он был среднего, но мужчина здоровенный; говорил басом, и его пьяного далеко было слышно. У него была только одна ряса из зеленого сукна, доставшаяся ему от тестя. Эту рясу он надевал только в пасху, в троицу, в николин день, в рождество да когда ездил в город к благочинному, а в остальное время она висела в чуланчике, где крысы порядочно ее портили каждый год, и моей матери, забывавшей о ней в обыкновенное время, было не мало хлопот законопатить ее, что она исправляла посредством холста или просто тряпок. Носил он лапти собственного изделия и крестьянскую шапку, сшитую из бараньей шкуры с шерстью, и эта шапка, ношенная им не один десяток лет, была очень тяжела от починивания и была ему очень дорога. Другого одеяния на ноги и на голову отец не имел.

Зимой и летом он носил длинный полушубок, состоящий из телячьей, овечьей и козлиной шкур с шерстью, с тою разницею, что зимой шерсть была внутри, а летом снаружи. Этот полушубок был ужасно тяжел для нас, восьмилетних мальчуганов, и мы удивлялись, как это отец может носить такую тяжесть. Был у него и коричневый армяк, но он был отцу дороже рясы и надевался очень редко.

По этим описаниям вы можете представить фигуру моего отца. Но этого мало: отец никогда не снимал с себя портретов, никогда не рисовался, а постоянно хлопотал. Представляйте себе его сидящего в кабаке, в полушубке, опоясанном веревкой из лыка, с рукавицами или без рукавиц, в лаптях, с перевязанными до колен штанинами лычной бечевочкой, и рассуждающим с мужиками о разных разностях, а преимущественно о ловле зверей и птиц; или представляйте его отправляющимся с дьячком Сергунькой в лес в такой же одежде, только у отца на спине болтается мешок с хлебом, солью и ножиком, в правой руке чугунный лом, которым он подпирался как палкой, а за веревку, опоясывавшую полушубок, вдет топор с топорищем — это он идет бить медведей; или идет отец с Сергунькой, концы толстой палки у того и у другого на плечах, и на этой палке висит убитый медведь, лом затянут за веревку, топор затянут за опояску дьячка Сергуньки; представляйте его, пожалуй, ругающимся с мужиками или звонящим в колокола на соборной колокольне в губернском городе Холоде, вместе с дьячком Сергунькой... Но все-таки имейте в виду то, что он умер назад тому тридцать лет.

Уезд, в котором жил мой отец, один из самых бедных в Холодной губернии, каких уездов еще очень много в других губерниях, а народ и теперь еще там *дикий*. Хлеб от холода не растет. Поэтому крестьяне занимаются звериным промыслом и зверей продают в ближайшем городе Березове купцам, которые так ловко надувают простаков, что они всю жизнь не могут выйти из кабалы и долгов купцам. Например, крестьянин привозит к купцу лося, купец дает за лося четвертак или пуд ржаного хлеба и просит крестьянина привезти ему двух оленей. За это он дает крестьянину вперед еще пуд муки. Крестьянин три месяца гоняется за оленями и, привезши оленей или их шкуры, получает от купца выговор, что не исполнил

поручения в срок; а так как крестьянину нужен хлеб, то он исполняет на купца за пуд муки какую-нибудь работу, например работает в кожевенном заводе. Или, из-за хлеба крестьяне нанимаются рубить лес для березовского купца и этот лес весной сплавить по реке Бурой к такому-то месту. Купец подряжает знаменского старосту или состоятельного крестьянина так: за пятерик дров дает ему рубль, за десять бревен полтинник, а этот крестьянин подряжает крестьян уже на свой счет и дает половину. За сплав летом купец давал одному человеку восемь или пять рублей, если больше пятисот верст, а подрядчик половину. Но часто бывали несчастия такого рода, что от прибыли воды дрова и бревна уносило водой или разбивало плоты в бури, и тогда крестьяне становились рабочими подрядчика на всю жизнь, так же как и подрядчик купцу. Другие жители пробиваются тем, что продают в Березове кадки, масло, яйца, телят и т. п. — с большими убытками, потому что в город наезжает всегда в базарные дни много бедных крестьян, у которых горожане всегда покупают с бесстыдным выторговыванием.

В нашем Знаменском селе в то время, когда мне был восьмой год от роду, было двадцать домов, в которых жило двадцать пять мужчин, пятьдесят девять женщин и пятьдесят один человек молодого поколения. Мужчин сравнительно с женщинами было мало потому, что они жили в разных местах на заработках. Это население впоследствии постоянно убывало, и теперь, когда я был там в прошлом году, там состоит на лицо только восемь домов с тридцатью человеками всяких возрастов. Причина этому та, что люди в голодные годы мешали в муку кору или ели одну кору, хворали и умирали, а иные разошлись на работы в другие места. Жители при мне были крещеные и некрещеные: к первым пранадлежали православные государственные крестьяне, которых было только шесть семейств; а ко вторым — тептери и черемисы; из них было, впрочем, несколько и крещеных, но они все-таки по-своему молились своим богам; у них были свои обряды, свои понятия.

Само собою разумеется, отца нельзя назвать развитым человеком, потому что все его способности тратились на то, как бы ему угодить благочинному, убить медведя, настрелять глухарей, как бы достать больше

хлеба и как бы лучше обругать дьячка Сергуньку или сделать так, чтобы Сергунька и все люди повыше его не ругали его. Раз он, хмельной, пьяному Сергуньке обрезал косу за то, что тот упрекнул его тем, что он в лесу с дороги сбился.

Отец мой, как я вам уже говорил раньше, был здоровенный мужчина. И было от чего! Возня с медведями, которых он любил больше всего на свете, подвижная жизнь — придавали ему бодрости и силы: он никогда не хварывал, не жаловался на слабость зрения, пил пиво и брагу целыми жбанами, ел за трех, спал подолгу и так крепко, что его трудно было разбудить. Один раз он, хмельной, за что-то избил восемь черемисов, и все черемисы нашего прихода боялись «знаменского Микулы».

Отец его был дьячком в том же селе, обучавшийся чтению и письму дома и неизвестно каким образом сделавшийся дьячком и как справлявший службу. У этого дьячка, моего деда, которого, однако, мне не привелось видеть, было два сына: Николай, мой отец, и Семен, да еще дочь Матрена. Они кое-как выучились писать и читать по-церковному у священника, и на этом закончилось их образование. Когда умер мой дед, отца сделали на его место дьячком.

Вот что говорил об этом назначении Никола Знаменский своим приятелям:

— Сеньке в та поры, кажись, было двадцать первой али двадцать два года, а мне пошел десятнадцатый (то есть — двадцатый), не помню... Сорви-голова был этот парнишко! Ну, вот, теперича, как есть помню... Сидим мы за столом на поминках; поп Олексей и бает: «А кто, бает, из вас теперича, робята, дьячком хочет сделаться?..» Ну, а нам, мне да брату, обоим хотелось дьячками быть, потому, сам знаешь, подати с дьячков не просят, жизнь легкая, а што насчет оранья — наше дело: заорем так-то ли што... Поп Олексей и бает: двоим негоже, одному нужно... Ну и велел ехать мне да брату в город, к самому благочинному, и грамотку обещал дать — это к благочинному, знаешь... Ну, поехали. Я да брат по лукошку яиц взяли, ругаться стали дорогой. Сенька бает: ты, бает, чупарый, тебя не сделают, а меня, бает, сделают, потому у меня, бает, в лукошке два ста десятнадцать два яйца, а у тебя только два ста... Ну, пришли к благочинному,

рыжий такой, просто разодет так, что и не бай! «Што?» — спрашивает это нас... Так и так, баю; а я, нужды нет, што Сенька был сорви-голова, а я все-таки был не в пример бойчае его. «Вот те, баю, грамотки от нашего попа Олексея, дьячком велел тебе меня сделать. За это я тебе, батшко благочинный, лукошко яиц привез». Смешно ему што-то стало. А Сенька как взглянет на меня по-коровьи и скажет благочинному: «Врет Миколка. Я два ста десятнадцать два яйца привез, а он только два ста...» — Ладно, бает благочинный. Ну, и заставил он нас читать — прочитали гоже; петь заставил, а я по-церковно-т немного смыслил... Благочинный и бает: ты, бает, петь не умеешь, а тоже в дьячки суешься. Ну да, бает, ладно: будь дьячком в селе, а ты, бает брату, останься в городе, я тебя в собор поставлю. Я, бает, отпишу к архирею и скажу, колды тебе приезжать постригаться... Ладно, думаю, и диво меня взяло: за што это волосы стричь? Не дам. На што из-за этого с попом Олексеем дома подрался маленько... Пошли мы с Сенькой в кабак, Сенька дразнится: што, бает, я в город, а ты в село... Ладно, баю, в городе медведев нет, а ты меня хоть зарежь, не пойду в город. Потом он стал калякать: я, бает, теперь старше тебя, начальство... За это слово я его больно хотел побить, да на радостях прощанье сотворил.

Город от нашего села был в пятидесяти верстах, и туда отец ездил часто с зверями, птицами и рыбой, которые он продавал одному купцу, или, проще, получал от купца муку, крупу, соль и порох с дробью. Дядя Семен, проживши в городе год, значительно пообтерся: носил суконный подрясник, сапоги, помахивал своей головой и косичками, за что отец стал называть его пучеглазым чертом. На другой год дядя женился на некрасивой причетниковской дочери и поселился в доме тестя, который, кроме жены, имел еще трех дочерей, ужасно глупых женщин, которых мой отец не мог терпеть и называл кикиморами. Особенно он ненавидел их за то, что они называли его неучем, сельским дьячком; а со стороны он слышал, что они называют его колдуном, потому что он будто бы посадил им по киле; у них было по грыже под подбородком — местная болезнь, происходящая там и теперь от нечистоты и влияния климата.

Церковь в Знаменском селе была открыта при моем дедушке с целью обращения язычников в христианство. Первый священник был молодой, ученый настолько, насколько в то давнишнее время можно было ожидать от человека; но народ не понимал его слов и в церковь не ходил, и он, промаявшись в селе кое-как год, уехал в другое место. После него священником был отец Алексей, при котором мой отец сделался дьячком; он был старик и скоро умер, а на место его приехал отец Василий Здвиженский из Рязанской губернии, где он был дьяконом на причетническом окладе. Он думал, что в нашем краю жить хорошо, но ошибся.

Вот что рассказывал про него мой отец.

— Первым делом поп Василий остановился со своей женой и дочерью Настькой у меня и стал думать, как бы ему дом выстроить, да большой, в пять горниц... Ну, потом и бает мне: поди-ко завтра — кличь крестьян в церковь. «Зачем?» баю. «А по то, бает, нужно...» А сам бает не по-нашему, а инако, смешно, подковыриват как-то... Ну, утром я и скликал всех. Пришли... Ладно. А поп обедню служит. Тожно вышел на амвон и бает што-то по бумажке. Поглядели на него мужики да бабы — и драло. Поп догадался. В другоредь велел мне двери запереть, да народу-то пришло помене, куды как мало, больше ребятенки... Вышел опять поп и стал по бумажке сказывать, изгиляется, и голос другой... Уж как это он изгилялся! и рукам, и ногам, и головой... Ребятенки хохочут, а я им грожу; не способился; не одного за волосы отвозил. А кои постарше были, те пошли к дверям, а я не пущаю и баю: поп не велит пущать, ему кланяйтесь. Ну, да они меня боялись... Так поп ничего и не сделал. А с этих пор ни один мужик и ни одна баба не стали ходить в церковь... Только ребятенки и бегали по малости. Ну, поп-то был придурай тожно: пошто, бает, риза холщовая, надо серебряную — стал сбор с мужиков делать, а у тех и самих-то шиш. Надо, бает, старосту церковного — выбрали первого, што есть, во всем мире плута... Ну, мужики и не залюбили ево, прятаться стали от него. Ну, да он и не больно-то ласков был: брезговал мною. Ну, стал поп жаловаться благочинному, да ничего не взял: потому, благочинного нужно поблагодарить, а у попа шиш; попу мужики ничего не дают... Вот мой поп

и рассердись на благочинного и поезжай в губерню к архирею, а тот на него осердился: стричь, бает, больно буду... С тех пор поп славный стал и мужикам полюбился, стал со мной в лес ходить на промыслы, и попивали мы с ним пиво и водку, как ни один мужик не пивал... А то, когда найдет на моего попа *благой стих,* позовет меня да старосту, и пойдем служить обедню: я часы кое-как прочитаю, он ектенью скажет через *два в третий,* евангелие прочитает, «иже херувимы» пропоем... Он придурай, што ли, был — не знаю: как я запою: *отложим попечение*... он и плачет и плачет — што есть, жалко его... Я и баю: чево ты нюни-то распустил. Вылезай, баю... Ладно, што людев-то не было, окромя старосты, да и тот едва мизюкает (дремлет)... А поп через три года, как в село приехал, половину-то обедни позабыл, а книжки одново раза подлецы черемисы, со всеми иконами, ризой, поповской рясой, коя в алтаре висела, и сосудами, растащили, и виновных не нашли...

Захотелось отцу жениться на поповской дочери. В это время поп жил уже в своем доме.

— Красивая была эта Настька в та поры, — рассказывал отец. — Ну, да это што... А то мне любо, што не скалила так зубы, как городские девки; девка, одно слово, работящая. Ну, вот я и пристал к попу Василью: «Отдай, баю, Настьку за меня!» Поп и бает: «Ты и пальчика, што есть, ее не стоишь». — «Врешь, баю. Без меня, баю, ты бы кору глодал да пальчики облизывал. А я тебя стрелять научил. Отдай Настьку, не то плохо будет». — «Я, бает, за попа отдам». Ну, а я в та поры баской был, и Настька со мной ласкова была...

Жена священника скоро заметила, что ласки ее дочери зашли уже очень далеко, и это привело ее в отчаяние, а священника в ярость... Священник как-то был хмелен, обрезал дочери волосы, прибил и выгнал ее; дочь убежала к отцу, а у того в это время был уже свой дом, заключавший в себе одну избу.

— Пошел я к попу, — говорил отец: — топор для страха взял. Прихожу к нему, он жену за косы теребит. Вот я как крикну: видишь это! и показал ему топор; у попа руки опустились и язык высунулся. А жена его выбежала

на улку и кричит: «Ой, попа режут! ой, попа режут!» А я тем временем схватил попа и кричу: «Коли Настьку за меня не отдашь, косички твои обрублю»... Поп испугался и кричит: «Отдам! отдам!» — «Врешь?» баю. «Вот те Христос!» бает. Ну, и начали же мы плясать с ним! Народ было собрался в избу, да мы его брагой угостили. А Настьку, как следует по божьему закону, я к отцу привел и наказал до свадьбы не обижать ее, а то, ей-богу, мол, косу обрублю и попу и попадье.

Мой отец долго вспоминал про свою свадьбу.

— Уж так-то мы всем селом тешились — и не говори! В первый день восемь корчаг пива, да шесть корчаг браги, да полведра вина высосали... Всю посуду, какая у попа была, перебили... А уж што это сажей лицо ему мазали, и не говори!.. Пляски были — страсть. Уж нигде не было и не бывать такой свадьбе, какая была у Миколки Знаменского!..

Тетка Матрена вскоре после этой свадьбы вышла замуж за городского дьякона, а так как отец любил компанию, то он, сломав свою избу, пристроился к дому попа, так что из двух домов образовался, по внутреннему устройству, один дом, потому что из кухни попа были двери в избу отца.

Прошло три года после этого. У отца было уже два сына, Иван и я, Николай. После нас еще рождались дети, да умирали.

Отец очень хвалился крестинами:

— Уж я николды так не рявкал, как на Ванькиных крестинах! Уж я эту «верую» лучше всех откатал, а пел так баско, что опасался того и придумать не мог: на какой это я манер пел толды? На што жена нездорова была, и та хихикала от радости и баяла: экой ты у меня петушок... А как у меня другой сын родился, поп и я хмельные больно были. Поп и дает ему свое имя... «Нет, баю, поп, давай мое!» — «Нет, бает, не хочу». — «А ты, баю, своего парня наживай и давай ему свое имя, а этова парнишку я сам назову...» Так поп ничего и не сделал со мной. Сперва было учнул сказывать: крещается раб божий Василий, да я крикнул: не Васька, а Колька! Колька в отца пойдет. Ну, значит, Колька у меня и сделался. После было хотел я это имя дать Ваньке, а Ванькино Кольке, да поп метрики услал к благочинному.

Вскоре после моих крестин умер и знаменский священник: он объелся грибов. Отец сильно запечалился, как он говорил. Он жил дружно с священником, и священник в ссорах всегда уступал отцу. Привез отец из города благочинного, который в наше село никогда дотоле не заглядывал. Подивился благочинный тому, что в селе церковь деревянная, похожая на часовню, нет колокола, образов всего только восемь, риза одна холщовая. Стал благочинный служить обедню с соборным городским дьяконом: на клиросе пели мой отец и дядя, только дядя службу знал хорошо и больше заставлял отца молчать, что отцу очень не нравилось. Церковь была полна народа, сошедшегося больше из любопытства. После похорон, за обедом, отец стал просить благочинного сделать его попом.

— Да ты, что есть, и часы читать не умеешь, — сказал благочинный.

— Умею... А уж я тебе как много буду благодарен, — и поклонился отец в ноги благочинному: а это нравилось благочинному.

— Ну, приезжай в город; брат поучит тебя.

— Брат! Да я ему все волосы выдергаю... Штоб ему меня учить! — горячился отец. Дядя стал подсмеиваться над отцом, а когда теща отца дала благочинному тридцать рублей на ассигнации и благочинный сказал отцу: ты будь в надежде — все сделаю, — то дядя сказал благочинному: вы неправильно это, не по закону...

— Што? — спросил сердито благочинный.

— Это место по закону мне следовает.

— Ишь, какой забияка! Так вот те приказ: быть у брата в дьячках.

— Упаси меня мать пресвята богородица, штобы я с таким лешаком да в одном селе стал жить! — закричал отец.

Когда благочинный лег спать, то дядя подошел к отцу и, сказав ему: «подлец!», вдруг ударил его по лицу. Это отца привело в ярость, но он сдержался и вытолкал дядю на улицу, сказав: хоть хуже тебя буду, а знаться с тобой не хочу после этой оказии.

С той поры отец не мог без злобы говорить о брате, и между братьями была во всю жизнь такая вражда, что когда отец в городе попадался навстречу брату, тот плевал чуть не в лицо отцу и обходил его стороной, а отец

пугал его кулаками. Семейства отца и дяди не кланялись друг другу и всегда со злобой рассуждали друг про друга. Тетку Матрену тоже довели до того, что она перестала ходить к дяде, а соборный дьякон, муж тетки, так давил его, что он принужден был переехать в горный завод, где он женился и умер на сорок пятом году дьяконом.

Месяца через два после смерти знаменского священника потребовали отца в город Подгорск, отстоящий от Березова в ста верстах. Благочинный сказал отцу, что его требует архиерей на посвящение его в священники. Отец очень обрадовался этому, поклонился в ноги благочинному и два дня брал уроки у мужа тетки, но запомнил очень немного. Он никогда не видел архиерея, и его ужасно пугало то, как он предстанет перед такое лицо. Съездил он в село за рясой, забрал все деньги, какие у него были, взял с собой лукошко яиц, кадушку с топленым маслом и поехал в Подгорск, о котором он знал по слухам.

Воротился он домой через месяц и вот что рассказывал нам и чем хвастался всю жизнь.

— Из Березова в Подгорск поехали со мной один кутейник, востроглазый такой парень, да еще какой-то поп. Смеются они надо мной, зачем на мне армяк надет, шапка мужицкая и лапти... Ну, да я их пугнул. Всю дорогу они пугали меня архиреем, а у меня у самово все нутро всю дорогу ворочало так больно, так больно... Потом, как приехали в этот Подгорск, я диву дался: город больше Березова, а церквей сколько!.. А я допрежь думал, — только на свете и есть один город Березов... Кутейник позвал меня к себе, ну, я и поехал, а у него в горнице пятеро кутейников было да один дьякон какой-то. Тут я с ними баско назюзился, потому они мне понравились, и вино у них лучше березовского. А утром меня растолкали: архирей приехал; иди, покажись ему... Баяли, как он приехал ночью, во все колокола звонили. Ну, просто душа в пятки ушла! Стал запрягать лошадь, так не велят. Взял кадушку масла да лукошко яиц, забранили: «Он те, бают, даст за это...» Однако, я таки понес, а он жил у тамошнего благочинного. Ну, просто душа в пятки ушла! Полезаю в избу: «А где, баю, владыко?..» А меня уж научили, как архирея называть, только я первое-то слово

не мог выговорить. — Ну, там спросы пошли, хохотали сколь надо мной. Поди, бают, к набольшому дьякону, и дорогу показали. Я пошел... Сердитый такой, хайло у него побольше моево... «Што, бает, тебе?» — «Я, баю: Никола Знаменский». — «Кто?» спрашивает. Кое-как растолковались... «Отчево, бает, ты без рясы?» Я баю: «А пошто ряса?» Он как закричит; я ему хотел было дать масла — так не берет. «Мы, бает, эту дрянь не берем, нам, бает, девать ее некуда. Давай деньги». Ну, дал я ему десять рублев — и спасибо не сказал. «Ну, бает, я иду к самому владыке, айда со мной...» Мурашки забегали, просто беда! и я кое-как опамятовался, как очутился в хорошей горнице. Вот горница! и нигде такой я отроду не видывал, а этих дьячков да попов — и! беда!! А большой дьякон даже и не поклонился им, так и ушел в другую горницу. Вот забился я в уголок, боязнь маленько прошла... Дьячки и попы шепчутся, крякают, бумажки читают, деньги считают, а какие-то баские парнишки то и дело бегают по горнице; какие-то кутейники, высокие и невысокие, руки в боки, глаза в потолки, ходят и покеркивают... Ничего я такого отроду не видывал. Уж дивился я, дивился, об архирее позабыл — больно уж баско стоять-то было. Только вдруг выходит из дверей набольший дьякон и как гаркнет — куда те медведь какой: «Николай Попов!» Я вздрогнул. Поглядел на него; а он опять: «Иди сюда...» Ну, я просто убежать хотел. Уж не помню, как я очутился в пребаской комнате: пол это, знаешь, светлый, как лед, а стены — и сказать не умею... Только вдруг выходит откуда-то монах с большим дьяконом и спрашивает: «Который?» — «Этот», — указывает на меня большой дьякон и машет мне рукой, а я трясусь, тронуться с места не смею, а он машет... А владыко идет ко мне, я и бух в ноги ему... «Встань, — говорит мне владыко, а я стукаюсь лбом об пол, а он бает: — встань...» Нечего делать, боязно, а встал, он меня перекрестил... «Умеешь служить?» — спросил он меня... «Все, баю, умею», а сам промеж себя думаю: не спрашивай ты меня, ради христа. Господи Иисусе, спаси-помилуй; большому дьякону все деньги отдал... А он глядит на меня, большой дьякон мне глазами мигает, а я ни жив ни мертв. Уж я, кажись, сколько медведей видел, а никогда так не было боязно, как тут. «Сколько у вас в

селе прихожан?» — спрашивает владыко; я плохо понял и сбаял: «Чего?» Владыко рассмеялся, а мне легче стало, я уж бойчае стал. «Кто у вас прихожане?» — «У нас-то?» — «Да». — «А всяки... кто их знает». Потом он и говорит большому дьякону: «Знает ли он службу?» — «Знает», — сказал тот и назвал его первенством. «Приготовь его... А ты завтра будешь посвящен в дьяконы». Я и баю: «А што ж благочинный баял: в попы?» А большой дьякон и глазами, и ртом, и всяко изгиляется, так что мне смешно стало. Владыко и бает: «Што с тобой?» — «Да вон, батшко-владыко, большой дьякон уж больно смешно глазами да ртом изгиляется». Поглядел на большого дьякона владыко сердито и сказал: «Завтра ты будешь дьякон, а послезавтра поп...» Я ему опять в ноги... А как вышел оттоль, совсем ровно другой стал: весело, не весело, а так уж што-то особенное, што и сказать не умею. А эти дьячки и попы, как вороны, стали лезти ко мне: «Што, бают, ничего? .. што сказал?» А кои напросились вина выпить.

Уж больно я был весел, так што и об масле да яйцах позабыл. Только у квартиры и вспомнил об них: видно, большой дьякон взял.

А в этот день меня славно напоили. Утром опять пинками разбудили. Пошел в церковь, народу тьма-тьмущая. У двери стоят архаровцы[1] с большущими ножами[2] и то и дело толкают народ да бьют их кулаками. Меня тоже один ударил, да я его так треснул, што он будет помнить Николу Знаменского. Спасибо, попы заступились и втащили меня в церковь. Попы, знаешь ты, бегают, дьячки и дьякона тоже, а на них кричит большой дьякон. На клиросах это молодые парни — эконькие и экие — стоят, эконькие мальчуганы в ризках. Диво! Ну, надели на меня ризку (стихарь) и поставили в угол... Просто страсть... Вдруг попы и дьякона похватали, кто чево мог, и побежали вон из алтаря, и я за ними, только ничего в руки не взял... Меня было один дьякон чуть не ударил за то, што я его больно толкнул, а другой велел мне смирно стоять в алтаре... Да я думал: это он брезгует мной... Не успел я опомниться, как вдруг запели... Ах, как баско! Я и рот разинул, только гляжу

[1] Казаки. *(Прим. автора.)*
[2] Саблями. *(Прим. автора.)*

это на клирос, меня и тянет за рукав дьячок, а владыко уж посреди церкви стоит, одевают его... И риз-то этих сколь... А я стал в алтаре в угол к дверям и гляжу это в щелку, как одевают, а большой дьякон с другим дьяконом кадят. И диво же мне все, и понять не могу, што певчие поют, а пели так баско, так баско... (и отец при этом крякал). И никак я ее не мог понять вот какого пенья: пошто там пели: *с полатей на полати* — и много раз, да так баско, особливо как эти ребятки в ризках... (и отец опять крякал, как бы желая дать понятие о пении исполатчиков).

Вот молодые дьякона, што архирея одевали, повели меня, грешного человека, на середину церкви, да сперва один, потом другой, и давай толкать меня в шею. Я смотрю на них и дивлюсь, а они зовут меня в алтарь. Ну, как я пойду, колды в большие двери попы ходят? а большой дьякон стоит в больших дверях и машет меня. Ну, перекрестился и пошел... Не огляделся я, как большой дьякон подвел меня к архирею, а он сидит... Ничего потом не помню, окроме того: как вдруг большой дьякон рявкнет: *ах-ти вошь!* Ну, я, брат, больно испугался... А штучки-то эти у меня таки водились. Помню еще, што волоса мне стригли; ну, да это куда ни шло.

После обедни владыко бранил-бранил меня и все-таки обещал завтра попом сделать, а от большого дьякона просто покою не было... На другой день меня с дьяконами поставили, ектению заставляли сказывать... Спасибо, дьякон, што рядом со мной стоял, сказал, да и певчие скоро пели... Не легко, братец ты мой, попом сделался. Владыко опять бранил меня и большого дьякона, зачем он не выучил меня, а певчие толковали, што-де потому меня большой дьякон не выучил, што я мало дал ему денег... Мало? десять-то рублев, да кадушку масла, да лукошко яиц? .. Певчие да дьякона эти разные всё просили у меня денег — да где я их возьму?

После этого меня две недели учили, да плохо я понимал. Маялись-маялись и послали домой.

Нас, ребят, не видавших никогда архиерея, очень занимал и удивлял этот рассказ.

Из Подгорска отец привез в Знаменское село дьячка

Сергуньку, который служил тоже в каком-то селе этого уезда и который архиерея тоже видел в первый раз. Ему давали стихарь, и так как отец жил с ним на одной квартире, то они сошлись, а так как Сергунька был холостой человек, то отец сманил его к себе. «Мы вместе в лес будем ходить», — говорил отец Сергуньке, любившему стрелять птиц.

Свою обязанность отец знал плохо, а по книжке читал еще того хуже; дьячок хотя и знал свое дело, но ленился, и если когда служил с отцом, то кричал: «не так!», но отец его не слушал.

С самого начала отец объявил крестьянам, что он поп, и просил их идти в церковь. Крестьянам хотелось посмотреть, что будет делать в церкви Никола Знаменский, которого они любили, и нанесли ему всякой всячины понемногу: кто морошки, кто соленых груздей, кто яиц и т. д. Каждый, принесший что-нибудь отцу, спрашивал:

— Так идти?

— Как хошь. А я петь стану. Баско спою, как у набольшого попа поют, — и он рассказывал архиерейскую службу, насколько понял.

Церковь была полна, отец читал громко, пропуская то, чего не мог разобрать. Когда он кланялся народу или кадил, то кто-нибудь кричал:

— А мне што не кланяешься?

— Погоди, и тебе будет. Не всяко лыко в строку, — отвечал отец.

На другое воскресенье в церковь пришло человек пять, а третье и четвертое воскресенье отец пробыл в лесу.

К нашей церкви было причислено пять деревень, и ни отец, ни дьячок не получали никакого жалованья; поэтому приходилось жить приношениями; но приношения делались только в таком случае, если отец гнал народ в церковь или приезжал к крестьянам с крестом и святой водой, да придирался к тому, зачем язычники обряды по-своему справляют. Впрочем, отец служил только в большие праздники, которые чтил сам.

Он ужасно не любил черемисов за то, что они воруют, и потому сильно налегал на них, требуя, чтобы они молились и справляли обряды по-христиански, и делал с ними штуки такого рода.

Приходит он один раз к черемису и спрашивает:

— Где образ?

— А тебе што?

— А ты крещеный?

— Крещеный.

— Ах ты, ватаракша! Куда ты образ дел? Сейчас позову старосту... В острог он тебя свезет.

А отец и сам не знал, что такое острог. Он только слыхал, что острог — нехорошая штука.

Черемис видит, что одному ему с отцом не справиться, достает из-под лавки образ и нехотя весит его в угол.

— Ну, молись!

Черемис не молится.

— Вот так молись, — перекрестился отец и поклонился.

Черемис улыбается.

— А! ты так? пойдем к старосте!.. Тебе святой лик калечить? За что ты глаза-то ему скулупал? Айда! — и отец тащит черемиса.

Черемис боится старосты, который отдует его и заставит работать на себя. Обещался он отцу молиться и поросенка дал.

На другой день отец условился с дьячком, чтобы тот стал у угла дома на улице и отвечал на его слова. Барыши они условились делить поровну и пошли вечером.

Стал дьячок неприметно у угла избы, а отец входит в избу и видит, черемис весит образ в угол.

— А, обманывать?! ты думаешь, я не знаю, что ты снимаешь образ? — кричит отец.

— Упал.

— Врешь, собака! А вот я спрошу образ...

Черемис улыбается.

— Што, смешно? Ты не веришь, што он бает?

Черемис хохочет.

— Так вот же те сказ: коли образ баять будет, я всех твоих чучел спалю, а ты должон всю жизнь молиться ему.

Черемис хохочет.

Отец ударил черемиса по лицу и сказал:

— Так ты, образина ты эдакая, над святым ликом хохотать?.. Никола дождики дает, Никола здоровье дает. Никола хлеб дает, Никола тебя сичас громом убьет...

— Не убьет. . .

А дьячок между тем провертел в углу в пазах дыру, как раз около иконы, и кричит: «Убью!!»

Черемис испугался.

— Што? — сказал сердито отец и кричит: — скажи, батшко, Микола-угодник, пошто он тебя снял?

— Своим богам молится, нашу веру не любит. Скажи ему, что я ему большую болезь пошлю, коли он своих богов не сожгет сичас.

— Слышишь?

Черемис в землю, стал молиться и шепчет:

— Не жги моя бога; моя бога лучше твоя бога. . .

— Только ты скажи одно слово, раздавлю тебя. Никола, поберегись. . . — кричит дьячок.

— Ай-ай! — закричал черемис и побежал за чучелами. Когда он приносил чучел, то отец топтал их ногами, так как они были глиняные. Потом черемис дал моему отцу двух свиней.

После этого чуда бедный черемис долго глядел на икону, осмотрел ее со всех сторон, лепетал что-то по-своему и повесил опять на стенку; потом он стал молиться и спрашивать икону, даже кричал, да икона не давала ответа. Пошел черемис с жалобой к отцу, что образ говорить не хочет; отец взял с собой дьячка, и образ опять заговорил. После этого черемис не снимал образа и даже стал ходить в церковь, думая, что поп Микола с образами разговаривает; его примеру последовало несколько черемисов.

В пасху, в рождество, в троицу и в свои именины отец ездил в деревни славить; за это ему давали кто птиц, кто ягод, кто просто поил пивом и брагой. За требы крестьяне тоже платили яйцами, ягодами или давали то, что не могли сбыть в городе.

С крестьянами мой отец жил дружно: барства в нем никакого не было, и за простоту все любили его, да и понятия его нисколько не разнились от крестьянских понятий. Он, так же как и крестьяне, говорил, что на другом конце живут люди с рогами, что в луне сидят Каин и Авель, и он ни за что бы не поверил, а обругал бы того, кто стал бы доказывать ему, что земля шар, и т. п. Больше

всего крестьяне любили отца за то, что он выручал их тогда, когда с них требовали подати.

— Батюко Микула... Подать надо, — говорит крестьянин, чуть не плача.

— Поди продай коровенку, — советует отец.

— Кому продать-то? город-то далеко, а староста больше рубля не даст.

— Ладно ужо.

Пойдет отец к сельскому старосте, занимавшемуся бойней животных, выделыванием кожи и имевшему большую лавку в городе. Отец ему всегда продавал крестьянских животных выгодно для крестьян: если бы староста брал корову от крестьянина, то дал бы рубль, а отцу давал пять и шесть рублей, и эти деньги отец вносил сам за крестьян за подати и другие повинности, избавляя их от хлопот и от излишних трат: отец писарю ни копейки не давал, а поил пивом или водкой до бесчувствия.

Или бывало так: придет к отцу крестьянин или черемис.

— Што, братан? — спросит отец.

— Беда бульша: хозейко подох. Лапша подох; ись... кору глодал, брюха бульна...

Даст ему отец муки с полпуда и схоронит покойников даром.

Отец часто путался насчет постов и праздников, о чем он постоянно справлялся в городе у тетки Матрены, которую очень любил.

— А што, сестра, тожно што: пост али *молост?*

Та смеется и спрашивает: мясопуст или мясоястие тебе?

— Всё одно: пост али молост?

— Теперь молостные дни-то.

— Экой я дурак! Я ведь, сестра, капусту ем да редьку хлебаю.

— Через три недели маслянка будет. Приезжай ужо.

Или спрашивает: а петро-павло скоро?

— Еще неделя.

— А теперь што?

— Пост.

— А я уж отгулял петро-павла.

— Ах ты, греховодник! .. Поди к благочинному, покайся.

Пойдет отец к благочинному и даст ему лукошко яиц.

Он знал, что бывает именинник весной, но которого числа — не помнил. Дьячок, находясь с ним по месяцу на охоте, тоже путался в днях, староста грамоте не знал и с рождества до ильина дня жил в других местах, писарю отец не доверял. У отца выходило так: стаял снег, появилась трава — это значит «вознесенье», а тут скоро и никола, а за николой и троица. Спрашивать он не любил, а его спрашивали крестьяне:

— А што, микола скоро? — спрашивают крестьяне.

— Как снег стает да первый дождь будет, тут, значит, и микола.

— А скоро?

— Да видишь ты, все снег. С гор-то снег стаял, а у нас нет.

А если на другой день пойдет утром дождь, он, не справившись в городе, служит обедню.

Впрочем, если бывал в селе староста, он у старосты справлялся, но староста был раскольник, и ему отец мало доверял.

Метрики вел волостной писарь, так как они отсылались благочинному два раза в год. Получивши от благочинного новые книги, отец нес их писарю.

— Гляди! баско как.

— Што, опять? — говорил писарь.

— Опять. Ты возьми и пиши тут.

— Да я почем знаю!

Так как писарь в книги ничего не вносил без указаний отца, то за месяц перед тем, как ехать к благочинному, он брал с собой дьячка и писаря с книгами и вписывал в них, что нужно было, в домах обывателей, причем, конечно, обыватели даром не отделывались, и барыши делились на писаря, отца и дьячка, который, впрочем, всё отдавал отцу. Благочинный очень много брал за метрики, так что отец ворочался иногда из города без копейки и без хлеба.

Дьячок Сергунька жил в нашем доме, в той избе, в которой жил отец до посвящения в священники. Он был пьяница, буян, драчун и при всем этом трус, глуп

и бессилен, но человек зато честный. За это и за то, что он помогал отцу, отец любил его; без него не ел и не пил водки, пива или браги тогда, когда Сергунька был налицо. Сергунька даже и в город постоянно ездил с отцом. Если у обоих были деньги или много пива или браги, то они сзывали обывателей к себе в дом и поили их на славу; с своей стороны и обыватели по мере средств своих угощали их.

Отец даже обещался Сергуньку сделать попом вместо себя и просил об этом благочинного, но тот говорил: посмотрим. Да и к тому же, ты еще не умер... А впрочем, прибавлял он, нынче едва ли твоего дьячка посвятят в священники, потому что ныне на эти места определяют ученых.

Мать у меня была смирная, забитая, простая женщина. С крестьянами она траву косила, ходила к ним, и те ходили к ней вечеровать. Соберется эдак женщин шесть, сидят около зажженной лучины, прядут кудель, что-нибудь говорят или песни поют. Мать в детстве хорошо читала; вычитала она много о житии святых и эти жития рассказывала женщинам. Теперь же она ничего не читала, потому что нечего было читать.

Случится у кого-нибудь беда, идет к ней женщина и воет:

— Васильевна!.. сам помират... ох!.. ох!..

Погорюет с ней мать и запечалится.

— Эко дело, Сидорыча-то нет... А ты ужо возьми ключ-то от церкви да свези его туда.

— Боязно тожно будет.

— Без этого нельзя. Начальство узнает — две беды: вам будет, и Сидорычу беда будет.

— Нет, уж мы как-нибудь.

— А не то свезите на кладбище, поп после отпоет.

— Матушка ты моя! — скажет женщина и поклонится матери в ноги.

Она давала крестьянкам муки, хлеба, семян для огородных овощей, а главное — лечила их травами и деревянным маслом. Иногда больные выздоравливали.

Отец часто колачивал мать ни за что ни про что. Бывало, дерутся отец и дьячок. Так и кажется, что который-нибудь из них зашибет другого. Подойдет мать и слезно упрашивает их перестать — поколотят и ее.

Так, когда отец был дома, она постоянно ходила в синяках. Плакала моя бедная мать много и только крестьянкам высказывала свое горе, но и у них нелегко было на душе...

Трезвый отец ее не бил, а при гостях или в гостях, наливая ей рюмку водки, говорил весело:

— Ну-ко, Настька, цып-цып!

— Убирайся ты, пьяница! — говорила мать.

— Ну, пей, молодуха; не то под порог брошу.

— Убирайся ты, олень большорогой!

— Ой ты, курочка-мохноножка!

Мать выпивает рюмку, кашляет, отец подходит к ней и любезно колотит ее в спину, приговаривая:

— Подавилась попадья, подавилась, а мы укладываем.

Это забавляло гостей, они говорили: «Какой совет у попа с попадьей!» Несмотря на жестокое обращение отца с матерью, мать, кажется, любила отца. Это я заключаю из того, что, бывало, когда нет дома отца недели две, она вся измучится: долго сидит по вечерам, долго не спит и охает: «Где же это Сидорыч? Уж не заели ли его медведи? Ведь не говорила ли я: не ходи, не ходи: скоро сорокового убьешь, на сорок первом несдобровать... А то вон в какую грозу ушел пьяный. И Сергуньки-то нет ведь». И чуть только заслышит она песню или голос, ей думается: это Сидорыч... И она будит нас. Но отец часто приходил после этого недели через две.

Дьячка Сергуньку она не любила: она говорила, что он расстраивал отца, и отец до его приезда был ласковее с ней.

На девятом году мать стала учить меня и брата грамоте, как умела. Я быстро понимал, но с братом она долго возилась. Дьячок учил нас петь, но в пении я был плох, и когда я пел неладно, он, теребя мое ухо, говорил: «учись, учись; попом будешь».

— Нет, уж я не буду. Пусть он будет, — говорил я, указывая на брата, и злился почему-то на дьячка.

Наступил мне десятый год. Летосчисление мое считалось с именин, потому что ни отец, ни мать не помнили, которого числа я родился. Время было летнее, жаркое.

Я играл с ребятами на улице, а отец ходил по грибы. Приходит домой отец с грибами, а дьячок хлебает уху из карасей.

— Гляди-ко, Сергунька, грибы-то! Не в пример лучше твоих толстопузиков.

— Не хвастайся — поганых принес.

— Ох ты, пучеглазый!

Дьячок соскочил с лавки, швырнул на пол наберуху, грибы рассыпались по полу. Он хохотал и скакал на грибах. Это до того разозлило отца, что он долго таскал дьячка за волосы и за бороду. Однако через полчаса отец смирился; мать принесла ему жбан пива, и он, отпив половину, стал хлебать уху, и по мере того как его разбирало пиво, он начинал ворчать все более и более, говоря, что он еще в первый раз получил такую непростительную обиду, потому что грибы были его любимое кушанье. После обеда отец и дьячок были уже порядочно хмельны и перекорялись друг с другом; мать мотала на клубок шерстяные нитки, а я держал перед ней моток.

— Уж молчал бы! Хорош поп, читать не умеет, — кричал дьячок.

— Поговори ты еще, собака! Кабы я службы не знал, не сделали бы попом.

— Ох, ты! Да тебя вовсе не посвящали; тебе мерещилось, а ты и взаправду... Тебя расстригали.

— Ах, будь ты проклят... Собака, как есть собака! коли ты хороший человек, зачем ты у меня в услужении находишься? Чуча! Уж над тобой не споют с полатей на полати!

— Ну, как ты не дурак, коли сполать называешь полатями.

— Врешь! Все хорошие люди бают: коли человек заслуживат, ему большое повышенье дают... Вот меня, значит, и повысили; прямо из мужиков попом сделали. А тебя не сделают...

— Да ты што больно-то расхвастался! Сколько живу, ты всего-то два медведя убил!

— Сорок три убил!

— Два, а те я...

— Ты? Да ты, што есть, хоть бы в ляжку попал. А вот я так ломом прямо по башке.

— Два!!

— А ты и вот ни на эстолько.

— Два!!!

Отец вцепился в дьячка, дьячок не уступал. Вступилась мать, но ее не слушали. Я держался за мать. В это время вошел в избу городской дьячок, которого я никогда не видал.

— Здорово. Што вы это, ребятушки?

Отец выпустил дьячка; оба они запыхались и с удивлением смотрели на дьячка в подряснике, сапогах и шляпе.

— Который из вас священник Попов?

— Я, — сказал отец.

— Нет, я! — сказал дьячок.

Отец выругал Сергуньку и спросил:

— А што?

— Благочинный приехал.

Отец струсил, а Сергунька захохотал.

— Што? он-те задаст!! он-те зада-аст!!!

Отец посмотрел на Сергуньку сердито и спросил приезжего дьячка весело:

— Батшко Олексей?

— О! отец Алексей перед петровым днем умер. . .

Отец вздохнул, перекрестился и, удивляясь, спросил:

— Кто же то, коли умер? . .

— А у нас теперь благочинный новый, молодой, щеголь такой, сердитый. . .

— Вре?!

— Да он там, у твоего дома, в повозке сидит.

— Настька, добудь-ко балахон-то! — сказал отец матери.

— Да скорей, — торопил приезжий дьячок отца.

— А ты погоди ужо, я скоро, а ты бы его звал в горницу. . . Настька, волоки жбан пива. . . Эко дело, вино-то всё выпили. . . Это все подлец Сергунька слопал.

— Ах, беда! . . Нажил ты, поп, беды. . . Гляди, благочинный-то в шапочке вышел из короба-то, — говорила мать, глядя боязливо в окно.

Дьячок отворил немного окно и дивился:

— Гляди, поп какой молодой.

— Да не кричи, болван! — горячился отец, суетясь.

Отец, надевая рясу, тоже глядел с нами. Он уверился в том, что это благочинный, потому что он всех священ-

ников в камилавках и скуфьях, которые он называл шапочками, считал за благочинных... Все мы, глядя боязливо в окно, удивлялись: благочинный был молодой человек, здоровый, краснолицый и, как видно, очень важный господин: мать говорила, что он важнее станового пристава, дьячок — важнее старого благочинного... Приезд его привлек на улицу много обывателей разных возрастов, которые стояли против повозки у домов, удивляясь и боясь подойти ближе.

— Эй, православные! — сказал он вдруг обывателям.

Половина из них вошли во двор, бабы глядели друг на дружку, дети глядели на него с разинутыми ртами и держались за баб.

Отец, помолившись богу, пошел на улицу с приезжим дьячком. Сергунька, мать и я с братом глядели из окна.

Отец подошел к благочинному, низко поклонился ему и подошел под благословение. Благочинный важно запахнулся и сказал:

— Ты, што ли, священник Николай Попов?

— Тошно так, батшко: я Микола Знаменский.

— Што?

Отец стоял смиренно.

— Я слышал, што ты сегодня обедню не служил.

— Я-то? .. А пошто ее служить-то? Разве праздник какой?

— А ты разве не знаешь этого?

— А поцем мне знать-то... Вон я вцера из лесу пришел с Сергунькой. Медведев-то ноне маловато, а рябков да глухарей — это благодать.

— Ты стреляешь? Разве дозволено священнику проливать кровь?

— Эко слово сказал! Да я всегды этим занимаюсь, потому кору бы глодал. Зачем! А ты, батшко благочинный, залезай в избу-то, я те пивком попотшую да глухарей дам.

— Предоставляю это вон ему, а мы отправимся в церковь, — сказал гордо благочинный, указывая на приехавшего с ним дьячка.

— Пошто?

Дьячок Сергунька, услыхав это, схватил ключ, лежавший на божнице перед иконами, и, не говоря ни слова,

выбежал из избы на улицу и, не поклонившись благочинному, бежал к церкви.

— Куда ты, шароглазый? — крикнул ему отец.

— Обедню служить, — прокричал дьячок, не останавливаясь.

— Сергунька?! да разе топерь служат обедни, свинья ты этакая! — кричал отец, горячась, и сказал благочинному:

— А ты, батшко, не спесивься: вот Христос, пиво у меня всем пивам пиво. Пей не хочу, да и с дорожки-то ушки бы похлебал. Сергунька славных карасей наловил.

— Кто этот Сергунька?

— А дьячок. Бестия такая, што беда, а ни на кого не променяю; нужды нет, што он поперек в горле сидит. Подем... А?

Благочинный, как я заметил, хотел есть, но ему не хотелось согласиться на приглашение отца. Дьячок, приехавший с ним и без стеснения ходивший около него, ругавший лошадей неприличными словами, укладывавший вещи в повозке, насвистывая, с достоинством глядя на народ, собравшийся изо всех домов, и желавший посмеяться над отцом вслух и тем показать нам, что он в хороших отношениях с благочинным, залихватски спросил благочинного:

— Ваше высокоблагословение, прикажете лошадей распречь?

— Не твое дело! Я скажу, — сказал благочинный, сердито взглянув на дьячка, желая этим доказать дьячку, как он ничтожен. Дьячок присмирел.

— Пожалуй, — сказал благочинный и, к великой радости отца и ужасу матери и нас, вошел в избу. Мать подвела нас под его благословение. Отец ввел благочинного в горницу, засуетился.

— Ты не хлопочи, — сказал благочинный и потом, затыкая нос, прибавил: — как здесь душно, грязно...

— А што, батшко!.. Прежние благочинные никогда не ездили сюда, а ты и грамотки, што есть, не послал. Уж я бы припас про те много. А то што: уха!

Отец и мать суетились до того, что позабывали, что им нужно. Отец был в восторге, что он угощает самого благочинного, а мать сердилась на отца, упрекая его тем, что

он не позаботился раньше об угощении и вылакал с дьячком все пиво и брагу.

Уха благочинному не понравилась; пива оказалось немного; он расспрашивал о прихожанах, зевал. Повидимому, он был голоден, дожидался хороших кушаний, но отец угощал его пивом, которое мать достала от старосты. Большого труда стоило отцу заставить благочинного пить пиво, которое он пил как будто с отвращением, но все-таки захмелел.

— А ты бы, батшко, тово... поспал бы маленько. Поди-ко, растрясло, — говорил отец.

— Пожалуй, не мешает. Позови дьячка.

Дьячок толковал о чем-то с мужиками, энергически растолковывая им что-то; те хохотали.

Лошадей и повозку втащили во двор. Дьячок втащил в горницу все вещи из повозки и положил на отцовскую кровать перину и подушки. Благочинный лег спать, приказав, чтобы его не тревожили, а отец, накормивши и напоивши дьячка, пошел с ним в церковь. Там Сергунька, читая какую-то молитву, чистил полой армяка оклады на иконах.

— Уж я читал-читал часы, а вас нет... — говорил недовольным голосом Сергунька.

Отец захохотал. Скоро они вышли из церкви, взяли у соседей пива и долго протолковали в избе Сергуньки. Приезжий дьячок уверял, что благочинный ужасно строгий человек и помаленьку не берет.

На другой день утром, когда проснулся благочинный, то потребовал умываться. Отец подавал ему воды, за что получил благодарность. Умывшись и помолившись, он приказал поставить самовар; но так как у нас не было ни самовара, ни чайной посуды, то благочинный потребовал метрики.

— Батшко, я сбегаю к Ваське. Он — писарь и все метрики баско ведет.

Благочинный дожидался отца с час. Отец принес белевые книги, в которых ничего не было написано.

— Что это такое? — спросил удивленный благочинный.

— А што?

— Отчего тут не вписаны родившиеся, умершие и т. п.?

— А пошто их писать-то? опосля впишу.

Благочинный раскричался, отец струсил и не знал, что говорить.

— Я об этом высокопреосвященному донесу!

— Батшко, не жалуйся! — сказал отец, кланяясь в ноги благочинному, который стал кричать громче прежнего и долго что-то говорил непонятное для нас.

— Я желаю видеть твою службу, — сказал вдруг благочинный и пошел вон из нашего дома на улицу.

Пошел отец в церковь с благочинным и дьячка Сергуньку взял. Облекся отец в холщовую ризу и начал обедню. Церковь была полна любопытными. С самого приступа благочинный заметил отцу, что он врет, и потом, вдруг приостановив службу, оделся в привезенные из города облачения и стал сам продолжать службу с своим дьячком. Отцу было стыдно; Сергунька сердился. Народ, видя, что служит не Никола Знаменский, вышел из церкви.

По окончании обедни благочинный сказал отцу: «Приказываю тебе непременно явиться ко мне вместе с дьячком в город», — и, не выходя из церкви, велел своему дьячку запрягать лошадей. Сколько отец ни уговаривал его отобедать у него, он пошел к старосте, который пригласил его. Отцу было обидно, что благочинный пошел обедать к его врагу, и этот враг не пригласил отца.

Отец злился на дьячка, дьячок смеялся над отцом, и общим советом было решено накласть повозку благочинного глухарями, яйцами, рябчиками и маслом. Без сбора дело не обошлось.

Благочинного провожал отец с Сергунькой, мать, мы — два брата, староста и несколько обывателей. Когда благочинный сел в повозку, то сказал отцу:

— Непременно приказываю тебе ехать в город вслед за мной и явиться ко мне с дьячком и детьми, которых я желаю отдать в училище. — Приезжий с ним дьячок был очень пьян и кое-как сел на козлы; но староста рассудил сам исполнить должность кучера, и благочинный уехал.

«Пошто меня зовет в город благочинный?» — думал отец, и это его весьма опечалило. Ему думалось: зачем приезжал этот новый благочинный в село? Посовето-

ваться было не с кем, потому что мать ворчала, Сергунька дразнил отца и больше растравлял его, а старосту он ненавидел. Отцу хотелось подарить благочинного, но чем?.. Нового сбора с крестьян он не хотел делать, идти в лес тоже не хотелось, потому что хотелось скорее съездить в город. И он поехал один. Через две недели он приехал назад.

— Благочинный топал-топал на меня ногами, просто беда! — рассказывал отец. — Я, бает, што тебе велел? Я, бает, тебе велел явиться с дьячком и сыновьями. Поезжай назад и привези их. А там увидим. Уж я ему кланялся-кланялся — сердится. Прогнал, што есть. А ничего не сказал, пошто мне с робятами приезжать.

Мать очень опечалилась: она любила меня, да она и боялась оставаться в доме одна. Решено было ехать в город и ей. Поехали.

Представились благочинному; он сказал отцу:

— Тебя и дьячка твоего преосвященный требует к себе в губернский город. Изволь ехать.

Это было сказано таким тоном, что отцу, дьячку и нам показалось, что благочинный на отца ужасно осердился. Он с нами даже и говорить не хотел и скоро ушел в комнаты.

Отец спрашивал своих городских знакомых: что бы означало это приказание, но они говорили одно: не знаем. Может статься, что он перевести вас с дьячком хочет. А впрочем, не набухвостил ли (не пожаловался ли) благочинный.

Губернский город от Березова находится в четырехстах верстах; в нем ни отец, ни дьячок никогда не бывали и даже не знали туда дороги. Денег у отца было около рубля на ассигнации, а у дьячка никогда не водилось денег. Запечалился отец крепко, попросил денег у мужа тетки Матрены, тот за несколько пар глухарей и лукошко яиц дал десять рублей на ассигнации и, кроме того, взял с него расписку, что он деньги уплатит. Вся наша семья была печальная, как будто все находились в большом несчастии; но все-таки отец с дьячком казались веселыми и перекорялись друг с другом. Встретилось еще затруднение: когда благочинный был в селе, то велел отцу привезти к нему детей, а когда мы были у него, то он на нас не обратил даже внимания. Что делать с нами? Муж

Матрены советовал пожить нам с матерью, до его возвращения, у него, дьякона, но благочинный вдруг потребовал отца и спросил:

— А ребят ты привез?

— Привез.

— Вези в губернский; там возьмут их в семинарию.

Отец хотел было возражать, но благочинный ушел.

Итак, мы поехали, а мать осталась у тетки Матрены.

О нашем путешествии говорить не стоит, потому что ни для кого нет интереса. Достаточно и того, что мы четыреста верст ехали две недели.

Всю дорогу отец был задумчив; дьячок, по мере приближения к городу, становился все веселее и старался рассмешить отца чем-нибудь.

— Поп, а поп?

Отец молчит.

— Вот оно што: в гости сам архирей зовет... Только я мекаю, не обман ли это.

— А што?

— Што? А то: может, нас стегать будут за то, што мы обедни не умеем служить. Чуешь?

— Будь ты проклятой! Чево ведь он и не скажет!..

Приехали к городской заставе. Я сидел на передке и спрашиваю:

— Тятька, куды ехать?

— Куды?! валяй к архирею... — сказал отец...

Поехали прямо. Попалась навстречу женщина. Отец снял шапку, остановил лошадь и спросил ее:

— А куда-ка к архирею надо ехать?

— А тебе на што? — спросила та, улыбаясь.

— Звал.

— Да топерь поздо...

— Вре?!

— А вы поезжайте прямо, потом направо, тут в улице желтую колокольню увидите, там спросите.

Поехали. Отец дивился, глядя на дома.

— Вот так город! А архирей, поди, в таких горницах живет, што...

— Нет, ты вот что скажи: што он ест?

— А он, поди, уж ест не нам чета. Поди, и жена у него инакая.

— Дурак ты, поп: сказывают, архиреи не женятся?

— Толкуй! Как не то без жены-то?

С такими разговорами подъехали мы к архиерейскому дому. Были уже вечерни.

— Ну, ты, слезай, — говорит отец дьячку.

— Нет, ты, ты старше меня.

— Слезай, баю!

— Не слезу! Умру, а первый не слезу.

Нечего делать, слез первый отец, за ним Сергунька потом и мы; но нам отец велел сесть.

— Ты, поп, один поди туда... — говорит Сергунька.

— Нет, вместе.

— Ну уж, меня не затащишь.

— Сергунька! али мы не вместе по медведей ходим, али мы не товарищи?..

— То иное, это иное, — боязно.

Подошел отец к воротам; ворота заперты. Недалеко от ворот стояли два семинариста и разговаривали друг с другом. Отец подошел к ним, снял шапку и поклонился.

— Поштенные, а откуда к архирею залезать?

Это удивило семинаристов, они захохотали.

— Да ты кто?

Отец сказал.

— Он еще не приехал; он в уезде. Впрочем, завтра ждут.

— Да как же он звал?

— Мало ли что звал! И месяц проживешь...

— Какой месяч?

Семинаристы захохотали, стали расспрашивать отца; выговор отца смешил их, отец не понимал их и, думая, что они издеваются над ним, плюнул, обругался и пошел к лошади.

Оставивши нас караулить лошадь и телегу, отец с дьячком пошли разыскивать ход к архиерею, но воротились назад через час с каким-то дьячком, который велел нам ехать за ним.

На квартире мы прожили с неделю. Дьячок и отец познакомились со многими семинаристами и дьячками, которых он угощал водкой и которые тоже угощали его. От них он узнал об разных порядках: узнал, что есть консистория, архиерейский письмоводитель, когда и как нужно

являться к архиерею, к письмоводителю его и в консисторию и т. д. Узнал он также, что за разные справки нужно давать деньги.

Приехал владыка. На другой день отец и дьячок поплелись к нему с двумя дьяконами, а мы остались дома, потому что отцу сказали, что он должен поместить нас в семинарию на казенный счет.

Воротились отец и дьячок печальные. Отцу приказано было в субботу прочитать в крестовой церкви шестопсалмие, а дьячку звонить на колокольне. Отец запечалился над тем, как он будет читать при владыке, а учить некогда, потому что завтра суббота; дьячок ругает отца:

— Это все от тебя, потому ты дурак... Какой ты теперь поп, когда тебя в церкви читать заставляют? теперь ты дьячок, а не поп.

Хотя отцу и говорили, что читать шестопсалмие священникам не редкость и даже в соборе один протопоп в большие праздники, по своему желанию, читает шестопсалмие, но отца трудно было уверить; он думал, что он теперь дьячок.

Пошли мы в крестовую и стали с дьячком около клироса, около которого псаломщик читал часы; отец стоял около псаломщика и дивился тому, как это он скоро читает так, что ничего не разберешь. Певчие поддразнивали отца и подсмеивались над ним; отец стоял как на иголках.

— Ступай, — сказал отцу вдруг псаломщик.

— Куды? — спросил громко отец, не привыкший еще говорить шепотом; народ поглядел на отца.

— Ступай, ступай! бери книгу, — говорил отцу дьячок. Певчие хохотали, стоявший с ними на клиросе протодьякон шептал отцу сердито:

— Што ж ты стоишь? иди скорее.

Отец пошел, но не в ту сторону; псаломщик остановил его против царских дверей и, указав на место в книге, ушел.

— Господи благослови... Благослови, владыко, — начал громко отец, но, верно позабывшись, сказал громко: — Эка оказия!

Народ хихикнул, певчие зашишикали, из левых дверей вышел эконом...

Отец пошел вон из церкви.

Он говорил, что с тех пор, как он встал на середину церкви, ничего не помнил, что происходило вокруг него. Сергунька, сначала хохотавший, по уходе отца сказал нам:

— Подемте, ребята. Беда! Экой ведь он, право... Ну, нет, штобы меня попросить...

На другой день потребовали отца в консисторию и там объявили, что ему запрещено исполнять всякие службы, что он теперь даже не дьячок, а расстрига и отдан под суд. Сколько отец ни валялся в ногах — ничего не помогло. К владыке его не допускали.

После этого он прожил в городе еще две недели: в это время он хлопотал за нас, звонил на колокольне с Сергунькой, и когда нас приняли, он поехал домой с Сергунькой, которого тоже расстригли и отдали под суд, как и отца, за метрики.

После этого мне и брату Ивану не приводилось видеть отца и Сергуньку, потому что мы не имели возможности ездить в Знаменское село. Отец жил только год. Вот что рассказывала мне тетка Матрена:

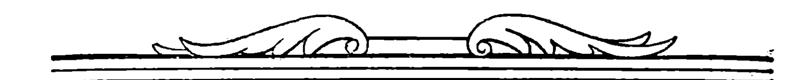
— Николаха сказывал, что уж он теперь не поп, а хуже дьячка. Ну, говорил, ничего... Уж он, верно, много об этом передумал. Когда он приехал в село, крестьяне говорили, что они стосковались о нем. «Не поп уж я теперь, — говорил он им, — и не Никола Знаменский, а хрестьянин...» Но как ни уверял он обывателей, те не хотели верить... Покойников и родившихся прибыло много, а так как отец не хотел справлять требы и прочие службы, то крестьяне не отходили от его дома. Уж неизвестно, как он отделывался от крестьян. Церковь была заперта месяца четыре, и когда приехал новый священник с дьячком, крестьяне объявили им, что у них есть поп Микола и дьячок Сергунька. Как ни бился священник, только ни один человек не шел к нему ни за чем. Священник стал жаловаться начальству, начальство посадило отца в острог, потому-де, что он бунтовщик. В остроге отец и умер, а Сергунька через год после того утонул в реке. Мать умерла у тетки Матрены.

И теперь наши знаменские крестьяне помнят отца: «Не

бывать уж такому доброму попу, какой был Никола Знаменский».

А так как крестьяне ничего не давали священникам, священники часто менялись, а начальство ничего не могло сделать с крестьянами, то приход перевели в другое село; церковь недолго стояла; она сгорела от молнии...





Из цикла „Добрые люди“

ТЕТУШКА ОПАРИНА

РАССКАЗ

Бывши в дороге прошлым летом между Е. и Т., я захворал. Ехал я на порожних: обозный ямщик ехал в Т. за кладью. И несмотря на то, что мы ехали с пустыми телегами, лошади шли шагом, и ямщик не понуждал, говоря, что надо же и им, то есть лошадям, вольготность дать. А так как лошади шли тихо, то телегу сильно трясло, так что, проехав таким манером двести пятьдесят верст, я подумывал отдохнуть где-нибудь.

Объявил я о своей болезни ямщику, тот ничего не сказал. Объявил в другой раз — он улыбнулся и как-то недоверчиво посмотрел мне в лицо. Однако я потом уже надоел ему.

— И! .. Што ж такое — болезь! .. И отчего у те болезь? ..

Я стал его уверять, что болезнь и с ним может случиться; он с этим согласился и рассказал, как в котором-то году он так захворал в дороге, что его чуть не мертвого привезли в село, и как его вылечила тетушка Опариха; потом он вдруг спросил меня:

— Больно болит-то?

— Больно, хоть помирать, так в ту же пору.

— Эко дело! .. Гм... На постоялый не пустят, потому — помилуй бог... возня! А ихнее дело тоже... где вожжаться! .. Одново разу этак семинарист на постоялом захворай... Так што ж бы ты думал? .. Все от него захворали! .. Беда! .. Увели к одному мужику — и там все захворали... Оказия! ..

— Ну, моя болезнь не такая.

— Кто тебя знает... А ты ужо потерпи денек-то.., право! может, ветер-то и разнесет... Может, и пройдет... А тут к Опарихе.

— Что же это за женщина?

— Женщина? — Ямщик замолчал и немного погодя начал: — женщина, скажу я тебе, вот какая: супротив ее никто! .. Право. Мекаю я: ума у ней напрятано везде много... баба, скажу я тебе, особая!

— Как так?

— Да так: на все мастерица. Нашим бабам — и!!. В науку бы их всех к ней... Ну, и опять тоже баба — ходок... Такой ходок, што я и не слыхивал, окромя ее. Вот те Христос!

— Чем же она занимается?

— Всем. Чем ни захочешь — всем! .. Што ни вздумай — это она... Вот она какая! ..

Ямщик замолчал, и как я ни просил его определить мне занятия Опариной, он сперва только хвалил ее, а потом сказал:

— Увидишь. На што вот это: ежели бы ты, помилуй бог, слышать перестал, — вылечит! .. Ей-ей, вылечит, да так, что ты и слышать-то лучше станешь. Пра! ! .

Я так и заключил, что тетушка Опарина — местная лекарка. Подобных лекарок я знаю много, и поэтому меня нисколько не удивила восторженность ямщика. Однако я спросил его:

— А что, если я не в состоянии буду ехать дальше, можно остановиться у Опарихи?

— Без сумления. На меня положись, — все сделаю, только ежели застанем ее.

— А она разве не всегда дома бывает?

— Не всегда. Может, в город уехала.

— Что ж она там делает?

— Што? Мало ли у ней хлопот-то? .. Может, и продавать што уехала, а может, што и выглядеть.

Итак, Опариха еще торговка, а может быть, у нее есть еще какие-нибудь занятия. Тетушка Опариха стала интересовать меня. Перебирая в памяти различных женщин, занимающихся каким-нибудь ремеслом без мужской помощи и приобретающих себе пропитания настолько, насколько нужно для существования простой сельской жен-

щины, я пришел к тому заключению, что Опариной трудно одной иметь несколько дел и в селе и в городе. «Вероятно, у нее есть какой-нибудь помощник», — думалось мне.

— Опариха замужем? — спросил я ямщика.

— Овдовела годов чуть ли не пятнадцать. А што?

— Значит, она старуха?

— Старуха!! — Ямщик захохотал и прибавил: — за пояс заткнет десятерых молодых, вот што...

— Семейство у нее есть?

— Нету — одна.

На этом мы и покончили разговоры об Опарихе. Мне захотелось познакомиться с нею; ямщик сказал, что коли я дам на полштоф, он все дело справит как нельзя лучше.

Через день мы приехали в село. Село это стоит в нескольких верстах от большой дороги; ехали мы через него для сокращения пути. Как и везде, село не отличается изяществом построек, и окружающая его местность не очень привлекательна. Расположено оно на ровном месте, пересекаемом двумя маленькими речками, через которые сделаны мосты в том месте, где идет дорога. Дома большею частию двух- и трехоконные, с высокими крышами, с покрытыми соломой сараями. Все они выходят кривою линиею на широкую дорогу — единственную в селе улицу. Перед несколькими домами насажены черемуха, береза, рябина, но эти деревья или еще довольно молоды, или уже засохли, и посажены они, как объяснил ямщик, не из желания иметь перед глазами дерево или ради украшения, а по приказу станового пристава; «суть» приказа становой не объяснил крестьянам, но крестьяне думают, что они растут для того, чтобы в случае расправы не ходить далеко в лес за вицами. В селе есть деревянная невысокая церковь, окрашенная желтой краской. Церковь огорожена простенькими перилами, и вокруг нее недавно насажены деревья. Люди тоже не щеголяют костюмами: мужики ходят в синих изгребных рубахах и штанах, босые; женщины в синих изгребных сарафанах, с платками и без платков на голове, босые; девушки в таких же сарафанах и, в отличие от женщин, с открытыми головами и болтающимися сзади косами, без лент, завязанными ветхим и замасленным до чрезвычайности шнурком. Нельзя также

сказать и того, чтобы как девушки, так и мужчины были красивы, но здоровьем и дородством обладал по преимуществу женский пол. Около дворов, позади построек, огородов нет, а огородные овощи растут на поле, вперемежку со льном. Направо, смотря с дороги, за селом, по холмистой местности расстилаются пашни с желтеющею рожью или с серою кочковатою землею; налево растет мелкий кустарник.

Когда мы приехали в село, был полдень; погода стояла пасмурная. Я чуствовал себя лучше, но мне хотелось пожить здесь с неделю, и мой ямщик остановил лошадь у одного трехоконного дома, стоящего наискосок от церкви. Дом этот своею плаксивою наружностью ничем не рознился от других построек. Такая же высокая крыша, такое же большое полукруглое слуховое окно на чердаке, без рамы и стекол, такие же черные с вырезками ворота, такая же соломенная крыша на сарае, такие же в оконных рамах разбитые стекла, заклеенные бумагой или заткнутые тряпками, такой же на трубе горшок, положенный в опрокинутом положении для того, чтобы ветер не гнал дыма обратно в избу.

Ямщик постучал в одно окно. В доме как будто никого не было. Поэтому он пошел во двор и немного погодя вышел оттуда с девочкой лет десяти или двенадцати...

— Нету, ушла... — сказал ямщик.

— Так как же?

— Да надо подождать... Ты посиди, а я схожу... — Ямщик пошел и скрылся за церковью.

Четверо ребят подошли к телеге и с боязливым любопытством смотрели на меня. У меня была в узле городская булка, и я, желая расположить к себе ребят, показал им булку, но они долго боялись подойти ко мне. И когда один из них, мальчик побойчее других, взял хлеб, то другие окружили его, несколько минут ковыряли пальцами булку, шептались, пробовали, но не ели.

— Что ж вы не едите? — спросил я.

Они улыбнулись, хотели что-то сказать, но замялись и попятились назад.

Пока я думал, чем бы мне приласкать их, показался мой ямщик, идущий позади какой-то высокой, худощавой женщины. Когда она подошла поближе, я старался как можно лучше рассмотреть ее.

Шла она глядя в землю, как будто что-то соображая. На ней был синий изгребной сарафан, на голове ситцевый голубой платок, ноги босые. На вид ей казалось годов сорок, но на продолговатом бледном лице не было ни одной морщинки. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было красиво; не замечалось на нем и той бледности, какая бывает у отцветших красавиц; губы плотно сжаты, так что подбородок поднялся выше обыкновенного; нос широкий, толстый, глаза серые, лоб низкий. Но это было одно из тех лиц, которые, неизвестно почему, нравятся все более и более, по мере того как вы вглядываетесь в них. Несмотря на строгий взгляд серых глаз, в выражении лица было что-то такое, что сразу привлекает и долго остается в памяти. Я снял фуражку и поклонился ей, когда она проходила мимо меня. Она косо взглянула на мою фигуру, поклонилась и крикнула девочке:

— Ты что тут, образина!.. Так разе вяжут?

Голос был здоровый, даже очень крикливый. Девочка юркнула во двор. За ней вошла и женщина.

Ямщик сказал, что эта женщина — тетушка Опарина, отворил ворота и ввел лошадей во двор, не очень длинный, но крытый, как на постоялых дворах, и могущий вместить в себе до десяти возов.

Вошли мы по лестнице сперва на крыльцо, потом в просторные сенцы, где было душно и куда свет проходил только из дверей. Налево вели двери в просторную избу с двумя окнами, выходящими на дорогу, и одним во двор; направо была небольшая горенка с одним окном.

Несмотря на то, что с виду дом казался старым, внутри этого не было заметно: стены не покосились, половицы не скрипят, полати на вид крепки, на печке не заметно ни одной щели. Стены как избы, так и горенки бревенчатые; в избе очень весело, чисто, пахнет вареной капустой и только что вынутым из печи ржаным хлебом. Одно только неудобство в этой избе — много мух, но на них хозяйка не обращала никакого внимания.

Я сел к окну — и вдруг во мне появилось желание пожить несколько дней в этом доме. Мне все показалось в нем мило, даже самое село сделалось мне милее всяких городов. — Хозяйка накрыла стол изгребной синей скатертью, принесла хлеба, ложек. По счету ложек я заметил, что она намерена была и меня угостить.

Ямщик уселся за стол. Хозяйка стала угощать его пивом и сетовала на нынешнее дождливое время.

— Ну, как у те урожай-то? — спросил ямщик.

— Слава богу, ничего... А ты-то што сидишь? Садись! — сказала она мне.

— Не могу, нездоров.

— Поешь, лучше будет.

Я сел и показывал вид, что ем через силу, но между тем уплетал с аппетитом, ибо был голоден. Нас сидело за столом только трое; девочка, в горенке, пряла кудель. Ямщик, как видно, был коротко знаком с Опариной, но относился к ней как к женщине практичной и даже в некоторых случаях советовался с ней; она давала советы толковые и подходящие к крестьянскому быту. Ямщик говорил о своей жене:

— Не могу я, тетушка, способиться с ней. Такая бесшабашная — страсть... Теперича — я приезжаю домой... Ну, сама знаешь, с дороги и отдохнуть надо, и вздохнуть, и порядки поправить... Тоже, поди-ко, хозяйство, ребятишки... А она, штоб ее... говорят, в город ушла, как и о прошлую пору... Ну, не обида ли?

— Не надо бы жениться на ней.

— Да черт в ее душу-то, поганую, влезет, прости меня господи... Право, кусок нейдет в горло... Так мне все опротивело дома; так бы и не глядел ни на што. Только ребят-то и жалко, а то бы плевать...

— Ну, и что ж, ты видел жену-то?

— Прожил я четверы сутки — явилась. Я ничего, молчу, — потому, что ж ее беспокоить, да и бить — руки не стоит марать. А она, тетушка, как есть, не поздоровалась со мной: семенит по домашности; только теща ворчит: «У, ты, говорит, такая, сякая?» — а мне: «Что ж ты, разе чужой? поленом, говорит, ее»... А мне сердце как будто ножом режет... Вышел я из избы — да к куму; тот употчевал лихо... Так на пятые сутки и уехал. И ума не приложу: што это с ней. Ведь и учивал я ее, да только толку-то нет.

Тетушка вздохнула и сказала:

— Ты бы ей хорошенько растолковал: мол, хоть бы для ребят-то старалась. Ну, сам посуди, каковы дети-то будут, коли мать такая? Разе они не понимают?

— То-то!

— То-то, мужчины вы, а смекалки у вас нет. Я те што говорила раньше — забыл? Теща-то у вас какова? не от нее ли все эти штуки?

Ямщик почесал голову, причем кожа на лбу поднялась выше обыкновенного и образовала несколько морщин; глаза приняли соображающее выражение; он как будто говорил: и этого, мол, я не обдумал раньше.

Разговор об этом предмете скоро заменился примерами тетушки Опариной, которая защищала только одних женщин и доказывала, что в подобных делах виноваты сами мужчины. Однако ямщик не вполне соглашался с ней.

Отобедали, помолились на иконы, поблагодарили хозяйку. Ямщик пошел во двор, к своим лошадям; я за ним.

— Ну, что: видно, ехать надо? — спросил я ямщика.

— Тебе, што ли? И не возьму... Хоть ты кому хошь жалься — не возьму.

— Но где же я буду жить? Ведь ты ей не говорил ничего?

— Не сбухты-барахты...

Я пошел к крыльцу.

— А ты, слышь, не ходи туды. Посиди на крылечке-то.

Просидел я с час. Ямщик между тем уладился с лошадьми и справил все, что следует для дороги, даже овса и сена взял у Опариной в долг. У амбарной двери ямщик разговаривал с Опариной, делая различные жесты руками, снимая шапку и утирая лицо грязным платком, лежащим постоянно в шапке. Хозяйка не делала никаких жестов, но заметно было, что сообщаемое ямщиком было ей не по сердцу, так как она несколько раз порывалась тронуться с места и уйти. Что они говорили между собою, я не слышал. Только смотрю — ямщик отпирает ворота; хозяйка стала всходить на крыльцо.

— А ты што? — спрашивает она меня. Я понял, что вопрос означает: зачем я сижу.

— Нездоров я, тетушка.

— То-то — нездоров, а ел зачем не в меру?

— Обидеть не захотел.

— Кака болезь-то? Лиха немочь, што ли?

Я молчал.

— Приказей?

— Да, — сказал я тоном больного.

— Пачпорт-то у те наперво надо оглядеть. . . Ну-ко?!

Ямщик стоял у крыльца и что-то часто чесал голову. Он боялся ударить лицом в грязь, не зная, что я за человек. От моего паспорта зависело расположение к нему Опариной.

Мы вошли в избу.

Отдал я свой паспорт Опариной. Она поглядела на писание, на печать; подозвала ямщика, потом сказала: «Отойди!» — и крикнула:

— Окулька!

Явилась девочка.

— Неси свечку.

Девочка, не торопясь, ушла и через несколько минут пришла с зажженной сальной свечой.

Опарина взяла мой паспорт в обе руки и, держа его между собой и свечкой, стала глядеть на него. Вероятно, она хотела удостовериться, действительно ли бумага гербовая.

— Фальша! — сказала она; но в ту же минуту взяла свечку и ушла в сенцы; за нею вышли ямщик, девочка и я.

— Ербова? . . гляди! — сказала она ямщику.

— Ербова! цена — рупь. . . цифру вишь?

— Вижу — ербова и палку вижу. Впервые. . . Окулька, гляди!

Девочка тоже стала глядеть и сказала: «Птица!»

Затем хозяйка, спрятав мой документ в карман сарафана, ушла в избу, из избы в горницу; девочка спустилась во двор и стала загонять к одному углу куриц, а ямщик тронулся.

— Счастливо оставаться, — сказал он мне.

Так как без паспорта я не мог ехать, то и не стал задерживать ямщика. Он даже не спросил с меня на полштофа, вероятно потому, что по расчету он должен бы был возвратить мне около двух рублей денег.

По отъезде ямщика я сел на крыльце.

Было очень скучно, в особенности с дороги, когда хочется спать. В другое время и при другом положении я уснул бы, сидя, где попало; но теперь, в незнакомом месте, мог ли я спать, думая: а вот-вот выйдет хозяйка, что-то она скажет?

— Ты што ж тут торчишь? — услышал я вдруг сердитый голос.

— Извини, тетушка... ямщик не взял: я, говорит, боюсь, как бы тебе плохо не было дорогой.

— То-то, не взял! Чай у те и пачпорт-то не настоящий... Ну, чего сидишь тут?

Я не знал, что мне делать: отправиться ли в избу или идти куда-нибудь.

— Окулька, постели кошму-то в сенях! — крикнула хозяйка девочке и потом сказала мне: — ты ляг там, в сенях, тулупом оденься, взопрей... Ужо малины дам испить. — Она ушла в избу.

Немного погодя я уже лежал в сенях на широкой скамье, куда принесли войлок, подушку и овчинный тулуп. Лежал я раздевшись, покрылся пальто, а не тулупом, потому что в сенях было и без тулупа жарко. Хозяйка принесла мне чайник и чашку. Чайник был горячий.

— Вот пей, — сказала она и поставила чайник и чашку на пол.

— Покорно благодарю, тетушка... Как бы не ты, не знаю, што бы...

— Ну... завтра баню истоплю... Теперь только согрейся.

Хозяйка ушла в избу, и минуты через три из избы послышался крик хозяйки и плач девочки.

— Это што? Я тебя што заставила делать?.. лодырничать?! Вот! вот!

Хозяйка била девочку.

— В угол, на колени! — кричала хозяйка.

Скоро я заснул.

Рано утром встала хозяйка, растолкала пинками девочку и заставила топить баню. Так как я лежал в сенях не против двери в избу, то и не видал, что делала хозяйка, только слышал, что она щепала лучину, шлепала тяжело ногами по полу, ругала кошку за то, что та вертится около ног, ругала кого-то чертом, что-то шептала, и когда воротилась девочка, она ее два раза ударила по чему-то и ругала за то, что та хлебную чашку не опрокинула, а просто зря бросила, не вымыла как следует деревянную чашку — и т. п. Хозяйка стряпала, а девочка бегала взад и вперед то по избе, то по сеням, ругая шепотом хозяйку.

Не знаю, сколько времени я пролежал, переворачи-

ваясь с боку на бок. Вдруг в сени входит, крадучись, невысокого роста мужик в зипуне.

— Здорово живете! — сказал он и снял шляпу, обращаясь к моему ложу. Вероятно, он принял меня за члена семьи.

Я промолчал.

— Дома тетушка-то, Степанида Онисимовна?

— Дома.

Крестьянин вошел в избу и не запер за собою дверь. После обыкновенных приветствий и расспросов с обеих сторон о здоровье настало молчание.

— А я к тебе, тетушка Онисимовна, со своим с горем... Ох!

— Какое у тебя опять горе? В кабак что заложил опять?

— Ох, не то, тетушка... Кабак што?.. А вот оно, горе-то, и не думал совсем... Кабы знал... Ведь лошадь-то пала.

— В самом деле?

— Истинным богом говорю.

Настало опять молчание: только слышно было, как крестьянин всхлипывал.

— И думал ли я?.. И что это за год нони: первую лошадь украли, а эта пала... А лошадь-то какая лядащая была... Ну, что я теперь за хрестьянин?

— Уж истинно год ноне такой. Сколько лошадей-то пало.

— И не говори... Все тоже говорят: мор такой, што и не бывало такого... Так как ты думаешь насчет этова?

— Повремени маленько. Капитал-то есть ли?

— Ни... Вот одна надежда была: репы, мол, продам...

— Ну, на репу-то много не полагайся... подожди овса... это лучше.

— Да што овес...

— Как што? А ты продай мне ево! сколько возьмешь?

— Не хотелось бы продавать-то...

— Да я не все.

— Надо хозяйку спросить.

Тетушка и гость снова замолчали. Первый прервал молчание крестьянин.

— Ну, а ты сколько назначишь насчет овса-то?

— Почем я знаю, сколько выдет? Надо на деле увидать, да потом и дать цену.

— Это ты справедливо... А вот я смекаю: Илька Козлов уж давно хочет пропить свою лошадь.

— Вот и покупай.

— То-то, што денег нету.

— Достанем. Только ты насчет овса решай дельнее да толком, штобы опосля ни тебе, ни мне не было в обиду.

— Всего-то жалко, потому прикупать не хотелось бы.

— Ну, там увидим.

Немного погодя крестьянин, поблагодарив хозяйку за совет, ушел, разговаривая сам с собою вполголоса.

Через полчаса после ухода крестьянина к моему ложу подошла девочка и робко сказала мне:

— Тетенька велит — баня поспела.

— Скажи, что я не могу так идти, — ответил я, указав на себя. — Она всю одежду обобрала.

Девочка ушла, но скоро воротилась.

— Тетенька так велит, — сказала она и ушла.

Я лежал.

— Ты што ж? Двадцать раз, што ли, тебя посылать-то?

— Дай хоть накинуть на себя что-нибудь.

— Да ведь я говорила девчонке, штоб ты шугайчик надел.. Ах, штоб ее! .. нисколько у ней нет рассудку. — И хозяйка дала свой шугайчик, который мне был до колен. В этом одеянии и босый я пошел в баню. Хозяйка, однако, воротила меня от двери в огород.

— Возьми... да натрись камфорой хорошенько, попрей. . Слышишь, што я говорю? — кричала она мне, держа в руках пузырек.

Я воротился, взял пузырек с камфорой.

Хотя вообще в этом селе огороды находились далеко за задними постройками, но у моей хозяйки, по выходе из двора, за погребами, было устроено несколько парников, ничем не покрытых; большею частью в этих парниках росли огурцы и тыквы, стебли которых тянулись кверху по жердочкам. Невысокая, с небольшим отверстием в стене, черная баня, без крыши и передбанника, стояла около речки. В бане было и темно и жарко, пахло уксусом,

вероятно потому, что его лили на каменку, для того чтобы не было угару.

Находившуюся в пузырьке камфору я до половины розлил на полу бани для вида и, само собой разумеется, не терся ею.

— Ну, што? — спросила меня хозяйка, когда я пришел из бани.

— Покорно благодарю. Ну уж, и жарко же. . .

— На то и бани. . . легче ли?

— Немного легче.

— А што же это от тебя камфорой-то не пахнет? Терся ли ты? — вдруг спросила она меня.

— Тер много.

— А отчего же не пахнет?

— Может быть, у тебя нос заложило.

— Поговори еще. . . Поди ляг на свое место, а там увидим. Может, завтра и в путь можешь обратиться.

Это решение хозяйки мне очень не понравилось, но я думал, что упрошу ее дозволить мне пожить у ней сутки двои, трои.

Делать нечего, опять лег. Вдруг хозяйка кричит в избе:

— Это што за мода еще! Какое это такое дозволение ты получила в овечку мою палкой швырять?

На улице голосила женщина, но я не мог расслышать ее слов; хозяйка все более и более кричала, начала ругать женщину и с бранью выбежала на двор, потом на улицу. Сначала женщины кричали на улице, потом уже у крыльца.

— Ты уж шесть раз соборовалась, в седьмой околеешь! — кричала посторонняя женщина.

— Нечего меня болезнью упрекать — все под богом ходим. А вот ты сама-то какой поведенции.

— Ты только с беглыми знаешься? Не знают, што ли, што у те и теперь беглый скрыт!

Ругань усилилась; женщины голосили очень громко, так и думалось, что они вцепятся друг в дружку, однако кончилось тем, что хозяйка выгнала женщину за ворота и потом долго ворчала в избе.

— Из-за чего это у вас вышло? — спросил я хозяйку, когда она стала что-то искать в сенях.

— Ну, вот, сам посуди, гожее ли это дело: раз — кри-

чать на улице, другой — обзывать меня всякими мерзкими словами. А за что? Какой я, к примеру, поведенции? спроси хоть кого, все скажут обо мне, что я, может быть, в тыщу раз честнее ее. Теперь, кто ко мне за советом ходит? Слыхал, поди, даве разговор-то?.. Всем надо угодить да помочь чем-нибудь, а ведь я тоже не богачка какая, золота ни одного разу не видывала... Да мало ли што?.. Меня и в городе все знают, потому у меня там торговля есть, хоть и не корыстная, а все ж не воровски торгую, слава те господи... А она обзывать? Да я ее после этого во всем селе обесславить могу, да и тут жалею, потому муж-то ее и так бьет.

Она подошла ко мне ближе, утерла правою рукою рот и, понизив тон, продолжала:

— И как бьет он ее, судырь ты мой, как бьет, просто не приведи царица небесная!.. Мой муж драчун был, да я справлялась с ним, да и то, когда это во хмелю, ну, а во хмелю всяк справится, умей заговорить или поблажку ему сделай, потому пьян и бесчувствен, — вино ходит... Да и опять, мой муж, как проспится, бывало, прощения просит: прости, говорит, Онисимовна; ты, говорит, баба золотая, за тобой никаких примет худых нет. А уж коли муж говорит, могу ли я не гордиться! А это што? И рожа-то у ней блин... провалиться! и сама спичка спичкой... И в девчонках была со всеми в ссоре, ни с кем не ладила; воровка была сосветная... Сколько раз стегали!.. Просто мать смучилась, насилу жениха нашли... Так нет. Иная бы все к дому, о хозяйстве бы попечение имела, а эта все из дому, да с солдатом и связалась.

— Отчего же у вас ссора-то вышла сегодня?

— Да это еще што — цветочки... Ссора ли это?.. Кабы я старосту позвала — ссора, значит, а разве она стоит того, штобы бросить для нее свое дело и бежать к старосте... Да я на нее и вниманья, што есть, не обращаю... Вот што!

— Она, кажется, твою овечку била?

— Ну, разве она не мерзавка после этого? Разве это хорошо — при людях пакости делать своему человеку? Да я, если бы племяннницу свою застала за таким делом, будь тут скотина самого злющего моего ворога, я бы и не знала, што бы с девчонкой сделала... Потому — коли это не пакость? Ты как хочешь ругайся, — язык-то не на при-

вязи, глотку-то не заткнешь, — а скотина христовая чем виновата?.. Да што и калякать об этом! А ты вот што прими в рассудок, потому ты приказей и эвти дела не хуже моего должен знать. Вишь ты: я теперь повитуха; окромя меня, никто этим делом не занимается. Ну, вот она и полезь в повитухи. Знашь, пришло время ее сестре рожать, вот она и сбей сестру: не надо, говорит, Опариху, я сама умею, видала... А надо спросить ее: где она видала-то? Разве я показываю кому? Разве я могу секрет рассказать? Не могу, потому грех.

— Почему же грех?

— Почему? А вот почему, я те скажу. Теперь я повитуха и знаю, как и што и с кем дело делать; опять — кто какой комплект имеет, это первое. А скажи я бабе: баба — дура и возьмет себе, што и она тоже смыслит. Ну и начнет и повредит што ни на есть... Кто в ответе, как не я, потому я допустила своей простотой до греха человека, потому может али ребенок, али мать помереть. Не так ли?.. Ну вот она и уважила сестрице: ребенка уморила, да и мать-то скорехонько умерла... Вот она что наделала.

— А доктора у вас нет разве?

— Хватился! За дохтуром-то надо в город ехать, да он еще и не поедет... Муж-то покойной и то уж жаловался становому, да тот его же обругал: зачем, говорит, казенную бабку не взял? Я, говорит становой, тебя же за это к суду потяну... Так и не взялся за бабу. А это все оттого произошло: становой-то на меня зубы точит от зависти. Приказывал сколько раз не лечить никого. Из молодых, ишь ты, холостой: кабы свою жену имел, не то бы заговорил; кутило — страсть! А все же сила не в нем, а в мужиках, потому, коли баба родить хочет, становова ли это дело?

— А казенной бабки разве у вас нет? — Опарина засмеялась и надменно проговорила:

— И к чему эти модницы?.. Не понимаю. Вот уж именно, што казна сорит попустому деньги; много у нее денег-то!..

— Да ведь они учатся, им эти места дорого стоят. Ведь они, тетушка, из бедных, и им не легко было прожить то время, в которое они учились, да и место не скоро получишь.

— А ты на деле узнай, да и толкуй. Я уж двадцатый год в город-то езжу и получше твоего знаю, — проговорила сердито Опарина и ушла в избу.

Обедать Опарина меня не пригласила, вероятно на том основании, что больному человеку есть вредно; я не напрашивался. После обеда Опарина легла соснуть, проспала не более получаса и стала куда-то собираться. Теперь она была в хорошем настроении и даже хохотала, разговаривая с своей племянницей.

— Поди-ко, запряги бурка-то! — сказала Опарина девочке.

— Да я опять неладно...

— Ну-ну!.. Надо же ко всему приучаться. Слава богу, с невесту ростом... Пошла!

Девочка пошла во двор и встретила там мальчика.

— Ты што тут ковыряшь стену-то, дурак?

— Сама дуя!

— Пошел, пошел!!

— Да ты не деись. Сказу мамке-то... я... — Мальчик заплакал.

Вышла Опарина на крыльцо, закричала на детей.

— Я, тетуска... мамка послая... А она делется... я разе...

— Ну?!

— Мамка лодит... послая.

— Родит, говоришь?

— К тебе послая... Посколяе, бает, помият тожно.

— А, штоб вас!.. Только баловать... Пошел проворней: приду!.. Черти! — И Опарина ушла со двора, девочки тоже долго не было.

Опять скучно, как и вчера... Делать нечего; изба и приют Опариной казались мне противными, так и хотелось скорее удрать отсюда; но что-то удерживало.

Опарина воротилась часа через три, запрягла лошадь в долгушку, положила в долгушку два лукошка с чем-то, один небольшой бочонок и небольшую кадушку.

— Ну, оставайтесь, благословясь... В город поеду, — сказала Опарина, совсем готовая к отъезду.

— Возьми меня, я совсем здоров...

— Да тебе там что за надобность приспела?

— Ведь ты не надолго, а я бы поглядел на город.

— Места нету: самой кое-как и то присесть. Завтра

или послезавтра беспременно буду... А ты смотри, штобы все было в порядке, слышишь? Задеру, коли што... — говорила она племяннице.

— Сколько же тебе за житье-то, тетушка? — спросил я.

— А ты разе ехать хошь?

— Хочу.

— Так вот и пустили! — Она ушла во двор, а минут через десять поехала, говоря племяннице наставления.

Через полчаса племянница куда-то ушла. Она вернулась домой ночью, и как пришла, так и легла, не раздеваясь, на скамью. Во все это время я был хозяином в доме: щеголял в своем костюме, сидел у раскрытого окна с трубкой, хлебал щи, которые находились в печке, и даже читал библию, которая лежала в горенке, на небольшом столике под иконами. Но особенно меня занимали небольшие тетрадки, найденные мною в том же угольном столике комнаты. Первые и последние листы были оторваны, прочие листы исписаны разными почерками — крупно, мелко, по-печатному, косо и прямо. Тут означались имена и фамилии, вещь и цена, например: «Никофору Яковличу сена 1 р. 15 коп.» — и все вроде этого. Немного страниц было пустых. Уплачены ли деньги — ничего этого не показано и не зачеркнуто. В иных местах было написано чернилами, две-три страницы залиты чернилами, несколько пол-листов слиплись и пропитались салом, во многих местах ничего нельзя было разобрать, потому что или карандаш стерся, или писано серыми чернилами, и хотя крупно, но неразборчиво, вроде таких слов: *«аляси казу бракуй»* — и т. п. Ни чисел, ни месяцев, ни даже праздников нигде не обозначено. Кроме этого, я обратил еще внимание на стену против окна, у которой стояла кровать с периной, вероятно принадлежащая Опариной. На этой стене в нескольких местах начерканы углем палочки, косые и кривые, и крестики. Несколько палочек и крестиков были уже зачеркнуты. Я вывел то заключение, что Опарина грамоте не умеет и здесь, вероятно, что-нибудь на память записывает.

Вечером погода стояла хорошая, и я сидел большею частию у открытого окна, так как солнце светило на противоположные дома. Село было оживлено более обыкновенного, так что на улице играли ребята и сидело

несколько мужиков кучками в разных местах; у своих или соседских домов сидели женщины с рукодельем или грудными ребятами. Веселы же были, надо сказать правду, только ребята, а мужики и бабы разговаривали между собою о чем-то не очень весело. О чем они говорили — я этого не слышал. Но вот из калитки противоположного дома вышел старичок в синей рубахе, опоясанный плетеным из красной шерсти поясом, в таких же синих с заплатами штанах и в лаптях на ногах. Лицо его было очень бледно, волоса и борода седые; сам он был сгорблен, и его немножко трясло. Отойдя немного от калитки, он сел на скамеечку, перекрестился и подпер голову руками.

— Дедушка Иван, подь в компанство! Чего сидишь один-то? — кричала какая-то женщина старику. Дедушка Иван посмотрел на кружок, заключавший в себе двух женщин и трех мужиков, и ничего не сказал.

К старику подошла молодая женщина, держа в левой руке пряжу, и, поглядев кругом, что-то шепотом спросила старика; тот только рукой махнул. Женщина подсела к нему, и между стариком и женщиной начался разговор шепотом. Я несколько раз замечал, как женщина указывала рукой на дом Опариной, как раз на то окно, у которого сидел я, и старик только взглядывал по направлению руки, сжимал рот и никаких при этом особенных движений не делал.

— А ты слышал: прибыль бог послал Анне-то Федосеевой, — проговорила вдруг женщина громко.

— Ужли родила? Когда? — спросил старик, широко взглянув на женщину.

— Никак в обед бог дал — сынок... Опариха была.

— Да ведь уехала Опариха?

— Уж она свое дело справила. Была я сегодня у нее, у Федосеевой-то: хомяк — мальчонко-то!

— Ну, дай бог.

— Ты бы зашел бражки выпить! А? Заходи?

— Покорно спасибо.

Женщина отошла прочь и что-то часто глядела на мою особу.

Хотелось мне очень выйти на улицу, пройтись по селу; но выйти — значило нарушить беседы крестьян: они бы тогда перестали разговаривать, потому что я для них человек совсем посторонний. Кроме того, я еще не знал отноше-

ний крестьян к моей хозяйке Опариной. Так я и просидел до заката солнца, когда на улице уже не было ни души.

Я уже хотел затворить окно, как услышал мужскую брань и визг женщины. Разобрать сначала не было возможности, потом я из криков понял, в чем было дело. Крестьянин, изрядно выпивший, тащил в волость свою пьяную жену, которая украла у него последние два рубля, и он нашел ее в кабаке. Что там она делала — я не понял, но надо полагать, что что-то нехорошее. Муж тузил жену, жена ругалась и кричала: «Зарежу, варнак, зарежу! ты меня в гроб вколотил, — зарежу!» А так как в окнах показывались мужские и женские головы и оттуда слышались одобрения, относящиеся к обиженному мужу, то обиженный муж останавливался и кричал:

— Прислушайте, батюшки! Прислушайте, голубчики... осподи!

— Хорошенько ее... Она сегодня как Опариху при всем мире чествовала... Хорошенько!..

— Зарежу!! спалю село... — визжала отчаянно женщина.

— Веди ее... ничево!..

— Прислушайте ее речи... Будьте свидетелями... благодетели!..

Против церкви несчастную женщину уже тащило двое мужиков; она рвалась, билась, голосила; муж бил ее веревкой.

— Вот наказанье-то... осподи! — говорили, качая головами, зрители и запирали окна...

В одном окне, недалеко от церкви, показалась голова мужчины, с волосами, заплетенными в косу.

— Што ж ты ее бьешь, мошенник! — крикнуло лицо.

— Отец Василь... право...

— Пошел спать, свинья... а не то самого в волость запереть велю!

— Он меня погубил... истребил совсем... кровь! — выла женщина.

Я закрыл окно и хотел идти на улицу, чтобы защитить женщину, но мне пришла в голову мысль: могу ли я тут помочь ей чем-нибудь, когда и она пьяна, и муж ее пьян, и все соседи вооружены против нее?.. Так я и оставил свое намерение. Но эта сцена долго беспокоила меня. Хозяйка рассказала мне, что эта женщина испорченная;

теперь я увидал, что в селе все против нее; муж ведет ее в волостное правление за кражу у него трудовых денег, которые, может быть, составляли весь его капитал, и за какое-то другое прегрешение... Вероятно, не она сама дошла до такого положения, что все против нее и что заставляет ее быть такою, а довело же ее до этого что-нибудь и кто-нибудь? И что будет дальше с этой женщиной? Во сне мне мерещилась эта сцена, и казалось мне, что эта женщина горько раскаивается перед начальством во всех своих делах, просит прощения — и еще чего-то хотела бы она попросить, да не знает, чего бы такого...

Встал я при восходе солнца, разбудил девочку, взял по ее указанию набируху и пошел за грибами. Но когда я вышел за ворота, то решительно не знал, в какую сторону идти. По счастью, из одних ворот выехал в телеге крестьянин. Я спросил его.

— По грибы-то, поштенный, неблизко: верст пять будет, да и тут ходьба-то через речку Малиновку.

— Не пойдет ли кто из ваших?

— Из моих-то двое ушли. А вон к половинкиновскому дому постучись, может старуха Маремьяна подет. Она поздно уходит.

Я поблагодарил крестьянина и подошел к указанному дому.

Оказалось, что старуха, бабушка Маремьяна, страшная охотница до грибоискания, сегодня идти не может, к великому ее сожалению, так как у нее что-то очень неловко под сердцем, и она было посылала за попом, да поп уехал ночью в деревню Загибалиху. Молодуха сказала мне, чтобы я попросил Степаниду Игнатьевну, что живет напротив, чтобы она отпустила со мною своих парней. Я так и сделал. Оказалось, что парни сегодня поедут на покос и что если мне так желательно идти в лес, то я один могу идти, так как я не маленький, или бы мог взять с собою племянницу Опарихи, у которой я живу. Все это говорилось коротко и как-то неохотно.

Делать нечего, поплелся я наудалую. При выходе из села я увидал впереди женщину с лукошком на спине. Я ей крикнул раз, крикнул два, пустился в бег — кое-как женщина остановилась. Она была не молода; лицо ее было изнурено, глаза заплаканы. Я не стал тревожить ее и, при входе в лес, повернул от нее направо и ходил все

больше по краю и редко-редко заходил вдаль, опасаясь потерять из виду пашни.

О своем похождении за грибами, о том, как приятно быть в лесу одному, говорить не стану: это предмет известный. Но вот я вышел из лесу и увидал, что у ржи сидела та же самая женщина. Ее плетеное лукошко было переполнено до того, что представляло собою два этажа, из которых верхний был гораздо шире нижнего, потому что в лукошко были воткнуты свежие прутья рябины, а меж них переплетались такие же прутья и служили продолжением лукошка, так что будь у этой женщины желание сбирать грибы целый день, то она, вероятно, увеличила бы лукошко аршина на два. Около нее, на траве, лежало десятка три красных грибов, которые, по всей вероятности, не входили в верхний этаж лукошка. Женщина была босая; толстая кожа ног была изранена во многих местах, и она теперь вытаскивала из левой ноги занозу... Я присел недалеко от нее и закурил трубку. На спрос мой, как она может ходить босиком в лесу, где почти на каждом месте лежат сухие прутья, сосновые иглы и т. п., она упорно молчала; также ничего не ответила и на замечание, что сегодня день жаркий. Поэтому продолжать какие бы то ни было вопросы мне было неловко, и я счел за лучшее идти домой.

День был действительно жаркий, тем более было мне жарко в моем длинном пальто, похожем на халат; мне хотелось пить, а воды не было. Но все-таки здесь дышалось лучше, чем в душном городе. Идя между двумя пашнями, я вдруг потерял из виду село. Оказалось, что местность, по которой я шел, была низкая. Наконец выбрался я на ровное место. Церковь наискось, левее. Налево, почти в ногу со мною, шла неразговорчивая баба: я видел только ее голову, повязанную платком, и верх лукошка с плотно укладенными в нем грибами. Вскоре я потерял ее из виду, но когда вышел на только что унавоженную землю, увидал опять ту же женщину, сидящую у одного обожженного пня. Она упирала голову обеими ладонями и горько плакала.

— Тетушка! о чем ты плачешь? Аль болит что? — спросил я, подойдя к ней.

— Ох! — простонала она и пуще прежнего заплакала.

Мне хотелось узнать причину ее горя, но я не знал,

что сказать ей. Вдруг она перестала плакать, дико взглянула на меня, отвернулась, минут с десять проглядела на одно место — и вдруг кинулась мне в ноги и проговорила:

— Не освободишь ли ты, кормилец, сестру-то мою, Дарью Егорову? Спаси, кормилец, по гроб буду за тебя царице небесной молиться, матушке-то нашей!

Большого усилия мне стоило уговорить женщину сесть; я злился на то, что остался у Опариной, пошел по грибы — и теперь должен разыгрывать роль чиновника.

— Што, разе твоя сестра худое что сделала? — спросил я ее.

— Ой, ни в чем не повинна, как перед богом истинным... Перед небом, што перед престолом, говорю... Все это от него, от мужа-варвара, да от злодейки Опарихи жизь такая... Все он... Освободи ты ее... Стегать ее хотят.

— Если что могу — сделаю, только на меня ты много не полагайся: потому я человек не служащий, а живу здесь потому, что захворал дорогой, а раньше этого и вовсе не имел никакого намерения даже и мимо вашего села проезжать.

Женщина смотрела на меня тупо; она, казалось, ничего не поняла из моих слов.

— Он, муж-то ее, да злодейка Опариха все жилы, проклятые, вытянули из нас.

Мы несколько минут молчали. Я не знал, что говорить, о чем спросить ее, и вдруг сказал:

— Чем же он и Опариха обидели вас?

Женщина только охала. С большими усилиями рассказала она мне целую историю, которая, как я понял, была такова:

Отец их был волостным старшиной в то время, когда они, сестры, были молоды. Братьев у трех сестер, живших душа в душу, не было; а мать в то время, когда их уже прочили в невесты, то есть на пятнадцатом году, была не родная, но мачеха — и, само собой разумеется, не имела об них такого попечения, не любила их и не заботилась об их нравственности, как родная мать. Поэтому в доме часто случались драмы такого рода: мачеха заставляет падчериц что-нибудь делать — они вон из избы, к подругам, откуда мачеха нередко прогоняла их с криком, бранью и побоями, чем попало, — что, разумеется, немало

бесило девушек, забавляло парней, а от этого взрослые люди села считали дочерей старшины за отпетых девушек, у которых будто бы не было ни стыда, ни совести. Но все это была чистейшая ложь, потому что девушкам только и было радостей, что у подруг, где они, и то только на вечорках, играли в разные игры с парнями. Отец был пьяница; он вполне верил жене и даже боялся ее по одному обстоятельству, которое рассказчица не хотела выдать на свежую воду. До семнадцатилетнего возраста житье сестрам было каторжное. Не удалось им выйти замуж по своему желанию. Мачеха сказала своему мужу, что надо наперед столкать замуж старшую дочь, но не за кого-нибудь, а за ее хорошего знакомого, десятского, у которого в селе в то время был постоялый дом и который, независимо от своих служебных обязанностей, исполнял тогда даже почтовую гоньбу. Возражения и слезы Дарьи против этого не были приняты во внимание, и Дарью обвенчали насильно, но в первую же ночь молодой улизнул от жены, что весьма удивило поселян и разозлило старшину. Но каково было посрамление молодой! — над нею смеялись все девушки, все парни и в особенности тот, кого она больше всех любила. Дарья, впрочем, долго не думала и сама стала пропадать из дому. Начались безобразные ссоры, брань, побои. Между тем все произошло вот отчего: десятский просил от старшины приданого тысячу рублей, на которые хотел расширить отправление почтовой гоньбы и прикупить несколько десятков десятин хорошей земли в таком-то месте. Старшина обещал выдать ему эту сумму тотчас после венчания, и так как между ними не было заключено никаких письменных обязательств, то старшина, по благословении молодых иконами, наотрез отказался от слова, отчего за ужином между тестем и зятем произошла драка, после которой десятский и удрал из села в город со вдовой Опарихой, а через неделю прогнал от себя жену и стал жить открыто с Опарихой. Потом он поссорился с Опарихой и взял к себе Дарью, и когда его сделали старшиной, он стал обращаться с ней ласково, говоря ей, что он доконал-таки ее родню тем, что отца за разные подлоги сослали в Сибирь, а мачеху он прогнал из дому, и она неизвестно куда потом скрылась. Все-таки Дарья уже не могла любить своего мужа. Сама рассказчица замуж не вышла, потому что ее

жениха сдали в солдаты, и он неизвестно где пропадал несколько лет, и хотя потом и воротился на родину, но прежние привязанности и отношения называл глупостью и теперь на нее мало обращает внимания. Третья сестра тоже вышла замуж и жила довольно сносно, но назад тому три года умерла от родов. Так и билась Дарья несколько лет. Дела мужа ее пошли все хуже и хуже; продал он всех лошадей, стал пьянствовать, бить жену, наконец его сменили с должности, описали за казенные деньги все его имущество и посадили в острог. В это время Дарья и рассказчица жили где господь бог приведет и где добрые люди позволят. Из острога муж Дарьи выпущен недавно, несколько месяцев занимался конокрадством и теперь кое-как занимается извозом. В селе у него нет ни кола, ни двора, ни пашни, ни покоса. Живет он у своего дяди, жене ничего не дает, и потому она бедствует ужасно, и кусок хлеба достается ей горькими слезами.

— А это неправда, что она вчера у мужа украла два рубля? — спросил я рассказчицу.

— Врет! врет он, аспид. Какие у него деньги?

— Да ведь, ты говоришь, он извозом занимается, стало быть, у него деньги могут быть.

— Каки деньги, коли он приезжает пьян и побирается у дяди. А вчера приехал тоже пьян, ну, и пошли они с дядей в кабак... тот тоже — не пролей капельку. Ну, оттуда приходят пьянее вина и давай искать Дарью, а Дарья только што в кабак нанялась за два цалковых, на своих харчах. Он ее и давай бить и потащил в волость. — Заступись ты, родной! — прибавила в заключение рассказчица.

Я не стал больше расспрашивать эту женщину и не знал, кому больше верить: ей ли, или тетушке Опариной. Мне все-таки казался этот последний рассказ более правдивым, и я решил хлопотать за Дарью у Опариной. Мы пошли молча домой.

Опарина была уже дома, в горенке, и перерывала вещи в сундуке. Увидев меня и оставив незапертым сундук, она подошла ко мне с тетрадкой и, не обратив никакого внимания на грибы, сказала:

— Ну-ко, погляди, что тут наворакошено? [1]

[1] Написано. *(Прим. автора.)*

Я взял тетрадку; тетрадка немного засаленная; в ней написано то же, что и в тех тетрадках, которые я видел вчера.

— Огурцов кадка — пятьдесят семь копеек, — читал я.

— Ну, а сметаны?

Нашел сметану — два рубля.

— Как так?

— Так.

— Да ведь он писал: два двенадцать.

— Тут только два.

— Не врешь?

Я подтвердил. Она стала бранить того, кто записывал, выхватила книжку и ушла в комнату. Немного погодя мы опять стали сверять счеты, — оказалось верно.

— Один раз отрежь, десять примеряй. Нельзя! — сказала хозяйка довольным голосом и завернула тетрадку в тряпку, которую завязала в старенький платок, как будто тут хранились деньги.

— Ты, тетушка, и торговлей занимаешься?

— Помаленьку... бог милует.

— Я думаю, трудно одной-то за всем?

— Што делать-то? Вот и здешним-то нужно угодить и в городе присмотреть. В городе-то у меня сестра торгует по малости, ну, а в ярмонки и я на базаре торгую чем случится.

— Выгодно?..

— Мало... Потому мало, что тому да другому надо дать, подарить, значит. Одново разу с меня много затребовали; ничего не дала — прогнали... Я к начальству: какое, говорю, право нашли твои подначальные деревенских баб обижать? Я здесь не первый год, говорю, торговлей занимаюсь, все мной были довольны. Я, говорю, мол, и до царя дойду. Ладно, говорит начальник, подожди. — Проходит день, проходит два, начальство ни шьет, ни порет. Пошла опять; я, говорит, собираю... не знаю чего...

— Справки, вероятно.

— Ну-ну! Я, говорит, постараюсь... А ярмонка-то через двои сутки кончается. На другой день я опять пошла к нему. «Дома, говорят, нет, уехал...» Я через день к нему... «Што, говорю, ваше благородие, правда-то где у те!..» — «Я, говорит, все сделал, што ж ты, говорит, поздно пришла?» Ну, значит, надо всегды давать...

Хозяйка стала хлопотать об обеде, который состоял из грибницы и жарехи из грибов же, а я пошел в тот кабак, где, по рассказу женщины, сидела в последнее время Дарья.

Это была маленькая комнатка, с перегородкой и стойкой, имеющая вид лавочки, но пропитанная махоркой и водкой. Между стойкой и стеной в углу стояла полубочка, с воронкой во втулке и с медным краном внизу бока. На полу стояло несколько бутылей, два-три полуштофа и несколько пустых косушек. Больше ничего не было. При моем входе в лавочке не было никого, и я, простояв минуты две, удивился простоте сельских жителей. Стал я кашлять — никто нейдет; отворил два раза дверь и хлопнул ею — тоже. Наконец я крикнул довольно громко: «Хозяин!»

Из-за перегородки показалась худощавая молодая женщина и, позевывая, спросила:

— Што тебе?

— Однако, какие вы безбоязливые... Не боитесь, что у вас всю водку утащат.

— Не утащат!

Я попросил стакан водки и заговорил насчет городской торговли вином. Женщина уверяла, что у них, бог милует, воров еще не бывало, а так как в это время почти никто в будни не приходит в кабак, то она и дозволила себе немножко прикорнуть, не запирая дверь, а если же когда кто и придет в кабак в это время, то не беспокоит ее, а дожидается и сам пить не смеет, потому что шила в мешке не утаишь. Только один кум ее пользуется тем правом, что он, приходя в кабак, начинает бражничать: но он бражничает подолгу и не один.

— Это за что же, тетушка, вчера бабу в волость увели?

— А бог их знае. Напасть одна. Муж — пьяница, драчун... ну, и опять, ему больше веры... .

— Она у вас жила?

— Да где ж ей и жить-то больше, как не у нас, потому уж вся избитая... Все Опариха.

— Опариха, говоришь?

— Ты хошь и у нее живешь, а я все-таки ее не боюсь, потому как теперь я торгую водкой, так и она тоже торговка, и говорить я все могу. Што она прытка, это за ней

пусть и будет, а што насчет ее лиходейства — шила в мешке не утаишь. Вот што... Все знают, што как муженек-то ее помер, она и давай примазываться за мужем Дарьи-то в та поры, когда он еще холостой был. Как ведь не примазаться: тогда достатки были у него, а она только домом и владела... Ну, да тот на деньги позарился, женился на Дарье, да Опариха оплела его; так-таки и оплела. Чьи теперь у нее покосы-то да пашни? — Олексея. Чья лошадь у нее? — ево же. Вот она какая! Ну, разе жене это не обида? Да она, я те скажу, — хоть ты передавай, хоть нет, — через нево и в люди-то вышла, и она же опять и разорила его; а как разорила, и знаться с ним перестала.

— Как же это она сделала?

— Как? Да так: как завидела она, что он на ней не женится, а на попятный двор от нее, она помалчивает, а потом и говорит: што же, говорит, Олексей Митрич, ты не зайдешь пивка попробовать? Тот зашел, стал плакаться на свое житье. Она его ласкать... Ну, и пошло дело. Денег ли надо, она даст, да не зря, а записку возьмет и срок в записке покажет. Вот она какова!.. Тот все брал-брал, да как попал в беду, то она ему и дай еще денег под лошадь да под корову, а потом и предъяви записки куды следует. Ну, знамо, без денег не обошлося.

— Она, значит, капитал имела?

— Знамо, воровски жила... У нас-то украсть нечего, так в городе воровала, а в городе-то у нее сестра родная за солдатом замужем; ну, и хоронили концы, тем и торговлю завели. Вот таким-то манером она и завладела покосами да пашнями. А уж насчет это... куды как речиста, заговорит. Вот Олексей-то Митрев и пришел к ней после острогу и давай корить ее; а она на одну речь ему сто речей, ну, тот и присмирел; у нее же и занял опять под расписку... Она ему и лошадь даже дала, да лошадь ту он сбыл, другую завел, значит, потерял — ищи! Знать не знаю, говорит: у меня такая лошадь, а в твоей записке другая... Ну, значит, маху дала... Так она, значит, и разорила ево. А уж про Дарью и говорить нечего: так-то ли она на нее зловредна — беда!

— А давно лошадь-то потерялась? — Женщина посмотрела на меня подозрительно и спросила:

— А тебе на што?

— Нет, я так. Ведь мое дело стороннее.

— Да с месяц будет... Ты видел у нее лошадь-ту?

— Плохо.

— А лошадь отличная: рублей пятьдесят, надо быть, стоит, а она на ярмонке купила, говорят, за пятнадцать.

— Ямщики говорят, Опариха здесь в почете.

— Да мало ли дур-то да простофиль... Оно, конешно, свое добро даром отдавать не приходится, только уж она плутовата больно. Вот хоша бы к примеру: Кузьма Залыжных взял у нее пять мер овса...

— Своего-то не было?

— То-то, што сбился деньгами и закабалил овес-то ей же прямо с пашни. Ну, она записку с него: заплатить, мол, к паске. Паска пришла, а у того денег нет... Пиши, говорит, новую... То сдуру-то и напиши.. Ну, значит, и вышло две записки... Вот какова Опариха-то!.. И ей все сходит, чтоб ее язвило!..

На этом мы и покончили разговоры. Опариха весьма заняла меня. Мне хотелось расспросить ее о ее жизни, и я стал выжидать удобного к этому случая; только случая этого не представлялось, а расспрашивать ее прямо, ни с того ни с сего, неловко.

По окончании обеда, когда Опарина наказывала племяннице, как какому-то крестьянину отмерить овса, так чтобы было не в убыток Опариной, или, попроще сказать, обмерять, я вдруг спросил ее:

— У вас, тетушка, на каком основании наказывают розгами женщин?

— На том, што обучать уму-разуму следует всякого!

— Ну, а если бы, к примеру, — тетушку Опариху?..

— Этова не будет: я законы знаю. Знаю, што ноне это отменено.

— Значит, коли отменено, наказывать противозаконно, а кто не исполняет закон, тот не должен ли отвечать?

— Да ты к чему эту историю подвел?

— Слыхала ты: хочут стегать Дарью Яковлеву?

Лицо Опарихи немного передернулось, глаза сверкнули.

— Откуда ты это слышал?

— Все говорят, — сказала племянница, перемывая чашки и ложки.

— Не тебя спрашивают! — крикнула хозяйка.

Я рассказал вчерашнюю сцену.

— Ну, этому не бывать!.. Вот еще новость!!. Какое они такое право взяли баб стегать?

— Да тебе-то тут што?

— Разе мне не обида? Разе это не обида всем бабам, коли над ними мужики будут командовать так и издеваться?

— Да ведь ты на нее сердита?

— Сколь сердита, столь и милостива. Ты думаешь, я без чувствия?

Хозяйка торопливо оделась и скоро вышла; она скрылась за церковью.

Вечером на поляне, перед домом Опариной, сидело несколько женщин; сидели они в различных позах полукругом, с работами, а у завалинки дома Опариной сидели девочки с грудными ребятами, заменяя своими особами нянек, около них же терлось штук шесть детей-малолеток. Молодое поколение говорило негромко, потому что занято было играми в клетки, потчеваньем друг друга глиняными лепешками и т. п. Налево от молодого поколения лежали на поляне холсты и нитки. Женщины разговаривали, но не шумели по обыкновению, а вели себя чинно, вероятно потому, что тут ораторствовала Опарина. Она уверяла, что гораздо лучше утыка́ть дома куделей, чем мохом, потому что от этого в избах теплее делается; смеялась над одной соседкой, что она, не имея хорошего рассудка, вздумала положить паклю на каменку. Все это она разъясняла в течение получаса, останавливаясь только тогда, когда ее перебивали, и хотя в ее словах ничего не было нового и интересного, но женщины слушали ее, как я заметил, с удовольствием, часто отрывая глаза от работы; и когда она кончила, они не нашлись сделать какое-нибудь возражение Опариной.

— Бабы, не найдется ли у вас излишку пакли? — спросила вдруг Опарина.

— Тебе на што?

— Надо. В город — один купец просил пуда с два. Так... на пробу.

Разговор перешел к пакле. Оказалось, что теперь пакли едва ли у кого можно найти. Одна женщина ска-

зала, что у нее хотя и есть немного этого товара, но она дешево не отдаст, тем более потому, что у нее нет льну, а лен сеять они будут года через два, когда справятся. От пакли перешли к тому, что нынче торговля чем бы то ни было стала не в пример хуже прошлых годов, народ стал собака, полиция придирчивее, так что хоть и не езди в город. Только вот еще ярмонкой и можно кое-как биться, да и тут поганые татаришки стараются завладеть первыми местами, отбить их, бедных женщин, на задний план, и продают гнилой товар, перекупают лучшее и их же, опытных торговок, ловко нагревают. Против этого Опарина смело возражала, что если кто не умеет взяться за какое-нибудь дело, тот не должен и браться за него, потому что он смешит народ и делает убыток своему карману. Женщины пытались было опровергнуть это своими примерами, но примеры разбивались Опариною различными доказательствами из своей практики; тогда женщины стали корить ее разными плутнями, и дело чуть не кончилось небольшой ссорой, но Опарина незаметно перешла к Дарье Яковлевой, показывая на нее как на женщину, не умеющую ни за что взяться, отчего из нее впоследствии нельзя ожидать ничего хорошего.

— Да виновата ли она-то? — возразила вдруг одна женщина.

— Сам плох, так не подаст бог. Разе я не так же бедна была в молодицах-то? Разе вы тоже из богатых семей-то? Вспомните-ка прошлое время!

Несколько женщин вздохнули и вполне согласились с Опариной в том, что действительно Яковлева отчасти сама виновата; что она еще в девчонках избаловалась. Женщины три, неизвестно почему, стали гнать по домам своих детей. Затем Опарина что-то шепотом сообщила своим подругам, отчего одни из них вытянули лица и покачали головами, другие ударили по коленям. Заметно, что сообщенное Опариной известие женщинам пришлось не по сердцу. Вдруг они заголосили все, но я не мог понять смысла этого митинга, только слышал: «Врут они всё! этому не должно и быть! на то разе мы дались им?»

По всей вероятности, суждение происходило насчет Дарьи Яковлевой.

За ужином, состоявшим, как и обед, из грибницы и жарехи, я расспрашивал хозяйку о жизни крестьян и о том,

какую выгоду приносит им земля. По ее взгляду, жить в селе очень можно, земля хорошая, и главное — нужно не лениться. Положим, оброки и разные повинности ныне большие, но она о ненешнем времени умолчала, а говорила, что при прежних порядках некоторые крестьяне сколачивали-таки капиталец и даже уходили в города, и как на факт указывала на одного купца, ушедшего из их села в лаптях и теперь ворочающего большими капиталами. «На все это, — говорила она, — нужны сметливость, терпение и ловкость, нужно испытать всякие лишения и неприятности, и когда дела будут идти в гору, не нужно зазнаваться или выходить из себя». Но при этом о самой себе она ничего не сказала, даже не указала на себя примером. Потом она круто повернула к тому, что их село, находящееся от города К. в двадцати верстах, может иметь выгодную торговлю с городом, если бы за торговлю принялись женщины. По ее понятию, мужчины должны работать в селе, например ухаживать за пашнями, прихватывать работников из разных праздношатающихся людей, которые целыми десятками шляются по миру, могут приучать детей к работе, а женщины должны торговать в городе, тем более потому, что земля дает с избытком то, что посеешь, только пользоваться этим, по мнению Опариной, мужики не умеют, потому что многие из них или находятся в кабале у кулаков, или ленятся и пропивают излишние деньги в кабаках.

— Вот, например, я; про меня все чешут языки, и все меня не любят от зависти. Особливо ни одна баба не скажет про меня постороннему человеку хорошего и приплетет непременно что-нибудь, чтобы осрамить меня. Есть вон и такие, которые даже яковлевской Дашкой попрекают, будто она через меня такая сделалась... Иной раз так до того разозлят в глаза, што даже заплачешь от такой напасти... Ну, значит, креплюсь. А не крепись я да думай, что они меня спалят или что худое над моим хозяйством сделают, — все вверх дном пойдет. Ей-богу! А я на все плюю и им же добро сделаю, потому как бы худ ни был человек, а все же после пригодится и благодарность к тебе будет иметь. Ничего нет хуже в жизни, судырь ты мой, как эта болезь. Шесть раз я после мужа в лихоманке была, шесть раз соборовалась, а не померла... Видно, господь бог терпит моим грехам и для какой-нибудь

пользы длит мою грешную жизнь. А они што? .. хоть бы одна пришла проведать... Вот только племянница и служит мне, да и ту сбивают: иди, говорят, к матери, — Опариха тебя изурочит... А разе я ей добра не желаю? Што она в городе-то выживет? чему научится? Еще, пожалуй, пельмянницей али калашницей сделается... Да и какие ноне нравы в городе! — Опарина перекрестилась, потом обратилась к девочке, которая вязала варежку:

— Поедешь в город-то, как бабы говорят?

Щеки девочки покрылись румянцем, она робко сказала: «Нет...»

— Да ты у меня не смотри так-ту! Знаю я по себе: без меня на голове ходишь, а при мне — в угол. Поди-ко, принеси пивка, да не копайся в погребе-то. Слава богу, наелась, поди.

Девочка вышла.

— А хитрая девчонка! нужды нет, што мала! Нужды нет, што я ее взяла полтора года — все порядки переняла, все по-моему делает. Не беспокойся, лишнего не передаст! .. Ну, в город-то я ее не беру, потому дома надо кому-нибудь быть: иной раз мужики заезжают за овсом. Ну, и бережлива. Это когда чего-нибудь дашь ей — спрячет, так что я уж ей сундучок купила... А тоже ведь и любит меня она, нужды нет, что иной раз губы надует.

— Вы, тетушка, иногда уж очень сердиты бываете, — заметил я.

— А ты думаешь, так им и дай волю! Ты говоришь: принеси чашку, — а она сидит. Ну, разе так науку нужно производить? Какая она после этого мать будет?

— Лаской надо.

Опарина захохотала и сказала:

— Откуда ты это ласки-то найдешь? Разе меня лаской вспоили-вскормили? разе меня топерь ласкают, коль не огорчают тебя на каждом шагу? Ласка што значит? — поблажка... А как сделал поблажку раз-другой да как будет дитятко чужих советов слушаться, тогда придется самой все делать. А я не так богата, штобы дармоедов держать; это, может, у богатых господ так принято... Но как рассерчаешь, тожно и не удержишься — и поколотишь, а потом и приласкаешь. Вот они и боятся и слушаются. К примеру, меня-то как приучали? Не забыть мне...

В это время девочка принесла жбан пива. Хозяйка налила мне полную глиняную кружку, выпила и сама залпом кружку пива. Девочка села недалеко от тетки. Ей тоже, как видно, хотелось или пива выпить, или послушать, что будет рассказывать тетка. Становилось уже темно. На улице никого не было видно; в домах огней тоже не видать.

— Ты што же сидишь, полуношница! Когды — так и за делом спишь, — проговорила обыкновенным голосом хозяйка девочке.

— Я... так... не хотца спать-ту, — проговорила девочка, закрывая рукою рот, который при последнем слове широко раскрылся.

— Пошла, дрыхни! — сказала строго хозяйка.

Пока девочка стлала себе постель в горенке, хозяйка и я молчали.

Хозяйка еще выпила пива и мне налила кружку.

— Что-то мне спать не охота! Оказия!

— Ты даве начала было о своем житье говорить, — сказал я с сочувствием.

— Это насчет воспитания? Истинно, воспитывать нельзя, как строгостью: за всем надо самой присмотреть, потому кто припасает-то? Я припасай, а другой мытарь? — дудки!.. — Вот, к примеру, мое дело. У родителев-то у моих семья была большая, а кажись, окромя меня, никому не было столько чижало. Вот перед истинным богом! (Она взглянула на икону и перекрестилась, голос ее дрожал, как будто ей было обидно.) День и ночь... куды!! Никогда не знала спокою с малолетства. Перво-наперво — ребята. Кого качай, с тем водись; то прибери, другое; то сделай, пято-десято. А жили некорыстно, дай им бог царство небесно, хоша и считались за зажиточных, потому отец-то, не тем будь помянут, хоть и испивал малу толику, но все ж гоношил[1] по хозяйству. Свои пашни имели и ладненько продавали в городе; бывало, в зиму-то мешков десяток продаст и зашибет рублев тридцать, потому пшеничная-то мука в та поры была три с половиной али четыре за мешок в пять пудов, а топерь вон она по пяти и по шести скачет. А мать-то моя продавала тоже в городе яйца, масло и капусту, только не умела беречь деньгу:

[1] Старался. (*Прим. автора.*)

как выручит рубля три-четыре — и давай покупать ситцу али пряников... И колачивал же ее за это отец, крепко колачивал, хоть бы и не следовало, потому огород или скотинка и птица завсегды должны принадлежать хозяйке; опять надо и то в расчет взять — сам-то он испивал же от своих трудов праведных! Ну, а все же она тратилась не в меру, и мы, по милости ее, никогда, что есть, яиц не ели. Впрочем, что об этом и говорить? Бывало, поешь, чего бог даст, а я так до семнадцати лет и терпеть, что есть, не могла яиц. Нутро не принимало. Сперва я все с ребятишками нянчилась да дома управлялась, потому, когда мать в город уедет, все хозяйство на мне лежало. Мать говорила, что я к хозяйству больше торовата, а вот сестра Катерина-то — к торговле. Только я замечала, что сестра Катерина ни к торговле, ни к хозяйству не смышлена; а мне больно хотелось торговать, только мать не хотела. Ну, я и начала производить торговлю в селе. Уж больно мне смешно, как вспомню, как я глупа была в та поры. Мать уедет, я отделаюсь дома и бегу к подруге, или подруга ко мне прибежит, и говорю: давай меняться! Та тоже: ну, давай. А менять-то было што? бусы, суперики,[1] платок... да мало ли што?.. Ну, потом и говорю: сколь придачи? Так и менялись!.. А все эти придачи и другие слова я от матери переняла. Али пойдем в огород и давай рвать морковь и давай меняться. Видишь ли, я уж очень репу любила, а подруга морковь... Потом мать начала меня брать в город, ну, там я и узнала, в чем суть. И толковать об этом нечево. А тут вышла я замуж, судырь ты мой (хозяйка вздохнула). И вижу, порядки там не те. Родня большая, каждый в свою сторону да в свой карман тянет, а толку мало, бедность обуяла всех... Ну, дело молодое, хочется повеселиться, ан нет — делай. Хочется самой быть полной хозяйкой, — нет, тут все хозяйки. Обида просто берет, а муж смирный, олух; только когда пьян, тогда и боек, тогда и драться лезет... Так я и промаялась восемь годочков, и эти года я была совсем пустяшный человек, потому ровно ничего для себя не сделала; даже торговлей заняться не могла — нечем было торговать-то. А сестра в то время вышла замуж за вахтера. — Ну, а как помер муж-то, я словно воскресла. Перво-наперво же —

---

[1] Перстень. *(Прим. автора.)*

своей коровенки нет. А от мужа мне досталось десять рублев: в шапке нашла — зашиты были; ну, я и не знаю, куды мне деть деньги, што с ними делать. На ту пору и подвернись Олексей Яковлев. Он раньше на мне жениться собирался, да потом надул. Пришел он ко мне, братец ты мой, в дом. А я жила тогда в своем доме, сам муж строил, только тогда одна изба была, а уж это я все после состроила сама. Ну, я его пивком, он — так и так, говорит, лебезит... Ну, дело молодое... Прошло... На духу все прощено... Вот я ему и дай под расписку денег, никак шесть рублев. А тут дело подошло к лету, поспели огурцы, я в Т., да одна, на яковлевской лошади... Уж и наималась же я страстей!.. Воры напали, да видят — огурцы, хотели лошадь взять, да уж только Никола-святитель спас... Двои сутки прожила в Т., кое-как продала: только три цалковых и выручила. Ну, все ж — хоть и немного, а я была больно рада и стала потом ездить в город: почти все, что было в огороде, перевезла в город и деньги копила; только вот Яковлев и высасывал их. Так я и сделалась торговкой, и это нашим-то не больно сперва нравилось, а потом и бабы стали поручать мне продавать яйца, масло, капусту. Так што иной раз я с тремя возами катила в город с одними мальчишками. Купила я корову, овечек, куриц, свиней, ну, тогда дело пошло еще лучше, только, случалось, воровали скотину. И все же — гляжу, возни много, одной так трудно, што не приведи бог, а прибыли мало, потому не я одна торгую, да и крупного товару у меня нет. Стала я подумывать, как бы мне постоянно торговать в городе. Ну, и нельзя: в селе у меня все хозяйство, а в городе надо начинать сызнова. Так ничего и не выдумала и маялась много лет. Наши-то бабы много мне доверяли, и я без обмана исполняла порученья. А это много значит, и они еще больше стали располагать мной да на меня надеяться: нет у кого муки, ко мне бегут, потому отчего не дать своему человеку — не обманет, отдаст; а если и муку не возворотит, я сеном возьму, али овсом, али чем иным. Тоже, например, мужику нужен хомут, а денег нет. Ну, и плачется. Я говорю: ничего, подожди, на ярмонке дешевле купим, а ты мне только расписку пиши, после сквитаемся. Ну, а как не заплотит, и другим возьмем. Да, судырь ты мой, много возни нужно с нашими мужиками! Когда нужда, он и божится и пла-

чет, што вот как только поправится, со сторицею возвратит. А когда станешь просить свое, он же и обижается. Ну, подумала-подумала я: што если я все таким манером буду упускать свои выгоды, не получать долгов, эдак сама обеднею. Положим, нуждающемуся дать нужно, только он-то зачем обманывает да кривит душой? Ну, думаю, не буду я вам больше в зубы смотреть. Нашла я через сестру в городе человека: судейский столоначальник. Вот коли кто мне не платит денег, я расписку столоначальнику, мужика и потянут. Ну, тот и пишет условие: поквитаться на овсе или ржи. Оно хотя и убыточно это для меня, потому я не могу определить: сколько измелется ржи, — все ж таки что-нибудь да стоит, и мужик уж зимой меня не проведет: покою не дам, как начнут молоть. А тут я и пашни и покосы приобрела себе, и слава те господи, прибыль есть.

— Как же ты одна-то управляешься? — спросил я.

— Как? Ведь разе ты не знаешь, мы наши работы справляем помочами; ну, а мне многие должны, многие и не откажутся, потому грех; вот я и приглашаю: кои должны, долги зачитают работой, а кои не должны, тех удовлетворяю деньгами, поденно. Да деньги што! Помочи нужно только справить хорошенько: угощение надо сделать. Ради одного угощения пойдут. У меня, что есть, и сеют и пашут даром. Вот што! И на это есть тоже своя причина. Видишь ли, мать моя лекарским искусством занималась, а мне этого искусства не передавала, а я все-таки знала названье трав и знала, какую она траву откуда берет. Знала, што лечить не трудно, а тоже за леченье ей платят. Ну, как померла она, я и принялась за леченье скоро. Захворала баба — по всему селу стало известно, а мне особливо; свекровь ее приходит и спрашивает: нет ли, говорит, у тебя, Опариха, травки какой? Ну, я взяла травки и пошла. А я слыхала из разговоров от матери, какая трава от какой болести пользительна. Выздоровела баба. Ну, с тех пор и стали меня звать во все дома, и стала я для всех нужна. А тут вскоре и повитухой я сделалась. Тоже трудности нет большой; ничего худого не случалось, миловал бог. Вот они все и знают чувствие, видят, што у меня мужа-то нет, и пристают к мужьям: надо, говорят, помочь Опарихе-то. Да и мужья знают это, потому все мною от лихих болестей облегчение имеют. Ну, и вспашут и посеют.

— Своим посеют?

— Дожидай! Нет, мужик тоже плут: мы, говорит, вспахать — вспашем, не большой расчет, а засеять неможно, свое семя подай. Ну, да это так и следует.

— Ну, а как же ты кровь-то пускаешь? Ведь это вредно.

— И! .. кровь — с жиру, али с застою. От чего болесть? — С крови. Выцедил ее — и легче. Да мне, судырь ты мой, сто раз выпускали кровь-ту!!

— То-то ты и худая.

— А разе... А тучный человек как помират? .. Нет, самое главное — это кровь... Опять же, у мужа Катерины фельшар есть — друг-приятель — так он мне лекарствия дает. У меня, кажись, пузырьков тридцать есть... — Я ведь тоже и лошадей пользую.

— Много же у тебя дела-то, — сказал я после минутного молчания.

— Беда! И не поверишь, за все мои хлопоты и старания они мне все злом платят. Иной раз пьяный мужик так и грохочет на все село: пиявка Опариха... А бабы все только до случая, чего-чего не говорят!.. А как кто захворает или горе какое, идут, просят пиявку Опариху. Вот какой крестьянский-то народ! — заключила Опарина и громко зевнула.

— Эк я — как рассиделась-то! Темень-то! — сказала она и встала.

Было действительно темно.

Опарина зажгла сальную свечку и стала делать себе постель на полу избы.

— Ну, летом ты торгуешь овощами, а зимой чем? — спросил я Опарину.

— Зимой-то? А зимой я продаю муку, лен, масло, яйцы, — да мало ли што?.. Продаю и сита. Только этим больше занимается сестра. У нее в лавке все есть — только одной живой воды нет.

— И сено есть?

— Пошто сено? Сено ближние крестьяне продают, и я сеном не занимаюсь.

— Ну, а на ярмарке что продаешь?

— На ярмонке? Продаю орехи и пряники: потому деревенские гораздно падки до этого товара. Да и ярмонка-то што? — Только быками да лошадьми и торгуют, да вот

разе еще поганые татаришки старый да гнилой ситец продают... — А ты иди — спи! Не цельную ночь сидеть для тебя, — прибавила она сердито.

На другой день утром мы пили чай, — я за столом против хозяйки, племянница ее поодаль, на лавке. На замечание мое: зачем ее племянница не сидит за столом, она сказала, что девчонка еще мала и должна сидеть только тогда, когда будет совершенною невестою.

— Но ведь ты говоришь: без мужа жить лучше?

— Никогда и никому я этого не сказывала. Потому сам ты рассуди, какое житье девке? Хоть где ни живи девка, а веры ей той нет, как бабе. И хорошего будь поведения, и тут насчет поведения сумлеваться будут, и надзору за ней больше. Да и какое житье девке одной? С кем она посоветуется? И опять: разе возможно устоять девке от соблазнов? А баба не то: куды ни приди, везде всем равна; никто тебя пальцем не ткнет, и веры тебе больше. Тоже и вдова... и вдова тоже баба, потому замужем была...

Опарина силилась объяснить положение вдовы, но у нее ничего не выходило, кроме того, что вдова была замужем, и потому ей более должно быть доверия.

Шел дождь. По улице шел полупьяный десятский и, остановившись перед домом Опариной, сказал что-то негромко. Опарина отперла окно и крикнула:

— Куда ты?

— Скликать! Дашку стягать хочут.

Опарина с негодованием хлопнула окном и стала скоро убирать со стола чашки.

Я спросил у нее, где волость, и пошел туда.

За церковью стояло еще несколько домов, и из них особенно выдавались два дома: один, пятиоконный, стоял на площадке, против церкви. Дом был построен недавно и по новому фасону. У окон были расписные ставни, две трубы обелены. Наискось этого дома, через дорогу или улицу, был дом старинного фасона, старый, черный, с провалившейся до половины крышей. Над окнами, с разбитыми стеклами, болталась обеленная доска, держащаяся на одном гвозде, с надписью — *волосное правление.* В доме был гам и крик. Ворота были растворены, да они, как надо полагать, с давнего времени и не запираются, потому что половинки их держатся только на верхних болтах

и подперты. Во дворе амбар с двумя дверьми. В этом амбаре, как я узнал после, содержатся виноватые, в одной половине — мужчины, в другой — женщины. Окон ни в том, ни в другом отделении нет. Во дворе грязно, воздух тяжелый, гнилой... Вошел я по небольшой лесенке на крыльцо, потом вошел в темные сени, из которых ведут двери вовнутрь, справа и слева. Направо двери отворены. Там, в небольшой комнатке с одним окном и с облупившеюся и заплесневевшею во многих местах штукатуренною стеною, стоял небольшой стол простой работы; на столе и на окне сидели в рубахах крестьяне, двое из них курили махорку. Я поклонился им, спросил: здесь волостное правление? — и получил утвердительный ответ. Никаких украшений в этой комнате не было, кроме одной рамки между печью и дверью, которою я вошел в комнатку, — рамки с разбитым стеклом. В рамке ничего не было, и я не мог понять, для какой именно цели повешена она; да, надо полагать, и крестьяне об этом не знали.

Другая комната, в три окна, довольно просторная, но узкая, с такими же ощипанными и заплесневевшими стенами и потолком, с черным от грязи полом, только и отличалась от первой что простором да двумя столами и четырьмя стульями, стоявшими у столов. За одним столом сидело два человека в сюртуках, с длинными волосами и с плутовскими физиономиями, за другим сидел солдат и писал грамотку двум крестьянам. Этот солдат, как я узнал тут же, принадлежал к составу канцелярии волостного правления. А узнал я это из того, что вышедший из угловой комнаты писарь, молодой, бойкий господин, в легком летнем пальто и скрипящих сапогах, приказал ему переписать какую-то бумагу. В этой комнате было человек до тридцати крестьян, большею частью в рубахах и шапках. Половина из них сидели на полу у стен, половина, собравшись в небольшие кучки, о чем-то горячо разговаривали. Некоторые курили табак. Здесь происходил такой говор, что разобрать решительно ничего невозможно; никто не стеснялся ни крупными выражениями, ни языком, ни руками, все равно как на улице; всяк как будто бы чувствовал себя в своем доме; только из того, что при появлении волостного писаря в этой комнате или при проходе его в первую комнату народ немножко утихал, а некоторые

даже вставали с полу, можно было заключить, что они у начальства.

Третья комната отличалась от первых двух тем, что, кроме табачного дыму, в ней пахло еще и водкой. Действительно, я увидел на окне полуштоф с жидкостью, деревянную солонку, чайную чашку и редьку. В этой комнате стояло два шкафа, окрашенные на скорую руку красною краскою, и посередине большой стол. За столом у стены стояло три стула, из коих один, крайний к окну, имел подушку, обшитую кожей. На столе были разбросаны бумаги, паспорты, две какие-то книги; писарь сидел на краю, противоположном той стене, у которой стояли шкафы, и что-то писал; перед ним стояли трое крестьян.

Простоял я с четверть часа, а начальство не являлось. У меня от дыму начала болеть голова. Крестьяне на меня не обращали внимания, только писарь, проходивший мимо меня, косился.

Наконец явился старшина: низенький человек, лет сорока, с лысой головой и большой черной бородой. Он был не толст и не тонок и не щеголял костюмом: на нем был надет черный зипун, опоясанный красным кушаком. Физиономия его выражала тупость и дикость. При входе он крякнул, вытащил из-за пазухи ситцевый грязный платок, отер им лицо и, протолкавшись в толпу, пробасил:

— Васька, падле-ец! — Затем он начал тузить одного крестьянина, стоящего ближе всех к выходу.

Народ захохотал.

— Илья Петрович... — произнес получивший удар.

— Зашибу! Зашибу!!

— Гляди, Кузьму за Ваську принял? — сказал, смеясь, молодой крестьянин.

Народ опять враз захохотал.

— Аль Кузьма! Ку-узьма!.. Ах ты, ешь те леший... Кузьма?.. Ну, просим прощения, — говорил старшина и при последнем слове низко поклонился Кузьме.

— Ничего; зачти за недоимку.

— Целуй! друг! — говорил старшина и стал целовать Кузьму.

— С похмелья аль пьян? — спросил старшину народ.

— Видно, грех попутал — пьян никак... Смотри не грохнись, — острил молодой крестьянин.

Народ захохотал.

Старшина мотнул головой и пошел в третью комнату.

— А, Василь Васильч! .. Сто лет здравствовать, три пьянствовать... Водка-то есть ли? — И старшина ткнулся животом в стол, причем произнес: — Василь? .. как бы таво-сево?

— Есть мне когда с тобой раздобаривать! Садись на свое место да пей водку, вон! — проговорил писарь, указывая рукой на окно.

— О-о! Ах ты, сорока-белобока... Та-та-та! та-а-та! — Старшина, схватив полуштоф, сел на стул с кожаной подушкой.

— Яким! подай-кось лахань-ту? — сказал старшина мужику, стоявшему у двери.

— Раненько бы... тово... — начал было Яким и почесал себе затылок.

— Ну! не тебя — себя угощаю.

Мужичок подал старшине чайную чашку, редьку и солонку.

— Вот! .. и потолкуем тожно... Важно! — произнес старшина, выпив чашку водки.

Старшина стал закусывать редькой и начал разговор с мужичком насчет лесу.

— А што ж, старшина, Яковлеву-то? — спросил писарь.

— Веди! .. Эй, Гаврило! веди Яковлеву! Живо веди, черт те дери! — кричал старшина.

Немного погодя в большую комнату была введена женщина лет тридцати пяти. Это была измученная женщина, с посинелым лицом, подбитыми бровями, босая, в изорванном сарафанишке. Всякий поглядел на нее и с состраданием и с отвращением.

— Што?! опять ты меня в правленье! — кричал ее муж, подошедший к ней с кулаками.

— Не трожь! .. Разберем коли, тогды и бей, — унимали мужа крестьяне.

Тот отошел и начал ругать свою жену. Его кое-как уняли.

Вышедши из присутствия, то есть третьей, угловой, комнаты, старшина сел на стул у одного стола, крестьяне стали во всю длину стены, женщина очутилась между крестьянами и старшиной. Я стоял за крестьянами.

Старшина встал со стула, подошел к крестьянам и стал осматривать их: он то поднимался на цыпочки, то заглядывал сбоку, причем голова его с половиною туловища описывала полукруг, что смешило крестьян, которые хихикали.

— Аль Прокопья нет!? Как же это, робята? — проговорил вдруг старшина.

— Хотел быть, да, видно, ногу сломал.

— Ишь ты... А ты, Пашка, не зубоскаль много-то. Ей-ей... в некруты сдам, — проговорил старшина, обращаясь к молодому крестьянину.

— А ты, Илья Петрович, не раздобаривай, пущай коли домой, — произнес кто-то недовольно.

— Пущу, пущу!.. А ведь надо бы тово, четвертуху?.. А?.. робя!..

— С Яковлева бери.

— Васюха?! Васька? Ва-сю-ха!!! — прокричал старшина, обратясь к третьей комнатке; последнее слово он произнес по-кошачьи. Народ заговорил. Все роптали на старшину.

— Счастливо оставаться! — сказал вдруг один крестьянин и стал надевать шляпу.

— Стой!!. Кто выдет — гривна серебра штрафу... — сказал строго старшина.

— Это-то небось помнит, на это трезв... — роптали крестьяне.

— Сичас, робята... Никифор, тащи-ко писаря-то за волосы! — сказал старшина и мигнул одному чернобородому крестьянину обоими глазами. Однако писарь явился сам, с пером во рту и какой-то бумагой в руках.

— Подписывай!

— Поди ты от меня! Плевать!

— Так я печать твою приложу.

— А вот! — И старшина показал писарю здоровый кулак.

Писарь было пошел, но старшина крепко ухватил его за фалды сюртука.

— Постой-кась... Не уй-де-ешь!! Я... я тебя не пущу-у!! Олексейко, говори!

Из толпы выдвинулся муж Дарьи и, почесываясь, начал рассказывать о поведении своей жены.

— Врешь! врешь! — озлобленно говорила Дарья.

— А ты говори дело. Воровала она у тебя? — спросил писарь.

— Перед истинным богом говорю — воровала: около трех цалковых унесла... заставь богу молить...

Женщина поклонилась в ноги старшине и стала выть.

— Ну!.. што кричишь-то!! А ты, парень, ноне разбогател тожно. А што ж подать-ту! — спросил старшина Алексея Яковлева.

— Батюшка, Илья Петрович... сколотырил было три цалковых. Ну, думаю, слава богу, завтра представлю в волостное правленье... Хвать, она и вытащила... И хоть бы грош!

— Што-о ты? — сказал старшина, растягивая.

— Провалиться, не вру!

— Вася? врет Олексейко али нет? по-твоему как?

— Конешно, украла.

— А вы, робята? — обратился старшина к народу.

— Известно... нам што...

— Ну, значит, украла, и конец делу...

— Ну-ко, Дарюха? што ты скажешь, матка-свет? — обратился к обвиненной старшина.

Обвиненная вдруг начала браниться и, неизвестно почему, назвала и старшину подлецом.

— Постой, постой, сорока! ты скажи, зачем деньги украла?.. А за ругань я еще взыщу... гово-ри! — крикнул вдруг старшина так громко, что многие вздрогнули.

Дарья ничего не отвечала.

— Писарь! — старшина держал все еще писаря за одну только фалду сюртука: — каки твои законы?

— Стегать! — одно.

— Робята, как? — спросил старшина крестьян.

— Мы ништо... Нам што, — проговорили тупо крестьяне.

— Степанко, а Степанко!

Из первой комнаты вошел тот солдат, который раньше здесь занимался.

— Кашка-то у те есть ли? — спросил его старшина, ухмыляясь.

Оказалось, что всю «кашку» увез с собой становой на следствие по какому-то делу, а что веники есть.

— А впрочем, — добавил усердный солдат, — можно виц нарезать и у хмельниковского дома.

Старшина согласился и послал Степанка за вицами. Публика не расходилась, а стала дожидаться, какое будет наказание бабе — тяжкое или легкое. Старшина потребовал водки, принесли четверть; несколько крестьян выпили по чайной чашке, только закусить было нечем. Говор усилился. Кажется, все позабыли о происходившей недавно сцене, да и о предстоящей никто не говорил ни слова, только хвалили старшину, — вероятно, вследствие угощения, — что хотя он и пьян, да два угодья в нем.

Вдруг вбегает Опарина.

Все крестьяне разом смолкли и удивленно смотрели на нее.

— Где старшина?

Внезапно ли наставшая тишина или громкий голос Опариной заставили старшину выйти в эту комнату.

— Вон! глядите! Опариха!! — кричал старшина, кусая редьку.

— Я давно Опариха... Ох ты, пьяница ты горькая! И какой тебя дурак старшиной-ту делал? — кричала Опарина и при последнем слове чувствительно дернула старшину за бороду.

— Нет... ты... па-стой, — размахивая рукой, говорил пьяный старшина.

— Моли бога, што ты пьян, а то я бы тебе глаза выковыряла.

— Ой ли? выковыряла бы?

— Ну-ко, скажи, каков твой суд насчет Дарьи?

— Стегать.

— Вот тебя бы постегать-то!

Народ захохотал.

— А вы-то што, олухи царя небесного... Вы-то што стоите, точно подохлые?.. Для того, что ли, вас позвали сюда, штобы табачище проклятый курить да хохотать!.. Ах! глядите, они водку лакают! Ну, и суд!..

— Да мы ништо... наше дело што? коли бы... — загорланили крестьяне.

— Вы-то што! Вы и слов сказать хорошенько не умеете! — Потом, обратясь к ошеломленному старшине, который тупо глядел то на народ, то на нее и почесывал спину, Опарина крикнула:

— Подавай писаря!

Писарь вышел сам.

— Ты што кричишь-то, калашница? Не твое дело — пошла вон!

— Как! меня вон?! Да я у самого губернатора была, лично с ним разговаривала, да он и тут не гнал меня. А ты што за фря такая?

— Говорю тебе, пошла вон! — закричал писарь.

— Ан и впрямь здесь кабак, только одного и недостает — бочки нет. Поглядите-ка, православные, — старшина с писарем лыка не вяжут.

— Ребята, гоните ее! — крикнул разозлившийся писарь диким голосом. Но никто не трогался с места, все переглядывались друг с другом, улыбались и шептали: «Накась! эво как!» Человека три, впрочем, делали эти восклицания вслух.

— А на столе-то не кабак! Ну-ко, старшина, скажи мне, каков твой суд?

Старшина и писарь не хотели отвечать.

— А вот подожди, увидишь.

— За вицами Степанко ушел, — проговорили негромко в толпе.

— И впрямь стегать!?

— И тебя выстегаю! — сказал важно старшина.

— Руки коротки! Дурак ты, дурак! Вот и видно, што своего ума-разума нету... Ты спросил ли муженька-то ее, за что он ее искалечил? Глядел ли ты, пьяная рожа, что лицо-то у нее все искалечено?

При последних словах Опарина подвела к старшине обвиненную и сказала:

— Видишь!

— Так и надо! — проговорил старшина.

— Не твое дело! — сказал писарь.

— Ах ты, чуча ты эдакая! Не по моей ли милости женушка-то твоя вылечилась? — сказала писарю Опарина.

— Ну, дак што?

— Дурак, сидел бы уж, лопал водку-то! А вот, подико, пиши паспорт Дарюхе.

— Э-э! сорока-то што! а?.. Виц несите-ко, робята! — крикнул старшина.

— Это не меня ли уж, ваша милость? — передразнила старшину Опарина.

— Известно.

— Покорно бла-го-дарю! — Опарина низко поклонилась старшине, потом обратилась к писарю:

— Ну-ко, скажи, умница: приказано баб стегать?

— Приказано.

— Кажи закон?

— С дурой и говорить нечего.

— А вот я хоть и дура, а доподлинно знаю, што бабы получили от самого царя избавленье от виц, и ты это должен знать!..

Народ громко захохотал разом.

— А вот попробуем, как не велено, — сказал, смеясь, писарь.

— Накась, читай, — да вслух! — крикнула Опарина писарю, подавая ему какую-то записку. Писарь начал было прятать записку в карман пальто, но народ загалдил:

— Читай, читай! Нече прятать-то... Вор!

— От отца Василья записка-то, — сказала Опарина.

— Читай!! — заревел народ и окружил писаря, старшину, обвиненную и Опарину.

— «Илья Петрович!» — начал писарь чтение и, пробежав письмо про себя, остановился.

— Читай!!

— Да ничего нет: отец Василий просит выпустить Яковлеву.

— Читай!!! — заревел народ пуще прежнего.

Писарь, видя, что ему отвертеться от чтения нет возможности, и не находя слов сочинить что-нибудь сию минуту, начал продолжать письмо:

— «Всем уже давно опубликован царский указ об избавлении женщин от телесного наказания, и потому, сожалея о тебе, прошу помнить это на всяком месте, потому что за нарушение этого закона, который должен быть известен писарю...» Забыл... кажется, нет... — соврал писарь.

— Читай! читай! нечево...

— «...ты будешь тяжело наказан. Священник Василий Феофилатов».

— Эвона, штука-то! Баб не велено стегать! А мы-то што? Чудно! — галдили крестьяне, расходясь по комнате. Все заговорили, разобрать ничего было нельзя. Старшина долго ничего не мог понять. Писарь толкнул его в бок.

— Спишь ты!

— Как же... а?.. Указ! А мы тово!..

Писарь увел старшину в третью комнату и стал что-то шептать ему, но старшина вдруг разразился ругательствами на писаря. Опарина, разговаривавшая с Яковлевым и ругавшая его на чем свет стоит за кражу лошади, вдруг вошла в присутствие, то есть в третью комнату.

— Ну, што ж вы народ-то маите? Отпускайте бабу-то.

— Да мы ужо... Где же этот закон-от? — ворчал старшина.

— Да што с вами толковать! На вот трехрублевую, пиши пачпорт: Яковлеву на год во все города, — проговорила Опарина писарю.

Писарь призадумался.

— Три мало, пятитку — и пиши, Василь, — проговорил старшина.

— Бога бы ты побоялся! Откуда у Яковлевой-ту деньги взялись? Будет с вас и этих — пропьете, — сказала Опарина.

Крестьяне стали расходиться, недовольные старшиной и писарем и удивленные известием об отмене телесного наказания женщинам. Скоро комнаты опустели, только писарь писал паспорт крестьянской жене Яковлевой, а старшина, сидя рядом с Опариной, разговаривал с ней о поповском жеребце, подаренном недавно старостою священнику. Теперь между старшиной и Опариной не было несогласия. Я стоял около Опариной, потому что она рекомендовала меня старшине и писарю за своего хорошего знакомого, приехавшего к ней из города лечиться. Старшина сделался так любезен, что неотступно просил меня выпить водки и прийти к нему запросто откушать чего бог послал. Писарь подал старшине паспорт для подписания; старшина кое-как подписал.

— И из-за чего ты, Степанида Онисимовна, хлопочешь-то? Ведь она не исправится, — сказал писарь.

— А постегать надо бы! жалость!.. — проговорил со вздохом старшина.

— Ты говоришь: для чего? Да знаешь ли ты, мне от нее житья нет, то и дело ругается да баб наших мутит. По ее милости мало ли што говорят про меня?.. Ну, а как в город-то свезу, и лучше.

— Это истинно! — заключили старшина и писарь.

Опарина и я распрощались с начальством и вышли. Яковлева сидела на крылечке и, как только увидала Опарину, бросилась ей в ноги.

— Прости ты меня, тетушка Онисимовна.., прости-и! — причитала Яковлева.

— Ну, полно, дура. Говорила я тебе: не плюй в колодец, пригодится... Ставай, подем ко мне.

Яковлева не знала, что сказать, однако пошла за Опариной.

Дорогой я спросил Опарину: неужели у них всегда такой суд? Она сказала, что в волостном правлении еще и не то делается: старшина и писарь что захотят, то и делают.

— Ну да, — прибавила она, — и старшине достается. Это в волости-то ничего, терпят, а попадется пьяный на улице старшина али писарь, так отдубасят!.. Поубавят-таки веку — и поделом! Одново раза даже писаря выстегали, и жаловаться не посмел.

Назначила Опарина отправиться в Т. в субботу утром. Я тоже налаживался с ней, а Яковлеву Опарина отпустила к сестре до субботы. После обеда к Опариной приходила женщина с просьбой попросить батюшку окрестить младенца завтра, потому что послезавтра отец младенца, кум и кума уедут на покос.

— Я, — говорила женщина, — ходила к нему, да он обещался в воскресенье: да и нам без тебя, тетушка Опарина, нельзя крестить, потому ты принимала.

Вечером Опарина сходила к священнику и получила от него разрешение принести младенца завтра утром в церковь.

Я удивлялся тому, как Опарина везде успевает и все ее просьбы исполняются.

— Нечего и удивляться тут. Всякий может успеть, коли дело правое и рассудок имеет, — отвечала она мне и рассказала, как она раз одного крестьянина от рекрутчины

избавила. Дело состояло в том, что у одного старика был сын двадцати двух лет. Были дети у старика и кроме этого сына, но все померли. Сына поставили в очередь, о чем он даже и не знал. Объявили набор и потребовали сына в рекруты. Надо заметить, что старик был слепой, а жена его постоянно хворала, так что сыну приходилось одному прокармливать родителей. Ну, вот Опарина и подала просьбу губернатору, началось дело, освидетельствовали отца и освободили сына от рекрутства, а писаря и старшину предали суду.

В субботу мы, то есть тетушка Опарина, Яковлева и я, тронулись в путь, но нам пришлось идти, а не ехать, потому что Опарина нагрузила телегу капустой. Но идти все-таки было весело, потому что Опарина занимала нас смешными анекдотами из деревенской жизни, вроде того, как она вылечила одну бабу от глухоты тем, что поставила бабу под колокол и что при этом у церкви стояли почти все жители села, — и т. п. Вечером мы пришли в Т. и остановились у ее сестры Катерины.

Эта женщина была вполне торговка. Все ее манеры и слова изобличали в ней женщину, толкущуюся постоянно в публике и старающуюся различными способами приобрести себе хоть копейку барыша. У нее была лавочка на рынке, и торговала она разными вещами: посудой, лошадиной сбруей, смолой, дегтем, орехами, ягодами, пряниками, табаком и тому подобными вещами. Внутренняя обстановка квартиры сестры имела вид городской; сама она и муж ее, открывший недавно заведение «распивочно и навынос», приняли нас любезно. Яковлеву муж Катерины обещал посадить в питейное заведение.

В воскресенье Опарина стояла со своим возом на рынке. Нельзя сказать, чтобы капуста ее была самая лучшая, но покупатели были, и она не зазывала их к себе криком, не говорила, что ее капуста лучшего сорта, а только заламывала большую цену: за сотню вилков полтора целковых; ей давали восемь гривен, и она потом отдавала за рубль.

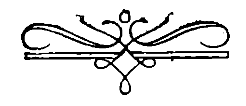
В полдень я навестил ее на рынке и отдал ей три рубля денег.

— И, што ты, сударь ты мой! За што это? Будет и рубь.

Я настаивал, чтобы она взяла все деньги, но она дала мне сдачи два рубля и сказала:

— Если считать по-божески, так дешевле рубля выйдет. Потому двои сутки нужно вычесть: раз ты хворал и не ел, другой — мы твои грибы ели. А што до другова, так я те скажу, моя сестра нахлебника держит за пять рублей в месяц.

Я не стал возражать и простился с ней. . .





Из цикла
„Из путевых воспоминаний“

ОЧЕРКИ ОБОЗНОЙ ЖИЗНИ

I

Приготовления к дороге

Нужно мне было ехать из Екатеринбурга в Пермь, а денег у меня было только восемь рублей. В Екатеринбург я ехал с чиновником на земских и обывательских и заплатил ему только четыре рубля, так как он платил прогоны только там, где нет ни земских, ни обывательских лошадей. Теперь мне такого случая не представлялось, потому что в городе или в земском суде у меня знакомых не было. В это время сибирское купечество, так сказать, валом валило в Нижний на ярмарку, и мне посоветовали сходить в контору вольных почт, для того чтобы найти попутчиков или не согласится ли кто взять меня ради компании пополам или как там придется. Прихожу в контору вечером; никого нет. Немного погодя вышел писарь.

— Позвольте вас спросить: нет ли у вас попутчиков? — спросил я.

— А вы кто такие?

Я назвался губернским чиновником; он посмотрел в книгу и сказал, что никого нет, а если мне будет угодно, то он меня запишет. Я согласился.

— А сколько стоит до Перми на паре? — спросил я из любопытства.

— В нашем экипаже двадцать четыре рубля, а если у вас свой есть, то и дешевле.

Я вышел и думал: вот если бы железную дорогу

построили, так сбавили бы им спеси; от Петербурга до Перми более двух тысяч верст, и я издержал, с пищей, водкой и извозчиками, всего двадцать три рубля, а здесь, за триста шестьдесят верст, просят только за провоз двадцать четыре рубля, да еще ямщикам нужно давать. — На улице жарко, душно. Горожане ждут грозы и граду. Перед конторой вольных почт, на улице, стоят две повозки. Повозки эти старинные, сибирские, пространные. В одной, покрытой кожаным *фартуком*, почивают на пуховике два купца, с красными, точно разбухшими от жара, лицами. В другой повозке, с откинутой накладкой, лежат куча подушек и разных величин узлы. К обеим повозкам ямщики запрягали лошадей, ругая их, как только можно.

— Просто каторга это время! Ни часу нет роздыху... Жара...

— И на водку, что есть, мало дают, штоб им провалиться...

Я подошел к ямщикам и спросил — нет ли таких ямщиков, которые бы увезли меня на обратных? Я думал, что ямщик, возвращаясь домой с лошадьми, возьмет с меня копеек двадцать.

— А ты из кутейников, што ли?

— Нет.

— Рассказывай: по облику видно... Вон там, во дворе, спроси.

Во дворе суетня. Ямщики перебегают от лошадей к телегам и повозкам; в две повозки два человека, одетые в сюртуки, укладывают подушки, чемоданчики, саквояжи. Нашел ямщика, — запросил три рубля. Я сказал, что дорого, ямщик стал издеваться надо мной.

— Ты бы попутчиков искал, — сказал мне другой ямщик, сидевший на крылечке.

— То-то што нет.

— Ныне купцы — одно слово, што жиды: почитай, со своей братьей ездят, а со стороны не берут, потому боятся — денег у них пропасть! Да им не жалко денег, — объяснял мне ямщик. А потом, помолчав, опять начал: — одново разу при мне комедь была. Ехал, знаешь ты, купец, богач, одно слово. Вот и подвернись какой-то кутейник, и пошел этот кутейник к купцу проситься сообща ехать, а купец ехал один, с приказчиком. Ладно. Приходит этот кутейник в горницу, купец лежит на диване в ру-

бахе — от жары просто невмоготу ему было... Ну, тот и говорит: так и так... «Кто ты, говорит, такой?» Тот сказал. «А я, — говорит купец, — не люблю товарищей, а тебя, говорит, возьму, коли, говорит, ты сейчас десять раз перекувырнешься, позабавишь мою милось, а коли не перекувырнешься — в полицию представлю и владыке твоему лично донесу, што ты меня на большой дороге беспокоить изволишь...» Ну, што ж бы ты думал? парень и давай перекувыркиваться — смех! да только невмоготу, должно быть... на пятом разе остановился. «Не могу», — говорит, сердешный. А пот так и льет, так и льет... Купец хохочет... «Шо ж ты, говорит, на самом забавном месте остановился? Валяй». — «Не могу!!» — вопит кутейник... «И я, — говорит купец, — не могу везти». Ну, и прогнал... А тот так-таки с обозом и уехал.

После такого разговора я решил ехать с обозом; что нужды, думал я, что проеду неделю, зато сколько удовольствия будет для меня в этом тихом путешествии, а как заставят кувыркаться — обидно... Целые два дня проходил я без толку, потому что, не зная, где останавливаются те ямщики, которые едут в Пермь, я все натыкался на таких, которые ехали в Тюмень. Наконец мне сказали, куда идти. Напротив полукаменного дома стояло до десятка пустых телег на улице; на земле, под телегами и немного подальше колес, бегали курицы и клевали в трухе овес, который, вероятно, сыпался из кошелей, когда их убирали из телег; тут же тощая коровенка, махая от жару хвостом, что есть мочи засовывала под одну телегу свою голову, стараясь достать клочок сена. Ворота заперты. Я вошел во двор. Слева новый полукаменный дом, а справа — одноэтажный деревянный, уже старый; потом тянется длинный двор, по обеим сторонам которого навесы, а под навесами стоят телеги и лошади, достающие из кошелей сено; четыре лошади лежат. Недалеко от крылечка дома, по правую руку, пятилетний мальчуган, в ситцевой розовой рубахе и с белыми волосами, старается сесть верхом на большую черную собаку, только та не дается, и когда мальчуган потащит ее за хвост, она визжит.

— Мальчик! — окликнул я мальчугана, но он, поглядев на меня, еще пуще стал тормошить собаку; та, наконец, укусила ему руку, убежала, а мальчик заплакал и пошел на крыльцо.

Я подошел к одной телеге: в ней лежит железное ведро, веревка, зипун. В другой телеге спит на животе мужчина, в синей изгребной рубахе, в плисовых шароварах, босиком.

— Чево тебе? — вдруг услыхал я женский голос.

Я обернулся. Из окна дома, направо от ворот, глядела на меня старушка. Я подошел к окну. Она хотя и выглядывала старушкой, но казалась бодрой, и в голосе ее не слышалось ничего болезненного.

— Ково тебе? — спросила она меня снова.

— Тетушка, здесь какие ямщики?

— На што тебе?

— Мне в Пермь хотелось бы нанять.

— Здесь таких нет: здесь с кладью поедут в Пермь.

— А скоро?

— Завтра, надо быть.

— А берут они ездоков?

— Заходи ужо. Теперь спят, — и она заперла окно.

Вечером, часов в семь, я пришел опять на этот постоялый двор. Шесть ямщиков, в синих изгребных и голубых ситцевых рубахах, в шляпах наподобие горшков и в фуражках, мужчины здоровые, краснощекие, собравшись в кучу, о чем-то толковали. При моем входе они, разговаривая, стали смотреть на меня. Я подошел к ним, снял фуражку, двое тоже сняли; говорить перестали.

— Вы не в Пермь ли?

— В Пермь, а што?

— Да мне тоже бы туда надо.

— Мы не примам нони, потому с кладью.

— Да я ничего. . .

— А ты, видно, из духовных? . . Ишь, нони стекла проявили на носу носить. Это от моды, што ли? — спрашивал один.

— Так ты говоришь — в Пермь? . . А што, у те много клади? — спросил другой ямщик, с плутоватыми глазами, привлекательным лицом, с курчавыми волосами, небольшой черной бородкой, человек лет под сорок.

— У меня только узелок.

Ямщик оглядел меня с ног до головы и вступил в разговор с товарищами.

— Нет, пятнадцать, ребята, дорогонько. . . Кабы десять.

— То-то. Уж рядился-рядился...

— Разе мне сходить, а?

— Как хошь. Ну, а ты, Верещагин, што? Ряди...

— Не знаю... — сказал тот ямщик, который спрашивал меня о вещах, и почесал голову обеими руками, положив шляпу в телегу.

— Ну, а ты сколько бы дал? — спросил меня другой ямщик.

— Как вы? Я думаю, придется пешком идти больше.

— Это обнаковенно: устанешь — присядешь; ну, и заснуть можно.

— Так сколько бы вы взяли?

— Да мы што! вон его проси... Верещагин, ряди...

Верещагин отошел от ямщиков, пошел медленно к воротам, почесывая голову и спину, что-то шептал, смотря в пол. Я шел за ним.

— Так как, дядя?

— Да пять рублей бы? — спросил он меня негромко и хитро посмотрел на меня.

— Много. Я бы три дал. Сам подумай: я вешу немного, да и не всегда буду сидеть. Опять тоже дождь...

— Насчет дождя не сумлевайся: рогозкой прикрою.

— Верещагин! Иди в баню, — кликнули мужики.

Верещагин не говорил ни да, ни нет; я молчал, он тоже молчал и, повидимому, тяготился мной, но отойти от меня ему тоже, должно быть, не хотелось.

Наконец мы разошлись. На другой день та же история; только вечером он согласился, по совету других ямщиков, взять меня за три рубля. Он мне дал денег полтину.

— Это на что? — спросил я.

— Уж заведение такое, потому это задаток, што я тебя не обману.

Однако денег я не взял; он, ради знакомства, позвал меня в питейную лавочку и угостил на свой счет осьмушкой водки, сказал, что его зовут Семеном Васильичем, спросил мое имя, велел приходить завтра в десять часов, и мы расстались, пожав друг другу руки, — первый протянул он.

Идя домой, я раздумался о здешней простоте крестьян и удивлялся: неужели их не учили такие господа, как мазурики? Ведь в подобном случае мазурику очень легко

выманить у ямщика полтинник. Однако здесь уж так заведено, что вместо жестянок ямщики дают деньги.

В десять часов я уже был на постоялом дворе, но там не было ни ямщиков, ни телег. Я испугался. Пошел в полукаменный дом. Кухня большая, с большим столом в переднем углу. В ней душно, жарко, два окна почти что залеплены мухами, по столу и лавке бродят табуны мух. Но хотя я сперва и назвал это помещение кухней, однако это вовсе не кухня, а комната, потому что направо двери в кухню, с печью, а из кухни в хозяйские комнаты. В кухне, около печи, суетилась высокая, толстая, годов сорока пяти, женщина; в комнате пили чай молодая женщина недурной наружности и двое детей: мальчик, которого я видел вчера во дворе, и девочка лет восьми.

Не глядя на меня, хозяйка сказала, что ямщики поехали за кладью и к обеду, вероятно, приедут. Хотел я спросить ее — могу ли я посидеть в комнате, но она была слишком занята своим делом и меня вовсе никогда отроду не видала. Однако я присел на лавку у окна. Скучно. Не знаю, сколько я просидел, только хозяйка, спасибо ей, крикнула:

— Чево ты расселся, расстрига? Што у нас разве для всякого проходящего постоялый-то устроен?

Я растерялся и не знал, что сказать ей в свое оправданье.

— Пошел, пока бока не наломали!

Я посмотрел на нее; вижу — женщина, пожалуй, втрое мясистее и сильнее меня, отвозит кулаками так, что в другой раз совестно будет и показаться сюда.

Пошел бродить по рынку, зашел в трактир, но делать в нем мне было нечего: коли пришел, то, стало быть, нужно водку пить, кушанье брать, а я ни того, ни другого не хотел, да и на дворе так жарко, что готов бы, кажется, весь день в воде пробыть. Но уж если я зашел в трактир, то должен непременно хоть рюмку водки выпить, а то сочтут меня бог знает за какого человека. Делать нечего, выпил рюмку: водка оказалась мерзейшая и стоит пятак. Спросил газету, — нет. Служителя глядят на меня подозрительно; прошлась какая-то женщина сомнительного поведения. А народу в трактире нет, должно быть рано, да и Ильин день.

Постоялый двор был уже запружен возами и пустыми

телегами; лошади распряжены и ели корм. В полукаменном доме говор. Вышел из него один ямщик, и от него я узнал, что Верещагин и его товарищи пьют чай и что они после обеда поедут. Я присел на крылечко и от нечего делать стал наблюдать за лошадьми, этими работниками на большом сибирском тракте. Недалеко от меня стояли между двух телег две лошади бурой шерсти, лошади здоровые и крепкие. Одна из них, с сивою гривой, повидимому уже наелась, но все-таки ела, только уж так лениво, что ее можно было сравнить с екатеринбургской мещаночкой, сидящей вечерком за воротами и балующей себя кедровыми орехами; другая лошадь, с черным хвостом, лизала гриву этой лошади, причем сивогривая лошадь очень благосклонно взглядывала на чернохвостую. Кончила есть сивогривая, уперла морду вниз, чернохвостая еще усерднее стала лизать ее лоб и спину, потом вдруг подошла к кошелю и стала доставать из него сено, но сена там не было. Все-таки она продолжала жевать, изредка вытаскивая из кошеля морду, а сивогривая лошадь стала лизать гриву этой чернохвостой подруги. Та хотела лечь, но лечь некуда. Я думал, что эти любезности исключение, но заметил в другом месте то же, только там две лошади лизали одну. При этом мне представилось то, как за барскими лошадьми ухаживают кучера, мóя и чистя их, а так как крестьянских лошадей хозяева не чистят щетками, то они сами заботятся о себе. Под телегами и между ног лошадей сновали в разных местах курицы и петухи, нисколько не думая о том, что их могут раздавить; из них были даже такие, которые взлетали в телегу и храбро клевали овес.

— А, будь ты за болотцом! Здорово, Петр Митрич! — проговорил знакомый голос.

Я обернулся. Верещагин в чистой, вчера надетой, рубахе, без шапки, стоял недалеко от меня и утирал раскрасневшееся от горячей воды лицо рукавом. Я подошел к нему, мы поздоровались: он крепко стиснул мою ладонь.

— Почем кладь-то взял?

— Да дешево, ну, да... шестьдесят две копейки с пуда... А корма-то ноне не приведи бог как дороги... — И он пошел к своим лошадям, которые у него стояли почти назади двора.

Стали выползать из дому и другие ямщики. Все они

были в поту, так что плечи рубах были мокрые; говорили все весело, бойко; два молодых извозчика, по-местному — парни, годов восемнадцати, острили над пожилыми извозчиками, которые на их остроты сами отвечали — или желанием отколотить парней, или обругивали. Все ямщики рассыпались по всему двору. Немного погодя пять извозчиков присели на крылечко и, не обращая на меня внимания, о чем-то весело стали продолжать прежде начатый разговор и хохотали.

— Это што? .. А вот Яшка-то Крюков!? Ах, будь он проклят, штоб ему ни дна ни покрышки!

— Да, да! .. Ведь целую бочку вызудил, штоб ему лопнуть!

— Как так?

— Да не слыхал, што ли? Камедь какая, братец ты мой! .. первый сорт! Это повезли они с Иваном Кирьяновым вино. Ну, ладно. А Крюков и давай лакать...

— Вино-то?

— Ну. Да как: нужно трогаться, а он спит там у телеги и — плевать на все, говорит: хоть убейте его, так в ту же пору. Ну, знамо дело, не бросать же его: у него тоже две лошали; свалили... Только голова болтается, как поехали... А как проснулся — стали его есть, а он, гляди, опять пьян... На другой день опять... Просто сдивовались все! Ну, и стали примечать: потому в кабак не ходит ровно, а только что-то уж часто ведро полощет в речонках да воду пьет и с воды пьян делается. Только Степан Макушев и приметил: што-де Яшка около своей бочки подпрыгиват да ведро подсовыват на ходу? — ну, и словил. Это он, знаешь, дыру просверлил в бочке, да и заляпал тестом. Ну, Степан-то промолчал сперва, а как к реке подъехали да пошли за водой, и Яшка с ведром, пошатыват его, таку-беду! .. Только Степан и говорит ребятам: «А што-то Яшка-то у нас нони уж чересчур лошадей-то поит, у него пошто-то и телега-то вино пьет? .. Кабы нам, братцы, в убытке не быть? ..» Ну, значит, острамил, что называется, на всех, а Яшка и говорит: бочку доливаю, — потому текет очинно. Иван Кирьянов очинно осерчал, да мы общим сговором решили не показывать эту бочку, а сказать, што она разбилась; уж лучше всем испробовать заморского вина, как оно есть... Ну, а Яшку в лесу знатно выстегали... И не поморщился, будь он проклят...

В продолжение этого рассказа слушатели и рассказчик хохотали.

— Што ж, убытку-то много?

— Се́ло-таки: рубля два только и пришлось получить при расчете. А Яшку от себя прогнали. В Тюмень, сказывают, с Безобразовым кожи повез.

— А со Степкой Мокроносовым-то какая оказия вышла! Слышали?

— Бочка с Суксуна улетела?

— Да... И черт ее угораздил слететь. Гора-то, е! страсть как крута... Бочка только подпрыгиват... Щепка-щепкой... Страсти...

— Не приведи бог... Уж эта гора сидит нам, Христос с ней.

Пришел Верещагин и спросил меня: обедал ли я? Мне очень хотелось есть, но я не знал, куда идти, да и боялся, что ямщики меня не станут дожидаться.

— Подем в избу.

— Неловко как-то, народу много. Еще помешаю; да и хозяйке я не понравился.

— А, будь ты за болотцом! Подем.

Во дворе, кроме Верещагина, ямщиков не было. Я пошел.

В комнате, за большим столом, сидело человек пятнадцать ямщиков. Они хлебали щи, запивая водкой. Все или говорили, или хохотали, или ругались.

— Хозяюшка, можно мне пообедать? Я заплачу, — спросил я хозяйку.

— Вот выдумал! У меня нет для тебя ничего.

— Да мне бы щей.

Хозяйка промолчала. Я сел на лавку. Караваи хлеба скоро исчезали один за другим; хозяйка то и дело наливала в деревянные чашки щи; ямщики то и дело просили хозяйку прибавить щец и говядинки. Я закурил папироску. Над Верещагиным острили, он хихикал в руку и говорил только: «а будь ты за болотцом!» — но потом его чем-то попрекнули, заговорили все против него, он только говорил обидным голосом: «Разве я виноват! Бога бы вы побоялись обижать бедного человека».

— Вот уж! Ты всегда больше других клади накладываешь.

— Зато у меня лошади не вам чета.

— А вот мы попробуем в передние пустить.

— Эй ты, долговязая бестия! Пошел отселева! — крикнул на меня один здоровый ямщик с черными волосами.

Я не трогался, потому что не знал, за что я не понравился ямщику.

— Тебе говорят, стеклянные шары. Ты слеп, што ли, што мы едим, а ты тут с твоим проклятым табачищем...

— Да ты поди, коли тебе говорят, до греха... будь ты за болотцом, — обратился ко мне сочувственно Верещагин: — не ровен час — ребята изобьют.

Опять я сел на крылечко и думал о том, что я глупо сделал, что стал курить табак тогда, когда ямщики обедают. Я еще не знал обозной жизни, и мне сделалось совестно. Возражать тут нельзя: изобьют так, что и никогда не выедешь из Екатеринбурга.

Из избы вышел высокий пьяный ямщик, он то и дело натыкался на что-нибудь и, доползши до меня, грохнулся ко мне и взял правой рукой за мои волосы.

— Ты меня знаешь!! Я Иван Пантелеич. Да! Я во как орудую!.. — И он потянул руку с моими волосами, так что я чуть не вскрикнул. Вдруг он обнял меня и давай целовать.

— Ты мне понравился... Ты!! А ты скажи, подлец я али нет?.. У меня деньги отняли, спрятали... А я гуляю... во!! Я исправен. Исправен я или нет?

— Исправен.

— Исправен!.. А они деньги зачем взяли, подлецы? Ты это скажи... Ты грамотной?

— Грамотной.

— Ну! — И он плюнул так, что свалился на землю.

В это время стали выходить из комнаты ямщики, тяжело отпыхивая и завязывая пониже животов пояски. Стали они смеяться над пьяным ямщиком, тащили его спать, но он барахтался так, что с ним ничего не могли сделать.

Я пошел опять в комнату, для того чтобы попросить есть. Там, сидя в переднем углу, толстый лысый ямщик, в ситцевой розовой рубашке, отсчитывал бумажки и отдавал их ямщикам. Это значило, что ямщики получали деньги, но за то ли, что они подрядились везти кладь, или за то, что привезли и сдали кладь, я не знал. Хозяйка сказала,

что для меня не приготовлено кушаньев, и вдруг, когда я пошел из комнаты, она сказала:

— Эй ты, долговолосый кутехлеб! Щи остались: коли хошь, за полтинник накормлю.

— Нет, этак дорогонько.

— Видно, што христарадник. О-ох, штоб вас...

Ямщики поили из ведер лошадей, потом одни из них запрягли лошадей, а другие отчасти легли в пустые телеги, отчасти разбрелись.

Скучно было ужасно. Ямщики то, переминаясь, разговаривали друг с другом, то выходили зачем-то за ворота и, постояв там, возвращались обратно во двор, то куда-то уходили и долго не возвращались. Я чуть было не потерял терпения и хотел совсем идти на квартиру, но Верещагин подошел ко мне и, как видно, что-то хотел сказать, но молчал.

— Скоро ли тронемся-то?

— Совсем готово... А жара-то какая, пресвята богородица!

— Неприятна она, я думаю, вам?

— Зима лучше, только тогда лопоть носится, а теперь ходи хоть нагишом. Жарко!.. — И он заговорил с подошедшим ямщиком о каких-то бечевках.

— Я было хотел попросить тебя... Одолжи рублик, — проговорил он мне нерешительно.

Я дал и попросил его выпить водочки.

— Покорно благодарны, Петр Митрич.

— А што?

— Да вишь! и так сопрел... Ужо на ночь... Ночевать-то мы нони не будем.

Наконец, часу в седьмом, ямщики засуетились. Кто почему-нибудь не успел смазать колеса, теперь смазывал на скорую руку. Вывели одну лошадь с возом, за ней другую, третью — это выведение продолжалось четверть часа, потому что ямщики мешкали, а по дороге шел к другому постоялому двору длинный обоз, возов в тридцать. Вторая лошадь была привязана за задок первой телеги, третья за задок второй, четвертая за задок третьей телеги; пятая лошадь не была привязана, зато после нее две лошади были привязаны. Выполз наш обоз, но не весь — только двенадцать возов, а во дворе их было еще много. Хозяева передних лошадей, выведенных на улицу, стояли

впереди обоза и понукали остальных ямщиков. Наконец выполз и Верещагин на улицу, держа за поводья лошадь; к задку телеги привязана лошадь, а за другую телегу тоже привязана лошадь. Верещагин крестился и говорил: господи благослови!

— Петр Митрич, садись благословясь.

— Куда? — спросил я.

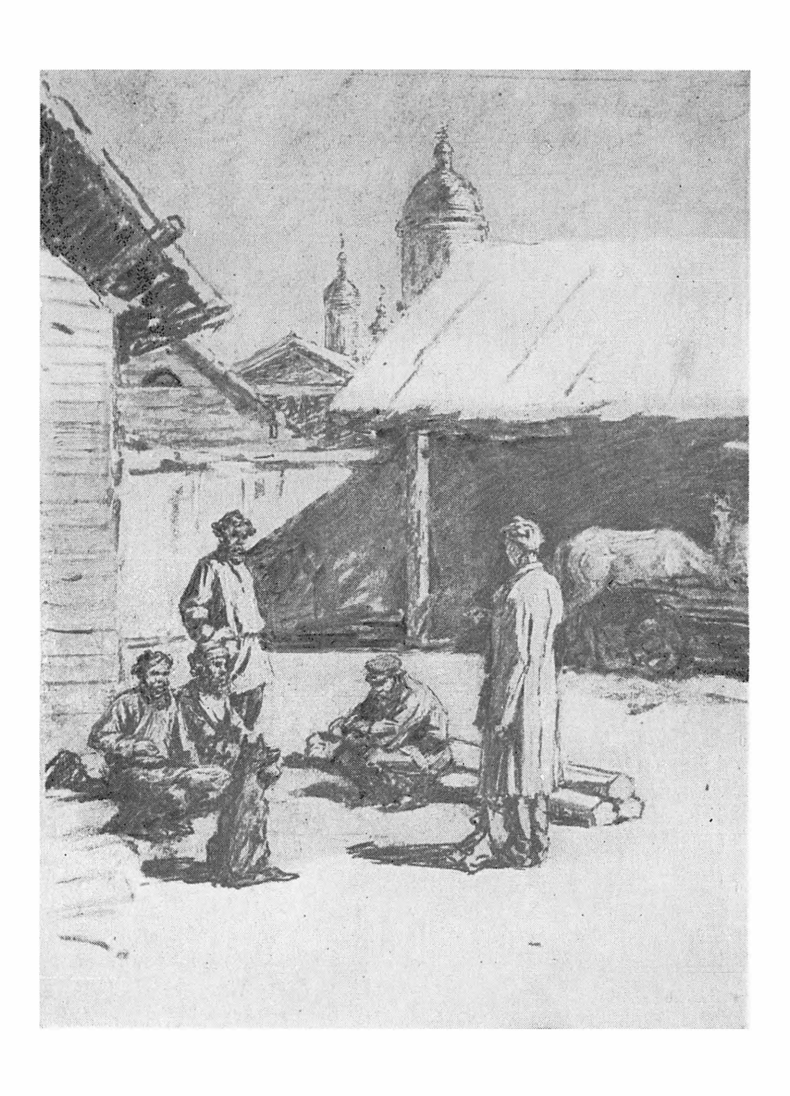
— А вот, — и он указал мне на передок второй телеги. Места перед возом, то есть кладью, покрытою крепко-накрепко цыновками, было столько, что сидеть можно свесивши ноги, а спать можно было — скорчившись поперек дороги и телеги. Я не сел и отговорился тем, что еще успею устать.

II

Путешествие

Наш обоз, состоявший из тридцати двух лошадей, тащивших тридцать два воза с салом, свечами и стеклом, шагом подвигался вперед по улице и занимал пространство на протяжении по крайней мере сажен полутораста. Вот первая лошадь повернула — и мало-помалу мы были уже на тракту, то есть на улице, <где> идет телеграф. Ямщики идут врассыпную по дороге, лошади идут ровно, тихим человечьим шагом, и не останавливаются, ветерок поднимает впереди пыль, по дороге то и дело, вперед и обратно, едут проезжающие на тройках, на двух лошадях, едут городские жители в телегах и пролетках, мастеровые верхом. Воздух сперся от жару и пыли, а наши лошади еще более поднимают ее с дороги, и эта пыль в четверть часа успела покрыть уже наши сапоги, фуражки и шляпы.

Я торжествовал: во-первых, радовался, что наконец-то тронулся в путь и через шесть дней непременно буду в Перми, во-вторых, я, не ходивший никогда по сотням верст, мог теперь испробовать себя. Городские жители, едущие и глядящие из окон на обоз не из любопытства, а ради развлечения, удивленно смотрят на меня и, вероятно, думают: бедный семинарист поехал об месте хлопотать. Я оборачиваюсь несколько раз, с радостью гляжу на большой пестреющийся город, и мне то улыбнуться хочется, то вдруг делается скучно, и бог знает о чем и о ком. . .



— Петр Митрич, ты ел ли?

— Ел, — солгал я. А во рту у меня сохло от трубки. Хотелось больше всего пить.

— Не выпить ли на дорожку-то? — спросил меня Верещагин.

— Пожалуй.

Зашли — выпили по стаканчику; водка известкой отзывает; купил на двадцать копеек десять сухих крендельков, попотчевал Верещагина, сам стал есть — горло сохнет, в горло пыль лезет. Прошло полчаса, вдруг я взглянул вперед — ямщиков нет, назад — тоже. Неужели, подумал я, у ямщиков такое заведение, что они заходят по выезде из города выпить на дорожку? Но выпивающим-то оказался только я, как я узнал после, потому что все ямщики, в том числе и Верещагин, уже крепко спали, кто на возах, кто в телегах. Для образчика я приведу две картины. Идет обоз на протяжении полутораста сажен; лошади большею частью привязаны к телегам; те, которые не привязаны, идут на шаг отставши, но не сворачивают с линии направо или налево, одним словом, имеют вид цепи, так что если бы случилось сдвинуть с дороги средний воз в сторону, то нужно начать движение с переднего воза. Лошадям жарко; они или взмахивают хвостами, головами, или стараются во что бы то ни было достать из телеги сено или железное ведро, чтобы облизать его. Передней лошади предоставлено право глядеть во все стороны, остальным же только в железные ведра и мешки с сеном, из которых, впрочем, весьма трудно достать хоть клочок сена, а по сторонам лошадям ничего не видно. Если же передняя лошадь остановится, тогда остальные лошади, стукнувшись лбами об воз, останавливаются и начинают неистово тормошить мешок с сеном. Поверх второго воза, на животе, лежит ямщик, так что ноги болтаются, а голова лежит в шляпе, руки засунуты под цыновку, обе ладони, сходясь с двух сторон, наподобие обхвата, находятся как раз под горлом, цыновка же, крепко привязанная толстой веревкой, ни по какому случаю не сорвется. Таким же точно образом лежал другой ямщик в телеге на передке, и так как доски на передке не было, то голова и туловище его лежали в телеге, а ноги болтались на ее крае. Верещагин лежал тоже на своем первом возу; но я еще и садиться не пробовал на его вторую телегу.

Проехали острог, началось кладбище; на кладбище гулянье. Мужчины и женщины ходят или попарно, или по нескольку человек; группы в разнообразных костюмах сидят в разных местах на могилках, курят папиросы, сигары, разговаривают, хохочут, напевают веселые песни. Я подошел ближе к решетке кладбища, и по мере того как я шел, я замечал разные картины: в одном месте играли в карты, в другом двое мужчин потчевали молодую женщину водкой, в третьем целовались, вероятно клялись у могил в вечной любви... Я слышал от горожан, что это кладбище теперь превратилось в гулянье с особенной целью, только на нем еще пока не танцуют.

Вот уже и лес по обеим сторонам трактовой дороги, но этот лес стоит точно напоказ начальству, потому что сквозь него просвечивают огромные пространства пустых мест. Ноги устали, петербургские сапоги с каблуками, кажется, начинают стаптываться; я сел в назначенную мне телегу — неудобно: сел я точно в яму, но ногам в этой яме нет места, нужно их свесить к лошади; я свесил — колени выше головы, трясет ужасно, спину отбивают ящики, ноги отбивает передок телеги, хвост лошади зацепливается за сапоги с каблуками. Кое-как я высвободился из ямы и сел поперек телеги — удобно: ноги упираются в телегу, под спиной узелок, только на бок лечь невозможно; спать не хочется, да и лечь на живот боюсь. Так я просидел немало; бока болят, ноги ноют, глядеть решительно не стоит — то тощее поле, то лес, да и глядишь в одну сторону. Закурил трубку. Вдруг подходит сзаду Верещагин. Лицо у него в пыли, грязное, ладони черные.

— Ладно ли сидеть то? — спросил он меня.

— Не совсем.

Он взял мешочек, но без мешочка сделалось еще хуже.

— Ты бы дал мне мешочек-то.

— О, будь ты за болотцом! — И он кинул мешочек на передний воз.

— А тебе ловко ли самому-то на возу?

— Ничего. С семнадцати лет в обозах хожу, а теперь никак, с нового года, сорок первый пошел... Брюхо только што-то, господь со мной, покалыват.

— Это оттого, что ты наелся-то ловко, да потом и лег животом на воз, а трясет-то знатно, — объяснил я.

— Не знаю... Не оттого это: преж не баливало же.

— А я вот што хочу тебя спросить, Семен Васильич: пошто это у вас одни лошади привязаны к телегам, а другие нет?

— О, будь ты за болотцом! и этого-то не знаешь: уж заведенье такое.

В это время у одной его лошади дуга развязалась, и он остановил свою переднюю лошадь; половина обоза пошла, оставив за собой другую половину обоза, которая стояла. Я слез с телеги.

— Скорее копайся, вахлак! — кричал на Верещагина лежащий на возу ямщик.

— Ну-ну! .. о, будь ты за болотцом, козленок! Ишь ведь, всё непорядки у тебя, соколик, — наговаривал лошади Верещагин; но лошадь только тяжело вздыхала, изредка переминаясь с ноги на ногу.

— Скоро ли? .. Аль ночевать нам здесь? — кричал ямщик сзади. Голос его далеко раздавался в лесах.

Верещагин слегка свистнул передней лошади, и она пошла. Он сел на козлы и стал погонять ее витнем. Лошади пошли несколько скорее прежнего, и через четверть часа мы нагнали другую половину нашего обоза, которая поджидала нас.

Стало темнеть; свежо так, что меня, в легком пальтишке без подкладки, стало пробирать, но зато теперь было не в пример лучше того времени, в которое мы выехали из города: главное, мне казалось, что пыль не попадала в рот, а садилась скоро опять на землю; дышалось свободнее. Я шел по мягкой траве, растущей около телеграфных столбов, и пел, от избытка чувств, во все горло, не обращая внимания на часто проезжавшие тройки, с закрытыми фартуками повозками.

Должно быть, было часов десять, а темно. Привлекательного ничего нет, вероятно потому, что я мимо этих мест проезжал не один раз, да и что привлекательного в небольших холмах, кустарниках березы, тощих полях, покосах, на которых разложены огоньки... Вот, наконец, попало какое-то село. Проехали несколько домов, в окнах огня не видно, на трактовой улице пусто, на одной телеграфной проволоке бечевочка болтается. Не спит только один кабак; я пошел в него и позвал Верещагина; он

пошел с удовольствием, сказав: теперь к ночи — холодно будет еще не так, особливо на этих горах.

— А ты будешь спать? — спросил я Верещагина.

— Нет. Ночью боязно. Хоть место и не опасное, да все же. И пора-то хорошая: днем жара... Дождичка бы.

В кабаке сидела женщина. Выпили.

— А есть у те, тетушка, огурчики? — спросил я ее.

— Где бы я взяла?

— Не садите?

— Не родятся.

У нее я купил два яйца.

Опять пошли. Верещагин, похлопывая по траве витнем, напевал, тоже, верно, от избытка чувств: «Милосердие двери разверзи, благословенная богородица дева...» Однако скоро замолчал.

С час я шел с Верещагиным. Это был человек неговорливый: он или насвистывал сквозь зубы, или что-то мурлыкал и на редкие мои вопросы отвечал. От него я только и узнал, что он ямщичит двадцать лет; имеет три лошади, остальные лошади принадлежат другим ямщикам; что в ихнем обозе теперь идет девять ямщиков; те лошади, что идут на привязи, принадлежат разным ямщикам, и в обозе есть начальник, Андрей Степаныч Крюков, который ведет четыре лошади, но в чем заключается его начальство, он не объяснил. Девять ямщиков, одевшись в свои зипуны, шли около телег молча. Переговаривались они неохотно и очень редко.

Залез я в телегу, прикрылся, как можно плотнее, пальтишком, но от холода не мог заснуть. Бока болели, ноги ныли, верхняя часть лба так чесалась, что не рад был и житью. Припомнилось мне о том, как я прежде, в детстве, ездил с почтами, сидя на чемоданах. Я тогда то же испытывал, что и теперь, сидя в телеге, но зато не ходил и ехал очень скоро.

И все-таки я заснул. Проснулся. Холодно. Пальто открывать не хочется, но мне кажется, что телега стоит. Да. Ее не взбалтывает на разные манеры, лошади стучат копытами, хрумкают... Я открыл пальто и взглянул: темно. Кое-как я увидал в темноте бревенчатую стену. Я встал, поглядел в другую сторону и узнал, что я на постоялом дворе, под навесом. Направо высокое крыльцо, окно видно в доме; солнце уже начинает пробиваться в верхний угол

стекла. Ямщиков нет. Я пошел к крыльцу, поднялся: большие сени, вроде темной комнаты; налево, в углу, большая кровать, на ней спит, кажется, женщина, около нее молодая, высокая, толстая женщина раздевается. Но она меня не заметила, и я вошел в избу направо. Там, на скамьях и на полатях, спали наши ямщики; старая, но высокая, толстая женщина, в ситцевом сарафане, босиком, щепала лучину.

— Бог на помочь! — сказал я этой женщине.

Она с трудом выпрямилась, кашлянула и совсем охриплым голосом спросила:

— Ты с ямщиками?

— С ямщиками. Можно лечь?

— Ложись.

Мне хотелось спать, и я, не разбирая места, свернулся на полу между лавкой и дверьми и тотчас заснул; но спал немного.

— Ишь, стерва, будь ты проклятая! до коих пор шаталась... Вставай! — говорила то настоящим, то охриплым голосом старая толстая женщина.

На это ей никто не отвечал.

— Ах, как учну я те щепать, прокляненную!

— Мамонька... Я сичас.

В избу ввалилась старая толстая женщина, тяжело ступая босыми ногами; она двигалась медленно, и если ей нужно было повернуть в которую-нибудь сторону голову, она поворачивалась всем туловищем; если ей нужно было наклониться, то она кряхтела, лицо становилось красным. Печка уже истопилась, и хозяйка садила в нее хлебы. Вошла, не торопясь, ее дочь, та самая, которая недавно раздевалась; она куксила глаза и ежеминутно зевала, как бы стараясь убедить свою мать, что она не выспалась. Но матери было некогда, она торопилась, а в это хлопотливое время она, вероятно, была очень раздражительна и забывала все услуги своей дочери, так что ее и спрашивать нужно осторожно.

— Ишь, гостьюшка, выплыла... До коей поры пролюбезничала?

— Да я... Ишь, какая! — проговорила дочь обидчивым голосом.

— Што, по твоей милости голодать коровам-то да курицам?

— Да я сичас! — крикнула дочь и пошла к двери.

— Ах ты, проклятая! .. Куда ты пошла? Умойся сперва, стерва!

Во все это время мать мыла чашки и ложки. Дочь стала умываться.

Мать и дочь молчали. Потом дочь сходила в комнату и босиком ушла во двор. Я встал, подошел к окну, набил трубку нежинскими корешками и не знал: что делать с трубкой? где курить? — однако отворил окно, закурил и старался пускать дым на улицу. Дом этот на тракту, налево тракт, или улица, заворачивает; дома старенькие, построены друг к другу тесно, и хотя я несколько раз проезжал мимо этих домов, но теперь не мог понять по ним: что это такое — станция, или село, или завод? Однако по одному дому и по некоторым словам хозяйки я узнал, что это завод, но какой?

— Ты, почтенный, не кури здесь: я не люблю. Поди, выдь на улицу.

Я ушел.

Солнышко уже поднялось примерно на вершок выше крыши дома налево. Ветра нет, и не жарко. В нижнем этаже соседнего углового полукаменного дома говор: там мужчины и женщины пьют чай и едят пироги. Из ворот противоположного дома, тоже полукаменного, выехали в телеге четыре женщины и один мужчина; из телеги выходят наружу литовки и грабли. К этим домам, и преимущественно к постоялому, то и дело подбегают десятками, пятками, тройками мальчики и девочки, очень бедно одетые, босые, с набирухами и без набирух, и неистово вопиют: «Милостинку, ради христа!» Им кидают из окон ломти ржаного хлеба. Подошли и ко мне штук десять ребят, от пяти до семнадцати лет (одной девочке было около семнадцати лет), и завопияли. Я поглядел на них: тело немытое, рубашонки грязные, по ним бегают огромные вши, ноги по колени в грязи и имеют вид чугуна, волосы на головах всклокоченные.

— Бог подаст, — сказал я. Они стали поодаль и начали ругать меня. Подошел ко мне мальчик лет восьми, с белыми волосами, за ним другой, поменьше, и оба, протягивая руки, робко простонали:

— Милостинку, барин...

— У те есть отец-то? — спросил я мальчика.

Он дико смотрел на меня, мальчик поменьше отошел прочь и издали смотрел на нас.

— Тятька-то жив?

— Не...

— А мамка?

— Не...

Я ему дал пятак и спросил, куда он девает деньги, но он убежал.

Нищих ребят было так много, что они осаждали почти на каждом шагу; я прошелся несколько по улице, увидал церковь и потом круглую красную крышу вдалеке — и узнал по ним Шайтанский завод.

Ямщики между тем встали, сходили к лошадям и начали умываться; умылся и я, вытер лицо белым платком — зачернил платок. В волосах было так много песку, что гребенка не лезла, пришлось отложить попечение о волосах. Ямщики свои волосы не расчесывали. Хозяйка поставила на стол полутораведерный самовар, чайную посуду, принесла две большие булки. Ямщики перекрестились и сели за стол. В переднем углу сидел тощий угреватый ямщик. Хозяйка подсела к ним на табуретке.

— Совсем, ребята, охрипла: квасу холодного напилась! — говорила хозяйка, поминутно кашляя.

Ямщики на это говорили, что нужно пить малину или траву такую-то. Все говорили, но первую чашку еще никто не выпил.

— А ты, дворничиха, много-то не растабарывай! забыла? — сказал ей сидевший в переднем углу ямщик.

— Ах, господи! из ума вон! Прости, ради христа... Марья! а Марья! — крикнула она.

— Ну-у!

— Принеси бутыль да стакан.

— Это дело. А то горло засохло.

Начали говорить о погоде; все желали небольшого дождичка. Речь зашла об овсе и сене.

Дочь дворничихи принесла бутыль и стакан. Дворничиха налила в стакан водки, поднесла его сидевшему в переднем углу, тот перекрестился, пожелал хозяйке доброго здоровья, выпил и сказал: «Важно! вот это дело! а ну-ка, повторную?..» Все ямщики, за исключением парней, выпили по два стакана, парни выпили только по одному стакану. Началось чаепитие, и в десять минут, за

первой же чашкой, двух больших булок не стало; дворничиха принесла еще три. Мне хотелось тоже попить чайку, у меня и чай и сахар был, но просить посуды было неловко при ямщиках: они на меня подозрительно смотрели, и каждый как будто порывался сказать мне, чтобы я убирался из избы.

— Хошь чаю? — спросила меня дворничиха.

— Покорно благодарю. Если позволишь, я своего всыплю.

— Ну! у меня чаек прямо с Китаю. Пей, да бери сливок и булки.

Делать нечего, я взял чашку, налил сливок и взял ломоть булки. Булка сырая, кислая, но, за неимением лучшей, на голодный желудок и за это слава богу.

— Ты, кутейна балалайка, отколь? — спросил меня один ямщик.

— Родом, што ли?

— Ну?

— Чердынского уезда.

— А зачем ездил?

— Жениться.

— Што ж, много взял приданава?

— Дом в селе да дьяконское место. Лошадь есть... Только невеста вдвое старше меня.

— По приказу, значит?

— Да.

— То-то! Одново разу также ехал семинарщик по невесту; а назад как приезжает, с обозом же, я и спрашиваю; а он и говорит: впутали, Анна Герасимовна, — на другую неделю после свадьбы дочь родила...

Все бывшие в кухне захохотали — и хохотали минут пять.

От этого перешли к семейной жизни. Один ямщик очень плакался на то, что у него умер большенький паренек, которому после Николина дня пошел десятый год и которого он намеревался взять на следующий год с собой. Другой ямщик говорил:

— Да у тебя еще, никак, трое парней?

— Все же жалко. Хоть этот, этот и этот палец откуси, все больно! — доказывала дворничиха, показывая, как пример, свои пальцы.

С этим все согласились. Хозяйка, как я заметил, была

женщина практическая и до тонкости понимала свое дело. У ней, как видно, даже советуются ямщики. Верещагин, редко принимавший участие в разговорах, вдруг сказал:

— Ты не слыхала, Анна Герасимовна, — Илья Дуранин продает телегу?

— Продает, сказывают; да, сказывают, не стоит того, што он просит. А ты што, покупать, што ли, хошь?

— Надо бы. Задняя-то у меня што-то больно разваливатся.

— А вот Осип Покидкин, знашь, што с Ключаревым Степкой ходит, продает новую. Эту бы я посоветовала тебе взять.

— И то! Покидкин не какой-нибудь прощелыга. Ему верить можно завсягды! — сказал сидевший в переднем углу ямщик.

Начали говорить о плутнях разных ямщиков и подрядчиков. Языки ямщиков после выпивки водки точно развязались: каждый старался что-нибудь сказать от себя такое, чтобы это удивило всех и он бы один рассказывал, но верх брала все-таки дворничиха. Рассказывали про какого-то подрядчика. Все о нем кое-что знали, но самой сути не знали: вероятно, они слышали об этом подрядчике от хозяев и хозяек других постоялых домов, которые, в свою очередь, получают сведения тоже от ямщиков.

— Нет, вы всё не так судите; я достоверно знаю, откуда он приобрел капиталы. Он мне ни сват, ни брат, ни большая родня... Он одново разу купца вез с любовницей, купец-то умер в дороге, а его любовница денежки подобрала, только он эти деньги-то украл у нее и спрятал потом в косяк. Любовница-то не посмела назваться, а он все помалчивал.

— Экое, подумаешь, счастье человеку!

Каждый ямщик выпил по десяти чашек чаю. Выпили два самовара, поблагодарили хозяйку за чаек и пошли во двор попоить коней. Сидевший в переднем углу ямщик стал шептаться с дворничихой и отдал ей красненькую бумажку, потом и сам вышел во двор.

— Трудновато, поди, вам одной-то? — спросил я дворничиху.

— Што сделашь... одна. При покойнике муже легче было.

— А вы заводские?

— Он-то приказчиком был по каравану, да простудился. Поправиться-то поправился, да дохтура не послушался: стал табак проклятый курить и вино пить... А вот ты хоть и ученый, а табак куришь, а того и не знаешь поди, што грех.

— Это, тетушка, ничего: что в уста идет ничего, а из уст...

— Справедливы твои речи, только табак я тебе не советую курить, потому человек, аки былинка, сохнет.

— Это точно: на легкие садится.

Запищали под окнами нищие.

— Ах, штоб им околеть, проклятым... С богом! — крикнула дворничиха.

Немного погодя опять писк.

— Вот уж сегодня третью ковригу подаю, — сказала она, отрезывая три маленькие ломтика.

— Господь сторицею вознаградит за ваше благотворение к неимущим, — сказал я.

— Ох!.. И што это за напасть такая! и откуда взялись эти нищие? Прежде и отродясь этого не бывало... Вишь ли, до воли-то никто не смел из завода отлучаться, держали так крепко всех, што все в повиновении были, тише воды, ниже травы жили, а как уволили, и пошли они в другие места.

— Однако я замечал мужчин.

— Ну, ведь не всем же мужчинам уходить. Ушли пьяницы да кои не хочут за покосы платить... Ну, и детей побросали... Бабы тоже кои нищенками живут в городах, а кои здесь работами занимаются.

— Какими?

— Да вот хоть бы я на покос созвала. Ну, накормлю, спасибо скажет.

Через полчаса дворничиха накрыла скатертью стол. Ямщики, умыв черные ладони, перекрестились и сели за стол в таком же порядке, как и чаевали.

— А ты што, попович, не садишься? — спросил меня сидевший в переднем углу ямщик.

— Боюсь, как бы не помешать вам.

— Не помешашь, коли сам не брезглив. Чать со вчерашнего-то утра, окромя чая, ничем не питался.

Я сел. На столе стояли три большие деревянные чашки, деревянная солонка с солью, коврига хлеба и не-

сколько деревянных ложек, смешанных с двумя ножами и двумя вилками.

Дворничиха налила из чугуна щей в чашки. Щи были очень вкусные, со свежей капустой, картофелью и морковью, бульон жирный. Ложки тоже аппетитные, такие, что не влезали в мой рот. Все говорили, только я молчал сперва, но потом ко мне привязался парень-ямщик и стал спрашивать — пошто я стеклышки ношу? От очков разговор перешел к татарам, которые не любят семинаристов. Один ямщик рассказывал мне, как один семинарист стащил в татарскую мечеть свинью; но это была уже старая история. Дворничиха несколько раз подливала щей в чашки и приносила, кажется, до трех караваев хлеба. Из той чашки, из которой я брал щи, хлебали еще трое, но я уже был сыт на второй чашке и четверть часа сидел, поглядывая на ямщиков. Сидящий в переднем углу ел не торопясь и преспокойно разговаривал о каком-то плотнике; сосед его по правую руку хлебал больше всех и первый требовал прибавки щей; двое безбородых ямщиков вторую чашку прозевали, потому что занимались крошением хлеба, тогда как товарищи уписывали. Верещагин горячился, двое подзадоривали его, а третий трепал его по волосам. После щей дворничиха наклала говядины. Надо заметить, что крестьяне и вообще ямщики не хлебают с говядиной, а говядина у них второе блюдо. Съели шесть тарелок. Я был сыт донельзя, но меня заставили.

— Ты, поповское отродье, што модничаешь? — спросил меня один ямщик.

— Сыт.

— Врешь. Ешь! по-нашему ешь.

— Да не могу.

— Ребята, давайте ему в рот накладывать? — сказал соседний со мной ямщик. Но, к моей радости, этого, впрочем, не исполнил никто. Выйти из-за стола было неловко: я бы не почел стол.

Подали большой горшок каши, — не гречневой, а просовой, — и белого хлеба. Кашу выхлебали, но до белого хлеба никто не дотронулся: значит, все были сыты.

Поблагодарили хозяйку. Я спросил ее, сколько ей нужно за чай и обед; она спросила двадцать пять копеек. Ямщики стали поить, потом запрягать лошадей.

— Выгодно ли вам, хозяюшка, содержать постоялый дом? — спросил я дворничиху.

— Бог милостив: кое-как на харчи сходится. Все одна — это беспокоит.

— Ну, вот дочь выдашь замуж.

— Ну уж. и зятья-то всякие есть. Есть у меня знакомая в Билимбаихе, ну, да она, правда, строга очень, выдала дочку, а зятек и плевать хочет и жену от дела отводит; так она и мается одна. Ведь шутка: ни днем, ни ночью отдыху нет... За мою-то дочь двое сватаются, да я еще и не отдам, потому мне нужно помощника: ведь у меня четыре коровы, куриц одних сорок пять... Женихов-то нони хороших нет: пьяницы да ленивцы, прости господи.

— А другие у вас останавливаются, кои не с обозом едут, а обратно?

— Таких я не принимаю; разе уж хорошо знакомого. Расчету нет, потому раз — такому много ли надо овса на одну лошадь? а другой насорит да съест на сколько... Нет, невыгодно.

— Должно быть, вы немало за это платите казне?

— Што?

— Да ведь постоялые дома берут, кажется, свидетельства.

— Я не плачу, потому у меня только ямщики останавливаются.

— Здесь, должно быть, много постоялых домов?

— До десятка наберется, — обозов-то много ходит.

Поехали. Я сидел в своем гнезде; ямщики шли врассыпную; в заводе мало движения, тихо, только из Перми проехало девять троек; в телегах сидело по четыре, по пяти человек ссыльных. Поднялись на гору, опять спустились. Живот колет, сидеть невозможно, я слез. Верещагин тоже шел.

— Живот болит, Семен Васильич!

— О, будь ты за болотцом!

— Сперло. Много наелся; истрясло...

Верещагин захохотал.

— А баба славная. Мы у нее всегда останавливаемся, ни в чем не отказывает.

— Много ли она с вас берет?

— Да чево ей брать-то с нас? Ведь она за малёнку-то овса берет с каждого по восьми гривен, а в малёнке полпуда, а пуд овса ей обходится по восьми гривен.

— Ну, вы бы у других брали.

— Ох ты — у других брали? Тогда, значит, нам как быть — голодом? А вот мы за то и уважаем ее, што она нас кормит хорошо. Такого обеда нигде в другом месте не найдешь, окромя дворников.

— Значит, дворники вами кормятся и наживаются... Я думаю, и тебе хочется быть дворником.

— Куды!

Въехали возы на гору. С горы вид великолепный: виден Шайтанский завод, который сидит точно в яме; над ним со всех сторон возвышаются разных величин горы; лес чем дальше, тем больше кажется черным; кое-где в этих чернозеленых, черносиних группах, слоях попадаются серые и красные четырех-, пяти- и многоугольники, которые отсюда кажутся очень маленькими, как и все, что находится впереди, но они, эти угольники, заключают в себе, по словам Семена Васильича, целые десятки верст.

III

Крестная мать

Проехали билимбаевскую контору вольной почты, битком набитую проезжающими, проехали постоялые дворы, битком набитые телегами и ямщиками. Жизнь кипит в заводе; по случаю праздника, Ильина дня, народ идет в церковь, много едет во дворы домов телег с мужчинами и женщинами, с литовками, граблями и травой. Завод по тракту очень чистенький, но чем дальше вовнутрь, тем он больше походит на большое село. И здесь, по тракту, в двух местах ребята стараются закинуть на телеграфные проволоки клочок рогожки с камешком, бечевочку.

Опять лес, но лес редкий. Мы ехали не по тракту.

— Отчего мы не по тракту едем? — спросил я Верещагина.

— Через Чусовую бродом поедем. Крюк большой, да што делать. Там, на пароме-то, деньги берут, да и до

вечера прождешь, потому господ больше нашева уважают, хочь и даром перевозят.

— А перевозчикам, поди, убыток?

— Дурак разе какой на пароме поедет теперь...

— Ну, а несчастных случаев не было?

— Был раз: с чаем воз утонул, так давно, не туда поехал, ночью.

Около деревни Коноваловой мы перешли через Чусовую — грозу в весеннее время для дорог. Здесь она имеет ширины сажен тридцать, а, судя по песчаным берегам, весной она имеет глубины сажени на полторы; теперь же она хотя и разливается по всему дну реки, но имеет глубины в этом месте полторы четверти. За деревней я увидал вдруг около нашего обоза двух женщин и одного мужчину. Женщины были одеты в пальто; на головах у них платки, в руках палки; мужчина шел в халате, в фуражке, за плечами у него болтается мешочек, в руках палка, а лицо избито.

— Это что за люди? — спросил я Верещагина.

— А тоже, как ты, едут: две-то — богомолки, а тот-то — не знаю кто. Все ж перепадет им.

Четыре ямщика спали на возах, двое шли, остальные сидели на передках телег. Я пошел около женщин; их узлы лежали в телегах.

— И што я тебе скажу, Офросинья Ивановна, — так-таки и зарезала. А кáк зарезала, целая история, я те скажу. Вишь, отец-то — приказчик, ну, знамо, первый богатей. А она и влюбись, и в кого?

— Мать пресвятая богородица!

— В ково бы ты думала?.. Это, матушка, загадка.

— В управляющего?

— И! куда хватила... — Потом она увидела меня и спросила: — Вы, господин, из духовенства?

— Да.

— Из каких местов уроженец?

— Екатеринбургского уезда.

— Фамилья?

— Федоров, Петр Митриев.

— Знаю, знаю. Ваш батюшко не служил ли в Сысертском заводе?

— Служил.

— Ну, а вы меня не узнали?

— Нет.

— Ведь я крестная мать ваша...

— Что вы? как это?

— Да, я жена... — И она назвала мастера, фамилию которого я позабыл. — Я вас восприимала, когда гостила у вашего батюшки...

— Ваша фамилия?

— Подосенова, Агния Потаповна.

— Так вы, верно, ошиблись; у меня другая была крестная.

— Неужели?.. А я ведь вас так и приняла... Извините, христа ради... Што же, вы жениться ездили? — спросила она меня, смотря на кольцо на руке.

— Да, женился.

— Где взяли?

— А в Крестовоздвиженском селе дьяконскую дочь.

— А как ее по фамилии? — спросила другая.

— Пантелеева.

— Эдакое вам счастье: ведь я от купели принимала Анну-то Павловну! Я дьячиха была, да потом муж-то мой в солдаты нанялся. Я в селе-то восемь лет не бывала... Хорошую вы жену выбрали!

Я был в западне и не знал, верить или нет этой женщине, которую я ни за что ни про что должен был называть крестной матерью и оказывать ей почтение. Я-то врал по необходимости, только на меня навернулись бабы ловкие, как видно; а может быть, они и правду говорят.

— Куда вы идете? — спросил я крестную мать.

— Да иду ко святым мощам, до Киева... Ах ты, мой батюшко! сподобил-таки господь увидать мне зятька. Ну, а матушка-то ее, как ее...

— Анна Ивановна, — врал я.

— Да, да... жива ли?

— Умерла. Поэтому-то мне и предложили в консистории эту девицу и место, а она оказалась старуха, и я этим очень недоволен.

— Што ты, Христос с тобой! духовный человек — и говоришь такие речи. Анна-то Павловна девушка-то была все равно что лебедь.

Разговор о мнимых моих родных продолжался долго. Женщина считала меня действительно зятем, потому что

она в самом деле была восприемницей какой-то Анны Пантелеевой.

Товарка ее встретилась с ней в Решотах, и они скоро подружились. Крестная мать своей попутчице что-то мало доверяла:

— Такая подмазуня, что и не говори! .. А баба — вор. Спасибо, что родственного человека встретила, — все-таки веселее, и опаски меньше будет до Перми.

— В Перми-то я в семинарии живу, поэтому нам не приведется вместе жить.

Женщина обиделась. Она рассказывала, что муж ее был горький пьяница и таскался с крестьянской девкой и, наконец, за буйство был отставлен от службы, а потом нанялся в солдаты за сына кабачника, который почти что сам его стурил.

— Видишь ли, дело-то какое, — говорила она: — муж-от мой все пьянствовал да водил компанью с писарем и писаря отдал под суд: поссорился с ним да жеребьевый список и украл, да и бросил в огонь, а тот не узнал, кто эту штуку сделал, так его и отдали под суд, вместе с старшинами; муж еще прошенье от одного мужика написал, што неправильно сдали его единственного сына, а сам он слепой. . . Ну, так и бился, а потом и совсем спился и жил в кабаке. На ту пору набор заслышали. Вот кабачник-то и не выпускает его из кабака: пей, говорит, ты мне нужен, одну бумагу нужно заключить. . . Ну, а потом и подсунул ему условие подписать! согласен-де в рекруты за его сына идти, и взял вперед денег, в разное время, полтораста рублей. . . Шутка сказать! .. Ну, и поит и поит, а потом и увез в город, а потом и в рекрутское. . . Я это узнала, пошла в город к губернатору, тот велел просьбу подать. . . Ну, стали спрашивать моего мужа: по согласью ты идешь? а он пьян, бурлит только. . . Приняли. . . Уж этот кабачник замаслил там всех. . . Только мой несчастный голубчик не дождался и ученья, сгорел.

— Жалко! Что же, у вас детки есть?

— Девочка в городе в кухарках живет, а я, в своем-то селе, калачами торговала, да што-то уж больно левая рука разболелась, так я пошла к Симеону Верхотурскому, не помогло; теперь иду к киевским, они, может, сильнее.

— Веру нужно иметь, побольше надеяться на милосердие господне, молиться, — говорил я.

— Ох!

— Ты што? — заговорила другая тетушка: — а вот я-то как мыкаюсь... Ох-хо-хо! мужа-то моего, ни за что ни про что, в Сибирь, да еще в каторгу, сослали... А у меня четверо детей... За покос вон деньги просят, а какой покос-то? Гора, а на ней и травка, что есть, на столько не поднимается (и она показала четверть пальца)... Просила-просила, ходила... сколько слез-то было, — говорят: не стоишь лучше этого; не ты одна; есть-де и почище тебя.

— Вы бы лучше в город пошли.

— Ох, голубчик! молод ты еще, неопытен. Ну, што я буду в городе-то делать, к чему я обучена? Стара уж я стала.

— Ну, а до Киева как вы доедете?

— Как-нибудь подаяньями... А сходить надо — по обету... Кабы муж-то был дома, так не то бы было.

Я отстал от них и познакомился с мужчиной. Это был заводский человек и посоветовал мне быть осторожнее с бабами.

— Почему? — спросил я.

— Я слышал такие разговоры, што они непременно воровством промышляют.

— Вот у нас так нечего украсть, — сказал я весело. С этим он согласился и сказал, что его в Шайтанском заводе ночью избили и обокрали какие-то неизвестные люди.

Однако и я ему не доверял, потому что личность его казалась мне довольно подозрительною.

Жарко и душно было по-вчерашнему; пыль почти с каждым дыханием садилась в горло; вся одежда пожелтела от пыли. Обоз шел не по самому тракту, а по бокам его, на правой или на левой стороне, где проложено обозами даже по две дороги, потому что по тракту невозможно ехать даже на почтовых, так как щебень не мелко избит, а песок пока ссыпан в кучи и находится тут для прикрасы тракта. В лошадях я еще заметил новую для меня черту: хозяин передней лошади, он же и подрядчик, часа два спал на возу. В это время передняя лошадь часто останавливалась, за ней останавливались и прочие лошади, не забегая вперед, не сворачивая в стороны. Проснувшись, хозяин свистел, и лошадь шла и с линии не сворачивала. Если ей не нравилось идти по тракту или она

видела, что от тракта идет дорога налево, около тракта, она поворачивала налево и шла по этой дороге до тех пор, пока эта дорога не вела снова на тракт. Встречные обозы, где тоже спал передний ямщик, не сталкивались с нашею переднею лошадью: они или шли по двум разным дорогам, или, если где была одна дорога, расходились на такое расстояние, что колеса не задевали друг друга. Так же точно передние лошади сторонились и от почтовых лошадей, а за ними сторонились и прочие лошади.

Верещагин объяснил мне, что те лошади, которые ходят в обозе несколько лет, по привычке идут и знают тракт, как люди, даже они знают — у каких ворот остановиться нужно в селе.

— А что же этот подрядчик — капитал имеет?

— Нет. Вся сила в лошадях и в том, што он человек известный. Видишь ли: есть у тебя лошади, хочется кладь везти, а кто тебе доверит кладь, когда тебя никто не знает и у тебя только три лошади. А известен ты можешь тем быть, што много лет с обозами ходил, все эти обозные дела маракуешь и ямщики тебе доверяют. Ну, вот ты и говоришь приказчику: у меня есть, к примеру, тридцать лошадей, и я на пристани известен; ну, и отберут от тебя такую бумагу, свидетельство, што ли, и условия тут разные включат, а ты потом и говоришь своим знакомым: кто ко мне? А то больше бывает так: соберутся ямщики и давай рядить — какой нони товар везти, и почем, и как? Кого надо в подрядчики выбирать? А выбирать надо тоже не пьяницу, такого, штобы человек был добрый, не обсчитывал, и штобы на постоялых ямщикам уважение было, и деньги штобы наши он у себя держал и в целости потом нам представил.

— А если он обманет?

— Ну, этого не бывает, потому мы выбираем человека надежного, и он от нас не убежит, постоянно при нас находится. И опять, он тоже на свой страх товар примат, а это важно: не всяк на это решится, потому с нашим братом тоже и несчастья бывают. Ну, мы и не отстаем от него, коли он не обидит, а обидит — другова найдем: есть их.

— Что же вы ему за это платите?

— По полторы, а если кладь хорошая — и по две копейки с пуда платим. Потому нельзя.

— Ну, а бывает, подрезывают товары, например чай?

— Бывает, только теперь редко, потому мы по ночам-то по таким местам, где воров много, не ездим; ежели товар неважный, так ничего, не боязно...

— Мне в Билимбаихе хозяйка постоялого двора предлагала купить чаю, и дешево. Я у нее видел два цибика. Откудова же она их покупает?

— О, будь ты за болотцом! У кого ей лучше купить, как не у нас? У нас тоже бывает так, што мы всей артелью бываем должны, хоть той же Анне Герасимовне, рублей по десяти, ну, вот и отдаем ей сообща место чаю, и квит, а потом и объявим, што срезали, а если будут взыскивать, так опять-таки сообща заплатим, и меньше. Одново разу так мы четыре места ухнули. Одново разу у ямщика лошадь пала почти на самом большом переходе. Ну, а сам знашь, ему горько, да и нам-то неприятно, потому — хлопот сколько: нужно на себя примать с пустой телеги кладь, а мы накладываем на телеги летом восемнадцать и двадцать пудов, а зимой и двадцать два пуда, в окурат постоянно... Ну, подрядчик и говорит: так нельзя, надо как-нибудь довезти воз до постоялого да ему купить лошадь. А хорошая лошадь, для обоза годная, стоит восемьдесят и сто рублей; — так, говорит подрядчик, надо чаи задеть... Ну, конешно, все с этим согласны, потому свой человек, с маленьких лет с ним ходим, — жалко. Приехали к дворнику: так и так, говорим, — подрезали, одно место взяли и ямщиков избили... А дворник смеется: «Рассказывайте, говорит, сказки, здешнее место еще бог миловал; это, говорит, не под Ключами или Тамисками!» Ну, мы и говорим, какое дело. «Ладно, говорит, за место чаю я свою лошадь отдам, а штобы вам опаски не было, давайте еще два места: одно мне за то, што я старшина в волости, а другое становому — он вам бумагу даст и будет следствие производить...» Тут наш подрядчик и говорит: «Ты, дворник и старшина, скажи становому-то, што, мол, у нас четыре места срезали: одно место мы еще себе возьмем, с дворником в городе нужно рассчитаться...» Ну, и получили бумагу от станового, што у нас четыре места подрезали и нас избили ловко.

С последним словом Верещагин стал влезать на воз.

Я начинал проклинать дорогу; так она была невыносима, что готов был последние деньги отдать, только бы сесть в повозку и умчаться скорее от обозных. Хочется

курить, а покуришь — пить хочется; возьмешь в рот свинчатку — не действует, и рад не рад, что увидишь ручеек. Сапоги начинают отказываться — каблуки стоптались; сидеть невозможно — трясет; солнышко палит — и рад не рад, когда оно на минутку скроется за белую тучку, медленно подвигающуюся куда-то; а куда — этого ни я, ни все ямщики не могли сказать: только по солнцу, высоко стоящему впереди нас, можно было заключить, где какая часть света, но и эти предположения рассеивались тем, что, как ни изгибалась дорога, солнце стояло все впереди нас...

Пошел я опять с женщинами, которые, кажется, уже привыкли к путешествию, потому что шли скоро, подпираясь палочками, и только сетовали, что солнце жжет и надо бы дождя. Мне хотелось вникнуть в этих женщин, но они были очень хитры и каждый мой щекотливый вопрос искусно заговаривали посторонним, ненужным для меня предметом. Мы все не доверяли друг другу.

— Вы давеча, тетушка, какой-то интересный разговор начали об убийстве, да я помешал вам? Я тоже не прочь бы послушать, — спросил я мастерскую жену.

— Да! Вот я тебя, Офросинья Ивановна, спрашивала... да, бишь, загадку заганула, — в кого девка влюбилась?

— Не знаю.

— В кучера.

— Мать пресвята богородица! Неужели? — говорила, крестясь, крестная мать.

— Да, ей-богу! А кучер-то красивой... Ну, она и влюбись, и никто ведь не знал, окромя ее сестры, коей было годов двенадцать всего-то.

— Господи!

— Ну... Вот маленькая сестра и говорит ей: мамоньке скажу, — и примечать стала за ней, а та сердится, — сестра покою ей не дает. Ну, и приди же ей в голову мысль: зарезать сестру. Одново разу они в бане парились, а старшая-то сестра и спрячь бритву в башмак; пошла за бритвой, не могла найти, — страшно ей таково сделалось. Ну, значит, и задумала зарезать меньшую сестру... Не залюбила она ее больно; родители-то, вишь, больше к меньшой дочери ластились, а большая все около дому была. Ну, не может терпеть меньшой сестры, и баста!..

И богу-то молится, штобы он помог ей зарезать сестру, и все-таки невидимая сила не допускает ее до этого. Только тот вечер, как зарезать сестру, она ужинала с отцом, матерью и с меньшой сестрой. Ну, еда нейдет на ум, а отец жалуется, што ему што-то скушно. А у него с детьми всё несчастья бывали, помирали нехорошей смертью. Ну, он и говорит: «Не долго, говорит, уж и тебе, Аннушка, в девках сидеть, скоро выдам, останется одна Маша, да и ту придется тоже, бог даст, выдавать, — один я останусь. . .» А Маша и глядит на Анну так сердито, и та на нее глядеть не может. Только мать и говорит мужу своему: «А ты не примечал, Иван Петрович, што между нашими дочками што-то нехорошее доспелось? . .» Отец это побледнел, только ничего не сказал. Ну, пошли спать. Дочери спали с бабушкой, только бабушка в этот день в гостях была. Ну, легли обе спать. Маша заснула скоро, только Анна не спит. Ну, и встала, стала молиться, плачет и бритву держит в руке. Подползла это к меньшой сестре и чирк ее по горлу два раз, а потом и выскочила в окно да к дяде. Те перепугались: на девке лица не знать, платье в крови. . . «Што, спрашивают, с тобой доспелось?» Она дрожит и слова сказать не может, а потом и сказала: «Сестру зарезала, потому она ревновать стала».

— Господи! Што ж, ее плетями драли?

— Нет. Сказывают, она теперь с ума сошла, простили. Отец-то много потратил денег. Одному судье, сказывают, ввалил пять тысяч.

IV

Мы приехали на праздник

Часов в семь вечера наш обоз подкатил к Гробовскому селу. Значит, мы в сутки проехали семьдесят шесть верст. Верещагин благодарил бога за то, что он помог им проехать как раз столько верст. А надо заметить, что у обозных ямщиков время рассчитано: когда отправляться, где сколько пробыть и в какое время приехать. Каждый ямщик хорошо знает, что его лошадь только тогда идет скорее, когда она простоится, отдохнет, хорошо поест, а потом шагу не прибавит и пройдет в час ровно четыре версты. Обозных лошадей стегают нежно и никогда не дерут

нещадно, палки здесь не существуют. «Зато, — говорил мне Верещагин, — наши лошади не годятся для другой езды. Случается, што я возвращаюсь домой пустой, и тогда лошади не прибавят шагу, и я постороннему человеку ни за что не позволю ударить мою лошадь кнутом». Село расположено по косогору и перерезывается речкой, через которую перекинут деревянный мост. Сперва мы поднялись, потом спустились, тракт повернул налево, опять поднялись. Дома стоят тесно друг к другу; на улицу выходит много сараев с крытыми соломой крышами. Из многих домов слышатся песни, пляски, наигрыванья на гармониях; на самом тракту, перед окнами, девки кружатся и поют песни. Въехали мы во двор. Направо в доме песни, пляска; под навесом направо бродят две лошади благородного вида, запряженные в линейки, и с ними никак не может справиться семилетний мальчик в ситцевой розовой рубахе и плисовых шароварах. Из окон глядели на нас красные лица, с посоловевшими глазами, в которых все-таки замечалась удаль, как будто доказывающая, что — «мне теперь ничто нипочем». Вышла пожилая женщина, в новом ситцевом платье и с косынкой на голове. Она поклонилась ямщикам, ямщики поздравили ее с праздником и попросили овсеца.

— Сичас, сичас, дорогие гости, — и она убежала в дом, из которого немного погодя вышла молодая женщина. Ее тоже поздравили с праздником, а один молодой ямщик ущипнул ее за руку, на что она сама ответила ему кулаком.

Все ямщики пошли сперва с мешками за овсом, потом с кошелями за сеном и, возвращаясь от амбара, вздыхая, говорили:

— Ох, времена! .. Как нони овес-то прыгает!

Между тем в доме не умолкали песни. Мало-помалу стали слышаться из дома раздирающие крики на разные тоны, голосили женщины. Из дома провели в сарай какого-то толстого низенького человека, который и на ногах не мог держаться. Это, как я узнал вскоре, был сам хозяин постоялого двора. Ямщиков то и дело звали в дом, но они капризничали, говоря, что им еще недосужно, что они заняты своими лошадьми. Наконец стали умывать руки, лица — и повалили в избу налево. Направо помещение хозяина, и там веселились гости.

— Што же, Семен Васильич, здесь праздник, што ли? — спросил я Верещагина, оставшись с ним наедине.

— О, будь ты за болотцом! Ведь вчера Ильин день был, — ну, дак ведь хороший праздник бывает три дни.

— Понимаю. Значит, со страдой покончили?

— Верно.

— А чем же они промышляют?

— Чем? овсом да репой торгуют; капусту еще садят. А больше извозом занимаются. Вон Иван Панкратьев, што утирается, гробовской, а прочие на земских и обывательских ездят.

— А што же хлеб-то не растет, што ли?

— Немногие занимаются: места неподходящие, не прокормишься.

В комнатах дрались; потом человек пять сели на линейку и с песнями уехали, но в комнате продолжались попрежнему песни и пляска.

Подали самовар, белого хлеба; ямщики пошли в комнату поздравлять или выпить. Немного погодя в избу вошел высокий здоровый мужчина, в черном кафтане нараспашку, и, пошатываясь, подошел ко мне.

— Кутейник? — крикнул он.

Я промолчал.

— Тебя спрашивают?

— Кутейник.

— А што ж ты не поздравляешь меня с праздником? Я хозяин, а ты гость.

Делать нечего: я встал, подошел к нему и, протянув руку, извинился в своей невежливости.

— То-то! Меня и наш дом вся губерня знат! .. Я люблю вашего брата. Целуйся!

Мы поцеловались. Он несколько раз целовал меня и заслюнил все мое лицо.

— Иди же к гостям, я те честь воздам... — И он крепко сжал мою руку и потащил меня в комнаты.

— Эй вы, дуры! .. Смирно! Не плясать! .. Перемского на тракту словил кутейника... Эй, Марь! .. водки, живо... пирога сюды! Я вас! — кричал хозяин, не выпуская мою руку.

В комнате в два окна, между которыми приколочено простенькое зеркало с конфетными картинками на рамках, с лавками, крашеным столом в переднем углу,

с двумя дверьми, направо и налево, топталось и сидело штук восемь мужчин и женщин; женщины одеты нарядно, в ситцевые сарафаны и платья, с простенькими шалями на плечах, с платками и косынками на головах, мужчины — двое в розовых ситцевых рубахах и плисовых шароварах, один в черном кафтане. Когда я пришел в комнату, две женщины пели и топтались, один мужчина играл на гармонике, другой отдергивал трепака; прочие — мужчина спорил с хозяйкой, а гостьи щелкали орехи. На столе стоял крашеный жбан с пивом, пирог с рыбой, пирог с малиной, и еще что-то лежало, что я не мог различить сыздали. Женщины посмотрели на меня, присмирели; мужчины хохотали.

— Ты уж вечно што-нибудь состроишь... — сказала недовольно одна женщина, обращаясь к державшему меня человеку.

— Уж я сказал, што позабавлю, и исполню... Слышь, што я те спрошу... Ну! Што теперь у меня в голове сидит? — спросил он меня. Гости присмирели, но готовы были разразиться смехом.

— Хмель, — сказал я.

Все захохотали.

— Так ты думаешь, што моя голова хмель?.. Я, значит, хмель? Слышите, што он сказал!

— Это верно, што хмель, — подтвердил другой мужчина. Женщины голосили, называя меня прозорливым.

— Ну, а вот в ее голове што сидит? — спросил он меня, показывая на одну толстую женщину.

Я подумал и сказал: песни, потому что она во все горло поет.

Опять все захохотали, но баба обиделась. Мужчины прозвали эту бабу *песней.*

— А в твоей што сидит?

— Пирог с малиной...

Все захохотали.

— Молодец, брат, ты! Недаром вашего брата на наши капиталы обучают... Дело! Ну-ко, братец, дергани с дорожки-то, — сказал он мне, трепля меня по затылку, и подвел к столу. Гостьи голосили громко, неприятно для городского уха.

— Очень жарко, пыльно, хозяин, — сказал я, желая навести его на разговор.

— Вот я те попотчую... — Он налил мне стакан водки, я выпил, он еще налил, я стал отказываться, но он погрозил за ворот вылить. Я закусил пирогом с рыбой.

— Степка! играй! — крикнул хозяин.

Заиграла гармоника; бабы, подобрав подолы, принялись плясать так, что половицы трещали, платки спадывали с головы, а одна так даже вскрикивала от удовольствия: и-их, ты! Хозяин обхватил меня и стал плясать. Меня стала отнимать молодая женщина. Началась свалка, однако хозяин меня отпустил. Женщины, окружив меня, сцепились руками, топтались, кружились и напевали, делая мне глазки и толкая друг друга: «Уж я золото хороню, хороню»... Ямщики, стоя у дверей, глядели на эту сцену и хохотали.

— Попович-то! камедь!..

— Целуйте ево, бабы!..

Начали меня целовать: от одной пахло чесноком, другая отрыгивала чем-то кислым. Ямщики хохотали. Бабы пустились в пляс, припевая громко:

Попьем-ко мы,
Посидим-ко мы!
Право, есть у кого.
Право, есть у него!..

Вдруг одна женщина задает мне загадку:

— Отгадай, расцелую: летом в шубе, зимой в шабуре? — И она подмигнула.

— Будто не знаю? — сказал я.

— Нет, не знаешь.

— Лес, — сказал я.

— А в лесу што делают?

— Грибы сбирают, малину.

Лицо женщины покраснело, она захохотала; ее стали уличать в чем-то нехорошем.

— Петр Митрич, иди чай пить? — сказал мне Верещагин.

— Не хочу, — сказал я и не пошел.

Гости хохотали, разговаривали, прощались. Я вышел на крылечко и закурил трубку.

Скоро гости прошли мимо меня и весело распростились со мной, а женщина, загадавшая мне загадку, в шутку поцеловала меня и убежала.

Богомолки сидели за воротами, потому что ямщики не пустили их в избу. После обеда, который прошел довольно весело, я вышел за ворота с трубкой. Там, против нашего постоялого дома, шесть девиц играли в мячик с четырьмя парнями. Это были дочери и сыновья содержателей постоялых дворов и отличались от прочих крестьянских детей дородством, красотой и костюмом. Так, девицы были все в ситцевых платьях, а на одной, высокой, семнадцатилетней, черноволосой, было даже шерстяное платье. Девицы играли умеючи в мячик, ловко отворачивались от ударов мячиком, скоро бегали, и их очень забавляло то, как бы им попасть в парня. При моем появлении на улице они сперва смешались, но потом стали еще усерднее играть, как бы стараясь доказать, что они не ударят себя лицом в грязь. Играя, они часто посматривали на меня, потом вдруг собрались в кучку, парни отошли прочь, а девицы стали шептаться, потом захохотали и начали играть без парней. Вдруг мячик упал к моим ногам. Я не трогался. Девицы рассыпались, но подойти ко мне не решались. Стали толкать друг друга.

— Не съем. Подходите хоть все, — крикнул я.

— Слышь, стеклянны шары всех зовет... Дунька, иди, ты бойчее...

— Не схожу, што ли?

Одна девица в голубом платье бойко подошла к мячику — и вдруг бросила его в меня, а сама кинулась бежать; но я успел попасть мячиком ей в спину.

— Свинья! — сказала девица. Прочие хохотали и кричали мне:

— Очкастый! очкастый! стеклянны шары...

— Примайте, што ли, играть-то? — крикнул я.

Девицы захохотали и закрыли лица ладонями. Потом сели все на завалину и запели, но пели на один голос, стараясь перекричать друг друга. У ворот в это время сидели старики и бабы, с грудными ребятами и без ребят, и надзирали за детьми. Впрочем, по случаю праздника им предоставлена была полная свобода. Парней на улице не было; поэтому девицы и пели, но одна девица крикнула: «Степа-ан!» За это подруги ударили ее по плечу, но девица не покраснела. Явился парень лет восемнадцати, одетый франтовски, игра началась, и уж устроивалось так, что бросать мяч приходилось только Степану или

только высокой девице в шерстяном платье, и играли только они двое, что не нравилось остальным, но никто им не мешал. Если Степан попадал в спину девицы, что ей, впрочем, нравилось, то она вскрикивала: «Ах ты, подлец!», если девица попадала в Степана, то он грозился: «Уж я же те, толстопятую. . .»

Солнышко село; стало прохладно. Наш обоз тронулся.

— Попович! . . Где стеклянны шары? — кричали девицы. Я был во дворе и вышел. В меня попали мячиком, я забросил мячик в чей-то двор, мне пожелали «околеть»; я сел в свое гнездо. И по мере того как мы проезжали дом за домом, кучка за кучкой сидевших людей около своих домов исчезала из глаз, мне делалось невыносимо скучно. Мне хотелось пожить здесь, приглядеться к здешней жизни.

— Богатый здесь народ? — спросил я Верещагина.

— Откуда им богатым-то быть? Так, живут, как и всякие; особливо ныне не наживешь много-то денег. Не стара пора.

— А прежде чем же лучше было?

— Хлеб был дешевле... А теперь вон с меня сходит оброку да других повинностей чуть не семьдесят рублей. А прежде и тридцати не выходило.

— Ты, должно быть, всю местность на протяжении тракта знаешь?

— О, будь ты за болотцом! Как не знать-то, коли с детства хожу? Эти деревни все наперечет знаю, а постоялые дворы чуть ли не все испробовал — все одно, што один.

— А што, если железную дорогу построят?

— Не построят; это только пугают.

— Ну, а если предположить, што построят?

— Ну, тогда мы вконец разоримся. Мы только тем и кормимся, што с обозами ходим. К другим ремеслам мы неспособны, што есть, и с пашнями у нас жены да работники управляются. А будь это дело — ну, и пойдем по миру.

— Есть ли хоть польза-то теперь?

— Какая польза! Кое-как на харчи сходится, — сам подумай: у меня жена, дети, ну, и содержание лошадей што стоит.

V

Расправа

Я начинал привыкать к обозной жизни и вполне понял ямщиков. Они, с детства приученные к обозной жизни, так сказать, закалили себя к этому занятию: им не страшен был зной, мороз, не злил дождь, они привыкли к ним и только говорили, что летом ездить лучше, потому что можно идти без зипуна и без шапки, днем можно спать и без сапог, а зимой нужно кутаться в полушубок, да еще сверх полушубка надо одевать азям (род зипуна), нужно часто греться, то есть выпивать на свой счет водки. Виды с гор их теперь уже нисколько не интересуют, потому что они уже примелькались, и в них они не видят для себя никакой пользы. У них даже сложилась совсем иная жизнь, жизнь обозная: в своих деревнях, селах они были только гостями и гостили много-много раза по четыре в году, да и тут им скучно было, тянуло на большую дорогу, где раздолье, хорошо поят, кормят, много приятелей, где только одна забота: благополучно доставить кладь и получить рублей пятнадцать денег. Они не интересовались ни политикой, не тревожили себя пустыми вопросами; вся их мозговая деятельность сосредоточивалась только на обозной жизни, а разговоры об урожаях и других насущных предметах были для них только препровождением времени. Дорогой, когда они шли, они больше молчали, но что они думали, того никто не знает, а вероятно, их мысли были одинаковы у всех. Были ли они поэтами в душе, я сказать не могу, только можно сказать, что они более сообразительны и толковы, чем другие ямщики; у них еще много поговорок под рифму, и эти поговорки, в виде острот, высказываются только навеселе.

О дальнейшем путешествии писать не буду, потому что оно однообразно, только разве упомянуть о том, что мои петербургские сапоги после двухсуточного странствования пришли в такое состояние, что я в них не мог ступить и шагу — стоптались очень и продрались в двух местах на каждом сапоге, и я купил в Кунгуре мужицкие, которые тоже привелось чинить в кузнице, потому что гвозди проходили насквозь, и их присутствие, после деся-

тиверстного странствования, стало весьма неприятно, и я положительно хромал *на обе ноги.* Кормили меня хорошо, и я, сознаюсь, наедался до того, что едва мог передвигать ноги. И все это удовольствие мне стоило двадцать—пятнадцать копеек, тогда как в передний путь златоустовский смотритель почтовой станции, знакомый мне человек, за два дрянных блюда взял с меня сорок копеек. К обозной жизни я привык совсем на пятые сутки, вероятно потому, что до Перми оставалось немного; да и сам Верещагин более и более становился веселее, попевал веселые песни.

— Слава богу, скоро доедем, — говорил он.

— Домой, поди, съездишь?

— Надо... Уж я ей, будь она за болотцом... — говорил он и делал руками штуки и лицом гримасы.

— Советно ты живешь с хозяйкой?

— И!.. Она у меня баба золотая. Вот баба! — и нужды нет, што третья. Молодая и славная.

— Поди-ко ведь ей скучно?

— Чево ей скучать-то: знает, што я с обозами хожу и домой приезжаю не с пустыми руками. Работа там есть у нее, чево еще ей надо?

Виды тоже описывать не стану, потому что они до того разнообразны и неуловимы на местах, что их едва ли кто сумеет верно срисовать; да и мне на местах или на интересных пунктах и в голову не приходило набрасывать карандашом хотя бы один клочок интересной для первого впечатления местности, а в памяти у меня так рассеяны эти впечатления, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать, или не искажать природу. Не мешает упомянуть о Суксунской горе, которую ямщики недолюбливают за то, что она очень крута. Виды с нее очень хороши, и ее видно за несколько десятков верст, но об ней уже упоминал Максимов в книге «Поездка на Восток». Только, описывая ее, он упустил из виду то, что не весь Урал таков. Кроме Суксуна, близ Кунгура, есть еще две горы, стоящие на тракту друг против друга, — Иренская и Бакинская, так что с одной спускаются, на другую поднимаются, — и между ними село, а около одной — речка с очень холодной водой. Через эту речку перекинут мост, но этот мост почему-то ежегодно починивается, и обозы переходят речку бродом. На горах большие пространства

степей, и под Кунгуром нас припугнула гроза, о которой говорить тоже не стану: нужно быть на горе, чтобы иметь понятие о грозе.

На пятые сутки мы ночевали на большой дороге. Мы ночевали таким манером уже два раза, и на это у ямщиков были свои уважительные причины. Лошади, конечно, были отпряжены; к их горлам были привешены колокольцы, и они ходили у изгороди, доставая высокую, еще не скошенную траву, но, впрочем, недалеко от своих возов. Один ямщик не спал; прочие хотя и спали на траве около возов, но, как обыкновенно у них водится, при каждом сильном стуке, при сильном звякании колокольцев — они поднимали головы. А раньше я забыл сказать, — впрочем, мне тогда еще не приводилось замечать, — что ямщики, лежа на возах и в телегах, при каждой остановке лошадей просыпались и поднимали голову. Уж такая привычка. Две богомолки ехали тоже с нами до Кунгура, но я к ним не питал особенного уважения, и особенно с тех пор, как в Златоусте они развесили сушить свое белье и я убедился, что они не так бедны, как они себя выказывали: у них были даже шелковые платья, и мельком я видел у них золотые серьги и кольца. Между собой они были дружны, но в Кунгуре поссорились, и жена мастера скрылась, не доплатив ямщику денег; осталась только одна крестная мать моей мнимой жены.

Я спал крепко, несмотря на холод. Вдруг слышу — ямщики кричат. Я открыл пальто.

— А, ты грабить!

— Бей ее, проклятую!

— Нет, постой. Бить не надо; надо дело распознать, — кричали ямщики. Я подошел к ним. Моя крестная мать лежала на траве с связанными руками и ногами крепко-накрепко.

— Что такое случилось? — спросил я ямщиков, собравшихся в кучу и разбирающих узлы женщины.

— Да што, воровка! По запазухам чужим лазит, проклятая, штоб ей семь чертей! .. Вон Петро углядел. Подошла она к Фадею Степанычу и засунула руку в сапог. Вот оно што.

— Что ж вы теперь думаете делать?

— А обыщем. Вон Пермяков все жаловался: два, говорит, цалковых потерял.

— Вот лопни мои глаза, штобы я соврал... Ничего не покупал, никому не давал, а денег не стало, — жаловался рыжебородый ямщик.

— Нашел!.. Яков! это не твой ли плат-то?

— Мой, мой! Ищи, нет ли Пермякова-то?

— Это не твой ли, Петр Митрич?

Я подошел; действительно, беленький платок — мой, но я сказал, что я ей подарил.

— Зачем дарить? Мы не хотим! Возьми!.. — галдили ямщики.

Я взял.

Нашли и пермяковский платок. Стали допрашивать женщину.

— Ну, сознавайсь. Зачем ты воровала?

— Простите, ребятушки! Бог попутал... вперед не буду.

— А билет есть?

— В тряпках...

— Где? Ну-ко?

— Там.

— Да ты нас не тяни, нам ехать нужно.

— Потеряла, ребятушки... Пустите... я уйду от вас.

— Ну, ладно. Ребята, завязывайте узел. Гляди, стерва, не будь на нас в претензии, што мы тебя ограбили, — проговорил спокойно подрядчик.

Женщину подняли; она плакала. Один ямщик складывал и увязывал вещи женщины.

— Ведите ее, голубушку, в лес, — говорил опять спокойно подрядчик.

Четыре ямщика повели женщину в лес.

— Это зачем вы ее в лес-то увели? — спросил я ямщиков.

— Поучить маленько, постегать, штоб не баловалась, — объяснили они мне. Через несколько времени откуда-то слышались стоны, но по дороге никто не ехал, а через четверть часа вышли из лесу ямщики и женщина.

— Ну, теперь будешь воровать? — спросил ее подрядчик.

Женщина поклонилась в ноги и сказала:

— Дозволь, батюшко, мне доехать.

— Нет, уж кончено: сиди здесь, коли не умела ладом ехать.

Так мы и покинули женщину на тракту. Ямщики говорили, что выстегать вора самое благое дело, потому что они люди дорожные, представлять вора у них времени нет, да и он еще ускользнет, а как дашь острастку, так вперед не посмеет по чужим сапогам да по запазухам лазить.

На седьмые сутки мы приехали в Пермь. Голова и бока у меня болели; лицо было точно в пепле, а в волоса даже частый гребень не лез, и я кое-как отмыл в бане песок из головы. Зато мне поездка из Екатеринбурга стоила только шесть рублей.

Через неделю я шел на пароход. На одной улице меня окликнул Верещагин.

— Петр Митрич!

— А, здравствуй, Семен Васильич. Куда?

— За кладью; в Тюмень завтра еду.

— Што мало погостил дома-то?

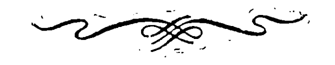
— Будет... Все здоровы, ну, и слава богу. Счастливо оставаться.

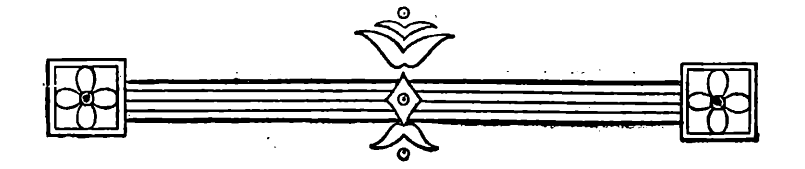
— Прощай.

Мы простились за руки. Он спросил меня, когда я поеду в *Екрембург;* я сказал, что не знаю.

— Хорошо, кабы ты опять со мной поехал. Ну, прощай!

Мы расстались; он часто оборачивался, и мне отчего-то скучно сделалось; так и хотелось опять с ним же ехать по Уралу, только пора было и в Питер отправляться.





Из цикла „Забытые люди“

МАКСЯ

ОЧЕРК

I

Корчажинский дьячок Иван Павлыч Максимов знал, что жена его скоро родит, но он не знал, кто родится, мальчик или девочка. Ему не хотелось мальчика, и он с четвертого месяца, как забеременела жена, крепко стал приставать к ней по этому делу.

— Слышь, жена: если ты родишь парня — беда тебе! — кричал он на свою жену.

— Отчего бы так?

— А оттого, что я не хочу парня.

— Ишь какой прыткий! .. Выше бога захотел быть.

— Поговори еще. Сказано — не рожай парня, и только!

— Кого тебе родить-то: кобылу, что ли?

— Девку рожай.

— Убирался бы, пьяная рожа, в кабак, да там и толковал бы с мужичьем.

И дьячок Иван Павлыч шел в кабак или в гости к какому-нибудь зажиточному крестьянину, своему приятелю, и там изливал свое горе. А парня ему весьма не хотелось, и были у него на это свои резоны такого рода: старший его сын Александр, учившийся в философии, назад тому две недели нанялся в солдаты; а младший, Терентий, назад тому месяц утонул в реке. Свое желание вот как разъяснял он, и пьяный и трезвый:

— Тратил, тратил я на них деньги, и все ни к чему не

привело. Родись парень, опять траться на него; а девке немного надо, да она и не доживет до десяти лет, потому что все девки умирали.

«Экой я злосчастной! У людей дети поильцы-кормильцы, а у меня нет... Всему, верно, жена виновата», — рассуждал он про себя и пьяный высказывал это своей жене.

Как дьячок ни думал, а жена родила-таки парня.

Дьячок напился пьян и пьянствовал до самых крестин ребенка, которому дали имя Максим потому, что отцу показалось — Максим Максимов будет счастливее.

Начал расти Максим, и много он перетерпел побоев от матери и от пьяного отца. До десяти лет Максима не учили грамоте, а он только выучился играть в разные игры с ребятами и надувать кого угодно. Умер дьячок. Вдове трудно было воспитывать забитого Максю, и она, по совету местного священника, привезла его в губернский город к самому владыке. Максю приняли в бурсу, а так как у его матери не было родни и имения, кроме дома, то она, продавши дом, ушла на спокой в женский монастырь.

Побои родительские приелись Максе, и он терпеливо сносил их. Как ни груб был отец, все же он и ласкал иногда Максю. Однажды, перед смертью, бывши больным, он говорил сыну:

— Макся! жалко мне тебя... жалко.

Макся плакал.

— Не хныч, Макся! сам пробивай себе дорогу... Ведь тебе много придется терпеть... Охо-хо, как много!..

Макся ничего не понимал.

— Ты не вини меня, что я твой отец... Не я виноват, никто не виноват... Родись ты от благочинного, ты бы не такой был... Одно тебе советую: живи честно, потому что много ты плутов увидишь. Учись, главное, а коли не выучишься, не ходи, пожалуйста, в солдаты, и в монахи не ходи... Разве уж когда все испробуешь...

Эти слова Макся всю жизнь помнил.

Трудная жизнь досталась Максе без отца, без матери и без родных.

Безграмотный Макся, сонный и плакса, много принял горя и тяжких для его лет тиранств; ничего не понимая, он много выстрадал в течение шестилетнего пребывания

в бурсе и все терпел бессознательно, без всякой пользы для себя и для других. Шесть лет он ел казенную пищу, шесть лет носил казенную одежду, а выучился только писать и читать да кое-как петь. Он в эти годы сделался еще тупее, соннее, плаксивее и ничего не мог осмыслить правильно. На розги и побои он смотрел как на обыкновенное дело и вполне отдавал себя на призвол своих благодетелей. О Максе некому было заботиться. Каждый бурсак издевался над ним и делал что хотел. Макся никому не перечил и все сносил терпеливо днем; зато ночью от боли и от представления себе своего положения он долго, долго плакал вслух, на диво товарищам. Он не знал, как поправиться, как сделаться лучше, таким, чтобы его уважали, — и хотел он сделаться таким, да не выходило.

Были у Макси два товарища, такие же горемыки, как и он. С ними он делил свое горе, но и тут было мало утешения. Одно только и было утешение — это водка, которою подчивали его и его друзей звонари и приезжие дьячки. И в это время Макся больше плакал, чем утешался. Придет в заведение пьяный и ляжет спать. Товарищи тащат, колотят и всячески стараются разозлить его. Но Максю трудно разозлить. Зато уж если Максю рассердят, трудно справиться с ним. Все дивились тогда богатырской силе Макси.

— Хороший будет разбойник.

— Не попадайся на большой дороге — убьет, — говорили товарищи.

Много у Макси было мыслей: то ему хотелось лучше жить, то свободы хотелось, то ехать куда-нибудь, то хоть причетником сделаться; но как все это сделать? Сядет он на берег реки и много думает... Не понимает Макся, отчего ему так хорошо у реки сидеть. И стал он летом каждый вечер бегать на реку. Хотел утонуть раз, да плавать умел, и страшно ему показалось сделаться утопленником.

Не любил Макся, когда издевались над ним товарищи. Помня отцовские слова, он думал, что будет же конец его учению и что он будет когда-нибудь лучше, чем теперь. Примером он ставил кончающих курс семинарии.

Во время тихого спокойствия друзья Макси говорили ему:

— Макся, а Макся! ты ведь дрянной человек.
— Так что, что дрянной? не все так будет.
— Не хвались.
— Уж никому не поддамся.
— На широкую дорогу пойдешь?
— Будь я проклят, чтобы я пошел.
— Ну-ка, скажи: кто ты будешь?

Макся улыбался и молчал. Он ничем не мог похвастаться.

Товарищи прозвали его Гришкой Отрепьевым, и как же злился Макся за это!

Начальство заметило, что Макся сильно пьянствует, и, решив, что из него не выйдет никакого толку, из сожаления определило его в соборные звонари.

II

Уж как не нравилось Максе быть звонарем! Знал он двух звонарей, Пашку Крюкова и Ваську Косого, да и не он один знал их, вся семинария. Таких отчаянных и плутов еще не бывало в семинарии с тех пор, как их вытолкали оттуда. Чего-то они не делали там! и не перескажешь, да и не поверят, если рассказать, что они делали. Видно, начальству хотелось усмирить их посредством упражнения на колоколах во всякую пору года, видно, оно хотело сделать их благонравными и дало им искус легкий, по его понятиям. Хорошо и весело звонить в охотку и в хорошую погоду, и действительно, в пасху звонари после обеда спят, потому что городские мещане и даже женщины забавляются колоколами, зато каково звонить весь год в известные часы, будь тут и мороз и гром. Нужно привычку к этому, большое терпение. Поневоле Крюков и Косой были отчаянными в обществе людей и знатоки своего дела. Максе они еще потому не нравились, что ругались очень крупно, дрались и постоянно пьянствовали. Однако Макся думал, что быть звонарем в соборе — значит иметь должность такую, которая и не трудна, и денег много дает, и ответственности нет никакой. Случилось Максе бывать у звонарей на колокольне, когда он бегал из заведения, и тогда он понял, что такое звонарь. Служба ему казалась легкою, но не

любил он Косого, который был отчаянный на все штуки и самый вид которого очень не нравился Максе: хуже Косого Макся не видел людей. Крюкова Макся не любил за то, что про него шла дурная слава: на руку он был нечестен и часто пьяный валялся в оврагах. Помещались звонари в подвале под собором, где топилась соборная печь. В этой с одним окном комнате, называемой певчими *звонарской курьей,* был один общий стол и нары для сиденья и спанья обитателей и прихожан. В ней постоянно был дым или от табаку, или от печки. Пол мелся кое-когда метлой, а о безобразии и говорить нечего: всякий жил, как хотел, и делал, что ему вздумается.

На эту должность Максю назначили зимой. Шубы у него не было. Он был одет в единственную холщовую рубаху, не мытую месяца три, худые брюки и сюртук, подаренные ему одним богословом, которому он прислуживал очень часто, и худые сапоги. Шапка была еще все та же, что дали ему с начала поступления его в бурсу, и теперь была так мала, что, несмотря на переделывание ее самим Максей, она плохо держалась на длинно-густых волосах Макси.

Макся пришел в звонарскую курью после обедни, тотчас, как ему объявили решение начальства. Васька Косой глодал ржаной кусок хлеба, сидя у стола, и запивал его водой из разбитого чайника. У печки на нарах спал Крюков. В курье холодно и сыро. Васька Косой знаком с Максей плохо и даже не знает, как его зовут.

Макся, как вошел, снял шапку.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Чего тебе?

— Да меня в звонари сюда назначили.

Косой посмотрел на Максю злобно и разинул рот.

— Тебя в звонари? — спросил он.

— Меня.

Косой что-то проворчал.

— Кто ты такой? — спросил он немного погодя Максю.

— Я из уездного....

— А это чем пахнет? — Косой показал ему кулак. Макся ничего не понял и молчал. Немного погодя Косой спросил:

— Есть деньги?

— Нету. — Максе есть хотелось, и он смотрел на корку, которую глодал Косой. Косой кончил есть, закурил папироску, свернутую в виде воронки с корешками.

— Что стоишь? — сказал он Максе.

— Да меня послали.

— Кто?

— Смотритель...

Косой встал, подошел к Максе, схватил его за шею и вытолкал из курьи, сказав: «Я тебе дам — смотритель! ишь, смотрителя нашел!» — Макся замерз на дворе и заплакал.

По двору шел монах и, увидев плачущего Максю, сжалился над ним. Узнавши, в чем дело, он отворил дверь в курью и сказал Косому: «Что ты, бестия, гонишь парня!»

Косой проворчал что-то. Монах ушел, а Макся остался в курье.

Косой завалился на лавку и смотрел на Максю, который стоял у дверей. Сесть Макся боялся. Однако сел к столу. «Куда!» — вскричал Косой. Макся встал. Так он простоял с четверть часа.

— Принеси воды, — сказал Косой Максе. Макся сходил за водой.

— Водку пьешь?

— Пью.

— Пью! а нет, чтобы принести полштофик!

— Денег нету, Василий Петрович.

— Я тебе дам — денег нету!..

Косой пошел будить Крюкова, но тот не вставал, а только мычал.

— Ну, и дрыхни, черт с тобой! — сказал Косой и лег на свое место, укутавшись в свой подрясник, простеганный ватой.

— А ты, смотри, разбуди меня в звонок, — сказал он Максе.

— Ладно.

— Умеешь звонить?

— Нет.

— Ну, брат, это штуки! — и Косой повернулся на другой бок, зевнув на всю курью.

— Трудно разве?

— На-тко!

— Я скоро пойму.

— Ну! — проговорил Косой с достоинством.

Макся подумал: «Что он находит трудного? — Врет собака, денег ему надо», — решил Макся и стал думать об Косом. Он не залюбил Косого, ему страшно показалось быть в обществе звонарей. «Житья мне от них не будет, убегу», — думал он. Ему даже захотелось наняться в солдаты... И как было горько Максе в это время!

Косой захрапел. Макся прилег на полу у печки, положив под голову чурбан, заменявший собою стул. Ему захотелось спать, и он, почувствовав в первый раз после бурсы свободу, заснул, — и заснул так, как никогда не спал. Его разбудил Крюков, спавший на нарах у печки.

— Эй! жеребец! — толкал Максю Крюков, Макся открыл глаза.

— Ты зачем здесь, *кутейна балалайка?*

Макся рассказал. Крюков обругал Максю и стал просить с него водки, в виде поздравки. Когда Макся сказал, что нет денег, Крюков стал гнать его из курьи, но не выгнал совсем потому, что Макся плакал и дрожал.

— Зубрил бы ты там азы-то или бы в солдаты нанялся. Я те утру нос-то!..

Крюков стал ворчать, что ему курить нечего.

— Всякую чучу шлют к нам... голь анафемская! Пошел! тебе говорят...

Макся плачет.

— Постой ты у меня! — Крюков стал насвистывать что-то.

Подали повестку к вечерне.

— Ступай! — сказал он Максе.

— Не умею.

— Ступай, тебе говорят!

— Ей-богу, не умею.

Крюков, надевши шапку, пошел в худеньком тулупишке на двор, вытолкал Максю из комнаты и запер двери на замок. Макся хотел идти на колокольню, но Крюков не пустил его. Макся замерз, стоявши на холоде, и заплакал. Пошел было он к певчим, но те прогнали его. Он отправился в собор и по окончании вечерни сказал дьякону, что его не пускают к себе звонари. Дьякон привел его к звонарям, сделал им *нагоняй.* По этому

нагоняю звонари поверили, что Макся назначен им в помощники.

Вечер звонари провели скучно; все больше толковали об своем учении, учителях и кто они такие.

Косому двадцать восьмой год, а Крюкову девятнадцатый год. Косой был дьячком в каком-то городе и за буйство и пьянство был представлен на расправу в губернский город, и здесь его назначили в звонари. Крюков попал в звонари из философии. Теперь они были снисходительнее к Максе, но когда он рассказал про свою жизнь, они сказали: дурак отец твой... Потом они стали давать ему разные советы, как жить.

— Послушай, Максимов: если ты будешь с нами заодно, мы научим тебя всему, — говорил Крюков.

— Куда ему!

— Я буду слушаться.

— Ну, то-то! Если будешь якшаться с дьяконами, мы тебе шею будем мылить.

— Узнаешь тогда нас! А что получишь от кого-нибудь, пополам дели.

— Ладно.

Приятели отправились к певчим, оставив Максю домашничать. Макся лег на место Крюкова и стал обдумывать свое положение. Здесь хотя и скверно, но все же свободнее, чем в бурсе. «Они, кажется, ничего; сначала только, а теперь лучше...» — думал он про своих товарищей. Косой и Крюков пришли пьяные и привели с собой какого-то пьяного дьячка.

— Эй, Макся! к черту! — кричал Крюков на Максю и стащил его с нар.

— Ишь, какой барин! Твое место вон где! — сказал он Максе, указывая к дверям.

— Как же я там буду спать?

— Спи на лавке, черт те съест, а на чужое место не смей лазить.

— Холодно.

Максю обругали, как только могли. Потом Косой достал с полки гармонийку и стал наигрывать, а прочие принялись петь и плясать. Макся страшно боялся безобразия его товарищей; что-де *сам* сюда заглянет, — беда; или кто из начальствующих завернет, и ему достанется.

— Господа, а если ключарь придет... — сказал он

товарищам. Те обругали его, обругали и ключаря. Приезжий дьячок свалился на пол. Крюков столкал его к печке. Потом товарищи легли на нары к печке.

— Эй ты, чертова кукла! что сидишь? — сказал Косой Максе.

— Да мне холодно.

Максю обругали и велели ему спать у дверей и утром разбудить их к заутрени. Погасили ночник. Стало тихо; Макся улегся, но ему было больно холодно. Макся лежал полчаса, проклиная свою должность и завидуя звонарям. Вдруг он услыхал разговор товарищей.

— А много денег-то? — говорил Крюков.

— Рублей десять, — отвечал Косой.

— Вот так праздник!

— Он спит?

— Слышишь, храпит.

Потом Макся услыхал, что кто-то встал. Достали огонь. Косой с ночником подошел к спящему дьячку. Крюков подошел к Максе. Макся зажмурил глаза и захрапел.

— Этот спит! — сказал Крюков.

— Ври больше. Знаем мы, как спят-то!.. Плюнь ему в рожу — сейчас соскочит.

Крюков ткнул Максю в бок ногой, Макся открыл глаза.

— Слышь ты, черт: коли будешь жаловаться — берегись...

— Я не буду, — сказал Макся.

— То-то. Видишь это! — Крюков показал Максе кулак.

Между тем Косой вытащил из кармана подрясника дьячка соплявый платок. Косой и Крюков сели к столу. В платке завернут был кошелек: в кошельке было копеек сорок медными деньгами да с полтора рубля серебром; потом они развернули бумажку, там еще бумажка, и в ней было три пакета с надписями: «секретарю», «столоначальнику», «на канцелярию». — В пакете секретарю было вложено пять рублей, столоначальнику — три и на канцелярию два рубля. Больше денег не оказалось.

— Ты погляди, еще нет ли? — сказал Крюков Косому.

— Поди-ко ты.

— Эй, Макся, ступай пошарь у него; что найдешь, все твое, — сказал Максе Косой.

— Эка! за какое рыло?

— Не хошь ли ты...

— А что разе тебе одному пользоваться? Подай деньги сюда! — кричит Крюков.

— Не хошь ли ты — знаешь чего?

— Что?

— А то, что тебе не за что.

Крюков вцепился в Косого. Крюков осилил Косого.

— Уж отпетой, так отпетой и есть, — сказал Косой.

— Подай деньги!

— На, будь ты проклят! — и Косой бросил один пакет.

— Давай все.

Началась опять драка. Макся вступился.

— Братцы, я пожалуюсь. — Максю избили за это. Однако мир скоро водворился в курье. Крюков и Косой дали Максе рублевую бумажку, кошелек с медными деньгами и с двумя семигривенниками положили с платком обратно в карман дьячковского подрясника, а остальные деньги разделили между собой поровну. Максе заказали молчать. Макся долго не спал, не спал и Крюков. Макся видел, как он вытащил из кармана подрясника Косого медные деньги и бумажку.

III

Утром Максю разбудили, как только подали звонок. Косой повел его на колокольню и заставил звонить. С трепетом принялся Макся за свое дело. Косой ругается, что он не так стоит и не так за язык берется. Дул ветер; Макся страшно озяб; его трясет.

— Ой, не могу! — говорит Макся; на глазах у него слезы.

— Что, брат! — хохочет Косой. — Что *дрыгана-то сказывашь?*

— Беда!

— Ну, звони во вся, скачи, согреешься.

Макся не умел взяться за веревки, протянутые к колоколам, да у него и пальцы рук начали белеть. Косой показал Максе, за какие веревки нужно браться

и в будни и в праздник, и лихо отзвонил три раза во вся, прискакивая и что-то напевая.

— Мне, брат, не холодно! — хвалился он и принимался наскакивать.

Около ранней обедни Косой отправился с руганью к ключарю, а Крюков к эконому, и оба показали Максе, как ему нужно отзвонить обедню. Макся с трудом справил свою службу.

Первый и второй день прошли скучно для Макси. Товарищи его попрежнему приходили домой пьяные, хвалясь тем, что они *сбарабали*-таки сегодня по двадцати, по тридцати копеек серебром. Приходили к ним и дьячки приезжие покурить. А приходили они потому, чтобы погреться, так как им долго приходилось мерзнуть около консисторской прихожей. Тут рассказывались разные дела, закулисные тайны и всякие сплетни и все то, что делается во всей губернии. Звонари не переставали вытаскивать из чужих карманов деньги, обворовывали друг друга и дрались не на милость божью.

Как бы то ни было, а Максе нужно было привыкать к звонарничанью. Он привык к своим товарищам, учился делать с ними то же, что и они, пьянствовал, пел и научился обворовывать приходящих к ним для куренья. Теперь уж Макся не плакал.

Через две недели Косой попал за что-то в полицию, Крюков стал справлять его должность у ключаря, а Максю приставили к эконому. Дела у эконома ему было немного. Так как этот эконом не держал келейника, то Макся был у него вроде слуги: мел пол, чистил сапоги, ходил на рынок или с бумагами и все-таки исполнял свою должность на колокольне, очередуясь понедельно с Крюковым, с которым они звонили оба в большие праздники и с которым он подружился.

Крюков ругал всех, кто был старше его, за то, что они обидели еще его отца и его считают за собаку; его примеру последовал и Макся. Жалованья им полагалось по три рубля, а на эти деньги жить трудно человеку, привыкшему пьянствовать; воровать деньги у эконома, ключаря и других нельзя было, у певчих денег нет, — они приглашали к себе приезжих подрясниковых, иногда и дьяконов, рассказывали им кое-что, что знали, а те покупали им водки, булок и табаку и сами рассказывали, что

знали. Дьячку не жалко было заплатить соборному звонарю рубль за то, что звонарь, хвастаясь своим знакомством чуть ли не со всеми духовными губернии, говорил им, где и какие есть места. Пьяных обирал только Крюков, да и то редко, потому что пьяные редко спали у звонарей. Если же случался неурожай на деньги и не на что было выпить, звонари шли на поздравку к семинаристам, дьячкам и дьяконам. Они до того сделались нахальны, что приходили туда, куда их вовсе не звали. Ходили они на поздравку почти каждый день.

— Макся! — кричит утром Крюков Максе.

— Ну?

— Сегодня, кажется, поздравка у Матвеева?

— Нет, не сегодня. Он еще не посвятился.

— А Топорков получил место?

— Какой Топорков?

— Ну, приезжий дьякон.

— Не знаю.

— Узнай сегодня *у обедни.*

Узнавши во время обедни, нет ли у кого сегодня поздравки, приятели приходили без церемонии на поздравку. Хозяева не обижались этим. Они знали, что звонари люди *отпетые,* бедные, да и многие подрясниковые почему-то боялись их.

— Ты не шути с ним. Нужды нет, что он звонарь, оборванец и пьюга: он, брат, при *самом* ключаре служит.

— А тот каждый день с благочинным ездит.

— То-то и есть! *набухвостят* [1] так, что беда.

Звонарей знали почти все подрясниковые и дьяконы губернии, только звонари мало их знали. Бывало и так, что они не знали, у кого они вчера обедали.

— Крюков, этот, Елисеев, куда назначен?

— А черт его знает. Поди-ко, нам есть дело до всякой шушеры!

Такие даровые попойки и угощения нравились Максе; скверно только, что звонить-то холодно. Уж как он ни старался накопить денег, денег все нет как нет. Скопится рубля три, Макся водки купит, дернет перед каждым звоном и пойдет звонить. Пьяному как-то лучше звонить. Макся стал помногу пить и часто просыпал на улице

---

[1] То есть наговорят, насплетничают. *(Прим. автора.)*

и в домах свою службу, за что ему крепко доставалось от ключаря и приводилось не раз сиживать в полиции.

Макся скоро научился звонарному искусству: много разных песен звонарческих заучил и разные светские песни певал, когда звонил во вся. Крюков много узнал напевов, и Макся многие перенял от него. Он с большим удовольствием наплясывал на колокольне, больше для того, чтобы согреться. Особенно он любил звонить во вся летом, в хорошую погоду, и то в вечерню. Уж как тут ни наплясывал Макся, как он ни наигрывал! Так ему хорошо казалось наигрывать на колоколах; так и хотелось ему сыграть лучше! .. И день ото дня он ухитрялся и делал какие-нибудь штуки. Недаром в городе говорили, нет во всем мире такого звонаря, как соборный Макся! ..

С архиерейской дворней он познакомился в течение одного года, и вся дворня знала его и любила. Он ко всем умел подделаться и угодить всем. Больше всех его любили певчие, которым он бегал по водку и табак, чистил сапоги и помогал в чем-нибудь таком, чего они не могли сделать и что им делать запрещено. Больно был хитер Макся! .. Макся хорошо зажил... Зато он сжил Крюкова, которого сослали куда-то в монастырь, и взял к себе в помощники смирного парня, который почти каждые будни один звонил на колокольне. Зато уж Макся и изважничался: пускал в свою курью того, кто ему нравился, и гонял из нее беглых уездников, находивших приют у него только на колокольне, и часто заменялся ими.

Но у него была какая-то тоска. И ему хотелось жить лучше, чем теперь. Он знал, что хотя и ладно быть звонарем, и то ему; но он все-таки звонарь.

Любил он летом жить на колокольне, в маленьком чуланчике, сделанном, вероятно, для жилья звонарей, с круглым окном, в котором не было ни одного стекла. Заберется он туда с вечера, сядет у окна и смотрит вдаль... Кругом тихо; только на колокольне голуби воркуют. Задумается Макся и вздохнет: вот голубям что! а я-то что? пью водку, а пользы нет... Потом ему сделается грустно, так вот и щемит сердце... Заплачет Макся.

— Какой я есть человек! Звонарь... сволочь! Хоть бы певчим сделаться, так голосу нет.

Опять сидит Макся, и представляется ему что-то хорошее. И кажется ему, что только он хуже всех, и отчего

он такой, никак не может понять, а только на мир божий сердится...

— А, черти вас задери! — скажет он со злостью, плюнет с колокольни в город и пойдет к колоколам. Встанет к большому колоколу, барабанит по нем пальцами и возьмет обеими руками язык.

— Тресну же я тебя, чучу! тресну! — Язык не скоро раскачаешь один, и он не доходит до края колокола... — А что, не тресну? Да ну тебя... — И пойдет к перилам, начнет смотреть на город. Долго смотрит Макся и все ворчит.

IV

Прошло два года. Под конец этого времени Максе опротивело быть звонарем, и он сделался груб и зол. Меньше угождал певчим и начальству и больше жил летом на колокольне. «Знать я вас не хочу!» — думал он и спал там. В дворне удивлялись, что Макся живет на колокольне, и решили, что он сумасшедший. Пролежавши два месяца в больнице, он перестал пить водку, хотя и ходил изредка на поздравки. Теперь он ходил как помешанный, и его называли полоумным.

Один раз он был у ключаря. Тот и говорит ему:

— Что ты, Максимов, какой ныне?

— Ничего.

— Как ничего? Ты, говорят, много безобразничаешь. Ну, отчего ты такой?

— Надоело, отец Алексей, звонарем быть.

— Проси владыку, чтобы место дал.

— Боюсь.

— Чего бояться! сходи.

Макся сходил, но владыка обещал дать место не иначе, как спросив эконома. Макся сходил к эконому. Тот знал Максю и сказал:

— Тебе нельзя идти в светские. Иди в монастырь.

— Не могу, отец игумен.

— Почему?

— Не способен.

— Ну, как знаешь. Только я тебя знаю и советую идти в монастырь, а теперь скажу, что я владыке не могу похвалить тебя.

Владыка призвал Максю и сказал ему:

— Тебя назначаю послушником в третьеклассный монастырь.

Макся согласился, зная, что быть послушником весьма хорошо; он знал это как очевидец.

Год прожил Макся в монастыре, большею частию исправляя лакейские должности наравне с прочими и даже больше. Он был смирный парень, и ему доставалось много побоев от своих сотоварищей и прочей братии.

На этой должности Макся ничего не приобрел себе; но ему нравилась эта жизнь.

Когда Максю спрашивают об этом периоде жизни, он только рукой машет и советует лучше самим познакомиться с таким бытом.

Раз его нашли пьяного в канаве через три дня после того, как он вышел из своей квартиры. За это его переслали в губернский город, а там его исключили из духовного звания и препроводили при бумаге в губернское правление.

. . . .

V

Пошел наш Макся, как говорится, елань шатать, стал дороги утаптывать. Целый месяц прожил в городе без всякой работы и пил ежедневно водку. Прокутивши со старыми знакомыми все деньги и спустивши с себя все лишнее имущество, он пошел искать себе службы. Послужил он в губернском правлении два месяца по воле, ему дали жалованья три рубля. Макся рассердился и пропил три рубля. Был у него в почте один знакомый почталион, исключенный философ, к нему он пошел советоваться.

— Оно, брат, ничего; служба наша легкая, знай разъезжай; а писание у нас такое, что всякий лавочник сумеет вписать что куда следует. Только, брат, у нас начальства пропасть, — говорил ему почталион Лукин.

— Так что, что пропасть?

— Служба наша чисто солдатская: ни днем, ни ночью нет покою.

— Так что, что трудная? лишь бы попасть...

— Видишь ты, друг любезный, какие дела-то: ты будешь на линии солдата.

— Врешь!

— Ей-богу. Ну, да это ничего. Не я и не ты один в почталионы поступаем: у нас полгубернии из духовных напринимано, и почтмейстер-то из дьячков.

— Вот и дело: значит, наш.

— Нынче эта почта, скажу я тебе, притон нашему брату; всякий сюда идет. Даже один протопопский сынок почталионом служит. Только за определение деньги берут.

Лукин посоветовал Максе попросить старшого над почталионами, то есть унтер-офицера, который командует не только над всеми почталионами, но и над станционными смотрителями, а в некотором роде и над сортировщиками.

— А что это за зверь такой — старшой?

— Такой, что вся сила в нем. Как командир над рядовыми солдатами, он делает с нами что хочет: захочет послать меня с почтой, пошлет, не захочет, не поеду. Дал ему взятку, смотрителем попросит сделать; не понравишься, пожалуется почтмейстеру, и тебя переведут в самую бедную контору. Одним словом, сила. Его и ямщики и смотрители боятся, потому что почтмейстер его любит; он всегда при почтмейстере: ходит к нему с рапортом каждое утро и ездит с ним по епархии (по губернии то есть).

— Ну, и доходно?

— Квартира готовая, жалованья нам идет по четыре рубля серебром в месяц да от очередей, то есть от носки писем, получаем рублей по восемь в месяц. В Новый год и в пасху ездим славить по городу и потом делим рублей по пятнадцати и больше на брата. Когда с почтой ездим, нас поят водкой, угощают. Особенно мы отдыхаем и гуляем в уездных конторах.

— Дело! Ну, а эти, старшие-то?

— Почтмейстер наш получает тридцать два рубля в месяц, и, вероятно, по зависти, что он статский советник и ровен разным председателям, которые получают жалованья по двести рублей в месяц, он приучил народ, то

есть корреспондентов, так, что они шлют ему к рождеству или Новому году и к пасхе чай, сахар, а то и муку. Это в обычае у богатых купцов. И эта манера привилась к его помощнику, двум сортировщикам, у простой и у денежной корреспонденции, и к старшому, которые получают, вместе с письмоводителем и контролером, жалованье от вольной почты.

— Жить можно!

— Еще бы! .. Говорят, что нам обещают прибавки жалованья, да молчат всё.

— Так надо поступать скорее.

Лукин дал Максе десять рублей денег и послал его к старшому.

Через неделю Максю приняли в почтальоны, с обязательством прослужить в почте пятнадцать лет.

VI

Исключенным семинаристам, людям бедным, очень трудно поступить на коронную службу. Хорошо, если у них есть знакомые или товарищи, занимающие должности столоначальников, но и тогда примут на службу только в таком случае, если есть вакансия. Самые бедные из них искали места в почтовой конторе, но и там даже вакансий почтальонов не бывало в течение двух месяцев. Кажется, должность почтальонская незавидная, но и за нее брали деньги или нужна была рекомендация влиятельного человека. Прежде почтальон считался наравне с рядовым и обязывался служить почте двадцать или пятнадцать лет. Не принадлежавшие почтовому ведомству могли выходить оттуда, но с правом записаться в податное состояние, а принадлежавшие имели право выходить не иначе, как получивши чин обер-офицера. Почтальон не получал чина вовсе и мог, прослуживши сто лет почтальоном, умереть, не имевши звания унтерофицера. Это зависело или от самого почтальона, или от почтмейстера. За деньги или по взгляду почтмейстера почтальон мог быть сортировщиком или станционным смотрителем и получал чин по званию канцелярского служителя по установленному законом порядку. С человеком, принадлежавшим почтовому ведомству, делали что

хотели: его наказывали розгами, смещали в сторожа и отдавали в солдаты.

Макся оделся в форму и поместился жить в дворне губернской почтовой конторы в числе четырнадцати почтальонов.

Губернская контора помещается в угловом каменном доме, и в этом же доме живет почтмейстер; рядом с этим домом построен флигель, где живут письмоводитель, контролер и помощник губернского почтмейстера. Против них двор, потом амбары с погребами и сараями. Через двор помещаются в другом дворе два деревянных флигеля, один для сортировщиков, другой для почтальонов. Почтальонный флигель устроен на скорую руку и очень неудобен для обитателей, составляющих все почтовое население. В нем два коридора. В одном две двери, и эти двери идут — одни в квартиру старшого, занимающего комнату и кухню, а другие в квартиру двух семейных почтальонов, из которых один занимает комнату, а другой кухню. В другом четыре двери, и здесь почтальоны живут таким же порядком, как почтальоны в первом коридоре, с тою только разницею, что здесь больше крика, ругани и драки от стряпни, пьянства и проч., чем в том коридоре, где семейство старшого постоянно на виду. Холостые почтальоны живут отдельно в комнате и кухне, а едят у семейных почтальонов. В этой холостой поселился и Макся и стал на хлебы к семейному почтальону по двадцать копеек в сутки.

С первого же дня Максю удивила обстановка почтовой жизни. Он увидел такой беспорядок в почтальонских семействах, какого он не замечал у хозяек-мещанок; пьянство женщин, ругань их, драки между собой и свободное обращение интересных особ с мужчинами вскружили его голову.

— А, новичок, здравствуй! — сказала ему одна молодая девица, когда он вошел к одному почтальону, у которого было в сборе три семьи, составляющие шесть женщин и двоих мужчин.

— Как зовут? — спросила другая.

— Нашего поля ягода, — сказал один почтальон.

— Кутейник! — прибавила третья женщина, хлопнув его рукой по плечу.

— Ну, обстригем.

— А когда *спрыски* будут? Позовешь? — приставала вторая женщина и закурила папироску с корешками русского табаку.

— Позову.

— То-то... Мы тебе песенку споем, такую залихватскую!

— Куды тебе! Ты ее, Максим Иваныч, не слушай, она всех молодых скружила да надула.

— Слушай ты ее, дуру набитую.

— Ты хороша, модница... Уж бы не хвасталась... Зачем с Петрушевым таскаешься?

— Молчи, харя! — и женщина плюнула в лицо обижавшей ее.

— Ну-ну! смирно, вшивая команда! — закричал им один почтальон и прибавил Максе: — ты не больно слушай их, нужды нет, что они пасти-то разинули. Ишь, как ревут, во все горло!

— У нас здесь очень просто; все друзья и друг друга не выдаем. Смотри и ты никого не выдавай, — сказал ему Лукин.

Макся узнал также, что все почтальонши и девицы любят, чтобы мужчины называли их барынями и барышнями, и обижаются, если их не называют так.

В первый же день его поступления в почтовый дом ему ночью привелось видеть несколько сцен. Пришла почта. В это время он дежурил в конторе. Почтальон приехал пьяный, его распек старшой за то, что он приехал без пистолета и сабли, и предварительно сдачи почты сводил в баню, где отрезвил его двадцатью горячими ударами розог и заметил Максе, что и с ним то же будет. При этом Макся исполнял, с чувством и достоинством, должность палача.

Его удивило то, что почтмейстер пришел разделывать почту в халате и раскричался на одного почтальона.

— Ты пьян, мошенник!

— Никак нет-с, ваше высокородие.

— Старшой, он пьян?

— Точно так-с.

— Дать ему завтра двести горячих.

Почтальон был действительно трезвый и повалился в ноги почтмейстеру, но почтмейстер прогнал его.

Старшой со злостью сказал почтальону в разборной:

— Уж я же тебе задам! Взлуплю же я тебя!..

— Никита Иваныч, простите!..

— Я покажу тебе, как обзывать меня вором! — И больно зол был старшой, до того, что Максю пронимало при одном его появлении, и Макся всячески старался выслужиться перед старшим.

Максе пришлось после этой почты дежурить в конторе, и он долго дивился всему.

— Что же это такое? — спрашивал он одного приезжего почтальона.

— Это все оттого, что старшой с почтальоном может сделать все что хочет. А что бабы здешние так живут, так это не редкость. Сызмалетства уж они такие, мужчины их избаловали.

— Оказия!.. А девки?

— И девицы тоже...

VII

И так стал Макся служить почтальоном. В конторе работы было мало. Все его занятие состояло в том, что он записывал письма и пакеты в реестры, закупоривал пост-пакеты, записывал получаемую корреспонденцию в книгу. К этим занятиям он приучился в одну неделю. И они были для него очень легки. Скверно было то, что ему приводилось вставать, наравне с почтовыми, каждую ночь, как приходила почта. К почтовым он тоже привык и уже пригляделся к их жизни и не удивлялся всему, что видел. Свободное время он проводил или в семействе почтового, или играл в карты и бабки, или рассказывал об своей старой жизни; но в любовные дела не входил, боясь, что ему набьют бока, до тех пор, пока одна барышня не подала ему сама повода к этому.

Играл он во дворе в бабки с тремя почтальонами. Дворник отворил дровяной двор, из которого назначались дрова исключительно для почтальонок и сортировщиц. Почтальонки, сортировщицы и девицы, в числе десяти особ, прошли мимо играющих.

— По дрова, бабоньки? — сказал один почтальон одной даме и скосил глаза.

— Конечно.

— Э, девоньки! задери хвосты-те! — сказал другой почтальон и ущипнул одну молодую барыню.

— Уйди, черт! Вымой наперед лапы-те.

— Экая ты красавица писаная! .. Барыня, помелом мазанная.

— Будь ты проклятой, рыжий пес! — барыня плюнула.

Почтальоны подошли к воротам и стали поджидать барынь. Женщины и девицы стали ругать дворника за дрова и перебранивались между собою из-за дров.

— Ты зачем лишнее полено взяла?

— Тебе какое дело? — ругаются барыни.

— Ну-ко, Курносиха, цапни ее по мордасам! — сказал один почтальон.

— Молчи ты, немытая харя, туда же суется! ..

Прошла одна почтальонка с дровами. Почтальоны ей загородили дорогу: она плюнула одному в лицо и ушла.

— Храбра! — захохотали почтальоны и просыпали дрова у другой почтальонки.

Макся стоял у дверей и смотрел на одну девицу, дожидавшуюся, когда дворник набросает ей дров. Она часто взглядывала на него и раньше этого, а теперь не спускала с него глаз.

— Эй ты, ротозей! Поди, тебя Марья Ильинишна дожидается, — сказала одна почтальонка Максе, заметя, что он смотрит на Машу. Макся покраснел; почтальоны осмеяли его и толкнули во двор. Макся неловко подошел к девице.

— Чего тебе? — спросила она Максю.

— Я унесу дрова-то...

— Куды те, вахлаку! Унесу, говорит!

— Ей-богу, унесу.

— По-моему, чем говорить, взял бы да и нес!

Макся взял шесть поленьев из чужой кучки, за что его обругал дворник:

— Куда, куда понес? Не тебе назначено.

— Поди-ко, не все равно...

— Я тебе дам — не все равно. Сказано, погоди!

Макся понес дрова.

— Тебе говорят, брось!

— Молчи, мужик.

Дворник подошел к Максе и так ударил его по шее,

что у него выпали дрова. Макся схватил дворника за бороду, и бог знает, что бы Макся сделал с дворником, если бы не вступились почтальоны.

— Дурак ты эдакой! Ведь он любимец почтмейстерской. Он с тобой может сделать все что захочет, — говорили ему почтальоны.

Утром на другой день почтмейстер долго кричал на Максю и велел арестовать его в конторе на целую неделю. Храбрости Максиной все дивились, а Марья Ильинишна по два вечера носила ему в контору разных кушаньев, секретно от своей семьи, хотя она была уже сосватана за какого-то сортировщика; да и после свадьбы всегда кланялась на его поклоны и спрашивала: «здоровы ли-с?» А это считалось признательностью, расположением дамы к мужчине, который свободно мог ей скосить глаза, а в темноте и обнять.

VIII

Макся прослужил в почте уже два месяца и изучил вполне все почтовое общество. Это общество, населяющее дворню в числе восьмидесяти человек, он и его товарищи разделяли на три части: аристократию, мелкую шушеру и чернь. Аристократию составляли почтмейстер с помощником, письмоводитель и контролер; мелкую шушеру составляли сортировщики и почтальоны, а чернь — сторожа с кучерами и кухарками. С виду казалось, что все общество не гнушалось друг другом, но на деле выходило такое же различие чинов и должностей, как и везде. Почтмейстер гостил у чиновных и чиновных же приглашал к себе и никогда не заглядывал в обиталище сортировщиков и почтальонов, и если случалось ему бывать у старшого или у сортировщика денежной корреспонденции, то это считалось предметом особенной милости с его стороны и давало повод к толкам, пересудам и зависти всей дворни: человек возвышался в мнении всей дворни, и ему завидовали. После одного посещения почтмейстера к такому человеку с ним уже зналась остальная аристократия, и он сам причислял себя к аристократии, отдаляясь больше и больше от меньшей братии. Остальная аристократия редко заглядывала к сортировщикам, и то разве вроде милости, как то: на именины, крестины и похороны.

Смотря на аристократию, церемонились и сортировщики с почтальонами, но уже не так. Они происходили большею частию из почтальонов, и как они ни старались переделать себя по-чиновнически, все выходило как-то смешно; и после того как над ними стали издеваться почтальоны, они переставали важничать, но хотя дома и играли с ними в бабки, в карты и ходили в гости к ним, все-таки на службе вели себя с достоинством, желая показать, что они выше почтальонов. Почтальоны, такие люди, которым трудно выползти из своего звания, ненавидели дворню выше их, и хотя оказывали им почтение на службе, но под пьяную руку ругали их, и предметом их разговоров было то, что случилось сегодня в дворне у лиц старше их. Каждая неловкость, каждая ошибка и каждая глупость, сделанная теми, ими осмеивалась громко и ставилась им в вину.

— Все это дрянь, — говорил Лукин Максе. — Ты не смотри, что они голову задирают кверху да руки засовывают в карманы, — дурачье набитое. Заставь ты их сочинить бумагу — никак не сумеют. Возьми нашего старшого, он едва-едва по графкам пишет.

— Зачем же нас-то так мучат?

— Оттого, что почтальон здесь рабочий, на нем выезжают.

— Зачем же ему почту доверяют?

— Надо же соблюсти какую-нибудь форму. Видишь, интерес и вещи по казне идут, — сделали почтальона для того, чтобы они доставляли всю почту к месту. Знают, что почтальон все равно что солдат, а солдата разве жалеют? То же и у нас. У нас бы, кажется, дружнее должно быть, потому что нам верят более интересов, но на нас и свои-то даже смотрят хуже, чем на солдат. Поживи, узнаешь.

Смотря по мужчинам, также отличаются и почтовые барыни: но здесь важничанье развито в высшей степени. Жена контролера терпеть не может жену старшого, говоря: «Мой муж чиновник, а это что! сегодня служит, а завтра в солдаты уйдет»; сортировщица говорит, что она не пара какой-нибудь почтальонке. А так как в дворне трудно обойтись без ссор, то каждая сортировщица всячески старается обругать почтальонку солдаткой и имеет на это такое право, что почтальонскую жалобу некому разбирать. Даже и между собой сортировщицы живут не

очень ладно, постоянно ссорятся у печек, у дров и воды, которую возит на дворню ямщик, и подчас дерутся, но зато по вечерам сходятся все и толкуют о том, что им взбредет в голову. Почтальонки и дочери их также терпеть не могут сортировщиц и аристократок, и каждая из них старается как-нибудь сделать ей пакость. «Давно ли в люди-то попали! еще и важничают. Будь-ко у моего мужа или брата деньги, и я бы не хуже их зажила». Сортировщицы часто понукаются почтальонками, и так как почтальонки живут зажиточнее и проще сортировщиц, во-первых, потому, что почтальон приобретает в месяц до пятнадцати рублей, а сортировщик только семь, а во-вторых, они живут по-почтальонски, — то сортировщицы почти постоянно просят у них в долг то муки, то чего-нибудь. Почтальонки ни за что не пойдут кланяться сортировщицам: «голь поганая!» — говорят они; и если их рассердит хоть одна сортировщица, то ей не будет покою целый год; почтальонка обругает ее на всю дворню, как только может; наскажет всем, как она живет, выставит все ее закулисные тайны и чем-нибудь да будет досаждать ей: то кринку молока прольет на погребе, то говядину, лежащую на погребе, стравит кошкам или чужую вещь положит на место вещи сортировщицы, которая, не догадываясь, кто всему виной, попадается опять в другую неприятность.

Макся узнал также, что все женщины помнят долг и всякую благодарность, никогда и ни у кого не украдут; с мужьями и мужчинами обращаются запросто, и пьяных бьют без церемонии, и даже имеют больше прав в семействе. Они даже развиты гораздо лучше, чем мещанки. Но ему не нравилась ни одна почтовая женщина: «больно уж они развратны. . .»

В четыре месяца Макся понял всю почтовую премудрость, испробовавши все занятия: ему приходилось заниматься у сортировщиков и простой и денежной корреспонденции, в разборной, у контролера и у письмоводителя, и во всех занятиях он ничего не находил трудного, кроме препровождения времени чем-нибудь. Даже и в письмоводительской он не затруднялся переписывать бумаги и много понял по управлению почты. Понятливость он приобрел еще в то время, когда служил у эконома и бывши у настоятеля послушником, у которых он часто переписывал бума-

ги, а канцелярскую премудрость он приобрел в губернском правлении. Конечно, в письмоводительской конторе он не все понял: здесь были дела по управлению почты, соображаемые с существующими законами и разными циркулярами, что ему плохо было известно, тем более что письмоводитель скрывал свое искусство даже от почтмейстера. Макся узнал и то, что почтмейстер умеет только читать и подписывать бумаги, а как сделать что-нибудь — спрашивал письмоводителя, который спорил с ним и переспаривал его, делая что ему хочется. Макся узнал, что письмоводитель ворочает всей губернией и такая сила, что без него ничего не сделаешь. Досадно только было Максе, что ему ничего не перепадало от письмоводителя и виноватых, а он знал, что его начальник много получает денег таким образом. Получается в конторе жалоба, почтмейстер призывает письмоводителя.

— За что? — спрашивает он его.

— Это жалоба на смотрителя.

— Выгнать его вон из службы.

— Надо вызвать его для объяснений: может быть, он и не виноват.

— Ну, вызови.

Приезжает смотритель и идет кланяться к письмоводителю.

— Дело плохо: тебя выгнать хочет.

— Помилосердуйте! — И смотритель кланяется в ноги письмоводителю.

— Нельзя.

Смотритель дает ему денег, и письмоводитель говорит:

— Ладно, я попрошу. Ты поди, поклонись ему в ноги, скажи: не виноват, мол.

Сходит смотритель к почтмейстеру, почтмейстер прогонит его, а когда придет в контору, призывает письмоводителя и спрашивает его:

— Шельма Корчагин приехал?

— Точно так-с.

— Ну, что?

— Да известно, ваше высокородие, всякий приезжающий — дурак; дела не смыслит, а зазнается.

— Ишь, шельма!.. Отписать ему, бестии, что он сам плут.

— Отписать нельзя.

— Почему?

— Жалобу в почтамт напишет... Что прикажете делать с Корчагиным?

— Прогнать его вон из конторы; да скажи, чтобы он впредь этого не делал; скажи, мол, я ему всю шкуру спущу.

Так же делал письмоводитель и с почтмейстерами; но те аккуратнее смотрителей — сами слали денег ему и потому держались долго на должностях. Уездные почтмейстеры, получающие жалованье от одиннадцати до восемнадцати рублей, приобретали доходы так же, как и губернский почтмейстер, который на доходы вообще смотрел как на необходимость.

Максе стыдно было ходить с письмами по городу, но, однако, его заставили ходить. Подобрали ему письма по домам, подписали на них, где кто живет, и пошел Макся по городу. Целый день он ходил по городу и за каждое письмо просил по шести копеек, но ему давали по три, по десяти, а где и ничего не давали. После семи путешествий по городу Макся узнал почти всех жителей, кто где живет, и ему очень понравилось носить письма, и Максю многие знали в городе.

Теперь Макся редко пил. Выпивал он перед обедом и ужином, но допьяна не напивался; пьян он напивался, только когда в почте бывали праздники, в которые напивались все почтальоны и сортировщики и даже женщины. Вообще Макся был на счету у начальства, и даже сам почтмейстер ласково смотрел на него. Раз он даже удостоил его своим вниманием. По случаю болезни старшого Макся, бывши дежурным, пошел извещать почтмейстера, что пришла почта.

— Кто ты такой? — спросил его почтмейстер.

— Почтальон, ваше высокородие.

— Знаю, что не черт! Кто ты такой, тебя спрашивают?

— Максимов.

— Пьешь водку?

— Никак нет-с.

— Врешь, шельма! Узнаю — всю шкуру спущу... Кто у тебя отец?

— Дьячок был, теперь умер.

— Ишь, шельма!.. Зачем же он тебя в почтальоны стурил?

— Он давно умер...

— Подай мне умыться.

Макся подал, и почтмейстер обругал его за то, что он лил воду неловко. После умыванья он напялил на почтмейстера сапоги, сюртук, и прислуживал так рабски и так смотрел невинным, что почтмейстер похвалил его.

— Ну, смотри, парень, служи хорошо; я тебя в смотрители произведу. Даром сделаю.

Макся не утерпел и рассказал об этом почтовым: те много дивились. Но Максю за что-то не любил старшой и искал случая повредить ему. Раз была почта ночью. Макся заделывал чемодан. Набивши свинчатку, он сказал почтмейстеру:

— Печати хороши, ваше высокородие.

— А, это ты? — спросил почтмейстер Максю.

— Точно так-с, ваше высокородие.

— Старшой, есть вакансии смотрителей?

— Есть.

— Назначить его на хорошую станцию.

— Да он не стоит этого.

— Что ты врешь, мошенник?

— Он и теперь пьян.

— Пьян! Ах ты, рожа ты эдакая!.. Ишь, у тебя и рожа-то какая красная! — сказал почтмейстер Максе и подозвал его к себе.

— Дохни! — закричал он на Максю.

Макся был действительно выпивши и дохнул на лицо почтмейстера; тот чихнул и рассвирепел донельзя:

— В отставку его, каналью!.. В солдаты!

Немного погодя помощник почтмейстера вступился за Максю: почтмейстер смягчился.

— Отодрать его! Дать ему двести! — сказал он старшому, но помощник сказал, что Максю драть нельзя, а лучше для исправления назначить на месяц в разъезд с почтами.

И Максю назначили ездить с почтами полгода.

IX

Максе давно хотелось ехать с почтой, но его не пускали сначала потому, что он служил недавно, а потом занимался постоянно в конторе и носил по городу письма.

Почтальоны говорили Максе, что с почтой ездить хорошо раз пять, десять и то в хорошее время; но проездивши раз двадцать, не рад будешь. Макся, как не ездивший никогда с почтами, а ездивший несколько сот верст в карете с настоятелем, не верил, что почтальоны говорят дело.

— Вот уж мне так не надоест ездить с почтами, — говорил он.

— Не хвались, прежде богу помолись.

— Ну, не отговаривайте.

— Попробуй раз десять съездить — не то скажешь.

— Ладно.

Макся очень обрадовался, когда ему объявили, что он едет с первоотходящей тяжелой почтой.

До прихода почты Максе дали овчинный тулуп, шинель, саблю, сумку с двенадцатью патронами, с порохом, с пулями и пистолет. Время было зимнее.

Пришла почта; Максю стали снаряжать. Поевши очень плотно и выпивши на дорогу рюмки две водки, Макся надел на грудь, поверх сюртука, сумку, прицепил к ней пистолет, заряженный на всякий случай, взял с собой табаку и спиц и стал дожидаться приема почты.

Теперь Максе занятно сделалось наблюдать за заделыванием почты. Вся корреспонденция, исключая посылок, закупоривалась в бумагу, которая обвертывалась веревкой, к концам которой прикладывали печать, а на одном боку подписывали так: п. п. из (имя города) и в какой город. Потом эти пост-пакеты, вместе с посылками, клались в чемодан, или баул, или сумку и там утискивались ногами для простора. Потом эти чемоданы или сумы заделывались петлями, и к ним прикладывали две печати: одну на сургуче, другую на свинчатке. После этого чемоданы, сумы и тюки он записал на лоскутке бумаги, который положил в сумку. Макся стоял в присутствии, где заделывали посылочную корреспонденцию.

— Сколько принял? — спросил его почтмейстер.

— Двенадцать чемоданов, семь сум и три тюка.

— Ступай.

— Счастливо оставаться, ваше высокородие. — Макся вышел в приемную. Сортировщик у простой корреспонденции подал ему подорожную, в начале которой было написано правило, что он должен ехать безостановочно, никуда не заходить и беречь как можно почту. Тут был

прописан он. Потом следовали названия почты и вес ее, потом станции. Макся поверил свою записку с подорожной; оказалось верно. Расписавшись в книге в принятии почты, Макся вышел надевать на себя шубу и взял саблю. Старшой вынес ему кучу писем.

— Вот тебе письма, смотри не потеряй. Когда роздашь, деньги получишь на водку.

— Покорно благодарю.

Почтовые простились с Максей, послав с ним поклоны и письма на станции и города своим знакомым.

Почта накладена была на четырех санях, и поверх, на грудах чемоданов и тюков, сидели ямщики, а в пятых, задних, на двух чемоданах и одной суме пришлось сидеть Максе. Макся сел, устроился кое-как, поклонился почтовым.

— Э-эх! вы, вы!!!

— Фить-тю! .. Ну, ну-ну! ..

Закричали ямщики, лошади рванулись; зазвенели колокольчики, и почта пошла. Любо сделалось Максе. Почта катит скоро мимо городских домов; ямщики то и дело кричат и гикают; народ, идущий по дороге, сторонится, а Максе любо, и он, как дитя, улыбается, и в голове его вертятся слова: что, разве я не человек? на-ткось! глядите, как покатываемся, да еще куда! .. Макся вытащил подорожную, посмотрел на цифры верст... Ведь триста семьдесят! .. Ай да хорошо! Миновали город. Макся все смотрит по сторонам да любуется деревьями, снегом, полями, дорогой, гиканьем ямщиков, звяканьем колокольчиков и ямщиками, как они ухитрились сесть на чемоданы и тюки. Любо ему, что ничего не слышно, кроме звяканья колокольчиков и крика ямщиков. Однако Максе холодно. Он захотел удобнее прилечь, но ему некуда было протянуть ног, потому что два чемодана заняли внутренность саней, а сума, положенная на них к задку саней и служившая подушкой Максе, занимала целую четверть саней, а другую четверть занимал ямщик. Как Макся ни пристроится к суме, голова и спина сваливаются. Сел Макся, неловко ногам и спине; а ветер то и дело сквозит; прилег набок, голову встряхивает очень больно от ухабов... Захотелось Максе устроить лучше место для себя.

— Ямщик! — вскричал он ямщику, тот обернулся.

— Чаво?

— Останови лошадей.

— Пошто?

— Поправить тут надо.

— Где-ка?

— Да неловко сидеть.

— Как те ишшо! Больше некуды сдвинуть, все место занято.

— Как-нибудь.

Ямщик остановил лошадей и стал было укладывать суму.

— Ты ее положь лучше.

— Куды-ка?

— Да чтобы я сел на нее.

— Неловко будет, барин. Уж мы эвти дела знаем; не ты первой ездишь. По трою ездят — вот дак мука тогда.

— Так нельзя?

— Нельзя... Экие псы, и соломки-то мало дали... Ужо я положу тебе на станции соломки, помягче тожно будет.

Поехали. Максе показалось, что теперь ему еще хуже сидеть...

Почта поехала врассыпную, так что первых саней не видать было, а остальные шли на большом расстоянии. Макся струсил.

— Слышь! ровно четверы сани-то были, а теперь только трои...

— Дак что!

— А где же те-то?

— А впереди.

— Он, поди, уедет?..

— Не уедет!

Ямщик почти не гнал лошадей. Дорога шла изгибами. Впереди видны были только одни сани с ямщиком и лошадьми.

— Ты бы догонял их.

— Успеем.

— Право, они уедут.

— Э! А ты, барин, из новых, штоля?

— Да.

— А преж где-ка служил?

— Я при настоятеле служил; послушником был.

— А!.. Догоним... Э-эх! вы! миленькие! Пошли,

пошли! .. — закричал он на лошадей. Догнавши сани, он закричал на того ямщика:

— Шевелись, што губу-то отквасил!

— Ну-ну!

— Пошел, пошел! ..

Тот ямщик догнал третьи сани, и таким порядком были догнаны все сани, и почта пошла по-обозному, с тою только разницею, что она шла скорее обозных, но не так скоро, как думал Макся и как гнали ямщики по городу из конторы.

Ямщики несколько раз останавливались или поправлять упряжь лошадей, или закуривать трубки, или для какой-нибудь надобности. При остановках в ушах Макси долго еще звенели колокольчики, и ему казалось, что его как будто пошатывает взад и вперед. Проехали часа два, и Максе казалось это время очень долго, да он и озяб; у него ноги очень зазябли. Все-таки он часто смотрел на пистолет и саблю.

— Много ли еще верст?

— Верст-то? Да верст восемь будет.

— Поезжай скорее.

— Уж знаем, как ехать. Доедем.

— А если не будем в часы?

— Будем в часы... Не твоя беда.

— Отчего же вы здесь тихонько пускаете лошадей?

— Эво! Лошади-то, поди-ко, свои... Там-то город губернский, начальство; нельзя, значит, тихо ехать, а здесь лошадки-то и отдохнут... А вот к станции и припустим.— За три версты до станции ямщики опять закричали и загикали, и почта скоро пришла на первую станцию. Макся сидел на чемоданах и не знал, идти ему или нет.

— Бачка, слезай.

— А чемоданы?

— Перекладывать станем.

Макся слез. Его встретил станционный смотритель.

— Вы из новичков?

— Да.

— Очень приятно познакомиться. Да ведь вас почтмейстер обещался смотрителем сделать, мне Калашников сказывал.

Макся рассказал все, что с ним было. Во время перекладыванья почты смотритель расспрашивал его об

губернских почтовых, хотя знал все. но для того, чтобы провести весело время.

— Какова дорожка? — спрашивал смотритель.

— Ничего.

— Ну-с, как там?

— Ничего.

— Все благоденствуют?

— Живы.

— А почтмейстер ничего?

— Ничего.

И это смотритель повторяет каждый день, при каждой почте.

Макся опять поехал и ехал так же, как и в первую станцию. Настала темная ночь, без луны и звезд, закрытых облаками. Макся трусил. Опять звенят колокольчики, и ямщики изредка покрикивают. Максе холодно; Максю встряхивает; Макся ругаться начал: ну и дорожка! На козлах сидел парень лет четырнадцати.

— Эй ты, мужлан! — крикнул Макся парню.

Парень спит, хотя и держит в правой руке кнут, хлыст которого заткнут за его пояс.

— Ямщик! — крикнул Макся и ткнул его в спину ногой.

— Чаво? — сказал парень и погнал лошадей.

— Я те покажу чаво! Спишь только, анафема!

— Знам, как.

— То-то — знам! А где те-то?

— Знамо, где.

— Смотри, заблудишься — вздую.

— Сам не заблудись...

Другой ямщик попался ему старик.

— Старина, здесь не боязно?

— А что бояться-то, с нами крестная сила!

— То-то... Воров здесь нету?

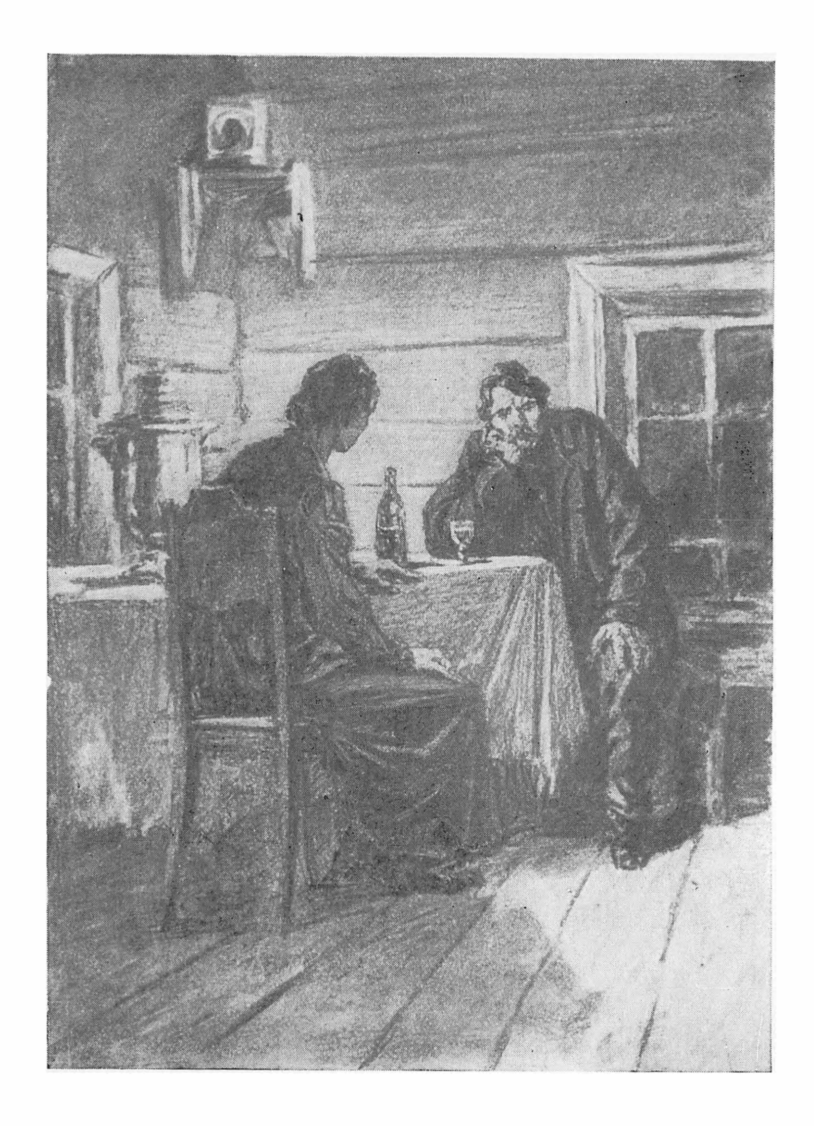
— Как нету. Здесь обозы подрезывают... Ономедни два места чаю утащили. Говорят, воров много; место такое.

— А почты боятся?

— Ништо... Да ты бы, барин, соснул бы таперь.

— Ишь ты?

— У нас все почтальоны спят. Как лягут — и спят; на станции, почитай, на руках выносят.



— Ну уж, я не стану спать.

— Полно, барин... Умычишься... Спи знай, ишшо много ехать-то...

Максе хотелось спать, но он боялся заснуть, думая, что почту подрежут, да если он и думал, что ездили же до сих пор почтальоны, почту не подрезывали и теперь, может, ничего не будет, но он не мог заснуть сидя, с непривычки. В двух местах он вываливался в ухабах так, что его придавливало санями. Это больно не понравилось Максе.

Все смотрителя, а где их не было — писаря, были любезны с Максей и почти на каждой станции подавали ему по рюмке водки, а там, где его кормили по установленным правилам, ему подавали по три рюмки. После этого Макся ехал бодро и только дремал. В почтовых конторах его тоже расспрашивали об дороге и губернских, — более, чем смотрителя, — и он говорил, что знал. Почтмейстеры, узнавшие об нем от почтальонов, жалели его.

Наконец он приехал в тот город, где ему нужно было сдать почту. Сдавши ее благополучно, он было пошел спать, но его пригласил один семейный почтальон напиться чаю и покушать. С Максей, как с губернским почтальоном и приехавшим сюда в первый раз, все обращались вежливо. Макся здесь напился пьян.

В этом городе Макся прожил двои сутки и в это время ничего не делал в конторе, зная, что губернским почтальонам не подобает заниматься в уездной, а уездные должны в губернской и дежурить и работать. Здесь он вел себя гостем и надо всем наблюдал. Ему не нравился город, который он прозвал, вместе с людьми, *вшивою амуницией*, не понравился почтмейстер, которого он прозвал *чучей,* а самую контору назвал *лошадиным стойлом.* Одним словом, ему ничто не понравилось в этом городе.

— Как это люди живут в таком городе! То ли дело наш губернский, — говорил он почтовым этого города.

— Зато у нас все дешевле и доходнее.

— Ну, уж все же губернским быть лучше, потому что оттуда можно скорее получить место смотрителя, — говорили Максе уездные почтальоны.

Макся поехал опять в губернский город.

— Ну, что, нравится? — спрашивали его почтальоны по приезде его в губернский город.

— Ничего, только холодно да сидеть неловко.

— Погоди, не то еще будет.

И стали Максю гонять, и стал Макся ездить с почтами.

X

Проездил Макся с почтами два месяца кряду; случалось ему ездить даже без отдыха: приедет он в губернский, его опять посылают за неимением разъезжих почтальонов; приедет в уездный — и, если там ехать некому, его опять посылают назад. Так в течение двух месяцев он съездил с легкими и тяжелыми почтами пятнадцать раз.

Езда ему опротивела с седьмого раза: опротивели ему ухабы, чемоданы, морозы, ветры, ямщики, и многое-многое опротивело Максе до того, что он стал проклинать и дороги и почты. Чем больше он ездил, тем больше ему стала надоедать почта.

— Ну уж и служба! Правду говорили почтальоны, что ездить с почтой не то, что ездить в карете. Я бы теперь лучше согласился звонарем быть, — ворчал он дорогой, когда что-нибудь злило его.

Больше всего злили его ямщики, то есть злило его их равнодушие: проедут город и целые пятнадцать—двадцать верст пустят лошадей шажком; хоть ты кричи на них, хоть уговаривай — скорее не поедут, а только говорят: в часы будем! — и действительно, приезжали в часы... Теперь и природа не радовала Максю. Едет он в санях или высунет голову из-под накладки, посмотрит кругом: всё места знакомые: «Всё дрянь! и отчего же это хороших-то мест нет? кто же тут виноват-то?» И станет Макся перебирать местную администрацию, да так и заснет, и не разбудишь его скоро на станции. Макся сам не мог понять: отчего ему спится дорогой? Лишь только завалится он на чемоданы, проедет верст пять — и спит. И славно ему спится: снятся ему только конторы, да служащие почты, да гиканье ямщиков и что он далеко куда-то едет... И бурлит Макся со сна, ворчит что-то несвязно, только голову встряхивает направо и налево, то об накладку

ударится, то она с сумы скатится на суму, которая на груди у Макси. Макся не чувствует боли, только слюни текут по губам... А ямщикам завидно:

— Благая же эта жизнь почтальонам: только ткнется в сани или телегу, и дрыхнет всю дорогу.

Хорошо казалось Максе спать с почтой, и ругался же он, когда его будили на станциях. Но и на станциях он спал. Сдаст дорожную писарю или ямщику, и завалится на лавку и спит. Перекладут почту; начнут будить его:

— Максим Иваныч, вставай! Готово.

— Гмм! — ворчит он.

— Почта готова!

— Ну, ну... сейчас, — и Макся перевернется на другой бок.

Кое-как разбудят его ночью. Проснется он; встанет, возьмет подорожную, положит ее бессознательно в сумку и пойдет к своему месту.

— Всё тут? — спросит он ямщиков.

— Нешто оставим?

— Ловко улажено?.. Положьте еще соломы.

— Да будет, Максим Иваныч.

Сядет Максим Иваныч, и как только забрякают колокольчиками, он уж опять спит...

— Максим Иваныч! — спросит бывало его ямщик, да посмотрит, что он спит, и сам задремлет. Лишь только остановятся лошади, Макся пробудится.

— Приехали? — спросит он.

— Нет еще.

Укутается Макся и опять спит. Посмотрит на него ямщик, и завидно станет ему: экое людям счастье; все спит...

Максю любили все ямщики за то, что он не бил их и говорил с ними ласково. Заведет Макся разговор с ямщиком об урожае; ямщик всю дорогу до станции будет говорить об этом предмете, пока не заметит, что Макся спит. Но об урожае мало было разговоров, потому что большая часть ямщиков хлебопашеством не занималась, а толковали больше о почтовых станциях, почтосодержателях, лицах, составляющих собою управление почты. Больно ямщикам солона кажется ихняя жизнь.

— И что это за жизнь наша! Вот теперича хлебом

промышлять несподручно, потому, значит, помещики землю нам дали такую, что ужас! Вот оно какое дело-то! .. Ну, дома — те не жалко, можно новые построить; всё ж обижают. .. Ну, теперича куда подешь робить? Преж хоша извозом промышляли, а теперь, как начали эти пароходы, и мало работы... А по почтовой-то части нам сподручно: сызмала ходим. Так и тут времена, слышь, настали такие, што нашему брату больно плохо. За тройку-то от содержателя по шести копеек получаем, а он берет по девяти, ну, да ему больше надо... Это што; а вот овес да сено у него берем, потому, значит, у своей братьи продажного-то нету, а в город ехать не рука... Ну, он, кое стоит семь гривен, за то просит рубль двадцать, а самому гуртом-то пяти не стоит. Так-то оно вот и выходит, что живем не сыт, не голоден... А вот летось кульер ехал; две лошади пали; ничего не дали, кульер прибил, а мне-ка и денег не рассчитали...

Макся сочувствовал ямщику, но помочь ему ничем не мог.

— Ты бы жаловался.

— Жаловался! Ишь ты: жаловался! .. Знаешь, што с нами делают за эвти жалобы?

Жалко стало Максе ямщиков, и он полюбил их до того, что угощал их водкой, и те угощали его. Стал Макся крепко попивать водку. Он уже знал все села, деревни по той дороге, по которой ездил на расстоянии шестисот верст, и все кабаки. Проедет он от губернского пять или десять верст и встанет у деревни.

— Петруха, сходи-ко в кабак.

— Ладно.

Сходит ямщик в кабак, принесет ему косушку. Половину он выпьет, половину ямщик, а после этого спит. Доедут до другой деревни, другой ямщик остановит лошадей и кричит ямщику Петрухе:

— Буди Максю-то.

— Ну?

— Вишь, кабак.

— Ишь, дьявол! Захотел? — И опять будят Максю. Так Макся и сбился с толку до того, что пятый месяц постоянно приезжал с почтой пьяный даже в губернскую контору. А один раз и саблю потерял дорогой. Так и стал ездить без сабли.

Почтмейстер узнал, что Макся пьянствует, и решил гонять Максю постоянно с почтой. Макся сделался отчаянным пьяницей, никуда не годным почтальоном...

Летом ему еще хуже показалось ездить с почтами: тряска непомерная, дожди и прочие неудобства, какие только могут испытать почтальоны, день ото дня мучили его, и он почти что не любовался ни весной, ни летом, ни хорошими видами, которых на пути очень было много.

Да едва ли какой-нибудь почтальон, проехавший по одной дороге раз сорок, будет, сонный, любоваться природой, которая ему не приносит решительно никакой пользы и любоваться-то которою он не находит удовольствия. То ли дело водка! Что делать почтальону в течение двух суток, при следовании с почтой на протяжении трехсот шестидесяти верст, в дрянную погоду, по дрянной дороге, под дождем, и в мороз, и при таком сиденье?

Случалось Максе и не одному ездить с почтами. Ездил он и со смотрителями и почтмейстерами; и тогда спал. Пассажиры смеялись над ним.

— Ой, Макся, проспишь почту!

— Ну ее к шуту!

— Смотри, в Сибирь уйдешь.

— Так что! Где-нибудь да надо умирать.

А Максе больно не нравилось, как с ним кто-нибудь ехал: смотрителя и почтмейстера хотят сесть удобнее, и ему достанется такое место, что ни присесть, ни прилечь нельзя. Однако Макся и тогда спал.

Почтовые знали, что Макся спит с почтами, но спать с почтой дело такое обыкновенное, что на это не обращалось внимания; да и теперь не обращается внимания. Недаром есть у почтовых поговорка: «Бог хранит до поры, до случая». Почтовые знали также, что Макся возит с почтой посторонних лиц, но не выдавали его, потому что бедному человеку надо же как-нибудь нажить деньгу, да и Макся возил таких посторонних, которые рады были где-нибудь прицепиться, только бы доехать, и у них не было никакого умысла, чтобы ограбить почту. Возил их Макся таким образом. Посторонний условится с ним раньше, даст рублик за двести верст и выйдет за заставу дожидать почту с Максей; Макся останавливает ямщика у известного места. Ямщик знает, в чем дело.

— Я не повезу, — говорит ямщик.

— Ну, полно; только до первой станции.

— Все равно.

— Я дам на водку, — говорит посторонний. Ямщик получает двадцать копеек и сажает постороннего, уважая Максю и вполне надеясь на него. На станции Макся или вводил постороннего в смотрительскую канцелярию и уговаривал смотрителя, или, если смотритель был формалист, он сажал своего пассажира за станцией и таким порядком довозил до места.

XI

Все деньги, какие водились у Макси, он пропивал. Вся его одежда, заведенная по началу его служения в почте, оборвалась, а новую шить было не на что. Почтовые жалели Максю, советовали ему не пить и старались как-нибудь поддержать его. Но он так впился, что ему трудно было не пить. Случалось, он и не пил, но только до обеда, когда занимался в конторе, зато все, что он ни делал, выходило у него клином. Старшой заставлял его дежурить, но вечером Макся убегал из конторы, и когда выговаривал ему старшой и грозил, что он будет жаловаться почтмейстеру, Макся только ругался, и старшой, жалея его, спускал ему; отступились от него и почтовые, кроме женщин, которые очень соболезновали об нем. Сидит Макся утром у кого-нибудь, пригорюнившись; его обступят женщины три-четыре и говорят:

— Максим Иваныч! Плохой ты человек сделался, а сначала какой был...

— Плохой, — говорит он и морщится.

— То-то вот и есть. Ты сам знаешь, что водку тебе скверно пить...

— Человек-то ты смирный, не буян... Брось ты эту поганую водку! Посмотри, сколько нынче горит с этой проклятой водки.

— Не могу, бабы! — И Макся начинает насвистывать с горя...

— Экой ты какой... Ровно ты маленький, слава те господи...

— Не могу.

— Да отчего же не можешь? Дай зарок не пить, и не пей. Или поручи кому-нибудь деньги на сохранение.

— Ну уж, это трудно... Уж я никогда не буду трезвым.

— Жалко. Человек ты молодой, а погибаешь, как червяк.

Все эти советы и тому подобные слова на Максю не действовали. Находили, правда, и на него минуты, когда он думал: отчего я пью? — и принимался плакать, думать: дай, не буду пить, — и пил, как только случались деньги или где был случай к попойке. Женщины даже заговор устроили против пьянства Макси. Они задумали женить его: женится, переменится, не станет пить водки, говорили они, и подговорили одну девицу, Наталью, любезничать с ним, а потом выйти за него замуж. Наталья долго упиралась, не желая быть замужем за пьяницей, но ради своих подруг решилась подействовать на Максю лаской. Ей было двадцать четыре года, и она была *корявая форма,* как ее называли почтальоны. Начала дело она так.

Рано утром Макся сидел один в холостой и починивал брюки. Наталья вошла в холостую.

— Здравствуйте, Максим Иваныч! как поживаете?

— Помаленьку. Садись.

— Постою... Что поделываешь?

— Видишь, штаны починиваю.

— Вот оно что: нет жены, сам и шьешь.

— На кой мне ее черт, жену-то?

— Как на кой черт?

— Чем я ее стану кормить-то, что я за богач такой?

— Меньше пей... не всё же богачи женятся.

— Меньше пей! Все вы одно говорите: меньше пей! на свое пью, не на ваше.

— Все же неловко...

— Чего неловко?

— Без жены-то.

— Ну уж, про это я знаю. Знаю я, как здешние-то бабы живут... Сволочь всё! — Макся плюнул.

— Полно-ко, Максим Иваныч.

— Не правда, что ли?

— И вы-то, мужчины, хороши: не клади пальца в рот.

— Ну уж, не женюсь... — сказал Макся и захохотал, а потом выругался.

— А что бы, если это я навернулась... — сказала немного погодя Наталья.

— Ты-то? жидка больно...

Наталья ушла со стыдом и со злостью на Максю. Почтальонкам она рассказала, что Макся ее всячески обозвал; но Макся о разговоре с Натальей никому не сказывал. Так дело о женитьбе Макси и кончилось ничем. Пробовала было старшиха советовать Максе жениться и предлагала ему невесту, дочь сторожа; но и этот совет тоже ничем не кончился.

А Макся между тем уже любил. Нужды нет, что он был пьяница, и у него была любовь, только не в губернском, а в уездном городе.

XII

В том городе, куда Макся ездил постоянно с почтами, он жил большею частью в конторе. Сначала его приглашали почтальоны к чаю, обедам и ужинам, но когда увидели, что Макся денег не платит и выгоды от него никакой нет, его не стали приглашать. Не приглашали его еще и потому, что он был постоянно или с похмелья, или пьян. Если он придет с похмелья, — просит денег на водку и, стало быть, смущает мужей на попойку. Жены боялись пьяных мужей, которые трезвые рады были выпить, а как попала им одна рюмка, они и пошли катать целый день, да еще и другой день будут пить, до тех пор, пока не высосут все женины деньги; пьяный Макся никому не давал покою своею руганью и своим гиканьем. Макся очень любил гикать. Сидит ли он насупившись, отдуваясь и пошатываясь, или лежит на полу, то и дело гикает что есть мочи: их! вы!! и еще того пуще прибавит: и-их! вы-ы! .. — и эти звуки усиливает все больше и больше, мотая головой с закрытыми глазами. И не любит Макся, если его лишают этого удовольствия: обругает он, как только может. Но тем он хорош, что никогда не лезет драться. Уездный почтмейстер снисходил Максиной слабости, вероятно потому, что Макся был честен и трезвый охотно помогал почтальонам. Над трезвым даже шутил почтмейстер; однако шутки его Максе не нравились, и он только ядовито улыбался, но эта улыбка никем не понималась.

Несколько раз приводилось Максе бывать с губернским почтальоном Ермолаем Борисовичем Романовым у его подруги Анисьи Федоровны, вдовы почтальона Та-

расова. Анисья Федоровна была женщина двадцати восьми лет, некрасивая, но добрая и много сочувствовавшая Максе. По началу Макся ходил к ней пьяный с Романовым, за что Романову доставалось крепко от его подруги. Макся ничего не помнил пьяный, и все ругательства Тарасовой были ему передаваемы на другой день Романовым. Макся извинялся, как умел.

— Отчего не ходить, я гостям рада, только дебоширить не надо... Ведь ты не в кабак пришел, — говорила трезвому Максе Тарасова.

— Не могу, характер такой, — оправдывался Макся.

— Воздержись.

И Макся почему-то старался воздержаться, то есть не стал приходить пьяным к Анисье Федоровне. Он приходил к тому убеждению, что Тарасова женщина ласковая, что если она не любит пьяниц, стало быть, это нехорошо. Но как ни крепился Макся, а все-таки находил возможность быть пьяным.

Однажды он сидел пьяный у Тарасовой. Романова не было. Ужинали. Тарасова смотрела на Максю с сожалением, хотя и сама была крепко выпивши. Макся был положительно пьян и насупившись смотрел в чашку. Глаза жмурились, жирное его лицо отсвечивалось, на усах болтались крошки ржаного хлеба. В комнате их было двое.

— Максим Иваныч.

— А! — бессознательно сказал Макся, мотнул головой и раскрыл глаза.

— Жалко мне тебя. Много ты водки пьешь.

— И-их! вы!! — гикнул Макся и ударил по столу левым кулаком.

— Макся! голубчик! — и Анисья Федоровна взяла левую руку Макси.

Макся в первый раз слышал такие слова, он широко раскрыл глаза и дико смотрел на Анисью Федоровну.

— Посмотри ты на себя, Макся, пожалей ты себя-то ради господа бога! ..

— Эх! .. Плевать я на вас хочу! — И Макся рванулся так, что полетел со стула на пол. Больших усилий стоило Анисье Федоровне стащить Максю к постели. Она втащила его на свою постель, а сама улеглась на пол. Утром Анисья Федоровна обругала Максю:

— Пьяница ты горькая! Креста-то на тебе нет... Сейчас вон из моего дома, чтобы и ноги твоей не бывало здесь у меня... Что ты мне вчера наговорил, бесстыдник эдакой?

Макся ничего не понимал. Он крепко запечалился: «Одна была у меня добрая женщина, одна она только не обижала меня, и та гонит...» Две недели Макся не ходил к Анисье Федоровне, и в это время, бог знает отчего, он мучился. Он стал пить меньше водку и думал много о своем положении. Едет, например, он с почтой, смотрит вдаль бессознательно, чувствуется тоска какая-то... Рассердится Макся, плюнет, завернется в шинель, — не спится... «Эх бы, Анисья Федоровна пожалела меня! Так нет, и та считает меня хуже последней собаки...» И ему становится хуже, хуже оттого, что он дрянной человек и дрянным таким с детства сделался... «Морда ты эдакая, гад!..» — ворчит Макся, и сам не знает, кого он ругает. И долго думает Макся, и слезы его проймут, и ничего не придумает хорошего, кроме того: «Эх, Анисья бы Федоровна не сердилась, уж я бы...» Что бы он сделал, он не может придумать: отстать от водки не может, угодить чем ей — не знает, подарить ее — обидится.

Шел он на рынке трезвый и думал о том, что ему не на что выпить. Попалась навстречу Анисья Федоровна.

— Здравствуй, Макся! — сказала она.

— Здравствуйте, Анисья Федоровна.

— Что же ко мне не зайдешь?

— Боюсь.

— Приходи сегодня.

Макся пришел трезвый и застал у нее какого-то приказного. Когда приказный ушел, Анисья Федоровна выставила на стол полштоф водки. После двух рюмок она завела с Максей такой разговор:

— Отчего ты, Макся, не женишься?

— На лешем, что ли?

— Зачем на лешем!

— Не хочу, Анисья Федоровна.

— Вот видишь, Макся, пьянство до добра не доводит. Будь ты трезвый, тебя бы полюбила девушка, и ты бы хороший был человек.

— Наплевал бы я на...

— Не плюй в колодец, пригодится...

— Не хочу! .. не тронь меня...

— Неужели у тебя желанья такого нет?

— Желанья нет? Есть! .. Да что толку-то? .. Ну, кто захочет со мной жить?

— Правда твоя... Только бы ты попробовал.

Макся крепко задумался.

— Анисья Федоровна! — сказал он вдруг.

— Что?

— Э, да нет уж! .. Не стоит. — И Макся выпил сразу две рюмки водки.

— Ну, что же?

— Да нет уж... Где мне.

Больше от Макси Анисья Федоровна ничего не добилась, а Макся опять мучился неделю и проклинал себя, что он не сказал ей, что она для него одна в мире добрая душа и для нее бы он на все был готов. Про Максю говорили в это время в обеих конторах так: знает Макся, где раки зимуют, недаром Макся ходит к Анисье Федоровне, — и Макся страшно ругался за это. Ему советовали жениться на Анисье Федоровне, и он крепко стал подумывать об этом предмете.

Анисья Федоровна была замужем за почтальоном, который умер от пьянства. Она была выдана замуж силой и по временам водилась с приезжими почтальонами, за что ей жутко приходилось от мужа. Когда умер муж, она водилась уже открыто с почтальонами, извлекая из этого себе насущный хлеб, и почтальоны не ревновали друг к другу. Хотя Макся и слыхал об этом, но плохо верил.

Когда он высказал ей свое намерение жениться на ней, она посмеялась и сказала:

— Я не хочу идти замуж за пьяницу; да и за трезвого не пойду.

— Я не буду пить.

— Ходи так.

И стал Макся ходить к Анисье Федоровне и так привязался к ней, что не напивался пьяным, отдавал ей свои деньги, помогал ей в том, что было не под силу Анисье Федоровне, угождал ей во всем и делал все, что она ни велит. Макся блаженствовал три месяца. Зато пьяного Анисья Федоровна била Максю чем попало, гнала из дома, а Макся хвалился Анисьей Федоровной.

Над Максей смеялись, что он зажил своим домком и отдает все свои деньги такой женщине, как Анисья Федоровна, про которую идет худая слава в почтовых дворнях. Макся защищал свою Анисью Федоровну и мало-помалу воздерживался от пьянства.

Но и это продолжалось недолго. Стал Макся замечать, что Анисья Федоровна предпочитает другого почтальона, гонит его от себя, когда сидит у нее почтальон, а трезвого постоянно упрекает, что он мало носит денег. Макся терпел месяц, терпел два месяца, отстал от нее на месяц, потом опять пришел, но Анисья Федоровна, сведя знакомство еще с другим почтальоном, страмила Максю. Макся стерпел, но когда в другой раз она упрекнула его, что он пропил ее серебряные сережки, хотя она и говорила это пьяная, Макся озлился, прибил ее, прибил почтальона, изломал много вещей и попал в полицию.

За это буйство Максю перевели в третьеклассную контору.

XIII

В третьеклассную контору Макся приехал до того пьяный, что его едва-едва вытащили из телеги. Контора помещалась во втором этаже, а Макся не мог идти по лестнице и упал у крыльца. Его стащили в полицию, а на другой день почтмейстер отправил его обратно в губернскую контору при таком донесении:

«Имею честь почтительнейше донести оной губернской почтовой конторе, что присланный оною конторою почтальон Максимов приехал пьяный как *стелька* и не мог сдать почты, а его вытащили из телеги, и он, упав у крыльца, был мною, после поверки при нем почты, отправлен в полицию. Почему и покорнейше прошу с препровождением сего почтальона Максимова убрать его из моей конторы, как опасного и малоспособного, и вперед таких не присылать. . .»

Максю уволили в отставку.

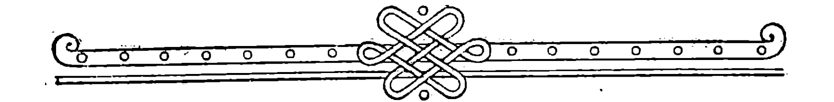
Долго шатался Макся в губернском городе без всякого дела, пробиваясь более у почтовых, и был день сыт, два голоден, день пьян, два дня с похмелья. Максю никуда не принимали на службу. Советовали ему наняться в солдаты, но он не пошел. И бог знает, что бы сделалось

с бедным Максей, если бы над ним не сжалился один станционный смотритель. Этот смотритель был его друг Лукин, уже женатый человек. Он пригласил его в писаря.

Макся живет нельзя сказать чтобы хорошо, но и не худо. Хозяин его кормит, дает ему денег на водку, а об остальном Макся не заботится. Главное, нравится Максе то, что он постоянно дома. Максю любят и проезжающие и ямщики; он со всеми ладит и умеет всякого удовлетворить. И славный человек Макся трезвый; редко найдешь такого простого и доброго человека, но зато жалко становится, когда запьет. А как запьет Макся, так и пьет целый месяц, до того, что все с себя спустит, и никакими резонами не заманишь его на станцию. Ругается тогда Макся, хоть святых вон неси, и гикает на все село, и смешит же он тогда поселян!.. Лукин всячески старается поддержать Максю, но не может. Он говорит, что Макся и трезвый заговаривается, то есть с ума сходит, нужно следить за ним, потому что он начинает отмечать в тетрадках ямщиков вместо одиннадцати часов — «три с полтиной» и т. п., а ночью ворчит спросонок. «Но если, — рассказывает Лукин, — я начну его спрашивать: что мучит тебя? — он говорит: не твое дело; не я первый и не я последний такой».

Что будет потом с Максей — не знаю и разрешать этот вопрос предоставляю другим.





Из цикла „Забытые люди“

ЯШКА

ОЧЕРК ИЗ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ

I

Осень стоит грязная. Назад тому неделя, как выпал снег, покрыл всю Петербургскую сторону, где уже ездят на санках, тогда как в самом Петербурге ездят на колесах; мостовые, особенно набережные Петербургской стороны, заледенели, отчего не одна женщина имела несчастие шлепаться всем корпусом на лед и поэтому проклинать свою жизнь и проклятую осень; но сделалась оттепель, какие в невской столице не редкость и зимою, пошел дождь, снег размочило, и он уплыл к набережной Невы. Хороша бывает грязная осень и в самом Петербурге; осень же в патриархальной Петербургской стороне еще лучше. Об этом нечего и говорить. Кто имел удовольствие прожить хотя год в этой стороне, тот очень хорошо знает, что нигде так не заметны во всем Петербурге четыре времени года, как в этом петербургском предместии, обиталище чиновников, салопниц, людей, любящих тишину и спокой, любящих вспоминать о провинции и жить по-провинциальному, и небольшого количества бедняков, студентов университета и медицинской академии.

Вечер. Тихо на Петербургской стороне. Кое-где, и то по большим улицам, проедет извозчик с седоком, да кое-где через дорогу пробежит кто-нибудь, или пролают в разных местах несколько собак. Темно, — так темно, что в узких улицах и переулках около Мытнинского пере-

воза не редкость провалиться в спуск к какой-нибудь лавке в подвале, стукнуться лбом об угол какого-нибудь дома или шлепнуться в грязь, оступившись где-нибудь в яме. Ни одного фонарика тут нет. Так было назад тому шестнадцать лет; так почти и теперь есть, точно прогресс сюда не хочет переправляться через Неву; впрочем, он уже полегонечку переправляется: фонари теперь есть, только в малом количестве, горят часто не все и тускло, потому что газ сюда еще не перебрался через Неву. Восемь часов вечера; обитатели Белостокского переулка еще не спят: там и сям, по обеим сторонам в окнах, виден свет, кое-где мелькают по стенам тени. Тихо в Белостокском переулке, — так тихо, что так и кажется, что все люди здесь уже собираются спать или, сидя на стульях, зевают, — к чему наводят громкие зевки лавочников в подвалах, крестящих рты и приговаривающих: «О-о-хо-хо-о! .. А!! а!! согрешили попы за наши грехи»... Но чу! послышался откуда-то писк ребенка; кричит где-то какая-то женщина; из одного мезонина вдруг послышался густой бас: «Отверзу уста моя, и наполнятся духа, и слово отрыгну...» — и замерло все.

Но вот кто-то шлепает по грязи и натыкается то на заплоты, то на стены домов.

— А, штоб тебе провалиться совсем... Ну, вот!! — говорил мужской охриплый голос. При восклицании мужчина, как видно, провалился к лавке по подвалу.

Из лавки вышел высокий бледный мужчина в полушубке и грязном фартуке. Он нес свечку.

— Эко тебя, любезный, садануло! .. Ставай, ставай! О!! — и лавочник стал пихать мужчину ногой.

Мужчина приподнялся.

— Послушай... Ну, и темь, — проговорил он.

— А, Якову Саввичу... Да, и темь же!

— Вот все хочу фонарь промыслить... У купца Егорова славный видел в кладовой. Только, знаешь ты, друг, двух боков нету.

— Какой же это фонарь?

— Все же лучше бутылки!

— Ха-ха! Твоя-то Матрена, поди, не забыла бутылки, как ты ее... ха-ха... О господи! ха-ха!

— То-то и есть: пошел со свечкой и пришел с подбитыми глазами... А ведь в фонарь водки не нальешь,

особливо ежели боков нету. Прощай, Василь Николаич. Ходил к бабке — ушедши. Чать, родила...

— Счастливо... А ты ежели что — мою старуху — бабушку.

— О! А я ходил...

Мужчина подошел к калитке и стал стучаться, а лавочник ушел в лавку, зевая и приговаривая:

— О-ох, грехи, грехи... Тоже бабку!.. Столиция, столиция — штоб те... — и он так стукнул половинкой двери, что чуть стекла не разбились в ней.

Долго стучался мужчина у калитки; несмотря на то, что даже самые ворота с заплотом шатались, но обитателям не хотелось как будто выйти во двор. Наконец к калитке подошел дворник и окликнул мужчину: «Кто?»

— Черт! — сказал мужчина.

— Черт же и есть... Для вас, чертей, только и живем... Пьяницы! — и дворник отворил калитку.

— Ты не ругайся, дядя Петро: слышь, за бабкой ходил: жена родит.

— А, штоб вас!.. Я вот возьму и не запру. Отворяй сам.

— Эк, брат, ты разленился. Говорят, дома нету бабки-то. Вот што. А вот ты бы посветил маленько, лучше бы было.

— О! ха-ха!! проваливай, брат: у тебя и так в глазах-то, поди, светло. — И дворник запер калитку, а потом исчез в темноте.

Двор маленький, покрытый лужами, точно наводнением каким. Пахнет чем-то гнилым, прокислым, воняет кожей, салом. Мужчина то и дело натыкался на стены и углы дома, то шлепал в небольшие ямы, в которых грязи и воды было ему на вершок выше колена. Откуда-то рвались привязанные на толстые бечевки собаки и с остервенением лаяли. Наконец мужчина ущупал одно крыльцо и почти ползком вошел на него по шатким склизким ступенькам, на которые ежеминутно скатывалась с крыш дождевая вода крупными каплями и барабанила по донельзя промоченной спине мужчины. Однако путешествие этим не кончилось. Находясь в совершенной темноте и духоте, мужчина должен был подняться по лестнице с пятнадцатью шаткими ступеньками на узенький коридорчик, пройти его, подняться еще по лестнице

с двенадцатью ступеньками, завернуть влево и еще подняться. Вот дверь направо; он повернул налево, растопырил обе руки, ущупал дверь, наставил ухо к двери и остановился.

Тихо. Кто-то чихнул. Запищал ребенок.

— Конец! — и мужчина перекрестился, но все еще держал ухо у двери.

Он услышал женский голос.

— Жива!! — он опять перекрестился и отпер дверь.

Было темно; его сразу обдало воздухом, пахнущим мылом, точно тут где-то стоит корыто с намоченным в нем мыльною водою бельем.

— Кто тут? — окликнул его женский старушечий голос.

— Яков.

— Опоздал. С новорожденным!

— А! Парнишко?

— Толстяк какой — весь в тебя.

— Славно!

И мужчина завернул направо.

Узенький коридорчик был еще у́же от кадок, сундучков и развешанных по стенам юбок и разного ветхого белья. Было везде темно, и мужчина ощупью дошел до двери, которая была не заперта.

— Вот кого надо за смертью посылать... — проговорила женщина в темноте.

— Дома нету акушерки-то.

— И не нужно. Опять напился!

— Ей-богу...

— Полно, и так разит.

— Ну, вот провалиться!

Мужчина зажег сальный огарок, который был воткнут в бутылку, и слабый свет от очень нагоревшей светильни осветил комнату. Направо, у стены на кровати, лежала женщина лет под тридцать. Лицо ее было бледно, худо, точно она рожала каждый год и все ее дети были живы. Она была не очень красива, хотя у нее и было чистое лицо; у стены лежал ребенок и дышал тяжело. Возле кровати лежала какая-то старушка, скорчив ноги так, что ей было длины не больше аршина с четвертью и ее легко было бы взять в охапку и нести куда угодно. Комната маленькая — похожая на чердак, потому что та

сторона стены, к которой были обращены ноги женщины и старушки, составляла крышу и шла наклонно от стены с дверьми к ногам лежащих. Окна в ней не было. Вся мебель в ней состояла из кровати, небольшого столика, табуретки и двуногого стула. На стене висели: сарафан, полушубок, черный мужской кафтан и мужской грязный передник. Около стены, противоположной кровати, с крыши сочилась вода и падала на пол, на котором была уже порядочная лужа.

Мужчина снял свой халат и стал выжимать из него воду в лужу.

— Ты бы в коридор вышел — и так, говорят, мы мочим, — сказала женщина.

— А нас не мочит? Нет, шалишь!

Немного погодя он подошел к жене.

— Ну, слава богу, — сказал он, глядя то на жену, то на ребенка.

— Чего?

— Што родила; живой ведь.

— Лучше бы мертвый... Умрет, я думаю.

— Нет, пусть живет.

— А кормить-то кто будет: ты, што ли?

— А ты-то на што?

— Я-то... Ох! ты много ли заробишь, себе на хлеб. Поди-ко, и мне надо жрать, а он как? Даст, поди-ко, он мне робить?

Мужчина замолчал. Запищал ребенок.

— Вот и молока нету! Согрей хоть, христа ради, воды.

— А где бы я ее взял?

Теплой воды во всей квартире не было. Запастись ею раньше никто не догадался.

Встала старушка, накинула на себя салопчик и побежала в лавочку. Немного погодя она принесла молока, разведенного в теплой воде и сахаре.

Мужчина долго не мог заснуть; не спала и жена его; ребенок пищал.

— Хорошо бы, как бы он жил, только как устроить, Матрена? .. Вот и здесь — течет.

— Помрет.

— Што пользы — хорони, то, другое; а капиталы где?

— Ну, чухнам отдадим.

— Не надо. Лучше в воспитательной.

— Я тоже думала. А звать как?

— Пусть Яшкой зовется.

Супруги замолчали.

И так родился человек, названный Яшкой, с которым родители не знали что делать с первого дня его рождения.

II

Яков Саввич Савельев и жена его, Матрена Ивановна, — уроженцы деревенские, но жизнь обоих сложилась так, что первый еще мальчиком был взят в город в обучение малярному ремеслу; как подрос, вместе с артелью, в которой он обучался работать, переехал в Петербург; Матрена же Ивановна тоже девочкой была отдана в работы на кирпичном заводе, куда она ходила с своими подругами за пять верст от деревни и откуда получала денег по пяти копеек в сутки. Конечно, по мере того как она подрастала, плата ей увеличивалась, но дошла только до двадцати копеек в то время, как ей минул девятнадцатый год; больше же двадцати копеек платы женщинам на кирпичном заводе не полагалось. Хотя у родителей того и другой в деревне были свои дома, они имели землю, за которую платили большой оброк, но земля эта не приносила им никакой пользы, потому что им приходилось больше тратить время на помещика, и поэтому почти все мужское население деревни сыздавна ходило на заработки — или в города, или в столицы; дома оставались жены, которые управлялись с хозяйством, заменяли собою помещику рабочие силы, а если у них не хватало средств кормиться от остатков, которые были припасены раньше, то и они шли тоже на работы в ближайшие фабрики и заводы. Поэтому и неудивительно, что и Яков Саввич и Матрена Ивановна с детства работали в разных местах. Однако случилось так, что Яков Саввич женился на Матрене Ивановне. Каким образом случилось это — здесь распространяться я считаю излишним. Женившись на Матрене Ивановне, Яков Саввич пожил в деревне только два месяца и опять укатил в Питер. Проживши детство в городе, в артели, он еще тогда отвык от деревни, ему еще тогда было скучно в деревне без дела, а деревенская работа не нравилась; проживши пять лет

в Питере, он уже и на города стал смотреть как на деревни, а об деревне и говорить нечего. В столице он работал в больших каменных домах, артелью, жил в артели, много видел; ему нравилась столица как молодому человеку, хотя его и кормили скверно, и платили, сравнительно с другими, мало, и недоплачивали. Матрене Ивановне скучно было без мужа; к тому же она жила в доме, принадлежавшем родным ее мужа, и поэтому, как самая младшая в семействе и взятая из бедного семейства, она должна была заправлять всем хозяйством или быть с четырех часов утра до девяти вечера на ногах; но когда муж предлагал ей перед отъездом идти в Питер, она отмахивалась руками и говорила, что боится туда идти, да и примеров не было, чтобы какая-нибудь женщина ихней деревни или соседних уходила туда; кроме этого, все однодеревенцы рассуждали так: что муж должен ходить на заработки, а жена жить дома. Впрочем, тут было еще большое препятствие: нужно просить помещика; хорошо еще отпустит он. А если отпустит, то увеличит оброк и на жену. Так она и осталась в деревне, где и жила шесть лет. Муж ее приезжал в это время только два раза: один раз зимой, другой — летом, и она от него имела уже двоих детей — мальчика и девочку.

Яков Саввич не хвалился своим житьем в Петербурге. Он работал попрежнему в артели, потому что не умел жить один и не мог сыскать для одного себя работы. Что делала артель, то делал и он; не было у артели работы, сидел и он без работы и проедал деньги, до этого заработанные. Хотя у него на пищу и на квартиру выходило немного денег, но, однако, несмотря на то, что иногда ему приходилось получать в месяц рублей двадцать, — редкий месяц он мог откладывать из этих денег пять рублей на оброк, потому что, живя в артели, ему трудно и неловко было отстать от товарищей: если артель делала складчину или дозволяла себе какое-нибудь удовольствие, и Яков Саввич давал в нее деньги; а так как артель состояла из двадцати четырех человек, из которых многие были хорошие питухи, ели много, — к тому же с голодной пищи пилось и елось много, — то приходилось раскошеливаться снова, и это раскошеливанье доходило до того, что к утру у Якова Саввича и его товарищей оказывалось в кармане не более пяти копеек меди. При

таком положении Якову Саввичу нечего было и думать о том, чтобы его жена жила вместе с ним в Питере. Впрочем, он, занятый с утра до вечера работой, думал об этом, может быть, только тогда, когда находился в хорошем настроении, — что бывало очень редко, — и гнал мысль о совместном сожительстве в столице с женою тем: «А вот съезжу домой, побалуюсь, и все тут».

Однако судьба устроила так, что и его жена попала в Петербург — и это устроилось очень просто. Родная сестра Матрены Ивановны, Акулина, весной ушла с мужем в Петербург, бросив своим родным ребенка. Это не только удивило, но даже разозлило всю родню, и все приписали это обстоятельство не тому, что Акулина чересчур любила своего мужа, но говорили, что Акулина «поскуда». Но через три месяца Акулина шлет оброк от себя, и все узнали, что Акулина живет где-то у господ в мамках, получает много и денег и подарков. Это многих в деревне сбило с толку; Матрена же Ивановна только и думала о том, как бы ей уехать в Питер, тем более что жизнь ее в мужниной семье становилась все невыносимее и тяжелее, так что дошло до того, что ее стали попрекать уже Акулиной: «Вот Акулина, смотри, сама за себя и даже за мужа платит оброки, а ты што? Только чужой хлеб ешь». Летом пришел к Матрене Ивановне муж; она стала ему говорить о том, как ей тяжело в деревне, как ей хочется в Питер и что она может сама быть кормилицей, когда родит. Муж долго не соглашался с женой, ругал ее, но, заметив, что действительно жене скверно, решил взять с собой. Родился у Матрены ребенок, покормила она его с месяц, а потом отдала семье Акулининой, которая была добрее семьи ее мужа и к намерению Матрены относилась доброжелательно.

В Петербурге Матрена Ивановна проболталась с полмесяца. В это время она не могла даже поступить в кухарки. Насилу-насилу, с помощью подарков вахтерам и старухам, она попала в воспитательный дом и пробыла там на законной половине три месяца. Там она была, что называется, казенным человеком: одевалась как и другие мамки, приучалась пить кофей, есть в положенные часы то, что прочие ели, кормила в сутки до десяти ребят, а с порученным ей дитей обращалась именно так, как обращается торгаш с вещью; впрочем, в течение трех месяцев

у нее было на руках пять ребенков, которые скоро по бедности родителей были отвозимы в деревни. В воспитательном она получала порядочное жалованье, которое выпрашивал у нее муж для того, чтобы отослать в деревню, но больше для своих расходов. По выходе из воспитательного с десятью рублями Матрена скоро поступила в кухарки и жила на разных местах год, но потом захворала, пролежала в больнице четыре месяца, а по выходе поселилась с мужем на квартире и занялась прачечным ремеслом по найму у одной прачки, жившей в том же доме. Так она прожила два года. В это время у нее родился ребенок и умер. Через полгода после его смерти муж ее перешел к одному подрядчику на Петербургскую сторону и поселился в описанной выше квартире за рубль серебра в месяц, с тем чтобы ему носить хозяйке, вдове-чиновнице, дрова и воду.

Прачечное ремесло у Мытнинского перевоза было плохое дело для Матрены, и она нанялась в кухарки, но как только барыня заметила, что ее кухарка брюхата и ходит тихо и пыхтит, — то и отказала ей. Поэтому до родов Матрена жила в квартире без дела две недели, в которые была редко сыта, часто бита мужем за то, что у него теперь расходов больше на ее кофеи, булки и вообще на ее утробу. Жена же утешала мужа тем, что она недолго будет жить на его шее и ребенок, вероятно, умрет, тогда она опять наймется куда-нибудь в прачки.

Ребенок не умирал. Его окрестили. После крестин прошла неделя, а Яшка живет и, как на зло, не дает матери покою. Пойдет ли куда мать, ребенок плачет, хозяйка и жильцы сердятся, говорят, что Яшка и им ничего не дает делать. Стали Якову Саввичу и его жене советовать отдать ребенка куда-нибудь. Яков Саввич злился.

— Я вот возьму да и уйду в артель, а ты как хочешь с ним, — говорит он жене.

— А чей ребенок-то?

— Зачем шла сюда? Ты думала, век в мамках-то будешь? Пошла с ним, с дьяволом, в деревню!

Но Матрене Ивановне не хотелось идти в деревню. И на это она имела много оснований. Однако как быть? Муж ежедневно попрекает ее; поступить на место ребенок мешает. Отдать его в деревню на воскормление — платить надо; отдать в воспитательный не хочется, по-

тому что она знает, каков там обиход и каковы последствия. Наконец муж стал постоянно приходить пьяный; узнала Матрена, что он без места, и товарищи его удивляются тому, что он пьянствует и никому не платит долгов. Говорили человека два, что его надул подрядчик на десять рублей вскоре после рождения Яшки, еще до крестин, — и вот он стал пьянствовать и буянить. Чем бы окончилось дело — неизвестно, но скоро Матрена Ивановна нашла на Офицерской улице место кухарки за три рубля — и в тот же день отдала ребенка чухонке на воспитание за три рубля в месяц. От мужа она ушла тайком, когда он был в кабаке, и с этих пор уже видела его только два раза: раз через три недели после поступления на место — в больнице, где он лежал в белой горячке, а во второй — мертвого через неделю после этого.

III

Деревня Тудари, в которой жила чухонка Катерина, взявшая на воспитание Матрениного сына, находится в Петергофском уезде, расположена на небольшом пригорке и окружена с трех сторон болотом, а с четвертой — небольшими пашнями, с которых хозяева их получают очень немного. У этих чухон нет ни яблоков, ни малины и других ягод — и все их богатство в отношении растительного царства, за исключением ржи, составляет картофель, который урождается не всегда хорошо, и сено, которого при небольшом количестве коров хватает на зиму едва-едва. Потому мужское население деревни большею частью работает или около Царского Села на подрядчиков, или занимается извозом, тоже по подрядам, в Петергофском уезде и в самом Петербурге; женщины же носят в Петергоф молоко, сливки, масло и яйца. Но главный предмет их промышленности состоит в том, что они воспитывают детей. Почти каждая хозяйка дома знакома очень хорошо с воспитательным домом, и поэтому ей небольшого стоит труда получить оттуда детей, имея дело, конечно, с конторой, в которой (не знаю, как теперь) прежде приходилось ей оставлять половину платы за каждое дитя. Случалось так, что уже старая женщина получала ребенка, обязываясь кормить его грудью.

Женщине нужно было только взять на свое имя дитя, а потом она могла его перепродать другой чухонке за молоко или за что-нибудь, уступить, для того чтобы самой получать плату и не возиться с ним. А так как в каждом доме была не одна женщина, то все эти женщины тоже получали с законной половины, — потому с законной, что деревня Тудари находилась недалеко от воспитательного дома. Поэтому в деревне Тудари детей разных возрастов было больше взрослых, но из них родные дети холились как следует, были сыты и здоровы, и с ними обращались как с родными, конечно на счет посторонних. И только какая-нибудь болезнь, вроде коклюша, при тамошнем сыром климате, грязной обстановке в избах, — иногда неблагоприятно действовала и на родных детей, которые умирали так же легко, как и посторонние.

Дом Катерины ничем не отличался от других домов. Такая же большая грязная изба, холодная зимою и сырая, душная летом, и такая же маленькая комната — жилье самих хозяев. У Катерины было двое детей, взятых из воспитательного дома, — мальчик и девочка; своих детей у нее было трое: два мальчика — одному четыре года, другому шесть лет — и девочка двух лет. Но Катерина была женщина добрая: как тех, так и других детей кормила ладно, потому что у нее было две коровы и десять коз; молока она не жалела для детей, и дети были здоровы, что давало ей повод упрекать других женщин в даровом получении денег от казны и ссылаться на священное писание, которое она любила читать в первый год замужества, и, как женщина набожная, и теперь без книжки никогда не молилась богу. Однако она слово «воспитание» понимала буквально; она только думала, что ребят надо кормить, и она кормила — чужих молоком и хлебом; своих — молоком, булкой с маслом, картофелью; все, что ели сами родители, ели и их дети; если же уже дети Катерины были сыты до отвала, то остатки давались чужим: что же касается до ухода за чужими детьми, то это не входило в программу воспитания: чужие дети были едва прикрыты, ихние одежонки изнашивались родными детьми; они валялись по полу как попало, кашляли, хворали, спали в корытах почти у самых дверей избы, несмотря на то, что зимой холод первых их охватывал, — и только тогда советовалась с доктором,

когда дело было уже плохо. А советовалась Катерина с доктором потому, что если умрет ребенок, она лишится платы, и ей уже не так легко потом достать ребенка.

Дети Катерины хотя и были малы, но понимали из обращения родителей, что половина из них чужая, и старались, со своей стороны, как-нибудь обидеть их, отнимая от них то, что занимает их, колотя и т. п., на что родителями не обращалось большого внимания.

Яшка, или по-чухонски Яска, был больной мальчик. Поэтому Катерина, получавшая от его матери больше, чем она получала из воспитательного дома, ухаживала за ним больше, чем за другими чужими детьми, потому, вероятно, что за этого ребенка нужно платить доктору, а за казенных нет. Но Яшка не поправлялся — и однажды заболел серьезно. Катерина повезла его в воспитательный под видом Васьки, мальчика, находящегося у нее из воспитательного дома.

И Яска-Васька, пролежав в воспитательном месяц, стал выздоравливать.

Поехал в Тудари доктор воспитательного дома. Пришел к Катерине; ее не было дома; дома была только старуха, и то больная. Доктор был молодой.

— У, старая, сколько у тебя ребят-то, как свиней! — проговорил доктор старухе, входя в избу.

— Слава богу.

— Ну, которая у тебя девчонка из воспитательного?

— А вот, што ползет.

— И этот тоже спитальной, — сказал мальчик Петр, указывая на мальчика из воспитательного дома.

— И этот? — Доктор стал смотреть табличку. — Как же у вас одна девочка значится?

— Нет, у нас мальчик и девочка, — сказала старуха.

Васька сказал, что он и Машка — воспитательные.

Доктор записал мальчика и уехал.

В воспитательном справились: от Катерины взят мальчик Василий в больницу. Решили, что или доктор ошибся, или Катерина смошенничала.

Катерина струсила. Явилась в контору. На нее начали сыпаться угрозы.

— Моя старуха больная; она плохо видит и плохо слышит, — говорила Катерина и стала просить ребенка домой.

Ей было совсем хотели отдать ребенка, да ординатор поверил ее билет с документами: госпитальный ребенок Василий значился трех с половиною лет, а находящемуся в больничной палате было два года.

Нарядили следствие и разузнали, что Катерина проехалась за счет казны. Яшку отдали ей, а казенных детей от нее отобрали.

Теперь у Катерины стало меньше детей, и стало меньше доходу, но она была рада, что отделалась так легко, хотя с этим Яшкой она израсходовала целых пятнадцать рублей. Вот она эти деньги и хотела наверстать каким-нибудь образом. Несмотря на ее набожность, она подумывала, что если бы Яшка был девочка, то ей и думать бы нечего: она бы стала девочку лелеять, а потом продала бы ее в Питер, а мальчика кто у нее купит, да и за мальчика мать скорее ухватится. Мысль эта, впрочем, пришла ей в голову еще и вследствие того, что Матрена еще перед болезнью была у нее, а с тех пор она даже в воспитательном доме не навещала своего сына, хотя Катерина ее и предупреждала об этом. Стала Катерина разыскивать Матрену — не нашла. В адресном столе она не могла тоже ничего узнать.

Стала Катерина советоваться с мужем.

— Не купит ли его какой подрядчик? Рублей десять дал бы, — говорила она.

— Подожди, может быть еще мать его явится.

Подождали неделю. Умер у Катерины старший сын.

— Это от Яски. Надо продать Яску, — настаивала Катерина.

— Теперь он пусть будет работником нашим, — решил муж Катерины.

Так Яков и остался у Катерины.

Через месяц после этого муж, приехавши из Красного Села, говорит Катерине:

— Надо Яску хорошенько растить, потому мне подрядчик говорил, что он его возьмет, как ему будет шесть лет. Я ему было говорил, что тогда мне Яков будет нужен самому, только он мне обещает дать двадцать рублей. Как по-твоему?

— Это хорошо. Лишь бы теперь жил, а после, как деньги получим, — пусть околевает.

— А теперь вот он дал задатку два рубля. — И муж отдал жене деньги.

Вследствие этого Яшке сшили ситцевую рубашку, в которой он и ползал весело по полу, вызывая со стороны родных детей Катерины зависть и лепеча по-чухонски: «кулла! майт!» [1]

IV

После смерти мужа Матрена Ивановна усердно работала. Она была сперва кухаркой; но так как ей, при ее строптивом характере, при ее неуступчивости и неумении кланяться, унижаться и выжидать, трудно было где-нибудь ужиться на одном месте более месяца (она поступала преимущественно или к бедным людям, чиновницам, едва сводящим приход с расходом и даже запутавшимся до того, что их постоянно осаждали кредиторы и, наконец, выгоняли вон с квартир, или к аферистам, рассчитывающим платить за квартиру пятнадцать рублей, а с квартирантов получать сорок пять рублей, и живущим скупо; ее постоянно перед выходом от какой-нибудь квартирной хозяйки обвиняли в краже белья, или ложки, или какой-нибудь вещи, так что в последний раз ей пришлось просидеть понапрасну в полиции неделю, и за это ей ничего не заплатили, потому что настоящий вор нашелся), — то Матрена Ивановна опять поступила в услужение к прачке, в Фонарный переулок, за пять рублей. Работа была каторжная, хозяйка развратная, не умеющая приберечь деньги. Матрена Ивановна постоянно слушала брань; хозяйка недосчитывалась из ее стирки какой-нибудь вещи и вычитала деньги, так что к концу месяца ей пришлось получить всего только два рубля. Матрена Ивановна перешла к другой прачке, но у той дела было много, и к ней постоянно ходили какие-то евреи за долгами. Тут Матрена Ивановна прожила всего только неделю и потом поступила на бумажную фабрику.

Я не буду описывать того, как работала Матрена Ивановна. Но не мешает сказать, что жизнь на мануфактуре сперва ей нравилась: ей казалось хорошо работать с женщинами, преимущественно молодыми; там было весело;

[1] Очевидно: «kuule! maitoa!» — «слушай! молока!» *(Прим. автора.)*

можно было острить не только друг над дружкой, но и над мужчинами, можно было и покуражиться, так как мужчины оказывали особенное предпочтение молодым женщинам. Хотя Матрена Ивановна и была не молода, но лицо ее еще многих мануфактурных франтов привлекало, и она по истечении месяца уже имела кавалера, который и стал жить с ней в отдельной квартире, за которую оба они платили рубль серебром, получая — он пятьдесят копеек, а она тридцать копеек поденщины. В это хорошее для нее время она часто ездила в деревню Тудари, возила подарки Катерине, которая отдавала их своим детям. Хотя же ей и хотелось взять ребенка к себе, но Иван Прохорович и думать ей об этом не велел и даже высказал свое сомнение насчет ее нравственности. Маленький Яков ничего ей не мог сказать о своих воспитателях, тем более что он по-русски не умел сказать ни слова и даже как будто боялся своей родной матери; воспитатели же при посещении Матрены Ивановны делали вид, что они очень любят Яшу и ухаживают за ним даже лучше, чем за своими детьми, так что Матрена Ивановна, не подозревая ничего, была ими вполне довольна. Но любовь Ивана Прохоровича продолжалась недолго; он скоро стал ухаживать за другою женщиною, даже при Матрене Ивановне; дома говорил Матрене Ивановне дерзости, и раз, когда Матрена стала упрекать его Пашкой, он побил ее так, что она пролежала два дня. И хотя потом Иван Прохорович старался быть с нею ласков, но она уже не любила его так, как прежде. Мануфактура ей опротивела, потому что над нею стали смеяться, стали давать ей работу не по силам. Не вынесла Матрена Ивановна всех неприятностей — и опять нанялась в прачки, и на этом месте с нею случилась беда. Раз она утюжила белье с хозяйкой. На доске была разложена юбка. Хозяйка только что поставила на плитку, находящуюся на конце доски, большой утюг, а Матрена Ивановна стала подбирать с полу края юбки. Вдруг хозяйка как-то задела за стул, доска свалилась, свалился и утюг и попал прямо на обе руки Матрены Ивановны. А утюг был почти каленый, так что в момент падения он не годился для глаженья, потому что прожигал. Матрена Ивановна стала лечиться домашними средствами, как то: намазывая руки медом, мочила в чернилах и т. п., и все-таки должна была посту-

пить в больницу. Оттого ли, что она поступила в больницу поздно с больными руками, или уж лечение было такое, только ей отрезали кисть правой руки, а на левой два пальца.

Так она и вышла из больницы калекой.

Еще в больнице один доктор в шутку назвал Матрену Ивановну трехпалой, и Матрену Ивановну до самого ее выхода из больницы все называли не иначе, как трехпалою. Хотя в той палате, в которой она находилась, было много женщин, испытавших ампутацию и подвергавшихся различным операциям, только почему-то многим из них казалось смешным безобразие Матрены Ивановны. Добро бы глаз, нога или что другое, а то на вот те: правая рука без кисти, а на левой только три пальца!.. И выдумают же ведь лекаря такую штуку! — и потом обращались к Матрене Ивановне:

— А што, трехпалая, как ты теперь будешь белье стирать?

— И откуда и за что бог такое наказанье мне послал? Кажись, отроду чужого ничего не крала. Вот только девчонкой когда была, правда, морковь тоже воровала. Ну, и зато, ахти, как драли!

— Ну, значит, кладено за грехи родителев. А все-таки ежели бы ты не крестьянского роду была, пальцы бы, пожалуй, целы были.

На эти утешения Матрена Ивановна ничего, кроме слез, не могла отвечать.

В самом деле, что она будет делать с единственными тремя пальцами?

И проклинала же Матрена Ивановна свою жизнь. Много она в ней видела причин, которые довели ее до этого несчастия; но больше она проклинала себя за то, что, оставив в деревне ребенка и позарившись на большие деньги, пошла в Петербург. Теперь все ее дети в деревне померли, дом перешел к мужниной родне, и ее, пожалуй, теперь не пустят в дом, а если и пустят с Яшкой, то будут попрекать; и какова там будет жизнь Якову?

«Нет, бог с ней, с деревней, промаюсь как-нибудь в Питере; Яшку как-нибудь на ноги поставлю; хоть он будет моим кормильцем», — думала она, но до самого выхода не придумала рода занятия.

— Ты в богадельню иди, — советовали ей больные женщины.

— Околею — не пойду. Не хочу, штобы мой сын со мной дарма жил.

— Ну, сына-то и в военную возьмут.

— Не смеют.

По выходе из больницы Питер ей показался совсем другим городом. Строения, каналы и воздух были прежние, только ей казалось странным то, что теперь все люди как будто глядят на ее руки, все как будто удивляются и смеются над ней, даже извозчики издеваются, говоря: «Ой, тетка, отморозила руки-те пьяная!» Нигде она не может найти себе работы со своими тремя пальцами, нет у нее денег для того, чтобы нанять угол. Хочется есть, пить... Делать нечего, — хоть и не старая она женщина, а пришлось просить христа ради.

И стала она просить милостинку в церквах; стала петербургскою нищею.

Но и это ремесло шло не совсем выгодно. Она была трезвая, не якшалась с прочею нищею братиею. И ее не любили нигде. Поэтому она решилась выбрать себе один приход и постоянно ходить туда и для этого поселилась на Петербургской стороне, в самом глухом переулке, обитатели которого состояли из самых бедных людей, не нуждающихся ни в фонарях, ни в тротуарах, боящихся петербургского треску и движения, раз в год бывающих в Петербурге и живущих со своими соседями как близкие родные или как самые хорошие знакомые.

Хозяйка этого дома, вдова-немка Каролина Павловна, бывшая замужем за чиновником, который и построил этот дом, была седовласая и хромая старуха. Она жила с дочерью маленьким пенсионом. Дочь ее, тоже вдова с тремя маленькими детьми, из коих самой старшей девочке было пять лет, только и умела делать что узоры, которые она поставляла немцу-магазинщику на Васильевском острове. Кухарки у них не было, и так как обе они, мать и дочь, были немки набожные, то и взяли к себе трехпалую Матрену даром жить в кухне и служить за это Терезе вроде вьючного животного, то есть таскать с рынка провизию, так как руки у Матрены могли же что-нибудь подцепить

и нести. Кроме хозяйки и дочери, в доме жил хромой сапожник, поставлявший сапоги на две-три улицы и слывший под именем Редьки, вероятно потому, что его лицо, вследствие безжалостной оспы, было похоже на губку. Редька, или Осип Харитоныч, работал сам, единственной своей персоной, сам готовил себе кушанья, сам за всем ходил — и жил, говорят, очень скупо в будни и мертвецки напивался по воскресеньям.

Кроме воскресений, он знал только большие, главные церковные праздники. Этот сапожник вел ежедневно войну с мещанином Романом Саватеевым и его любовницей Татьяной Павловной из-за того, что они затемняли ему дневной свет, проходивший со двора в единственное его окно, тем, что или вешали белье, или ставили станок для тканья ниток в бечевки как раз против его окна, а дети их приводили со стороны других детей, и если не было развешано белье или не было станка, ставили тоже против его окна коны бабок, попадали в стекла, около его стены начинали играть в мячик и на его ругань огрызались, как маленькие собачонки.

Все эти люди понравились Матрене Ивановне. Все они жалели ее и ничего не видели худого в том, что она ходит сбирать в церковь гроши. Особенно ей полюбился сапожник, который часто спрашивал у нее:

— А што, Матрена, нет ли у те хлеба?

— Нету, Осип Харитоныч; не подают.

— Плохо, а я бы взял. Мне бы на сухари. Я сухари очень люблю, особливо во щах, да и зубов коренных у меня нет. А што, грошей много? Я бы у те разменял гривну. Они, лавочники проклятые, не всегда отдают гроши. Им-то каждая денежка барыш, а нам, бедным калекам, прости господи, убыток.

И если у Матрены бывали гроши лишние, она меняла. Скоро они так подружились, что Матрена грош или два и в долг давала Осипу Харитонычу.

Немка и ее дочь Матрене скоро опротивели; говорят по-немецки, ее не поят и не кормят и заставляют работать.

— Матрена, держи корзину! — говорит Тереза, позабывши, что у Матрены только три пальца.

— Как же я, барыня, буду держать тремя пальцами? — скажет Матрена обидчиво.

— А я и позабыла.. Ну, может, помои выльешь?

Попробует Матрена ведро, — три пальца не могут долго сдержать.

Да и самой ей скучно было без дела, а делать она не умела тремя пальцами. Стала было учиться чулок вязать, терпенья не хватило. Начала она детям сказки рассказывать, а те, видя, что она нищая и ничего делать не может, стали издеваться над ней, лазить на нее и, наконец, дошли до того, что обращались с нею как с куклой, а матери потакали им.

И хорошо ей было только у Осипа Харитоныча. Хоть два часа сиди у него и смотри на него, он, углубившись в свои думы, упорно молчит, передергивая дратву в калошах, сапогах и т. п. Случалось, и засыпала у него Матрена; а у немки было нужно все ходить да ходить.

Вот и задумала Матрена Ивановна обучить своего Яшку сапожному ремеслу. Высказала она свое намерение Осипу Харитонычу. Он одобрил.

— Только он еще мал. Пусть там растет у чухон. Они терпенью его обучат; ну, и опять, на двух языках будет говорить, — говорил сапожник.

— Нет, уж я лучше при себе.

Попросила она барыню-немку дозволить жить ее Якову с нею в кухне; немка обиделась.

— Наши дети неровня твоему. Ишь, что выдумала. Я так и знала, что ты своего ребенка намерена взять. Иди к своему Редьке.

— Бог с вами, барыня.

— Я очень хорошо понимаю, зачем ты ходишь к сапожнику. Хороши оба: он — как терка, ты — с тремя пальцами.

Горько сделалось Матрене; сказала она об этом Осипу Харитонычу, тот пошел к немке с протестом. Немка косилась или просто сделала вид, что ей до калек нет дела; пусть они делают что хотят. Следствием этого посещения было то, что Осип Харитоныч пустил к себе Матрену на квартиру и разрешил ей привести ее сына.

Яшка был болен, когда к Катерине приехала Матрена Ивановна. Но ей его не отдали.

— Мы его уже законтрактовали и поэтому тебе не отдадим, — говорил муж Катерины.

— Да я бы вам заплатила — денег нет. Ну, посмотрите на мои руки.

— Раньше бы взяла — так. Вот через два года мы его подрядчику отдадим.

Так ни с чем и воротилась домой Матрена.

За нее взялся хлопотать Осип Харитоныч. Он был отставной солдат и поэтому поступил по-солдатски.

— Какое имеете вы право держать чужое дитя? Где вы такой закон нашли? Вы его продать хотите? Разве он котенок или собака? — да и тут настоящий хозяин не позволит! Да я вас! Я вас упеку!!. Я сам царю служил, Георгия имею, я сам к царю пойду!! Да знаете ли вы, чухны поганые, что я раз в год у самого царя обедаю.

Чухны струсили, но стали просить денег за целый год.

— Сколько? — спросил Осип Харитоныч.

— Тридцать шесть рублей.

— Тридцать шесть палок вам всем надо, а не рублей.

Однако он отдал Катерине тридцать шесть копеек.

Катерина и ее муж обещались жаловаться, но Яшку отдали.

V

Яшке было уже четыре с половиною года, как Матрена взяла его к себе; он бегал, но по-русски не знал ни слова, а лепетал по-чухонски. Поэтому Яшку никто не понимал; Яшка кричал, плакал, брал что-нибудь самовольно, бил последнюю посуду Осипа Харитоныча и был мучением для него, любящего спокойную жизнь. Ни Яшка, ни Осип Харитоныч друг друга не понимали, и поэтому почтенный сапожник стал учить ребенка по-русски, колотушками; а так как эти колотушки, чем попало, Яшке приводилось получать часто, то Яшка становился все хуже и хуже: стал забрасывать шило, таскал сапоги, мазал сальною свечкой стены, что сапожника приводило в ярость, и он сперва было привязывал мальчишку к стене, как это делают с собаками, а потом, когда ему надоел крик мальчишки, стал выгонять его во двор. Но и там плохо было Яшке. Мальчишки видели в нем какого-то урода и называли его немым, и если Яков, не понимая ихнего разговора и насмешек, вламывался в ихнюю компанию и тащил что-нибудь, его били; хотя же и он барахтался, только это барахтанье ему приносило одни синяки и царапины. Осип Харитоныч каялся, что взял к себе

такого чертенка, которому никак в голову не вколотишь того, чтобы он слушался хозяина, не лепетал по-чухонски, сидел смирно и т. п. Осипа Харитоныча злило то, что если Яшка доберется до хлеба, то жрет как собака, и как только сожрет, опять плачет и мяучит что-то по-кошачьи, так что его приходится усмирять плеткой. Осип Харитоныч, правда, любил только сам хорошо поесть; он и Матрене Ивановне редко давал похлебать щей из своего горшка, а Яшке уделял уж так, ради христа, малую толику. Сама же Матрена Ивановна редко что-нибудь варила у себя, потому что ее кое-где кормили за ее услуги. У ней на *** улице было уже несколько благодетелей, которым она носила с рынка провизию и сообщала какие-нибудь новости, выслушанные ею или на паперти от нищих, или на рынке.

Яшка чуждался как матери, так и сапожника. Когда его станут ласкать, он плачет; хотят взять его на руки — тоже плачет, и это тоже бесило сапожника; а сама мать сознавала, что у нее как-то сердце не лежит к ребенку, он как будто чужой ей. Если удастся ей приласкать его и посадить на колени да он перестанет плакать, она и говорит ему:

— Горемычные мы с тобой, Яшенька; нету у нас кормильца.

Яков только и лепечет: лейб! майт!..[1]

И чем больше мать станет ласкать его, он разревется и растягивает до изнеможения: ма-айт! ма-айт!!

— А чтоб те, постреленку... Какая тут мат? — и начинает шлепать ребенка трехпалой рукой.

И самой ей жалко ребенка, да сделать она ничего не может, а сапожник сердится:

— Вот выгоню я вас, будете шататься.

Стала Матрена брать Яшку с собой в церковь, что ей с тремя пальцами стоило большого труда, но Яшка был маленький, ничего не понимал, бегал куда не следует, плакал, кричал; Матрене выговаривали, Матрену гнали прочь...

— Господи! что я стану делать с ним? Хоть поколел бы, — говорила она с отчаянием, когда ей было невтерпеж.

---

[1] Хлеба! молока!.. *(Прим. автора.)*

— Иди с ним в богадельню, — советовали ей.

— Нет, в богадельню я не пойду: там я в четырех стенах должна жить, пить-есть казенное, по мерочке, казенную одежу носить. А теперь я все же вольная пташка.

— Ну, отдай куда-нибудь мальчишку.

Но куда его отдать? Кто его возьмет, такого маленького? Матрена хорошо понимала, что когда в церкви Яшка был при ней, она больше получала денег.

Так и билась Матрена с сыном два года, в течение которых Яков уже научился говорить по-русски. Но таким, каким хотел его видеть сапожник, он не сделался. Хотел Осип Харитоныч сделать его ручным и для этого употреблял всякие средства — ничего не помогло; вышло только то, что Яшка очень боялся Осипа Харитоныча, когда тот был налицо, а как не было сапожника, Яков делал что хотел, и даже над своей матерью выделывал разные штуки.

Осип Харитоныч сперва начал заставлять Яшку что-нибудь подавать ему. Сидит Яшка в углу и скоблит щепкой пол.

— Яшка! — крикнет он.

Яшка вздрогнет и попятится еще назад, хотя уже и пятиться-то некуда.

— Тебе говорят?! — крикнет сапожник.

Яшка вытаращит глаза и трясется.

Вскочит сапожник, схватит плетку, Яшка закричит. Начнет сапожник хлестать Яшку. Яшка кусается. Сапожник в ярости вытолкает Яшку на двор. Бился-бился с ним сапожник — бросил учить; трезвый стал выгонять его из комнаты, и только пьяный потешался над ним, как только мог. И если он бил крепко Яшку, тот убегал под лестницу и заливался слезами, и сидел до тех пор, пока не придет мать и не вытащит его оттуда, или не приласкает Татьяна Павловна, которая не любила сапожника. Вот эта-то женщина и стала говорить Яшке, чтобы он шел жить к ним, и он терся больше у нее. Но вдруг ребята стали учить его, чтобы он насыпал сапожнику в глаза табаку. Яшке это понравилось, и, наконец, когда ему стало уже невтерпеж, он украл у матери гривну и купил нюхательного табаку.

Яшка видел, что его враг после обеда иногда спит с полузакрытыми глазами. Но, как на зло, после этой покупки сапожник стал редко ложиться спать после обеда, а если и спал, то больше лицом к стене, и Яшке было неловко насыпать ему табаку, потому что нужно было взлезать на кровать, карабкаться по сапожниковой спине... Недостало у Яшки терпения; боялся он, чтобы табак не открыли у него; тем более что его мать и сапожник его не нюхали, а сапожник только курил махорку. Вот раз вечером, когда сапожник велел Якову сбегать в лавочку за кислой капустой и стал отдавать ему копейку денег, Яков размахнулся и бросил в лицо сапожника пригоршню табаку.

Совершив такой подвиг почти в один момент, Яшка выбежал на двор, ничего не понимая, как ошалелый, и чуть не сшиб с ног мещанина, ткущего нитки.

— Ах, штоб те, чертенок! сблудил, чай, опять что-нибудь?

Но Яшка ничего не слушал; он далеко уже бежал по улице, что удивило лавочника Петра Павлыча.

— Куда ты, дурачок, бежишь! Иль што украл? Постой-ко?!

Яшка пуще прежнего пустился бежать. Ему было страшно; в глазах у него рябило. Он пробежал улицу, переулок, наконец устал; оглянулся — никого нет. Тут в его голове мелькнуло: куда? Он постоял и заплакал.

— О чем, мальчишко, плачешь? — спросил его какой-то чиновник.

Яшка заплакал пуще прежнего.

— На!! — и чиновник протянул Яшке руку, на ладони которой было обкусанное яблоко.

Яшка робко взял яблоко и стал смотреть на него.

— Ну, что же ты? Ешь.

Яшка швырнул яблоко и пустился бежать, но скоро попал в канаву, в которой было с четверть грязи. Кое-как он выполз из грязи, но идти дальше не мог.

Ему хотелось есть; ноги болели. Но ему дышалось легче, чем у сапожника. Уже вечерело. Солнце садилось. Канава находилась около парка; напротив того места, где сидел Яшка, — заплот. Было тепло. Сидел-сидел Яшка, боясь подняться потому, чтобы его не словил сапожник или кто-нибудь, сон одолел его, и он заснул.

VI

Утром его растолкали пинками двое городовых.

— Тащи его; поди околел, — говорил один городовой другому.

— Видишь, дышит. А черт с ним — бросим! —говорил другой.

— Может, пригодится.

— Однако ты ни одного еще не взял к себе?

Яшка сел и дико смотрел на усатых господ в солдатской одежде.

— Чей ты? — спросил Яшку один городовой.

Яшка глаза на него вытаращил.

— А вот мы посмотрим!

И другой городовой стал делать обыск у Яшки.

На Яшке была надета рубашка и поверх рубашки рваная Осипа Харитоновича жилетка, под которую поместилась бы свободно еще пара таких же Яшек.

— А жилетка-то ничего. . . Чать, полтинник стоит: из плису делана, — любуясь жилеткой, говорил производивший у Яшки обыск городовой.

— Непременно он у какого-нибудь вахтера украл ее. Што ж с ним? — оставим?!

— Где ты живешь?

Яшка опять вытаращил на городовых глаза.

— Есть у тебя родители?

Яшка пустился бежать.

Но городовые его поймали и потащили в будку, в печи которой стояла чугунка с картофелем.

— Дай! дай! Ан-лейб, — пропищал Яшка по-чухонски и подбежал к печке.

— Молчи, жиденок.

Городовой ненадолго вышел на улицу, а Яшка схватил палку и хотел ею достать чугунку, но та только опрокинулась.

— Ах ты, вор!!

И вошедший городовой выхватил из рук Яшки палку, два раза огрел ею Яшку, а потом связал его и связанного представил в полицию.

Стали там спрашивать Яшку: кто он, кто его родители, где он живет, — Яшка смотрел дико.

Вскоре в газетах было напечатано такое объявление:

«Такого-то числа, в таком-то квартале *** части взят заблудившийся мальчик, называющий себя Яшкою, повидимому 6 лет от роду, лицо у него белое, волосы светлорусые, одет в синюю из пестряди рубаху и большую мужскую жилетку. О чем объявляется во всеобщее сведение с тем, чтобы родители, родственники либо знакомые сего мальчика явились лично для принятия его к приставу исполнительных дел *** части, в которой названный Яшка в настоящее время находится и ничего о себе объяснить не может».

Можно себе вообразить, какую ярость произвел такой неожиданный поступок в Осипе Харитоныче. Хотя большая часть табаку попала в его открытый большой рот, но так как табак попал и в оба глаза, то, ощущая боль в глазах, Осип Харитоныч несколько минут не мог прийти в себя, и, протирая глаза своими кулаками и выплевывая табак, он сперва думал, что и глаза у него выворнутся из своих мест и язык вытянется из глотки. О, он тогда в клочки бы изорвал этого негодяя! Он метался, как зверь, по комнате, не видя свету, ругался, кричал, уронил свое сидение, натолкнулся на окно, расшиб стекло, что возбудило смех и удивление мещанина Романа Саватеева. На его хохот прибежала его любовница, ребятишки, а хозяйка с дочерью выглядывали во двор из своих окон.

— Черти! Дьяволы!.. Ведь ослепили! — кричал Осип Харитоныч.

— Так и надо. Ты выше других хочешь быть, — вот бог и покарал тебя, — говорила со смехом любовница мещанина.

— Проклятые!! Воды хоть дайте.

— Дайте ему воды, — сказала хозяйка.

— Где бы мы ее взяли: мы воду-то с Невы берем; теперь она у нас вся вышла. Вот вы запасливы: вы пьете кофей, вы и дайте, — проговорил мещанин хозяйке.

Хозяйка позвала одного из ребят и послала его к Осипу Харитонычу с чайною чашкою.

Промывши глаза, Осип Харитоныч первым долгом стал искать Яшку.

— Он убег, — говорили ему.

— Некуда ему убежать. Я знаю, что его спрятали. Ну, так ладно же! Завтра же иду в полицию и буду жаловаться на всех вас. Я вам покажу!! Я кавалер, Георгия имею.

И Осип Харитоныч заперся в своей комнате, стал дожидаться Матрены, выдумывая, что бы ему такое сделать с ней, то есть чем бы ее хорошенько побить. Но Матрена нейдет. Уж вечер наступил, она нейдет — и, вероятно, не будет, как это и раньше бывало. Пошел он в кабак и там напился до того, что едва вышел оттуда, как свалился и заснул, так что утром кабатчик должен был растолкать его.

— Брат, Осип! Встань. Неравно раздавят.

Но Осип Харитоныч спал. Пришлось кабатчику обкатить его холодной водой и потом опохмелять.

Осип Харитоныч пришел домой пьяный; но там, еще во дворе, сказали ему, что Матрена еще утром была и потом, узнавши, что ее Яшка убежал, пошла разыскивать его.

Зло брало Осипа Харитоныча, и он, одевшись и выпивши еще, для храбрости, осьмушку, пошел в полицию.

Там ему сказали, что Матрена уже получила своего мальчишку.

— Я прошу ее посадить, а мальчишку выдрать, потому он меня чуть-чуть слепцом на всю жизнь не сделал. Я кавалер, имею Георгия — и вдруг нищенский парнишко меня уморить осмелился.

— Поди поищи ее. Если она точно нищая, мы ее проморим месяц-другой.

Осип Харитоныч пошел на другой день в ту церковь, где обыкновенно стояла Матрена; Матрена не бывала. Нищие сказали ему, что она ушла с Яшкой в Питер.

В Питер сапожник не пошел.

VII

Незадолго перед вышеописанным происшествием Матрена Ивановна стала попивать водку. Сперва ее потчевал Осип Харитоныч по воскресеньям, потом ее стали завлекать к этому веселящему и успокаивающему напитку нищие. Сперва поили ее, потом стали требовать,

чтобы и она угощала их. Сперва она пила с отвращением, потом мало-помалу дошла до того, что, идя домой, непременно заходила в кабак и выпивала если не стакан, то рюмку, а если у нее было денег больше обыкновенного, она брала посудину с водкой с собой для того, чтобы угостить своего приятеля, который не прочь был на ночь выпить дарового. Матрене Ивановне было скучно без дела, а выпивши водки, она спала, и спала долго; но до бесчувствия она еще ни разу не напивалась; а если, бывши в гостях у какой-нибудь своей такой же горемычной, как и она, приятельницы, чувствовала, что ноги подкашивает, то спала там же. Но часто случалось, что деньги у нее выходили все на водку, так что утром ей не на что было купить хлеба, и она это несчастие относила к тем, которые любят прохаживаться на чужой счет. Ей не полюбились нищенки, стало скучно на Петербургской, надоело давать взятки городовым за право ходить по улицам с кошелем, опротивел Осип Харитоныч, с каждым днем становившийся придирчивее к ней; ей было жалко Яшку, которого, вместо того чтобы учить ремеслу как следует, Осип Харитоныч только тиранил. Она не раз заступалась за него, говоря сапожнику, что Яшка мал, глуп, потому что воспитывался у чухон, а, бог даст, подрастет, будет понимать; ей было досадно, и она высказывала, что чужого дитя никому не жалко и его бьют как собаку, но сапожник и слушать не хотел ее и с нею обращался как с подчиненным ему человеком. Все это приводило Матрену Ивановну к тому заключению, что ей надо отсюда уйти. «Что я, в самом деле, пришита, что ли, сюда? Питер-то — слава те господи». И ей припомнилась прошлая жизнь, когда она часто меняла места: то жила на Песках, то вдруг попадала в Коломну, то за Московскую заставу. Но тогда она была одна, теперь что ей делать с сыном? Надо его отдать кому-нибудь в мастерство, но кому, если у нее нет знакомых? Из ремесленного класса были у нее, правда, знакомые мастерские жены, — но мужья ихние говорили, что Яшка мал и всего лучше ей отдать его в обучение какому-нибудь мастеру, имеющему свою мастерскую. Но у таких мастеров она потерпела неудачу; в одних местах говорят: у нас и так много, и этим не рады; в других — и самому хозяину с семейством есть нечего; в третьих — хозяева пьяницы, и никто

их не хвалит. Поэтому желание переселиться в Петербург с каждым днем у нее становилось сильнее, только ее что-то удерживало на Петербургской: ей не хотелось совсем рассердиться с Осипом Харитонычем, который хотя и был скуп и сварливый человек, но зато у него ей было тепло и кроме него ее никто не беспокоил.

После поступка Яшки ей казалось уже не совсем удобно жить у Осипа Харитоныча, и поэтому, предъявив в полиции все права на Яшку, она пошла с ним на Никольский рынок, где надеялась скорее продать его.

Больше недели Матрена Ивановна ходила на Никольский рынок, терлась там с разными женщинами, нанимающимися в услужение, много наслушалась там всякой всячины, перенесла разные неприятности, а не нашлось в нанимателях такого человека, который бы взял к себе Яшку. Если и были желающие, то одни говорили, что мальчишка мал, на нем нет ни сапогов, ни фуражки, или что он смотрит таким зверенком, что из него никакого проку не выйдет, и при этом каждый, осматривая его как гуся или поросенка, делал о нем нелестные для его матери заключения. Все это Матрену Ивановну злило и выводило из терпения, к тому же голодный и мерзнувший Яшка бежал от нее туда, где тесно, или забивался под стол, выжидая, чтобы ему было удобнее сцапать ломоть булки или черного хлеба. На рынке были тоже мальчики его лет, но те не продавались, имели на ногах сапоги, и головы у них были покрыты хоть платком, и поэтому они, чувствуя свое превосходство над таким голышом, оказывали ему свое презрение колотушками, щипками и плевками, что они очень скоро перенимали от своих матерей, теток и сестер, гнавших от себя прочь Яшку потому, что того часто торгаши ловили с краденою булкою или хлебом и поэтому очень недолюбливали всех баб, их ребятишек, могущих, пожалуй, разворовать половину непроданного хлеба, опрокинуть столы или наделать еще что-нибудь хуже, тогда как с ребятишек взятки гладки, а с ихних матерей что возьмешь, когда они сами часто приходят сюда с церковной паперти.

Нельзя сказать, чтобы такая жизнь, весь день под открытым небом, нравилась Якову, и для него было боль-

шою радостью то, когда мать поворачивала от рынка в которую-нибудь сторону. Это значило, что мать идет куда-нибудь, где и Яшке будет можно посидеть и соснуть. Однако мать редко тотчас с рынку шла на ночлег. Она обыкновенно шла в многолюдный кабак, где думала скорее сбыть с рук Яшку. Они приходили в заведение уже тогда, когда в нем было порядочное количество людей, еще только начинающих раскучиваться, и постоянно получали приглашение побеседовать в ихней компании с тем, что сама Матрена должна была показывать свои руки и рассказывать историю о том, как ей обрезывали пальцы и отпиливали кость, хотя она ни того и ни другого не видала, а Яшка служил часто посмешищем для пьяной компании, которая его вертела во все стороны, как котенка, заставляла бегать, плясать и петь, дразнила и т. п., за что сама Матрена была угощаема водкой, которою потчевали и Яшку. Матрена, конечно, была рада угощению; пьяная, она не заботилась о теплом угле, а о мягкой постели она уже давно не думала; в том, что пьяная компания издевается над ее сыном и учит его нехорошему, — ей не было дела: Яшка ей не мешал, не просил есть, своею особою доставлял удовольствие людям. Такое фиглярство Яшке сперва не нравилось, и он рад не рад был, когда компания позабывала о нем; тогда он забивался под стол и сидел снова до тех пор, пока его оттуда не выталкивали; потом он мало-помалу втянулся в это фиглярство и уже стал надоедать своим усердием компании, которая не любила навязчивости. Было ли какое сожаление в пьяной компании к Якову — сказать трудно, если принять во внимание то, что почти каждый посетитель заведения провел свое детство не лучше Яшки; были люди в этой компании, которые даже завидовали Яшке.

— Пусти его, еще нос раскроит, — уговаривал товарищ товарища, тормошившего ребенка.

— Не хрустальный — не разобьется. Мы в его лета в мастерской сажу глотали да пинки получали, а он благоденствует, — отвечал другой товарищ товарищу.

Из числа посетителей трех заведений, куда в течение дня заходила с сыном Матрена Ивановна, было несколько человек таких, которые были сами хозяева, а четверо — даже имели мальчиков. К ним Матрена Ива-

новна часто подъезжала с просьбой о мальчишке, но те или заговаривали о другом, или отвечали так, что мать и надеялась на них только до другого дня.

— Што ж, мальчонку-то моего берешь? — спрашивала Матрена Ивановна на другой день портного.

— А я разве обещал?

— Как же.

— Ну, так ты дура и больше ничего: мало што я спьяна-то скажу...

— Ты посоветуй!..

— Што я тебе могу посоветовать?.. Жди!

— Да долго ждать-то.

— Какая ты важная особа! Право. Мы вот по неделе работы ждем да по три месяца за деньгами ходим. И ничего ты против этого не поделаешь, мать моя.

И мать била сына от злости, — сын мешал ей, за него она должна была платить за ночлег лишние две копейки, хотя там, где она ночевала, помещение было очень маленькое, битком набитое ночлежниками.

Ночлежники эти были все люди бедные, жалующиеся на свою судьбу и проклинающие божий мир, в котором они неизвестно для какой цели живут. Все они думали, что выпросить милостинку или что-нибудь украсть, имея здоровые руки, не составляет греха. Большинство держалось этого мнения потому, что оно, во-первых, или с детства влачило такую жизнь, не видя нигде ни радости, ни ласки, и общество смотрело на него как на негодных людей, а помощи не подавало, а во-вторых, если оно и принималось за какое-нибудь дело, то те, которым оно служило, старались, так сказать, выжать из него все силы для того, чтобы жить лучше на их счет. Все эти люди были сердиты на людей, не похожих на них, оборваны, никогда не наедались, употребляя деньги преимущественно на водку, жили общественно с людьми ихнего сорта, имели друзей одинаковых с ними мнений, никогда не жаловались на маленькое нездоровье — и часто умирали, выходя из питейного заведения, в ночлежных помещениях или кидались в Неву или в каналы.

Матрена Ивановна хотя и считала себя честною, ничем не замаранною женщиною, потому что весь ее промысел состоял в том, что она протягивала руку с тремя

пальцами на церковных папертях и жила на собранные таким образом деньги, но жизнь ее мало чем разошлась от этих людей, и выходу из такой жизни она не видела. Но еще если бы она была одна, тогда ей было бы легче; но у нее был сын, которого ей никак не хотелось пустить по той дороге, по которой идут, очертя голову, эти ночлежники. К тому же она была женщина смирная в ночлежном помещении, к компании не присоединялась, а ложилась спать и гнала от них прочь Яшку, которого компания учила разным штукам, не из желания сделать из него вора, но ради развлечения. Поэтому ее такое обращение ночлежникам не нравилось, потому что они боялись, чтоб трехпалая нищая не выдала их полиции, и ей приходилось часто переменять места ночлегов.

VIII

Так прошло по крайней мере полгода. У Яшки была рваная фуражка, рваные ботинки, которые Матрене пришлось стащить из толкучки, а для того, чтобы Яшка не мерз, она накидывала на его плечи платок, который немного согревал грудь. Матрена стала больше сидеть у церкви: у нее явилось отвращение от рынка, от ночлежников, от кабаков; она говорила несвязно, так что многие называли ее помешанной.

В одну холодную зимнюю ночь компания ночлежников долго бушевала в своей каморке, но Матрена с сыном спала. Вдруг в эту каморку, помещающуюся в третьем этаже, имеющую одно окно с разбитыми стеклами и почему-то заколоченное досками изнутри, вошла полиция и приказала всем идти за собой. Стали толкать и Матрену.

Матрена идти не хотела, показывала на свои пальцы, однако повели и ее.

— И мальчика берите! — крикнула Матрена со злости.

— Мальчонка нам не надо. Ему, поди, всего-то пятый год, — сказали полицейские.

— А кто ж его беречь-то будет? Нешто я могу его оставить в квартире? Да он все разворует, — проговорила хозяйка этой каморки, которой тоже скрутили руки.

Полицейские посоветовались друг с другом и, нашедши, что мальчишку оставить в пустой квартире неловко, взяли с собой и Яшку, хотя ночлежники — шесть мужчин и две женщины — протестовали против этого, опасаясь того, чтобы мальчишка не показал на них чего-нибудь, так как он имел уши, глаза и язык. Они даже просили полицейских не брать Матрену, но мнения ихние насчет ее были различны; знакомые с полицией и с судом люди прямо указывали на Матрену, говоря: «Напрасно всю нашу компанию берете, во всем виновата, воно, эта трехпалая. У ней хоть и три пальца на двух руках, а она зато имеет зоркие глаза, и в голове у ней хитрости всякий позанять может. . .»

Камера в полиции была, что называется, битком набита всякими людьми, но Матрена с сыном попала в женскую.

Через неделю Яшку выпустили из полиции, а мать отвели в тюрьму, хотя она и ни в чем не была виновата.

Яшка вышел из полиции, напутствуемый арестантами такими словами: теперь у тебя ничего и никого нет. Иди в первую лавку, украдь что-нибудь, и тебя опять возьмут сюда. А здесь весело: поют песни, играют в карты, разговаривают, поят, кормят. . .

Яшке было холодно на улице; он не знал, куда ему идти, а идти в лавку, как его учили, он боялся.

Яшка мерз и плакал.

— О чем, мальчик, плачешь? — спрашивали его прохожие.

Яшка ничего не мог отвечать.

— Заблудился, должно быть, бедный мальчишка. Чей ты?

Яшка дико смотрел на всех.

— Странно, что он стоит у полиции и полиция не возьмет его, — говорили в толпе, глазеющей на Яшку.

Яшке дали денег, но Яшка не знал, что ему делать с деньгами; толпа все росла.

— Идите прочь! Его сейчас только из полиции вытолкали, потому мать у него нищая и в краже замешана; поэтому ее в тюрьму взяли.

— Но как же ребенок?

— Пусть идет, куда хочет.

— А если у него нет квартиры или хозяина?

— Дело не наше. Пусть делает что знает, — спокойно ответил городовой.

— Жалко мальчишки. Взять разве мне его себе, — сказал один рябой мужчина в полушубке и в мерлушчатой шапке и, обратясь к Яшке, позвал:

— Мальчонко, иди ко мне.

Яшка глядел на него лукаво.

— Што глядишь-то как бык? Не обижу. У меня своя лавка; к торговле обучу. Ну, што ж ты?

Яшка попрежнему озирался на народ.

— Пошли, што стоите! Эка невидаль, — говорил городовой и гнал толпу от полиции.

Мужчина взял Яшку за руку, он заревел; мужчина хотел посадить его на руки, Яшка кусается.

— Точно собака с цепи! А вот мы разузнаем суть, — проговорил мужчина в мерлушчатой шапке и повел Яшку в полицию.

С полицией мужчина был знаком, и ему скоро разрешили взять Яшку к себе.

Взявший к себе Яшку мужчина был крестьянин Филипп Егорыч Маслов. Он торговал на толкучке разным тряпьем, а жена его, Авдотья Исаевна, торговала тоже на толкучке мелочью — чулками, штанами, платками и т. п. Маслову хотелось давно прослыть между торгашами состоятельным торговым человеком и иметь мальчика, которого он никак не мог приобрести даром. Хотя Маслов торговал в одной маленькой лавчонке, или шалаше, и все мог в ней делать сам, но, имея еще мальчика, он думал, что покупатели на него будут больше обращать внимания, чем на других торгашей, не имеющих мальчиков, потому-де, что у Маслова много товару и много покупателей.

Маслов одел Яшку так, что Яшка походил теперь в пальтишке на другого человека. Но Маслов только этим и ограничился. Правда, Яшка спал в квартире Маслова, в углу в прихожей, Яшке давали хлеба, огурца, а иногда и вареную печенку (с собой добрые супруги Яшку никогда не кормили и то, что сами ели, ему не давали), зато Яшка должен был делать все, что прикажет сам Маслов или его жена. Яшка должен был и воду и дрова

таскать, полы мести и затирать, угождать прихотям хозяина и хозяйки, таскать тяжести, вроде того, что он должен тащить за собой санки с товаром хозяев до толкучки, бегать им там за кипятком, бегать с разными поручениями и за каждую оплошность получать шлепки. Такое движение, кроме исполнения таких поручений, которые были не по силам, Яшке нравилось; но он был голоден, над ним все смеялись, все его били, и, главное, ему было скучно торчать в лавке без дела и получать подзатыльники от хозяина, если у того долго не было покупателей и хозяину было скучно.

— Что ж ты, чертенок, стоишь тут без дела? — спросил вдруг хозяин Яшку, стоящего в дверях и ковыряющего от скуки нос.

Яшка попятился назад.

— Ты, шельма ты эдакая, должен кричать прохожим: чего изволите? польты! брюки! жилеты-с! — говорил Маслов, теребя Яшку за уши.

Соседи хохотали. Но такая наука не нравилась Яшке, и он больше и больше был молчалив.

Например, стоит он у сундука и чертит что-то пальцем по куржаку.

— Ты што стоишь? Нет штобы куржак полой стер!

Яшка при первом слове вздрогнет и стоит на одном месте.

Хозяин схватит аршин, Яшка кинется вон из лавки. Хозяин догоняет и начинает бить мальчишку, на потеху других торгашей.

Ничего не помогает. Яшка не слушается. Перестал хозяин кормить мальчика, — мальчишка стал красть.

— Боже ты мой милосердный, што стану я с негодяем делать? — думает и говорит Маслов.

— Прогони, и все тут; еще пожар сделает. Недаром мать у него воровка, — говорила Маслову жена.

Маслов стал принимать крутые меры; дома он просто тиранил мальчишку так, что тот стал убегать к соседям, которые иногда ласкали его.

— Терпи, голубчик, — ты еще маленький, — говорила ему какая-нибудь старушка.

— Бьют они... Больно бьют. Есть не дают, — говорил Яшка.

— А ты угождай.

Хотелось Яшке угодить хозяину, но не было к тому случая. Еще лежа на полу, Яшка думает угодить ему или жене его, и как встанет да начнет что-нибудь делать, хозяева бранят его, что он делает все напоказ; заплачет Яшка — бьют; пошлют Яшку куда-нибудь, хочется Яшке скорее сбегать, — придет назад — говорят, зачем ходил долго, начнут допытываться, где был так долго. Яшка злится, и у него является мысль сделать с хозяином какую-нибудь штуку.

Иногда хозяин и потешался над Яшкой: острил, щипал его. Это он делал, находясь, по получении изрядного барыша, в хорошем расположении духа; приласкать или похвалить Яшку было не в характере хозяина, который сам из мальчишек попал в торгаши, и у него своих детей не было. Подобно Маслову и торгаши — соседи его — позволяли себе развлекаться Яшкой, а другие мальчишки по вечерам позволяли себе оскорблять Яшку по-своему. Яшка злился на всех: ему хотелось вырваться от Маслова, но уйти было нельзя, потому что он был постоянно на глазах то у самого Маслова, то у его жены.

Впрочем, был у Яшки приятель, тринадцатилетний мальчик Петька, из соседней лавочки, и вот почему Яшка любил больше стоять у двери.

Выйдет Яшка к двери, посмотрит направо — Петька стоит у двери. А Петька был шустрый рябой мальчишка. Он постоянно огрызался с своим хозяином и раньше этого перебывал уже у нескольких хозяев.

— Яшка, гляди, ястреб! — скажет Петька.

Яшка глядит кверху и по сторонам. Петька бросит в Яшку камешек или комок снегу.

— Яшка, иди сюда!

— Нельзя.

— А ты возьми да и иди. Ты уйди от него, убеги.

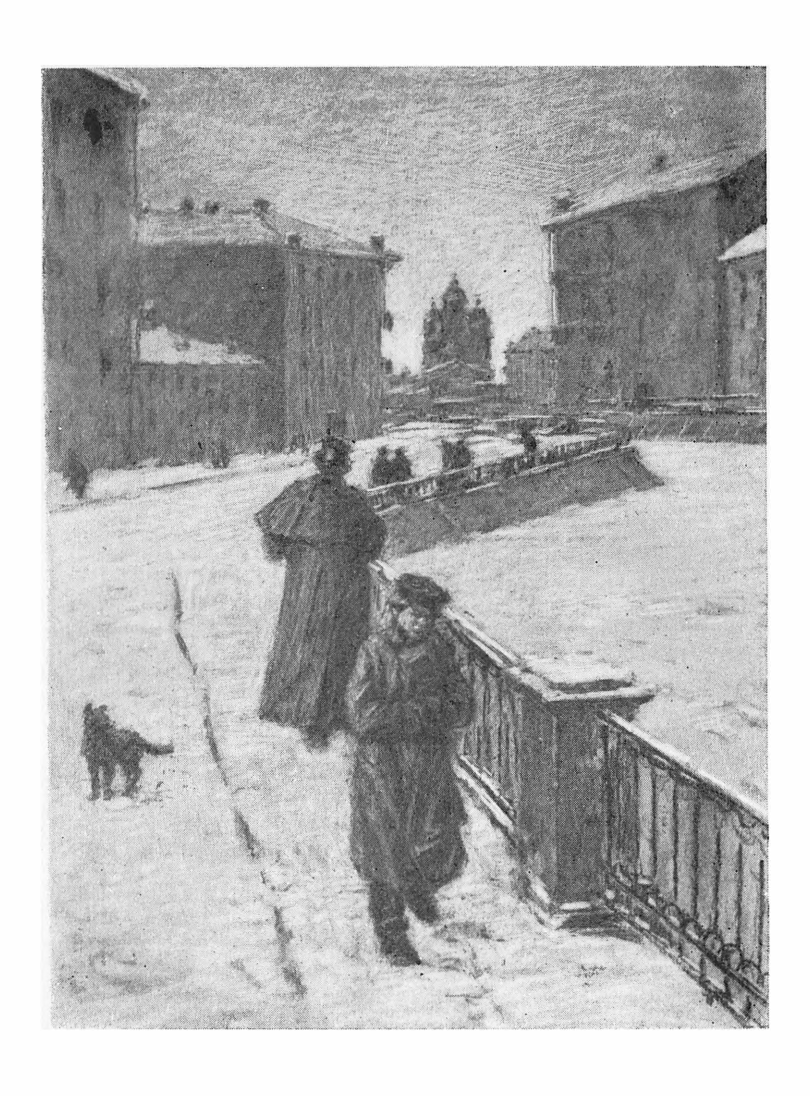
— Врешь?!

— Ей-богу! Убежишь — другого возьмет. Украдь.

— Боюсь.

Хозяева позовут мальчишек, а у Яшки голова точно не на своем месте. Он думает: «Погоди ж ты, украду — и убегу».

И Яшка хотел убежать, хотел украсть что-нибудь, но не знал, что бы ему такое украсть. Ему хотелось украсть полушубок у хозяина, только тот был очень тяжел.



Все приготовлялись к пасхе. Торгаши были злее обыкновенного. В субботу у Маслова шла стряпня, пахло хорошо, как никогда до того Яшка не слыхал. Все пошли к заутрене, а Яшку оставили дома. Немного погодя пришел Петька, разломал замок, и вот с ним-то Яшка забрал кое-какие печения со стола, завернул их в салфетку, разлил по полу водку, оделся и ушел из дому.

Беспрепятственно они влезли в дровяной двор под ворота и забились между двух поленниц. Там они покушали и заснули. Перед рассветом Петька убежал с вещами и потом не являлся целый день.

Между тем в квартиру Маслова забрались воры и утащили немало добра.

Начали разыскивать Яшку, — Яшки нет нигде; Петька струсил и пошел в дровяной двор, но его, когда он пошел назад, увидал сторож двора и стал ругать, зачем он шляется; однако Петька убежал, а у сторожа закралось подозрение, не спрятал ли чего этот мальчишка, и явилась мысль: если он что спрятал, то я немножко разживусь.

Сторож отыскал только Яшку. Он знал Яшку, потому что тот мимо дровяного двора ходил с Масловым на толкучку.

— А, соколик! тебя давно уж ищут. Говори, где краденое? — напал на Яшку сторож.

— Петька съел.

— Нет, не съел, а ты говори, где спрятал.

— Я не воровал.

— Ну, хорошо. Так иди же к Маслову.

— Пусти, ради христа.

— А-а? боишься. Послушай, мальчишка, я тебя пущу, только ты скажи: где ты со своим приятелем вещи спрятал?

— Ей-богу же, я не воровал.

И сторож свел Яшку к Маслову, а Маслов в полицию.

Но в полиции только наказали Яшку и Петьку розгами, а потом выпустили; хозяева обоих приятелей прогнали от себя.

— Не тужи, Яшка, мы найдем себе новых хозяев, — утешал Яшку Петька.

Петька повел Яшку на толкучку, но там, как только увидали воров, все торгаши, как стая собак, накинулись на них, и много они получили себе в спины калачей.

— Это все ты! — говорил Яшке Петька.

— Нет ты! Ты меня учил, — говорил Яшка.

— Пойдем воровать.

И приятели целый день ходили по городу, а к вечеру Петька убежал от Яшки.

Яшка еще побродил по улицам, зашел в одну лавочку, попросил христа ради.

— Нет, што ли, родителев-то? — спросил лавочник Яшку, когда тот после отказа лавочника стал хныкать.

— Нет.

— Где же ты жил?

— У Маслова... на толкучке торгует... убежал.

— Ну, малец, уходи... Ты, должно, вор.

— Дяденька... хоть в полицию отправь.

— Иди, иди... Уж не стащил ли чего?

Лавочник осмотрел Яшку, дал ему ломтик хлеба и выпроводил вон из лавки, чувствительно толкнув его в шею.

IX

Когда лавочник выталкивал из лавки Яшку, по панели шла пожилая женщина с корзиною на голове.

— Што, Данило Ульяныч, вора поймал? — спросила она лавочника, остановясь.

— Да много их тут шатается. Кто его знает: просит милостинку, а, может, и вор.

— Так. Экой махонькой... — проговорила женщина и сняла с головы корзинку. В корзинке оказались яблоки и лимоны.

— Тетушка, возьми меня...

— Ишь ты!.. Ну, брат, и выдумал же ты. Иди туда, откуда пришел...

— Матери у меня нету, в тюрьму взяли.

Это заставило остановиться и лавочника и женщину.

— Ишь ты! Значит, известного поля ягода, — сказал лавочник, улыбаясь.

— А кто твоя мать была? — спросила женщина.

— Нищая.

— Ах, она... И украла?.. Вот и подавай после этого... — сказал лавочник; а потом прибавил: — Да и тебя, брат, видно, тоже надо туда спровадить, недаром ты давеча в полицию просился.

— Виноват я, што ли, — огрызался Яшка, — когда у матери всего было три пальца?

Лавочник захохотал, а женщина спросила:

— Три, говоришь?

— Три. На этой... — И Яшка показал на левую руку.

— А как твою мать звали?

— Матрена.

— Матрена? Как не знать Матрены: я ей часто подавала. Только я тебя что-то не видала у нее.

— Тетушка, возьми меня, — заплакал Яшка.

— Возьми, коли знаешь его мать, — сказал лавочник.

— Кто его знает. Я у нее не видала мальчишки. Впрочем, завтра я справлюсь. Ну, мальчишка, иди.

Хозяйка, у которой жила на квартире эта торговка, стала гнать ее и мальчишку, но та показала на Яшку, который трясся от холода. Хозяйка согласилась оставить мальчишку только до утра.

Утром эта женщина справилась на паперти одной церкви и узнала, что действительно у трехпалой Матрены был этот мальчишка, что он редко стоял с нею рядом, а больше где-нибудь бегал, и что Матрена теперь сидит в тюрьме по обвинению в краже, что, говорят, на нее свалили ночлежники, которых будто бы уже выпустили.

— Ты, что ли, себе на воспитание его берешь? — спросили нищие торговку.

— Куда мне его. Я сама-то живу в угле.

— Надо его пристроить куда-нибудь, а то избалуется. Пропащий человек будет.

— Уж я пристрою.

Эта торговка имела несколько постоянных покупателей. Вот к одному из них, немцу, она и пошла с Яшкой. Дорогой она учила Яшку так:

— Ты, смотри, помни, што зовут меня Настасьей, тетушкой Настасьей Ивановной. Если будут тебя спрашивать: где мать? — ты говори: в больнице. Ты говори: вот меня тетушке Настасье Ивановне мамонька препоручила. Делай, говорила, с ним что хочешь, а главное — хорошим людям отдай.

Яшка молчал. Ему все равно было, куда бы ни попасть, лишь бы не идти в мороз.

Подошли к большому четырехэтажному с подвалами дому, на котором было много вывесок.

— А как меня зовут? — спросила вдруг женщина Яшку.

— Не знаю.

— Какой ты глупый. Тетушка, мол, Настасья Ивановна. А тебя как? — Еким?

— Яшка!

— Ну, Яшка Петров, — и все тут.

И они вошли в квартиру немца, помещавшуюся в подвале со сводами.

В большой комнате, на скамейках около двух стен и двух окон, сидело в разных позах мальчиков восемь и, нагнувшись, что-то шили, заштопывая иголками сукно или коленкор на тиковых штанах, надетых на них; кроме штанов, на них были синие пестрядинные рубашки, сшитые на немецкий манер. На небольшом полукруглом столе, покрытом черным сукном, стояла жестяная кружка с водой, ножницы и кусок мелу.

Мальчики все были с длинными волосами, с бледными, худыми щеками; некоторые из них кашляли. При входе торговки с Яшкой они разговаривали вполголоса и с удивлением поглядели на Яшку.

— Дома, ребятки, сам-то? — спросила торговка мальчиков.

— Нету; ушел к давальцу, тут, недалеко.

Торговка ушла; через час она вернулась с Яшкой опять в эту квартиру. Немец был дома.

Это был толстенький лысый господин с высоким лбом, с рыжими волосами и одетый в серый пиджак. Когда торговка вошла в швальню, он хлестал линейкой одного мальчика.

— Не время... другой раз приходи, — проговорил немец сердито, увидя торговку.

— Я, Иван Иваныч, не за деньгами: я к вам мальчика привела.

— Не надо!

— Он из-за хлеба... Мне за него ничего не надо.

— Не надо! Пошла вон!

Торговка пошла к самой хозяйке, то есть жене немца. Сам немец помещался во втором этаже. Через посредство жены немец согласился взять к себе Яшку, который и был отведен в тот же день в швальню.

Жизнь в швальне Яшке с самого начала показалась противною. Мальчики смеялись над ним, делали на его счет нелестные замечания, называя его моченой грушей, хотя он не был корявым; острили над его манерами и над каждым его движением, как будто этим вызывая с его стороны какое-нибудь возражение; подмастерья гнали его прочь и делали вид, что они его хотят ударить или сморкнуть в его сторону. Пришел сам Иван Иваныч, кое у кого посмотрел работу, закричал на одного пятнадцатилетнего мальчика, схватил его за длинные волосы и начал возить по швальне. Остальные мальчики хладнокровно смотрели на эту сцену, двое подсмеивались, один вздрагивал. Яшке было страшно до того, что он готов был убежать. Оттеребивши одного за волосы, немец принялся тузить другого, а третьего завтра же приказал отвести в полицию и попросить отодрать розгами. Но к Яшке он обратился ласково:

— Ты, любезный, будешь учиться по линейке шить, а потом посмотрим. Иван, очисти для него место, — проговорил он пожилому худощавому человеку в пальто, только что пришедшему с улицы, — и затем немец ушел.

По уходе немца все мальчики в швальне заговорили; началась ругань. На Яшку никто не обращал внимания. Немного погодя стали ужинать, то есть хлебали какую-то бурду, но Яшку не пригласили; так он и просидел на одном месте. После ужина несколько мальчиков стали осматривать Яшку, расспрашивать его, а некоторые стали даже вызывать его на драку. Два восемнадцатилетних мальчика шили, потому что им дано было сшить на урок.

Спальня работников немца помещалась рядом с швальней, за перегородкой, в которую свет проходил сверху, так как она не доходила до потолка. За этой перегородкой, около стены, были сделаны широкие нары из досок, а на них лежали, наподобие подушек, мешки, набитые соломой; на двух нарах было два тюфяка, но те принадлежали большим мальчикам, тем, которые теперь шили. Здесь было душно, сыро. Мальчики улеглись спокойно, но

Яшке места не оказалось на нарах, и ему пришлось лечь на пол, который был очень грязен, потому что мылся раза три в год, и то на деньги всех мальчиков; подостлать Якову что-нибудь никто не дал, потому что сами они под себя стлали свои халатишки.

X

На другой день все мальчики были разбужены в пять часов и занялись шитьем. Главный подмастерье и закройщик, Никитин Матвей Алексеич, усадил Яшку чуть не к самой двери и заставил шить на холсте. Большого труда стоило Яшке владеть иголкой: он хотел убежать, потому что сидевший с ним рядом мальчик до слез донимал его своими остротами, тычками и ученьем, за которое он от Никитина получал выговоры. Однако день прошел благополучно: он завтракал, обедал, ужинал; хозяин его похвалил; он познакомился с тремя мальчиками, и ему дали место на одних из нар, так как хозяин-немец одного мальчика прогнал.

Все мальчики, работающие у немца, были дети бедных родителей, которые отдали их немцу, или получивши от него малую толику денег, или даром, единственно для того, чтобы они вышли от него портными; но надо сказать правду, что все отдавали мальчиков потому, чтобы избавиться от них. Все мальчики жили до известного срока, до пятнадцати- и семнадцатилетнего возраста, и тогда хозяин должен был им платить жалованье. Теперь же за работу немцу они получали от него нары, пищу и одежду, заключающуюся из халатов и рубашек с штанами, сапог и фуражки; а которые постарше были, те могли в праздничные дни что-нибудь починивать на волю и таким образом зарабатывать деньги себе. Весь день мальчики были заняты шитьем; если у кого не было работы, так разговаривал, острил, и если он был моложе других, старшие давали ему свою работу, обещая в праздник угостить водкой и закуской. Все развлечение мальчиков состояло в песнях и в том, что они острили друг над другом; а в праздник, если не было работы, шли развлекаться за ворота, куда-нибудь подальше от дома, или в кабак, где и прокучивали все деньги.

Под влиянием таких товарищей рос Яшка и мало-помалу всосался в эту жизнь. Как ни тяжело ему было, как ни трудно привыкать к житью и сиденью, не разгибая спины по целым дням, а он привык, дожидаясь то завтрака, то обеда, то ужина и нар, а затем субботы и воскресенья, в которое он мог выйти на свежий воздух, или его кто-нибудь приглашал в кабак, потому что ему больше других приводилось получать от немца побои за то, что он скверно шил. Он умел острить как угодно, петь песни, но к этому его нужно было вызвать чем-нибудь особенным. Он больше молчал; на него как будто никакая острота и насмешка не действовала; зато уж если на него нападет стих острить или петь, то он всех заткнет за пояс.

Так он прожил у немца три года. В это время несколько человек умерло из артели, некоторые отошли от немца, а Яшка остался попрежнему простым мальчишкою, с тем, что немец на него налагал часто, заставляя, например, сшить сюртук в одни сутки. В это время Яшка уже хорошо шил и мог в праздник заработать на себя копеек пятьдесят, но эти деньги уходили все на угощения в трактире или кабаке, во что его постоянно вызывали товарищи, которые все свободное время хотели провести на отличку, чтобы было о чем поговорить в рабочее время.

На четвертый год жизни у немца в швальню пришла его мать. Она была уже старуха. Яшка обрадовался ей, хотел жить вместе с нею, но она сказала, что хочет идти в богадельню, и пошла просить немца, чтобы тот не обижал Яшку. Немец дал старухе денег, расспросил ее: откуда она родом, где родился Яшка, и, обещав из Яшки сделать хорошего человека, велел ей подписать какую-то бумагу. Иван Иваныч позвал Яшку. Яшка, живя у немца, уже успел выучиться настолько грамоте, что разбирал печатное и умел подписывать свою фамилию.

— Подписывай, — сказал немец.

Не подозревая ничего, Яшка расписался за мать и получил от хозяина полтинник денег на водку.

С этих пор немец стал ласковее с Яшкой. Яшка теперь меньше шил, а больше был рассыльным хозяина, что не нравилось товарищам, но он все-таки в товарищеском кругу был попрежнему щедрым, и что делалось в шваль-

не, до хозяина не доходило, а делалось там иногда многое не во вкусе хозяина. Зато Яшка редко получал какую-нибудь работу со стороны, и если получал доходы, то от давальцев, которым приносил вещи, и от этого у него развилось попрошайничанье и лганье. Хозяин же платья ему не давал.

Прошло еще три года. Яшка стал понимать, что ему даром работать и служить хозяину не приходится, и Яшка, как его называли обыкновенно все и как называл он себя, хотя от матери он и слыхал, как звали его отца, — Яшка стал поговаривать немцу и о плате. Немец или ничего на это не отвечал, или грозил отправить его в полицию. Товарищи стали подстрекать Яшку приступить к хозяину, и если он не будет давать денег, уйти от него. Яшка так и сделал. После сцены с немцем он утащил из швальни сукно, заложил это сукно и начал пьянствовать, надеясь скоро найти другое место. Но его, пьяного же, привели в полицию и отдали под суд.

Яшка не сознался, что он украл сукно. Он говорил, что он от немца никогда за работу не получал ни копейки денег.

— Ты не должен был получать до семнадцатилетнего возраста. Тебя мать отдала Ивану Иванычу на срок, — отвечали ему и показывали засаленную бумагу.

— Меня не мать отдала немцу, а какая-то торговка,— отвечал Яшка.

— Ах ты, свинья! Тебя так учили в полиции показывать. Это не ты подписывал? — и ему показывали на подпись. Тут Яшка понял, что немец сделал с его матерью штуку. Но спросить теперь мать об этом было трудно, потому что она назад тому три года убежала из богадельни, и труп ее нашли на взморье, только не могли определить — чей он, потому что он уже сильно разложился.

Судебная палата, через полтора года по аресте Яшки, приговорила его за воровство к тюремному заключению на два месяца.

По выходе из тюрьмы, с званием крестьянина Якова Савельева, Яшка долго ходил к разным хозяевам-портным, но его никто не принимал на том основании, что его паспорт замарался и он за воровство сидел в тюрьме. Что было делать ему? Денег нет, за квартиру просят

денег, хочется есть, никуда в работы не принимают, а воровать он не умеет, сойтись с ворами боится. К счастью, натолкнулся он на биржу и там проработал месяца два, но зато все деньги уходили на еду и водку, от которой он уже не мог отвыкнуть, да и тяжелая работа на бирже как-то невольно тянула его по праздникам развлечься в кабаке. Наконец он захворал; но скоро поправился. Доктора нашли, что он хотя и слаб немножко, но может жить вне больницы. Яшка просил, чтобы его еще подержали в больнице, но его выписали. Вышедши из больницы, Яшка чувствовал, что он не в силах работать на бирже... Еще не решивши, что ему предпринять, он пошел зря, куда глаза глядят. Он шел долго и, наконец, зашел в такую улицу, где и дома поплоше, и мостовые несколько лет не починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги устали, на квартиру идти некуда, и он, задумав завтра идти на какую-нибудь фабрику, решился поспросить дворников, нет ли тут квартиры, где бы ему можно было переночевать. Присел Яшка к одному каменному дому и от нечего делать стал смотреть в подвальное окно. И видит он, что там нет никого: на столе лежит коврига хлеба, какой-то горшок с ложкой... Он встал и бессознательно вошел во двор и подошел к двери, где, по его мнению, находилась комната с ковригой хлеба. «Мне бы только хлеба», — думал он. Но дверь заперли на замок... Яшку пробирает дрожь; ему хочется сорвать замок: он пробует, но сил нет... Замок худой, накладка уже надломлена, а сил нет... Вдруг он увидел около стены ломик, похожий на тупое долото, чем отбивают намерзнувший снег с панели, и, нимало ни о чем не думая, засунул его за накладку и стал пробовать. Скоро накладка сломалась, замок с нее свалился, и он положил его в карман, а потом вошел в дворницкую (то была дворницкая) и, бросив ломик под печку, подошел к столу.

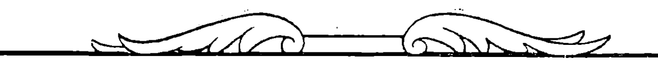
Лишь только он схватил хлеб, как в дворницкую вошел дворник, городовой и двое мужчин. Яшку связали и отправили в квартал.

Через год в окружном суде назначен был суд над Яшкой, с участием присяжных заседателей, а через несколько времени в одной петербургской газете была напечатана судебная резолюция, состоявшаяся такого-то числа и месяца в уголовном отделении окружного суда. Окруж-

ной суд постановил: выслушав дело о крестьянине Якове Савельеве, признанном виновным в покушении на кражу со взломом, во второй раз, на основании таких-то и таких-то статей уголовного судопроизводства, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, заключить в рабочий дом на один год и четыре месяца; по освобождении же из рабочего дома, согласно такой-то статьи уложения о наказаниях, отдать под особый надзор местной полиции на два года.

Что будет из Яшки после этого наказания и куда он потом попадет — решать считаю излишним.





ГОРНОЗАВОДСКИЕ ЛЮДИ

(РАССКАЗ ПОЛЕСОВЩИКА)

I

Люди

Скажу я тебе, хороший человек, про наших горнозаводских людей, что это за люди такие. Вот, слушай-ко! До той поры, как нашего брата, божиею милостью, не уволили всех совсем, мы были люди казенные, подначальные, самые такие маленькие, потому, значит, нашим братом всякий чин понукал, потому, опять, нам на роду было написано быть так: как ты родился от рабочего или мастерового, так и умрешь рабочим или мастеровым... Да. Наш брат смекал тоже, что крестьянин или иной какой мужик бородастый все же лучше нас живет, потому, значит: заплатит он подать да отбудет кой-какие повинности — и шабаш; вольный человек; на все четыре стороны ступай, только билет выправь; делай, что хочешь, а если капитал имеешь, — в купцы можно махнуть, а наш брат — шалишь! .. Твердо он-то, да приперто! ..

А почему это так? У нас, на матушке Руси, много разных заводов и промыслов, казенных и таких, которые принадлежат богатым людям. Вот к этим-то заводам, рудникам да промыслам и были давным-давно, по указам государевым, навечно причислены или подарены люди, земли и леса. Люди эти как жили в этих местах, так и стали казенными или господскими навсегда, и звания им разные

дали, а казенные были уравнены с военными и бород не носили. Всех их наделили покосами и домами.

Вот эти-то казенные люди, земли да заводы и стали управляться разными чинами, должностными людьми, да присутственными местами, которые и назывались горным ведомством. В маленьких заводах заведены конторы заводские и полиции, которые управляли людьми, заводом, рудниками и землями, которые находились около завода. Над всем этим был управитель — горный инженер. В больших заводах были главные конторы, которые заведовали несколькими заводскими конторами, заводами, рудниками или целым округом, которым управлял горный начальник — тоже горный инженер, подполковник или полковник (или, как прежде было, обербергауптман или бергауптман). Всеми этими горными начальниками, людьми, заводами и начальниками управляло уральское горное правление, которое было сперва в Перми, а теперь в Екатеринбурге, и город этот назван горным, потому, значит, в нем главное управление уральским горным ведомством и живет главный начальник, который еще выше горного правления и глава надо всем, а выше главного начальника есть еще министр финансов. Еще есть горные правления в Сибири и других местах, да там меньше заводов и людей, чем у нас. Наше горное правление не одними казенными правит, но и частными заводами и промыслами, которых много в Екатеринбургском уезде и еще более в Пермской губернии, и начальствует чуть не надо всем Уральским хребтом в Пермской, Оренбургской, Вятской и Казанской губерниях, где есть заводы, земли и люди — казенные и частные.

В казенных заводах, селениях, рудниках и в городе Екатеринбурге жили горнозаводские люди. Люди эти были вот какие чины: горные инженеры и другие чиновники, нижние и рабочие и сословие рабочих. Все они слушались своих командиров, знали свои места, исполняли обязанности по горной части, не могли отлучиться из своего места без воли начальства и не могли выйти в другое состояние (если родились в горном звании). Всем им была служба тридцать пять лет.

Кроме инженеров, вот какие были названия: нижние чины назывались урядниками, унтер-шихтмейстерами, межевщиками, чертежниками, фельдшерами и аптекарскими

учениками; нижние рабочие чины назывались: уставщиками или кондукторами, мастерами и писарями; прочие назывались сословием рабочих людей и были: мастеровыми, урочно-рабочими, писцами и цеховыми учениками. Были у нас еще баталионы и лесная стража. Баталионы с первого начала набрались из солдат, а потом составляли его дети их, записанные к горному ведомству. Люди из баталионов стерегли казенные места: сторожа, рассыльные и казаки — всё из батальонов, и все носят горную форму и имеют командира — главного начальника. Наши леса стерегли наши же люди. Леса разделялись на округи или лесничества, объезды или дистанции и обходы. Они управлялись лесничими и их помощниками, а стража называлась объездчиками, стрелками, полесовщиками и сторожами. Все эти люди получали жалование, провиант, имели дома, которые строили на казенный счет, и покосы.

Нижние рабочие чины командовали над рабочими людьми — мастеровыми и урочно-рабочими. Мастеровые знали какое-нибудь ремесло и занимались работою дома, а в казну нанимали работника. Урочные работники не имели ремесл и работали на заводах, фабриках, в рудниках и исправляли все работы в казну. Эти урочно-рабочие делились на конных и пеших. Конным давались от казны две лошади, и они работали на казну двести дней в году; пешие — сто двадцать пять дней и, кроме того, летом, с первого мая по первое ноября, половину месяца работали на себя, потому, значит, давалось время за уходом покосов. Конные и пешие делились на десятки и сотни, коим управляли десятники и сотники, а всеми — старшины. Каждый десяток, сотня отвечали за свой участок или десяток и сотню и обязывались сделать все, что им назначалось особо от другой сотни или десятка, и каждый работник отвечал сам за себя и следил за другим работником, для того, значит, чтобы работа в участке шла для всех поровну и кончалась в срок.

Все рабочие, сверх жалования, получали провиант и дрова. Холостые получали провианта по два пуда в месяц, женатые — четыре пуда; на сына полагался пуд; на дочь, до восемнадцатилетнего возраста, — полпуда, или где как назначено. Конные, сверх всего этого, получали по шести копеек за рабочий день, на две лошади, а если они ездили на работы менее пятнадцати верст, то получали еще по

две копейки в сутки на пропитание, а если дальше пятнадцати верст от своего жительства — по три рубля в месяц, если только не работали куренные работы, за кои платилось по особым положениям.

После тридцатипятилетней службы мастеровые и рабочие получали пенсион — половину годового жалования или несколько копеек в месяц; за сорок лет — две трети, а кто не хотел пенсии— получал единовременно трехгодовой оклад жалованья. Жены, после смерти мужей, получали пенсион от шести рублей восьмидесяти семи копеек до одного рубля семидесяти двух копеек в год, а дети, до двенадцатилетнего возраста, — по десяти копеек в месяц, с двенадцатилетнего — по двадцать две копейки. Дочерям давался пенсион до пятнадцатилетнего возраста.

Каждый мастеровой и урочно-рабочий был женат с семнадцати лет, потому, значит, что без жены нельзя жить; муж уйдет на работу, а дома хоть шаром кати. С женою потому хорошо: она и накормит мужа, и хлеба на дорогу напечет, и провианта больше дают, и детей она родит, кои тоже провиант получают и помогают отцам. Значит, хорошо и весело, и без бабы жить нельзя. У жен наших были свои работы: они управляли домами, смотрели за детьми, садили летом в огородах разные овощи, коров и овец держали, нитки пряли, работали на свое семейство. Значит, простые были, такие же, как и мы грешные, — мужья. Мы были командирами над ними и всем своим имуществом; они орудовали над детьми и скотом.

Наши сыновья с осьмилетнего до пятнадцатилетнего возраста назывались малолетками и если не учились в школах, то работали дома или с отцами на казну и получали провианта по полтора пуда в месяц; с пятнадцатилетнего до осьмнадцатилетнего возраста они назывались уже подростками и употреблялись на легкие работы на заводах, за что и получали по два пуда провианта в месяц; и кроме провианта, дети наши за работы получали от пятнадцати до двадцати двух копеек в месяц жалования!..

Для наших сыновей были устроены в заводах школы, куда они брались осьмилетние и за учение получали по пятнадцати копеек в месяц. По окончании учения они брались в работы, или их переводили в окружные училища, кои были в тех заводах, где главные конторы и где жил

горный начальник. Там они жили в казенном доме и учились четыре года. После учения в этих училищах их определяли в конторы писцами или в другие места, в той части, чему они научились в училище. Хорошие ученики поступали в уральское училище, которое находилось в Екатеринбурге; учили там четыре года горные науки и выходили с званием урядника на службу, или в управление, или в заводы.

Для нездоровых у нас были поделаны лазареты и богадельни. Там были наши же фельдшера и лекарские ученики, только присылали лекаря или аптекаря не нашего ведомства.

Вот кто мы такие были. Начальство тоже заботилось о нашем брате, только не выпускало нас из нашего звания. Уж так верно нам на роду было написано. Ничего бы и это, да то скверно: много у нас начальников было; много от них непорядков делалось; больно они уж важничали и худо обращались с нами. Ближайшее наше начальство были сотники и старшины. Они назначали нам места работ, требовали сделать какое-нибудь дело непременно к такому-то дню, и если кто-нибудь из нас не слушался их — они того драли и приказывали ему работать в те дни, когда он должен быть свободным от работы. Бывало, наш брат никакой вины за собой не знает, а работает весь год в казну; нет ему спуска, а стал говорить — хуже: отдерут и провианта лишат. Богатому еще можно было отлытать от работы, потому, значит, стоило только подарить старшину, а бедный и жаловаться не смел, потому, значит, жалобам высшее начальство не верило. И бывало то: конные часто имели одну лошадь и не получали на нее денег; когда ездили далеко, не получали жалованья; и конторы хитрили в выдаче провианта, так что вместо шести пудов рабочий получал два пуда, а за остальными ходил круглый год, да иному и ходить некогда было, так и попускались, потому, значит, боялись жаловаться и работали через силу. Досадно нам больно было, что нами всякий чин понукает; думали мы: «как же, мы работаем исправно, а почто нам за наши труды не дают всего, что требуется по закону?»

Зато с своим братом, рабочим или мастеровым, мы жили дружно, душа в душу; любили выпить компанией и всё ругали своих командиров. Тогда никто не попадай

нам под руку — поколотим, как шельму, и если что набедокурим, ни за что не выдадим друг друга. И жены наши между собой жили дружно, а если ссорились, то скоро мирились. Все мы не любили тех, кто из нашего брата важничал. С таким мы даже не говорили.

В частных заводах такие же были заведены порядки, как и на казенных: люди получали жалованье, провиант, имели дома и покосы, и такая же была у них служба, только рабочие назывались непременными работниками, и ими командовали нарядчики, смотрители работ и приказчики. На малых заводах там были заводские конторы, в больших — главные конторы, которыми управлял управляющий заводами какого-нибудь заводовладельца. От каждого владельца были одни или несколько управляющих, например у Сергинских было трое. Управляющие определялись заводовладельцами, по доверенностям, из генералов, чиновников и заводских людей (например, были в Верх-Исетском заводе тамошние заводские люди), такие, кои знали горную часть. Вот эти управляющие управляли всеми людьми, землями, рудниками и заводами хозяина, распоряжались работами и были главным лицом, потому, значит, многие хозяева не жили в своих заводах. За это они получали сверх квартиры до двадцати тысяч рублей в год жалованья, ну — и в карман клали, отчего иные заводовладельцы разорялись. Заводовладельцы эти получали от управляющих отчеты такие огромные, что им не хотелось их проверять самим, да они в них и не понимали мудростей управляющих и верили своим управляющим, людям богатым и кои были дружны со всеми властями в нашем городе. Управляющие, по доверенностям, предоставляли части управления заводом, людьми и рудниками приказчикам, которые тоже доверяли своим помощникам части управления — нарядчикам и смотрителям работ. Не все управляющие входили в нужды жителей, а предоставляли надзор за ними и работами приказчикам, которые делали все что хотели и делили свои барыши с управляющим. С людьми они обращались строже казенных начальников, били правого, драли и не выпускали из рудников. Больно трудна была работа в рудниках. Там иные по неделе из шахты не выходили и ползали так в земле с тачками с рудой на расстоянии сажен десяти и пятнадцати от поверхности...

Там за малую провинку стегали работника и заставляли работать не в зачет, из выгод управляющего. Особенно трудно было на сысертских заводах незадолго до манифеста о воле. Там управляющий давал приказания приказчикам достать к такому-то числу столько-то руды и выгнать на такой-то рудник столько-то людей, и если рабочие не могли достать, работы усиливались, и их драли. Приказчики, нарядчики и смотрители были мучителями рабочих, и рабочим жаловаться было некому. Управляющие к себе рабочих не допускали, приказчики драли, а хотя и были там исправники, кои определялись горным правлением, но они не разбирали жалоб рабочих на приказчика и управляющего. Жаловались немногие горному правлению и главному начальнику, но таких отсылали обратно в заводы с приказанием наказать.[1] Пятнадцатилетние дети там работали наравне с отцами в рудниках, и их били и драли *за лень!*

Тяжелые были времена, и ты, милый человек, поди, не веришь этому. Было, братец мой, много мук было... а пристать за народ некому.

Были там еще поверенные чиновники и заводские люди. Они жили в нашем горном городе и ходатайствовали по делам в суде в пользу управляющих и богатых людей. Они обирали управляющего и своих доверителей и делали в суде что хотели. Если они хлопотали за бедных, кои давали им последние свои деньги, то они всетаки держали сторону богатого и заводских властей. Через них-то правому и не было в суде защиты, и правый делался виноватым или лишался своего имущества, а виноватый делался правым...

Однако не во всех заводах частных было так. Вот в яковлевских да демидовских хорошее было житье людям, оттого, значит, там хорошие были управляющие, кои сами присматривали за работами и не обижали людей.

---

[1] В 1859 и 1860 годах по жалобам мастеровых Сысертского завода, по приказанию главного начальника, было произведено следствие чиновниками Фоком и Алтуховым. По этому следствию обнаружено много злоупотреблений со стороны управляющего К. и его доверенных лиц. Управляющий К., вследствие его подсудности, был уволен, а приказчики успели, еще до производства следствия и до поступления дела в уездный суд, выйти на волю и записаться в купцы. О дальнейшей судьбе этих лиц мне неизвестно. *(Прим. автора.)*

Все не жаловались на свою жизнь; и в Нижне-Тагильском и Верх-Исетском много было богачей, и заводы эти богатые. Демидовские и яковлевские люди приобретали тайком металлы, делали из них вещи и продавали в то время, когда отправлялся караван весной по воде, или изделия свои они продавали на ярмарках и в городе. Зато там большая половина жителей были единоверцы или раскольники.

От непорядков в других заводах многие воровали, убивали, делали серебряные и бумажные деньги, за что их ловили и ссылали в Сибирь. Деланием кредитных билетов, воровством и убийством славились невьянские; с других заводов бегали и говорили, когда ловили их, что они непомнящие родства, или уходили в леса к раскольникам. Им лучше нравилось идти в Сибирь, чем терпеть в заводе.

Ну, а теперь, слава тебе господи, воля вышла. Шабаш!.. Всяк вольный стал: хочешь — работай, не хочешь — как хочешь, силой никто не заставит. Сначала, как прочитали нам манифест, мы и руки сложили, лежим себе дома; а как потребовали нас на работу, мы и говорили: «Знать никого не хочем... Дождались мы матушки-воли — и шабаш!..» А когда нам растолковали, что еще два года останется прежний труд, мы долго не могли понять: зачем еще два года! Коли манифест прочитали — и давай билет на все четыре стороны! Мы еще до манифеста слышали, что нас уволят, только не могли понять, как уволят. Что будет с нашими домами и покосами? А многие богатые да начальники наши печалились, что их от команды отставят; ну, да им можно было, а мы-то как? Терпели-терпели, а потом и выдворят нас из своих домов?.. Урядники тоже побаивались: им хорошо жилось, а как погонят их метлой из службы, куда они денутся? Нынче, братец ты мой, хороший человек, писарей-то вонο сколько развелось, и чиновникам местов мало, а нашему брату и подавно. Ну, а когда мы прочитали положение и поняли дело — ничего: домов не отнимут, а кто выслужил года — покоса не отнимут, а не выслужил — деньги плати. Хорошо, ей-богу! Хочешь работать — работай, денежки будут давать, а драть да бить по морде уж не станут, значит, воля, и сам можешь сдачи дать. Слава те господи! Мы, казенные люди, рады были воле, только, —

по привычке, что ли, или бог знает отчего, — нам как-то неловко казалось вдруг сделаться вольными: работал ты, били тебя, драли как сидорову козу, и вдруг ты вольный, хоть в купцы ступай! Эко диво! Эко счастье! Эвоно куда пошло!.. Да мы, братец ты мой, хороший ты человек! — да мы, скажу я тебе, целую неделю, как прочитали положение, из кабаков не выходили, а дома всё батюшку-царя родного благодарили! На что наши жены — дуры, и те себе по обновке купили да по гривенной свечке за царя поставили в церкви... Ай да батюшка-царь! Большое тебе спасибо: не ты бы, голубчик, так поедом бы нас заели...

Два года еще мы работали по-старому, только наши начальники затихли: не стали нас драть. В частных заводах бунты затевали, оттого, значит, что там усилили на рабочих работы, для того, значит, чтобы рабочие больше сделали, а то, пожалуй, после рудники станут; к тому же находились там такие умники, кои сбивали народ, что работать больше не следует. Ну, а у нашего брата, сказал что один толково, и все в один голос говорят: так! Ну, и не шли на работы, к управляющему лезли, побить его хотели... Их усмиряли солдаты и губернатор и драли потом, а все-таки не объясняли толково... Потом, как уволили нас совсем в нынешнем году, начальство и давай упрашивать нас остаться при тех же работах, плату нам назначило. Ну, мы, бедные люди, казенные и бывшие господские, подумали-подумали — куда пойдешь? Да и на одном месте камешек обрастает, говорит пословица; денег нет, и стали опять работать попрежнему; только теперь уж — вольные люди, и денег больше дают. Да и опять, как подумаешь, — ведь без нас казна не обойдется; кто, кроме нашего брата, пойдет на фабрику да в рудник: крестьянин или иной какой к этой работе не сроден, а мы сызмалетства привыкли к ней. Нам и холод и голод — все нипочем. Ну, так все и остались при своих местах, и теперь лучше стало как у нас, так и в бывших частных заводах. Иные, богатые, в мещане да купцы записываются, другие куда-то разъехались, а мы, маленькие люди, так и будем маленькими людьми; только теперь мы — вольные люди, никто нами не смей понукать... А все батюшка-царь нам это добро сделал. Ну, как не молить нам за него бога... Вот, значит, он один понял да вникнул в наше положение...

II

Полесовщик

Теперь скажу я тебе, братец ты мой, что я за человек такой. Видишь ли: отец мой был лесной сторож, самый последний, маленький человек, ничтожный, то есть: всякий подначальный его мог бить, сделать с ним что вздумалось бы. Звали его от рождения и до самой смерти Иваном Фотеичем Ивановым, а как умер теперь, по поминальникам, кои у детей поделаны, в церквах, в радовницы да в день его святого, — поминают только рабом божиим Иваном или Иоанном, как в поминальнике у него написано. Вот этот раб божий да подначальный, самый маленький человек, был женат на Степаниде Егоровне, от которой и родилась ему куча ребят, целая семья: Гаврило, Петр, Семен, Тимофей, Павел, Агафья и Палагея, и я после них. А окрестили меня Иваном, и стал я Иван Иванов Иванов же. Вот что. А почему не иначе меня назвали, я скажу тебе, братец ты мой, историю, которую отец мой часто рассказывал своим приятелям. Он так говорил:

«Этот шишкотряс, Ванька, больно мне солон, костью в горле стоит... Потому, значит, меня через него с кордона стурили в сторожа, и с его родин я совсем обеднел. У меня, знаешь ли ты, было уж пять сыновей: Ганька да Петька, да Сенька, Тюнька, да Пашка, да две дочери Агашка и Палашка; и не рад был я этой ораве, потому, значит, в избе стало тесно, и одеть их не во что было... А если были какие доходы, все на мясо да водку шло, потому выпивал я баско... Ну, я уже и не думал, чтобы жена еще кого-нибудь родила, потому, значит, она ничего не говорила, да и я не замечал... Ну, и ладно... Был я, знаешь ли ты, одного раза, летом, на кордоне; пробыл уже два дня и мастюжил себе сапоги. Вдруг и прибежали Ганька да Петька и говорят мне: «Мамка, тятька, парня родила... нас за тобой прогнала; крестить, говорит, парня надо; помират тожно... Денег велела нести...» Озлился я на парней, оттаскал их за гривы, и жену выругал, и стал парней домой гнать. А они что: хоть кол им теши на голове, пристали, бестии: парня, говорят, мамка родила, ревет уж он больно... маленькой, говорят, такой да красный зачем-то... Ну, я подумал-подумал: коли родила, не бросать же в пруд, пригодится; по крайности провиант

на него буду получать; дал им три гривенника и протурил домой: скоро, мол, буду; только вместо себя кого-нибудь оставлю... Парни домой побежали. Хохочут, на одной ноге скачут да деньги ловят, а я все вижу с дороги да ругаюсь им и кулаки кажу... В это время пришел на кордон сосед-полесовщик, ну, я и попросил его остаться за меня денька на два и заказал, если спросит меня лесничий или помощник, сказать, что у меня-де жена парня родила. Только я вышел на дорогу и сел на лошадь, и увидел, как недалечко из леса два порубщика выезжают с бревнами. Скликал я товарища и напал на них... Они было артачиться стали: куды-те — кулаки тоже кажут... А когда мы хотели у них поводья изрубить да дуги отнять—они и дали нам два рубля... Ну, мы и отпустили... Поехал я домой, посвистываю себе: денежки, мол, есть; попу есть что дать... Да попался мне навстречу сосед, будь он проклят, Егоров. Поедем, говорит, выпьем, у меня деньги есть... А он уж выпивши был. А как я подъезжал уже к своему краю, в Мельковку, [1] и недалеко был от кабачка, и зашли выпить, а лошадь я привязал к столбу фонарному, какой был около кабачка, один во всем этом краю. Ну, зашли, выпили по косушке, мало показалось, еще взяли полштоф, уж на мои деньги, а тут еще знакомый мастеровой гранильной фабрики подвернулся, еще нас угостил. Изрядно-таки мы выпили, долго дубоширили из-за чего-то с целовальником и выбили его; нас за это и спровадили в полицию... Как повели нас в полицию, хватился я лошади — тютю!.. Ах, капалка, черт бы тебя подрал! Куда лошадь делась?.. Стал спрашивать то того, то другого; не знаем, говорят... Вот какие свиньи! А казаки гонят нас... Досадно мне стало; взбунтовал я двух мастеровых, да еще четверо пришли: оттузили мы казаков. Ушли они от нас... Куда делась лошадь? Злость меня берет; да и своя братия, мастеровые, тоже жалеют... А нашему брату без лошади как без рук житье. Сказали

[1] Название края города Екатеринбурга. Эту часть города отделяет узкая грязная речка Мельковка, впадающая в городской пруд. Дома в Мельковке старенькие, построенные на заводский манер. Если только зайти в Мельковку и пройти несколько грязных улиц и переулков да посмотреть на дома, людей, коров, коз и ребятишек, бегающих и расхаживающих по улицам, так и кажется, что какая-то деревня. Все-таки это город. *(Прим. автора.)*

мне, что Гаврилко Заикин увел ее. Вот я к нему — дома нет. Марш в полицию, а меня, вместо того чтобы мою жалобу разобрать, в чижовку посадили... Ах, досада какая! Хотел я все стены проломать, людей, воров да мошенников, которые тут были, хотел избить, да силы и воли такой не было... Так я и ночевал в чижовке, а утром меня высекли. Уж как мне досадно было... Стал было я просить одного служащего просьбу накатать, да он рубль запросил; выругал я его, варнака, и пошел к лесничему. А тот уж узнал, что я в полиции сидел, никаких оправданий не принял, а снова спровадил меня в полицию, высечь велел, а потом идти в лес, — и назначил меня сторожем на другую площадь... Что ты станешь делать: просить некого больше... Просидел еще день; выпустили, спасибо хоть не высекли снова: жалко, должно быть, стало... Прихожу я домой: жена ругается, стерва, а меня злость берет; ударил я ее по голове кулаком и сказал все как было. И она запечалилась; троих парней, которые постарше были, послала лошадь искать. А когда я спросил: как парнишка назвали? — она и сказала: Иваном. — Это, говорит, так было. Я, говорит, по всем соседям бегала, да едва-едва с полтину выклянчила денег; спасибо, Петрович (знакомый мастеровой, человек капитальный) кумом захотел быть: и денег два рубля дал и медный крестик с гайтанчиком парнишку купил. Ну, принесла я парнишку в церковь; Петрович пришел, да Гурьяновна с Трофимовной пришли в церковь... Трофимовна рубашку ситцевую ребенку сшила и кумой была... Насилу-насилу мы уговорили священника окрестить: некогда, говорит, после придите... Вот и стал он спрашивать меня: «Какое ребенку имя дать?» А я почем знаю? Грамотная я, что ли? Ну, и говорю: «Хоть какое, батюшка, только поскладнее да полегче...» — «Какое же?» — думает он и спрашивает кума. И осердился тожно: «Вы, говорит, раньше должны обдумать...» Кум, не будь робок, сказал: «Вы, говорит, батюшка, не горячитесь, потому, значит, люди бедные, а тоже, коли окрестите, мы денег дадим, а не окрестите, к архирею пойдем...» Батюшка осердился и вскричал: «Да какое же имя-то?» — «Ну, каких всех больше, — говорит кум: — коих больше в году, такое и дайте...» — «Иванов больше», — сказал священник. «Ну, Иван так Иван, все едино», — сказал кум. И окрестил поп пар-

нишку Иваном... — А лошадь я так-таки и не нашел... Год целый на чужой ездил, целый год лес продавал да копил деньги, и купил хоть дрянную, да все же лошадку, а просил из казны — не дали: не стоишь, говорили...»

И стал я расти да расти. А что было до четвертого года, не помню. На четвертом году я уже бегал, а на пятом году понимать стал. Звали меня Ванькой да Ванюшкой все братья да сестры и отец с матерью. Старшие братья и отец с матерью то и дело меня звертывали да колотили, потому, значит, больно уж я баловник был. Да и не я один баловник был, братья да другие наши ребята еще получше меня были. Только мне больно доставалось. Я скажу тебе, братец ты мой, отец был бедный человек, жили мы все в одной избе, спали, летом — кто на сеннике, кто в чулане, кто в избе, кто где попало, а зимой мать с отцом на печке лежали, если отец был дома, мы — на полатях да в печке; потом, значит, у отца не было шубы, а ходил он в сером кафтане да большой меховой шапке, а на руки надевал собачьи рукавицы, большие-преогромные, такие, что мне, пятилетнему, как я надевал отцовскую рукавицу, она по горло была... У матери была еще шубейка, вроде нонешнего пальта, а у нас, кроме рубашонок да у старших братьев — худых-прехудых штанов, ничего не было. И у отца-то с матерью всего-навсего было по две рубахи; а умываться мы не умывались, только в бане каждую неделю мылись. Когда мне был пятый год, я с отцом, да с матерью, да еще маленькой сестренкой Машкой, какая через год, сказывали, после меня родилась, вместе мылись в бане, потому, значит, нас мать мыла и парила, — аяй, как жарко!.. Отец-то уж тогда больно парился и смешил меня да мать; на что и Машка мала была, и та кричала весело и махала ручонками да показывала на отца. Он заберется это на полок, сгонит мать на лавку и давай хлестаться веником. Жара нестерпимая... Отец выпарится и пойдет зимой из бани прямо на снег и сядет и пыхтит да любуется на себя... А у нас баня без крыши была, и передбанника в ней не было, а прямо залезали с огорода в баню и в ней раздевались и рубахи вешали на шест; оно и хорошо: и рубахи не мочатся, потом, значит, вши да блохи издохнут от жара, и мы их же надеваем, а не то мать их в бане же вымоет и высушит, пока мы моемся... Летом отец не выходил,

после парки, из бани, а окачивался холодной водой. Прочие братья ходили все вместе, а сестры особо.

Семья у нас была большая. День у нас так начинался. Встанем мы и подходим к матери: «ись! ись! . .» Как заголосит человек пять «ись», она и деться не знает куда. Одного колонет, другого оттеребит, третьего ухватом прогонит, а ее передразнивают: язык выставляют да хохочут. . . Кто плачет, кто друг друга колотит да за волосы теребит. . . А скажет она кому-нибудь: поди-ткось, принеси то-то — никто нейдет. . . Подоит она корову, принесет нам кринку молока да каравай хлеба, две ложки деревянные, мы и начнем драку: кто хлеб отнимает, кто ложку, кто кринку к себе волокет. . . Крик, и смех, и плач. . . просто содом и гомор. . .

Летом мы весь день терлись на улице и играли с ребятами в разные игры. На пятом году я боек был, и доставалось мне от всех. Волосы у меня были белые, курчавые такие, лицо некрасивое, корявое, — говорят, оспа изъела. Как это я выбегу из ворот, и зовут меня ребята: «векша! векша! бычья голова!» На улице мы барахтались, кувыркались, в лошади бегали. Обхватишь, бывало, промеж ног палку и задуваешь по улице в рубашонке, только волосы трясутся, а тебя погоняют с криком да свистом. Или возьмешь в зубы веревку за середину, двое держат ее за концы и давай понукать тебя. Ну, и стерелешиваць[1] и свету божьего не видишь; бывало, и упадешь, — поплачешь маленько и опять за старое. Я тогда бойко бегал; были парни, кои бойчее меня бегали, ну, да те старше меня были. Бывало, пустишься бежать взапуски, бежишь-бежишь, а как нагонит тебя кто-нибудь, собьет с ног, сядет на тебя верхом — вези! — и везешь; другой подскочит, подплетет ноги — падешь, начинается барахтанье. . . плач и смех. . . Кои из нас постарше были, те в бабки играли да через голову перекувыркивались, и я этому научился. Больно мне хотелось научиться на руках да на голове ходить. Это я видел на бульваре, как один фокусник на голове ходил. . . Ну, мы, ребята, были переимчивые, нас фокусы больно занимали, и многие из нас учились на голове ходить, да не могли. Редкий день проходил, чтобы я не ложился на середину дороги да не поднимал кверху

[1] Бежишь. *(Прим. автора.)*

ног. Поднимаешь это ноги кверху — неловко становится, а тут еще подвернется кто-нибудь и потащит тебя за ноги; к нему другие подойдут и тащат кто за ногу, кто за руку да кричат: «волоки его, качай на все стороны!» С этими парнями я научился кукишки показывать, глаза косить да делать глаза красными, через заплоты лазить, с крыш скакать да в трубу с вышки пролезать на крышу. Бывало, вылезешь это из трубы весь черный, как дьявол, и соскочишь с крыши, а потом и побежишь умываться из лужи или на реку. Придешь домой; как увидит мать черную рубаху — и давай полысать вицами из веника. Я и в бабки играл. Бабок у нас было богатство, потому, значит, мы их сами промышляли. Пойдешь куда-нибудь на неделе да, где сору больше, и перероешь место — нет ли бабок. Нашел гнездо, и слава те господи. У меня не много было бабок, потому, значит, играть я не умел: не мог в гнезда попадать. А другие по лукошку имели. Поставят это гнезд восемь или пятнадцать и давай кидать за черту бабки. Если бабка падет сакой — на брюхо, значит, тому первому и бить, а пала бокой — тому после бить. Вот набросаем мы бабки и давай спорить: ту бабку, коя сакой пала, бокой делаем, а боку — сакой, ну, и барахтаемся да ругаемся. Я любил слепым бить. Так и норовлю, чтобы моя бабка пала между чертой и гнездами. Ну, как падет, зажмурят мне глаза, я кину бабку — и переброшу через кон... Побегу, схвачу с кона гнездо, сшарабошу ногой все гнезда, и марш наутек... Меня догоняют, колотят. Пробовал я и налитками бить — бабками со свинцом — все плохо попадал, бросал и кобыльи бабки — большие — и тут мимо, а все-таки уносил домой пару гнезд, — воровал, значит. Не нравилось мне, как дразнили меня наши ребята. Как завидят они меня и кричат: «векщица! векщица! бычья голова! шаршавая собака!..» Я бежал к ним и хотел ударить кого-нибудь, а они подходили ко мне, протягивали руки и уськали, как собаку: «векщица, векщица! усь! усь!» Я хотел поймать их всех и заодно прибить, а они бежали и опять дразнили... Я кидал в них каменьями, и они в меня кидали. От этих шалостей у меня вот и теперь на лбу медаль сидит: камнем попали. Когда попали, я с воем пришел домой, а отец в то время дома был, ремнем меня отдул... Большое удовольствие было для нас коров сердить. Схватишь хвост

коровы и давай его таскать, а если корова бодливая, песку ей накидаешь в глаза. . . Прохожим, особенно девкам да таким ребятам, которые в сюртуках ходили, от нас не было спуска. Пройдет девка, мы с нее платок стащим; если она воду несет — наплюем в воду или прольем. Она дерется, а нам смешно. Идет барич какой (мы не любили баричей или тех, которые в сюртучках ходили), мы и давай плясать перед ним да глаза косить. Неймется ему, мы рядышком пойдем с ним и давай толкать его в бока, для того, значит, чтобы рассердить. И если он заругается, — нам и любо. Мы и давай его передразнивать, как он ходит, и говорим: «барчук пичук, в чужой огород залез, козу съел. . . свинья ему избу лизала». А если ему невтерпеж будет да он каменьями станет кидаться, мы убежим от него и кричим: «пырни его! камнем его! . .» И кидали каменьями, а сами убегали. . .

Любили мы также в огороде воровать да топтать, что насажено. В огородах у нас и теперь чучелы поделаны. Стоит шест с перекладиной, и на него рубаха или рогожа надета, а внутри, за рубаху или рогожу, солома натолкана, как есть человек с руками, только ног нет, а вместо головы к туловищу бурак или худая-прехудая шапка надета. Это, значит, для того, чтобы вороны да кои другие птицы в огороды не летали и растения не клевали. Ну, мы заберемся в огород, перетопчем все гряды, повытаскаем лук да редьку или картофель, и чучелу на землю свалим, и тычинки, которые воткнуты в гряды с горохом, выдергаем. Придут наши матери — только ахают да коров и коз ругают, а как заметят нас — выдерут, да что нам бабья дерка! Для чего мы гряды топтали — никто из нас сам не понимал, а делалось как-то спроста, ни с того ни с сего, и нам после этого смешно было; либо воровали с чужого огорода морковь — тоже не знаю, для чего, а так, хотелось побаловать. А отчего мы такими баловниками были, так потому, смекаю, что отцы наши дома редко бывали, а если бывали, то били только за то, если мы их не слушались. Матери нам нипочем были: они только с утра до вечера ругались, а если и били больно, так нам только обидно было: мы видели, как отцы наши их били да веревками драли, и мы в это время смеялись и говорили друг дружке шепотом: «ай да тятька! ну-ко, ишшо прибавь! . .» Любо нам почему-то было, когда отцы

матерей били, и мы не боялись матерей, а часто, когда они колотили нас, мы притворялись, что плакали, и грозили: «погоди, тятьке скажу! ..»

Летом в дом мы ходили только есть. Много мы тогда ели. Зимой сидели дома на печке да на полатях, а если отец куда-нибудь посылал которого-нибудь из нас, тот надевал отцовскую курточку, его большие дировитые сапоги, огромную его шапку. Пойдешь это по дороге в таком облачении — рукава по снегу волочатся, сапоги тяжелые такие, снег то и дело в них набивается... Шлепаешь-шлепаешь, запнешься и упадешь, а шапка так и закрывает рот, а поднять ее рукава мешают...

Кроме бегания да колотушек друг с дружкой, мы досаждали своим сестрам. Больно мы не любили их за то, что они на нас жаловались, ну, и пакостили им. Завидим только где-нибудь чулок, и распустим его; увидим на полатях или в углу прялку с куделей да веретешком, вытащим веретешко и забросим куда-нибудь, под лавку или за печку; или когда они половики ткали, мы разрезывали их. Пройдет которая-нибудь из них мимо нас, мы ноги подставляем да хохочем; или когда они обедали отдельно от нас, мы в щи плевали. А все на эти штуки я был горазд.

— Вот что, Тюнька, сделаем мы штуку? — говорил я брату Тимофею.

— Сделаем.

— А ты не скажешь?

— Ты только молчи, я — шабаш.

— Пойдем, вымараем грязью нитки, что Агашка сушить положила на траву.

— Айда! — Пойдем, вымажем — и хохочем.

Однако наши братья не все дружно жили. Семен да Павел часто жаловались на нас сестрам да матери, и отцу жаловались. Отца мы все боялись. Придет он домой и как только заметит, что кто-нибудь балует, ударит кулачищем по чем попало и скажет: «я те, шельмец!» Ну, мы и притихнем, только втихомолку возимся; а увернется отец, опять пошла писать. Как только скажет которому из нас: «поди-ко, балбес, распряги лошадь!» или другую какую работу даст, да тот не пошел, он брал витень или ремень, коим опоясывался, так-то драл, что искры из глаз сыпались; и слушались мы отцовскую команду...

Отец меня больно не любил, часто заставлял делать что-нибудь не под силу, и если я не мог да ленился, он так долго и больно теребил меня за волосы, беда! И часто ни за что бил. Мать часто на меня жаловалась отцу.

— Уйми ты, чучело, Ваньку. Я с ним, разбойником, способиться не могу. Он вот сегодня кринку молока пролил. . .

— Я те, шельмец! — ворчал отец, а я забивался на полати и говорил: «мамка сама пролила, а на меня сваливает; ишь, какая».

— Поговори ты еще! — кричала мать.

— Чего говори! Сама, поди-кось, съела. . . — ворчал я.

Отец стаскивал меня с полатей и бил не на милость божью.

Больно мне не хотелось качать Машку, когда она еще маленькая была. Закричит мне мать: «Ванька, качай ребенка».

— А Агашка-то што?

— Тебе говорят!

Сяду я качать зыбку и плачу: «Вот Агашку да Палашку небось не заставляешь... Что они за барыни за такие! Все лытать бы им. . . А я качай тут. . .»

Мать ударит меня по голове и погрозит пожаловаться отцу. Как только ребенок затихает, я и марш — летом на улицу, зимой на полати, и не вытащишь меня оттуда. А когда приведет она меня силой, я опять плачу, и ругаюсь, и думаю: «уж сделаю я с этой Машкой штуку! не станет меня мать заставлять!» И давай качать зыбку что есть мочи: все хочется очеп переломить, а он, как назло, только гнется да гнется. Машку то и дело перебрасывает из стороны в сторону; она ревет; мать подойдет, прибьет меня и прогонит. . .

Много я принял побоев в детстве, да и не один я: все мои братья и прочие ребята так же росли, только первым, сказывают, будто лучше было.

Зимой, в масленицу, мы делали катушку и катались на лубках да рогожах; кубарем скатывались и сестер своих толкали с горки. В масленицу в жмурки играли: завяжет кто-нибудь глаза полотенцем или тряпкой и ловит прочих. Его колотят, а он бегает с распяленными руками. Как поймает кого, тот и завязывает себе глаза и ловит. Это и теперь у нас есть. Ты, братец ты мой, извини

уж меня, что я тебе про игры да кое-что рассказал. Уж таково мое воспитание было, и вся наука в том была.

Когда мне был двенадцатый год, отец брал меня с собой в лес и заставлял рубить дрова и возить их в город, домой. Он караулил лес верстах в десяти от города и жил в нем по неделе, а другую жил дома, что-нибудь работал на себя, шил матери да сестре ботинки, кое-кому сапоги, и на эти деньги мать покупала ситца себе да сестрам. Только в люди отец мало шил сапогов, потому, значит, худо шил, а больше починивал.

Братья Гаврило и Петр были взяты на золотые прииски, а брат Павел и сестра Марья умерли. В доме у нас свободнее стало, только отец провианта стал меньше получать, да и этот не весь отдавали: всё обсчитывали.

У отца был покос. Летом, в страду, он гнал нас всех на покос и давал там по литовке. Любо было мне косить траву. Машешь литовкой направо да налево и смотришь, как отец ловко да бойко косит и ругает нас, что мы литовки тупим о кочки да деревья. На тринадцатом году я ногу порезал литовкой, и теперь она болит к ненастью... Сена у нас много накашивалось, и мы лишнее продавали в город.

Братьев Семена и Тимофея взяли тоже в работу на пятнадцатом году. Они до осемнадцатилетнего возраста кучонки жгли, а на осемнадцатом году Семена сделали лесным сторожем в той же дистанции, где был и отец, и он скоро женился, а Тимофея послали тоже сторожем верст за тридцать и там отвели ему землю для дома и дали покос, и он тоже женился. Сестра Агафья ушла в стряпки и вышла замуж за кучера, а на Палагее женился полесовщик Емельян Сидоров. В нашем доме остались только мать с отцом да Семен с женой и я. Подумаешь это: куда делась такая семья? Давно ли, пяти годов нет, в одной избе жило одиннадцать человек, а теперь всего-навсего пятеро... От Семена опять пошли дети, опять стали прибывать новые люди, опять началась возня...

На шестнадцатом году я уже хороший был работник отцу. Заставит он меня дров нарубить — живо нарублю, складу в телегу, увяжу и домой привезу. Едем мы с ним домой, увидит он большое да широкое дерево и говорит: «Ну-ко, Иван, свали это дерево! А я вот то!..» Ну,

и срубим и домой привезем. На семнадцатом году меня заставили кучонки жечь. Нарублю я дров, складу их в кучу, обсыплю землей, а для дыма отверстие сделаю и зажгу внутри. Прогорит этто часа два, я взойду на кучонку и давай топтать. От этих дров только угли оставались. Угли эти возили на фабрику. Не нравилась мне эта работа; выпросил отец меня у начальства в лесные сторожа. Сначала меня не заставляли стеречь лес, а заставляли рубить дрова на лесничего да в казну. За это я получал на себя по два пуда провианта и несколько копеек в месяц жалованья. Стал я ходить с отцом по лесу и учиться службе. Обязанность отца была легкая: он ходил по своей грани или спал в балагане — и редко ловил порубщиков, потому что в его стороне порубщиков было мало. Порубщики были люди бедные, наши же городские жители-мастеровые; были и такие, которые промышляли себе деньги воровским лесом. Эти люди знали отца вдоль и поперек и рубили лес в том месте, где они надеялись уехать так, что их не поймают. Да и сам отец попустился следить за порубщиками. Он и по лесу ходил редко, а больше спал, и если заслышит, что кто рубит лес, да кажется, что далеко, — не пойдет, а если близко да днем — он пойдет со мной в лес; там его поколотят, и мне достанется, и мы без всего уйдем назад; а другие сторожа были далеко. А если порубщик был трус, отец брал деньги и пропивал их. Он говорил в это время: «Слава богу, послужил. Пора бы и на спокой, да года не выслужил. Денег мне теперь не надо: сыновья накормят. . .» Было у него ружье казенное, да оно без употребления висело в балагане. И стал я справлять службу такую же, как и отец. Лес был разделен на площади, и мне назначено было ходить по одной делянке, на грани по восточной стороне, верст на пять; рядом, по другим делянкам, были другие сторожа: мой отец и еще двое наших соседей. У каждого из нас был балаган, а на дороге кордон, где жили двое полесовщиков — один старший, другой младший, — и заезжали объездчики, которые наблюдали только за нами и объезжали лес. Лесничий к нам ездил раз в месяц и драл нас всех за то, что находил лес вырубленным. Помощник его да подлесничие ездили каждую неделю; но их полесовщики поили водкой и давали им денег. Жизнь в лесу была хорошая: ходи либо лежи, только скучновато,

и ответственность большая. На кордоне было лучше наших балаганов, потому, значит, что там изба была устроена с полатями, печью, и окно настоящее было. Полесовщики редко выходили на дорогу, а сидели в избушке или спали, и оттого порубщики часто провозили лес. Объездчики были нашими начальниками, но им давали денег. Я был тогда молод, но бойкий парень. Как только услышу, кто-то рубит лес, сейчас в лес, и топор с ружьем возьму с собой. Поймаю порубщика, обрублю оглобли и закричу кого-нибудь. Придет другой сторож с ружьем, станет просить денег; тот не даст, мы его скрутим и отдадим на руки объездчикам. За это мне давали награды, и как я часто ловил, то лесничий со мной был ласков и часто брал к себе в денщики. В лесу скучно было. Ходишь-ходишь, дровец порубишь, выстрелишь в белку или в птицу какую. Зверей у нас не было, а птиц было мало, только рябки. В лесу я познакомился с полесовщиком Степаном Ермолаичем. Славный он был человек, седой уже, весельчак такой. Как начнет рассказывать что-нибудь, только знай слушай. Он всё книжки разные читал, светские и духовные. Захотелось больно мне выучиться грамоте от него. До этой поры я ни аза в глаза не знал. А просить его мне казалось стыдно, что такой большой я, а читать не умею. Думал я: где уж мне выучиться, коли отец не знает грамоте. А почему он не знает? Отчего все сторожа спрашивают у Степана Ермолаича: это как, а это почему? Видно, грамота больно тяжка. . .

Прихожу я однажды в избу. Степан Ермолаич сидит в очках с медной оправой и читает житие святых. Его слушают человека три.

— Что, скучно, братан? — спросил он меня.

— Скучно, дедушка.

— Плохо.

— Ты о чем читаешь?

— Да как святая Екатерина мучилась. — И стал он мне рассказывать, как она мучилась.

В это время я не утерпел и сказал:

— Как бы это мне научиться да все знать?

— Научиться можно, а все знать нельзя.

— Нет, уж мне не научиться.

— Только прилежание имей — выучишься. Я сам на двадцать первом году выучился.

— Научи меня, дедушка!

— Ладно.

Ну, и стал он учить меня так. Взял какую-то книжечку и стал показывать буквы и говорит: вот смотри, как эта буква напечатана, а эта вот иначе, тут опять так. Вот, к примеру, возьмем: *«изба»*. Вот тебе *и*, вот *земля*, вот *буки*, вот *аз*. Потом рассказал мне, сколько у нас букв всех, пересчитал и мне велел запомнить. Часа три он мне толковал азбуку без книги. Я половину запомнил; как пошел к своему балагану, все твердил: *аз, буки*... а как лег спать, все перезабыл. Ночью я то и дело просыпался, так у меня и вертелись на языке *аз* да *буки*. Когда пробудился, половину вспомнил и стал отыскивать в книге. Много было в ней букв, много походящих одна на другую. Долго я старался отыскать *избу* — не нашел, а нашел только *бог, они*. *Бога* я знал, а *они* никак не мог понять, что за штука такая. Попалось мне *колесо* — ну, это знаю; попалось *добро* — не мог понять. Пошел опять к старику. Растолковал он мне всё как есть. Так я учился полгода, а в год совсем выучился. Стал у него просить книжек и читал. Потом, когда я бывал у лесничего, правил должность денщика, времени свободного много было; стал просить у него книжек; он, спасибо, давал. Лесничему я понравился, и он велел учиться мне писать. Писать меня учил тот же Степан Ермолаич. Только сам он плохо писал. Все-таки я и писать умел. За это и за то, что я был исправен, и за то, что старался всячески угодить лесничему, он меня полесовщиком сделал, дал денег на лошадь и послал на кордон в другую площадь. Вот, значит, ученье мне помогло: чином повысили. Стал я копить деньги от доходов и покупать старые книжонки на рынке. Купишь и читаешь; хоть дрянь, а все лучше, чем сложа руки сидеть. И узнал-то я от книг больше и удивлялся, как это я так скоро выучился. А все спасибо Степану Ермолаичу. Славный он был человек, дай ему бог царства небесного. Умнеющая голова был. Только — не тем будь помянут — с женою не жил в ладах. Жена жила в городе, детей имела, а он на кордоне жил со вдовой мастерской, Анисьей Панкратьевной. Не любилась ему жена, хотя и молодая была баба, красавица, на коей он в третий раз женился, потому, значит, что она лесничему часто прислуживала.

«А это так было, — рассказывал Степан Ермолаич. — Приехал к нам новый лесничий, не молодой уж, холостой. В это время я был женат третьим браком и как раз в день его приезда дежурил у него. Только, значит, он переночевал и говорит мне: «Послушай, любезный, не знаешь ли ты такой женщины, которая могла бы мне рубашки вычистить?» Я говорю: «Насчет этого не сомневайтесь, ваше благородие, я жене своей отдам». — «Умеет ли твоя жена чистить белье?» — «Отчего не умеет, ваше благородие». — «Ну, так ты ее пошли ко мне». Послал я жену к лесничему, ну, а там и пошло; стал он ей денег давать да чаем поить, а меня на кордон послал и не велел оттуда выходить. Я и говорил ему, что, мол, ваше благородие, у меня дети. А он и говорит: «Черт ли мне в твоих детях? Ты слушай, что тебе приказывают...» Я опять и говорю: «Да ведь, ваше благородие, жена моя вам не пара, вы не имеете права обижать меня...» Он и говорит: «Если ты еще поговоришь, я вздуть тебя велю...» Ну, я так и ушел на кордон и жене попустился, потому, значит, жаловаться некому, а коли пожалуешься — хуже будет... Была у нас гулящая баба, молодая; ну вот, я ее и подговорил и стал жить с ней, потому, значит, без бабы нашему брату нельзя жить...»

С Анисьей Панкратьевной Степан Ермолаич жил пять лет, до самой смерти. Я знал его жену и дом и с детьми игрывал. Насчет жены все наши мастеровые толковали, а ей нипочем было. Дети Степана Ермолаича, постарше, были взяты в работы, а помоложе — росли так же, как и я, только часто голодом сидели от непорядков матери и воровством занимались.

Не нравился мне один объездчик, Филатов. По его милости часто лесничий наказывал нашего брата, полесовщиков да сторожей, потому, значит, он фискалил лесничему. Придет, например, ко мне в избушку и говорит: «Что ты, Иванов, не ловишь мошенников? Я сколько сегодня видел, как они с дровами ехали. Покажи книгу?» У нас велась в избушке книга, в коей мы записывали, сколько тогда-то из леса увезено дров да бревен. Если дашь ему денег — ничего, а если нету — он лесничему пожалуется; приедет подлесничий или сам лесничий и передерет меня и прочих рабов божиих. Меня он крепко недолюбливал за то, что я не кланялся ему, и хотя

я исправно вел себя, но часто меня драли, неизвестно за что...

На девятнадцатом году задумалось мне жениться. Скучно стало одному жить, да и куда ни посмотришь — все женатые; на что и товарищи мои, с коими я маленький играл, — все переженились. Была у меня на примете девка Офимья, бойкая такая была. Хоть она и некрасива была, а нравилась мне: привык я уж к ней, потому, значит, маленькие мы вместе бегали, а жила она с матерью, вдовой, и двумя братьями, женатыми, против нашего дома. На что, кажется, я уж парень был толковый, а от шалостей все еще не отставал. Попадется это навстречу Офимья, я ее за бок ущипну, а она подлецом меня называет; несет она воду, я ведро брошу на землю, она в спину меня коромыслом колотит... Разные разности я с ней делал.

Один раз, летом, она попалась мне навстречу — нитки на палке несла на реку Мельковку. Я подошел к ней и ущипнул ее руку.

Она заругалась:

— Я те, варнака! Что ты балуешь? — и она ударила меня палкой. Я ее опять ущипнул.

— Да что ты, в самом деле, за разбойник такой! — Она плюнула мне в лицо.

— Экая ты толстая! Ишь какая жирная.

— Типун бы тебе на язык! Чтой-то, Ванька, от тебя прохода нет?..

— А выходи за меня замуж, и проход будет!

— Вот уж! за разбойника экова!

Ну, и стал я уговаривать ее, как только увижу ее. Согласилась. Она жила в бедной семье, и там ее постоянно корили чем-нибудь, называли дармоедкой и заставляли делать за всех.

Сказал я об этом отцу; тот поругался, зачем я беру бедную, да как понял сам, что богатых в нашей улице не было, согласился. Ну, дело и уладилось. Брат между тем пристроил к дому еще горенку и жил с женой в горенке; только мне не хотелось жить с ним: жена его уж больно капризная была. Пошел я к лесничему: он выхлопотал мне место за Вознесенской церковью и покос и велел строить дом, а на свадьбу дал три рубля денег.

На свадьбе весело было. А на другой день после свадьбы меня выстегали. Поехал, значит, лесничий леса смотреть и нашел много порубок; ну, объездчик Филатов и нажаловался на меня. Меня и потребовали утром к лесничему, а тот в полицию спровадил. Обещался в сторожа сместить.

Скверное было житье моей жене с братом: постоянно ее упрекали голью да ленивой; она жаловалась мне, и я увез ее в кордон. На кордоне мы весело жили. Хорошее было житье с Офимьей. На что и Степан Ермолаич — завидовал мне. Только он не долго прожил после моей женитьбы: уколотили его, голубчика, порубщики. Анисья Панкратьевна после его смерти где-то в стряпках жила, да жила, кажется, с месяц, потом нищею стала.

Жену свою я научил дрова рубить и с ней возил в город к своему месту дрова и лес. На месте сначала маленькую избушку сострoил, в виде бани, и жил в ней свободную неделю. В ней Офимья хлеб пекла, щи варила, и мылись мы и парились по субботам, а между тем я делал срубы на дом да на погреб, а Офимья землю копала да гряды ладила. Так мы и маялись два года. Сынишко у нас родился; Александром назвали. В два года я с отцом да с женой выстроил себе дом с кухней и комнатой, сарайчик и погреб, а избушка осталась баней в огороде, который мы огородили тыном. И стал я настоящий семьянин, и к дому моему дощечку прибили, что этот дом полесовщика Ивана Иванова. Отец мой со мной жил, да помер через год, как мы вошли в дом, а мать и теперь жива, только живет у Семена, которого она больно любит.

Нашего брата, лесную стражу, часто меняли на разные места. Это так уж лесничему хотелось. Так и я до воли на шести кордонах был и почти всю дистанцию знаю, как свой покос: знаю, где какой межевой столб стоит, где какая речка пробегает, где какой лес растет. Часто я бывал от города верстах в пятидесяти и жил там по месяцу, а дома жил только неделю; часто работал на казну: прикажет лесничий леса нарубить да траву косить, и делаешь с прочими к сроку, а не сделаешь — выстегают: уж такой порядок был заведен, а мы были люди все равно что рядовые солдаты, и делали с нами что хотели. У нас был такой лесничий, что он, кажись, норовил только карман набить. Поймаю, например, я его порубщиков.

Они выругают, приколотят меня и говорят, что лесничий велел рубить. Пойдешь к лесничему, станешь жаловаться на порубщиков, а он тебя же и выругает: «Какое дело тебе, скотина, до такого-то? Я велел, и только...» А лес такой, из которого он сам никому из нас не приказывал даже на себя рубить, не только что отпускать по билетам. Или посмотришь на билет того, кто хочет рубить лес. На билете написано чернилами: отпустить по закону столько-то и денег столько-то взять следует, — а на боку написано лесничим, карандашом: отпустить ему столько-то бревен и не заносить в книгу. Это, значит, он с богатыми людьми сам дела имел и деньги себе брал. Вот и мы, глядя на лесничего, спускали лес за деньги и сами продавали. Потому мы это делали — жалованье было маленькое, да и то часто не давали, или если давали, так мы делились с писарем лесничего да объездчиками, а те — с лесничим. А продашь дров да бревен, и поправишься. За нами некому было, кроме лесничего, следить, а если не дадут деньги порубщики — ничего не сделаешь. Они же пойдут к лесничему, дадут ему денег. Тем и кончится все. А если представишь кого-нибудь к лесничему, да тот бедный — его под суд упекут, да и ты попадешь под суд. Вот, например, я уже по двум делам попался и по одному в подозрении оставили. По первому делу я так попался. Привел я порубщика к лесничему, стал лесничий просить с него денег, а у того нет. Началось следствие. Стали смотреть место порубки и нашли, что леса много вырублено, а порубщика я поймал только с четырьмя бревнами. Кто вырубил лес? Ну, и потянули меня. Я отпирался, что не видал и на этом кордоне был недавно... А по другому делу — кто-то лес зажег. Стали спрашивать объездчиков, полесовщиков и сторожей — никто не видал. А это часто делают городские мастеровые, для того что пальник дозволяли возить свободно. Ну, и оставили нас всех в подозрении.

Плохо было, братец ты мой, наше управление, и при нашей бедности да строгости над нами и наказаниях лесничего мы спустя рукава караулили лес и редко-редко представляли порубщиков к лесничему, потому, значит, боялись, как бы ни за что под суд не попасть. Оттого у нас в редкой площади был один лес, а то все больше лес был только по краям грани, и с вида казалось, что леса

много, а внутри одни пни да поле большое. Лесничие нас драли за худой присмотр, а сами наживали лесом деньги и отписывались, что леса много — столько-то-де десятин, чего и не бывало вовсе... Подлесничие мошенничали с объездчиками, сами продавали лес и делились с лесничим. А главный лесничий хотя и бывал в лесу редко, но лесничие умасливали его.

Под конец доходов у нас мало стало, потому порубщики платили мало. Мы брали со всех от рубки леса по закону и по своему разуму, а все-таки денег у нас не водилось, потому, значит, у каждого было большое семейство, и мы любили изрядно выпить.

Все мы, наша братия, жили в своей улице дружно и часто менялись временем работ. Любили и подраться и пьяные не спускали никому.

Скажу я тебе, братец ты мой, еще про жену свою. Четыре года она была у меня золото баба: такая работящая да послушная — любо, а потом сбилась с панталыку. Придешь домой, везде разбросано, двое ребят плачут, а она лежит на кровати и корове, что есть, сена не хочет дать и не слышит, как та у крылечка шею чешет да мычит. Ну, я изругаюсь, она тоже. Спрошу есть — она ни тпру, ни ну! «Сам, говорит, доставай, а я нездорова...» Только выйду я из дома, пройду немного по улице, обернусь — и вижу: моя Офимья бегом бежит в Терентьев дом. А там жил молодой мастеровой Терентьев, женатый. Я, конечно, ничего. Только досадно, зачем дома у ней непорядки?.. Чем дальше, тем хуже, а один раз я увидел, как Терентьев выходил из моего дома... Ну, я поругался маленько, побил ее за непорядки и пошел к соседу на именины. Там, слово за слово, речь дошла до меня. Один хвастался своей женой, другой укорял; ну, многие передрались и сказали мне: «Ты, брат, Иваныч, смотри, бей жену. Она у тебя того-с!..»

— А что?

— А ты не знаешь?

— Она у меня отбиваться начала, братцы, изленилась.

— То-то и есть. Она, брат, с Терентьевым таскается...

Я рассердился, чуть было не расцапался с ними. А один сказал: «Я, брат, сам видел часто, как он по ночам к ней ходит. Ты вон, смотри: Терентьев стоит у твоего дома. А почто его жена вон у ворот стоит и ругается?»

Вышел я на улицу. Жена Терентьева ругает его всякими словами и жену мою поминает. Вот я и прибил Терентьева, а жену свою веревкой отодрал и из дома выгнал. Она было пошла к Терентьеву, ее жена того протурила. Пошла было она к соседям, и там ее прогоняли, потому, значит, наша баталия на всю улицу была. Темно уж стало. Я запер в стойку корову, дал ей сена, лошади овса дал и лег спать в комнатке, а двери запер на крючок. Дети тоже спали. Вот я лежу и думаю: «Что это сделалось с женой? Ну, чем ей дома не жизнь? Ест она вволю, носит одежду лучше, чем прежде носила, в девках...» Никак я не мог понять, что сделалось с женой. Досадно мне стало, и ее жаль: как она ночь проведет? «Ну, пусть, думаю, потрется ночь на улице...»

Только, братец ты мой, вышел я утром на двор, моя Офимья и дает сена корове. Я повеселел маленько, только молчу да хмурюсь и жду, что будет дальше, — и стал доделывать себе сани. Она подоила корову, печку затопила; потом, немного погодя, смотрю, вышла она на крыльцо и смотрит на меня.

— Иваныч, подь пироги ись, — сказала она мне.

— Не хочу я твоих пирогов!..

— Поешь... право.

— Ты еще отравишь меня.

Однако я пошел. Она эдак ласково с детьми говорит, молоком их поит и мне хочет уноровить. Поставила на стол две тарелки жареных с говядиной пирожков, молока кринку принесла. Я сел есть, а она у печки возится.

— А ты што, гадина, не ешь? — закричал я на нее.

— Я уж здесь наемся.

Все-таки она села со мной за стол и стала есть, а сама все на меня смотрит и боится, чтобы я ее не свистнул кулаком. Я таки ударил ее по щеке ладонью. Она заплакала и голосит: «Нету мне житья от разбойника! Все он меня бьет...»

— Пошла к Терентьеву!

— Да что ты меня Терентьевым тычешь! На весь город острамил...

Я еще ей задал стряску.

С этого времени моя Офимья ровно шелковая стала. Все это в дому приладит, никаких непорядков нет. А с Терентьевым все-таки имела штуки тайком. Тот, подлая

харя, каждый день бил жену; плакала она, бедная, жаловалась соседям, укоряла мою жену. Соседи не кланялись моей жене и говорили про нее разные разности. Так у нас тянулось года три. Я перестал бить жену, попустился; ребят только жаль было: они без присмотра росли да колотушки принимали от нее. Стал я в это время пить, все доходы пропивал, заложил все платья жены, и стали мы жить — а-яй как бедно! ..

Одново раза пришел я домой пьяный, прибил жену, выгнал ее из дома, прибил детей, посуду перебил и ушел пьянствовать. Прихожу на другой день домой — нет жены. Только стал я давать корове сена и зашел на сенник, и увидал: висит моя Офимья на веревке... Струсил я, страшно показалось, и жалко стало бабы... Пошел к соседям, обсказал, как есть; полиция пришла. Все дивились, что это такое сделалось с моей женой, и сам я не понимал. Уж не от меня ли она руку на себя наложила? думал я. Жалко мне ее стало: больно уж я ее бил... Всплакал я, братец ты мой, как повезли мою Офимью и бросили без отпеванья в яму...

Детей у меня было трое. Александру был шестой год, и я его отдал портному в ученики; Петру было пять лет, а Опроксинье два года. Плохо им было без присмотра... Стал я искать себе жену и женился на сорокалетней вдове. Бой эта баба — никак я не могу с ней справиться: бьет меня. На ней уж я женат четыре года, и от нее родился еще сын.

А все жаль Офимьи. Славная она была сначала баба, да подвернулся ей плутина-мастеровой — сбилась она с панталыку и загубила себя. Может быть, и не повесилась бы она, да я уж больно круто с ней поступал. Бить бы не надо... Пусть бы она гуляла... Да непорядки уж больно у ней были... А теперь вот навернулась жена, за́-все бьет, как пьяный я напьюсь, да говорит: ты думаешь, что первую жену погубил, и всем так будет! .. не на ту навернулся...

Теперь меня уволили из горного ведомства. Вольный я человек стал, уж никто не дерет меня. Не хотелось мне оставаться полесовщиком, да подумал-подумал я: ремесла никакого не знаю, в другую работу идти — много рабочих; так жить нельзя, потому, значит, у меня жена да дети... ну, и остался полесовщиком. Теперь уж

жалованье дают, хоть небольшое, да все же можно биться, потому, значит, можно лесу продать да с порубщиков сколько-нибудь сдернуть, а начальство не увидит: оно такое же все, только бить не смеет. Воля, значит. Только все-таки я человек маленький, подначальный, а начальникам о нашем брате и горя мало: хорошо ты исправил свое дело — спасибо не скажет, а худо — обругает, денег не даст, прогонит — и тачай слань...

III

Три брата

Есть у нас старикашка такой: ростом не велик; ходит сгорбившись; волосы поседелые, долгие и постоянно встрепанные, и непременно в них пух от подушки застрял, потому, значит, не чешет он их никогда; лицо у него старое, постоянно красное, морщинистое такое, а веселое, и глаза такие бойкие, да плутовски смотрят. Редкий день его не увидишь у кого-нибудь: то он в шашки играет да ругается, как проиграет шашки, если сухари ему останутся, или все бахвалится: «погоди ужо!.. погоди! я те запру...» То водку пьет в какой-нибудь компании нашей братьи; то идет по улице да песни подпевает и с бабами куры-муры строит; то в бабки с ребятишками играет; то рассказывает им, как он жил на свете. Ходит он в разной одежде, какая ему вздумается; тепло когда — в рубахе ходит; холодно когда — старенькой сертучишко, с двумя пуговицами напереди, наденет, да еще сверху халат наденет и опояшется полотенцем или какой-нибудь тряпкой. Шапки у него две: одна какая-то смешная, с одной половиной козырька, из двух сортов сукна, синего и серого, клином сшита, а другая приличная фуражка — с целым козырьком. На ноги он надевает зимой валенки, по-нашему — пимы, кожей обшитые, да и пимы-то эти уж годов восемь существуют, потому на них везде заплаты на заплатах; а летом калоши носит. Дома он ест, да спит, да с маленькими детьми своего сына возится, да с женой сына или с сыном разговаривает, да дровец расколет, во дворе приберет, корову погладит, да куриц щупает... Вот этова-то человека и зовут Степан Еремеич Облупа-

лов. Живет он теперь уж годов пятьдесят на свете, и звание его до сих пор — мастеровой. Прежде он портным был. Портничал он не то чтобы заправски, как настоящие портные, а работал один, сам собой, и шил нашему брату гуньки, а по-нонешнему халаты называются, да зипуны — и починивал их, а доски над воротами или над окнами, как делают портные, с нарисованными ножницами, у него не было. Шил он не очень красиво, да крепко. Иная жена наша лучше бы его сшила: ведь шьют же они себе да нам рубахи, только, значит, халаты шить они сноровки не знали. Сошьет это Степан Еремеич халат или зипун; ну, сначала и кажется, ровно ничего, так и следует, и когда наденешь, халат на халат походит, а через месяц смотришь — туда дира, там дира, подкладка отшилась, да всё по швам, а не то чтобы как-нибудь, нечаянно, сам изорвал о гвоздь или что иное. Вот и пойдешь в этом халате к Степану Еремеичу и кажешь ему, да и говоришь: «вот они, дела-то твои, разъехались!» А он и смеется: «Ишь ты! .. оказия какая. Ишь что стряслось! .. Ну, оставь — починю: неси тожно на шкалик. . .» Наша братья потому давала ему шить, что в нашей улице он один был портной, а других городских портных мы не любили, потому, значит, плуты они — никогда нам обрезков не давали и брали дорого, а Степан Еремеич был свой человек, брал дешево и обрезки отдавал сполна; а поколотишь его — ничего, не осердится. Ничего и то, когда он чей-нибудь халат в кабаке заложит: поколотим, а жаловаться не ходили и выкупали халаты. А халаты, скажу я тебе, у нас вещь необходимая, самая заправская, украшение то есть, потому, значит, мы шинели да пальты не носили — не по нам, не любили: плюнем да бросим, даром не надо; халат — одно слово халат: и в будни и в праздник надеть не смешно, потому, значит, таков уж обычай, и в нем нашего брата за версту видать. Вот что! Так вот и занимался Степан Еремеич, и деньги получал от нас грешных, и в долг шил, после водкой поили, а в казну не работал — нанимал. Только денег у него не водилось — пропивал. Больно уж он зашибал.

Кроме портничества, он еще каменьями промышлял. Был у него такой человек — приятель, который покупал в заводах да рудниках или сам находил каменья разные. Вот эти-то каменья он продавал в городе разным людям,

да и Степана Еремеича ссужал ими, а Степан Еремеич из них печати да бусы выделывал и гранил их на разные манеры, чему, как он сам говорит, его еще отец выучил. Печати он продавал на рынке; топазовые по сорока копеек, а яшмовые по тридцати копеек за штуку, а бусы по рублю за сто. И эти деньги у него редко шли впрок — в кабаке с приятелями пропивались. Все же таки он жил лучше прочих соседей, потому, значит, у него деньги водились постоянно, и знакомых урядников у него было много, да один квартальный ему как-то родней приходился.

Вот у этого-то Степана Еремеича и было три сына: Елисей, Тимофей и Максим, а дочерей бог не дал. Росли они как водится, росли, как и я и все прочие ребята, и я с ними постоянно играл на улице. И выделывали же они разные штуки да колена! Все они ребята удалые были: держи ухо востро, не клади ничего близко — все перемуштруют да испакостят; не попадайся чужой навстречу... Бестии продувные были, и никакие страхи отцовские да людские их не пробирали... И как это подумаешь: откуда у них набиралось разных выдумок да сметливости? — подивишься только. Чего-то они не делали! — и наша братья, ребятишки, от них не отставали. Особенно боек был на разные штуки Елисей, самый большой. Он у нас коноводом был. Только скажет: «ребя, айда коров мучить!» — и побежали за город с гиком да лаем, и гоняем коров, бросаем в них каменья да палки, и любо нам, как они, голубушки, скачут, хвосты задравши, да задние ноги высоко поднимают... Или скажет: «ребя! айда на площадь мальчишек бить!» — и побежим на площадь, поджидаем школьников, а как завидим их — бросимся, приколотим. Елисей силен был: он десятерых на землю клал. Много было на нас жалоб, да ничего с нами не сделаешь: мы еще хуже становились. Дома Елисей ничего не делал — ленив был. Тимофея на девятом году отец отдал в ученики к одному мастеру, столяру и резчику, по контракту, без платы, а только мастер должен был одевать и кормить Тимофея; а Максим приучался к работе и на седьмом году ездил уже с отцом в лес по дрова и помогал кое в чем матери.

Елисей не слушался и не боялся отца, хотя тот и бил его. Он на тринадцатом году стал водку пить и потягивал у отца каменья, за что отец водил его с казаками в

часть и там драл. Но Елисей после каждой дерки выдумывал разные штуки и пакостил отцу. Степан Еремеич гнал его из дома, а он не шел. Наконец-таки, на пятнадцатом году, забрали Елисея на работу в гранильную фабрику. Елисею самому хотелось работать, ну, и стал он робить там каждый день, а ночью был дома.

У Максима был крестный — квартальный, тот самый, что приходился родней как-то Степану Еремеичу, а как у квартального были тоже знакомые люди, горноправленские и другие чиновники, потому, значит, квартальный, по-нашему, был важная птица в колеснице и командовал не только над нами, но и над прочими жителями города, то он и накачал Степану Еремеичу просьбу к горному начальнику, что-де я прошу ваше высокоблагородие взять моего сына Максима в училище, — и разные разности тут приплел и сам стал просить горного начальника. Скажу я тебе, братец ты мой, что хотя по нашему положению и было установлено так, чтобы дети с осьмилетнего возраста брались в школы, только это редко бывало, потому, значит, что в школы брали детей богатых отцов да кто хлопотал об этом или был знаком с каким-нибудь начальником; да и бедные мастеровые и рабочие сами не отдавали детей в школы, потому, значит, хлопотать не стоит, да и сын дома больше научится работе, а там избалуется. Вот я так и просил было лесничего, чтобы он похлопотал, чтобы детей моих приняли в училище на казенный счет, да он мне сказал: «не с твоим, говорит, рылом туда соваться». Ну, и плюнул я, не стал просить больше. А у Степана Еремеича квартальный был, протекция, значит; Максима и приняли в окружное училище на казенный счет и заперли его там.

Теперь расскажу я тебе по порядку, как жили братья Облупаловы. Начну со старшего, Елисея.

История об Елисее небольшая, да пакостная. В гранильной фабрике он служил года четыре, и был уже два года женат, и сынишко уж был. Работа тут была легкая, и много делать его не принуждали, а заставляли приучиваться сызподтиха. Сначала — он таки работал ладно, а потом связался с каким-то работником. Пойдут они из фабрики и напьются дорогой, а пьют на то, что стянут

что-нибудь из фабрики и заложат в кабаке. Придет Елисей домой и давай жену за волосы таскать. За тоё Степан Еремеич пристанет. Ну, Елисей и уйдет куда-нибудь, и ищи его, семи собаками не разыщешь. Жена стала жаловаться начальству, мастерам да горному начальнику; сначала бабу гнали, а потом отодрали Елисея и усилили на него работы. Елисей не унялся: возьмет какой-нибудь камень и вытащит его ночью за ограду, а как пойдет домой часу в шестом, и уволокет его домой, а потом свезет к одному торговцу, плуту, который воровские вещи продавал. Смотрели-смотрели на Елисея, да и определили его на монетный двор на такое занятие: днем караулить на плотине да выпускать и опускать с прочими воду на фабрику, а ночью печки топить. Пировать уж тогда не на что ему было, разве кто свой товарищ из жалости попотчует. Часто трезвый был и дома; когда бывал <трезв>, вежлив был со всеми и жену не бил. Она баба добрая была: когда он не приходил домой ужинать или обедать, она сама носила ему хлеб и молоко, а когда и пироги с говядиной да пельмени носила... Пословица говорит: побывает деготь в посудине, уж не выведешь его — так и Елисей наш был. С плотины он крючья срывал да гвозди выдергивал и продавал их всё тому же торговцу, а из фабрики тайком медь таскал. Вот его и заметили раз, как он гвозди выдергивал; сказали начальству. То приказало отодрать и сослало в рудники, на какие-то заводы. Увезли его туда с женой и детьми и заперли в рудник. Он таки и оттуда удрал да прямо к отцу. Верно, родимая сторонушка тянула. Ну, тот и раньше ему не рад был, а теперь, как узнают про Елисея, и ему несдобровать; сказал кому следует, и Елисея опять спровадили в тот же рудник. Не унялся Елисей, опять убежал, да и стал грабить добрых людей. Поймали его, сокола ясного, судить стали, а потом сюда в острог привезли. Люди говорили, что ему не миновать каторги. Отец так и попустился ему, хоть и досадно было и стыдно добрых людей за сына. Однако Елисей из острога убежал. Хорош молодец! Стали его искать, долго искали, а не нашли так и попустились, только сквозь строй бедных солдат прогнали. Вот что наделал, мошенник!

Прошло так года три с небольшим. Нет о нашем Елисее ни слуху, ни духу. Жена его приехала опять к отцу,

только без сына: умер, говорит; только не верится. Куда ей одной с ребенком маяться: взяла, поди, его, родименького, прихлопнула дорогой, и баста... У Степана Еремеича она не стала жить, а пошла к своей сестре. Матери да отца у нее в те поры не было. Стала торговать с сестрой калачами да пряниками около Гостиного двора — и теперь сидит то у плотины, то у главной конторы, то против горного правления, на самом виду, оттого, значит, — она сама говорит: «не увижу ли я своего мужа да хорошего человека...» А Елисеюшка, братец ты мой, живет да живет себе в Шарташе, в четырех верстах от города! Диво! А пожалуй, и дива-то нет никакого.

В четырех верстах от города есть Шарташское горное селение; оно застроилось одной улицей, по берегу озера, на две версты. Прежде это озеро было огромное и глубокое, а теперь оно имеет в ширину и длину где четыре, где три, а где и две версты. Глубина есть и на пять сажен. С самого начала в том месте, где теперь селение, был, давным-давно, раскольнический скит, и люда тут было много всякого. Потом сюда переселили с заводом непременных работников и свободных сельских обывателей, за разные разности и за раскол. Вот люди-то эти и стали тут жить да плодиться, и селение названо Шарташским. Из них немногие работали на казну, а большая часть жили свободно; иные платили повинность деньгами, а иные и так пробивались. Жить им тут можно было. В озере было пропасть рыбы, рыбу эту они ловили и продавали в городе; продавали разные поделки: кадушки да ведра и прочее. Кроме этого, все эти жители были злой народ, страшные разбойники. Лет двадцать тому назад по дороге в Березовский завод ночью боязно было ездить. Потому, значит, боязно: поймают какого-нибудь барина или купца, завяжут ему глаза, приведут в дом, разденут догола, зарежут и бросят с камнем в воду. И поминай как звали; ищи в воде, когда озеро тогда сажен восемь было глубины и ширины верст на десять. А с гостями-богачами или полицейскими чинами они так делали: накормят и напоят, что мое почтение, и спать уложат, а из дома не выпустят, — так сонному и петлю на шею: задавят и бросят с камнем в озеро, или в бочку да посолят. Бочки они хранили в потаенных местах, в подполье,

и места эти и воровские вещи никто не мог найти... Производить следствие боялись, потому раскольники сразу видели городских, которых они считали врагами и притеснителями, и держали нож наготове и за одного все стояли.[1] Наконец начальство строго стало следить за шарташцами, а главный начальник велел выпустить озеро; но они все-таки сделали плотину, и озеро хотя и убавилось, все-таки осталось, и в нем есть рыба. Теперь по дороге смирно, только разве у кого-нибудь корова потеряется, а потерялась корова — кроме шарташцев некому упятить. Ночью, пожалуй, не ходи один по заводу — ухлопают. Все, человек с тысячу, они раскольники, и теперь и городские купцы к ним ездят молиться в домы. Теперь живут там даже городские мещане и купцы. В селе хотя и есть единоверческая часовня, да в нее редкие ходят, потому, значит, у них в домах поделаны молельни, где общие, где в одиночку. Занимаются они теперь колотьем коров и продают в городе рыбу и разные вещи. Только между нашими городскими жителями есть много таких, которые не едят шарташскую рыбу, а едят с Верх-Исетского озера.[2] Шарташскую рыбу они называют по-

---

[1] Мне рассказывали один случай. По поручению главного начальника один чиновник должен был найти мертвые тела в селе. Чиновник этот имел сведение, что один шарташец больше всех занимается этим. Раз вечерком приехал он в село к этому шарташцу в виде купца, а солдатам заказал быть на улице, неприметно, и по свисту или крику его броситься в дом. Шарташец угостил его на славу и велел ложиться спать, а окна затворил ставнями и припер железными болтами так плотно, что из дома не было никакой возможности выйти. Увидевши, что гость не раздевается, шарташец, наконец, велел ему раздеться и лечь. «Я не хочу спать», — сказал гость. «Как хошь. Только уж теперь не выйдешь». — «Как?» — «Так. Надо же тебя осолить». Шарташец вышел, затворив плотно дверь. Чиновник остался в темноте и крикнул солдат. Все окружили дом, разломали двери и окна и арестовали шарташца. Когда стали его спрашивать: нет ли тел? — он запирался. Все углы и места в доме были перерыты и пересмотрены, и только в чулане усмотрели ходы в подземелье. Там нашли шесть бочек с телами. На спрос, зачем они тут? — шарташец ответил: «Продавать хотел за мясо». *(Прим. автора.)*

[2] Озеро это имеет около десяти верст длины и версты четыре ширины. Оно называется прудом, потому что в одной версте от города запружено плотиной Верх-Исетского завода г-д Яковлевых. Из озера этого, посредством речки, накопляется вода в городской пруд, имеющий длины более версты, и из этого-то пруда, через плотину и через монетный двор, выбегает река Исеть. *(Прим. автора.)*

ганой, потому, значит, по-ихнему, что-де там, в озере, и теперь на дне тела тлеют. Ну, а хорошие да небрезгливые люди едят и шарташскую, — еще сами теперь рыбачат. Прежде было в славе село, а теперь в славе озеро. Против села, на другом берегу озера, построено семь избушек с подвалами. В них живут, зимой и летом, заправские рыболовы — мастеровые и мещане — и рыболовят неводами, мережами, мордами, а иногда и удочками. Там пропасть окуней и карасей, по фунту и больше каждый. Каждый рыболов имеет двадцать или тридцать лодок. На левой стороне от этих избушек есть на берегу избушка шарташца; только туда городские не ездят, и шарташцы не любят городских, сердятся, что они ихнюю рыбу удят, и даже драки с рыболовами заводят. Летом на озере весело, потому на праздник да в праздник или в воскресенье там бывают городские чиновники, купцы и прочие, и барыни разные, перебивают нарасхват лодки, пьют на берегу чай и делают разные разности. Лодки отдают на сутки за тридцать копеек, а за полсуток по пятнадцать копеек; прежде и по рублю брали. Любо посмотреть в субботу или в праздник, в хороший день, на берег и на озеро. На берегу, около избушек, народ копошится, суетится, бегает, кто рыбу торгует, кто жаркое из карасей ест, кто уху варит — слюнки только текут! Извозчиков тут пропасть, кислых щей сколько, даже орехи есть. Собаки лают, и кошки бегают. А на озере видимо-невидимо лодок, песни непременно задирают где-нибудь, и как разносится по воздуху! Хорошо... А ночью огней двадцать горят на берегу, сотни людей дремлют или что-нибудь рассказывают и дожидаются, когда солнышко взойдет... Ей-богу, хорошо!..

Заговорился уж я больно, братец ты мой! Нельзя, место уж такое. Горожанам нашим тут и отдых, тут и развлечение, тут и жизни много, и поплавать есть где, а в городе скука.

Годов эдак восемь или семь, не помню, корова у меня пропала. Жена говорит, в поле выгнала; искала-искала, все дворы обегала, нет коровы. На рынке, говорит, была, все лавки обегала, все головы коровьи осмотрела — и там нет... Ну, и заплакала моя жена. А для нашей бабы корова все единственно, что мужчине без лошади быть. В корове у нее все богатство и вся утеха. А корова-то

была какая славная да тельная, ростом высокая, полная! Рублей пятнадцать серебряных стоила, и вдруг как ключ в воду канула... Эко диво! Жалко мне стало жены, и самому досадно. Пошел к соседям, порасспросил сам хорошенько: не видал ли кто буренки? Нету. Ну, и пошел в Шарташ, под видом благочестия, что я, мол, корову хочу купить, а не то мясо, прямо стягом, парное. Вот обегал бойниц с десять — нету. «Эх, досада!» — думаю. Пошел по другим. Только в одном месте хожу это около коров, поглядываю на живых, как они, голубушки, тоскливо мычат, — жалость! да на заколотых, да на людей, как те, озорники, кожу сдирают, — и заприметил знакомое лицо. «Что за дьявол! — думаю: — Елисейко не Елисейко, а рожа, кажись, его, только бородой оброс, да на лбу волоса подстрижены. Оказия, — думаю. — Как он сюда попал? Неужели уж раскольником стал». Не утерпел-таки я, подошел к нему и говорю:

— Здорово, Елисей Степаныч!

Он как окрысится на меня да зрявкнет:

— Какой тебе Елисей! Моисея не хочешь ли? Покажу...

У меня ровно дух в пятки ушел. Испугался я, а не трус. «Тьфу ты, дьявол! — думаю... — Эк он...»

— Аль не узнал меня? — спрашиваю его.

— Кто ты: городской или здешний? — спрашивает меня другой работник.

— Городской, — говорю.

— Ну, и проваливай, покуда цел.

Я опять-таки пристал к Елисею: все мне подделаться к нему хотелось, — и говорю:

— А ведь вместе прежде бегали?

— Знать тебя не знаю... Бегали! Заставлю ужо я тебя бегать.

Ну, думаю, тут дело дрянь, надо убираться. Пошел из бойницы и думаю: сказать про Елисейку начальству или нет?..

— Эй, ты! черт! — закричал на меня Елисейка.

Я остановился.

— Куда ты теперь?

— В город.

— Небось жаловаться? Видишь это! — И он показал мне нож, коим коров колют.

Я и думаю: действительно, пожаловаться худо, его-то я погублю, а он мне — товарищ; да и не погубишь если, — потому, значит, он опять убежит в Шарташ, — так сам себя и сгублю, потому все эти шарташцы больно мстительны и за своего брата так стоят, что на дне моря сыщут врага.

— Экой ты какой, — говорю я ему: — почто же я на своего товарища скажу? Да я, если кто на меня скажет, тому голову сворочу...

— Ну, так слушай. Придешь в город — молчи. Значит: нашел — молчи, потерял — молчи.

— Уж не скажу, не беспокойся. Вот тебе рука. — Ну, и подал я ему руку, и он дал мне свою, всю в крови замаранную.

— А коли скажешь — беда, не скажешь — спасибо... Ну, теперь ступай.

— Вот что, — говорю я ему: — сделай ты мне, братец ты мой, службу. Сам ты знаешь, человек я бедный, а у меня корову угнали с поля.

— Какая твоя корова?

Я рассказал приметы.

— Ну, ладно. Приходи ужо сегодня ночью на нашу дорогу и жди в одной версте от села, и корову получишь. Только слово помни!

Я сказал спасибо и побожился, что не скажу.

Прихожу домой и говорю жене: не нашел коровы. А она тем временем к ворожее сходила, гривну меди издержала. Ворожея, говорит, сказала: «Твоя корова в хороших руках, только не найдешь, потому, значит, к купцу продана, и через неделю найдешь этого купца, да он не отдаст». Ну, я бабу свою выругал, что только деньги даром тратит: мало ли что эти ворожеи врут? А жена меня выругала. Вот часу в десятом ночи и пошел я к Шарташу и спрятался в лесок. Жду-пожду, час и два, — нет коровы. Досадно стало, что я топора с собой не взял, хоть бы лесу порубил. Покуриваю махорку и бранюсь: верно, леший, обманул. Все-таки стал ждать и задремал было. Только слушаю, хрустит где-то. Встаю и вижу: корова недалечко стоит. Я пошел. Моя корова, а из людей никого нет. Корова как увидела меня, так и пошла ко мне и мычит жалобно — узнала, значит, хозяина; чувствовала, верно, себе конец. Ну, и пригнал

я ее домой, обрадовал жену; пожалела она гривенника и выругала позаочь ворожею. А про Елисейка так никому и не сказал. Не мое, значит, дело. Значит, нашел — молчи, потерял — молчи, шито да крыто...

Все бы это еще туды-сюды, да вот я, хороший человек, хотя и много книг разных вычитал, а понять не могу, нужды нет, что не молод уж: отчего это люди не могут жить так, как должно? По-моему, живешь ты да худо тебе, ну, и старайся, чтобы не было худого, и сам не делай худого; хорошо — и слава богу. Так нет. Елисейко, как видно, там хорошо жил, потому раскольники хорошо держат беглых: мучениками да святыми их считают; мало, вишь ты, ему этого было; поясница у него чесалась... Пропащая, право, голова... Вчуже жалость берет...

Ездил туда каждое воскресенье из города купец один. Купец этот в городе незнатен был, жихимора такая был и с женой-то своей, потому, значит, денег у него чертова пропасть была, а отчего была — бог знал да он сам. Вот у этого купца и жил кучер да стряпка — мастерская баба, как-то еще родней приходилась Степану Еремеичу. Кучер да стряпка между собой таскались и вздумали обокрасть купца да и уехать с денежками куда-нибудь далеко и обвенчаться, потому уехать — у кучера была жена, да он не жил с ней. Раз, летом, Елисейко и подговорил кучера вместе украсть деньги. Уж как согласился кучер — не знаю, верно потому, что ему стряпка надоела, и он ухлопать ее захотел. Ну, вот, как только кучер привез в село купца с женой — и марш к Елисейку, а тот мигом запрег лошадь в телегу — и марш с кучером в город к стряпке. Стряпка узнала Елисейка, заартачилась было, что тут еще третий; ну, они, соколики, не говоря ни слова, и ухлопали ее. Потом пошли в комнаты, разломали ящики и забрали все деньги. Вот Елисейко, не будь трус, и зашиб кучера, тут же в комнате, у ящика, — поделом, значит, вору и мука; забрал денежки и поехал на лошади в село. А когда он выезжал, его многие мастеровые видели и узнали. Он струсил было; но доехал только до лесу, отпрег лошадь и верхом укатил в село; там денежки и припрятал.

Ну, как водится, началось следствие, спросы да допросы, пошли догадки, что, верно, шарташец какой-нибудь

ухлопал стряпку и кучера, стали соседей спрашивать — ничего не добились, а мастеровые молчали, потому, значит, скажи, так засудят: отчего-де не ловили? А им что ловить — не их грабят, да они и не знали, что он грабил, а думали: верно прощен или в бегах находится — не важность. Своего брата и выдать грешно. Ну, если бы знали, что он убил, тогда бы, мое почтение, сцапали бы, потому, значит, убийство грех великий. Прошло полгода. Елисейко прижался, сидит дома. Но шила в мешке не утаишь. Раз он поссорился с своим хозяином за то, что тот его гнать стал. «Ты, — говорит, — не нашего поля ягода, ступай вон». — «Давай, — говорит Елисейко, — деньги». — «Какие деньги?» Ну, завязалась баталия. Елисейко ухлопал и этого раскольника и деньги зарыл куда-то далеко, а при себе оставил тысячу, потом ушел к знакомому раскольнику. Хозяин Елисейка был уважаемый человек беспоповщинской секты, а Елисейко перешел теперь на сторону поповщинской секты; беспоповщинцы пожаловались на него в город и обвинили в убийстве кучера и стряпки, потому, значит, что многие небогатые раскольники знали про это; поповщинцы разругались с беспоповщинцами и сказали полиции: нет у нас Облупалова, а он на той стороне.[1] Однако таки беспоповщинцы схватили тайком ночью Елисея, завязали ему глаза, связали руки и ноги и привезли в город.

Опять началось следствие. Потянули раскольников к суду — те откупились, и принялись за одного Елисейка.

Стали спрашивать Елисейка: кто ты такой?

— Православный, — говорит.

— Как тебя зовут?

— Не знаю. — Ну, и сказался непомнящим родства. Позвали отца. Отец говорит: «Это Елисей, сын мой».

— Знать я тебя не знаю.

Позвали мать — то же. Никого не признает. Сколько людей перетребовали — не знаю да не знаю, говорит, мало ли лица сходятся! .. Слава богу, что меня не потребовали. Я в то время в лесу был, на кордоне, и больным прикинулся.

---

[1] Дома в селе построены только по одной улице, по обеим ее сторонам. На одной жили поповщинцы, на другой — беспоповщинцы, и между ними шла вражда. *(Прим. автора.)*

Стали спрашивать про убийство: не знаю ничего; а старика-раскольника не я, говорит, убил — меня дома не было. Ото всего отперся, от всех отрекся. Вот так человечек! Не видывал я такого, да и не видать уж, — времена нынче не те.

Все-таки, как он ни отпирался, а приговорили его, как настоящего разбойника, ко ста ударам плетьми и в каторжную работу на веки веков. Назначили день, когда его будут наказывать на площади. Много собралось людей: был тут и Степан Еремеич с женой, и брат Тимофей, и я, и множество знакомых. Всем, значит, хотелось посмотреть на него, каков он будет и что с ним случится. Вот привезли его на дрогах, прочитали приговор; он и говорит: «знать не знаю, без вины меня наказываете». Антихристом еще попрекнул, как будто и в точь настоящий раскольник. Вот привязали его к столбу, а он и ругается: «Что шары-то пялите!.. Рады смотреть, как люди мучатся!.. Будете, окаянные, во огне гореть на том свете!..» Народ стоит да улыбается, а бабы плачут: не верится, видишь ты, им, что это Облупалов: может и он, может и понапрасну. Были тут и раскольники: те верили словам Елисейка и ворчали, что его без вины обвинили.

Вот палач положил его, а он смеется: «ничего!»

— Я те дам — ничего, — сказал палач и хлестнул его трехвосткой.

— Аля-ля! Жарко! Вот бы тебя пробрать!.. — указывает он на ту сторону, где отец его.

Палач хлещет по нем изо всей силы, полицийместер кричит: «Шибче! шибче! шибче его, каналью!..» Удар за ударом сыплется на Елисея. Он сначала ругался, крепился, а потом невтерпеж стало...

— Ох, не могу!.. Будет!.. — кричит он.

— Дери его, каналью; до смерти дери! — кричит полицийместер.

— Уйди, отец!.. Уйдите... Жена... — стонет Елисей. Жалости подобно, как все это было. Отец плакал, мать плакала, жена его тоже; мне тоже жалко было, и я заплакал; многие жалели его, и никто не шел домой...

А он кричит: «Ваше высокоблагородие! помилосердуйте!..»

— Матушки мои... Голубчики... Уйдите с глаз... Ох, тошно!.. — Отец с матерью ушли домой...

Когда кончил палач сто ударов, Елисея подняли с эшафота едва живого, положили на рогожку и увезли в больницу. Там он прожил только полсуток, ругался, и когда умирал, то, говорят, все ругал кого-то.

Так-то вот кончил с собой Елисей. Бесшабашная голова! .. Ну, да ладно, что умер, хоть не мучится больше, а то бы опять не миновать эшафота. А деньгами его, говорят, стал пользоваться раскольник один, с коим он дружен был и коему сказал, что он дорогой убежит из каторги и с ним уйдет в леса, к одному раскольнику, коего никто из полицейских не мог разыскать, а он свободно ходил по заводу... Может быть, он тогда и очувствовался бы, только вряд ли... Все бы ему несдобровать, потому, значит, уж ему на роду было написано умереть такой смертию...

Тимофей был парень прилежный к работе, смышленый, и потому скоро выучился делать все, что делал мастер и его работники. Мастер любил его больше всех еще и за то, что он не пьянствовал с товарищами и когда получал деньги, то копил их себе и не давал Степану Еремеичу. На девятнадцатом году мастер сделал его подмастерьем, помощником себе, и жалованье большое дал. Стал Тимофей сертук носить да пальто и с нашей братьею важничал. За это мы его не полюбили и прозвали обдергунчиком, потому, значит, не любили мы тех, кто пальты да сертуки носят, а как оделся эдак Тимка, как называли Тимофея Степаныча, мы из див диву дались: значит, гордый стал, заважничал, от нас отдалился; обидно было. Ну, вот он сошелся с дочерью хозяина. А хозяин хотя и любил его, все же считал его своим работником, и дочь метил за одного чиновника, и сговор сделал уж. Только дело это долго длилось, и штука вышла. Сваха чиновника заметила, что у невесты неладно, и как она раньше не доглядела, уж не знаю: на деньги, видишь ты, позарилась. Ну, узнал об этом жених, отказался, просьбу хотел написать, что его обидели. Умен, видишь ты, больно был чиновник, а еще наш, горный. Все-таки взял с мастера ни за что дику пошлину. Отец со злости прогнал Тимофея Степаныча, и дочь прогнал. Тоже умен был. В городе и заговорили про это все разно, и Офимье Ильинишне, так дочь звали, нельзя и пока-

заться было на улице, застыдят да приконфузят. Ну, у Тимофея Степаныча были деньги, и он, с грехом пополам, обвенчался-таки с Офимьей. Свадьба такая скучная была, ровно не свадьба: народу никого не было. Да оно и лучше, потому, значит, никто не видит да не судит, а то всяк лезет, и сам не знает, зачем. Глупо уж больно, да и смотреть-то нечего; дело обыкновенное. Сначала Тимофей Степаныч к отцу пошел жить. Тогда уж не было в городе Елисея. Ну, стал жить да работать столы, стулья, диваны и разные штуки вырезывал на дереве. Жил эдак года два и подкопил деньжонок. Надоело ему с отцом да матерью жить, ушел он с женой на квартиру и работника от тестя перезвал. Тем временем ему место в городе отвели, строить дом велели, мастеровым его назвали. Вот и стал строиться Тимофей Степаныч. Навозил я ему бревен за тридцать рублей, да камню он еще прихватил и в два года состроил полукаменный дом, такой, что любо. Внизу он устроил мастерскую и еще троих работников от тестя перезвал, дал им по десяти рублей и кормить стал на свой счет, а у тестя они по шести рублей жили. Вверху было комнаты четыре; там он сам стал жить. Пробойный был парень. Он всячески старался найти работу, делал на отличку, и его завалили. Кроме того, его заставляли работать что-нибудь на гранильную фабрику и монетный двор и мастером назвали. А как четырех работников ему мало было, то он еще кое от кого перехватил, самых лучших да трезвых, и пошла работа. Тимофей Степаныч зазвал и отца с матерью к себе жить, потому, значит, ему экономию хотелось соблюсти: прислуги он никакой не держал, к тому же у него и дети были. Он говорил про отца: «Пусть живет, что ему там делать? За готовый хлеб он и за водой может сходить, а мать стряпать да водиться с детьми может, не великая барыня. . .» Степан Еремеич этого не слыхал, а если бы слышал — не пошел бы к сыну. Он хоть и стар становился, хотя и был сменен его квартальный, а все еще портничал и, значит, не нуждался в сыновних хлебах. Ну, а коли сын просит за водой сходить, отчего не сходить, не уважить хоть бы жены его. Ну, и стал он поживать у сына. Занятие его было в том, что он колол дрова, топил печки, воду носил, в лес ездил да в покос, да детей сына покачает, а портничать уж не стал, — надоело, да и некогда было; к тому же

в это время портных везде много развелось, оттого, значит, наши же мастерские да работнические сыновья выучились у разных мастеров и стали работать — кто сообща, кто в одиночку, и работал кто на отличку, кто так же, как и Степан Еремеич. Вот поэтому-то, да как стали мальчики взрослыми, ему и не давали работы, потому, значит, народ щеголять стал, а Степан Еремеич по старинке шил. В свободное время, особенно после обеда до ужина, он, если не спал, любил с работниками внизу побелентрясить да похвастаться, что он на свете много видов разных видел, много хорошего сделал, лучше теперешнего жил, лучше многих жил. Словом: я-ста — не я-ста, стою рублев полтораста.

Сидит это он с трубкой на табуретке или на верстаке и говорит: «Нет уж, брат, шалишь! Вот кто молодец — так это я: что я ни начну делать, все выйдет хорошо, а у вас сноровки нет... Вы у меня учитесь...»

— Полно тебе турусы-то на колесах разводить. Ну, скажи, что ты хорошего сделал? — говорит один работник.

— Ах ты! Почну я тебя щепать вот этой доской, — сердится Степан Еремеич. Все, знаешь, хохочут.

— Не тронь его, братцы! Он на вонтараты халаты шил.

— Ах ты, сволочь! Небось получше твоего... Ишь, какой зубоскал!..

— Ну уж, шить и теперь не умеешь.

— Варнак ты, варнак, как я погляжу; в Сибири, пес, верно не бывал! — злится Степан Еремеич, а из мастерской нейдет. Его пуще злят.

— И жил-то ты как? Начальство обманывал.

— Ну, брат, шалишь. Кто начальство обманет, семи ден не проживет. Эк ты к слову что сказал! А ты скажи, как твой отец-то жил?

— Что мой отец? Мой отец жил, как и все прочие грешные.

— То-то оно и есть... Губа-то не дура, верно...

Больше всего любил он похвастаться Тимофеем Степанычем.

— А почто ты у него в работниках живешь?

— Какой я работник? Кабы я жалованье получал,

был бы работник. Сыну, брат, я не работник, а потому управляю, что скука берет без дела жить.

Степан Еремеич был человек простой и любил, как говорится, душу отвести с ребятами да побраниться, и никаких драк из-за худых слов не заводил, и не сердился ни на кого. Любил он также и кутнуть с ними в воскресенье, когда они были свободны от работы, и кутил на их счет. Ребята его любили и звали дедком. Это имя ему нравилось, а если кто называл его стариком — он ругался, и его почти каждый день дразнили стариком.

Жена у Тимофея Степаныча была красивая да здоровая баба, только над своею братиею гордилась, потому, значит, живут они хорошо, и муж — мастер. Зазналась, значит. Дома она только носки вязала да стряпала что-нибудь послаще. Отца Тимофея Степаныча она пьяницею обзывала, а мать дармоедкой. У Тимофея Степаныча в шесть лет было уже три ребенка, да двое умерли. Нечего сказать, таки плодлива наша братия, потому, значит, мы люди здоровые. Вот жена Тимофея Степаныча и стала заставлять свекровь с детьми возиться, корову доить да стряпать. Возиться с детьми старухе было под стать — сама своих троих вынянчила и теперь любила внучат, а корову доить тоже она любила, но стряпать да иное что делать уж не под силу ей было. А Тимофей Степаныч скупой был. Он так жихморился, что работников кормил худыми щами и денег им не давал, а попробуй кто прийти к нему в гости — ничего не подаст, тот так посидит, да и уйдет. Ну, для чиновников да купцов он таки покупал полштофчик и после долго ворчал, что вот сколько денег истратил. И жена такая же была, даже хлеб взаперти держала, и ключи у нее постоянно в кармане были. Вот старуха, мать Тимофея Степаныча, и поругалась с молодой бабой, целый день ворчала.

Тимофей Степаныч не любил, как отец просил у него каждый день на косушку да на шкалик.

— Тимко! Дай-ко мне на косушку.

— Да что вы, тятенька, разорить, что ли, меня хотите?

— Ну, дай. От гривенника или семигривенника не разоришься.

— Да что я, по-вашему, богач, что ли, какой?

— Ну, ты не разговаривай, а дай!

Тимофей Степаныч не всегда давал сразу, и тогда Степан Еремеич юлил около сына: «Какой ты у меня сокур ясный! Голова-то у тебя — ум! .. А выпить, значит, надо, спину разломило. . .» Тогда Тимофей Степаныч давал денег. Не нравилось, и больно не нравилось сынку то еще: придет кто-нибудь к нему в гости, — а у него много было знакомых богатых и знатных — ну, поп ли, чиновник ли, — отец уж тут как тут. Сын-хозяин в сертуке, а отец в халате и дымит махоркой. Это еще ничего, так нет, — он еще разводит турусы на колесах: что-нибудь врет, себя да сына хвалит, а если видит на столе водку, пьет без приглашения, и один всю выпьет. Значит, забралась ворона в высокие хоромы, посади козла за стол, он и лапы на стол. Потому, значит, Степан Еремеич так делал, что простой был, со всеми одинаков, всех в дому считал равными, никого не боялся, да и считал себя старше сына. А если его, пьяного, упрекнет кто-нибудь, он выругает, а пожалуй, и приколотит. Вот сыну и досадно было, и называл он Степана Еремеича невежей. Потом обзывать стал в глаза и говорил, что у него свой дом есть. А Степан Еремеич не шел от него; ему не хотелось с ребятами-работниками расстаться, да и лучше казалось жить у сына, а в своем доме скучно и опять надо портничать. Вот он и говорил сыну: «Свинья, что ли, я тебе? кто я? .. Ты мне сын, я тебя вырастил».

— Не ты вырастил, добрые люди, — говорил Тимофей Степаныч.

— Врешь! — И отец лез колотить сына.

— Уж я не позволю себя бить.

— Не дозволишь? А если я тебя в полицию свожу? .. Отлуплю если? ..

— Далеко кулику до петрова дня. — И Тимофей Степаныч уходил. Однако эти разговоры были только тогда, когда Степан Еремеич был пьян, буянил да бросал на пол все, что под руку попадало.

Не лучше Тимофей Степаныч был и с тестем. У тестя было еще две дочери, из коих одна была замужем за чиновником, а другая еще девушка. Из сыновей один был урядник, другой — мастеровым, да с ним жили еще двое. Денег у него не водилось, потому, значит, зашибать он любил и таскался с какой-то бабой, хотя и жена у него жива была. После того как ушел от него Тимофей

Степаныч да отошли от него самые лучшие работники и остались у него пьяницы, работа у него остановилась, а если работали, то не к сроку и некрасиво. Работу возвращали и заказывали другому мастеру или Облупалову. Под конец тесть и руки опустил, не стал смотреть за рабочими, которые пьянствовали да вперед деньги просили и работали на себя, потом и ушли от него. Тесть обеднел, и дом у него описали за долги. Пошел он к зятю; тот и говорит: у меня свое семейство; дал ему двадцать пять рублей, а в дом не принял. Вот тестюшко и пошел сам в работники к другому мастеру да стал ругать зятя. . .

Это еще цветочки, а ягодки впереди!

Однажды летом, в какой-то праздник, Тимофей Степаныч ушел с женой да с двумя старшими детьми к одному знакомому на именины. Дома остались Степан Еремеич и его жена. Старушка поводилась с детьми, заказала Степану Еремеичу не уходить из комнат, а сама ушла в свой дом посмотреть да пополоть траву в огороде, посмотреть, как капуста растет на просторе. И с собой шанежку взяла, для того, значит, чтобы поесть там. Ну вот, остался Степан Еремеич один в комнатах. Подойдет к кровати, пощупает перину. «Ишь как баско да мягко! Я никогда так не спал. Лечь разе», — говорит. Подойдет, в другой комнате, на стену поглядит: «Эко у него одежи-то сколько! Баско! А мне небось не уделит. . .» Подошел к столу, отворил столешницу — две гривны лежат. «Взять разве? . . Ну их к богу! Лучше попрошу ужо». Ну, походил-походил таким манером с полчаса, скучно стало, песню какую-то затянул, не поется. «Выпить бы, задрал бы не хуже екатерининского дьячка! . .» Лег на кровать — мягко. . . «Ишшю изомнешь. . . Скажут, не на свое место залез. . .» Сошел с кровати, закурил трубку да посмотрел на портрет какой-то; скучно все было. «Дай схожу ненадолго вниз. Что-то ребята делают? Да кого-нибудь сюда притащу в шашки поиграть». Ушел вниз, а там кутят ребята. Один работник именины справляет. Ну, и подал ему работник стакан, потом другой. . . Степан Еремеич захмелел, заплясал и про верх забыл. Выпил еще стакан и уснул на верстаке. . .

Пришли домой Тимофей Степаныч и жена с детьми: в комнатах ни души нет, дети плачут, а около сундука половики сбиты. Поругалась жена Тимофея Степаныча, что

и чуть не хочут посидеть дома, и стала отпирать замок сундука. Платье, вишь ты, ей нужно было положить да платок шелковый. Вертит это ключом в замке, вертится ключ во все стороны... «Что за оказия?» — думает жена Тимофея Степаныча. Взялась за крышку — крышка отворилась; в ящике все перерыто. Хватилась она в один угол — нет двухсот рублей. Позвала Тимофея Степаныча, который было спать лег. Тот удивился, озлился, и оба порешили: непременно отец либо мать взяли. Недаром их и нет...

Пошел Тимофей Степаныч в мастерскую, там спит Степан Еремеич, храпит на всю ивановскую, и двое рабочих тоже спят, значит, пьяные. Прочие работники в карты играют. Спрашивает он их: отчего отец пьян? Его, говорят, именинник угостил. Именинник был трезвый парень, то же сказал и осмеял еще старика. Спросил он про свою мать — сказали, домой за чем-то ушла.

— Ничего она не несла?

— Узелок маленький, — сказали они.

Вот Тимофей Степаныч и подумал на мать да на отца. «Они это состряпали. Сговорились обокрасть меня», — и сейчас пошел в полицию, а работникам ничего не сказал. Из полиции живо отправились, кроме Тимофея Степаныча, казаки и квартальный в дом Степана Еремеича, перерыли там все, переломали чашки кое-какие и ни одной копейки не нашли. Вошли в огород. Старушка сидит себе между грядами, мурлычет какие-то божественные песни и вытеребливает траву около моркови. Перед ней на плате недоеденный ломоток сдобной шаньги лежит.

— Вот она, проклятая! — сказал один казак.

— Вишь, она деньги зарывает, — сказал другой.

Старушка, как услыхала это, испугалась, встала, рот разинула, стоит как чучело, что в огородах стоят.

— Рой огород! — кричит квартальный.

Толкнули старуху в сторону, руки ей скрутили и стали копать гряды. Плачет старуха, ругается, что ее родное тормошат...

А у наших баб, скажу я тебе, хороший человек, огород — любезная штука, все равно что сад у барынь. Каждая баба не может жить без огорода: так уж она с детства привыкла. Она и гряды сама скопает, и уладит их, и семян насадит, и чучелу сделает, чтобы птицы-

озорники не поклевали ее родное. Она смотрит да любуется, как капуста да морковь или кое-что хорошо растут; каждый день два раза поливает гряды да траву, которая мешает расти овощам, выдергивает, будь хоть тут вечером мошки и комары, которых у нас много. Сколько ссор бывает из-за огородов, если чья чужая коза попадет в него. Она сама с детьми уберет овощи и не налюбуется, когда свою капусту рубит; своя картофель во щах и в жарком и своя редька... А тут вдруг, ни с того ни с сего, гряды копают среди лета. Вот те раз!.. Воет старуха, понять не может, что бы это такое значило, ругается: «я самому... самому главному пожалуюсь... анафемские вы, такие-сякие...»

— Куда ты деньги дела? — спрашивает ее квартальный.

Старуха ничего не понимает.

— Тебя спрашивают?

— Погоди, разбойники! Подам я те деньги... Сейчас пойду к главному. — Много соседей собралось.

— Тебя спрашивают: куда ты деньги дела?

Квартальный так ее ударил, что она упала.

Соседи вступились за нее. Квартальный видит, что, пожалуй, его еще и прибьют, отправил ее в часть. Стали спрашивать старуху; она едва поняла, в чем дело-то; ругать стала сына; ее в острог спровадили. Спрашивали и Степана Еремеича; тот только ахнул да сына обругал, и его в часть посадили. Так они и сидели с две недели. Все их жалели да дивились на Тимофея Степаныча.

А вор-то настоящий был подмастерье Тимофея Степаныча. Он уже две недели пьянствовал и ходил на работу редко. Вот за ним и стали примечать работники да выспрашивать целовальника. Ну, и узнали, что он вот уж вторую неделю с деньгами ходит. Работники сказали Тимофею Степанычу, тот донес на него полиции, полиция нашла при нем двадцать рублей. Стали спрашивать: где деньги взял — запираться стал: нашел, говорит. А как стали драть, и рассказал, что когда Степан Еремеич пьянствовал в столярной, он вошел в комнаты, разломал замок и взял деньги...

Ну, старушку и Степана Еремеича выпустили, только старуха сумасшедшею вышла из острога, а Степан Еремеич полоумным стал. Старушка каждый день ходила к

главному начальнику с жалобой, что ее обидели, огород испортили, да надоела она всем, в богадельню и отправили ее. Степан Еремеич лучше сделал. Он рассказал главному начальнику на Тимофея Степаныча все как было и просил только, чтобы он приказал отодрать его, мошенника, да пуще... Ну, главный начальник и велел отодрать на гауптвахте Тимофея Степаныча за то, что он, не разобрав дела, обвинил отца и мать... Славно постегали Тимофея Степаныча. Жарко было... А он толстеть только что начинал...

Степан Еремеич не пошел уже к Тимофею, хотя тот и звал его к себе, а бился у соседей, потому, значит, дома одному скучно было... Старушка недолго прожила с тех пор, как ее из острога выпустили. Она через месяц убежала из богадельни в свой дом, и оттуда ее никто не мог увести. Она то и дело ходила в огород да садилась между гряд и вставала, потом говорила: «Разорить меня хочете... Я самому... самому главному скажу!..» К соседям она не ходила и питалась тем, что ей носили сами соседи хлеб и молоко. Она <иногда> не брала и говорила: «Не хочу я. Это сын потчует... Не хочу! — и она бросала на пол хлеб: — не хочу — будь он трижды, анафема, проклят».

Ах, не видал ты этих людей, не живал с ними?.. Жалости достойно... Четыре месяца мучилась так старушка. Ходил к ней и Степан Еремеич — и ходил только, когда бывал выпивши. Придет он в дом, сядет на лавку; она что-нибудь делает: или картофель перебирает, или редьку считает; смотрит так на нее жалобно и скажет: «Матрена, каков сын-то?» — а она и говорит:

— Ну, вяжи меня. Сади в острог.

— Матушка Матрена, — скажет, бывало, Степан Еремеич.

— Вяжи! Эк испугались... Хорош муженек...

Зимой ее в погребу потолком задавило.

Плохо жил Степан Еремеич; жалели его все соседи и ругали Тимофея Степаныча. А тому что: живет себе попрежнему, как ни в чем не бывало, и говорит: «Я не виноват: отец — невежа, необразован».

Так вот он каков был, Тимофей Степаныч, второй сын Облупалова... Нечего сказать, хороший человек, хорошее облупало!..

Бог знает, что было бы со Степаном Еремеичем без жены; может статься, худое бы он что-нибудь сделал, да, спасибо, его меньшой сын Максим призрел.

Максим стал учиться в окружном училище и к отцу ходил сначала только раз в месяц, а потом отпускали его каждое воскресенье. Когда он бывал у отца и когда я видел его, он говорил, что учат там больно строго, дерут уж больно некстати, чуть не каждый день, оставляют без обеда часто да на колени ставят; начальства там много: каждый учитель, каждый надзиратель да дядьки — начальники, и ученики есть начальники, кои старшими называются. Не хотелось Максиму учиться, а отцу хотелось, чтобы он человеком вышел, урядником был, квартальным поступил. Степан Еремеич говорил тогда Максиму: «Терпи, казак, — атаман будешь. Теперь тебя дерут, потом ты сам будешь драть воров да плутов».

Окна в училище были на сажень от земли, и убежать ученикам было нельзя. Строго смотрели за ними и водили их, когда они ходили куда-нибудь, с солдатами, кои дядьками назывались. Да и водили-то их только в церкви. Училище это помещается во дворе, где горное правление, главная контора, где живет горный начальник, а против него монетный двор. Через год Максима певчим сделали, и пел он со своими же товарищами да учениками уральского училища, — были тут и урядники, — в Екатерининском соборе. А форма одежды учеников была все равно что у кантонистов: такие же курточки, такие же шинели и фуражки. За пение Максим деньги получал, только не всегда, потому он мал тогда был. У нас, братец ты мой, даже и певчие и музыканты свои, казенные, были. Певчие в Екатерининском соборе жалованье получали, а в прочих церквах певчим купцы помесячно платили; ну, да и доходы были, потому, значит, церквей немного, а народу много, город большой, и приглашали хороших певчих на похороны да на свадьбы. Только, надобно правду сказать, прежде, когда Максим пел, певчие в Екатерининском соборе хорошо пели, а теперь поют скверно — уши дерут, потому голосов нет, и силой петь уж не заставляют ребят. Только у нас самые лучшие певчие в Вознесенской церкви, где мой сынишко певчим, да еще архиерейские; да

и там, если бы не дьякон один, так хоть распускай. Вот пермские архирейские, кои приезжают сюда с архиреем своим раз в два года, вот уж певчие, единственные во всей губернии: наши стараются у них перенять, да не могут. Ну, да там губернский. Еще бы!

Максим в училище не очень хорошо учился, потому, значит, любил петь. Хотели его исключить за леность, да регент упросил. А когда он кончил курс в училище, через шесть лет, его хотели было на службу в главную контору взять да переписывать приучать, только квартальный упросил начальство перевести Максима в уральское училище; потому это хотелось квартальному, что оттуда урядниками выходят, и ему хотелось определить крестника квартальным. У квартального только один сын был, да дурачок такой: нигде не служил, ничего не делал, только пьянствовал да таскался, а числился тоже при полиции. Ну, вот квартальный и хвастался людям, что он — большой человек, благодетель хочет сделать бедным людям.

Поступил наш Максим в уральское училище опять на казенный счет, опять стал учиться горным предметам, маршировать да петь с певчими. Здесь житье было повольнее, в город отпускали каждый день. Ходил он к матери да отцу, говорил, что теперь лучше стало, кормил их пряниками да орехами и водки покупал отцу. Отец не сердился, что Максим водку потягивает, потому, значит, он считал его уж за человека и даже побаивался. Людей со светлыми пуговицами он считал за начальников. Хотя и считал он каждого себе равным, так это только у Тимофея в доме, а попадись навстречу со светлыми пуговицами — он и сморщится и шапку долой. Тимофея Максим не любил за то, что он гордым был и ему не давал денег, когда он просил, а Тимофей называл Максима пьяницей. Ну, как певчих часто звали на похороны да на свадьбы и поили их там водкой, Максим и приучился потягивать, сначала рюмочку, а там и три, и пошли катать, а денежки на рынке проедал, потому, значит, кормили их скверно. Максим был бойкой парень, буян, не боялся дядек да надзирателей и пьяный за́все заводил драки. За грубость его сильно драли. Часто дядьки ловили его с водкой, коей он угощал товарищей, и представляли его инспектору, а тот драл. Вот Максим и не залюбил инспектора. «Раз,—

говорил он мне: — приходит в класс инспектор, а я что-то чертил и не заметил его; ну, и сижу, черчу, а прочие встали. Ну, инспектор подумал, что я нарочно это сделал, вытащил из-за парты за ухо, поставил в классе на колени и обедать не велел. Вот я встал на колени, рассердился, что напрасно стою, и думаю: удеру я над тобой штуку такую, что будет тошно. И стал думать: что бы такое сделать? и надумался. Инспектор стоял спиной ко мне, ученика спрашивал, и учитель тоже спиной стоял. Вот я достал из кармана бумагу, разжевал ее во рту, сделал пулькой — и бац в инспектора... Пулька так и впилась в коротенькие волоса головы инспекторской. Ученики захохотали, а инспектор озлился как лев, кричит: «кто бросил? всех передеру! выгоню!» Ребята были славные, друг дружку не выдавали; дерка была нипочем, можно в больницу уйти; только теперь струсили: а если выгонят? Ну, и не сказали-таки. Притащили сторожа розог, и принялся он драть, да с меня и начал. Как стал драть, я и сказал, что я бросил, и не то еще сделаю, на колени, потому, напрасно не ставь. Ну, уж и драл же он меня так, что я ничего уж не помнил под конец, а только в больнице очувствовался». После этого Максим больно был зол на инспектора и учиться не стал. Делал разные штуки над учителями да дядьками, ругался, его драли и, наконец, вытурили из училища. «Вот как это было, — рассказывал Максим Степанович: — пришли мы с похорон, хмельны были изрядно, да с собой еще принесли штоф водки, какой утянули со стола, потому, значит, обедали особо от прочих. Ну, зашли в училище всей компанией, кроме маленьких, и урядники пришли с нами, и стали пить водку. Урядники попили немного, да скоро и ушли, а мы и давай одни пить, да петь, да плясать; еще послали за водкой одного музыканта, и музыканты закутили... Дядьки стали нас ругать да унимать, мы драку с ними затеяли. Один дядька пошел за инспектором. Пришел инспектор и давай драть нас. Я не дался. Пришли сторожа, скрутили меня, и пошли свистеть розги, а как это ударят, я и ругаю инспектора... Тот видит, ничего со мной не сделаешь, велел оставить меня драть и говорит: завтра же тебя выгоню. Я и говорю: больно нуждаются вашим братом — и обозвал его. Меня тотчас же и выгнали. Пошел я к отцу, а на другой день меня потребовали в училище и сказали, что я уж исклю-

чен. Ну их! Петь стану». Бился так Максим Степанович недели две, хотели его куда-то на заводы послать, да отец упросил горного начальника, и приняли его писарем в главную контору. Вот и стал он служить в главной конторе и певчим все-таки был. Только и на службе он ленив был, мало писал. Все ему хотелось делать по охоте: захочет писать — давай, напишет; не захочет — хоть проси-распросись, — возьмет шапку и уйдет. «Стану я вам за четыре рубля писать! Эк вы выдумали!» — говорил он тогда. Впрочем, он не грубил здесь с начальством. Сначала он у отца жил, а потом, как перешел к нему Тимофей с женой, пошли у них ссоры между собой из-за жены Тимофея, — вишь ты, Тимофей ревновать стал жену, — ну, Максим и ушел на квартиру. В главной конторе он служил с год, а потом его определили в горное правление и там через три года урядником сделали.

Урядник для нашего брата, маленьких людей, важный чин, и получить его трудно. Рабочему да мастеровому о нем и думать не велено. Этот чин дают только тем, кои бумагу марают да перья портят. И те получают с трудом. Если кто выучится в школе заводской, тому, если он поступит в контору, дают чин писца. Это самый первый чин, равный рабочему, и писец уравнен с рабочим. По особым заслугам да за деньги давалось писцу, годов через пять или десять, звание писаря. Чин этот равен нижним горным чинам, о чем я уж говорил раньше, а если кто выходил из окружного училища, тому давалось прямо звание писаря. Вот у нас, в заводах, и были всё писцы да писаря, а если кто имел деньги да начальству нравился, того представляли в урядники. Из уральского училища прямо выходили урядники. Урядник уж был третий чин и носил галуны. Он был все равно что унтер-шихтмейстер, какие прежде давались вместо урядника, или все едино что унтер-офицер. Урядники еще назывались по статьям: первой, второй и третьей. Сначала производили в третью статью, потом во вторую, потом в первую. Только это были прикрасы, а урядник все-таки был урядником, разве только жалованья больше получает. Урядник потому был важен для писарской братии, что со времени производства в урядники считалось время для производства в офицерский чин. Офицерский чин давался уряднику через двадцать лет, а если занимал классную должность три

года, то через двенадцать лет. Ну, дети офицеров да дворян по особому уставу чины получали: те, значит, не нашего поля ягоды. Вот у нас, в главной конторе и горном правлении, есть писаря и старики; уж так фортуна не везет. Тоже вот и в горное правление трудно попасть из заводов, потому, значит, каждый любит жить в своем родном месте, где у него дом да покос и все знакомые или товарищи. Попадали туда только молодые да богатые. Без денег туда не переводили из заводов. Таким-то порядком и служили там, в горном правлении, или из городских, или из заводских детей, — люди всё ученые, ребята молодые да славные; так тут и умирали урядниками, и если должности не получали и чиновниками делались, в заводы уезжали на хорошие должности и над нижними чинами командовали.

С полгода, бывши урядником, Максим Степанович хорошо служил: водки пил мало и писал в правлении прилежно. А потому это так — жениться он задумал. Понравилась ему одна девушка на бульваре. Ну, он сначала подладился к ней, потом и пошли у них дела и тянулись с полгода. Она была дочь купца, и за нее сватался столоначальник горноправленский, человек так лет сорока, — потому сватался, что ему хотелось получить денег тысяч десять да дом каменный. А Максим Степанович говорил, что ему денег не надо: сопьюсь, говорил, либо задавлюсь. Ну, послал он свою сватью — той отказали; он столоначальнику сказал, тот его обозвал как-то, — и все-таки женился на его любезной и удрал с ней куда-то исправником — за деньги определили. Ну, и сбился с панталыку Максим Степанович: стал водку пить да буянить, драки заводил в кабаках; когда певал в церкви, кричал во всю ивановскую, — а у него басина был здоровый, протодьякону не уступал. На службу ходил редко; его дежурить не в зачет заставляли, он все-таки уходил; пакости разные делал со столоначальником; в шести столах перебывал, в долгу постоянно был, с квартир гнали. Нечего сказать, хорошая забулдыга сделался, а к брату не шел, подлецом его называл, а если есть деньги — зайдет к отцу, и утащит его к себе на квартиру, и напоит до отвала, а нет — на службу идет заниматься и денег в долг просит. А еще молод был. Мне жалко его было, потому, значит, он все же выше нашего брата был, а опустился вон как. Наша бра-

тия, мастеровые да работники, любят выпить: что называется, до положения риз напьются и руками при этом почешут для собственного удовольствия, а до того, как Максим Степаныч, не доходили, не безобразничали. Всё же думаем: у нас семейство; не будешь работать, так уморишь детей; а служащая братия совсем иначе: есть деньги — пропьет, нет — в долг берет, а не дают, голодом сидят; да добро бы жалованье хорошее было, а то каких-нибудь шесть рублей — и все тут; наш брат больше получит. Наш брат начальства боится, а у них начальство снисходительное, не дерет. Вот и пьянствуют да не пишут или не делают дела. Впрочем, не все были там такие, как Максим Степаныч; там много было трезвых да трудолюбивых, смирных таких; а он всех превосходил. Это бы еще туды-сюды, так он еще свое начальство ругал. «Вот, говорит, этот плут, а этот дела не знает, такого-то давно бы в отставку надо выгнать. . .» Задирчивый был человек. . . Хорошо, что начальство не слышало, а то угнало бы его туда, куда Макар телят не гонял.

В то время был у нас главный начальник больно строгий человек. Он никаких непорядков не терпел; всех служащих в струнке держал, требовал, чтобы все служащие в форме ходили, чтобы, когда он идет или едет да кто мимо его идет или навстречу попадется, шапку ему снимал да кланялся, чтобы в горном правлении его на крыльце встречали советники, секретари да экзекутор. Ну, и боялись его все, в заводах трепетали, и что ни скажет он, свято. А уж седой был, только ходил скоро и говорил скоро да громко, как кричал, и лицо у него строгое было. Все-таки он и добр был иногда и в нужды людей входил, если расположение на то было. С горными начальниками да управителями он делал что хотел, а на маленьких людей и внимания не обращал, а в нужды входил так, как вздумается, да когда расположение будет. Однажды был в горном правлении. Выругал там советников и пошел по отделениям. Ну, идет и кричит, урядникам любо. Только увидал он у Максима Степаныча волосы долгие на голове.

— Это что? — вскричал на Максима Степаныча главный начальник.

— Волосы, — говорит Максим Степаныч.

А он уж выпивши был.

— Что?
— Волосы, ваше превосходительство.
— Посадить его на гауптвахту! — сказал главный начальник. Ну, и посадили Максима Степаныча на гауптвахту и проморили его там трое суток. Максим Степаныч был такой же человек, как и наша братья: видим, что нас ни за что обидели, если свой брат — отколотим, а начальство выругаем, а потом хоть и отдерут, все же нам любо, что мы его выругали; ну, и он был мстительный. Однажды его секретарь за что-то обидел. Вот он пришел утром рано, забрался в его комнату и облил чернилами какой-то журнал, листах на двадцати, и ушел петь с певчими на похоронах. А журнал нужный был, нужно было его в этот день к главному начальнику нести. Ну, главный начальник и посадил секретаря на гауптвахту... Так и теперь: вздумал Максим Степаныч удрать какую-нибудь штуку,— и то над кем же? Над самим главным начальником! Иной из нашего брата и подумать об этом не посмел бы. И сделал-таки штуку. Шел он однажды с похорон пьяный до того, что едва стоял, и ухает песни, а самого пошатывает направо и налево. Только он поровнялся с главным правлением, и едет к нему навстречу главный начальник. Он идет да ухает. Главный начальник видит — человек в горнозаводской форме, осердился, что у служащих такие беспорядки да безобразия, и велел кучеру остановить лошадей.
— Кто ты такой? — кричит он Максиму Степанычу.
Тот остановился и кричит: «Проваливай!» Главный начальник не понял и спрашивает снова: «Кто ты такой?»
— Немазаный, сухой... — И пошел Максим Степаныч своей дорогой.
Главный начальник вошел в бешенство, вылез из тарантаса и догнал его.
— Я тебя спрашиваю, кто ты такой?
— Петр Петров Пастухов.
— Отчего ты пьян?
— Пьян и еще выпью, — говорит Максим Степаныч и побрякивает деньгами: — пойдем в кабак.
— Что? Как ты смеешь говорить мне это? — и главный начальник ударил его по лицу.
— Ты не дерись, сам сдачи дам. Эка птица! .. — Главный начальник видит, что с пьяницей ничего не сделает,

махнул рукой солдатам, кои у гауптвахты были, и как те подошли, он сказал им взять его и держать до тех пор, пока я не распоряжусь с ним! «Я тебе задам!» — сказал он Максиму Степанычу... Увели солдаты Максима Степаныча на гауптвахту: ну, да ему не привыкать стать сидеть; он говорил солдатам: «Что, каков! Сделал-таки штуку... А здесь квартира готовая...»

На другой день получилось от главного начальника в горном правлении приказание: сослать Облупалова урочно-рабочим на богословские заводы. Богословские заводы — казенные, и край там самый бедный, потому холодно и хлеб дорог; туда ссылали людей за преступления да за разные разности. Ну, и сослали туда Максима Степаныча.

Вот оно что значит с сильными бороться: как муху придавили.

Всякому известно, каково из урядников вдруг сделаться урочно-рабочим. Уж коли урядника трудно получить писцу, хорошему человеку, а из урочного работника и не думай быть урядником. Не знаю, что бы сделал над собой Максим Степаныч, да только у него в заводе много было из уставщиков да других чинов товарищей по уральскому училищу, да в главной конторе, при горном начальнике, служили его товарищи по горному правлению,—знали его; ну, они-то и поддержали его. Горный начальник любил музыкантов да певчих и велел ему быть певчим, а на работы не велел ходить, а в свободное время писать в конторе велел. Теперь Максим Степаныч понял, что бороться с начальством нельзя, и стал слушаться начальников; стал опять певчим и ходил в контору ради того, чтобы скуку провести, а пьянствовал уж редко и то — кто к себе его позовет. Так он и бился два года.

Приехал туда, в завод, тот же главный начальник. Был он в церкви у обедни, и понравились ему певчие. Только стоит он в церкви и посматривает на клирос, а там Максим Степаныч в то время регентом был. Кончилась обедня, главный начальник и говорит на обеде горному:

— Хорошо поют певчие, хорошо. Дать им двадцать пять рублей. Кто регент?

— Рабочий Облупалов, — говорил горный начальник.

— Позвать его!

Пришел Облупалов.

— А, это ты?
— Виноват, ваше превосходительство!
— Как он живет? — спросил главный начальник горного.
— Отлично, — говорит горный начальник.
— Пьет водку?
— Нет.
— Ну, Облупалов, я тебя прощаю. Смотри, не попадайся мне вперед таким на глаза. Не то сделаю. — Потом и говорит горному начальнику: — возвратить ему урядника, а из завода не выпускать!

Воротили Максиму Степанычу урядника и определили в контору, потом столоначальником сделали. Хорошее ему было житье в заводе, все любили его, а если любил он выпить, так пил уж не попрежнему. Тут, в заводе, он женился, взял мастерскую дочь; хотя у отца ее и не было денег, да она молодая, красивая была и больно ему по сердцу пришлась. С женой он там жил годов пять и двоих детей — сына и дочь — прижил, а когда уволили его из горного ведомства, он и уехал с женой да детьми в наш город, и остановился в отцовском доме, и отца призрел, а жене велел уважать отца и ничем не попрекать. В гражданскую службу он не пошел, а записался в мещане и занимается теперь у одного купца-золотопромышленника бухгалтером в конторе, и жалованья получает тридцать пять рублей в месяц, и живет лучше иного чиновника. Дом он поправил и сделал в нем три горницы и кухню, а в огороде сад хочет развести. . .

Тимофей, как уволили его, тоже в мещане записался и попрежнему занимается мастерством; толстый стал, только уж он теперь много вина пьет, все ром, да в карты начал поигрывать и проигрывает деньги. Жена его толстая стала, а как это наденет кринолин — ужасть какая широкая! Не любят наши мастеровые кринолины, а жены то и дело порываются хоть обруч с бочки да напялить. . . Срам! Ну, Тимофей да жена теперь еще гордее стали, потому у них знакомых много.

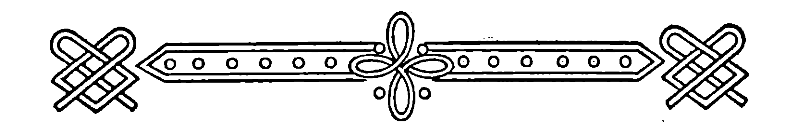
Вот Максим Степаныч — так душа-человек. Любезный, обходительный, со всяким поговорит хорошо, и совет даст, и денег даст. Со мной он больно хорош: всё мне книги разные дает. И жена его, Парасковья Яковлевна, такая же. Все наши бабы ее любят да завидуют ей. А кри-

нолины она не носит и ходит попросту. И дети у них, не в пример нашим, такие разумные да толковые: и книжечки читать умеют, и стихи наизусть знают, и много на улице не балуют. Максим Степаныч сам их обучает да ласкает, а чтобы ударил когда — ни за что! «Я, говорит, хочу их воспитать как должно, а потом сына отдам в гимназию, а дочь — в женское училище».

Таковы-то были три братья Облупаловы.

По-моему, Максим из всех их лучше, потому, значит, он всех больше перетерпел, и не загубил себя, и другим вреда не сделал, а хорошее дело сделал: отца призрел. Любо посмотреть на старика: делает он по своей охоте, ест что хочет, все его любят, дети Максима его забавляют, и он их тешит. Любит он и выпить, и как выпьет, целует Максима: золото ты у меня! бог тебя наградит, голубчика... Потом жену его целует и говорит: красавица ты моя писаная! Всех ты баб наших лучше. Не серди моего Максюточку, будь к нему ласковее! Потом детей их ласкает: внучаточки! куплю я вам перчаточки! постреляточки, куколки мои...





ВНУЧКИН

РАССКАЗ

I

У одного небогатого крестьянина Покровского села родился сын. Этому сыну не довелось видеть своей матери, потому что она умерла через сутки по разрешении. Отец этого ребенка, Сидор Еремеич, запил и, допившись до белой горячки, повесился. У него был брат — Кузьма Еремеич, волостной писарь, который, из сострадания, и взял к себе на воспитание сына Сидора Еремеича, которого и назвали во святом крещении Васильем.

Никто так не жил в селе достаточно, как люди, заправлявшие делами волости, особливо волостной старшина и писарь Внучкин. Это был такой человек, который со всеми ладил: нужно ли что крестьянам — он сделает, но зато получит от них малую толику; нужно ли что старшине или голове — он сделает, что может; станет ли становой придираться к сельскому начальству, он и тут выручит их; приедет ли окружный начальник, — и тот, благодаря Внучкину, уедет с миром. Великий был человек Внучкин — и у этого-то человека воспитывался Василий Сидорыч заместо сына, потому что дети Степаниды Левоновны умирали, к крайнему ее огорчению. О нежном обращении с ребенком говорить нечего; о том, чтобы он был всегда сыт, тоже нельзя похвастаться, — и как бы он ни воспитывался — нам нет дела, только Василий Сидорович остался цел и жив до сих пор.

Вася был мальчик не глупый: он все понимал, что делается вокруг, и скоро научился разным плутням. Так, еще не зная грамоты, он один раз долго следил за дядей, сводившим в книге отчеты и считавшим деньги. Об этих отчетах он слышал разговор дяди с старостой, слышал, как дядя взял с Петра Окулова пятьдесят рублей за то, чтобы Окулов не попал в рекруты. Эту книгу Вася бросил в печь — и как смеялся потом над тем, что дядя долго злился на всех, шептался с головой и т. п. Больно неприятно было мальчику слышать от крестьян слова: «Вот этот Васька в дядю пойдет. Уж такого подлеца, как наш писарь, нигде не найдешь: куда ни сунься, все этот Кузька напрокудил. А как его сменишь, коли начальство его определило».

Скоро Вася выучился грамоте, и после этой выучки жизнь его изменилась: дядя заставлял его заниматься в волостном правлении, чтобы он привыкал к делу, и Василий в течение двух-трех лет так понаторел к делу и так набил руку, что во многом не уступал своему дяде.

II

Так продолжалось четыре года. К концу четвертого года Кузьма Еремеич обленился, стал пить водку, запускал дела, и волостное правление решило заменить Кузьму Васильем, с тем чтобы Кузьма показывал Василью. Но Василья нечего было учить, он все дела знал хорошо и обделывал нисколько не хуже дяди.

Сначала крестьяне с надеждой смотрели на нового писаря, потому что он раньше ругал голову и своего дядю; говорил, что если его сделают писарем, то он все дела крестьянские приведет в порядок и за честность крестьяне ему будут много благодарны. Но крестьяне ошиблись. Несмотря на то, что он ходил к крестьянам в гости, терся в кабаке, шутил с ними и ругал начальство дураками, крестьяне назвали его плутом. Он ни на кого не кричал, говорил с усмешками; ему не давали денег — он говорил: нельзя, он этого сделать не может. А поди, жалуйся на него, когда голова не разговаривает с мужиками и гонит их прочь. Но все-таки он нравился крестьянам, которые и сами не знали, почему он нравится им. А дело было

просто. Если крестьяне просили подождать недоимки, он брал с них подарки и обделывал дела так, что этот год недоимки не просили, а на будущий — недоимок числилось за крестьянами вдвое больше, чем следовало. Если крестьяне просили билет на жительство в разных городах, он даром не давал; то же самое и со взносом податей. Но зато за рекрутчину ему много пришлось получить проклятий. Кроме этого, он так сумел поставить себя, что ему не только в волостном правлении был почет, но и в рекрутском присутствии, и в казначействе, и в палате имуществ, где он от имени волостного правления задобривал кого следует, не гнушались сельским писарем Внучкиным.

Деятельность молодого Внучкина была обширная, но кроме этого он заключал условия с караванными приказчиками на наймы людей в судорабочие. От них он выведывал все дела по судоходству, от крестьян — плутни приказчиков — и заключал выгодные для себя условия с приказчиками, получивши за каждого крестьянина по рублю денег.

Мало-помалу Внучкин сделался важным человеком волости. Крестьяне поняли, каков он, и ни один из них никого так не боялся, как Внучкина, потому что Внучкин все дела обделывал. Если крестьянин жаловался губернатору на волостное правление, от волостного правления, через разные присутственные места, требовали донесения, а донесения сочинял Внучкин. И не только крестьяне боялись его, но не смели с ним ссориться даже старшина, старосты и тому подобные лица, потому что Внучкин так их запутал по одному рекрутскому делу, что они не смели и пикнуть. С ним даже ничего не мог сделать окружный начальник, гроза волости. Этот начальник всегда получал исправно подарки, а получивши по какому-нибудь делу крупный подарок, он держал сторону волостного правления. И как он ни старался подкопаться под писаря, ничего не мог с ним сделать. Внучкин всегда был трезв, всегда встречал и провожал начальника с почетом; канцелярская формальность всегда была соблюдена как следует.

Приезжает окружный в село, его встречает Внучкин без шапки.

— А! погоди же ты, подлец, упеку я тебя в Сибирь. В правление!

«Ладно,— думает Внучкин: — кто кого упекет». И идет в правление.

— Жеребьеный список! — кричит окружный.

Внучкин подает ему тетрадь. Окружный перелистывает.

— Почему не Фома Панютин попал?

— Не могу знать: так жеребий вышел.

— Я тебе покажу жеребий, свинья. Не Илья Степанов попал, а Фома Панютин.

— На другой странице объяснение есть...

— Я тебе покажу объяснение... — Перевертывает окружный лист, там лежит кредитный билет.

— Свинья! — скажет окружный и улыбнется.

— А как ты думаешь, Внучкин: можно пощупать старшину?

— Можно-с.

— Ну-ко, как?

— По постройке плотин-с.

Или вдруг получает Внучкин бумагу, которая требует объяснения по чему-нибудь. Идет Внучкин к старшине, говорит: так и так, лесничий донес, что крестьяне много лесу рубят, а ты сколько дерев-то сплавил? Поди, не одну сотню зашиб.

— Да ведь сам лесничий рубит тоже.

— А вот теперь крестьяне на тебя жалуются, и потянут нас с тобой.

Даст старшина сто рублей писарю и пошлет его к окружному да лесничему, те и возьмут деньги, да еще чаем напоят Внучкина.

Даже сам управляющий палаты имуществ отзывался, что лучше Петровской волости во всей губернии ни одной нет, и выхлопотал Внучкину медаль за усердие.

И до сих бы пор Внучкин царствовал в селе, да черт сунул в село ревизора из Питера. Ревизор, как ревизор, был человек строгий, казался соблюдающим интересы крестьян. Еще до приезда его в село было известно, что управляющий палаты подал в отставку, а окружный предан суду. По ревизии ревизор ничего не нашел худого в волости, да крестьяне попросили ревизора сменить начальство.

— Почему сменить? у них все исправно, — сказал ревизор.

— Они, ваше превосходительство, всегда всем недовольны, — сказал Внучкин.

Все бы ладно, да черт подсунул Внучкина предложить ревизору пакет.

— Это что? — закричал ревизор.

— Благодарность от крестьян.

— А! — сказал ревизор, пакета не взял и уехал, а через месяц из палаты имуществ получилась бумага: назначить из волости нового писаря.

Однако нового писаря не избрали. Внучкин подписывался: *Власов* — и справлял свое дело до тех пор, пока не донес на Внучкина становой. Затребовали из волости объяснение, потом потребовали в палату Внучкина. Внучкин объяснил, что он уже год как не состоит на должности, и подал рапорт Петровского сельского общества об избрании его сельским заседателем.

Дело, конечно, не обошлось без денег, и Внучкина выбрали сельским заседателем, но в этом звании он пробыл только месяц. Позвали его в земский суд, он вошел в присутствие.

— Что тебе надо?

— Я — сельский заседатель. Меня звали.

— Можешь в прихожей сидеть.

— По закону я должен в присутствии быть.

— Ах ты, негодяй! Он еще говорит! Пошел вон и жди, когда дадут тебе подписать бумагу.

— А не пойду.

И Внучкина скоро уволили с тем, чтобы впредь ни на какие должности не определять.

Думал-думал Внучкин: чем бы ему заняться? На должности не определяют; торговлей заняться — невыгодно, да и как-то стыдно после такой должности торговать: «еще будут говорить, что я на воровские деньги торгую». А капиталу у него накоплено немного.

В марте месяце приехал к нему приказчик из какого-то завода за наймом бурлаков. Разговорились о том, что ныне трудно жить честно; каждый рассказывал разные проделки начальства.

— Ну, я бы на твоем месте не усидел. Поехал бы я в Нагорск, там ныне пароходы строятся, — говорил приказчик.

— В самом деле! — И Внучкин, оставив жену и двух детей, поехал в Нагорск.

III

В Нагорске Внучкин прожил два месяца. Много ему в это время пришлось обтоптать полов в прихожих пароходовладельцев, управляющих и разных конторщиков, где на него даже и глядеть не хотели. Задор его берет, а ехать назад ему не хочется.

Жил он на квартире у одного мещанина-подрядчика; там же жили двое писцов одной пароходной конторы. Оба они носили сюртуки, брили бороды. Внучкин решил, что надо познакомиться с ними, и раз вечером, напомадивши волосы, расфрантившись, пошел к ним попросить книжечки почитать от скуки.

— Мое почтение, — сказал он, входя к ним.

— Здравствуйте, что скажете?

— Да я сосед ваш; скучно одному-то, вот и пошел попросить книжки.

— Приятно познакомиться. А вы где служите?

— Я еще нигде не служу. В Воткинской губернии был волостным писарем, да не поладил со старшиной.

— Што так?

Внучкин рассказал целую историю о краже старшиной казенных денег, о сговоре его, Внучкина, быть сообщником в воровстве. Он так хорошо, увлекательно и смешно рассказывал, что понравился им, и они попеременно стали рассказывать ему о разных судьях, председателях, губернаторах. Стали пить чай. За чаем они сошлись еще ближе. Пароходные служащие были крестьяне, тоже служившие прежде в волостных правлениях, и теперь каждый из них получал жалованья по двадцать пять рублей в месяц.

— Ну, а занятия у вас какие? — спросил Внучкин.

— Занятия пустые: реестры пишем, ведомости, накладные, бумаги переписываем.

— Это все пустяки. Я вот писарем сколько лет был. На что рекрутский устав трудноват, да я его как отче наш знаю: всегда из воды сух выходил.

И с этих пор или Внучкин ходил к пароходно-конторским служащим, или они, также от скуки, захаживали к нему поиграть в трынку, а потом Внучкин познакомился с конторщиком этой конторы и попал в писцы на пятнадцатирублевое жалованье.

Первым подвигом его в начале службы было то, что он, получив из дома деньги, угостил в гостинице конторщика. Конторщик, получавший жалованья тысячу рублей в год, вел себя важно и показывал вид, что ему плюнуть так в ту же пору на Внучкина, а когда стал прощаться, то, подавая левую руку, начальнически попросил его прийти завтра на квартиру переписать одну бумагу, о которой он не должен никому говорить. Внучкин покраснел от удовольствия.

Прозанимался Внучкин в конторе два месяца, и служащие стали замечать, что конторщик что-то очень расположен к нему: Внучкин приходит в контору раньше всех, постоянно занимается по вечерам, не переписывает, а занимается бухгалтерией и составлением бумаг; на товарищей смотрит свысока, подает всем левую руку. Вот и жалованье ему положили тридцать рублей в месяц, старым его приятелям жалованье убавили на пять рублей. Товарищи стали поговаривать: Внучкин фискалит; но Внучкин не обращал никакого внимания: исправно ходил на службу, делал свое дело, заставлял переписывать бумаги прежних своих друзей и посылал домой каждый месяц по десяти рублей.

Прослужил он год, и покровские жители не узнали бы прежнего писаря Василья Сидорыча: он ходит в драповом пальто, брюках, носит рубашки из тонкого полотна, походка у него уже смелая, смотрит он задумчиво, волосы зачесывает по-городски, в голосе его слышится начальнический тон. Он играет в карты с конторщиком, смотрителем пристани и другими господами, и у него играют в преферанс.

Товарищи дивятся:

— Счастье, подумаешь, человеку! И как это он втерся скоро к конторщику! Уж мы ли не представлялись казанскими сиротами, а он-то, он-то, подлая душа!..

Конторщик был, что называется, сосветный плут: умел наживать деньги и разорял пароходовладельцев, ладя с другими конторщиками; ему понравилось прилежание, твердость, скрытность и ловкость Внучкина. Он сперва заставил его сосчитать расход в книге. Внучкин сосчитал скоро, конторщик поверил и поручил ему вести кассовые книги.

Бился-бился Внучкин с книгой, потел-потел, двои

сутки просидел — черт знает что такое! Пошел к конторщику и говорит:

— Николай Иваныч, не сходится счет. Я двои сутки просидел над этой страницей. Например, принято сто пудов свеч по десять копеек за пуд — итого десять рублей.

— Так что же?

— В накладной значится — принято сто двадцать пудов по восьми копеек за пуд.

— Ах, да! Тут приход записан в четырех местах. Вот накладная за номером сто восемьдесят девять: принято столько-то ящиков свеч, на тысяча восемьсот пудов, по десяти копеек, да вот еще номер сто восемьдесят девять — сто двадцать пудов по восьми копеек. Теперь сочти: по накладной номер сто восемьдесят девять — принято такого-то числа сто пудов свеч по десять копеек пуд — десять рублей, да вот в другом месте в книге значится еще двадцать пудов по десять копеек...

— А остальные?

— Эта квитанция в сто двадцать пудов будет служить документом, а другую мы уничтожим.

— Значит, отправлено-то сколько?

— Тысяча восемьсот, а по книгам будет сто двадцать.

— А если будут ревизовать.

— Кто будет читать книгу-то! Кто наши дроби станет считать, кроме нас? А ты молчи. Если увидишь красный карандаш на квитанции, тот приход и вноси, а синий — ссади на запас, в шкаф.

И стал так делать Внучкин. Он скоро выучился всем проделкам конторщика — что, как и почему происходит — и получил жалованья пятьдесят рублей в месяц за то, что сводил хорошо счеты и сбивал с толку разных конторщиков. Он был что-то вроде чиновника особых поручений: разъезжал на чужих пароходах от пристани до пристани, сбивал подрядчиков с толку, ссорил конторщиков между собою, за картами выслушивал разные мнения, неприятные для его компании. Сперва он действовал так ловко, что все конторщики удивлялись: как это они впросак попадают, а потом, как узнали о Внучкине, стали запирать перед ним двери. Но от этого их дела все-таки шли не лучше, и все знали, что

с Z-ской компанией тягаться трудно, потому что бывали случаи такого рода: главное управление пароходства просит контору пароходства почетного гражданина Бунькова и Ком. выдать ей взаимообразно пять тысяч рублей под залог такой-то баржи. Управляющий буньковской компании давал; через два дня деньги возвращали, баржа оказывалась с дырой на дне, и буньковская компания платила проторы и убытки. А баржа была цела.

IV

Летом Внучкин едва успевал обедать и спать, потому что надо было в конторе работать, исправлять поручения конторщика и управляющего, которые, видя в Внучкине ловкого и скрытного человека, только ему одному и доверяли секретные дела; надо было идти к кому-нибудь в карты играть или к себе пригласить, потому что если уж сам в гости ходишь, так и к себе надо приглашать, а эти порядки хорошо наблюдались и соблюдаются у всех пароходчиков по праздничным дням и в будни — зимой, когда служащие в конторах только баклуши бьют. — Жилось Внучкину хорошо, он даже сделался толще после шестимесячной службы. При всем этом он жил аккуратно, так что в первые четыре месяца службы посылал своей жене деньги, но потом перестал: дескать, что я за дурак — здесь расход, туда посылай. Пусть сама добывает!

У него заведена была маленькая книжка для записки прихода и расхода; туда он записывал даже гроши, которые подавал нищим. Когда он однажды сличил расход с прошлым месяцем и оказалось, что израсходовано лишних два рубля, то он не стал покупать булок к чаю и ассигновал проигрывать в карты не более пяти рублей в месяц. Впрочем, он почти всегда выигрывал. Случалось, часто он не обедал, а пил только чай; вечером редко-редко ужинал. Очень любил выменивать старые сапоги на новые и в свободное время сам починивал сюртук или пальто. В гостях он выпивал пять стаканов чаю, был очень разборчив, много ел, что больно не нравилось хозяевам, которые подтрунивали над ним и прозвали его бездонной кадкой — и хохотали над тем, что

после каждой рюмки вина он всегда закусывал или колбасой, или семгой, хотя бы и пил во время обеда или десерта.

Получил он письмо от жены. Просит денег, больна.

«Вот дура-то набитая! Детей рожать мастерица, а добывать денег — нет», — думал Внучкин и написал ей такое письмо: «Ты и думать не смей, чтобы я тебе послал еще денег. Здесь город, да еще губернский, денег много выходит. На что тебе деньги? Посылаю при сем пять рублей».

Через месяц получает опять письмо от жены: сделай ты божескую милость, возьми ты меня к себе. Соскучилась я об тебе, голубчик.

Внучкин опять послал жене письмо: «Ну, что ты за дура: зачем тебе ко мне ехать, да еще с ребятишками. Экая невидаль! А ты бы лучше об доме-то старалась да за пашнями присматривала. Ужо приеду домой, задам я тебе!»

Наступила вторая скучная зима. Дела в конторе так было мало, что служащие рады не рады, как засядут играть в карты, а до этого времени толкуют о разных управляющих и конторщиках, называя их ворами; то же самое и между управляющими и конторщиками. Сплетни идут по всему пароходному миру, так что Внучкину уже тошно становится слушать. Надоели ему и карты и гости, да и денег стало больше выходить; служащие играют в долг, потому что каждый из них многим в городе должен; сделалось скучно о доме, о жене, и он захотел съездить туда. Но как съездить? Своих денег тратить он не хотел и добился-таки того, что его послали за наймом судорабочих на родину и денег отвалили много.

V

Хлопот по найму рабочих было не мало, потому что нужно было разъезжать по деревням, возиться с крестьянами, сельскими начальствами, а срок полагался небольшой, так как наступал март месяц.

В передний путь он сэкономничал от прогонов сто рублей, потому что на почтовых лошадях ехал очень немного, а от города к селу или деревне ездил даром;

в этих местах были крестьяне, искавшие дела, да и сельское начальство радо было подрядчику, потому, во-первых, что оно получало магарычи, а во-вторых сталкивало в заработки не платящих по бедности подати и недоимки. В инструкции, данной ему главной конторой Z-ского пароходства, велено было подряжать крестьян на разное жалованье, от шести до пятнадцати рублей в месяц, отобрать от них паспорта и прислать в Нагорск, заключить с крестьянами условия и выдать им задатки. А это дело было знакомое Внучкину. В каждом селе он дела обделывал скоро, потому что сам был в этом уезде писарем и все писаря ему знакомы. Отобрал он от крестьян паспорта, выдал каждому по рублю и послал в Нагорск.

— Маловато, поштенный, — говорят крестьяне.

— Говорите спасибо, что я за вас подати уплатил, — отвечает Внучкин.

— Так теперь нам сколь следует получать-то?

— А кто нанялся по восьми, тот шесть будет получать.

— Уж лучше бы, ребята, уж не подряжаться.

— Теперь уж поздно, братцы. Мы вас не обидим, — говорит Внучкин.

— Это так. Житье там, сказывают, — всё реки, вода, да трудно.

— А лучше на печке лежать?

А Внучкин от каждого крестьянина нажил по рублю серебром — таким образом: в условиях, заключенных с крестьянами, было сказано, что за них внесены подати и недоимки. Подать действительно была вся внесена за полгода, а недоимки — по нескольку копеек. Тут, конечно, нажились и писаря и старосты.

Крестьяне этого не знали, потому что деньги на приход писаря обещались записать после; им выдали только квитанции в получении денег за подати, а условия оставлялись всегда в главной конторе пароходства.

Приехал Внучкин в Покровское село. Почти из каждого окна смотрели, как он ехал; попадавшиеся навстречу ему люди не узнавали его, останавливались, а узнав, замечали: эк его расперло; гли, рожа-то!

Жена его расплакалась от радости; глядя на нее, и дети стали кукситься, но с удивлением смотрели на родителя.

— Ну, чего ты ревешь, дура! Ставь самовар; делай пельмени, топи баню.

— Ох, голубчик, погоди! ведь чуть не три года, как не видались. И какой это ты, право: и письма, что есть, не хочет написать и денег не посылает.

— Где бы я взял их?

— Да вот ты, поди, не одну сотню нажил по наймам-то, — нет, чтобы жене ситцу привезти: у ребятишек вон все рубашонки обносились... Уж я вся об тебе изныла.

— Ну, ну. Делай, что говорят.

На другой день пришли с визитами — голова, писарь, священник, становой. Каждый имел какую-нибудь цель, но Внучкин держал себя важно, говорил нехотя, свысока — и вытолкал их, сказав каждому: извините, я в баню иду, а завтра еду.

Крестьяне и жены их то и дело приходили к Внучкину из любопытства, посмотреть, как переменился Внучкин. Они теперь забыли всю неприязнь к Внучкину, потому что теперешний писарь был хуже Внучкина. Они, по простоте своей, хотели высказать ему все свое горе и попросить его, не поможет ли он им чем-нибудь. Но они ошиблись.

— Здорово, Василий Сидорыч. Как те бог милует? — говорили они, входя в избу Внучкина.

— Здоров, здоров!.. Что надо?

— Да я так... Ишь ты какой ноне стал...

— Ну, мне, братцы, некогда с вами калякать.

— Конечно... Где уж: ты и прежде.. А скоро опять будешь?

— Не знаю.

Жена Внучкина заметила, что Василий Сидорыч уже не тот. Нет в нем прежних ласк, прежней хлопотливости; он сух, говорить с ней не хочет, важничает, детей не приласкает. На другой день утром жена его нарочно принарядилась по случаю его приезда, напекла и нажарила в печи много. За чаем Василий Сидорыч был веселее.

— Ну, Евгенья, мне завтра нужно ехать...

Жена вздрогнула, заплакала.

— Погости ты, Васенька, голубчик...

— Нельзя, я человек служащий. Здесь скучно.

Жена пуще заплакала, а Внучкин издевался над ней:

— Там жить весело, друзей много, а здесь не то: всё мужики... Завтра чем свет еду.

День в селе больно длинен показался Василью Сидорычу. К крестьянам ему идти стыдно было, с писарем и прочими знаться не хотелось. Пошел к становому, — и проиграли в карты до утра.

Выспался Василий Сидорыч и стал собираться в дорогу. Сцена была тяжелая: жена плакала, ребята тоже; Василий Сидорыч, как видно, старался скорее улизнуть. Во дворе стояла пара лошадей, запряженных в повозку, за воротами стояли крестьяне.

— Ну, Евгенья, прощай. Мне жалко тебя, да что делать! — Василий Сидорыч прослезился и вынул из-за пазухи бумажник, развернул его, стал считать деньги.

— Ну, на вот тебе пятьдесят рублей. Да смотри, не проси денег, — сказал он жене и положил на стол две двадцатипятирублевки. Жена поклонилась ему в ноги.

— Спасибо, Васенька! Мне и денег бы не надо, только бы ты дома-то...

Выехал Василий Сидорыч за ворота. Крестьяне шапки сняли, поклонились.

— Прощай, Василий Сидорыч.

— Не увезешь ли грамотку Семену?

— Где я его там искать-то стану? отправь по почте.

И Василий Сидорыч уехал к становому и на другой день с ним уехал в город.

Становой был очень любезен с ним всю дорогу; Внучкин напоил его в городе до положения риз.

Становой был тоже не промах.

— Ты, я знаю, плут: за тобой еще старые грешки есть! Хошь, задержу? — сказал он.

Внучкин, однако, успел уехать подобру-поздорову.

VI

По приезде в Нагорск Внучкин первым долгом представился конторщику.

— Ну, я думаю, ты нагрел лапу.

— С чего это вы взяли? Да и откуда я поживусь?

— А от крестьян?

— Сохрани меня бог. Я все делал по совести. Вот

вам остатки от расходов — тридцать два рубля двенадцать с половиною копеек.

— Какие остатки? В прошлые годы у нас больше ассигновали, да недоставало еще.

— Ну уж, я не такой человек, чтобы чужим добром пользоваться.

Конторщик решительно не понимал: зачем Внучкин ездил, когда он даже остатки представил.

— Да ты возьми их себе, мы сведем счеты.

— Ну уж, нет! Оборони меня бог.

Конторщик донес об этом поступке управляющему, тот позвал Внучкина к себе.

— Благодарю за честность. Я велел конторщику выдать вам возвращенные деньги в награду, а я назначаю вас смотрителем здешней пристани: Савинов — вор, а вы, как видно, честный.

Житье Внучкину на пристани было хорошее: раньше он постоянно находился в виду начальства, должен был унижаться, слушать насмешки товарищей; теперь он сам был барин, и ему был большой почет от рабочих. Он занимал дом в несколько комнат, имел в распоряжении две лошади, все рабочие были в его руках, и он мог делать с ними что хотел.

Здесь он с раннего утра до ночи был в хлопотах. Зимой на пристань привозили товар, в гавани стояли суда, в амбарах лежали разные снаряды и припасы. Все это охранялось под надзором Внучкина. Зимой же и весной починивали баржи, пароходы смолили, строили шитики (большие лодки, похожие на ялики); надо всем этим наблюдал Внучкин, и все материалы — доски, лес, дрова, пакля, смола и проч. — были на его ответственности, и этим, с разрешения конторы, он распоряжался. Летом же нужно было постоянно что-нибудь выдавать, смотреть за рабочими, нанимать и рассчитывать их, и все это приходилось делать одному Внучкину, потому что он никому не доверял. Для ясности представим один летний день.

Утро. На большом дворе, около товаров, покрытых цыновками, сидят, стоят и ходят человек сто: тут есть мещане, крестьяне, солдаты, мастеровые, женщины. Они пришли сюда таскать кладь (или на поденщину). Одни из них едят ржаной хлеб, булки, другие курят трубки.

Недалеко от них две торговки продают хлеб и калачи, девочки продают квас. Толки разные. В разных местах идет работа: то залепляют варом дранки на опрокинутых шитиках, то работают на баржах, то доделывают новую баржу, то вытаскивают якорь из воды, то бревна пилят. Работа кипит, точно всяк торопится; всякий идущий из рабочих кажется озабоченным. Стук, треск, крики — все это сливается в одно, и трудно разобрать какое-нибудь слово.

Но вот из-за бочек вышел Внучкин в сером пальто и с связкой ключей в руке. Сидевшие встали, рабочие поклонились, и один из рабочих, как видно, давно дожидавшийся, подошел к нему.

— Василий Сидорыч... Сделай такую милость...

— Чего тебе?

— Да денег бы...

— Приходи в шабаш.

К Внучкину подходит один подрядчик.

— Василий Сидорыч, как прикажете: те горбины трогать или нет, што у мостику?

— Разве те все вышли?

— Плоховаты оказались.

— Ну, употребить на починку пола... Эй, ты! Как тебя?

— Чево? — сказал шедший с доской парень.

— Скажи Петрову, штобы он пришел.

— Чую.

— Ну, што! По скольку вы согласны? — спросил Внучкин поденщиков, важно остановившись около них.

— А уж почем? по сорока?

— Нет, по двадцати.

Народ заговорил. Разобрать ничего невозможно.

— Хотите, нанимайтесь: мужчины по тридцать, а бабы по двадцать копеек, а не хотите — наплевать!

— А вчерась пошто было сорок?

— Товару немного.

— Будет на неделю.

Подошел староста. Поденщики согласились. Староста сосчитал их всех, дал каждому по жестянке, и переноска клади в баржи началась.

Оглядев все, что следовало, сделав кое-какие распоряжения, обругав рабочих за леность, выдав что нужно, он

ушел пить чай с Лизаветой Семеновной, *молодой барыней,* как ее звали рабочие, знавшие кто она такая. В это время никто к Внучкину не допускался.

После чаю он ушел в конторку, стал записывать счеты.

— Как бы мне не попасться: написал — куплено масла на сто рублей, а покупать не хочется... Сойдет! Купцы и так мошенники, а я бедный человек.

В прихожей толпятся распорядители работ или надсмотрщики за разными вещами и местами.

— Василий! — кричит Внучкин. В контору входит здоровый мужик.

— Чево изволите, Василий Сидорыч?

— Если про масло спросят, скажи: на неделе купили, да Прошка продал, я прогнал его. За это я тебе прибавлю.

— Покорно благодарим. А как же без масла-то?

— Ну, как-нибудь... Ну, еще што?

— Да дрова, Василий Сидорыч, разнесло, сажен десять. Ночью вон какая буря была. У парохода «Иван» колесо повредило.

— Ах вы, подлецы эдакие! Што же вы смотрели, окаянные?

— Да што сделаешь-то: ветер вон какой, — раскачало, ничего не сделали. Рабочих мало, да и дров-то сажен десять уплыло, не больше. Плоты — те целы остались.

Внучкин пишет на бумаге: в бурю сего числа унесло восемнадцать сажен дров, разнесло тридцать дерев, сорвало крышу на втором лабазе, сломало колесо на пароходе «Иван».

— Ну, а ты што? — спрашивает он молодого парня в оборванном зипуне.

— Да денег бы надо.

— Еге! да ты, брат, уже вперед забрал. Смотри, — показывает он парню книжку.

— Нет, помнится, не забирал. За вами еще три рубля восемнадцать копеек.

— Да смотри!

— То-то што, не вижу грамоте-то.

— Ну уж, так и быть: на полтинник!.. Смотри, это вперед.

— Воля ваша, только напрасно обижать изволишь.

— Поговори еще, свинья! Хошь — работай, не хошь — двадцать будет на твоем месте!

У конторы стоят двадцать человек рабочих. Один из них еще не получили денег, другие получили, третьи вперед забрали.

— Книжки! — кричит Внучкин рабочим. Те достают тетрадки с засаленными и заваленными в грязи листами.

— У меня нету, потерял, — сказал один.

— Как ты еще нос не потерял? — закричал Внучкин; товарищи рабочего захохотали. Через несколько времени, сделав расчет, Внучкин пошел во двор осматривать работы. Стоявшие у конторы заговорили:

— А што ж расчет?

— Некогда. Я позову. — Он ушел, рабочие тоже разошлись. Походив в лабазах, между тюками, около рабочих, сделав не одну распеканцию, он воротился домой и стал записывать:

Выдано сего числа:

двадцати рабочим поденщины по 40 коп.	8	руб.	00 коп.
тридцати рабочим вперед за июнь	28	„	37 1/7 коп.
за свозку бревен с реки	2	„	13 коп.
за поправку печки в конторе	—	„	50 „

— Што ж расчет? — кричат рабочие у конторы.

— Вот каторга-то! — ворчит Внучкин, потом кричит служителю: — Иван, встань у двери и никого не пускай.

А потом начинает описанным выше порядком рассчитывать рабочих по одному.

После обеда он опять осмотрел работы и поколотил одного рабочего за то, что тот был не у дела. Поденщиков, таскавших кладь, он обещал рассчитать завтра. Вечером он поехал к управляющему, которому сообщил о буре.

— Хорошо. Послушай, Василий Сидорыч, нельзя ли кому ту худую баржу спихать, понимаешь?

— Понимаю. Меня уже спрашивали.

— Ты можешь проценты получить.

В гавани стояла баржа. Она была еще новая, но управляющему нужны были деньги. По книгам конторы значилось, что баржа за № 12 очень ветха. Теперь управляющий решил продать ее, а вместо ее поставить другую. Внучкин это дело обделал: баржу променяли на худое

судно, на слом, и управляющий был в барышах, да и Внучкин не в убытке.

Все считали Внучкина за ловкого парня и за дельца; он был принят у всех управляющих и конторщиков. Больше прежнего управляющие переманивали его к себе на службу, но он не шел. Он хотел быть управляющим и через три года получил назначение управлять пароходством Бурой компании в городе Остолопе, где еще до сих пор было очень мало пароходов, с жалованьем в три тысячи рублей в год.

VII

Внучкин выписал в Остолоп жену и записался в купцы третьей гильдии.

В Остолопе Внучкин с жаром принялся за свое дело: арендовал место для пристани на выгодных условиях, накупил лесу, барок и всего, что требовалось, тоже на выгодных условиях, дешево состроил конторку на пристани, избушку для рабочих, также дешево нанял для себя и для служащих дом. За все это он получил от компании благодарность. Хозяева компании приехали в Остолоп и удивились, что работа кипит, — и Внучкин был хорошо обласкан ими; они задали шику аристократии своими балами и уехали в столицу наслаждаться жизнью.

А Внучкин стал важным человеком: ни одного праздника не проходило без того, чтобы у него не собирались тузы города и не играли у него в карты. Ни одного большого праздника не проходило без того, чтобы к нему знать не ездила с визитами и он к ним; и каждый должностный чиновник получал от него в пасху и на новый год подарки, состоящие в чае, деньгах и даже дровах. Внучкин был в славе, за Внучкиным ни один управляющий других компаний не мог угоняться; все удивлялись его мудрости; бедные горожане, и те хвалили его за то, что он подает на бедность, а раз даже весь город долго толковал о такой штуке.

Приходит к Внучкину пьяный человек и сует ему бумагу. Внучкин в известные часы всех принимал.

— Что, батюшко, скажете?

— Священник бумагу дал, — говорит тот.

Внучкин прочитал.

— Ну что же: дочь умерла. Пьяница, бедный человек... Ты бы лучше в рабочие шел, дружок... Василий! — крикнул он своего конторщика из раскольников. — Назначь этого молодца рогожи обдирать со льду.

— Я чиновник-с.

— Ну, это чину не убавит. Василий, позови рабочих.

Как ни бился чиновник, а рабочие свели его на пристань и заставили отдирать рогожи, но чиновник скоро убежал с пристани.

Он был строг, за всем наблюдал в будни сам, требовал честности; но при всем этом был и ласков, шутил. От острот его хохотали аристократы.

Три года прожил Внучкин в Остолопе, и об нем уже все в городе знали. Все говорили: это славный человек, пароходство Бурой компании процветает. Но знатоки дела только качали головой и говорили: посмотрим, что дальше будет; кто кого объегорит: Внучкин ли компанию, или компания Внучкина? Как ни тяжко было рабочим терпеть, то есть работать много, недополучать жалованья, но они были поставлены Внучкиным и его приказчиками в такое положение, что отходить было невозможно, потому что они постоянно до осени были в долгу у Внучкина. Нанимались же они в судорабочие потому, что дома жить невозможно было, а при найме им обыкновенно покупали водки, и подрядчики говорили им, что обижать их не будут, хозяин у них теперь добрый. Многие крестьяне шли даже по принуждению сельских начальств, грозивших им солдатчиной, острогом за неплату податей и недоимок. Городские же жители — мещане, отставные солдаты — нанимались только в поденщину, и если им недодавали денег приказчики, они делали свое дело: таскали домой совковый чай, воровали дрова, бросали по неосторожности тюки. Но за это они лишались работы, потому что Внучкин нашел выгоднее платить поденщину рабочим арестантской роты.

Вы думаете, читатель, он от жалованья рабочим набил карманы? Нет. В последнее время он предоставил это приказчикам по необходимости. Он, надо сказать правду, хорошо поворовывал.

Главный приказчик говорит ему:

— Василий Сидорыч, надо бы лесу купить.

— А тот где?

— Вы приказали продать.

— Мне Александр Антипыч обещался продать восемь барок. Они у него бросовые же. Там он своим показал, что барки на дрова испилены. Ну, я их куплю: очень дешево продает, кстати же он и должен мне.

— Что же мы с ними будем делать?

— Посмотрим. А об лесе я позабочусь. Ведь и дров надо.

— Да тысячи две четвериков еще есть.

— Гм!

Через день Внучкин пишет в книге: куплена одна тысяча четвериков березовых дров за столько-то. За сплав, за рубку и пилку столько-то заплачено.

«Хорошую я штуку обделал, — думает Внучкин: — по отчетам и по *той* (форменной) книге значится: весной эти дрова в количестве двух тысяч пятисот четвериков стояли на берегу. Семен говорит: их еще две тысячи, значит — пятьсот сгорело. Хорошо; а мы покажем: сгорело полторы тысячи — ведь у нас четыре парохода. Правда, на прочих пристанях есть дрова, да наплевать... Вот я, значит, сэкономничал — и *свои* дрова продаю...» Через неделю дрова эти продаются горожанам. На место их приплавляют новые. Эти дрова также Внучкин продал компании за *свои*... То же самое и с барками и прочим материалом...

Приказчики об этом знали, но молчали, потому что сами поживались немало. Знали об этом и другие пароходные конторы, но научиться такой ловкости никак не могли, да и не удавалось как-то. Хотя же Внучкина и обревизовывали, но по ревизиям оказывалось все хорошо, а в главной конторе этой компании целый год бились над книгами Остолоповской пароходной конторы, да чуть голову не потеряли.

— Ну уж, и наплели же вы, — говорили ему бухгалтеры в столице, куда он ездил часто.

— Бейтесь — не бейтесь, а под меня не подточитесь. Приходите лучше ко мне.

Так и перестали ревизовать Внучкина, понимая хорошо, что лучше получить подарок, чем на одном жалованье жить, да и Внучкин такая сила, что с ним

ссориться опасно: он по всем компаниям разблаговестит, что такой-то первый мошенник, и такого человека никуда не примут.

А тут вдруг такое дело вышло, что в компании не стало денег. Вот и беда. Внучкин задумался и поехал в столицу, наплел там множество ужасов — и ссудил компанию деньгами под залог баржи и парохода... а потом и гладит от удовольствия свое брюшко.

VIII

Вдруг в пароходном мире разнеслась молва: Внучкин пароход купил и от Бурой компании отказался.

Смотрят — тащит пароход вниз по реке две баржи. Чей? — спрашивают.. Внучкина; да он еще хочет пароход строить, уж у англичанина Ида чеканят, говорят. .

Пароход пробовали. Внучкин важно-весело ходил по палубе. Когда пароход остановился у пристани Бурой компании, Внучкин и говорит, улыбаясь, конторщику соседней пристанской конторы:

— Што, каков мой пароход?.. Ведь в каждой барже по двадцати тысяч пудов.

Конторщики дивятся и завидуют: вот ведь мы так и дома не можем завести... Ловкий парнюга!

Дела его несколько лет шли хорошо, несмотря на то, что у него было три парохода. Другие пароходовладельцы и с семью пароходами банкротились, а Внучкин нет. Конечно, ему трудновато было заводиться пароходным имуществом, но как-то вышло так, что он потратил очень немного денег, и так как за всем следил сам, то, значит, своя рубашка к телу ближе. У него не было управляющих, а был только конторщик с двумя писцами да несколько человек на пристани. Эти люди не смели воровать, потому что за воровство попадали под суд. Он сам подряжал рабочих, предоставив только одному приказчику выдачу денег, сам подряжал крестьян на сплав леса, да и лесу-то требовалось немного, сам рядился с купцами насчет клади, и так как он брал кладь дешевле других, пароходы были хорошие, то большинство купцов и отправляли кладь на его пароходах и баржах. Капитаны у него были люди, знающие свое

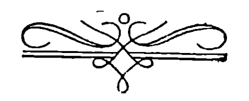
дело, лоцмана опытные, и поэтому случалось так, что пароход Внучкина ночью задевал чужой пароход. Оба парохода терпели поражение, но Внучкин всегда выигрывал. Случалось, что пароход Внучкина шел не по своей линии, отчего чужой пароход садился на мель. Но этакие дела, впрочем, не всегда сходили удачно: в один год у него засела на мель баржа с чаем, чай подмок, и он заплатил деньги; его пароход набежал на судно — и тут он порядочно поплатился.

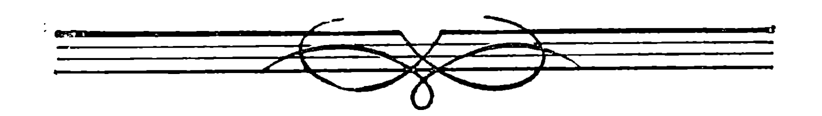
После этого несчастия он сделался добродетельным: каждую субботу бедные получали от него копеечки, бедных даром возили на его пароходах, под видом того, что они едут на богомолье, бедные чиновнические вдовы получали пособия — и Внучкин считался за великого благодетеля, а граждане выбрали его даже ратманом городского магистрата. Но дела стали идти плохо; убыток в тридцать тысяч рублей подкузьмил его, и дела его мало-помалу поправились разными подрядами.

А тут и на подрядах поймали его. Опять убыток большой, пришлось один пароход продать. На следующий год другой пароход в карты проиграл.

Внучкин продал третий пароход с баржами довольно выгодно, записался в купцы второй гильдии и поехал на золотые прииски, говоря всем, что он поехал на родину доживать свои дни.

На этом я и останавливаю рассказ до другого раза.





ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Недавно я обедал в одной из петербургских кухмистерских. По окончании обеда я стал читать газету, но так как в комнате было много народу и каждый человек был уже навеселе, то чтение казалось не совсем удобно: крупные происшествия врезывались в голову; газету приходилось класть назад, потому что рассказы людей были интереснее печатного. Наконец меня заинтересовал один господин, недавно пришедший, Он был среднего роста, одетый в пальто неказистой формы, так что сразу можно было в нем отличить человека мастерового, на голове мерлушчатая шапка. Лицо его было избито и обезображено так, что сразу можно было подумать, что этого мастерового избили на каком-нибудь вечере при получке денег.

В нашей кухмистерской обедают люди почтенные, и потому многие из обедающих подозрительно взглянули на обезображенную физиономию вошедшего, когда он велел подать себе обед и потом сел к одному пустому столу, охая при каждом повороте головы, при движениях руками.

— Да у те есть ли деньги-то? — спросила его разбитная женщина.

— Есть... дайте... если можно, — проговорил он больным голосом и вынул деньги.

Сидевший за противоположным окном мастер-немец, лицом к нему, спросил его:

— Угостили хорошо?

— Нафилармонили, — произнес избитый.

— Где же?

— На филармоническом вечере.

— На каком? — спросили двое господ в меховых пальто, собиравшихся уже выходить.

Избитый повторил сказанное.

— Да мы сами там были. Это было седьмого января, в дворянском собрании.

— Да. Восьмого января такого-то года была моя свадьба, но на ней не было такой филармонии.

— Странно... мы были сами, но у нас рожи не избиты.

— То-то што вы были в дворянском собрании, слушали музыку настоящую, а я вместо дворянского собрания попал сперва в участок, а потом в часть, и надо мной была исполнена такая отличная музыка, о которой всю жизнь не забудешь.

— Должно быть, ты был где-нибудь около части, а не дворянского собрания?

— То-то и есть, что я дворянское собрание, то есть дом-то, только едва-едва разглядел... Да! славный был вечер. Сегодня ходил в баню, попарил синяки, да что-то плохо помогло. Придется, верно, похворать недельку-другую... Буду я об этом вечере, буду я о нем вспоминать всю жизнь... Но вам, господа, не советую, когда вы будете немножко выпивши, как был и я седьмого числа, искать развлечений: как раз угодите на такой вечер.

— Но как же тебя черти угораздили попасть на такую комедию?

— Очень просто. Слыхал я, что седьмого января будет в дворянском собрании филармонический вечер или концерт, — право, забыл. Знал я только, что там будет хорошая музыка и пение, но не знал, когда начало. Раньше я не ходил брать билета, потому что у меня не было времени, а живу я от дворянского собрания за четыре версты; такие же газеты, в которых можно узнать о концерте, не всегда достанешь, если имеешь много работы и тебе некогда часто расхаживать по кухмистерским. Ну вот седьмого января, в это незабвенное для меня число, я отправился к дворянскому собранию. Надо вам заметить, что у меня время дорого, я машинист, и если я поехал, то, значит, у меня было свободное

время, и я этим временем располагал как умел. Но черт меня сунул зайти в портерную и выпить две кружки пива, отчего я и засиделся в портерной до шести часов. Ну, думаю, если я теперь не поеду, то мне, пожалуй, и не удастся в другой раз послушать филармонического концерта. Надо будет во что бы то ни стало добыть билет. Поехал. Приезжаю. Около собрания стоят кареты. Ну, думаю, еще приехал рано, и на хорах мне придется преть. Тут я спохватился, что я забыл очки, но чтобы не опоздать покупкой билета, я подхожу к одному подъезду и спрашиваю городового:

— Куда на хоры?

— Билет!

— Покажите, где можно получить билет.

Но городовой пошел отгонять извозчика, и я пошел в другой подъезд. Отворивши двери, я увидел много уже одевающихся людей и, думая, что я попал не туда, пошел в третий подъезд, но там меня схватил за рукав полицийместер.

— Куда?

— На концерт.

— Кто такой?

— Мастеровой.

— Ты, братец, пьян, — не знаешь, куда лезешь. Городовой, взять его в участок!

И меня городовой повел в участок.

И начал я скорбеть! .. Горько мне стало; лучше бы дома поиграть на гармонии, чем разыскивать, дураку, концерты.

— Это куда же вы меня ведете? — спросил я городового.

— Узнаешь — куда! Увидишь филантронию... Мы тебя поучим, как по дворянским собраниям шляться.

— Послушайте... Да ведь я хотел за свои деньги слушать.

— Ну-ну... иди, знай, вперед! — И он толкнул меня, потом взял извозчика.

Што же это такое? Пиво, што ли, бродит в моей голове. Нет! городовой сидит рядом, смотрит как-то неприятно на меня, считая меня за мазурика.

— За что же меня взяли-то? — спросил я городового.

— Не ругай полковника.

— Разве я ругал? И как вам не стыдно говорить-то это?

— Ты, братец, не ругайся... Нынче...

Но он не кончил — мы подъехали к подъезду участка.

Городовой мне велел подниматься по лестнице. Поднялся. Узкая прихожая с полукруглым окном в канцелярию, что-то вроде стола и люльки — вероятно, диван с провалившейся подушкой. Из канцелярии вышел высокий человек в эполетах.

— Откуда? — спросил он городового.

Тот сказал.

— Кто ты такой? — крикнул на меня офицер так, что как будто я убил человека.

— Мастеровой... Я шел слушать филармонический концерт.

— А! — И я был оглушен здоровою оплеухою, от которой меня отшатнуло в сторону.

— Што вы деретесь-то? — сказал я.

Но я был оглушен уже двумя офицерскими оплеухами.

— Он полковника обругал пьяницей, — пояснил городовой.

— А! ты так! Вот... вот... Бей его, мерзавца! Бей его до полусмерти!

И меня били жестоко. Я лежал на полу и только молился: господи, укроти филармонию... Никогда больше не стану разыскивать хороших концертов.

Слава богу, оставили целого, но сильно измятого.

Наконец городовой повел меня в часть; но мы шли немного, городовой взял извозчика. От городового я узнал, что филармонический концерт уже давно окончился, и тут-то я спохватился, что я сунулся в воду, не спросясь броду. Городовой был вежлив и сообщил мне, что меня, *быть может*, и выпустят завтра.

О, роковое это слово «быть может»!

— А бить будут? — спросил я городового.

— Накладут...

— Но за что? за что, господи! — возопил я.

Долго мы ехали от участка в часть; много миновали мы народу. Весь хмель у меня прошел от побоев, стыдно мне было людей, тех людей, которые шли пешком.

Попадались даже и пьяные, и я бы дорого дал городовому, если бы он меня пустил, но городовой помалчивал, и извозчик говорил про меня: «Знать, впервые привелось на саночках кататься. Ишь, любите даром ездить, мазурики эдакие! .. Пусти тебя пешком — небось убежишь ведь! ..»

Было уже темно, как мы приехали в часть; но здесь уже угощение было получше.

Сперва меня ударил городовой за то, что я не стал платить извозчику деньги. И, отняв у меня портмоне, сам рассчитался с извозчиком, потом портмоне возвратил мне.

— При бумаге из участку... Обругал полковника, — сказал городовой дежурному.

— Ты? .. ты обругал! — закричал дежурный офицер, сопровождая слова ударами.

Я молчал. Тут было людно, мрачно. Голова моя и бока мои начали болеть.

— Што ж ты молчишь? — крикнул другой, повидимому из подчасков, ударив меня в шею так, что я толкнулся на что-то твердое, но оттуда тотчас же отскочил от удара в угол.

— Как вы смеете драться? — крикнул я с остервенением, но меня вытолкали в дверь на двор и через три минуты втолкнули с побоями в темную, большую, грязную, вонючую избу не избу, комнату не комнату, подвал не подвал, освещенный лампой с керосином. В ней слышалось множество голосов, в нее доходили откуда-то песни, свистки, ругань.

— Вот тебе и филармония! — проговорил я.

— Зададим мы тебе гармонию. Раздеть его! — крикнул дежурный городовой.

Я не стал давать своей одежды, но я не знал полицейских порядков: я был здесь как игрушка, как котенок, которого ребятишки пичкают и таскают за хвост как угодно. Так над моей особой излавчивались отличным образом, колотя в щеки, по голове, в грудь — и особенно в шею. И я молчал, думая: скоро ли они мне отведут квартиру? Но долго еще сопровождалось отрезвление. С меня было снято все, кроме рубашки и подштанников, но зато теперь больнее были удары, голые мои ноги зябли от холодного сырого пола.

Думал ли я когда-нибудь попасть так неожиданно в этот вертеп?

Наконец меня втолкнули в удушливый темный коридор, по обеим сторонам которого сквозь деревянные решетки едва мелькал огонь и откуда выглядывали, как призраки в тумане, люди в рубахах или рваных поддевках. По обеим сторонам народ говорил, ругался, по коридору кто-то ходил и сопровождал меня ударами до двери в одну камору, называемую мышеловкой. Эта камора — сажени полторы длины, около сажени ширины и сажени полторы вышины, с полукруглым окном почти около потолка над нарами, устроенными на пол-аршина от полу, с когда-то крашенными охрой стенами, с отстающей уже штукатуркой, с грязным полом, на который постоянно плюют, — была пропитана махоркой и другим запахом. Камора освещалась изломанной лампой; в каморе топилась печь; у двери висело ведро с водой. Камора была набита людьми: народ сидел и лежал на нарах, лежал под нарами, сидел на полу, стоял около стен.

— Пьяницу привели! спрыски надо делать, — кричали арестанты.

Я стоял среди полу; меня не пускали ни на нары, ни под нары, ни на пол.

— Дайте барину подушку!

И меня ударили в шею.

— Братцы, меня уже много били! — сказал я, плача.

— Дайте ему платочек слезы утереть.

. . . .

Я не буду описывать вам всего подробно, как меня били. Но в каморе били меня немного. Я сказал арестантам, что у меня есть деньги, которые отобрал от меня дежурный, и обещался дать им рубль перед выпуском. За это мне дозволили лечь на нары и даже давали покурить табаку. Но с непривычки, братцы мои, да еще избитому не очень-то приятно лежать на голых досках, подложивши под голову кулак. Но еще неприятнее вместо филармонического концерта попасть в мышеловку.

Камора наша не запиралась на замок, и так как она находилась рядом с отхожим местом, то дверь отпирали часто; к нам приходили посетители, которые приходили

посмотреть на пьяницу, но я лежал, прикинувшись очень больным.

— Саданите его хорошенько, чтобы он чувствовал, каково в часть попадать.

— Чувствую, други! Ох, как чувствую... Едва жив.

— Не беспокойся — не убьют. Здесь бьют ловко, умеючи. Хорошу ли ты науку-то прошел?

— Хорошу.

— То-то. От нас еще достанется — свезут в больницу, а потом и на кладбище.

— Да разве они смеют бить?

— Толкуй. Место такое, што бить можно: начальство не побьет, мы побьем.

После ужина пришел дежурный посмотреть меня.

— Жив ли ты? — спросил он у меня.

— Не бей меня, ради христа, — взмолился я.

Но он повернулся, а потом проговорил арестантам:

— Берегите его! смотрите... что будет, донести мне, — и он ушел.

— Ловко же они его побили.

Немного погодя по коридору разнесся чей-то вой.

— Пьяницу обивают! — кричали с радостью арестанты.

— Неужели здесь, в участке и в части, начальство всегда бьет пьяниц?

— Вытрезвляет отлично! В другой раз не захочешь.

— Еще бы!

Пришел другой пьяница, но его лицо было не избито. Он плакал и говорил, что у него нет ни копейки денег, и его не пускали даже на пол.

— Ты не на концерт ли ходил? — спросил я товарища, когда меня вновь прибывший арестант из *тутошних* стащил с нар.

— Нет! городового обругал.

Я рассказал свои похождения, и арестанты прозвали меня *филимонией*.

Ночь я пролежал под нарами, где даже и повернуться было нельзя и куда сверху в щели плевали старосты и хозяева этой каморы. Такое удовольствие мне досталось еще потому, что я обещал арестантам деньги, но другого пьяницу арестанты довели до того, что он ушел жало-

ваться дежурному, который и велел ему ночевать где-то в коридоре.

А очень приятно лежать под нарами, особенно когда арестанты поют песни... Хоть эти песни не совсем хороши, но их слушаешь даром; а в дворянском собрании мне на хоры пришлось бы заплатить рубль да, кроме того, платить за одежду...

Утром я получил свою одежду и облекся в нее. Не украли ее; даже платок был в целости, только я никак не ожидал, что спину моего пальто разрисуют мелом так, что без щетки этот круг с крестом в середине никак не сотрешь. И вот с этим крестом на другой день мне пришлось, прежде получения свободы, исходить пол-Петербурга, от части к двум участкам, и прийти с ним домой.



ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том данного издания Избранных произведений Ф. М. Решетникова входят повести, рассказы и очерки разных лет. Второй том составляют романы «Глумовы» и «Где лучше?». Тексты отобранных произведений печатаются по изданию: Ф. М. Решетников. Полное собрание сочинений. Под редакцией И. И. Векслера. Тт. I—VI. Свердловское областное государственное издательство. Свердловск, 1936—1948. Все произведения в нем напечатаны по последним прижизненным публикациям писателя или по сохранившимся автографам (с учетом цензурной истории произведений, с исправлением вкравшихся опечаток и т. д.).

В отличие от указанного Полного собрания сочинений, как и других изданий, осуществленных после смерти Решетникова, в расположении произведений при составлении настоящего издания учтена работа писателя по объединению очерков и рассказов в циклы для издания: Ф. Решетников. Сочинения. Тт. I—II. Изд. К. Н. Плотникова. СПб., 1869.

ПОДЛИПОВЦЫ

Впервые повесть опубликована в «Современнике», 1864, №№ 3, 4 и 5. При жизни писателя вышла отдельным изданием в 1867 г. (СПб., изд. С. В. Звонарева). Рукопись неизвестна.

Работа Решетникова над повестью относится еще к периоду его пребывания в Перми. В дневниковой записи, датируемой примерно февралем — началом марта 1862 г., говорится: «А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру? Отчего до сих пор никто

не описал их?» В письме к В. А. Трейерову от 26 марта того же года сообщается: «Я ныне, на днях, написал в виде повести, и мне она понравилась... пишу быт нашего края, и, быть может, публика узнает многое о нем, узнает то, чего не знала: в нашем краю много тайн, много». Совпадение слов о «тайнах» в том и другом документах нельзя признать случайным. «Подлиповцы» близки по ряду деталей стиля и картин быта и к другим пермским произведениям писателя («Скрипач», «Раскольник», «Заседатель»). Но очевидно также, что по приезде в Петербург и перед тем как отдать произведение в редакцию «Современника» Решетников вновь работает над «Подлиповцами», совершенствует их. Именно в этом смысле следует понять сообщение Гл. Успенского о представлении в журнал «Подлиповцев» как о «только что написанных».

О жизненных наблюдениях, легших в основу «Подлиповцев», Решетников сообщал в письме к Некрасову в марте 1864 г. (см. вступительную статью); фактическая точность «Этнографического очерка», как названа повесть самим писателем, подтверждена многими историческими источниками и свидетельствами.

Отдельное издание «Подлиповцев», осуществлявшееся в трудных цензурных условиях (вскоре после закрытия «Современника» и «Русского слова»), существенно отличалось от журнальной публикации повести. Издатель С. В. Звонарев опасался за прохождение произведения через цензуру. Решетникову он говорил, что если бы читал «Подлиповцев» «до покупки, то не купил бы: цензуры боится». В этих условиях писателю пришлось пойти на ряд купюр и изменений по сравнению с первой публикацией. Так, пришлось убрать места, где говорилось о насильственном обращении коми-пермяков в православие, о «ласкательстве» полицейских властей, о жадности церковного причта и др. Все эти изъятия, сделанные явно из опасений перед цензурой, восстановлены в последнем Полном собрании сочинений Решетникова.

Вместе с тем при подготовке издания 1867 г. писатель проделал и некоторую художественную доработку повести: усилил образность речи персонажей, углубил в ряде случаев психологическую характеристику героев, переработал ряд картин и т. д. Эта художественная переработка текста свидетельствовала о несомненном росте писательского опыта и мастерства Решетникова.

Заслуживает внимания аннотация произведения, данная Решетниковым по просьбе издателя в качестве объявления к отдельному изданию «Подлиповцев». Приводим ее как важный документ, являющийся автохарактеристикой произведения: «Жителям городов, расположенных при судоходных реках, часто случается видеть судо-

рабочих, но едва ли кому известен быт бурлаков, занимающихся почти всю жизнь сплавом барок вниз по реке Чусовой, Каме и Волге. Поэтому автор в очерке «Подлиповцы» со всею правдивостью, ясностью и без всяких прикрас изложил перед читателями жизнь бедных, забитых, на взгляд диких людей северо-востока европейской России. В первой части изображены картины местности, обитаемой Пилой и Сысойкой, их нравы, обычаи, простота, семейная жизнь, сложившиеся своеобразно, и, наконец, — единственная возможность избавиться от гнетущей их жизни — желание быть бурлаками и поход за этим. Во второй части изображены картины бурлацкой жизни во всей их наготе».

Цензура после выхода «Подлиповцев» отдельным изданием не раз выступала против их переиздания. Так, в 1871 г. цензор выразил недовольство по поводу включения произведения (в сокращенном виде) в «Букварь по звуковому способу», в 1887 г. было запрещено переиздание «Подлиповцев» как произведения «в высшей степени безнравственного и тенденциозного». С 1884 г. вообще произведения Решетникова высочайшим повелением были запрещены к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях.

Гл. Успенский сообщает, что имя автора повести «сразу обратило на себя всеобщее внимание». Если реакционная критика (Аверкиев, Авсеенко и др.) выступала с целью очернить и извратить правдивое произведение о народной жизни, то прогрессивная печать приветствовала молодого писателя. Из выступлений демократической печати с положительной оценкой «Подлиповцев» должны быть отмечены высказывания Писарева (на страницах «Русского слова»), рецензия в «Отечественных записках», оценка повести, высказанная в рецензии Салтыкова-Щедрина на роман «Где лучше?».

Стр. 8. *Мотовилихинский завод* — медеплавильный казенный завод при устье речки Мотовилихи на левом берегу Камы в 4-х верстах от Перми.

Стр. 61. *Государственные крестьяне* — незакрепощенные крестьяне, находившиеся на казенных землях; положение их было несколько легче, чем помещичьих крестьян.

Стр. 63. *Казенные рабочие* — рабочие государственных промышленных предприятий, находившихся в ведении различных ведомств (военного, морского, горного и др.); рабочие приписывались к этим предприятиям из числа государственных крестьян.

Стр. 72. *Шайтанский завод* — здесь речь идет о железодела-

тельном заводе при впадении р. Шайтанки в р. Чусовую (ср. примеч. к стр. 391).

Стр. 75. ..*как некогда шли евреи по пустыне Аравийской* — имеется в виду библейское сказание об уходе евреев из Египта.

СТАВЛЕННИК

Впервые напечатан с подзаголовком «рассказ» в «Современнике», 1864, №№ 6, 7 и 8. С подзаголовком «повесть» включен автором в прижизненное Собрание сочинений (т. I, СПб., 1869). Рукопись неизвестна.

Как видно из письма Решетникова к Некрасову от 15 февраля 1866 г., еще в Перми писатель намеревался создать «роман из духовного быта»; замысел не был осуществлен, но духовный быт получил отражение в рассказе «Никола Знаменский» и в повести «Ставленник».

Работа над повестью проходила в 1864 г., редактировал произведение М. А. Антонович. Из сохранившихся корректурных гранок глав I, III и IV видно, что повесть в ходе публикации претерпела существенные изменения. Очевидно, в результате цензурных требований были устранены указания на поборы духовных властей, взяточничество эконома архиерейского дома, ряд мест о пьяном разгуле духовных лиц и др. Была редакционная правка стиля. И сам писатель не был удовлетворен своим произведением. «Ставленник» вышел у меня плохо», — записывает Решетников в «Дневнике».

Изображение в повести быта Пермской духовной семинарии периода 1859—1861 гг. содержит ряд намеков на общественное оживление в этом духовном училище в связи с прибытием туда молодых профессоров-академиков, стремившихся внести в обучение новые методы и дать воспитанникам знания, почерпнутые из передовой журналистики и литературы того времени. Однако новым силам не удалось одержать победу: некоторые передовые профессора были арестованы, высланы, другие уволены.

Все эти события мало затронуты в повести Решетникова, хотя первоначальные намерения писателя, как можно судить по черновому списку действующих лиц, были более обширными и смелыми.

Стр. 137. *«Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского* — были впервые напечатаны в журналах «Время» и «Современник» в 1862—1863 гг.

Стр. 142. *«Милорд английский», «Могила Марии»* — имеются в виду книги: «Повесть о приключениях английского милорда Георга

и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы» М. Комарова, впервые изданная в 1782 г., и «Могила Марии, или притон под Москвою. Русский роман с картинами нравов в конце XVI в.», М., 1835 (автор не обозначен).

Стр. 145. *Пять академистов* — т. е. окончивших духовную академию.

Стр. 148. *Твердо-он-то, да подперто* — насмешка над чтением по складам (твердь в церковнославянской азбуке — буква т, он — о).

Стр. 149. *Воскресные школы* — школы первоначального обучения взрослых по воскресным дням; возникли в России в 60-х гг. XIX в. и неоднократно закрывались царским правительством.

Стр. 150. *Единоверцы* — старообрядцы, признававшие православную церковь, но совершавшие богослужение по старопечатным церковным книгам и придерживавшиеся старых религиозных обрядов.

Стр. 154. *Содом и гомор* — выражение, означающее крайний разврат, беспорядок, шум, суматоху; возникло из библейского мифа о городах Содоме и Гоморре в древней Палестине.

Стр. 173. *Бар или ек* (тат.) — есть или нет.

Стр. 175. *«Дух христианина»* — духовно-литературный журнал, издавался в Петербурге с 1861 по 1865 г.; *«Православное обозрение»* — церковно-религиозный журнал, выходивший в Москве в 1860—1891 гг.

Стр. 273. *Проповеди Филарета* — проповеди московского митрополита Филарета (1783—1867) издавались неоднократно и широко распространялись церковью.

ИЗ ЦИКЛА «ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Цикл «Добрые люди», созданный Решетниковым для Собрания сочинений 1869 г., составился из трех произведений: «Никола Знаменский», «Тетушка Опарина» и «Кумушка Мирониха». В нашем издании публикуются первые два произведения.

Никола Знаменский. Впервые напечатан в «Отечественных записках», 1867, № 11; второй раз при жизни автора — в составе указанного цикла. Рукопись неизвестна.

Об истории создания произведения рассказано в письме Решетникова к Некрасову от 15 февраля 1866 г.: «Прилагаемый рассказ «Никола Знаменский» есть первая попытка писать в прозе. Он был

назван «Мой отец» назад тому четыре года... в 1864 г. я приносил его в редакцию «Современника», но там нашли его неудобным. Теперь я его значительно сократил и изменил». В черновом варианте письма содержатся еще некоторые детали из истории переработок рассказа: «В 1864 г. летом я давал его Пыпину, он отозвался, что в таком виде, как он был тогда, нельзя его печатать. С тех пор я переделал его два раза и назвал «Никола Знаменский». Я думаю, что в нем ничего нет нецензурного, как было прежде... Прежде у меня был выставлен архиерей как хороший человек, теперь на место его явился благочинный и понятия дикаря о важности такой особы, которая в провинции для духовных важнее митрополита в Петербурге. Если вы найдете неудобными некоторые слова, вроде: с палатей на палати (или испола ети деспотат), ахти вошь (или аксиос), то хоть и жалко, а придется с ними расставаться, потому что все крестьяне, относясь с уважением к личности архиерея, почти так же коверкают греческие слова». (Указанные выражения, не появившиеся в журнальной публикации рассказа, были восстановлены автором в издании 1869 г.)

Рассказ в «Современнике», однако, не появился. Не принял его и журнал «Русское слово». Благовещенский по поводу этого отказа в письме к жене Решетникова сообщал: «Что же касается до другой его статьи «Никола Знаменский» (рассказ доктора), то эта статья до того нецензурна, что ее не решится печатать ни один журнал». По совету Некрасова (об этом говорится в «Дневнике» писателя) рассказ был передан в «Отечественные записки», где и появился.

Из письма Решетникова к Некрасову, стилистической и тематической близости «Николы Знаменского» к «Подлиповцам» (ср. изображение духовенства и отношение крестьян к религии в том и другом произведениях) следует, что рассказ создавался в тот же период, что и «Подлиповцы», и, очевидно, предшествовал им. Заявление писателя о том, что это его «первая попытка писать в прозе», не точно, так как рассказ «Скрипач» написан раньше (1861).

Сличение последней прижизненной публикации с журнальной показывает, что в журнале Решетникову пришлось (видимо, по настоянию Краевского) смягчить рассказ в цензурном отношении; в издании 1869 г. ряд мест смогли быть восстановлены.

Появление рассказа в «Отечественных записках» вызвало донос цензора в Цензурный комитет. «В этом очерке, — докладывал он, — описывается в весьма мрачном виде и самыми мрачными красками быт одного священника», рассказ «должен произвести на читателя»

«тяжелое впечатление». Заключение цензуры для журнала не имело, однако, последствий.

Реакционная критика («Сын отечества», «Заря», «Христианское чтение») неприязненно отнеслась к рассказу Решетникова, оспаривая правдивость изображения духовенства в произведении. Между тем ряд свидетельств подтверждает истинность фактов, подобных тем, которые изображены в «Николе Знаменском».

Стр. 294. *Пятерик дров* — пятиполенная сажень из поленьев длиною по 10—12 вершков.

Тетушка Опарина. Рассказ впервые напечатан в «Современном обозрении», 1868, № 3; затем — в Собрании сочинений 1869 г. Рукопись неизвестна.

Как видно из переписки Решетникова и его «Дневника», рассказ предлагался в журналы «Дело» и «Отечественные записки», но по неизвестным причинам там не появился.

Фактическую основу для рассказа дали наблюдения писателя, почерпнутые им во время поездки на Урал в 1865 г.

Рассказ получил высокую оценку в статье Н. В. Шелгунова «Народный реализм в литературе». Сопоставив центральный образ рассказа с кумушкой Миронихой (героиней одноименного рассказа этой же серии), критик писал: «Опарина — все; она кулак и мелочный торгаш, и сельский хозяин и повитуха, и лекарь и коновал; она помогает деньгами и советом; она — ходатай за угнетенных; ее нравственному влиянию подчиняются не только крестьяне, но и сельское начальство; она — счастливое соединение Марфы-посадницы с торговкой, кумушкой и фактором».

ИЗ ЦИКЛА «ИЗ ПУТЕВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Цикл «Из путевых воспоминаний» составлен Решетниковым из следующих произведений: «Очерки обозной жизни», «Глухие места», «Сутки в еврейском городе» и «Ярмарка в еврейском городе». Все эти произведения являются путевыми очерками, созданными писателем по материалам поездок на Урал в 1865 г. и в Брест-Литовск в 1867—1868 гг. В настоящем издании даются «Очерки обозной жизни».

Очерки обозной жизни. Впервые напечатаны в альманахе «Невский сборник». 1. Изд. Вл. Курочкина. СПб., 1867. Без из-

мениий перепечатаны в Собрании сочинений 1869 г. в составе указанного цикла. Рукопись неизвестна.

В дневниковой записи Решетникова от 6 мая 1867 г. говорится: «Вышел «Невский сборник», и в нем помещено множество статей, в том числе и моя — «Очерки обозной жизни». Эта несчастная статья почти с осени 1865 г. валялась в разных редакциях и не печаталась, потому что редакторы самый предмет находили, кажется, избитым, да и не читали очерка». Из журналов, в которые посылались «Очерки», известен только «Современник» (письмо к Некрасову от 20 мая 1866 г.), в котором произведение не могло появиться в связи с последовавшим закрытием журнала.

«Очерки» написаны на материале поездки Решетникова на Урал летом 1865 г. Очерк «Из провинции», посланный в «Русское слово», был первым произведением о поездке. Однако он в свет не вышел. «Письма из провинции» также не были напечатаны. Очевидно, в пору усиления цензурного гнета очерки Решетникова оказались неприемлемыми. Насколько важные вопросы волновали писателя во время поездки, видно из письма его к Н. А. Благовещенскому от 10 июля 1865 г. (см. вступительную статью), где говорится о волнениях крестьян, недовольных результатами реформы. О том, как цензура отнеслась к уральским очеркам Решетникова, видно из записи в его «Дневнике» от 3 декабря 1865 г.: «В «Искре» цензор исчеркал «Путевые письма», и ничего не вышло». «Путевые письма» до нас не дошли, и мы не знаем, в каком соотношении они находятся с «Очерками обозной жизни». Мотивы и факты «Очерков обозной жизни» мы находим и в очерках «Рабочие лошади» («Иллюстрированная неделя», 1873, №№ 1, 2, 3) и «На большой дороге» («Искра», 1866, № 35).

Непосредственных серьезных откликов критики на «Очерки» не было, пресса в основном положительно отметила «Невский сборник» в целом. В числе ведущих участников этого сборника (Вас. и Н. Курочкины, Гл. Успенский и др.) называлось и имя Решетникова.

Стр. 391. *Шайтанский завод* — чугунолитейный завод на р. Шайтанке в 46 верстах от Екатеринбурга.

Стр. 398. *Сысертский завод* — горный завод в 50 верстах от Екатеринбурга.

Стр. 400. *Жеребьевый список* — список, по которому производилась жеребьевка призываемых в царскую армию.

Стр. 413. *...Максимов в книге «Поездка на Восток»* — имеется в виду книга: С. В. Максимов. На Востоке. Поездка на Амур. Дорожные заметки и воспоминания (1860—1861). СПб., 1864.

ИЗ ЦИКЛА «ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ»

В состав цикла «Забытые люди» включены произведения: «Макся», «Ильич», «Шилохвостов», «Яшка». В настоящем издании даются очерки «Макся» и «Яшка».

Предположение И. И. Векслера о том, что в названии цикла была, возможно, допущена опечатка и следует читать — «Забитые люди», [1] не подкреплено документами и не может быть принято.

Макся. Очерк впервые напечатан в «Современнике», 1864, № 10; при жизни автора перепечатан в Собрании сочинений 1869 г. в составе названного цикла. Рукопись неизвестна.

О времени и обстоятельствах написания очерка сведений не сохранилось. Очерк имеет автобиографическую основу. Жизнь и быт почтовых работников были хорошо знакомы Решетникову с детства, так как и воспитатель дядя и отец служили на почте. Предполагают, что участь отца и легла в основу повествования о Максе. Однако об отце писателя сохранилось мало сведений. О последних годах его жизни известно, что он служил почтальоном в Красноуфимской почтовой конторе.

Стр. 469. *Воспитательный* — имеются в виду воспитательные дома, существовавшие для призрения детей, оставленных родителями.

Яшка. Очерк впервые напечатан в «Неделе», 1868, №№ 39, 40 и 41; второй раз при жизни автора — в составе цикла с незначительными разночтениями. Рукопись неизвестна.

Сведений о времени и обстоятельствах написания очерка не сохранилось. «Яшка» явился результатом пристального изучения писателем жизни социальных низов в Петербурге. Высокую оценку очерку дал Н. В. Шелгунов в статье «Народный реализм в литературе» (см. вступительную статью).

Из большого числа очерков и рассказов Решетникова, не объединенных им в какие-либо циклы, в настоящем издании дается лишь несколько. Связанные с главными темами творчества писателя, они существенно дополняют картину русской действительности 1860-х гг., нарисованную в его крупнейших произведениях.

---

[1] Ф. М. Решетников. Полное собрание сочинений, т. VI, стр. 406.

Горнозаводские люди. Впервые напечатаны в «Северной пчеле», 1863, №№ 307, 312, 315, 339 и 342, с 18 ноября по 24 декабря; при жизни писателя не перепечатывались. Рукопись неизвестна.

Данный очерк входит в ряд произведений, опубликованных в «Северной пчеле» начинавшим свою деятельность писателем. Хотя этот орган и не мог удовлетворять Решетникова, но до установления связей с революционно-демократической журналистикой приходилось мириться с создавшимся положением. Отметим, что в том же году на страницах «Северной пчелы» время от времени помещали свои очерки Левитов и Лесков.

«Горнозаводские люди» являются одним из первых произведений Решетникова, посвященных изображению заводской, рабочей жизни. Ряд очерков и рассказов на эту тему («Скрипач», «Кумушка Миронюха», «Дедушка Онисим» и др.) были своеобразной подготовкой писателя к созданию его романов из рабочей жизни.

Черновые записи к «Горнозаводским людям» показывают, какой большой фактической точности добивался Решетников в своих произведениях. Многочисленные материалы для горнозаводских очерков дала писателю служба столоначальником горнозаводского стола в Екатеринбургском уезде.

Внучкин. Рассказ впервые напечатан в «Искре», 1866, №№ 11, 12, 13 и 16; при жизни автора перепечатан в Собрании сочинений 1869 г. Рукопись неизвестна.

При включении рассказа в Собрание сочинений 1869 г. Решетников значительно сократил текст: первые две главы о ранних годах героя, о его матери и отце заменены кратким пересказом.

Образ Внучкина, проделавшего путь от сельского писаря до пароходовладельца, — колоритная фигура дельца периода развития капитализма в первые годы после реформы. Решетников, хорошо знавший судоходство на Чусовой и Каме, видел немало дельцов, подобных Внучкину.

Под городом Нагорск в тексте рассказа подразумевается, видимо, Нижний Новгород, под городом Остолоп — Пермь.

Филармонический концерт. Очерк впервые опубликован лишь после смерти писателя в тифлисской газете «Новое обозрение», 1884, № 48, 18 февраля. Рукопись неизвестна.

Публикация сопровождалась следующим примечанием от редакции: «Мы печатаем неизданный еще рассказ Федора Михайловича Решетникова «Филармонический концерт». Рукопись этого рас-

сказа доставлена в редакцию вдовою покойного писателя, Серафимою Семеновною, при любезном содействии и посредничестве Гл. Ив. Успенского. Рассказ по времени относится, повидимому, ко второй половине шестидесятых годов, фабула его — истинное происшествие, случившееся с самим автором... Рукопись в некоторых местах сильно потерта, и три слова нам пришлось восстановить по догадке». Кроме этого рассказа, в «Новом обозрении» за 1885 г. был опубликован очерк «Трудно поверить» 1867 г.

Случай, описанный в «Филармоническом концерте», упомянут Гл. Успенским в биографии Решетникова.

СЛОВАРЬ

профессиональных, церковных и других терминов, диалектных слов и выражений, встречающихся в произведениях данного тома

Антиминс — шелковый или льняной украшенный плат для покрывания престола в церкви.

Баско — хорошо, красиво.
Баять — говорить.
Белое духовенство — не монашествующие лица духовного звания.
Бечевники — бурлаки, тянущие судно бечевой.
Благочинный — священник, которому поручено несколько церквей и приказов.
Богародни — нищие, калеки.
Богословие — здесь: старший класс духовной семинарии; богослов — ученик этого класса.
Бурак — здесь: берестяный бидон с крышкой.

Варнак — каторжный.
Варница — солеварня.
Ватаракша — негодный.
Векша — белка.
Взагоди — загодя, заблаговременно.
Витень — плеть, кнут.

Гли — гляди.
Гомзуля — ломоть, ломтище.
Гунька — ветхий полушубок или армяк, покрытый холстом.

Ектения — моление, читаемое дьяконом или священником во время богослужения.

Епархия — край, управляемый по духовным делам архиереем, его ведомство.

Забарабать — захватить.

Закал — сырое, непропеченное место в хлебе.

Заплот — забор, сплошная ограда из досок или бревен.

Зарод — большой стог сена.

Изгиляться — глумиться, насмехаться.

Изгребный — из холста, вытканного из оческов, изгребей.

Иподиакон — помощник дьякона.

Каменка — печь, сложенная из камней.

Коломенка — баржа грузоподъемностью от 7 до 12 тыс. пудов.

Консистория — учреждение по церковным делам при епархиальном архиерее.

Косоплетка — длинная узкая лента, употреблявшаяся духовными лицами для заплетания волос.

Костыльник — здесь: стоящий с архиерейским посохом во время богослужения.

Коты́ — здесь: берестяные лапти.

«Кошка» — здесь: вид плети.

Кошма — войлок.

Куржак, куржевина — пары́, замерзшие на холодном воздухе и покрывшие какой-либо предмет в виде мелкого снега.

Кутейники — насмешливое название лиц духовного звания.

Лиже — гляди же.

Литовка — коса сенокосная с длинною рукояткою.

Мастюжить — мастерить, делать.

Махальнича — кадило.

Митра — архиерейская и архимандритская шапка при полном облачении.

Наберуха — корзинка, кузов для сбора ягод, грибов.

Набольший дьякон — протодьякон.

Налой — аналой, род столика, подставка для раскрытых книг, нот.

Наперсный крест — крест, носимый священнослужителями поверх одежды на груди.

Орлы — здесь: орлец — круг из ткани, с орлом, подножие архиерея при служении.
Осердие — ливер: легкие, сердце, печенка.
Охобачивать — жадно есть, уписывать.
Очеп — здесь: цеп.

Первенство — искаженное «первосвященство», титул архиерея.
Пеун — здесь: дьячок, псаломщик.
Подрясниковые — младшие чины церковного причта: пономарь, дьячок.
Поносное весло — рулевое весло на барже.
Причт — церковнослужители одного прихода.
Прозвитер — пресвитер, священник.
Прокурат — проказник, шутник, плут.
Протоиерей — старший священник.

Раменье — глухой лес.

Сколотырить — сколотить, приобрести с трудом.
Словесники — ученики младшего класса в духовной семинарии.
Совковый чай — мешаный, вынутый из ящиков совком.
Стайка — здесь: хлев, помещение для скота.
Стихарь — нижнее облачение священников и верхнее дьяконов при служении.

Тиковый — из полосатой портяной ткани.
Тожно — также.

Уездники — учащиеся уездного духовного училища.

Философия — здесь: средний класс в духовной семинарии; философ — ученик этого класса.

Цитальница — здесь: молитвенник.

Чалка — веревка, канат для причала.
Чечетка — здесь: болтливая женщина, тараторка.
Чижовка (кутузка) — арестантская при полиции.
Чуча — пугало, уродина.

Шабура — домотканина, сермяжина; рабочий пиджак, зипун, армяк.
Шитик — лодка с шитыми из досок бортами.

Эпитимия — наказание для духовных лиц.

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Михайлович
РЕШЕТНИКОВ

Избранные произведения, т. 1

Редактор П. Быстров
Художник М. Коротков
Художественный редактор
А. Гайденков
Технический редактор
Л. Чалова
Корректор А. Большаков

Сдано в набор 27/VIII 1955 г. Подписано к печати 20/II 1956 г. М 11295. Тираж 165 000 экз. Бумага 84×108/32 — 40,5 печ. л. — 33,21 усл. печ. л. Учетно-изд. л. 32,61 + 7 вкл. = 33,04 л. Зак. № 957.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Типография № 3 Управления культуры Ленгорисполкома.
Ленинград, Красная ул., 1/3.

ОПЕЧАТКА

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
XI	7 сн.	Ее трудный путь независимости	Ее трудный путь к независимости

Ф. М. Решетников т. 1